
А.Н.ОСТРОВСКИЙ
В
ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННИКОВ


А.Н.
ОСТРОВСКИЙ
В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННИКОВ


А. Н. ОСТРОВСКИЙ
В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННИКОВ
А.Н.ОСТРОВСКИЙ
В
ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННИКОВ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ



Под общей редакцией

В. В. ГРИГОРЕНКО, С. А. МАКАШИНА,
С. И. МАШИНСКОГО, Б. С. РЮРИКОВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1966

А. Н. ОСТРОВСКИЙ

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

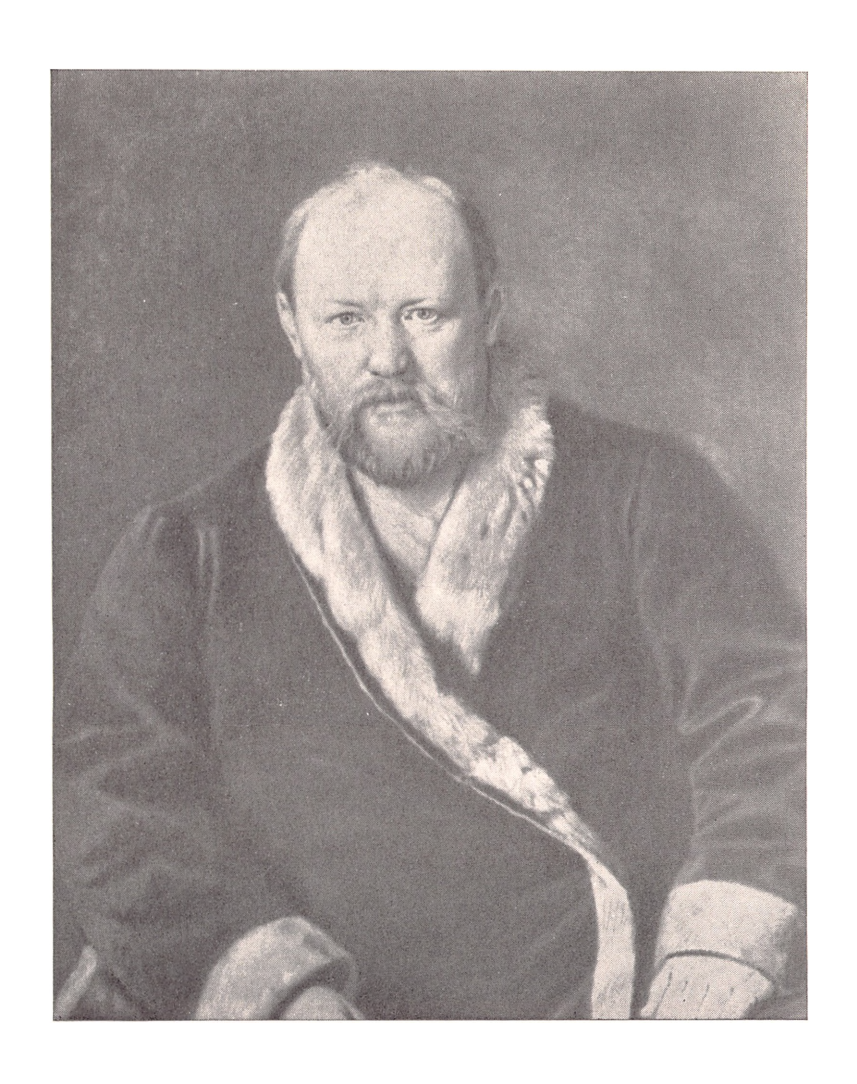
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1966

8Р1
077

Подготовка текста,
вступительная статья и примечания
А. И. РЕВЯКИНА

Оформление художника
Н. ШИШЛОВСКОГО

7 — 2 — 2
2 — 65



А. Н. Островский.
Портрет маслом работы В. Перова. 1871.

А. Н. ОСТРОВСКИЙ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

За свою почти сорокалетнюю жизнь в искусстве А. Н. Островский встречался со многими людьми. Гоголь, Некрасов, Чернышевский, Герцен, Тургенев, Добролюбов, Л. Толстой, Салтыков-Щедрин, Писемский... Писатели не столь знаменитые — П. Д. Боборыкин, И. Ф. Горбунов, С. В. Максимов, И. Ф. Василевский... Композиторы — Чайковский, Ипполитов-Иванов, Серов... Длинная вереница актеров от великого Щепкина и Прова Садовского до безвестного провинциального актера на вторые и третьи роли... Были и друзья среди них, были и идейные противники, были и просто недоброхоты. И каждый оставил свой след в жизни великого драматурга, и сам Александр Николаевич в жизни каждого из них прошел заметным, а то и замечательным явлением. Многие из них оставили свои воспоминания о встречах с А. Н. Островским.

Все многообразие человеческих отношений, идейная борьба вокруг Островского, творческие искания драматурга, его надежды и неудачи, наконец, его личная жизнь — всему нашлось место в мемуарах. Конечно, не все воспоминания равноценны. Некоторые мемуаристы весьма обстоятельны и касаются целого периода жизни А. Н. Островского (С. В. Максимов, И. Ф. Горбунов) или какой-то стороны его деятельности (Н. А. Кропачев), другие стремятся запечатлеть лишь отдельный факт биографии драматурга, какую-то поразившую черту его характера, запомнившееся высказывание... И, конечно, не всегда мемуаристы соблюдают меру объективности, порою давая, вольно или невольно, воскрешаемому в памяти весьма густую тенденциозную окраску. И все-таки собранные воедино воспоминания ярко воссоздают обстановку в литературном и артистическом мире сороковых — восьмидесятых годов прошлого века,

воссоздают жизнь А. Н. Островского с ее многочисленными творческими, общественными и личными связями, помогают нам проникнуть в его писательскую лабораторию... Живое слово современника запечатлело для нас и образ самого драматурга — человека огромного ума, таланта, обаяния...

Нам неизвестны какие-либо мемуары о детстве, о ранней юности А. Н. Островского, в воспоминаниях он сразу является знаменитым писателем, автором великолепной, первоклассной комедии — «Свои люди — сочтемся!».

В литературу А. Н. Островский вошел стремительно, сразу заявив себя крупным талантом. В 1849 году он закончил комедию «Свои люди — сочтемся!». Опубликованные ранее (в 1847 году) пьеса «Семейная картина» и очерк «Записки замоскворецкого жителя» уже были замечены читателем, но комедия «Свои люди — сочтемся!» (первоначально — «Банкрут») произвела истинную сенсацию. «Островский написал комедию «Банкрут». Все, знающие дело, ахнули. Вся интеллигенция Москвы заговорила об этой пьесе как о чем-то чрезвычайном, как бы... небывалом. <...> Никто не видал его постепенного развития, разных мелких, робких, отроческих статей. Сразу явилось мужественное произведение, совершилось нечто вроде чуда! Слава Островского как драматического писателя родилась и выросла в один день»,— так вспоминает начало литературной деятельности драматурга Н. В. Берг. Островским восхищаются, его всюду приглашают прочитать свою комедию, его ищут издатели. Из мемуаров известно, что Краевский, издатель «Отечественных записок», специально приезжал из Петербурга в Москву, чтобы приобрести комедию для своего журнала (Н. В. Берг), что Некрасов, прочитав «Своих людей», «чрезвычайно заинтересовался автором, и хлопотал познакомиться с Островским и пригласить его в сотрудники «Современника» (А. Я. Панаева). Но получилось так, что в первые годы своей литературной жизни драматург оказался тесно связанным с реакционным журналом «Москвитянин».

Громкая известность пришла к Островскому, когда его комедия еще ходила по Москве в рукописных списках. Посланная же в конце 1849 года в драматическую цензуру, она для постановки на сцене была запрещена. Немало потребовалось хлопот, чтобы опубликовать комедию в журнале. На помощь пришел издатель «Москвитянина» М. П. Погодин. Дела единственного литературно-художественного московского журнала очень тогда пошатнулись. Стремясь поправить его положение, Погодин и решил привлечь

к сотрудничеству новоявленный талант и с этой целью предложил Островскому содействие. Имея большие связи в цензуре, он довольно скоро все уладил: цензор потребовал некоторых изменений (см. воспоминания Н. В. Берга, М. И. Писарева), и пьеса к публикации была разрешена.

Однако сам Островский явно не торопился отдавать «Своих людей» Погодину. Автору комедии, беспощадно разоблачавшей «нравственное растление» купечества — одного из столпов самодержавно-крепостнической России,— естественно, не хотелось печататься в реакционно-славянофильском журнале. 1 марта 1850 года Погодин сделал такую запись в своем дневнике: «Островский не был, все не решается»[1]. Но «решиться» пришлось: другого пути для обнародования комедии не было; и в шестом номере «Москвитянина» за 1850 год пьеса «Свои люди — сочтемся!» была напечатана. Надо заметить, Погодин не просчитался: дела журнала начали быстро поправляться. Как свидетельствует С. В. Максимов, «вскоре стало очевидным, что и коммерческая сторона дела стала улучшаться: вместо 500 подписчиков в течение того же года оказалось 1100,— прирост, судя по тем временам, изумительный и блестящий».

Любопытно, что остро обличительная комедия «Свои люди — сочтемся!» была встречена горячим сочувствием не только в демократическом лагере. Ее приветствовали и дворянско-буржуазные критики, и славянофилы, извращая, сужая ее истинное содержание. Например, С. П. Шевырев, один из руководителей журнала «Москвитянин», ложно истолковывая комедию, заявлял: «...Именитое сословие купцов первое рукоплещет таким комикам», потому что для него не оскорбительно, «если честная, искренняя комедия заклеймит смехом и стыдом позор злостного банкрутства или другого какого порока», ибо «эти пятна составляют исключения, которые надобно скорее смывать с себя»[2].

Согласно с Шевыревым рассуждали и члены «молодой редакции» «Москвитянина», кружка, участником которого А. Н. Островский стал в 1850 году. В «молодую редакцию» входили писатели и критики Ап. Григорьев, Е. Эдельсон, Т. Филиппов, Б. Алмазов, Л. Мей, Н. Берг и другие.

«Молодая редакция» всеми своими корнями уходила в славянофильство. Ее члены, никогда не отождествляя себя со славяно-

---

[1] Хранится в Рукописном отделе Государственной ордена Ленина библиотеки СССР имени В. И. Ленина.

[2] С. П. Шевырев, Теория смешного с применением к русской комедии, «Москвитянин», 1851, № 3, стр. 381.

филами, в то же время разделяли их положение об особом пути развития России, о необходимости сохранения патриархальных нравов и быта. Но в отличие от «старших» славянофилов, интересовавшихся преимущественно крестьянством, «молодая редакция» ориентировалась, в основном, на патриархальное купечество. Конечно, участники кружка знали и темные стороны в жизни купечества, как самодурство, невежество и проч., но считали это чем-то второстепенным, легко устранимым. Привлекала же их в этом сословии его верность старому бытовому укладу, что и дало им повод видеть в патриархальном купечестве хранителя национальной самобытности.

Однако если славянофилы настойчиво разрабатывали систему своих воззрений, создавая стройную концепцию политических, исторических и философских взглядов, то «молодая редакция» какой-либо собственной, строгой системы идей и принципов не имела. Разработкой теоретических взглядов больше всех занимался А. А. Григорьев, но и для него принципы кружка не были ясными. В 1857 году он писал Е. Н. Эдельсону: «Помните ли вы, братия, хорошо то время, когда мы собирались все на издание «Москвитянина» 1851 года, время, когда вы (то есть ты, Филиппов, и Островский, и Борис) с комическою и тогда для меня важностью, с детскою наивностью говорили, что надобно условиться в принципах, как будто принцип так вот сейчас в руки дается? Я сказал тогда, «что не время, пока — удовольствуемся одним общим: «Демократизмом» и «Непосредственностью». Оказалось, что только это и было общее»...[1]

Примкнув к основополагающим суждениям славянофилов, все свое внимание члены «молодой редакции» переключили на искусство, народное творчество, устную поэзию, родной язык... Правда, искусство они представляли как нечто стихийное, созерцательное, пассивное. Из этого понимания постепенно выкристаллизовывалась теория «непосредственного» творчества, враждебная активному вмешательству в жизнь, обличению социальной несправедливости и т. д.

Любовь к народному искусству, кажущийся демократизм «молодой редакции», бойкость критических выступлений ее членов, видимость оригинальности, смелости и новизны,— все это увлекло молодого драматурга. И, связав себя с «Москвитянином» и его «молодой редакцией», А. Н. Островский не смог до конца противостоять их влиянию. На смену «Своим людям» приходят произведения, в

[1] А. А. Григорьев, Материалы для биографии. Под ред. Влад. Княжнина. Пг. 1917, стр. 184.

которых зазвучали мотивы идеализации патриархальной старины и религиозного примирения с действительностью. Уже в пьесе «Бедная невеста» (1851) наметилось отступление от прежней творческой манеры, от последовательного реализма. Хотя обличительный пафос пьесы был еще достаточно силен, но принадлежала она, по выражению Чернышевского, «слишком тесному кругу частной жизни» [1]. Подвижничество Марьи Андреевны, ее намерение «перевоспитать» Беневоленского, «сделать из него человека» дали повод славянофилам заговорить об отходе А. Н. Островского от «натурального» направления.

Наиболее сильно славянофильское влияние сказалось в пьесах «Не в свои сани не садись», «Бедность не порок», «Не так живи, как хочется».

И тогда революционные демократы дали бой за Островского. В «Современнике» появилась статья Н. Г. Чернышевского, в которой он, разбирая пьесу «Бедность не порок», блестяще доказал, что ложная идея, «ошибочное направление губит самый сильный талант», что, начиная с «Бедной невесты», творчество Островского пошло по нисходящей, но что, «повредив этим своей литературной репутации», драматург «не погубил еще своего прекрасного дарования; оно еще может явиться по-прежнему свежим и сильным» [2], если он сумеет выпутаться из тины славянофильства. Голос великого демократа звучал гневно и доброжелательно. Вслед за Чернышевским, после появления пьесы «Не так живи, как хочется», выступил Н. А. Некрасов, который в своей статье проводил ту же мысль: Островскому нужно как можно скорее освободиться от пут чуждой ему системы и идти «вперед своею дорогою», ибо «ему менее чем кому-либо следует бояться выпасть из русского тона: тон этот в нем самом, в свойствах ума его» [3].

Чернышевский и Некрасов понимали, что творчество большого художника, каким был Островский, не укладывается в прокрустово ложе славянофильства, что традиции «натуральной» школы у него еще достаточно сильны, и это особенно сказалось в глубокой реалистической трактовке образов в его последней драме — «Не так живи, как хочется».

Понимали это и славянофилы. Понимали и «скорбели», что драматург хотя и «силится проникнуть в глубину народной жизни»,

---

[1] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. II, М. 1949, стр. 232—240.

[2] Там же.

[3] Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч. и писем, т. IX, М. 1950, стр. 375—378.

но ему якобы «недостает решительности и смелости в исполнении задуманного»...[1] Критики из «молодой редакции» явно преувеличивали славянофильские тенденции в творчестве Островского Особенной настойчивостью отличался Ап. Григорьев. Искажая творчество драматурга, навязывая ему свои идеи, критик провозглашал его создателем чуждой ему теории «непосредственного» творчества. Постоянно внушая Островскому враждебность к сатирическому направлению в искусстве, критики «молодой редакции» стремились превратить его в апологета патриархальной старины и религиозности, стремились приспособить его творчество к служению идеям славянофильства.

Столь же тенденциозно отнеслась к Островскому и либеральная критика. Журнал «Отечественные записки», в те годы — орган либеральных западников, стал для драматурга «постоянным неприятельским станом»[2]. И если славянофилы, по существу, упрекали Островского за недостаточное, по их мнению, прикрашивание жизни, то западники обвиняли его в том, что «он дагерротипически изображает всю грязь жизни». Несколько позднее Н. А. Добролюбов вскрыл подоплеку всех этих критических высказываний: «Все признали в Островском замечательный талант, и вследствие того всем критикам хотелось видеть в нем поборника и проводника тех убеждений, которыми сами они были проникнуты».

Но именно «замечательный талант», «верное чутье действительной жизни» помогли драматургу победить свои сомнения и колебания: увлечение реакционно-славянофильскими воззрениями оказалось кратковременным. Уже в пьесе «В чужом пиру похмелье» (1855) и особенно в «Доходном месте» (1856) он полностью освобождается от ошибочных взглядов и выходит на широкую дорогу реалистического искусства. Несомненно, этому освобождению способствовало и общее положение в стране в середине пятидесятых годов: общественный подъем, быстрое назревание революционной ситуации, активизация демократических сил. Островский, большой художник и истинный гуманист, верный своим демократическим убеждениям, не мог остаться равнодушным к мощному нарастанию народного гнева. Порвав с «молодой редакцией», он быстро сближается с руководителями журнала «Современник» и с 1856 года становится его постоянным сотрудником.

Этот ранний период жизни и творчества А. Н. Островского

---

[1] «Русская беседа», 1856, № 1, стр. 74.

[2] В этом и последующем абзацах все цитаты взяты из статьи Н. А Добролюбова «Темное царство».— Н. А. Добролюбов, Собр. соч. в трех томах, т. 2 Гослитиздат, М. 1952, стр. 156—278.

оставил немалый след в мемуарной литературе. Сохранились довольно обширные воспоминания С. В. Максимова, воспоминания И. Ф. Горбунова, Н. В. Берга, М. И. Семевского. Более скупо, отдельными штрихами воспроизведена эта пора жизни драматурга в мемуарах А. Ф. Кони, П. Д. Боборыкина и др. Однако ни один из перечисленных мемуаристов не мог осветить раннего Островского с тех идейно-эстетических позиций, на которых, порвав со славянофилами, всю жизнь стоял сам драматург. Не случайно нам пришлось дать столь подробное жизнеописание молодого Островского и сослаться на авторитеты Чернышевского, Некрасова, Добролюбова. Именно в критических статьях революционных демократов мы находим не только тщательный и точный анализ творчества драматурга, его глубокое истолкование, но и отголоски той огромной идейной борьбы, которая развернулась в пятидесятые годы прошлого столетия и одним из центров которой был А. Н. Островский.

Из мемуаристов друзьями молодого Островского были С. В. Максимов, И. Ф. Горбунов, Н. В. Берг. Но к тому времени, когда писались воспоминания, все они по своим убеждениям оказались более или менее далекими от него. В воспоминаниях ставшего официозным литератором Берга, правда, не чувствуется идейных нажимов. У него и «молодая редакция», и литературные вечера у Е. П. Ростопчиной, и сам Островский зачастую преподносятся юмористически, а порою даже и иронически. Автору будто бы неловко за свои наивные увлечения молодости. Однако он дает ряд ценных фактических сведений — о чтении комедии «Свои люди — сочтемся!» у М. П. Погодина и отзыв Н. В. Гоголя о комедии, разговор Островского с актрисой Никулиной-Косицкой на похоронах Гоголя, цензурную историю «Своих людей»,— и это делает его мемуарные заметки весьма интересными.

И. Ф. Горбунов и С. В. Максимов значительно обстоятельнее Берга, но их юношеские симпатии живы и в воспоминаниях, что не могло не сказаться и в освещении ими личности А. Н. Островского. Особенно тенденциозны мемуары Максимова.

Прежде всего его либерально-славянофильская ориентация обусловила одностороннее освещение «молодой редакции», по отношению к которой все воспоминание выдержано в сугубо апологетических тонах. Максимов настаивает на идейной монолитности кружка, как будто не знает о существенных расхождениях между Островским и постоянно им недовольными критиками Ап. Григорьевым и Т. Филипповым. Более того, мемуарист, вопреки истине, делает драматурга идейным вождем «молодой редакции», наивно полагая при этом, что объединяющим началом служили мягкость,

уступчивость, снисходительность и прочие личные качества Островского. Свое основное внимание мемуарист сосредоточивает на увлечении кружка искусством, народным творчеством, то есть на том, что было, конечно, самым привлекательным в его деятельности. Восхищенно вспоминает Максимов талантливых певцов, мастеров устного рассказа из народного быта, с очевидным удовольствием воспроизводит комические сценки... Атмосфера жизнерадостности, молодого задора, простоты и добродушия очень живо воссоздается мемуаристом. Увлеченно повествуя о народном искусстве, Максимов, правда, ни разу не обращается прямо к теории «непосредственного» творчества, о ней нет ни малейшего упоминания, хотя он, по существу, следует ее канонам. Явное сожаление Максимова об уходящей старине определило и его до крайности ограниченный подход к явлениям искусства. Всякое критическое, сатирическое начало в искусстве, все, что помогает уничтожению старого строя,— обходится им. Не случайно, припоминая в конце XIX века минувшее, мемуарист удосужился «не заметить» великой русской литературы критического направления, хотя всей своей жизнью он был связан с этой литературой и ее представителями. Непомерно восхваляя пьесы Островского, написанные им в период славянофильских заблуждений, Максимов будто бы и не ведает об огромной критической силе всего творчества драматурга и утверждает, что тот «показывает нам юмористическую сторону жизни». Здесь Максимов применяет один из своих обычных приемов: он умалчивает о том, что пришлось ему не по душе. Не нравится ему литература критического реализма, не нравится сотрудничество Островского в журнале «Современник» — и он старательно обходит и то и другое, разрешая себе, однако, частные выпады, замечания против отдельных лиц, убеждения которых отличались от убеждений самого мемуариста. Так, недоброжелательно относясь к революционной демократии и замалчивая ее как политическое явление, Максимов неоднократно весьма неприязненно говорит, например, о руководителе «Современника» Н. А. Некрасове.

И как то ни парадоксально, но к славянофильству Максимова привела горячая и искренняя любовь к народу, его быту, его искусству. Со всей очевидностью это сказалось и в его мемуарах. Не случайно даже о Тертии Филиппове, одном из идеологов «молодой редакции», он вспоминает в основном как о великолепном исполнителе русских народных песен. Теоретические споры и разногласия в самом кружке «молодой редакции», большие противоречия между славянофилами и революционными демократами — все это будто прошло мимо памяти Максимова, о них в мемуарах нет

прямого разговора, хотя сами воскрешаемые мемуаристом события этого разговора требуют. Зато в воспоминаниях четко прослеживается тенденция низвести все глубокие идейные связи и расхождения до уровня личных симпатий и антипатий. Так, он убежден, что отношение редакции «Современника» к Островскому определяется не творчеством его, не идейной направленностью его произведений, а тем, в каком журнале драматург печатается, или, по выражению Максимова, какой «редакционной компании» он принадлежит.

Так же тенденциозно и упрощенно судит Максимов об отношениях между А. Н. Островским и М. С. Щепкиным, отношениях в действительности весьма сложных, о чем свидетельствуют и другие мемуаристы (А. Ф. Кони, А. И. Шуберт).

Безусловно, сотрудничество А. Н. Островского в «Москвитянине», его принадлежность «молодой редакции», создание пьес, отразивших реакционно-славянофильские тенденции,— все это рекомендовало его правоверным славянофилом. Не исключено, что и со стороны М. С. Щепкина, близкого друга В. Г. Белинского и Т. Н. Грановского, в эти годы также проявлялась некоторая настороженность к молодому драматургу. Но в воспоминаниях И. Ф. Горбунова и С. В. Максимова эта настороженность преувеличивается и принимает характер открытой враждебности.

И. Ф. Горбунов, который во многом перекликается с Максимовым, довольно точно сформулировал общий для всей «молодой редакции» взгляд на Щепкина. По их убеждению, великий актер просто не находил для себя в пьесах Островского ролей. «Михаил Семенович должен был посторониться, и, мне кажется, в этом и вся причина его нерасположения к пьесам нового писателя». Именно эта точка зрения проповедовалась и Максимовым.

По словам И. Ф. Горбунова, великий артист не признавал не только пьесы «Бедная невеста» и «Не в свои сани не садись», но и «Свои люди — сочтемся!», «а об «Грозе» отзывался с отвращением». С. В. Максимов же сообщает, что «Щепкин играть назначенную ему роль Коршунова (в комедии «Бедность не порок») наотрез отказался и резко порицал самую пьесу», не решился в Москве играть и роль Любима Торцова, исполнил ее в 1858 году в Нижнем Новгороде, «но не имел никакого успеха».

Однако, как весьма убедительно доказал В. А. Филиппов, все эти утверждения голословны и противоречат истинным фактам. По сохранившимся афишам удалось установить, что Щепкин с 1854 года до конца своей жизни играл во всех пьесах Островского, где находилась роль, соответствовавшая его возможностям, не исключая и тех пьес, которые упоминают Горбунов и Максимов.

Исполнение же роли Любима Торцова было для артиста «потребностью души», и сыграл он ее не в 1858 году, как указывает Максимов, а в 1855 году — на Нижегородской ярмарке, а затем и в Москве. Что касается «Грозы», то тут мемуаристы допускают явную передержку: Щепкин, правда, возражал против некоторых частностей, его раздражало то, что расходилось с привычными для него эстетическими и нравственными нормами (он не принимал всенародного покаяния Катерины, сумасшедшую барыню считал неправдоподобной, его коробили «два действия, которые происходят за кустами», то есть любовные сцены в саду Катерины и Бориса, Варвары и Кудряша), но он никогда и нигде не высказывался отрицательно о всей пьесе[1].

Конечно, веским аргументом, серьезно подкрепляющим позицию мемуаристов, могло бы служить письмо Щепкина к сыну, которое приводит Максимов. Однако, как выяснилось, письмо прочитано им таким образом (с большими пропусками), что актер из доброжелателя и поклонника талантов Островского и Садовского превратился в «хитроумного» недоброжелателя. Достаточно сравнить оба текста (полный текст письма см. в прим. 43 к воспоминаниям С. В. Максимова), чтобы убедиться в этом.

Таким образом, версия о враждебности М. С. Щепкина к А. Н. Островскому, поддержанная в ряде воспоминаний, и в первую очередь С. В. Максимовым и И. Ф. Горбуновым, не соответствует фактам и является если не вымышленной, то в значительной степени раздутой из мелочей и по сути своей — ложной. Если и были какие-то в их отношениях осложнения, оба они умели встать выше мелких недоразумений, чего, впрочем, не удается скрыть и предвзятым мемуаристам: и Горбунов и Максимов приводят случай с «покаянием» Щепкина, давая ему, конечно, свою трактовку, но факт сам говорит за себя. И хотя в мемуарном наследстве отношения драматурга и актера освещены весьма однобоко, исследования советских театроведов, и прежде всего В. А. Филиппова, проделавшего очень тщательный и серьезный анализ сохранившейся документации, позволяют нам утверждать, что двух великих основоположников национального реалистического театра связывали прежде всего взаимное дружелюбие и творческая симпатия.

Воспоминания С. В. Максимова с наибольшей полнотой и своеобразной поэтичностью воскрешают для нас тот период жизни

---

[1] Вл. Филиппов, Щепкин и Островский *(Пересмотр традиционных взглядов)* — в сб. «А. Н. Островский-драматург», «Советский писатель», М. 1946, стр. 205—255.

А. Н. Островского, который до сих пор был меньше всего известен читателю. Более подробных свидетельств нет. Стремление представить драматурга эдаким добродушным бытописателем купечества и русской патриархальной старины, стремление представить его чуть ли не идейным вождем «молодой редакции», сознательное искажение взаимоотношений Островского с редакцией журнала «Современник» и лагерем западников (мемуарист, конечно, не делает различий между революционными демократами и либеральными западниками) и другие ошибки Максимова, конечно, снижают ценность его воспоминаний.

Однако в том, что Максимов, так же как и Горбунов, не принял по отношению к своему прошлому холодно-ироничного тона (как, скажем, Берг), остался верным взглядам молодых лет, есть и свое большое достоинство: написанные живо и убежденно, их воспоминания как бы приближают к нам давно минувшее, во многом помогают его понять.

Другие воспоминания о молодом Островском не столь обстоятельны. В. З. Головина, А. Я. Панаева, П. Д. Боборыкин и даже М. И. Семевский, хотя его мемуары по объему достаточно велики,— все они останавливают наше внимание лишь на частных эпизодах из жизни драматурга, на отдельных чертах его характера. Однако и эти короткие заметки значительно пополняют наше представление об А. Н. Островском.

Идейная борьба вокруг творчества А. Н. Островского шла на протяжении всей его жизни. Правда, никогда не была она такой яростной и насыщенной, как в годы его принадлежности «Москвитянину». Этот период наиболее полно освещен и в мемуарах. Позднее в прессе поднималась серьезная полемика по поводу пьес «Доходное место», «Гроза» и др. Однако в воспоминаниях она не получила почти никакого отражения, и мы останавливаться на ней не будем. Нельзя, конечно, обойти молчанием гениальные критические статьи Н. А. Добролюбова («Темное царство» и «Луч света в темном царстве»), раскрывшие идейное и художественное значение всей драматургии Островского. В наш сборник включен отрывок из воспоминаний Н. Д. Новицкого, который был свидетелем встречи Островского с критиком. «...Я отлично сохраняю в памяти,— пишет Новицкий,— ту горячую, неподдельную благодарность, какую он (Островский.— *А. Р.*) выражал Добролюбову за его «Темное царство», говорил, что он был — первый и единственный критик, не только вполне понявший и оценивший его «писательство», <...> но еще и проливающий свет на избранный им путь...» Это свидетельство для нас чрезвычайно ценно.

Драматургия А. Н. Островского сыграла решающую роль в создании русского национального театра. Чествуя драматурга в день тридцатилетия его деятельности, И. А. Гончаров так определил значение творчества Островского для литературы и театра: «Литературе Вы принесли в дар целую библиотеку художественных произведений, для сцены создали свой особый мир. Вы один достроили здание, в основание которого положили краеугольные камни Фонвизин, Грибоедов, Гоголь. Но только после Вас мы, русские, можем с гордостью сказать: «У нас есть свой русский, национальный театр». Он, по справедливости, должен называться: «Театр Островского» [1].

Глубоко понимая великую роль Островского в создании русского театра, многие мемуаристы в меру сил своих пытаются проникнуть в творческую лабораторию художника. Конечно, в основном схвачены лишь отдельные моменты, эпизоды, штрихи, перемежающиеся к тому же с богатым бытовым материалом, но и совокупность этих маленьких зарисовок создает правдивый образ писателя-труженика, писателя-реалиста.

Творчество А. Н. Островского, продолжая лучшие традиции реалистической драматургии, явилось в то же время новой эрой русского театра: впервые на сцену в качестве главных действующих лиц вышли простые люди, в смазных сапогах и платочках. Это были не идиллические пейзане, а живые, полнокровные, реалистически достоверные герои, со своими нуждами и стремлениями, близкими и понятными демократическому зрителю. И зритель встретил их восторженно, потому что увидел в них правду, услышал протест против сильных мира сего. «Шире дорогу — Любим Торцов идет!.. <...> Я правду вижу!.. Шире дорогу! Правда по сцене идет. Любим Торцов — правда! Это конец сценическим пейзанам, конец Кукольнику: воплощенная правда вступила на сцену»,— так приветствовал старый учитель из воспоминаний И. Ф. Горбунова впервые вышедшую на подмостки пьесу Островского «Бедность не порок».

Демократизм Островского прежде всего определяется его глубокой органической связью с жизнью народа, огромным интересом к русской истории, культуре, быту. Мемуаристы отмечают у драматурга «склад ума чисто русский, можно сказать, народный, метко и глубоко понимавший истую, характерную сущность вещи» (Л. Новский).

---

[1] И. А. Гончаров, Собр. соч., т. VIII, Гослитиздат, М. 1955, стр. 491.

Реальная действительность была для него богатейшим источником творчества. Неутомимый, зоркий наблюдатель жизни, вдумчивый исследователь человеческих характеров и отношений, он всему увиденному и услышанному находил место в своих комедиях и драмах. И Островский, как свидетельствует тот же мемуарист, «скорее прощал отсутствие таланта, чем сочиненность, придуманность». Поэтому весьма ценны для нас те воспоминания, в которых воскрешаются наиболее важные в творческом отношении события из жизни драматурга. Так, очень любопытно описание его литературно-этнографической экспедиции в верховья Волги в 1856—1857 годах, организованной Морским министерством. С. В. Максимов совершенно справедливо замечает, что «Волга дала Островскому обильную пищу, указала ему новые темы для драм и комедий и вдохновила его на те из них, которые составляют честь и гордость отечественной литературы». О своем участии в экспедиции драматург рассказывал в дневниках, письмах, специальной статье. Воспоминания С. В. Максимова, Л. Новского, М. М. Ипполитова-Иванова пополняют эти материалы. Однако известные до сих пор источники сообщали по преимуществу о первой части путешествия, прерванного в 1856 году несчастным случаем. О второй же части, состоявшейся в 1857 году, почти ничего не было известно. И вот обнаруженные нами воспоминания (автор неизвестен), опубликованные в «Ярославских губернских ведомостях», сообщают интереснейшие факты о посещении Островским Ярославля, Рыбинска, Углича и Романово-Борисоглебска (ныне город Тутаев Ярославской области).

Внешними событиями жизнь Островского была небогата. Он всего себя отдавал театру, все чувства, все помыслы, все стремления — все для театра. И время свое он делил главным образом между письменным столом и сценой Малого театра. Чрезвычайно богатый впечатлениями период жизни Островского — служба в Коммерческом суде,— давший ему массу образов, сюжетов, к сожалению, в воспоминаниях оказался обойденным. Щелыково, усадьба Островских в Костромской губернии, в творческом отношении дало драматургу тоже очень много: щелыковские впечатления послужили источником для пьес «На бойком месте», «Лес», «Снегурочка», «Волки и овцы», «Бесприданница» и многих других. Островский живал в усадьбе подолгу, месяцев по пять в году, широко принимал гостей, и, конечно, Щелыково вспоминают многие писатели, артисты — близкие друзья драматурга. Однако, как правило, мемуаристы воссоздают только бытовые обстоятельства жизни, изрядно причем повторяя друг друга. В сборник включены лишь наиболее любопытные свидетельства (Дубровского Н. А., Загорско-

го К. В., Максимова С. В.) и высказывания щелыковских крестьян, помнивших Островского.

Наиболее ценны для нас, безусловно, сведения, которые часто припоминаются вместе с внешними событиями жизни драматурга, но имеют прямое отношение к его творчеству. Так, в воспоминаниях И. Ф. Горбунова, С. В. Максимова, М. И. Семевского, М. И. Писарева, П. М. Невежина и других рассеяны сведения о создании пьес «Свои люди — сочтемся!», «Бедная невеста», «Не в свои сани не садись», «Не так живи, как хочется», «Василиса Мелентьева», сообщаются прототипы действующих лиц, жизненные ситуации, легшие в основу сюжета, и прочее. Правда, как мы видим, мемуаристы воскрешают творческую историю лишь ранних пьес. Что же касается произведений позднейшего времени, то сведений о них в воспоминаниях почти нет.

Отлично зная жизнь русского общества во всех аспектах, вникая в самые мельчайшие ее мелочи, Островский никогда не попадал под власть этих мелочей, не был натуралистом, бытописателем, как пытаются это изобразить некоторые мемуаристы (С. В. Максимов, например). Художник-реалист обращается к самым сложным и противоречивым переживаниям человека; повседневные, простые, на первый взгляд, отношения между людьми становятся в его произведениях источником серьезных драматических коллизий. Как свидетельствует П. М. Невежин, «в развитии характеров и психологии» Островский видел самую суть художественного произведения.

Некоторые мемуаристы (Невежин, Аверкиев, Купчинский, Семевский), очевидно, более внимательные к вопросам драматургического мастерства, запомнили и записали и другие высказывания большого художника о творчестве. Всегда блюсти верность жизненной правде — вот в чем видит Островский главное условие драматического искусства. Той самой правде, что понятна и нужна каждому простому человеку. Писатель Невежин вспоминает одну из бесед с Островским: «Роман или повесть прочтет интеллигенция, критика появится для интеллигенции, и все закончится в своем кругу. Сцена — другое дело. Автор бросает мысли в народ, в чуткий элемент, и то, что простые люди услышат, разнесется далеко, далеко»,— таким общественно значимым и демократическим видел драматург свое любимое искусство.

Реалистическое творчество А. Н. Островского, поставленное на службу народу, объективно подводило к мысли о необходимости социальных преобразований. И, как свидетельствуют мемуаристы, демократический зритель чутко это улавливал. Так, А. Ф. Кони вспоминает о «Доходном месте», что во второй половине пятидесятых годов, когда «в обществе жило и с каждым днем расширялось

предчувствие неизбежности великих реформ», комедия не могла не вызывать у молодых юристов «желания стать работником в том новом суде, который искоренит черную неправду».

Уже в этой ранней комедии обличительный пафос Островского так велик, что можно говорить о большой творческой близости его с М. Е. Салтыковым-Щедриным, в частности, с его «Губернскими очерками». В последующие годы эта близость возрастает, творчество драматурга все более перекликается с произведениями революционных демократов, прежде всего Н. А. Некрасова и М. Е. Салтыкова-Щедрина. Растут и личные симпатии. Из переписки Островского с редакторами «Современника» и позднее — «Отечественных записок» мы знаем об этих симпатиях. Например, в 1869 году драматург писал Некрасову: «...Зачем Вы пугаете людей, любящих Вас! Как Вам умирать! С кем же тогда мне идти в литературе? Ведь мы с Вами только двое настоящие народные поэты, мы только двое знаем его, умеем любить его и сердцем чувствовать его нужды без кабинетного западничества и без детского славянофильства» [1]. В ответном письме Некрасов, поблагодарив Островского за внимание, заключил: «Все в Вашем письме справедливо». В свою очередь, Салтыков-Щедрин писал в 1880 году драматургу: «...Считаю за долг выразить Вам, как глубоко я и прочие члены редакции дорожим Вашим сотрудничеством. А вместе с тем желаю Вам сказать слово признательности за сочувствие, выраженное Вами в последнем письме, к моей деятельности. Прошу верить, что оно мне отменно дорого» [2]. Между тем в воспоминаниях это содружество, можно сказать, никак не отражено. Воспроизводятся, правда, отдельные отзывы Островского о Салтыкове-Щедрине у Л. Новского и А. Ф. Кони. Кони, например, пишет: «Разговор перешел на Салтыкова-Щедрина, и Островский отзывался о нем самым восторженным образом, заявляя, что считает его не только выдающимся писателем с несравненными приемами сатиры, но и пророком по отношению к будущему». Но об отношениях двух великих писателей хотелось бы узнать больше. Еще хуже, пожалуй, обстоит дело с Некрасовым: Максимов пишет о нем лишь отрицательно и искажает его отношения с Островским; в заметках Худекова Островский очень сердечно вспоминает поэта, но весь разговор сведен к вопросу о гонораре; в коротеньком отрывке из «Воспоминаний» Панаевой и Некрасов и Островский даны слишком бегло. Сюда же

---

[1] А. Н. Островский, Полн. собр. соч, т. XIV, М. 1953, стр. 181.

[2] Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полн. собр. соч., т. XIX, книга вторая, Гослитиздат, М. 1939, стр. 158.

мы можем присовокупить еще небольшое свидетельство Новицкого о встрече Островского с Добролюбовым. Вот и все. Таким образом, воспоминаний о сотрудничестве Островского в редакции «Современника» и позднее — в щедринских «Отечественных записках» — нет, хотя вся его творческая жизнь была тесно связана с этими журналами.

«Моя задача — служить русскому драматическому искусству»[1],— писал А. Н. Островский в своей «Автобиографической заметке». И вся его драматургическая деятельность действительно была подлинным служением русской литературе, русскому театру, служением не только творческим, но и общественным.

Страстно желая поднять уровень отечественной драматургии, Островский с горячей заинтересованностью относился к воспитанию литературной молодежи, сам вел огромную работу с начинающими драматургами. Даже совершенно больной, в 1886 году, уезжая на отдых, пьесы начинающих он захватил с собой. Ф. А. Бурдин вспоминает, что Островский «считал себя счастливым», когда мог «подать руку помощи молодому таланту»[2].

А. Н. Островскому обязаны своим вступлением в литературу, успехом и известностью многие писатели, в частности А. А. Потехин, Е. Э. Дриянский, И. Ф. Горбунов, М. П. Садовский, Н. Я. Соловьев, П. М. Невежин, И. А. Купчинский.

Помощь молодым литераторам была весьма разнообразной: одним он давал конкретные, подробные советы и рекомендации, другим правил рукописи, третьим устраивал в печать и на сцену произведения, с четвертыми вступал в творческое сотрудничество.

Об огромном внимании драматурга к молодым, о помощи им, о сотрудничестве с некоторыми из них, об идейном и художественном влиянии на них в процессе совместной работы над пьесами рассказывают П. М. Невежин, И. А. Купчинский, М. М. Ипполитов-Иванов, Н. И. Тимковский. В их воспоминаниях драматург предстает перед нами доброжелательным, деликатным и в то же время взыскательным и строгим мастером. Он не только учил сложной технике построения пьес, но и требовал реалистического исполнения задуманного, высокой идейности, глубины обобщений, сценичности.

Островский был для молодых писателей идейным, духовным руководителем. Из воспоминаний писателя Невежина, например,

---

[1] А. Н. Островский, Полн. собр. соч., т. XII, М. 1952, стр. 246.

[2] Памяти великого художника.— «Петербургская газета», 1886, № 155.

мы узнаем, как много труда, времени и сил положил драматург в борьбе за душу Н. Я. Соловьева, человека талантливого, но слабого и безвольного.

Как ни велика творческая помощь А. Н. Островского своим собратьям по перу, не меньшее уважение и добрую память оставил он в сердцах почти всей «пишущей братии» своей деятельностью на посту председателя Общества драматических писателей и оперных композиторов. Э. Э. Матерн, хорошо знавший драматурга как руководителя этого Общества, пишет: «Можно с уверенностью сказать, что все, что делалось в Обществе со дня его возникновения и по день смерти А. Н. Островского, делалось при его непосредственном участии, а очень и очень многое по его инициативе»[1].

Отлично понимая состояние русской драматургии, Островский неоднократно высказывал мысль, что одним из обстоятельств, препятствующих ее развитию, является бедственное материальное положение писателей.

О тяжких материальных обстоятельствах и самого Островского, и других литераторов той поры вспоминают многие мемуаристы. Особенно интересно пишет об этом П. М. Невежин, который весьма справедливо отмечает в драматурге черты писателя-гражданина, радеющего не за свои только интересы, а за общее дело. «...Моих литературных заслуг,— говорил по поводу назначения ему пенсии А. Н. Островский в беседе с Невежиным,— отнять никто не может, и я с гордостью могу сказать, что назначение мне пенсии есть только то, на что имеют право и другие литературные работники, с честью послужившие государству. При нашей апатичности достигнуть этого, конечно, трудно, но надо стараться, и я буду стараться». И, сообщает далее Невежин, «в голове его стал зреть план о том, как подобную награду сделать не случайной, а обратить в право».

Мысль о всемерной помощи литераторам, о создании для них таких условий работы, когда не нужно постоянно беспокоиться о хлебе насущном, руководила Островским и при создании Общества драматических писателей (1870). Его авторитет и организаторский талант немало способствовали тому, что Обществу удалось, во-первых, преодолеть сопротивление антрепренеров и заставить провинциальные театры платить за право постановки пьес, и, во-вторых, повысить поспектаклную плату за постановку пьес

---

[1] Э. Матерн, А. Н. Островский и Общество русских драматических писателей и оперных композиторов — в сб. «Островский. К столетию со дня рождения Островского», издание Русского театрального общества, М. 1923, стр. 47.

в императорских театрах, что давало драматургам возможность жить безбедно.

Замыслы Островского шли дальше того, что было им осуществлено. Он мечтал, чтобы Общество «сделалось средоточием нравственного воздействия на писателей, драматургов и компонистов, имело при себе: образцовую библиотеку по искусству и классической литературе, образцовую сцену и аудиторию для лекций по сценическому искусству» [1], журнал. Однако такие задачи оказались не по плечу Обществу. Они встретили активное противодействие членов, преследовавших в Обществе лишь свои материальные выгоды.

Воспоминания П. М. Невежина, Н. А. Кропачева, Д. Е. Аверкиева живо воскрешают для нас образ Островского — горячего защитника интересов драматических писателей, умного, тактичного председателя собраний, способного применить, когда это нужно, строгость, укротить и припугнуть распоясавшегося члена, эгоистически нарушающего дисциплину, правила и нормы Общества.

Правда, некоторые мемуаристы (Н. А. Кропачев), сосредоточивая внимание на отдельных событиях, скандальных эпизодах в собрании Общества, не умеют глубоко и серьезно осмыслить происходящее и очистить образ великого писателя от житейской шелухи. Но самый наблюдательный среди них, П. М. Невежин, пишет о нем так: «Перед нами во весь рост стоит общественный деятель, которым гордиться должна страна и имя которого, на вечные времена, станет синонимом справедливости, гуманности и борьбы за свободу».

В мемуарном наследстве А. Н. Островского воспоминания актеров, деятелей театра занимают огромное место. И это не случайно. Всю жизнь драматурга самыми близкими, самыми сердечными его друзьями были актеры П. М. и М. П. Садовские, Ф. А. Бурдин, М. И. Писарев, Н. И. Музиль... Судьба драматурга, активно боровшегося за создание отечественного театра, тесно переплелась с судьбами этих актеров...

Любовь к театру проявилась у Островского рано, как сообщает Ф. А. Бурдин, еще в гимназические годы. Потом пришло и более серьезное увлечение. «Я зазнал московскую труппу с 1840 года» [2],— припоминает сам драматург. Став завсегдатаем Малого театра и пробуя свои силы в драматургии, он сближается с арти-

---

[1] П. Россиев, Около театра (Листки из записной книжки).— Ежегодник императорских театров, 1910, вып. IV, стр. 43.

[2] А. Н. Островский, Полн. собр. соч., т. XII, Гослитиздат, М. 1952, стр. 272.

стами, и с этих пор дружба Островского с театром не прекращалась никогда.

Он и сам пытался выступать в качестве актера. Как сообщают Н. А. Дубровский, П. Д. Боборыкин, И. Ф. Горбунов и др., в 1850—1860 годы Островский неоднократно выступал в любительских спектаклях, и выступал довольно успешно, хотя и очень своеобразно: он не столько играл, сколько читал свои роли.

Позднее, будучи режиссером, постановщиком собственных пьес, Островский сделал читку одним из основных этапов подготовки спектакля. По заведенному им порядку он сам прочитывал перед актерами пьесу. Чтение его было поистине мастерским. Он давал удивительно точные интонационные характеристики образов, естественные и яркие. Эти читки стали для актеров настоящей школой реалистического искусства.

О чтении Островского, о работе его с актером над ролью вспоминают очень многие. И все — с восхищением. Одни восхищаются живо и непосредственно, как Е. Б. Пиунова-Шмидтгоф, другие строго, по-деловому, как, например, М. И. Писарев, записавший: «...Его мастерское чтение всегда служило наилучшим комментарием для его пьес, следовательно, и наилучшим руководством для исполнителей». Подробное и на редкость интересное описание одного такого чтения в Артистическом кружке сохранилось в записи неизвестного лица, скрывшегося за псевдонимом «Старый актер».

Он пишет также об очень теплом чувстве, которым дарили актеры драматурга. И в этом сходятся мнения большинства мемуаристов. Конечно, не только талант Островского, давший актерам роли, в которых можно произвести «фурор на сцене», как шутливо замечает тот же мемуарист, но и необычайная его гуманность располагали к нему актеров. Вот что пишет об отношении к ним Островского А. Я. Панаева: «Островский был исключением из драматургов по своей снисходительности к артистам. Он никогда не бранил их, как другие, но еще защищал, если при нем осуждали игру какого-нибудь из артистов.

— Нет, он, право, не так плох, как вы говорите! — останавливал Островский строгого критика.— Он употребил все старание, но что делать, если у него мало сценического таланта».

Не пустая, равнодушная снисходительность заставляла драматурга заступаться за актеров, а в высшей степени уважительное, бережное к ним отношение.

«Актерам надо прощать,— говорил он П. М. Невежину,— потому они все ведут ненормальную жизнь. Сколько каждому из них приходится выучить ролей, то есть набить себе голову чужими мыслями, словами, еще чаще выражать чужие чувства. А зависть,

интриги, клевета...» Именно это глубокое проникновение в самую психику актера, это сочувственное понимание сложностей закулисной жизни и делали драматурга не только требовательным к артистам, но и терпимым к их недостаткам.

Актеры чувствовали это большое уважение драматурга к себе. «При царившем тогда крепостном режиме, когда артистам начальство говорило «ты», когда среди труппы большая ее часть была из крепостных, обхождение Островского казалось всем каким-то откровением»,— вспоминает актриса Н. В. Рыкалова.

Воспоминания московских артистов всегда доброжелательны к драматургу в самой высокой степени. Будь это веселые, шаловливые зарисовки Де-Лазари, или вдумчивые и серьезные — Писарева, или такие выстраданные, как у Рыкаловой,— но все они согреты единым чувством горячей любви к драматургу и уважения к его памяти.

Та же сердечность связывала его и с провинциальными актерами, о чем живо свидетельствуют воспоминания В. А. Герценштейна, Е. Б. Пиуновой-Шмидтгоф.

Другое дело — петербургские актеры. Они, как правило, холоднее, равнодушнее к Островскому. Заметно сдержаннее москвичей и М. Г. Савина и А. А. Нильский. Тут, безусловно, сказалось общее отношение к Островскому и петербургской публики, и находившейся в столице администрации императорских театров. Петербургскому зрителю, принадлежащему преимущественно к великосветским или бюрократическим кругам, демократический театр Островского был чужд и неинтересен. Не лучше относилась к драматургу и театральная администрация. «Те его пьесы, которые изредка приходилось видеть на сцене в Петербурге,— пишет А. Ф. Кони,— давались без серьезного к ним отношения, с крайними преувеличениями их комического оттенка...»

На петербургской сцене, пожалуй, один только Ф. А. Бурдин по-настоящему понимал огромное преобразующее значение драматургии Островского и, имея большие связи, отстаивал его пьесы в цензуре, в Литературно-театральном комитете, в дирекции императорских театров. Об этих хлопотах он довольно подробно пишет в своих мемуарах.

Бурдин был артист образованный, прогрессивных взглядов, но посредственного таланта. Однако благодарный драматург, в ущерб успеху своих пьес, часто отдавал ему главные роли, так же, как в Москве отдавал их Н. И. Музилю и М. П. Садовскому. Пристрастия Островского к этим актерам касаются многие мемуаристы, одни — добродушно, другие — едва скрывая раздражение (например, Нильский), но только П. М. Невежин правильно объ-

ясняет его причину: эти артисты энергично содействовали утверждению на сцене реалистического искусства, утверждению театра Островского.

А пробиваться на сцену пьесам Островского было нелегко: здесь полновластно царил развлекательный водевильно-мелодраматический репертуар. Дирекция императорских театров принимала пьесы Островского, лишь уступая требованиям прогрессивной общественности, ставила их небрежно и быстро снимала с репертуара. Драматургу приходилось быть вечным просителем перед дирекцией, переживать тяжелые обиды. Нельзя читать без боли воспоминания М. И. Семевского, П. М. Невежина, Н. А. Кропачева и особенно Ф. А. Бурдина, в которых произвол театральной администрации по отношению к великому драматургу описан очень живо.

А. Н. Островский мечтал о коренном преобразовании театра на принципах реализма и на началах высокой сценической культуры. Начиная с 1869 года, он неоднократно составлял докладные записки по самым различным вопросам театрального дела и посылал их в дирекцию императорских театров. Записками пренебрегали, они оставались без ответа. Он решил создать в Москве частный образцовый народный театр и получил уже разрешение, но в условиях спекулятивного ажиотажа, охватившего предпринимателей в связи с отменой в 1882 году театральной монополии открыть театр не удалось. Тогда Островский задумал поступить на службу в императорский театр, предлагая свои услуги на любую должность, в которой он мог бы содействовать улучшению отечественной сцены, послужить ей «как горячий патриот» [1]. Но и это предложение драматурга не встретило должного внимания. Лишь в 1886 году при содействии брата, М. Н. Островского, министра государственных имуществ, А. Н. Островский пришел к руководству московскими театрами в качестве начальника их репертуара и заведующего театральной школой.

Наиболее значительные воспоминания об Островском — художественном руководителе московской сцены — принадлежат Н. А. Кропачеву. Островский показан здесь руководителем-новатором, который, продолжая лучшие традиции русского сценического реализма, стремился превратить театр в школу нравов, повысить уровень артистической культуры, поднять репертуар и режиссуру, составить труппы, объединяющие зрелых мастеров и талантливую молодежь, способные обеспечить самый разнообразный репертуар и создать спектакли высокого ансамбля.

---

[1] А. Н. Островский, Полн. собр. соч., т. XII, Гослитиздат, М. 1952, стр. 258.

Н. А. Кропачев, будучи личным секретарем драматурга, располагал документальными материалами, и это придает его воспоминаниям, похожим на своеобразную летопись виденного и слышанного, достоверность первоисточника.

Но либеральная ограниченность мемуариста мешала ему раскрыть личность Островского во всей полноте. Его воспоминания излишне приземлены, измельчены, уделяют больше внимания не первостепенным, а третьестепенным вопросам. Явно принижая творца «Грозы» и «Бесприданницы» до себя, он задерживается на таких пустяках, как вицмундир, в который облачился новый начальник репертуара, и его заботах об иконе для кабинета.

К сожалению, в воспоминаниях слабо освещена деятельность А. Н. Островского в московском Артистическом кружке, одним из инициаторов и идейным руководителем которого он был. Этот пробел тем более досаден, что драматург, не щадя своих сил для процветания кружка, исполнял в нем самые разнообразные обязанности: он заведовал сценой, был режиссером, чтецом своих и чужих произведений и т. д.,— но никаких свидетельств этой многогранной деятельности драматурга в кружке (кроме воспоминаний Старого актера, см. на стр. 408—417) в мемуарной литературе не сохранилось.

Воспоминания, публикуемые в нашем сборнике, впервые объединились под одной обложкой. До сих пор они были рассеяны в дореволюционной периодике, в различных сборниках и книгах, некоторые воспоминания до настоящего времени не публиковались и не были известны даже узкому кругу исследователей жизни и творчества Островского.

Воспоминания, несомненно, расширят наши представления о великом драматурге, сделают его более близким, понятным. Воспоминания как бы воскрешают для нас Островского — неустанного труженика, пламенного патриота, энергичного борца за родное искусство, последовательного защитника и пропагандиста реализма, заботливого пестуна литературной и театральной молодежи, интереснейшего собеседника, скромного, простого, доступного человека.

А. Ревякин

А. Н. ОСТРОВСКИЙ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

В. З. Головина (Воронина)

МОЕ ЗНАКОМСТВО С А. Н. ОСТРОВСКИМ

Познакомилась я с Александром Николаевичем в Самаре в зиму 1847 или 1848 года [1], не помню хорошенько.

Помню только, что Александр Николаевич где-то служил [2] и приехал в Самару с Евгением Николаевичем Эдельсоном в качества «дельца», над чем они оба очень смеялись. Приехали они по поручению одной дамы, которая жила тогда в Москве и имела в Самаре какие-то недоразумения с своими родственниками. Эта дама была приятельницей одной из моих сестер и еще задолго до их приезда письменно рекомендовала моей матери этих молодых людей.

Об Эдельсоне я уже много прежде слышала от моих сестер, которые видали его в Москве. Он тогда увлекался Лессингом, переводил его «Лаокоона», и сестры мои находили его очень умным и интересным. Одна из них даже описала в очень поэтичном четверостишии рыжую голову Эдельсона:

Бог великих дум хранилищем
Вашу голову избрал,
Потому, как над святилищем,
Золотой покров ей дал.

Про Островского говорили, что он тоже «пописывает», и потому их приезд очень интересовал меня. Наконец они приехали, и как только я услыхала, что они у нас, вышла в гостиную и тотчас же узнала, по рассказам, белого, розового, с красивыми чертами лица, рыжего и куд-

рявого Эдельсона и догадалась, что бледный, высокий, тонкий, с большим лбом и совсем прямыми белокурыми волосами молодой человек должен быть Островский. Эдельсон уже говорил что-то горячо и интересно, вовлекая всех в разговор; белокурый молодой человек больше молчал и казался очень застенчивым и незанимательным, хотя смотрел на нас как-то не совсем просто, что меня против него сразу вооружило. В провинции в то время гостеприимство было самое радушное, и эти молодые люди остались у нас обедать, а впоследствии все время, свободное от занимавшего их дела, проводили у нас или вместе с нами у наших знакомых.

На другой же день Эдельсон сообщил нам, что Островский написал комедию из купеческого быта, что рукопись с ним в Самаре и что если его хорошенько попросить, то он, пожалуй, прочитает ее нам, потому что вообще перечитывать свою комедию ему полезно. Все тотчас же стали просить Островского, он очень мило и просто согласился и сам пошел на свою квартиру за рукописью. В его отсутствие Эдельсон начал внимательно приготовлять все для чтения на круглом столе нашей гостиной: поставил свечи, потребовал графин с водой и стакан и подошел ко мне с просьбой принести карандаш, который надобно положить под руку Александра Николаевича, потому что он обыкновенно много поправляет в своей рукописи во время чтения. Я принесла карандаш, но мне казалось, что Эдельсон слишком носится со своим «сочинителем» и что решительно ничего нельзя ожидать хорошего от этого неразговорчивого молодого человека, который ни разу еще не сказал ничего остроумного, ничего особенно выдающегося. В знак безмолвного протеста я села в угол с большим моим приятелем, мальчиком моих лет, Сашенькой П., который отлично умел всех представлять и уже с первого свидания с Островским точь-в-точь изображал его, с манеры говорить несколько в нос до привычки держать большой палец в верхней бутоньерке фрака. Сашенька тоже уверял меня, что, кроме смеха над самим автором, из пьесы белокурого господина ничего не выйдет. Он кстати напомнил мне, как я недавно прорвалась смехом прямо в лицо одного нашего местного поэта в то время, как он читал самое патетическое место своего произведения, и какой строгий выговор я тогда получила от моей матери. Но нужно сказать несколько

слов о тогдашнем самарском обществе, чтобы показать среду, в которую попал Александр Николаевич.

Самара тогда была еще уездным городом, но уже накануне переименования в губернский. Верхний слой общества составляли помещики. Многие из них были очень богаты, имели дома в Самаре, жили там зиму, держали собственных музыкантов и веселили общество. Были некоторые из них очень хорошо образованны, другие — похуже, но со светским лоском; были и без образования, и без лоска. Жены их и дочери были тоже очень разнообразно воспитаны и образованны: были смолянки, патриотички [3], институтки; были из самарского пансиона madame Magnet; были тоже и совсем полуграмотные, но иногда гораздо интереснее заживших в деревне институток. Второй слой общества составляли чиновники пообразованнее. Они тоже были всегда в кругу помещиков, но сами они должны были принимать и своих сослуживцев, мелких чиновников. Купцы, между которыми было много миллионеров, так называемых «пшеничников», с которыми помещики имели дела, к дамам в гостиную никогда не допускались; но их иногда приглашали на большие вечера, где они всегда держались на мужской половине или стояли в дверях бальной залы, чтобы посмотреть на танцующих. Но мать моя была знакома с некоторыми купчихами, а я даже была очень дружна с дочерью одной из них, и потому мы хорошо знали купеческий быт. Сестры мои были хорошо образованны, брат даровитый, остроумный, живой человек; мать моя одинаково радушно принимала всех своих разнообразных знакомых, и потому нас усердно посещали. Были между нашими знакомыми и поэты, более или менее неудачные, и всем этим авторам хотелось непременно прочитать свое произведение моей старшей сестре, одобрение которой очень ценилось; потому эти чтения происходили обыкновенно у нас в гостиной, а не в кабинете брата, где обыкновенно толпилась молодежь. Но, к сожалению, кроме одного даровитого господина, богача помещика, который тратил свой крупный талант, описывая в стихах скандалы на выборах или в семьях обывателей, прочие писаки были очень плохи. Выговор, который я получила от моей матери, был именно за такого сочинителя.

Итак, в качестве смешливой барышни, я села в угол.

Как теперь вижу, как все это происходило. Все сели вокруг стола. Эдельсон поставил мне стул подле себя и пригласил сесть поближе. Я отказалась тем, что с моего места очень хорошо слышно. Островский развернул рукопись, пригладил ее рукой, поправил правые уголки листиков, чтобы легче было перевертывать, прочитал действующие лица, с небольшими комментариями, и начал читать своего «Банкрота» (как он прежде назвал «Свои люди — сочтемся!»). Читал он, как и говорил, несколько в нос, но это сейчас забывалось, потому что читал он превосходно. Во время первых двух сцен Сашенька П. поглядывал на меня вопросительно и даже попробовал делать комичные мины, но я ушла от него к столу, села против Островского и уже не спускала с него глаз. Окончив первый акт, он медленно поднял глаза, слегка взглянул на всех и даже без словесных похвал, которые поднялись около него, увидал, что совершенно покорил своих слушателей. Когда впоследствии он несколько раз читал у нас «Банкрота» при самой разнохарактерной публике, такова была сила его таланта, а также и мастерского чтения, что он всех без исключения захватывал и порабощал. Кто не помнит, как впоследствии в театре все, от первых рядов кресел до райка, с одинаковым увлечением ему аплодировали и его вызывали.

После такого авторского успеха Александр Николаевич сделался нашим общим любимцем. Евгений Николаевич Эдельсон комично жаловался, что Александр Николаевич отбил у него всех собеседников, что около него нет совсем реплик и он должен удовлетворяться одними монологами. Сам Островский сделался сообщительнее, разговорчивее. С моими сестрами велись у них оживленные споры и серьезные разговоры, в которых мне редко приходилось участвовать, потому что у меня был свой молодой кружок. Эдельсона мы всегда вербовали для разных jeux d'esprit *, которые он чрезвычайно оживлял. Александр Николаевич тоже часто к нам присоединялся и иногда утешал нас теми смешными купеческими словечками, на которые он был такой мастер. Многие из этих словечек попадались нам потом в его позднейших произведениях.

---

* остроумных игр *(франц.)*



А. Н. Островский.
Фотография. 1856.

Тогда был зимний сезон, я уже выезжала, и мне захотелось воспользоваться нашими новыми знакомыми как «кавалерами». Они оба очень мило покорились. Эдельсон усердно танцевал на наших балах, и его очень полюбили все мои подруги. Островский тоже снисходительно соглашался на одну или две кадрили и всегда брал себе визави моего приятеля, который так любил его, что сделался чем-то вроде его пажа. Впрочем, и сам Островский им заинтересовался. Этот юноша, как я уже говорила, умел отлично всех представлять. Я иногда сидела за работой, а он мне изображал целые семьи наших знакомых во время какой-нибудь домашней сцены. Он не только говорил их голосами, делал из своего лица их лица, из своих послушных волос их прически, но и говорил именно то, что они по своему характеру могли сказать, так что мог бы поспорить с Горбуновым. Кроме этих сцен, у нас был еще «выпуск персонажей», как мы называли. Эти персонажи, в которых он был неподражаем, входили в одну дверь, раскланивались и скрывались в другую, из которой быстро должен был выходить следующий, как можно более противоположный; и чем больше они менялись, тем было интереснее. Были тут по большей части наши знакомые оригиналы из самарских обывателей, но были и им придуманные типы. Для представления всей этой серии ему нужна была только мокрая щетка, когда требовалась гладкая прическа для какой-нибудь физиономии. Вот раз, когда Эдельсон спорил с моими сестрами о Жорж Занде (которой я еще не читала) и Островский осторожно его поддерживал, мой приятель вызвал меня в другую комнату и сообщил мне, что еще нашел двух персонажей. Мы очень занялись нашими персонажами и не заметили, что Эдельсон стоит в дверях. Он, видимо, забавлялся нашим представлением, хотя упрекал меня за нашу необузданную самарскую насмешливость, которая никого не щадит.

— Посмотрите, Александр Николаевич, чем они тут занимаются! — пожаловался он на нас Островскому. Но Александр Николаевич удивил меня тем, что отнесся очень серьезно к нашему представлению. Он пожелал пересмотреть всю нашу коллекцию, просил несколько раз повторять один и тот же персонаж, пожелал прослушать семейные сцены, и все это совершенно серьезно и внимательно, между тем как Эдельсон очень потешался,

да и Сашенька в этот раз себя превзошел. Когда представление кончилось, Эдельсон сказал Александру Николаевичу:

— Как жаль, что это сынок богатого барина и рвется в гусары! Какой бы из него вышел превосходный комический актер!

— Не думаю,— как всегда сдержанно, отвечал Островский,— мне сначала тоже это показалось, но у него только талант перенимать, и талант замечательный. Ну, а роли, пожалуй, он никакой хорошо не сыграет.

Я тогда очень обиделась этим приговором над моим другом, но впоследствии в наших домашних спектаклях убедилась в его бездарности как актера, и с уважением вспомнила, как серьезно Островский искал в нем таланта и как верно осудил его. И в этом мой приятель Сашенька напоминал Горбунова [4].

Александр Николаевич очень недурно пел; я умела аккомпанировать; у нас нашлись знакомые ему романсы, и он никогда не отказывался петь, когда его просили. Мне никогда впоследствии не приходило в голову спросить у кого-нибудь из людей, близких Островскому, что сделалось с его голосом [5] и его пением, но тогда мы им очень любовались. Мне даже тогда казалось, что ему больше нравятся его успехи как исполнителя некоторых тогдашних романсов, чем как автора.

Но вот пришел и день отъезда наших новых знакомых, и мы простились с ними с большим сожалением. Верный паж Островского и мой брат поехали их провожать до первой станции, за Волгу, как тогда часто делалось для добрых знакомых. Потом мы стали ждать писем от них, как они нам обещали. Тогда путешествие в Москву продолжалось целую неделю; почта ходила немного скорее; письма их пришли не скоро, и письмо Александра Николаевича совсем нас не удовлетворило. Это было очень просто написанное коротенькое письмо к моему брату с просьбой поблагодарить мою мать и всю нашу семью за гостеприимство. А мы от автора «Банкрота» ожидали чего-нибудь выдающегося в литературном отношении. После этого письма мы долго не имели никакого известия от Островского, а в это время о нем уже заговорили в журналах. Впоследствии, когда была напечатана «Бедная невеста», Островский прислал моей сестре экземпляр с надписью:

«Надежде Захаровне Ворониной от виновного, но способного к исправлению автора».

Но способный к исправлению автор не исправился и совсем забыл своих старых знакомых.

Долго после всего этого, в начале семидесятых годов, я была в Москве и попала на французское представление «Belle Hélène» * в Артистическом клубе. После представления меня провели по залам и показали полного, с красноватым лицом и окладистою бородой господина, ужинавшего за одним из столов, и сказали мне, что это Островский. Вглядевшись хорошенько, я его узнала: тот же лоб, тот же взгляд. Тогда он был в самом апогее своей славы,— но я не нашла удобным возобновлять тут наше знакомство. После я с ним нигде не встречалась.

---

* «Прекрасная Елена» [6] *(франц.)*.

Н. В. Берг

<МОЛОДОЙ ОСТРОВСКИЙ>

<1>

<...> В Москве было в то время два литературных кружка: славянофилы, собиравшиеся у Хомякова, Аксакова (Сергея Тимофеевича, отца Константина и Ивана Сергеевичей), Кошелева, Киреевского, Елагиных, и так называемая «молодая редакция» «Москвитянина», только что начинавшая формироваться. Она состояла главнейшим образом из недавних студентов Московского университета. Другие учебные заведения давали там небольшой процент. Тут были талантливые люди: Мей, Григорьев, Колошин, Эдельсон, Филиппов, Писемский, Рамазанов...

Славянофилы держались особо, знали почти только друг друга. «Молодая редакция» «Москвитянина» знала в городе очень многих, не брезговала никем. Ближе всего были к ней некоторые артисты сцены: Садовский, Васильев, Максин, Турчанинов... Первые двое были знаменитостями московского театра; последние игрывали что называется «ногу слона». Максин прославился ролью «тени Гамлета» и, вероятно, любил ее более всех своих ролей. Когда весь кружок, с присоединением профессора зоологии Рулье, известного всей Москве Алексея Дьякова [1] (учителя чистописания в разных учебных заведениях, поэта и друга трагического актера Мочалова) и персиянина Мира, или, как чаще его называли, Мирки,— собирался в знаменитой в то время ко-

фейне Печкина (которая состояла из небольшого числа комнат, вошедших ныне в Московский трактир), Максин, усаживаясь с кем-нибудь играть в шашки, заводил гробовым голосом: «и каждый волос» (тут двигалась шашка) «на главе твоей» (двигалась другая шашка) «встанет дыбом!» (двигалась третья шашка). Из других своих ролей он почему-то не приводил отрывков за шашками.

Кружок заглядывал еще в одну отдаленную замоскворецкую харчевню слушать бандуриста Алешку, который играл (как никто будто бы) «камаринскую» и «венгерку». Для этой «венгерки» иные засиживались в харчевне долго. Один молодой человек, Мальцев, отменно плясал под эти песни. Он же умел забавно представлять, как «львы лежат на воротах», как «собака ест кость, а ворона к ней подпрыгивает и опять отпрыгивает» (когда собака зарычит); как «собака встречает входящую старуху во двор, и старуха отбивается от нее костылем» и, наконец, как «несколько собак грызутся и ворчат под столом, когда господа обедают». В этих представлениях Мальцев был неподражаем. Вертелся иногда в кружке молодой купчик Ванька Коробов, который был замечателен не сам по себе, а своим дядей, Коробовым, который очень смешно и самым сильным народным языком рассказывал компании разные истории, о чем случится; трудно перечислить все элементы, из каких слагался кружок; необходимо только упомянуть, что к нему же примыкал вплотную Александр Николаевич Островский, впоследствии известный драматический писатель.

Графиня[2] долго не знала, что ей делать: из каких литераторов составить кружок для своих «литературных вечеров по субботам»,— кружок удобный, приличный, нескучный. К славянофилам сердце ее не лежало вовсе. На них смотрело тогдашнее общество иронически, поднимало на смех народные их одежды: поддевки, зипуны, красные рубахи с косым воротом, мурмолки; правительство с ними не ладило. Да и то сказать: для литературных вечеров светской дамы они как люди серьезные, дорожившие своим временем, не годились: соскучились бы в неделю, и баста ездить. Графиня более или менее угадывала такой конец...

О другом кружке, о «молодой редакции» «Москви-

тянина» и связанных с нею неразрывными узами разнообразных личностях города, ходили не очень благовидные слухи, что это — «беспросыпные кутилы, пребывающие большую часть дня в нагольных тулупах, не то в рубашках; ненавидящие фраков и перчаток; пьющие простое вино из штофов и полуштофов и закусывающие соленым огурцом». Как их вычистить, сделать такими, чтоб они могли без зазору, не смущая в графской передней прислуги, показываться время от времени в изящных салонах изящной аристократки? Говорили еще в обществе, что они — «бирюки», редко выползающие на свет божий из своих нор самого невероятного свойства,— нор, не знакомых будто бы вовсе с половою щеткой. Что бывает иногда накидано на полу такого жилища, такой сор и грязь (которые потом неизвестно куда исчезают),— этого ни в сказке не рассказать, ни пером не описать! Если приходил бирюк к бирюку и засиживался до ночи, для него стлалась на полу перина и потом долго-долго лежала, никем не убираемая, и никого из бирюков это не смущало. Бывали такие случаи, что два-три бирюка сходились у кого-нибудь; для каждого устроивалась на полу постель; бирюки ложились, разговаривали, и так проходила неделя, а иногда и две: бирюки не расходились: им было нескучно и удобно... Платье у бирюков бывало будто бы зачастую общее...

Такие ходили слухи. Графиня задумывалась. Литературные вечера не устроивались...

Разрешению вопроса помогло следующее обстоятельство: Островский написал комедию «Банкрут». Все, знающие дело, ахнули. Вся интеллигенция Москвы заговорила об этой пиесе как о чем-то чрезвычайном, как бы... небывалом. Наиболее всего поражал в ней язык московских купцов, впервые выступивший в нашей литературе с такою живостию, яркостию и силою. Но, кроме языка, и самый купеческий быт, способы мышления и жизненные приемы этого сословия нарисованы были могучею, широкою кистью... как бы опытного художника, о существовании которого никто не знал; никто не видал его постепенного развития, разных мелких, робких, отроческих статей. Сразу явилось мужественное произведение, совершилось нечто вроде чуда! Слава Островского как драматического писателя родилась и выросла в один день. Все стремились слу-

шать новое произведение; все, слушая, им восхищались; потом бегали и трубили по городу; всякому оно было понятно, было свое, родное... всякий невольно чувствовал его красоты.

Михаил Петрович Погодин, этот примиряющий центр всех партий [3], у кого на скромных его вечерах на Девичьем поле, на обедах, которые сочинялись в саду (если это можно летом и в хорошую погоду) по разным случаям и мотивам, сходились всевозможные московские кружки и даже люди, друг с другом, а иногда и с самим хозяином, в жизни не ладившие: славянофилы, западники, университет, артисты театра, молодость, старость,— Погодин решился устроить у себя чтение «новой комедии», о которой столько все говорили. Трудность, и не малая, была лишь в том, чтобы «достать автора», познакомиться с ним без лишних церемоний, без визитов, прямо — «с корабля на бал!».

Михаил Петрович поручил уладить это дело одному товарищу Островского по воспитанию [4]. Островский обещал приехать и читать. Дело было о масленой [5] (1849 года). Хозяин затеи придрался к этому и звал разных своих знакомых «на блины». В числе приглашенных были: Гоголь, Хомяков, Шевырев [6], актер Щепкин; некоторая часть «молодой редакции» «Москвитянина» (кто был поближе к Островскому) и Ростопчина. Были люди, кто хотел больше видеть автора «Насильного брака» [7], чем слушать новую комедию...

Островский явился ранее других, с толстой тетрадью, одетый во фраке. Графиня приехала (как кто-то сейчас же заметил: в одиночных санях в одну лошадь), когда уже набралось довольно народу в верхнем помещении дома. Одета она была очень просто. Все глаза смотрели только на нее, и, кажется, всем она понравилась. Большинство присутствующих видело ее тут в первый раз. Погодин сейчас же представил ей всю свою «молодежь». Графиня осматривала представленных очень внимательно. Потом все уселись на самой невзыскательной мебели хозяйского кабинета: трех кушетках и нескольких стульях и креслах. Иным пришлось лепиться на подоконниках или даже просто стоять. Островский поместился в левом углу, у окон, и едва начал читать, как, невидимо и неслышно ни для кого, подкрался коридором Гоголь и стал в дверях, присло-

нившись правым плечом к притолоке, и так оставался во все время чтения.

Пиеса произвела на всех присутствующих сильное впечатление. Все акты были выслушаны с самым полным вниманием, без одобрений, в мертвой тишине. Разумеется, было два-три отдыха. По окончании чтения главные лица ринулись кучей благодарить автора. По образу жизни своей Островский очень редко сталкивался с такой массой разнообразного народу, особенно в таких условиях, как это устроилось у Погодина, а потому был неловок, краснел, потуплял глаза. Впоследствии он привык к таким выездам, даже очень любил их, любил овации, как человек, до крайности самолюбивый, считавший себя совершенством во многих отношениях, даже по аполлоновскому, античному телосложению. Он находил в себе также ловкость донжуана в ухаживании за женщинами... Много было странностей в этом необыкновенном человеке.

Мне вздумалось подойти к Гоголю и спросить его мнение о пиесе. Он сказал, что «при несомненном и большом таланте автора проглядывает неопытность, юность в технике дела. Необходимо, чтобы такой-то акт (он его назвал цифрой) был покороче, а такой-то подлиннее. Все это он узнает впоследствии, может быть, очень скоро узнает, но пока не имеет об этом ни малейшего понятия. Пишет, как талант-самородок, сплеча, не оглядываясь и руководствуясь только вдохновением. А это не годится и невозможно. Техника — другое вдохновение; вдохновение тогда, когда нет вдохновения!.. Но талант, решительный талант!» [8].

О языке пиесы, наиболее всех нас поражавшем, Гоголь не сказал ни слова, вероятно потому, что этого дела хорошо не смыслил. Он победил русский язык вообще и знал все его тонкости и прелести; умел с ними справляться временами как самый высочайший художник русского происхождения, но сословных оттенков русской речи победить никогда не мог, да, кажется, об этом и не старался, так как это дело очень трудное, для большинства писателей даже прямо невозможное. Надо жить с этими сословиями, на языке которых хочешь говорить печатно. Островский заговорил купеческим языком, как никто из наших писателей, потому что жил и вращался среди купцов с малого возраста.

Отец его был секретарем Московского коммерческого суда. В его доме с утра до ночи толклись купцы, решая разные свои вопросы. Мальчик Островский видел там не одного банкрута, а целые десятки; а разговоров о банкротстве наслушался и бог весть сколько: не мудрено, что язык купцов стал некоторым образом его языком. Он усвоил его себе до тонкости. Иное, в особенности хлесткое и меткое, записывал (как сам мне признавался). В подобные отношения с самым низшим классом, с простым народом, с мужиками, не становился еще ни один из наших писателей, да и как это сделать?.. А потому и нет нигде, в самых знаменитых и всем известных повестях и романах первых наших беллетристов, настоящего мужицкого языка. Есть только намеки на мужицкий язык, неловко записанные мужицкие фразы. Порою мужицкий язык наших писателей похож на действительный мужицкий язык точно так же, как народные песни Славянского на действительные народные песни [9]. Здесь еще не явилось «Островского»...

Графиня говорила с автором «Банкрута» более, чем с кем-нибудь, и просила его бывать у нее по субботам вечером. Такие же приглашения получили и еще несколько лиц, бывших тогда у Погодина, и сам Погодин. Так возникли «субботы Ростопчиной», сначала посещаемые весьма небольшим кружком литераторов и артистов, но потом стало являться их больше и больше, как местных, так и приезжих. Завязь кружка составляли: Островский [10], Мей, Филиппов, Эдельсон, до некоторой степени скульптор Рамазанов, артисты сцены Щепкин и Самарин. Кое-когда заглядывали: писатель прежних времен Н. Ф. Павлов, С. А. Соболевский, только что воротившийся тогда из продолжительных странствий за границей, bon vivant * со средствами, когда-то друг Пушкина и Мицкевича, произносивший поминутно острые эпиграммы; натуралист Северцов, ученый, несносный оригинал; Ю. Н. Бартенев, говоривший особым языком, в большинстве случаев человек скучный; графиня его недолюбливала; далее — Бегичев, светский, красивый вертопрах, любивший возиться с литераторами и актерами. Он привел к графине писателя немудрых свойств Вонлярлярского, странствовавшего по Востоку

* человек, любящий пожить в свое удовольствие *(франц.)*.

и стрелявшего в Африке львов с известным зуавским офицером Жюль Жераром.

Из петербургских писателей и артистов мелькали: Григорович, Тургенев, Майков... Из дам бывали преимущественно: супруга московского вице-губернатора Новосильцева (которую, по оригинальному ее имени, в городе называли просто «Меропа»), разбитная барыня Рябинина и др.

Из иностранцев у графини показывались во время пребывания в Москве: Лист, Шульгоф, Марио, Рашель, Виардо-Гарсия, Фанни Эльслер. Рашель была предметом исключительного обожания графини: место, где она сиживала в гостиной, закладывалось подушкой, и никто не смел на него сесть. Кто-то раз, не зная ничего об этих чудесах, хотел было плюхнуть и уже устранил подушку; графиня бросилась, положила подушку на прежнее место и сказала: «Тут нельзя сидеть: тут вчера сидело божество!»

Для Фанни Эльслер устроен был Ростопчиными в одном из верхних покоев пышный завтрак, вроде обеда. Она приехала в таких кружевах, которые долго не давали спать хозяйке... У Ростопчиных была абонирована ложа на все ее представления, где сиживал временами и граф, говоривший очень серьезно своим знакомым, что он «потому ездит смотреть на Фанни Эльслер, что она более, чем кто-либо, напоминает совершенством своего телосложения арабскую кобылу».

Погодин долго не показывался на субботах Ростопчиной. Его принесло, как нарочно, тогда, когда у графини между разными гостями была и Фанни Эльслер. Он посидел несколько минут, посмотрел, выпил чашку чаю и невидимо скрылся. Потом, кажется, ни разу не был. Вечер Ростопчиной, который Михаилу Петровичу случилось видеть и на котором по преимуществу говорили по-французски для знаменитой гостьи, показался ему так мало похожим на русские литературные вечера, что повторять этих неопределенных спектаклей он уже не хотел.

На самом деле эти вечера и без иностранных гостей заключали в себе очень немного литературных элементов: пили чай, изредка ужинали и болтали о разных разностях: о замечательных спектаклях, о жизни выдающихся чем-нибудь русских и иностранцев (так Гри-

горович рассказал однажды весьма игривую историю из заграничных похождений известного богача Анатолия Демидова); о светских интригах и романах прежнего и настоящего времени. Зацепляли иногда и литературные приключения. Были случаи, когда кто-нибудь рассказывал свое чем-нибудь замечательное прошлое. Такие рассказы Щепкина были всегда чрезвычайно занимательны, да и рассказывал он превосходно, как бы читал по книге. Многое, впрочем, рассказывал он сотый раз. Литературные чтения устроивались очень редко. Они состояли обыкновенно из новых произведений самой хозяйки, большею частью длинных-предлинных романов и драм, наводивших на слушателей непомерную скуку. Графиня была в этом случае беспощадна: прослушай непременно все, а не отрывок! Авторское самолюбие, предположение, что все, что она напишет,— занимательно, мешали ей видеть, как иные во время ее чтений зевают...

Один из позднейших знакомых Ростопчиной, поэт Щербина, находившийся в Москве в конце сороковых годов, послал в один из тогдашних петербургских юмористических листков карикатуру с изображением «литературного вечера у Ростопчиной», где она читает что-то, на одном конце стола, обложившись книгами. Иные тома лежат даже на полу, около кресла: все это предполагается прочесть залпом, без отдыху! Кругом — наиболее известные посетители суббот графини. Все — портреты. Подпись гласит: «Чтобы чтение вполне удалось и никто не ушел, не дослушав пьесы, приняты надежные меры». Этими надежными мерами были два огромных бульдога, лежащие у запертых дверей *. К ним идет Щербина — и останавливается, так как бульдоги оказывают беспокойство [11]. <...>

Бывали у графини посетители на один раз: представиться, посмотреть на автора «Насильного брака» и исчезнуть, а потом рассказывать знакомым, что он «бывает на вечерах графини Ростопчиной, что там очень мило и весело»...

В числе таких одноразовых посетителей случился один до крайности простодушный, без всяких задних

---

* У графини было в самом деле два огромных бульдога, самого кроткого свойства. Один назывался Сладкий. *(Прим. Н. В. Берга.)*

мыслей и претензий, человек: рыбный торговец из Замоскворечья, Мочалов, большой приятель Островского, с которым они вместе кучивали в кофейне Печкина [12].

Мочалов этот — тип замоскворецкого купца: коренастый, румяный, в поддевке, в больших сапогах, волосы в кружок, густая борода,— сделался каким-то образом поклонником стихотворного таланта Ростопчиной, читал и заучивал ее стихи и говорил, что «лучше этого по-русски ничего не написано». Он нередко приставал к Островскому за бутылкой шампанского: покажи да покажи ему графиню Ростопчину!.. «Отчего бы тебе меня ей не представить? Всего на одну минуточку: поклонюсь до земли, поцелую ручку, и был таков!» Островский наконец не выдержал атак замоскворецкого приятеля и решился просить у графини для него аудиенции. Разумеется, сказано было, что это человек, помешанный на ее стихах. Графиня с удовольствием услышала о существовании такого поклонника за Москвой-рекой, в рыбной лавке, и пожелала его видеть. Островский должен был привезти его лично. Назначили день. Графиня приготовила у себя кое-какие эффекты: велела затопить камин (так как это было зимою), оделась очень внимательно, накинула на себя розовую шубку, подбитую соболями (ту самую, в которой она изображена на портрете Тропинина), и стала ожидать гостей. Они прибыли аккуратно. Мочалов сел на краешке стула, едва смел дохнуть, поглядывал благоговейно то на хозяйку, то на ее одежду, то на севрские фарфоры кругом и на все, что показывало, что он имеет дело с самой высшей аристократией, понимающей, как надо жить, когда имеешь средства, где и что поставить. Говорил он немного: что называется, «прильпне язык к гортани!». Но зато она сыпала речами безумолчно и совсем околдовала своего замоскворецкого гостя. Он вышел, не помня себя от радости, целуя Островского и думая, что все виденное им было не что иное, как сон...

Что было делать после этого невыразимо счастливому рыбному торговцу? Как и чем высказать свету свое блаженство, какого он, не дальше как накануне, и не чаял? Кутнуть напропалую с приятелем, без которого ничего бы этого не случилось? Но это так просто; это бывает и без того почти всякий день. Нет, нужно заставить гулять, если можно, всех, целый белый свет!

Вот что надо попробовать устроить, в каких ни на есть размерах.

С такими мыслями прибыли они в кофейню Печкина. Приказано было «подать закуску и, кроме того, предлагать всем приходящим в течение того времени, пока Островский с Мочаловым завтракают, спрашивать, что угодно из кушаний и вин, и денег за это не брать, а писать на счет Мочалова». Разумеется, кто принял такое предложение, кто не принял. Но счет, поданный Мочалову при выходе его из кофейни, был все-таки довольно серьезен... <...>

Тем временем, когда все это происходило, автор «Банкрута» вел при помощи Погодина переговоры с цензурой, как бы эту пиесу, наделавшую столько шуму, напечатать [13]. Никто из московских цензоров не хотел пропустить ее в печать. Нужно было двинуть какие-либо исключительные силы; обратились к попечителю московского учебного округа, генерал-адъютанту Назимову, человеку с большим значением при дворе: он мог разрешить печатание своею властию и разрешил. Цензор сказал Островскому: «Все приказано пропустить; я не смею урезать ни одной строки. Уступите мне только, я вас покорнейше прошу, заглавие: назовите пиесу как-нибудь иначе, а не «Банкрут», да еще позвольте уничтожить в тексте поговорку: «Нельзя же комиссару без штанов: хоть худенькие, да голубенькие!» Островский заменил название «Банкрут» поговоркой: «Свои люди — сочтемся!» (кратко говорилось: «Свои люди»). А из того, что было желательно цензору изменить или уничтожить в тексте, оставлено только начало фразы: «Нельзя же комиссару...»

Вследствие хлопот, которые приложил Погодин к пиесе со стороны цензурной, было решено, что «Свои люди» будут непременно напечатаны в «Москвитянине» [14]. А. А. Краевский приезжал из Петербурга в Москву, как говорили, специально затем, чтобы приобресть «Банкрута» для «Отечественных записок» [15], был у автора в скромном его жилище у Серебряных бань, видел скромную обстановку его жизни, сравнил это в мыслях с пышной обстановкой ближайших к нему петербургских литераторов: Некрасова, Панаева, Дудышки-

на и уехал домой ни с чем, хотя предлагал будто бы, как Ричард III, «полцарства за коня»[16]... Потом пиесу дали на сцене. Шла она также и в некоторых частных театрах, между прочим, в театре богатой помещицы Пановой, в доме ее на Собачьей площадке[17]. Роль Подхалюзина играл сам автор. Так, как он играл эту роль и даже вообще «читал эту пиесу», играть и читать никому не приходится. Иные актеры пробовали учиться у него с напеву, затвердить за ним хотя несколько важнейших фраз, ничего не выходило. Садовский сам признавался в бессилии играть так Большова, как Островский читает. Однако не все выходило у Островского в чтении столько же совершенно, как «Свои люди». В других, последующих пиесах, он читал иные роли слабо. <...>

<2>

<...> Когда умер Гоголь и город хоронил его торжественно, Островский, пройдя некоторое время за гробом пешком[18] вместе с другими ближайшими к покойному лицами, сел потом в сани Никулиной[19] и ехал медленно в числе многих провожатых до самого кладбища, разговаривая с своей спутницей о чем случится. В виду Данилова монастыря, его церквей и колоколен, Любовь Павловна размечталась и стала припоминать разные случаи своего детства, как отрадно звонили для нее колокола ее родного города... Спутник все это слушал, слушал вещим, поэтическим ухом — и после вложил в один из самых удачных монологов Катерины... в «Грозе». <...>

И. Ф. Горбунов

ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

I

В начале декабря 1849 года на письменном столе в кабинете покойного учителя моего Н. В. Берга [1] я увидел четыре тетрадки, сложенные в четверку, писанные разными почерками. На обложке первой было крупно написано «Банкрот». Это слово зачеркнуто, и под ним тоже крупно: «Свои люди — сочтемся!», комедия в 4 действиях, соч. А. Островского».

«Какое приятное занятие, эти танцы! Что может быть восхитительнее!..» — начал читать я.

Этот монолог охватил все мое существо, я прочитал всю пиесу, не вставая с места.

— Позвольте списать, Николай Васильевич! — обратился я к Бергу.

— Сегодня я должен отдать назад. Островский будет читать ее у Матвея Григорьевича Попова (университетский товарищ Александра Николаевича). Пиеса вряд ли будет напечатана.

В тот же день в обед я пришел к Матвею Григорьевичу Попову и предложил ему свои услуги переписать пиесу с тем, чтобы один экземпляр оставить у себя. Писал я в то время отлично.

— Вероятно, автор нам это позволит, — отвечал Матвей Григорьевич и тотчас же усадил меня в своем кабинете, дал мне какую-то необыкновенную, глянцевитую бумагу, на которой писать так же было трудно, как

на стекле, тем более что и перья тогда употреблялись более гусиные.

Около восьми часов вечера в кабинет вошел белокурый, стройный, франтовато одетый (в коричневом, со светлыми пуговицами, фраке и — по тогдашней моде — в необыкновенно пестрых брюках) — молодой человек лет двадцати пяти. Набил трубку табаку, выпустил два-три клуба дыму и сбоку, мельком взглянул на мое чистописание.

Это был А. Н. Островский.

— Позвольте вас спросить,— робко обратился я к нему,— я не разберу вот этого слова.

— «Упаточилась»,— отвечал он, посмотрев в тетрадку,— слово русское, четко написанное.

Спросил я, впрочем, не потому, что не разобрал этого слова, а просто я горел нетерпением услыхать его голос.

В восемь часов в зале началось чтение. Мы с братом Матвея Григорьевича слушали из кабинета. До конца, до мельчайших подробностей ведомый мне мир, из которого взята пиеса, изумительная передача в чтении характера действующих лиц произвели на меня неизгладимое до сих пор впечатление.

В течение декабря и января я переписал пиесу три раза и выучил ее наизусть. Она была напечатана в мартовской книге «Москвитянина» 1850 года, но играть ее на сцене не дозволили. Автор был взят под надзор полиции [2].

— Это вам больше чести,— сказал ему граф Закревский, лично объявляя Островскому распоряжение высшего начальства. Граф Закревский любил произведения Островского. Пиесы «Свои люди — сочтемся!» и «Бедность не порок» автор читал у него в доме.

Надзор был снят по всемилостивейшему манифесту при вступлении на престол императора Александра II.

— Позвольте вас поздравить! —с улыбкою сказал Александру Николаевичу квартальный надзиратель, объявляя ему о снятии с него надзора.

— Вас тоже позвольте поздравить с окончанием беспокойств и поблагодарить, что вы меня здрава и невредима сохранили.

Квартальный расшаркался.

— Кажется, мы вас не беспокоили и доносили об

вас как о благороднейшем человеке. Не скрою, однако, что мне один раз была за вас нахлобучка [3].

Эта встреча с Александром Николаевичем повлияла на всю мою дальнейшую судьбу. Я жил в то время на окраине Москвы, в захолустье, и давал уроки в небогатых купеческих домах.

Я был страстный любитель театра. С одним приятелем мы ходили в Малый театр чуть не каждый день и сидели всегда в райке. У нас были там свои привилегированные места, которые занимать никто не мог, потому что мы забирались в театр до спуска средней люстры [4]. Соседями нашими были большею частью студенты Московского университета и один почтенный учитель русской словесности Андрей Андреевич, всегда ходивший в синем форменном фраке и белом галстуке. Он постоянно вступал со студентами в спор о пиесе и ее исполнителях. <...>

С появлением на сцене комедии Островского «Не в свои сани не садись» на московской сцене начинается новая эра [5]. Я был на первом представлении этой комедии. Она была дана в бенефис Косицкой. Взвился занавес, и со сцены послышались новые слова, новый язык, до того не слыханный со сцены; появились живые люди из замкнутого купеческого мира, люди, на которых или плевал с высоты своего невежества петербургский драматург Григорьев «с товарищи», заставляя их говорить несуществующим, сочиненным, дурацким языком, или изображал их такими приторными патриотами, что тошно было смотреть на них.

Например, в одном водевиле из народного быта мужик поет:

Русских знает целый свет,
Не с руки нам чванство...
Правду молвил я иль нет,

(Обращаясь к публике.)

Пусть решит дворянство [6].

Посреди глубокой тишины публика прослушала первый акт и восторженно, по нескольку раз, вызвала исполнителей. В коридорах, в фойе, в буфете пошли толки о пиесе. Восторгу не было конца! Во втором акте, когда Бородкин поет песню, а Дунюшка останавливает

его: «Не пой ты, не терзай мою душу»,— а тот отвечает ей: «Помни, Дуня, как любил тебя Ваня Бородкин...»,— театр зашумел, раздались аплодисменты, в ложах и креслах замелькали белые платки.

Восторженный ментор наш Андрей Андреевич обтер выступившие на глазах его слезы и произнес:

— Это — не игра. Это — священнодействие! Поздравляю вас, молодые люди, вам много предстоит в жизни художественных наслаждений. Талант у автора изумительный. Он сразу встал плечо о плечо с Гоголем.

Под бурю аплодисментов, без апломба, застенчивый, как девушка, в директорской ложе показался автор и низко поклонился приветствовавшей его публике.

Таланты Васильева (Бородкин) и Косицкой (Дуняша) проявились в этих ролях во всю меру. Совершеннее сыграть было невозможно. Это была сама жизнь. <...>

III

В театре в это время [7] дела шли своим порядком. Из Петербурга прислана была для постановки новая пиеса актера Григорьева «Подвиг Марина» [8]. Из уважения ли к подвигу или по другим причинам эту нелепость сыграли, и успеха она никакого не имела.

В один из спектаклей я узнал от моего приятеля, что Островский написал новую пиесу «Бедность не порок». На другой же день я пошел к Александру Николаевичу. Он жил тогда у Николы в Воробине, под горой, на берегу реки Яузы, в собственном небольшом деревянном домике. Домик этот стоит и поныне. Но... там, в этом домике, где великий художник свои «вещи прсты на живые струны вскладаше» и эти струны пророкотали «Свои люди — сочтемся!», «Грозу», «Воеводу»,— там теперь увеселительное заведение с «распитием на месте».

Александр Николаевич принял меня крайне ласково, и я стал перелистывать пиесу у него в кабинете. На другой день его посетил Аполлон Александрович Григорьев. Не придавая никакого значения своим рассказам — у меня их в то время было три: «Сцена у квартального надзирателя», «Сцена у пушки» и «Мастеровой»,— я рассказал сначала одну сцену, потом другую,

потом третью, Аполлон Александрович затребовал продолжения, но у меня больше не было. Александр Николаевич сдержанно, а Аполлон Александрович восторженно похвалили меня. «Вы наш!» — воскликнул он, ударяя меня по плечу.

Дня через два Александр Николаевич читал пиесу у себя. Собрались ее слушать: Н. А. Рамазанов, П. М. Боклевский, А. А. Григорьев, Евг. Н. Эдельсон, Б. Н. Алмазов, А. И. Дюбюк и другие; ждали П. М. Садовского, но он не был. Всем присутствовавшим пиеса была уже известна: они слушали ее во второй раз. После чтения Александр Николаевич предложил мне рассказать мои сцены. Успех был полный. С этого вечера я стал в этом высокоталантливом кружке своим человеком. Евг. Н. Эдельсон стал мне давать небольшие книжки для рецензии в «Москвитянин», а Аполлон Александрович настоятельно требовал, чтобы я написал что-нибудь для журнала. Я написал небольшую сцену «Просто случай», помещенную потом в «Отечественных записках» 1855 года [9].

Александр Николаевич меня выводил в свет до Погодина включительно. Мы были несколько раз у гр. Е. П. Ростопчиной, у С. А. Пановой. Она жила на Собачьей площадке. Сын ее Николай Дмитриевич, страстный любитель музыки и литературы, устраивал у себя спектакли. В одном из спектаклей участвовал Александр Николаевич в роли Маломальского [10], а я вышел в первый раз на сцену в роли полового.

На этом спектакле я в первый раз познакомился с Провом Михайловичем Садовским. Он остался очень доволен рассказами, и я несказанно был счастлив, что вызвал смех у царя смеха.

— Приходите ко мне каждый день,— сказал мне на прощанье Пров Михайлович.

И стал я к нему ходить каждый день, и привязался я к этому редкому человеку и гениальному артисту всей душой, и пользовался его взаимной любовью до конца его дней. Он тоже полюбил меня и поручил мне обучение своего сына Миши грамоте. Мальчик оказался чрезвычайно способным, и мне не стоило никакого труда заниматься с ним.

Принимала также участие в спектаклях Н. Д. Панова, графиня Ростопчина, сама писавшая для себя не-

большие пиески, обыкновенно в два-три лица, и разыгрывала их с И. В. Самариным, актером московского театра. Режиссерскую часть принимали на себя Н. А. Рамазанов и Н. И. Шаповалов. Спектакль заключался дивертисментом, в котором участвовали А. И. Дюбюк, П. М. Садовский и я.

Гостеприимные двери Ап. Ал. Григорьева радушно отворялись каждое воскресенье. «Молодая редакция» «Москвитянина» бывала вся налицо: А. Н. Островский, Т. И. Филиппов, Е. Н. Эдельсон, Б. Н. Алмазов, очень остроумно полемизировавший в то время в «Москвитянине» с «Современником» под псевдонимом Ераста Благонравова [11]. Шли разговоры и споры о предметах важных, прочитывались авторами новые их произведения. Так, Борис Николаевич в описываемое мною время в первый раз прочитал свое стихотворение «Крестоносцы»; [12] Ал. Ант. Потехин, только что выступивший на литературное поприще, свою драму «Суд людской — не божий»; А. Ф. Писемский, ехавший из Костромы в Петербург на службу, устно изложил план задуманного им романа «Тысяча душ». За душу хватала русская песня в неподражаемом исполнении Т. И. Филиппова; ходенем ходила гитара в руках М. А. Стаховича; сплошной смех раздавался в зале от рассказов Садовского; Римом веяло от итальянских песенок Рамазанова.

Бывали на этих собраниях: Алексей Степанович Хомяков, Никита Иванович Крылов, Карл Францевич Рулье. Из музыкально-артистического мира: А. И. Дюбюк, И. К. Фришман, певец Бантышев и др. Не пренебрегал этот кружок и диким сыном степей, кровным цыганом Антоном Сергеевичем, необыкновенным гитаристом, и купцом «из русских» Михайлом Ефремовичем Соболевым, голос которого не уступал певцу Марио.

Чуть не каждый день Александр Николаевич уезжал куда-нибудь читать свою новую пиесу. Толков и разговоров об ней по Москве было много. Наконец она назначена к представлению. Роли были розданы, и автор прочел ее артистам в одной из уборных Малого театра.

Часто посещая Прова Михайловича за кулисами во время репетиций и спектаклей, я перезнакомился со всеми артистами. Московская труппа того времени сияла своими талантами. Маститый ветеран сцены Щеп-

кин хотя и готовился к празднованию своего пятидесятилетнего юбилея, но талант его не пропал. Городничий, Фамусов, Утешительный [13] являлись на сцене все теми же нестареющими созданиями. Колоссальный талант Садовского после исполнения им купца Русакова [14] в «Не в свои сани не садись» Островского вырос во всю меру; молодое дарование Сергея Васильева проявилось во всем блеске. Самарин в своем неблагодарном репертуаре молодых людей стоял очень высоко; Шумский, вернувшийся из Одессы, сразу занял в труппе почетное место. А какие были первоклассные актеры: Живокини, Никифоров, Степанов!.. Женский персонал, хотя сравнительно и бедный по количеству, — не отставал от мужского по качеству. Какие слезы извлекала у зрителей Л. П. Косицкая, какими живыми лицами являлись на сцене Агр. Тим. Сабурова, С. П. Акимова и сестры Бороздины — Варвара и Евгения; с какой художественной правдой передавала свои роли Екат. Николаевна Васильева!

Мнения в труппе относительно новой пиесы разделились. Хитроумный Щепкин, которому была назначена роль Коршунова, резко порицал пиесу. Он говорил: «Бедность — не порок, да и пьянство — не добродетель». Шумский следовал за ним. Он говорил: «Вывести на сцену актера в поддевке да в смазных сапогах — не значит сказать новое слово». Самарин, принадлежавший к партии Щепкина, хотя и чувствовал, что роль (Митя) в новой пиесе ему не по силам,— молчал. А Петр Гавр. Степанов говорил: «Михайлу Семенычу с Шумским Островский поддевки-то не по плечу шьет, да и смазные сапоги узко делает,— вот они и сердятся». Точно: ни ветерану русской сцены, ни блестящему первому любовнику Самарину, ни прекрасному (водевильному в то время) актеру Шумскому новые, неведомые им типы Островского не удавались. «Новое слово» великого писателя застало их врасплох. Для этого «слова» выдвинулись свежие, молодые силы в лице С. В. Васильева и Л. П. Косицкой, и, соединившись с Садовским и Степановым, поставили репертуар Островского так высоко, что он на долгое время сделался господствующим на московской сцене.

Михаил Семенович должен был посторониться, и, мне кажется, в этом и вся причина его нерасположения

к пиесам нового писателя. Невозможно, чтобы величайший из русских артистов, видавший на своем веку всякие виды, живший духовной жизнью в самом ученом и образованном кругу, пятьдесят лет прослуживший драматическому искусству,— мог не понять таких созданий, как «Свои люди — сочтемся!», «Бедная невеста», «Не в свои сани не садись»... а он прямо говорил, что он их не признает, а об «Грозе» отзывался с отвращением. В споре об этой пиесе он до того разгорячился, что стукнул костылем и со слезами сказал:

— Простите меня! Или я от старости поглупел, или я такой упрямый, что меня сечь надо.

Садовский объяснил это по-своему:

— Ну, положим, Михайло Семенович может дурить на старости лет: он западник, его Грановский наспринцовывает,— а какой же Шумский западник?

Объясняли это еще тем, что круг, в котором вращался Михаил Семенович, так называвшиеся в то время «западники» (Грановский, Кудрявцев, Катков), неприветливо смотрел на нового автора, который за принадлежность к «молодой редакции» «Москвитянина» сопричтен был к лику славянофилов [15].

Мы участвовали на литературном утре в московской четвертой гимназии в доме Пашкова. Читали: А. Н. Островский, П. М. Садовский, М. С. Щепкин, С. В. Шумский, И. В. Самарин и я. Блестящая публика собралась на наше чтение тем более, что сбор с него поступал в одно из благотворительных заведений и раздачу билетов приняли на себя дамы высшего света.

Вышел на эстраду Михайло Семенович. Долго неумолкавшим громом рукоплесканий встретила его публика. Кончился восторженный прием. Михаил Семенович стоит молча... Аплодисменты раздаются снова... Молчание.

— Старик забыл,— говорит Шумский.

Гробовое молчание.

— Столбняк нашел! Надо выйти подсказать,— говорят.

На меня пал жребий идти на эстраду.

Что подсказать? Кажется, на афише не было назначено, что он будет читать. Кто говорит — «Полководец» Пушкина; кто говорит — про «Жакартов станок» [16] — стихотворение, которое он читал часто. <...>

Я вышел на эстраду и сказал совсем растерявшемуся Михаилу Семеновичу первый стих:

Честь и слава всем трудам...

Старик воспрянул и с страстным одушевлением прочитал стихотворение (это было за два года до его смерти).

— Что с вами, Михаил Семенович? — окружили его, когда он вошел в залу, из которой выходили на эстраду.

— Да уж, должно быть, к праотцам пора! А тебе большое спасибо! — обратился он ко мне,— я думаю, тебе конфузнее было выходить, чем мне молча стоять.

— Мы не знали, что вы хотите читать: мы думали подсказать вам «Полководца»,— сказал Самарин.

— Совсем бы зарезали! «Полководца» уж я давно не читал, а это-то сегодня раза три пробежал,— отвечал Щепкин.

С потоком слез обнял он меня и в то же время Островского. Сцена была чувствительная. Не помню слов, какие говорил Щепкин, но помню, что Александр Николаевич очень растрогался.

— Какой счастливый Александр Николаевич,— сказал Садовский, когда мы пошли домой.

— Чем?

— Как чем? Михаил Семенович-то «приидите поклонимся» ему сделал. <...>

IV

Мы все ждали с нетерпением первого представления «Бедность не порок». Начались репетиции, и мы с Александром Николаевичем бывали на сцене каждый день. Наконец пиеса 25-го января 1854 года была сыграна и имела громадный успех. Садовский в роли Любима Торцова превзошел самого себя. Театр был полон. В первом ряду кресел сидели гр. Закревский и А. П. Ермолов, большой почитатель Садовского.

— Шире дорогу — Любим Торцов идет! — воскликнул по окончании пиесы сидевший с нами учитель российской словесности, надевая пальто.

— Что же вы этим хотите сказать? — спросил студент,— я не вижу в Любиме Торцове идеала. Пьянство — не идеал.

— Я правду вижу! — ответил резко учитель,— да-с, правду. Шире дорогу! Правда по сцене идет. Любим Торцов — правда! Это — конец сценическим пейзанам, конец Кукольнику: воплощенная правда выступила на сцену.

«Московские ведомости», единственная тогда газета, не обмолвились ни одним словом о новой пиесе; лишь Н. Ф. Щербина почтил автора злостной эпиграммой [17].

Вплоть до масленицы пиеса не сходила с репертуара, несмотря на то что ее загораживала гостившая в то время в Москве знаменитая Рашель. Москва чествовала ее по-московски: в последний спектакль на масленице, в воскресенье, ей поднесен был от публики серебряный кубок с изображением московского герба; М. С. Щепкин поднес ей каллиграфическую рукопись «Сцены из скупого рыцаря» [18]. К рукописи были приложены картинки, заимствованные из содержания сцен, два вида Москвы и французские стихи, «мастерски написанные женщиной-поэтом», как сказано в «Московских ведомостях». Говорили, что стихи писала гр. Ростопчина. Западники были в полном увлечении от Рашели, а славянофилы воздавали «коемуждо по делам его». Ап. Алек. Григорьев ответил Щербине тоже эпиграммой и написал стихотворение «Рашель и правда» [19]. Злоба Щербины не имела границ. Он, кроме своей эпиграммы, поддерживал еще клевету на Александра Николаевича в плагиате первой комедии. Клевета эта печатно поднималась два раза, пока не вызвала протеста Александра Николаевича, напечатанного в «Современнике» [20]. Клеветники приписывали пиесу купеческому сыну Гореву, который написал ужаснейшую дребедень под заглавием «Сплошь да рядом», напечатанную в «Отечественных записках» [21]. Один актер [22] хлопотал о пропуске ее в Театрально-литературном комитете. Комитет, будучи последователен в притеснении Островского, эту пьесу пропустил [23] и вскоре «ничтоже сумняся» забраковал прелестнейшую комедию Островского «Свои собаки грызутся». Спустя год министр двора гр. Влад. Фед. Адлерберг велел пиесу пересмотреть вновь,— другими словами — пропустить. Пиеса была сыграна с большим успехом и долго оставалась на репертуаре, а член Театрально-литературного комитета Ротчев после первого представления написал в «Инвалиде» о неуспехе пиесы

и окончательном падении таланта Островского. Из четырех членов Театрально-литературного комитета, подавших голос против пиесы, остались неизвестными для потомства три; четвертый — этот заявил себя печатно (А. Г. Ротчев), отозвавшись крайне неодобрительно и с чувством озлобления. Я написал против его отчета несколько слов в «Северной пчеле»[24] и дорого за это поплатился. Мне было сделано от начальника репертуара строгое внушение, что, состоя на службе и т. д. Сколько я ни оправдывался, что это дело частное, нисколько до службы моей не относящееся, но начальство стояло на своем. De mortuis[25]... но Ротчев не был в театре и пиесы не видал и был в этом уличен. Подобные отчеты бывали прежде нередко. Писались даже отчеты заблаговременно. <...>

В одну из поездок по Волге,— в Казани я познакомился с Горевым: он был актером в казанской труппе. Это был настоящий Любим Торцов: оборванный, обдерганный пьяница, неоднократно подвергавшийся припадкам белой горячки, человек буйный. Перед моим с ним знакомством он только что вышел из больницы, где его лечили от нанесенной ему каким-то трагиком в живот раны той же самой посудой, из которой они вместе пили. Да не подумайте, что я кладу очень густые краски на эту личность для того, чтобы выставить ее рельефнее,— нет! — это есть истинная правда. В дни оны подобные люди представляли тип. Они обыкновенно выходили из разоренного купеческого гнезда. Разорился, например, купец, и побрели розно все родственники, составлявшие дом: «купеческие братья», «купеческие племянники», тетки и т. п. Бессильные и дряхлые, ставшиеся на паперти церковной, тетки расползаются по пустыням и монастырям, в которых они прежде считались благодетельницами. Молодежь, вкусившая на дядин капитал всех прелестей прежней Нижегородской ярмарки с ее историческим селом Кунавиным, с трактирами Никиты Егорова, Барбатенки и т. п., путались по Москве без всякого дела. Иные пристраивались к какому-нибудь певческому хору, другие продавались в солдаты, а некоторые поступали в актеры. Таких актеров прежде в провинции можно было встретить много. Горев происходил именно из разоренного купеческого гнезда. Я не могу понять, каким образом литературным

людям, беседовавшим с Горевым, могло прийти в голову, что он мог написать такую высокую комедию, как «Свои люди — сочтемся!». Ведь это был человек необразованный, даже мало развитой. С особенным чувством эта клевета поддерживалась в одном петербургском литературном кружке [26]. В 1846 году Тертий Ив. Филиппов познакомился с Островским и застал пиесу черновою. Сам он третий акт переписывал с Ник. Вас. Кидошенковым.

Вероятно, эту сплетню распустил сам Горев, потому что не на одного Островского он посягнул: Горев впоследствии присваивал себе пиесу Чернышева «Не в деньгах счастье», но эта сплетня дальше актерского кружка не пошла.

Горев в разговоре со мною уклонялся разъяснить мне эту гнусную историю, но назвал лиц, которые ему покровительствовали в Москве. Это был несчастный человек, страдавший галлюцинациями. Он умер, подавившись рыбной костью.

Вслед за Островским попробовали свои силы в изображении купеческого быта актер Красовский, написавший комедию «Жених из ножовой линии», Михаил Николаевич Владыкин, написавший пиесу «Купец Лабазник». Она и до сих пор играется в провинции, но в Москве была снята после нескольких представлений по распоряжению гр. Закревского, и вот почему. Владыкин был военный инженер; написал свою комедию в Петербурге. Главное действующее лицо в пиесе был купец Голяшкин. Эту роль в Москве играл Садовский. На несчастье автора, в Москве отыскался не вымышленный, а настоящий купец Голяшкин. Пошел по купечеству разговор. Заходили слухи, что племянники Голяшкина, по злобе на дядю, заказали написать пиесу, чтобы «напустить на него мараль». Хотя в пиесе никаких намеков на настоящего Голяшкина не было, но все-таки она была снята в уважение заслуг его по благотворительным учреждениям. Запрещение мотивировали тем, что в пиесе унижается благородное сословие.

За Владыкиным выступил ходатай по судам от купечества Н. З. Захаров, которого купцы звали Сахар Сахарычем. Не помню названия его пиесы [27]. Она успеха не имела и дана была только один раз. Затем напи-

сал пиесу купец Солодовников. Этому творению не суждено было восхищать публику: оно осталось в конторке у автора. Оба эти произведения кружились около «Свои люди» и «Не в свои сани». Далее принес на рецензию к Александру Николаевичу пиесу из купеческого быта Осипов: ее не играли, но впоследствии она была напечатана в «Отечественных записках»[28].

В течение трех лет три пиесы нового автора («Бедная невеста», «Не в свои сани» и «Бедность не порок») сделали крупный поворот драматического репертуара на новую дорогу. Затребовались бытовые пиесы. Этому повороту помогли одновременно с первой пиесой Островского появившиеся на сцене пиесы: Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского», драма «Расставанье» Родиславского, потом пиесы из народного быта: «Суд людской — не божий» А. А. Потехина и другие. Полевой, Кукольник, Ободовский и вся французская мелодрама сошли со сцены. Мелодраму, впрочем, изредка поддерживал М. С. Щепкин, неподражаемо исполняя роль матроса[29] в пиесе того же названия. Шекспир, немножко сконфуженный Самариным в роли Гамлета[30], тоже посторонился и дал дорогу новому репертуару, тем более что Леонид Львович Леонидов, лучший представитель каратыгинских традиций, вызванный в Москву для замещения Мочалова, был снова вызван в Петербург для замещения скончавшегося Каратыгина. <...>

VI

После трех пиес А. Н. Островского на сцене сделался крутой поворот в другой репертуар. Этот поворот тотчас отразился и на провинции, где царила и переводная и доморощенная трагедия и драма. В знаменитой «Белой зале» (в гостинице Барсова против Малого театра), в которую великим постом съезжались актеры со всего лица земли русской, антрепренеры стали искать между сценическими деятелями уже не Гамлета, а Любима Торцова, отстраняли Симона-сиротинку[31], а требовали Бородкина.

Вслед за последней пиесой Александр Николаевич сел за новую — «Не так живи, как хочется». Писал он ее долго, с большими перерывами[32]. В то время я жил

у него и следил за процессом его творчества. Писал он обыкновенно ночью,— не знаю, как впоследствии. На полулисте бумаги было сначала небрежно написано что-то вроде конспекта. Привожу его в точности.

Божье крепко, а вражье лепко.

Это зачеркнуто, а сверху написано:

Не так живи, как хочется.
Лица.

Старик.
Старуха.
Чует мое сердце, не доброе оно чует.
Монастырь.
Настали дни страшные. Опомнись!
Широкая масленица.
Груша.
Девушки.
Вася.
Ну, пияй! ты меня пиять хочешь.
Еремка — олицетворение дьявола.
Уж я ли твоему горю помогу,
Помогу, могу, могу.
Ночь.
Прорубь на реке. Удар колокола.
(Входит старик.) (Балалайка.)
Сирота ты моя, сиротинушка!
Ты запой, сирота, с горя песенку.

Посетившему его артисту Корнилию Николаевичу Полтавцеву Александр Николаевич рассказал пространно, с мельчайшими подробностями, содержание пиесы, но из-под пера вышло не то, что он рассказывал (по рассказу сюжет был гораздо шире),— может быть, оттого, что в это время он очень болел глазами, а пиесу нужно было окончить к бенефису.

Перед тем как сесть писать, Александр Николаевич обыкновенно долго ходил по комнате или раскладывал пасьянс, который он раскладывал и во время писанья.

— Надо освежить голову,— говорил он,— потруднее какой-нибудь пасьянс разложить.

Но если вообще он писал долго, то бывали пиесы, которые он справлял очень скоро. Например, «Воспитанницу» он написал, гостивши в Петербурге, в три недели; «Василису Мелентьеву» тоже в Петербурге в сорок дней. Процесс писания этой пиесы он называл «искушением от Гедеонова». Директор императорских

театров С. А. Гедеонов передал написанную пиесу Александру Николаевичу, который, оставивши в неприкосновенности сюжет, написал собственную пиесу, не воспользовавшись ни одной сценой, ни одним стихом из творения Гедеонова [33].

VII

Лето 1854 года в политическом отношении было мрачное. Известия в Москве с театра войны получались в то время не с такой быстротой, как теперь, то есть известия официальные. «Столбовые» английского клуба знали все, и «дверем затворенным» рассуждали, не стесняясь, о военных неудачах, «алминском побоище», порицали главнокомандующего князя Меншикова [34]. Рассуждения их урывками попадали в уши клубной прислуги, та переносила в трактир, а трактир распространял их по всей Москве.

— Измена! — заговорило захолустье, и пошло! <...>

В это время репертуар моих рассказов значительно расширился. Александр Николаевич поощрял меня и двигал вперед. Я стал постоянным его спутником всюду, куда он ни выезжал. Рассказы мои сделались известными в Москве: об них заговорили. Пров Михайлович, сам превосходный рассказчик, которому я недостоин был разрешить ремень сапога, относился ко мне с величайшею нежностию и выводил меня, как он выражался, «напоказ».

— Мы завтра, Иван Федорович, будем вас показывать у Боткина.

Дом Боткиных принадлежал к самым образованным и интеллигентным купеческим домам в Москве. В нем сосредоточивались представители всех родов художеств, искусства и литературы, а по радушию и приветливости хозяев ему не было равных. Всякий чувствовал себя как бы в своем доме. Сергей Петрович Боткин, нежный, ласковый, молоденький студент, собирался в то время ехать врачом в Севастополь. Один из братьев Боткиных, Иван Петрович, любил Садовского до обожания, и мы с Провом Михайловичем бывали у него каждую субботу. Александр Николаевич тоже

бывал часто. Добрейшее существо был этот Иван Петрович, а с покойным Павлом Петровичем мы были связаны узами самой тесной и крепкой дружбы. Этот хотя и не выделялся, как братья его, какими-либо талантами, но бог дал ему один талант — голубиную чистоту. До сих пор я питаю к этому дому мою сердечную привязанность и сохранил об нем лучшие мои воспоминания.

Потом мы бывали у Алексея Александровича Корзинкина. Жил он в своем доме на Покровском бульваре. У него собирались музыкальные художники и составлялись квартеты. Сам хозяин был артистическая натура, играл на скрипке и был другом Александра Николаевича по рыбной ловле (Александр Николаевич был в то время страстный рыболов и знал все подмосковные речки и ручейки). М. С. Щепкин бывал на корзинкинских собраниях каждый раз, рассказывал малороссийские анекдоты и читал стихи.

Бывали мы также у С. В. Перлова, у которого был свой оркестр, составленный из его приказчиков и мальчиков. Оркестр этот на тех же началах существует и поныне. Его поддерживает сын покойного Перлова, Василий Семенович.

Бывали на скромных интимных собраниях у К. Т. Солдатенкова, которые посещались художниками и профессорами Московского университета.

Бывали на вечерних беседах у А. И. Хлудова, составителя редчайшей в России староверческой библиотеки.

И много в то время было купеческих домов, двери которых широко отворялись для принятия с почетом всякой умственной и художественной силы.

Бывали и такие дома, которые «для сатирического ума» представляли обильный материал для наблюдения.

Я знал один дом, где хозяин в музыке ничего не смыслил, но в доме у него иногда бывали квартеты, которые ему устраивали известный в то время в Москве скрипач И. К. Фришман и капельмейстер Сакс. <...> Из артистов у него бывали: Садовский и Живокини. Уважение им было великое.

— Верите, Пров Михайлович, я плакал,— говорил он по поводу Любима Торцова.— Ей-богу, плакал! Как подумал я, что со всяким купцом это может случиться... страсть! Много у нас по городу их таких ходит,—

ну, подать ему, а чтобы это жалеть... А вас я пожалел, именно говорю. Думаю: господи, сам я этому подвержен был, ну, вдруг! Верьте богу, страшно стало. Дом у меня теперь пустой, один в нем существую, как перст. И чудится мне, что я уж и на паперти стою, и руку протягиваю... Спасибо, голубчик, многие которые из наших, может, очувствуются. Я теперь, брат, ничего не пью, будет! Все выпил, что мне положено!.. Думаю так,— богадельню открыть... которые теперича старики в Москве... много их... пущай греются. Вот именно мне эти ваши слова: «Как я жил, какие я дела выделывал!» Ну, честное мое слово! — слезы у меня пошли.

А на богатого купца «из русских» Ивана Васильевича Н. Садовский в роли Тита Титыча так подействовал:

— Ну, Пров Михайлович, такое ты мне, московскому первой гильдии купцу Ивану Васильеву Н — ву, уважение сделал, что в ноги я тебе должен кланяться. Как вышел ты, я так и ахнул! Да и говорю жене — увидишь, спроси ее — смотри, я говорю: словно бы это я!.. Борода только у тебя покороче была. Ну, все как есть, вот когда я пьяный. Это, говорю, на меня критика. Даже стыдно стало. Ну, само собой, пьяный и ударишь, кто под руку подвернется, и покричишь... Вот намедни в московском трактире полового Гаврилу оттаскал,— две красненьких отдал. Да ты что! Сижу в ложе-то, да кругом и озираюсь: не смотрят ли, думаю, на меня. Ей-богу!.. А уж как заговорил ты про тарантас, я так и покатился! У меня тоже у Макарья случай с тарантасом был...

И он рассказал, как он, с Нижегородской ярмарки возвращаясь в Москву, три дня не вылезал из тарантаса.

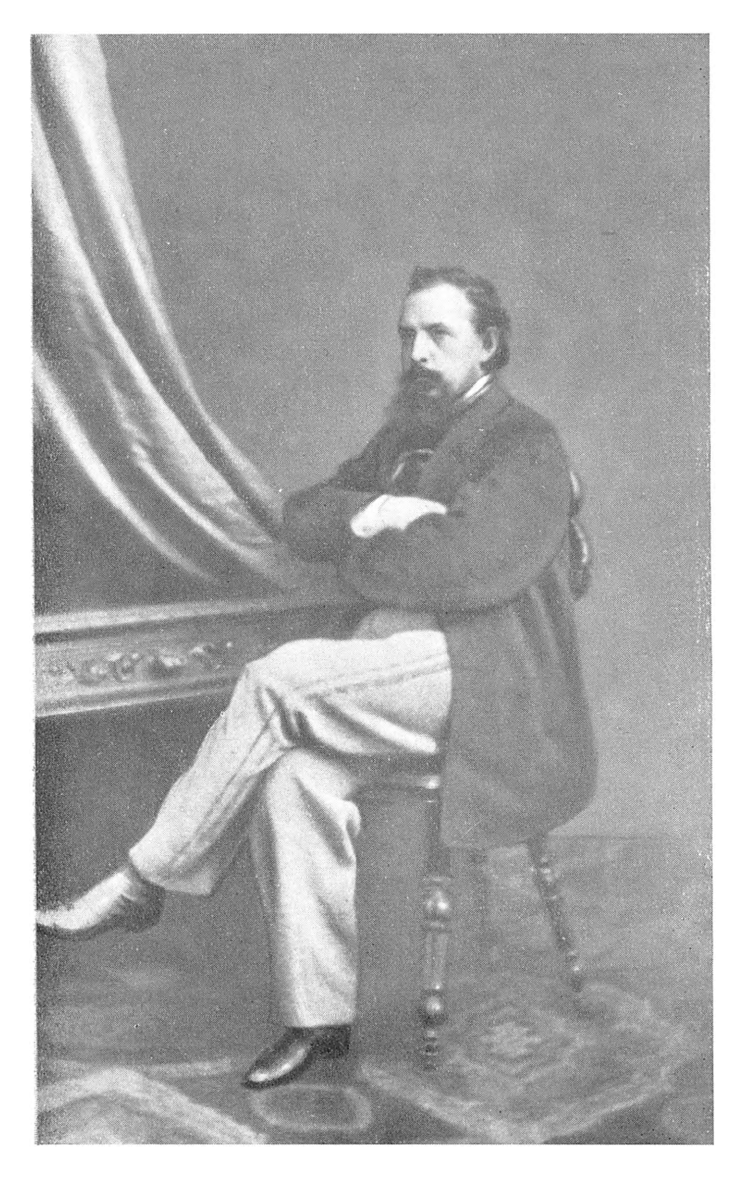
По субботам часть нашего кружка собиралась у Константина Александровича Булгакова, сына московского почт-директора, внука знаменитого Якова Ивановича Булгакова, екатерининского посла, который был заключен в Константинополе в Семибашенный замок. Константин Александрович был отставной гвардеец. В Петербурге ходили целые легенды об его шалостях, на которые тогдашнее начальство, даже сам великий князь Михаил Павлович смотрели снисходительно. Я не буду об них рассказывать здесь, не буду поминать грехи его юности и неведения. Больной телом (он не мог ходить и передвигался по комнате в кресле на

колесах), но бодрый и здоровый духом, отлично образованный, прекрасный рисовальщик, музыкант, без голосу обаятельно передававший суть страстных романсов Глинки, он заставлял любить и жалеть себя; любить — за необыкновенно доброе сердце, жалеть — за растрату богом данных ему даров. В Петербурге по художественной части он принадлежал к обществу Брюллова, Глинки, Кукольника и Яненко, или, как он выражался, к обществу «невоздержных».

Он жил вместе со своим отцом в почтамте. Стены небольшого кабинета его были сплошь увешаны портретами бывших и настоящих его друзей; стояли небольшое пианино, диван, стол и несколько стульев. Садовский посещал его чуть не каждый день, а Максин иногда пребывал у него от зари и до зари: придет, справится о здоровье и уйдет; потом опять появится, опять уйдет,— и так целый день.

Субботние посетители назывались «субботниками». Для них был заведен альбом, в котором они при поступлении в субботники собственноручно вписывали свои фамилии (у меня один альбом сохранился). Князь Петр Андреевич Вяземский значится в числе субботников. Проездом через Москву он бывал у Булгакова. М. Н. Лонгинов, остроумный Борис Алмазов, Рамазанов и Дюбюк были постоянными субботниками и оставили в альбоме много стихов. Каждый из субботников непременно должен был что-нибудь написать в альбом. Вечера были веселые. Живой, остроумный разговор, музыка, пение и застольные беседы часто до утра. Нередко Мих. Сем. Щепкин являлся сюда что-нибудь прочитать. <...>

К осени Островский окончил новую пиесу «Не так живи, как хочется» и прочел ее в первый раз кружку у себя дома. <...>



А. А. Григорьев.
Фотография начала 1860-х годов.

С. В. Максимов

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ

(По моим воспоминаниям)

Если с Большой Лубянской площади пойти по Солянке, мимо Опекунского совета, в котором некогда находилась в закладе и перезалоге почти вся помещичья Россия, повернуть налево, то ударишься (как говорят в Москве) в узкий переулок. Огибая церковь Иоанна Предтечи и делая длинное и кривое колено, Серебрянический переулок приводит на поперечную улицу. Прямо против устья переулка стоял неказистый деревянный дом обычного московского пошиба. Обшит он был тесом и покрашен темною коричневою краской; размерами небольшой, в пять окон. С улицы он казался одноэтажным, так как второй этаж глядел окнами на свой и соседний двор. Дом стоял на самом низу, у подошвы горки, и начинал собою ряд других домов такого же узенького, но на этот раз прямого переулка, примыкающего на верхушке к церкви Николы в Воробине [1].

Московской городской управе на этом некрасивом доме, следуя добрым обычаям петербургской, уже не доведется прибить доску с надписью, напоминающею о том, что, в честь родного слова и во славу отечественного искусства, здесь жил и работал Александр Николаевич Островский. «И ста запустение на месте святе»: [2] домовое место прорезано теперь новым переулком, носящим иностранное имя, вероятно, того фабриканта, который взгромоздил тут же на углу безобразное здание

своего заведения, а против него выстроились два дома, покрашенные голубою краской[3]. <...>

Прямо перед окнами А. Н. Островского расстилался обширный пустырь, принадлежавший народным баням, исстари называвшимся «серебряными»,— и, вероятно, они были первыми в Москве общими и торговыми; по крайней мере, упоминание о них во владенных старых актах относится ко временам царя Алексея. <...>

Из окон второго этажа, который занимал Александр Николаевич в пятидесятых годах, и мы видали виды, которые также ушли в предание: выскакивали из банной двери такие же откровенные фигуры, какие изображены на павловских гравюрах[4]. Срывались они, очевидно, прямо с банного полка, потому что в зимнее время валил с них пар. Оторопело выскочив, они начинали валяться с боку на бок в глубоких сугробах снега, который, конечно, не сгребался. Затем опрометью же эти очумелые люди бросались назад в баню на полок доколачивать, ласково и ругательно, вперемежку, обращаясь к парильщику, горячими намыленными вениками белое тело впрок и стальной закал «на предыдущее время». «Стомаха же ради и частых недугов»[5], для закрепы свежей стали в надлежащую оправу после горячей и дешевой бани имелся тут же и перед окнами кабак: в банные дни не переставая взвизгивала входная его дверь на блоке с кирпичиком.

Предбанный пустырек и неказистый дом нашего драматурга обеспечен был полицейской будкой, ушедшей также в предание. Не столько охранялся он ею, сколько докучливо торчала она сама перед глазами, единственно с тою целью, что так угодно было начальству. Будку эту с подчаском занимал беззубый полицейский страж Николай, сделавшийся теперь (по крайней мере, лично для нас) также в своем роде лицом историческим, при всем ничтожестве его значения для обывателей. <...>

Гостеприимный хозяин жил здесь в простоте уединенного и неказового быта, подчиняясь всеобщим московским обычаям, намеренно не желая от них отставать, как заповедных и священных для него, в особенности как для коренного истинно русского человека в самом высшем значении этого великого слова. Так, между прочим, когда он жил в верхнем этаже, у него туда не

было проведено звонка. И в этом он не отставал от соседей.

Когда медленным шагом и с опасливой оглядкой «не наша» цивилизация вместе с комфортом пробиралась по стогнам богоспасаемого града — Москвы (вскоре после крестьянской свободы), зацепляя, однако, и захолустные Зацепы,— звонки начали проводить во дворы. Надо было повеситься на ручке у калитки любого дома на Таганке и в Замоскворечье, чтобы вызвать заспанного сторожа и под защитою его входить со двора мимо лохматой собаки. Она испуганно надрывалась от лая до перехватов в горле, а привязана была таким удобным способом, чтобы всех входящих чужих возможно ей было хватать прямо за икры.

Удостоенные чести свободного входа в открытые двери, войдем сюда под радушный кров этого светила нашей литературы в то время, когда еще вокруг него и в нем самом весело играла молодая жизнь,— войдем, и

С благоговейною слезою
Благословим мы, что прошло,
И перед урной гробовою
Преклоним скорбное чело.

Действительно, особенная умилительная сердечная простота во взаимных отношениях господствовала в полной силе здесь, в безыскусственной обстановке жизни нашего великого писателя. Он в коротенькой поддевочке нараспашку, с открытою грудью, в туфлях, покуривая жуковский табак из черешневого чубука, с ласковой и неизменно приветливой улыбкой встречал всякого, кто получил к нему право входа. Требования для того были скромны, но обусловлены твердо и решительно, не по писаной инструкции, а на основах обычного права: обязательно быть прежде всего русским человеком и доказать свои услуги какой-либо из отраслей родного искусства, той или другой — безразлично. Если давалось преимущество литературным и театральным деятелям, то это зависело от того, что сам хозяин исключительно в эту сторону обратил всю свою любовь и здесь же укрепил свои верования безраздельно и бесповоротно.

Открытое исповедание этой твердой и непоколебимой веры в силу и мощь народного духа он успел уже

предъявить громогласно ко всенародному известию,— и стал он посвященным избранником. Неразлучная с верой любовь к отечественному искусству и родному слову обаянием своим послужила притягательной силой,— и избранник стал во главе первенствующим [6]. Неотложно объявились у него пособники, и не замедлили вскоре затем явиться поклонники. Всякий принес свою посильную лепту, а при жертвах и на эти доброхотные вклады усилились и средства к укреплению самой веры, и облегчилось поступательное движение по тернистому пути к открытой и ясно обозначившейся, сквозь полумрак, желанной цели. Соединенные усилия уже одни обнадеживали успехом, несмотря на то что дорога тянулась по рытвинам, через груды наваленных препон, и мосты через реки были поломаны или совсем разрушены, и подъемы на горы либо запущены и, будучи заброшенными, стали зарастать, либо намеренно были попорчены так, что не только ослабевала надежда на какую-либо победу, но недоставало и многих орудий, необходимых и пригодных для борьбы. У старорусских богатырей на эти роковые случаи недобрых встреч с препонами припасено было вещее слово зарока — идти дорогою прямоезжею и твердо веровать, что все то не божиим изволением, а по злому вражьему попущению. Шли уверенно вперед и эти новые по заветам старых и вели борьбу неустанно, испытывая временами тяжелые поражения, временами же освежаясь и укрепляясь сладкими плодами счастливых побед. Когда же совсем рассвело, исчез ночной сумрак и загорелось на небе яркое красное солнце, оказалось, что в честной борьбе у этих путников прибавилось силы. За великую любовь их не только досталась им победа с одолением, но и в силу того на законных основаниях многое им было выделено в приобретение и приращение добровольно уступленным, как бы и в самом деле в прямую награду за старые труды и дознанные подвиги. Как до этой поры эта любовь к родине и страдающему меньшему брату закаляла мужество, так теперь, когда и для этого наступили счастливые дни, старая любовь еще более окрепла и, сделавшись сознательною, повела к новым победам и приобретениям.

В самом деле, разбираясь в воспоминаниях о прожитом и проверяя свои давние наблюдения над виден-

ным, слышанным и испытанным, уверенно приходишь к заключению, что единственно любовь к народу руководила всеми мыслями и деяниями того московского литературного кружка, которому посвящены эти строки. Живыми, как бы сейчас и наглядно действующими, являются усиленные заботы и работы, дружные и совместные, всего кружка, уже успевшего оставить «Москвитянин» и возрасти численностью от вновь примкнувших добровольцев [7]. На первом плане и на видном месте стояла русская народная песня. Она прежде всего и напрашивается на воспоминания наши.

Русские народные песни в компании молодых московских писателей очень долгое время пользовались особым почетом. Хороших безыскусных исполнителей, умевших передавать их голосом без выкрутов и завитков, разыскивали всюду, не гнушаясь грязных, но шумливых и веселых трактиров и нисходя до погребков, где пристраивались добровольцы из мастеров пения и виртуозов игры на инструментах. Здесь услаждали они издавна праздных любителей из купечества.

— Делай, делай! — раздавались поощрительные возгласы загулявших и разгулявшихся, от которых, в награду и поощрение певцов и музыкантов, следовало угощение сладкими водками, денежные награды, наконец объятия и поцелуи.

— Выпьем еще плоскодонную рюмочку. Ведь пьешь?

— Пью все, окромя купоросного масла.

— Повторим по рюмочке для верности глаза.

— Давай ему еще этого самого, монплезиру.

— Наливай нам разгонную.

И т. д.

Тертий Иванович Филиппов в одном из последних своих писем к Горбунову вспоминает о подобном веселом заведении у Каменного моста: «Николка рыжий — гитарист, Алексей с торбаном: водку запивал квасом, потому что никакой закуски желудок уже не принимал. А был артист и «венгерку» на торбане играл так, что и до сих пор помню» [8]. Будучи сам превосходным исполнителем народных песен и в то же время ученым исследователем и знатоком отечественной поэзии, он придавал своим выразительным художественным исполнением

высокую ценность всем этим перлам родного творчества, отыскивал и пел наиболее типичные или самые редкие, полузабытые или совсем исчезающие из народного обращения. <...>

Действительно, над всеми певцами изяществом и точностью исполнения главенствовал Тертий Иванович и был непобедим. Бесплодно силились соперничать с ним два земляка-друга: М. А. Стахович и П. И. Якушкин, пристававшие со своими орловскими песнями, верно передаваемыми по говору и мотивам. Первый, впрочем, восполнял недостатки в пении искусною игрою на гитаре и был неподражаем в пляске, а Якушкин, зная огромное количество песен, напевы их, своим крикливым раскатистым голосом не умел передавать верно и очень многие путал. Самого А. Н. Островского г-жа Воронова засчитала в певца, свидетельствуя, что он недурно пел. Она умела аккомпанировать; у нее нашлись знакомые ему романсы, и он никогда не отказывался петь, когда его просили. «Мне,— пишет г-жа Воронова,— никогда впоследствии не приходило в голову спросить у кого-нибудь из людей, близких к Островскому, что сделалось с его голосом и его пением, но тогда мы им очень любовались»[9]. На этот вопрос ответ простой: он перестал петь; по крайней мере, я, да и никто из ближайших к нему лиц, ни разу не слыхал его пения, потому ли, что спал с голоса и огорчился до молчания, или потому, что счел более полезным и безопасным для себя уступить место лучшим и настоящим певцам.

В числе последних выделялся разысканный в погребке на Тверской (угол Университетского переулка) приказчик, торговавший на отчете,— М. Е. Соболев, ярославец родом, владевший, что называется, серебряным голосом: высоким, звучным и чистым тенором, ловко и умело приготовленным к заунывным деревенским песням. Стремился он, впрочем, доморощенным вкусом к чувствительнейшим романсам и ариям из опер ввиду увлечения знаменитым и несравненным театральным певцом Бантышевым. Впрочем, Соболев умел уловить только быстрый и разудалый переход от арии в «Аскольдовой могиле»[10] к песенке «Чарочки по столику похаживают». В песенке Торопки[11] «Близко города Славянска» Соболев немного походил на Бантышева; в исполнении

«Размолодчиков», «Не белых снегов во чистом поле» и «Вспомни, любезная, мою прежнюю любовь» имел соперника только в одном Т. И. Филиппове. Слушать его сходились и такие мастера пения, как старик цыган, родной брат Матрены, восхищавшей Пушкина [12],— старик купеческой осанки, знавший много старинных былин (я со слов его записал нигде не напечатанную про Алешу Поповича, прекрасную). А заходил он сюда, между прочим, выпить самодельной мадерцы бутылочку и закусить ее, на условный московский вкус, либо мятным пряничком, либо винной ягодой. Видывали здесь и Ивана Васильева, известного и в Петербурге содержателя самого лучшего хора (в страхе, смирении и целомудрии), почтенного и всеми уважаемого человека, который и в компании Островского пользовался должным вниманием и любовью. Здесь же, в погребке, нередко заседал театральный певец Климовский, пением которого один любитель восхитился до того, что назначил ему ежегодную пенсию, и проч.

Во всяком случае, этот погребок Зайцева (по вывесочной надписи: Zeizow) был своего рода клубом. Для посетителей из любителей пения предоставлено было особое помещение наверху, над погребком, в виде довольно просторной залы. Насколько же не признавали его отделением кабачка, доказал один из посетителей, известный художник [13], не задумавшийся нарисовать на стене мастерски углем свой портрет, который бережно потом охранялся, конечно, служа в то же время и некоторой рекламой.

Вскоре клубным местом приятельских свиданий сделался, по заветному обычаю, общему всей Москве, московский трактир Гурина, или лучше — то его отделение, которое очень издавна называлось «Печкинской кофейной» и имело отдельные кабинеты. <...>

Увлечение кружка Островского или «молодой редакции» «Москвитянина» русскою песней, может быть, имело прямым или косвенным источником движение в эту сторону славянофилов во главе с П. В. Киреевским, примыкавших также своими симпатиями к погодинскому журналу. С другой стороны, тем не менее перлы народного творчества здесь получали живое художественное толкование. Песня оживала не в мертвых записях, а в своих цельных образах. Тут уже вовсе не

требовалось сухих комментарий, которыми вскоре по выходе в свет сборника Киреевского совершенно затемнили ее истинный, глубокий смысл, а ненужными и неуместными мудрствованиями умалили и ее высокую ценность [14]. То же увлечение кружка производило и другие благотворные влияния и, между прочим, на творчество современных поэтов. Наиболее талантливый из них, примкнувший несколько позднее (бывший в то время инспектором Второй московской гимназии на Разгуляе) Лев Александрович Мей, успевший создать прелестные лирические произведения на восточные мотивы, и преимущественно еврейские, на библейские темы, евангельские события и события из римской жизни, решительно переменил строй своей лиры, перейдя на родную отечественную почву. <...> В товарищеские беседы кружка Островского Мей, конечно, имел полную возможность внести известную дозу эстетических наслаждений, но несравненно меньшую тех, которые доставлялись исполнением не сочиненных и оглашенных, а коренных народных песен, принятых непосредственно из уст самого народа.

Во всяком случае, на этом наглядном примере поэта представляется для нас незабвенным и знаменательным то явление, что если в кружке московских друзей привольно было лишь коренным русским людям, то побывавший здесь уходил и с более приподнятым челом, уверенною и твердою поступью, как будто он на свое прирожденное звание получил оформленный и засвидетельствованный патент.

Известное право, как бы своего рода патент, требовалось, конечно, для того, чтоб обратить на себя внимание кого-либо из членов кружка и быть сюда представленным и затем допущенным. Вспоминаю про эту молодежь, которая окружила А. Н. Островского, удачно была им подобрана, а между собою успела спеться так, что умела подцветить досужие часы работников мысли и слова, когда они для обмена мнениями и для развлечений собирались у Островского, у Григорьева, у Евгения Эдельсона. Брат последнего, Аркадий, представил своего товарища по рязанской гимназии, Колюбакина. Этот прихватил с собою Мальцева, и т. д. Образовалась, таким образом, небольшая компания живой и веселой молодежи в составе четырех-пяти человек,

прозванная шутливым образом «оглашенных». Бродяжною или праздною она не была: либо училась, либо служила и, привлеченная притягательною силою литературного светила, составилась из самых усердных и горячих его поклонников. Благодарная за допуск и счастливая исключительностью своего положения, она, в свою очередь и в меру наличных сил и способностей, желала и умела послужить кружку избранных хотя бы веселостью, вообще неразлучною с молодостью. Сам хозяин добродушно и искренно увлекался шаловливыми, остроумными и находчивыми шутками Мальцева; заливался детским, визгливым хохотком своим смешливый Писемский; приходил в обычный восторг, проявлявшийся громким откровенным смехом, легко увлекавшийся Ап. Григорьев. Подхваченные здесь песенки и романсы выносились в нашу студенческую семью, где и распевались те из них, как, например, «Спи, моя Яцента», которые наиболее отвечали молодому настроению и резвому задору.

Живой и всегда неизменно веселый, с явным оттенком беззаботного характера и открытой души, Костя Мальцев необычайною подвижностью нервной природы успел выделиться из всех прочих. Он с неподражаемым мастерством умел представлять сцену молящейся старухи. Стоило ему лишь накинуть на свою курчавую голову носовой платок, подвязав его под подбородком, вытянуть этот подбородок, измять морщинами свое красивое лицо с правильными чертами,— и подобие семидесятилетней шепелявой и беззубой старухи было изумительно и по сходству и по быстроте превращения. Она расположилась молиться усердно, накладывая широкие кресты на лоб и плечи, но вдруг и неожиданно привязалась чужая и злая собака. Старуха молится, собака теребит ее за подол и намеревается укусить за ногу. Одна лает, другая ворчит на нее и отмахивается, не забывая в то же время шепелявить молитвенные слова. Собака наконец добилась своего — укусила, старуха своего — больно ударила ногой в морду. В одно время и собака визжит от боли, и старуха от той же причины вскрикивает. И вой и крик, перемешаясь, сливаются, пока изумительный артист не оставит места представления и не удалится, прихрамывая. Еще забавнее была эта же сцена, когда она разыгрывалась вдвоем

с Колюбакиным, но вызывала гомерический смех их же обоих; сцена, представляющая стадо, которое гонит пастух с поля, и животные, большие и малые, с изумительным сходством подавали свои голоса. В москворецкой бане у Каменного моста шустрый Костя, вбегая в раздевальную, раз заржал жеребенком. Банщик Иван Мироныч Антонов, маленький ростом, говоривший фальцетом и отборными книжными словами, на шалость Мальцева заметил тем выражением, которым воспользовался Александр Николаевич в одной из своих комедий:[15] «малодушеством занимается».

На помощь Мальцеву являлись либо И. Е. Турчанинов, либо «Межевой», либо иные досужие и умелые рассказчики. Первый — Иван Егорыч — числился в драматической труппе Малого театра, неизменный и постоянный спутник Островского, сблизившийся с ним и приятный ему по одной общей страсти. Оба были страстные и замечательные рыболовы, особенно в мудреном способе лова на удочку, для чего уезжали они на знаменитые карасями пруды подмосковных сел Коломенского и Царицына. Иван Егорыч придумал изображать на своем лице и всей фигурой старую истасканную шубу. Некто весельчак и чудак, служивший землемером, а в компании известный под названием «Межевого» и «Николая последнего», охотно во всякое время уморительно представлял утку, и т. д.*. Мелкие рассказы и забавные сцены не переставали чередоваться одна за другою вперегонку и соревнование, пока не появился Иван Федорович Горбунов, заставивший всех прочих или стушеваться, или совсем замолчать. Осталось им перенимать его сцены, с большею или меньшею удачею ему подражать и, во всяком случае, распространять о нем молву и помогать укреплению его славы. Как компетентные (отчасти) судьи, эти его предместники были первыми его приятелями и восторженными поклонниками. Мальцев, например, вскоре покинул старуху, как только Горбунов воспользовался тою же природною подвижностью своих лицевых мускулов и успел создать

* Это был Николай Ягужинский, доброхотно пристроивший себя в бессменные ординарцы Александра Николаевича. Будучи человеком весьма неглупым, очень любил выпить и служил предметом постоянных шуток всего кружка. <...> *(Прим. С. В. Максимова.)*

классического и неумирающего генерала Дитятина[16]. Колюбакина, богато одаренного от природы разнородным дарованием и обещавшего сделаться серьезным артистом-комиком, в компании веселой молодежи Горбунов уже не нашел. Живы были о нем рассказы, и памятной осталась мимоходная легкая заметка Александра Николаевича, в шутливой форме, вызванная случайным совпадением: университетские студенты Колюбакин и Мальцев были рязанцами. Это дало повод Островскому, задумавшему тогда своего «Минина» и занимавшемуся разбором старых исторических актов, сделать бытовую справку:

— Эти рязанцы по природе ужс таковы, что, как немцы, без штуки и с лавки не свалятся. Ведь вот наш костромич Сусанин не шумел: выбрал время к ночи, завел врагов в самую лесную глушь; там и погиб с ними без вести, да так, что до сих пор историки не кончили еще спора о том, существовал ли еще он в самом деле на белом свете. А Прокопию Ляпунову понадобилась веревка на шею, чтобы растрогать: и вовсе в этой штуке не было нужды. Актерская жилка у всех рязанцев прирожденная (и он перечислил достаточное число известных лиц). Надо же ведь случиться тому, что и Садовский родился рязанцем. <...>

Не малое наслаждение доставляли нам неслыханные комические рассказы собственного сочинения Колюбакина, которые потом высоко оценены были компанией Островского. <...>

Еще лучше и, можно смело сказать, с художественным мастерством читал Колюбакин гоголевские комедии, в особенности «Тяжбу»; сам Садовский отдавал ему преимущество перед своим чтением, и с этим согласны были все прочие. Такое-то мастерство, заявленное нашим другом на несказанную радость и гордость нашу, между прочим, по дошедшим слухам, заинтересовало Островского. Привел к нему милого и любимого товарища Аркадий Эдельсон, а чрез него уже устроилась и первая наша встреча с знаменитым писателем. Не для ответного визита, а уже прямо с целью готового отозваться на зов человека, который пришелся по душе, и еще лишний раз полюбоваться им в его товарищеской семье, Александр Николаевич Островский пришел к нам на чердачок на Спиридоновку.

Посмотреть на его ясные очи мы настроились торжественно и радостно; нервно, хлопотливо и суетливо готовились мы к встрече его. Вымели комнатку, прибрали постели, побрились, вычистили самовар, собрали целый капитал, суммою свыше пяти рублей, на угощение, в котором к бутылке дроздовки прибавлена была еще бутылка мадеры. Думали было на оставшуюся сдачу купить монашенок [17] и покурить ими, но Колюбакин отклонил: дорогой гость сам курил жуковский табак и, помнится, носил его при себе в кисете. Давно уже мы бегали по трактирам с исключительною целью добиться книжки «Москвитянина», где была напечатана комедия «Свои люди — сочтемся!» [18]. Ни протекция половых, Семена и Кузьмы, ни переход в московский Железный трактир, где также выписывались все журналы, не помогли нашей неутомимой жажде. Понапрасну мы съели много пирогов в двадцать пять копеек ассигнациями и выпили несколько пар чаю, пока добились книжки для прочтения второпях, так как настороженные половые стояли, что называется, над душой, выжидая, когда отложена будет книжка в сторону, схватить и унести ее к более почетному и уважаемому посетителю. Насладившись торопливым чтением, мы, как будто совсем не читали, узнали ее совершенно вновь, когда Колюбакин принес от Евг. Ник. Эдельсона эту комедию и своим мастерским чтением протолковал ее нам во всю художественную силу в рельефно выраженных красотах ее. <...>

На покинутое Гоголем добровольно и вакантное место выступил достойный последователь и прямой наследник его, с выработанным новым взглядом на русскую жизнь и русского человека, с особенным преимуществом знатока великорусского народного быта и его, несомненно, верных и до тонкости изученных национальных свойств, а в особенности отечественного языка в изумительном совершенстве.

Перед нами въяве уже объявилось новое, вспыхнувшее ярким блеском светило, и с трепетным чувством благоговения смотрели мы на него, всматривались во все черты его умного лица, прислушивались к звукам его голоса, который казался нам музыкально-мелодичным, и ловили каждое слово. Изумлены были в то же время его простым товарищеским отношением к Колю-

бакину и ласковым, прислушливым и внимательным обращением с нами. И, помнится, всем этим были даже несколько недовольны: не того мы ждали, не то рисовало нам прислужливое воображение, забежавшее вперед. Словно надо было бы как-нибудь повеличественнее и повнушительнее: ведь уже избранник, ведь уже лежит на широком и открытом челе его печать бессмертия. <...>

На первый взгляд Александр Николаевич показался нам, судя по внешнему виду, замкнутым, как будто даже суровым, но, вглядевшись, мы заметили, что каждая черта лица резко обозначена, хотя вместе с тем и дышала жизнью. Верхняя часть лица в особенности показалась нам привлекательною и изящною. Но лишь только развернулся Колюбакин, куда эта вся черствость взгляда скрылась. Глаза сделались ласковыми, исчезло величавое выражение всего лица, и заметная на нем легкая складка лукавого юмора уступила теперь добродушному и открытому смеху. Эта быстрая смена впечатлений в подвижных и живых чертах лица, выражавшаяся неожиданным переходом от задумчивого к открытому и веселому выражению, всегда была поразительна. Мы приняли это в свидетельство, что под обманчивой и призрачной невозмутимостью и при видимой солидности в движениях скрывалась тонкая чувствительность и хранились источники беспредельной нежности, иначе бы он так мягко и ласково не улыбался и не был бы так очаровательно прост. Белокурый, стройный и даже, как и мы все, малые и приниженные, застенчивый, он и общим обворожительным видом, и всею фигурой совершенно победил нас, расположив в свою пользу до последней степени.

Сопоставляя свои первые наблюдения с впечатлениями Горбунова при каждой встрече с Островским, невольно останавливаешься на тождестве чувств [19]. <...>

Впоследствии и вскоре Островский поспешил доказать и многоразличными фактами убедить всех нас в том, что он был поистине нравственно сильный человек, и эта сила соединялась в нем со скромностью, нежностью, привлекательностью. Кроткая натура его обладала способностью огромного влияния на окружающих. Никогда ни один мыслящий человек не сближался с ним, не почувствовав всей силы этого передового человека. Он действовал, вдохновлял, оживлял, поощряя

тех, кто подлежал его влиянию и избранию. Дружба его умножала нравственные средства, подкрепляла нас в наших намерениях, возвышала и облагораживала наши цели и давала возможность действовать с большою способностью в собственных делах и с большою пользой для других.

При таких высоких свойствах Островского приблизившиеся к нему уже не отставали от него, пребывая верными ему до конца. Вглядываясь во всех окружавших его и близко стоявших к нему и вспоминая каждого в лицо и по имени, вижу не один десяток таких, которые, как звенья в цепи, как плетешек в хороводе, цепляясь один за другого, тянулись сюда неудержимо. Все твердо знали, что здесь почувствуют они себя самих в наивысшем нравственном довольстве, утешенными и успокоенными. Никогда и никому ни разу в жизни Александр Николаевич не дал почувствовать своего превосходства. Он был уступчив и терпелив даже и в тех случаях, когда отысканная им или только обласканная личность в самобытности своей переходила границу и вступала в область оригинальности, вызывавшей улыбку или напрашивавшейся на насмешку,— словом, когда этот оригинальный человек начинал казаться чудаком. Конечно, это было на руку драматическому писателю, одаренному тонким чутьем наблюдателя, и заявляемые странные уклонения в характерах принимались про запас для будущих работ как материал для комедий; но самый наблюдаемый субъект не испытывал неловкости положения. Не оскорблялось его самолюбие, и он сам не только не спешил отходить прочь, но еще прочнее и душевнее привязывался к наблюдателю.

Колюбакин был неудачлив и даже несчастлив именно тем, что слишком короткое время находился под влиянием этой высокой личности и представлял противоположный образчик тому, чем стал впоследствии Горбунов как художник, выработавшийся под ближайшим и долговременным влиянием Островского. Последний успел помочь Колюбакину по оставлении университета тем, что исхлопотал ему место помощника капитана на меркурьевском пароходе «Гермоген». <...>

Среди счастливцев, окружавших Островского в первые годы его литературной деятельности, был и тот Несчастливцев [20], который дал ему несколько черт для

обрисовки симпатичного образа этого имени в известной, любимой публикою комедии «Лес», роль которого с таким блестящим и неослабевающим успехом исполнял на петербургской сцене Модест Иванович Писарев.

Сам автор, давно знавший этого уважаемого артиста как образованного человека и прекрасного исполнителя многих ролей в его разных пьесах, пожелал видеть Писарева в этой расхваленной роли. По окончании пьесы в Солодовниковском театре в Москве весною 1880 года Александр Николаевич пришел на сцену взволнованный, в слезах:

— Что вы со мной сделали? Вы мне сердце разорвали. Это — необыкновенно!

— А я боялся сегодня только одного вас, Александр Николаевич. Кроме вас, для меня никого не существовало.

— Вам некого бояться, Модест Иванович!.. Это высокохудожественно!.. Это, повторяю, необыкновенно! <...>

Такая же жертва личного темперамента [21], столько же талантливый, но более опытный сценический деятель в драматических ролях был в то же время последним из могикан, последним трагиком, пользовавшимся огромною известностью в провинциях и горячею привязанностью товарищеской семьи — несчастных пролетариев, бездомных и бездольных скитальцев, на судьбу которых лишь в последние дни обратила внимание благотворительность. Это — Корнилий Полтавцев, несомненный благодетель меньшей актерской братии, единоличный, скорый и умелый заступник и охранитель ее при хищнических и безнаказанных поползновениях театральных антрепренеров. Во всяком случае, память о нем благодарно сберегалась столь долгое время, и имя его в своей сфере заслуженно переходит в потомство. Обладая горячим сердцем, привлекательным, уживчивым и ласковым нравом, он делился с товарищами последним куском черствого хлеба и, как Колюбакин, в буквальном смысле последнею оставшеюся в дорожной сумке рубашкою. Из всех знакомых артистов Корнилий, как хорошо мне помнится, у Александра Николаевича Островского пользовался особенною, предпочтительною любовью... <...>

Егор Эдуардович Дриянский из всех московских литераторов был наиболее частым посетителем и собеседником Островского, и не одно лишь это обстоятельство обязывает нас остановиться на нем воспоминаниями. За отзывчивое, мягкое сердце он в равной степени оценен был и литературными и театральными кружками: у постели умиравшего Корнилия Полтавцева он проводил целые дни и темные ночи; в литературных кружках возбуждал сочувствие постоянными неудачами в делах. <...> На писания он был скор и плодовит. Покойный Горбунов до самой смерти не мог забыть той формы извещения, с которой явился раз Дриянский к А. Н. Островскому, как бы с каким рапортом:

— Ту повестушку, что читал на днях, исправил, как указывали. Теперь роман «заквасил».

Роман этот, взятый Катковым для «Русского вестника», вызвал целую бурю недоразумений и споров, приведших даже к жалобе Дриянского в газетах. «Положение мое хуже в десять раз, чем сказать бы скверное (пишет он мне). Брожу как очумелый и не придумаю, что начать, и с каждым днем прихожу к более и более грустному убеждению, что у нас на Руси добыть кусок насущного решительно нет воможности честным литературным трудом. Роман, по милости Каткова, теперь должен, кажется, прокиснуть, лежа на столе:[22] у нас в Москве издателя не найдешь со свечой. Один Салаев — и тот, при всей охоте, отнекивается, ссылаясь на трудность ладить с цензорами, которые, вследствие нового благодетельного постановления, отказываются читать рукописи, превышающие десять печатных листов, а по отпечатании могут кромсать вещь, как их душеньке угодно»[23]. <...>

Впрочем, не один неудачливый Дриянский сетовал на подобные затруднения в обнародовании заготовленных для печати произведений. Тот же досадливо нахмуренный тон слышится и от не менее известного писателя и более близкого приятеля А. Н. Островского, каков автор «Ночного» и проч. <...> М. А. Стахович, однако, не подходит под уровень с Дриянским, как очень богатый человек, вовсе не нуждавшийся в литературном заработке, и притом настолько денежный, что это самое богатство послужило одною из причин его преждевременной насильственной смерти. <...>

Стахович не только был незаурядным песенником, но и большим знатоком народного быта; был общительным и популярным в народе человеком, как прямой и искренний радетель крестьянских интересов в достопамятную эпоху реформ и в первые годы проведения их в жизнь среди множества опасных подводных скал.

По невольному тяготению и сродству душ все наличные художественные силы Москвы находились естественным образом в тесном сближении с литературным кружком «молодой редакции» «Москвитянина», начиная с музыкальных художников, каковы Николай Рубинштейн и Дютш, и кончая художниками в собственном значении, каковы профессор Школы живописи и ваяния Рамазанов и художник Боклевский (скончавшийся в Москве в 1897 году).

Петр Михайлович Боклевский к самому началу литературной известности Островского успел вернуться из-за границы, куда ездил для изучения школ живописи (преимущественно испанской) по окончании полного университетского курса. Съездил он не только в Италию, но и в Испанию счастливцем для тех времен строжайших запретов на выезд, осложненных большими хлопотами и усиленных дороговизною заграничных паспортов. Когда выросла слава Островского, Боклевский явился к нему на помощь, как истолкователь художественных красот, во всеоружии опыта и силы. Испробовав их в блестящих, всем известных рисунках бойким мастерским карандашом типов «Мертвых душ» и других произведений Гоголя, Петр Михайлович с такою же любовью и с таким же точно проникновением в суть творческого замысла изобразил типы из комедии «Бедность не порок». Они пленили Тургенева в оригинале до такой степени, что он добровольно вызвался дать им ход и заботливо хлопотал об издании рисунков у петербургских издателей [24].

Это сближение передовых людей московской интеллигенции в особенный кружок (отдельно от профессорского [25]) если и произошло оттого, что по случайному совпадению все были «ровесниками», то есть ровнями по годам, то, с другой стороны, скреплению его главнейшим образом содействовало другое важное обстоятельство: все они безусловно были «сверстниками» —

сплоченность союза облегчалась тем, что подошли друг к другу под лад и под стать. Тем не менее мягкой и любящей, снисходительной и уступчивой натуре А. Н. Островского значительною долею обязан был этот кружок тем, что дружно вел свое дело и не расходился долгое время, несмотря на замечательное разнообразие составных элементов. В московском разобщенном обществе, охотно и ярко предъявлявшем наклонность к уединению и отчуждению от того, что находится вне сферы личных коммерческих интересов, уже одна эта возможность сближения составляет немалую заслугу. Быть же связующим звеном в таком разнохарактерном сборе видимо не подходящих лиц, в каком поставили Александра Николаевича случайные обстоятельства,— это уже нечто выходящее из ряда всеобщих обычных явлений. Уральский казак и торговец из оптового склада Ильинских рядов, знаменитый виртуоз, не имевший себе соперников в Москве и разделявший славу с Антоном Рубинштейном и его братом Николаем, и рядом кимровский мужичок — бывший сапожник; учитель чистописания и рисования — и известные критики эстетики; землемер и актеры [26] — все объединены и согласованы, все под одним знаменем служения изящному и любви к народу исполняют честный долг пред дорогой и святой родиной.

Уральский казак Иосаф Игнатьевич Железнов прибыл в Москву случайно для временного жительства по казенной надобности, как адъютант командира казачьей сотни, а уехал из нее почтенным литературным деятелем, известным не в одних лишь пределах своего войска. Можно смело сказать, что кружок Островского создал в нем литератора, и он стал таковым, даже лично для себя совершенно неожиданным и незаметным образом. <...>

Железнов — пришелец с вольного Яика и из киргизских степей, обративший на себя внимание живыми рассказами об удалых казачьих подвигах на Каспийском море во время так называемого аханного рыболовства [27]. Его уговорили записать этот рассказ на бумаге; общим советом выровняли, вычистили, исправили написанное и, по общему же приговору, постановили его напечатать в последних книжках «Москвитянина» 1854 года [28]. <...>

Более умный, чем талантливый, менее образованный, чем деловой и практический, Иосаф Игнатьевич сделался любимцем московского кружка наиболее тем, что был самобытным и цельным человеком, с теми исключительными чертами, которые свойственны были ему как природному казаку. Не как особняк или новинка, он оказался симпатичным и сделался своим человеком по личным качествам, по готовности делиться богатыми сырыми материалами и по той горячей любви, которая ярко светилась во всех его рассказах о родной стране. <...>

Как с подлинными новинками, он знакомил с казачьими песнями, а главнейшим образом с их «сказаниями». Для собрания последних под влиянием московского кружка он даже нарочно съездил из Москвы на побывку, а вернувшись в Москву, снова и усердно занялся самообразованием и главным образом изучением исторических актов, относящихся до казачества. Под руководством московских друзей и при их хлопотах и содействии он усидчиво занимался в московском архиве инспекторского департамента военного министерства, написал сочинение «Уральцы», записал «Предания о Пугачеве», готовился к составлению «Истории войска» (все его сочинения, напечатанные в 1888 году, составили три тома, а до того времени они печатались по частям в «Москвитянине», «Библиотеке для чтения» и других изданиях). <...>

10 июня 1863 года Железнов выстрелил себе в рот из охотничьего ружья, заряженного дробью. <...> Когда издатель «Детского чтения» (казак В. П. Бородин) задумал через двадцать три года по смерти Иосафа Игнатьевича издать «Предания», «Сказания» и «Песни уральских казаков», А. Н. Островский на письмо к нему отвечал полнейшею готовностью изготовить свои воспоминания об этом превосходном, честнейшем, но несчастном человеке. Только смерть Александра Николаевича в том же 1886 году помешала исполнить его заветное желание[29]. <...>

Одновременно с Железновым в кружке Островского можно было встретить другого радельника и печальника за народные интересы, но иного склада и покроя, хотя столь же любящего и искреннего, это — Сергея Арсеньевича Волкова. В молодости шил он на всю

«молодую редакцию» «Москвитянина» фасонистые и крепкие сапоги. Когда стали подрастать его сыновья и вступать в тот возраст, когда нужен внимательный и строгий отцовский глаз, он перебрался в родную деревню Сухую — на Волгу, в семи верстах вниз по Волге от села Кимр, однако все в том «сапожном государстве», где у всякого «шильцо в руках и щетинка в зубах». Волков занялся, впрочем, исключительно сельским хозяйством, но с особенною охотою облюбовал божью угодницу — пчелку. Когда я после пушкинских празднеств с товарищами навестил его в деревне, он, как увлекающийся юноша, хвастался успехами в этом хозяйстве и, несмотря на раннюю пору лета, вырезал-таки соты и попотчевал нас. По обычаю, жаловался он и в этот раз на распущенность нравов своих соседей, попечалился и на свою пчелку:

— Раскурили наши озорники табашные трубки на сеновалах,— и занялась наша деревня с того конца. Ну, думаю, божья власть: этот старый дом не жаль — довольно он мне послужил. А вспомнил я про пчелку и пожалел,— повелась она у меня умница на усладу и великое утешение. Пожалсл я ее всем сердцем: стал таскать колодки, сколь ни тяжелы они,— на своих руках. Ухвачу в охапку и тащу в свой омшаник за деревней. Восемь колодок перетаскал, с девятою так и повалился на нее, как сноп.

— Устал, что ли, выбился из сил?

— Нету,— стерпеть не мог: изожгли.

Таким-то вот богатырем он сохранил себя далеко за семьдесят лет и рассказывал о своих старческих подвигах с тем откровенным простосердечием, которым все, знавшие его, положительно любовались. Бывало, слушает-слушает чтение Александра Николаевича, да и вставит свое веское словцо в подтверждение. На это он был охотлив и большой мастер, хотя нередко книжные, вычитанные в житиях, слова переделывал на свой лад иногда очень забавно. Не затруднялся он также дополнять кое-какими своими заметками многие художественные характеры в выслушанных им пьесах нашего драматурга, который все это принимал легким сердцем к своему сведению, так как и высказывалось все это спроста и сразу, без всяких задних мыслей и подходов. <...>

Этот добродушный и открытый, весь налицо, умный человек евангельской простоты к А. Н. Островскому питал особенные чувства глубокой привязанности. Для великого художника этот волгарь был драгоценен в значении беспримесного, непорченого и непорочного человека, как всесовершенный образец настоящего великоросса. Украшенный долготою дней, кимровский старик, с своей стороны, остался неизменно преданным священной памяти дорогого человека «во блаженном его успении» (как писал он сюда в ответ на извещение мое о нашей тяжелой и невозвратимой утрате). Сам Александр Николаевич не только ценил в нем эту стойкость в коренных народных нравах и обычаях до крайних мелочей, но и любовался тою цельностью русской природы, черты которой редко являются в таком твердом и согласном сочетании. Насколько уважал и ценил А. Н. Островский кимровского приятеля, можно видеть из ответного письма по случаю приглашения на освящение вновь сооруженного в Сухом храма:

«Любезный друг, Сергей Арсеньевич. Я и Марья Васильевна благодарим тебя за приглашение. Жаль, что оно пришло не ко времени, а то я бы приехал непременно. 30 августа, на другой день иванова дня, я именинник, и мне уезжать от своих именин неловко: я, не зная о вашем празднике, пригласил кое-кого из соседей. Поздравляю тебя с твоим душевным праздником! Будь здоров и помолись за нас, грешных: Александра и Марию с чадами. Вся семья тебе кланяется. Искренно любящий тебя А. Островский. Кинешма, 27 августа 1875 года».

Такова была и та притягательная сила богатства даров, какими обладал этот отечественный писатель и истинно русский человек и какие с избытком отпущены на его долю. Умилительно было видеть, с каким почтением и искреннею преданностью относились к нашему драматургу лучшие представители из московского купечества. Никто из нас не забудет той истинно родственной и дружеской привязанности к нему братьев Кошеверовых (доводившихся П. М. Садовскому дядями). В их семье не только сам Александр Николаевич, но и все «присные» его встречали те же ласки, находили такой же дружеский прием. Особенным радушием отличался старший брат, Алексей Семенович, глава дома

и верховный хозяин дела, по законам старины, к которому все остальные братья относились с трогательным уважением и покорностью. Из них более тесным образом примыкал к кружку «молодой редакции» один из младших, Сергей Семенович, статный красавец с солидной походкой, внешностью своей напоминавший нам старую Москву. Таковы, невольно думалось нам, должны быть те бояре, которым доверяли цари охранение внутреннего порядка в государстве или защиту политических интересов перед иностранными государями в чужих землях: один вид и поступь могли уже внушать немцу убеждение в непобедимой стойкости до упрямства. Известное московское хлебосольство в лице старшего брата Алексея доведено было даже до крайних пределов, почти до чудачества. Так, например, он никому, сидевшему с ним в одном кабинете гуринского трактира, не позволял платить денег за угощение. Когда заезжий гвардейский офицер, получивший от полового ответ, что деньги уже заплачены, вломился в амбицию и дознался до виновника,— последний добродушно, своим мягким голосом и с кроткою улыбкой отвечал:

— Извините меня, старика; я вот уже двадцать пять лет занимаюсь здесь этим самым делом. Не обижайте же и вы меня: примите наше московское угощение, как хлеб-соль приезжему в честь. <...>

С наслаждением истинного художника вращаясь здесь, среди Русаковых[30], Островский восполнял новыми приобретениями прежний и ранний запас добрых чувств и укреплялся в тех симпатиях к коренному русскому человеку, которые затем с неподражаемым мастерством высказал в положительных типах своих бессмертных комедий. Если в молодые годы его при исключительных условиях обстановки и встреч могли являться наблюдательному взору эти лучшие и дельные люди как редкость, то в эпоху его литературной славы они охотно шли к нему с благодарными чувствами истинного благоговения и полного уважения, без всякой задней мысли, без лицеприятия. Так, например, Иван Иванович Шанин (торговавший в оптовых Ильинских рядах Гостиного двора) весь готов был к услугам со своим замечательным остроумием, бойким, метким словом, умным и своеобразным взглядом на москов-

скую жизнь вообще и на купеческий быт в частности, и замечательною находчивостью при мимоходных характеристиках лиц и бытовых явлений. Это — своего рода талант, и притом, как уверяли, наследственный, во всяком же случае резко выдающийся и самостоятельный. До сих пор памятен его игривый мастерской рассказ о том, как обделывают иногородних покупателей московские оптовые торговцы, чтобы затуманить им глаза и не дать возможности хорошенько разобраться в отпущенной товарной залежи и в так называемом «навале», не указанном в требовательном реестре, доверяемом на кредит в прямом расчете, что и этот излишек и гнилье сойдет с рук и в темной провинциальной глуши легко распродастся. По самым достоверным известиям, полученным из верного источника, ему, Ив. Ив. Шанину, принадлежит основа того рассказа о похождениях купеческого брата, предавшегося загулу и потерявшегося, на которой возник высокохудожественный образ Любима Торцова (шанинский рассказ, говорят, нарисован был более мягкими чертами). С его бойкого языка немало срывалось таких ловких и тонких выражений и прозвищ (вроде, например, «метеоров» — для пропащих пропойных людей), которые пригодились в отделке комедий потом как прикрасы, для пущего оттенка лиц и образа их действий и мировоззрений.

Было бы недостойно памяти почившего драматурга и наших благодарных чувств, если б мы не послушались пословичного завета: «Из песни слова не выкинешь» — и прошли молчанием мимо первой спутницы его жизни в суровой нужде, в борьбе с лишениями, во время подготовки к великому служению родному искусству. Агафья Ивановна[31], простая по происхождению, очень умная от природы и сердечная в отношениях ко всем окружавшим Александра Николаевича в первые годы его литературной деятельности, поставила себя так, что мы не только глубоко уважали ее, но и сердечно любили. В ее наружности не было ничего привлекательного, но ее внутренние качества были безусловно симпатичны. Шутя, приравнивали мы ее к типу Марфы Посадницы, тем не менее наглядными фактами убеждались в том, что ее искусному хлопотливому уряду обязана была семейная обстановка нашего знаменитого драматурга тем, что, при ограниченных материальных

средствах, в простоте жизни было довольство быта. Все, что было в печи, становилось на стол с шутливыми приветами, с ласковыми приговорами. Беззаботное и неиссякаемое веселье поддерживалось ее деятельным участием: она прелестным голосом превосходно пела русские песни, которых знала очень много. Хорошо понимала она и московскую купеческую жизнь в ее частностях, чем, несомненно, во многом послужила своему избраннику. Он сам не только не чуждался ее мнений и отзывов, но охотно шел к ним навстречу, прислушливо советовался и многое исправлял после того, как написанное прочитывал в ее присутствии, и когда она сама успевала выслушать разноречивые мнения разнообразных ценителей. Большую долю участия и влияния приписывают ей вероятные слухи при создании комедии «Свои люди — сочтемся!», по крайней мере относительно фабулы и ее внешней обстановки. Сколь ни опасно решать подобные неуловимые вопросы положительным образом с полною вероятностью впасть в грубые ошибки, тем не менее влияние на Александра Николаевича этой прекрасной и выдающейся личности — типичной представительницы коренной русской женщины идеального образца — было и бесспорно и благотворно. Не сомневаюсь в том, что все сказанное сейчас охотно подтвердят все оставшиеся в живых свидетели, и могу даже признаться в том, что по доверенности двух из них [32], ближайших к покойному, заношу эти строки в свои воспоминания как слабую дань нашего общего и искреннего уважения к памяти давно почившей, но незабвенной для всех нас до сего времени.

Вот вся та нравственная сфера и область деятельности и подвигов, в которой вращалось срединное светило, окруженное постоянными спутниками, по общим законам тяготения и взаимных влияний. Подобно движению по проводникам обоих электрических токов, положительного и отрицательного (от него к ним и от них к нему), присутствие их по физическому закону стало незаметным и неуловимым, как только они соединились между собою. Очевиден лишь конечный изумительный результат: вольтова дуга накалилась, и заблистал яркий ослепительный свет.

— Поздравляю вас, господа, с новым светилом в отечественной литературе! — торжественно, с привыч-

ным пафосом, сказал профессор русской словесности С. П. Шевырев, признававшийся тогда корифеем эстетической критики и бывший соредактором Погодина в «Москвитянине», где впервые и напечатана была комедия «Свои люди — сочтемся!».

Этот восторженный, смело и громко высказанный возглас последовал тотчас же за тем, как сам автор прочел на вечере у М. П. Погодина свою комедию [33] и когда удалился (также слушавший ее) Н. В. Гоголь [34].

«Комедия «Банкрот» удивительная! Ее прочел Садовский и автор»,— поспешил записать по горячим следам в своем дневнике Погодин [35] с тою своеобразною краткостью, которой не изменил он даже в описаниях своего заграничного путешествия, давших случай остроумнейшему из русских писателей поместить в «Отечественных записках» («Записки Вёдрина») блестящую пародию, где соблюден и грубо отрывистый стиль писания, и поразительные выводами приемы суждений [36].

«От души радуюсь замечательному произведению и замечательному таланту, озарившим нашу немощность и наш застой,— писала Погодину графиня Евдокия Петровна Ростопчина, известная своею горячею преданностью интересам отечественной литературы.— Chaque chose et chaque oeuvre a les défauts et les qualités *, поэтому нельзя, чтобы немного грязного не примешалось в олицетворении типов, взятых живьем и целиком из общества».

Прослушавши комедию два раза, она прямо и кратко выразила свой неподдельный восторг от пьесы таким искренним возгласом в другом из своих писем:

«Ура! У нас рождается своя театральная литература!»

Ко мнению Ростопчиной присоединился и другой правдивый и признанный судья, поэт и публицист, стоявший во главе славянофильской партии. А. С. Хомяков, любивший и знавший русский народ теоретически, также одобрял пьесу и предсказывал: «Ученость дремлет, словесность пишет дребедень, за исключением комедии Островского, которая — превосходное творение».

Графине А. Д. Блудовой он же писал: «Грустное

---

* Каждая вещь и каждое произведение имеют недостатки и достоинства *(франц.)*.

явление эта комедия Островского, но она имеет свою утешительную сторону. Сильная сатира, резкая комедия свидетельствуют о внутренней жизни, которая когда-нибудь еще может устроиться в формах более изящных и благородных».

«В Островском признаю помазание!» — писал Иван Иванович Давыдов, бывший до 1847 года в Московском университете профессором словесности, а потом директором Санкт-Петербургского педагогического института. Он, впрочем, пожалел, верный началам теории по своему же сочинению «Чтение о словесности» (по изданию 1837—1838 гг.),— пожалел он о том, что автор написал драматическое сочинение, а не повесть: «Я назвал бы повесть прекрасною».

Отставного словесника поправил князь Владимир Федорович Одоевский. Сам большой художник-писатель, всею душой любивший литературу и фактически радевший об успехах изящных искусств (он, между прочим, одним из первых приласкал в Петербурге Горбунова и дружески сблизился с Писемским),— В. Ф. Одоевский («Дедушко Ириней») писал своему приятелю, между прочим:

«Если это не минутная вспышка, не гриб, выдавившийся сам собою из земли, просоченной всякою гнилью, то этот человек есть талант огромный. Я считаю на Руси три трагедии: «Недоросль», «Горе от ума», «Ревизор»; на «Банкроте» я поставил номер четвертый».

По напечатании комедии послышались Погодину со всех сторон поощрительные голоса тотчас же, как только вышла мартовская книжка «Москвитянина» 1850 года. Вскоре стало очевидным, что и коммерческая сторона дела стала улучшаться: вместо 500 подписчиков в течение того же года оказалось 1100,— прирост, судя по тем временам, изумительный и блестящий. <...>

Не только в среде университетских студентов всех четырех факультетов новая комедия произвела сильное впечатление, но вся Москва заговорила о ней, начиная с высших слоев до захолустного Замоскворечья. Не только в городских трактирах нельзя было дождаться очереди, чтобы получить книжку «Москвитянина» рано утром и поздно вечером, но и в отдаленном трактире Грабостова у Чугунного моста (привлекавшего посети-

телей единственною в то время на всю Москву машиною с барабанами) мы получили книжку довольно измызганною. Ежедневно являлся какой-то досужий доброволец и вслух всем, дьячковским способом, прочитывал ее по нескольку раз в день за приличное угощение. Впрочем, каким бы то ни было путем, но молва о том, что некоторый человек «пустил мараль» на все торгующее купечество, побрела по Москве, заглядывая в те торговые дома, где готовились совершить или успели уже проделать на практике «ловкое коленцо» банкротства. Добрела молва и до самой Тверской [37] по той причине, что очень многие обиделись, а влиятельные из купечества пошли даже жаловаться. Комедия не только не была допущена до сцены, но успела навлечь на автора некоторые неприятности. И эта пьеса обречена была на ту же участь — покоиться до радостного утра [38],— какую испытали и две ее великие предшественницы: «Горе от ума» и «Ревизор». Невинный автор «взят был под сумление», как у него же выразился потом Любим Торцов. Из Петербурга последовал запрос, что такое Островский, и по получении надлежащих сведений его отдали под негласный надзор полиции [39].

Это обстоятельство не помешало, однако ж, Островскому знакомить со своим классически художественным произведением интеллигентные кружки Москвы, начиная с артистического салона графини-поэтессы Е. П. Ростопчиной (в своем доме на Кудринской-Садовой) и кончая казенным и суровым кабинетом самого графа Закревского на Тверской. Наперерыв друг перед другом приглашали читать автора это и последующие его произведения почти ежедневно. Граф Закревский оказался наконец в числе его поклонников: на всех первых представлениях «Бедность не порок» и следующих пьес молодого сочинителя гладкая, как ладонь, голова графа неизбежно вырисовывалась в первых рядах кресел рядом со львиной головой, украшенной целою копной непослушной шевелюры, знаменитого кавказского героя генерала А. П. Ермолова. Этот, впрочем, добровольно зачислил сам себя в поклонники собственно П. М. Садовского, которого очень любил. Артист проводил у опального генерала [40] целые вечера в его скромном и пустынном кабинете на Большой Никитской, всегда вдвоем и глаз на глаз.

Как бы то ни было, в залах гр. Закревского Островский не раз читал свои произведения, обе первые пьесы, и тут же услыхал оригинальное утешение из уст самого грозного и ревностного блюстителя за спокойствием умов столицы, когда пожаловался наш чтец вскользь о недоразумении, возникшем в Петербурге и вызвавшем полицейский надзор.

— Это вам делает больше чести! — лукаво отыгрывался властный старик почти накануне своего падения.

При вступлении на престол императора Александра II по всемилостивейшему манифесту полицейский надзор был снят, и явившийся в квартиру Островского местный квартальный надзиратель благодарил его и поздравлял с приятною новостью. Благодарил за то, что освободил полицию поведением своим от излишних беспокойств и сохранил его, квартального, здравым и невредимым, а поздравлял словами, хорошо запечатлевшимися в памяти свидетелей этого посещения.

— Кажется, мы вас не беспокоили,— расшаркивался квартальный.— Мы доносили о вас как о благородном человеке. Не скрою, однако, что мне один раз была за вас нахлобучка [41].

С 1850 года началась сразу определившаяся литературная известность А. Н. Островского, но лишь через три года удалось ему, тоже с первого разу, возобладать сценой с небывалым блеском, прочно укрепиться на ней и прославиться.

25 января 1853 года в Малом театре представлена была в первый раз комедия «Бедность не порок». Она не сходила затем со сцены во весь театральный сезон до первой недели великого поста, несмотря на то что высшие и интеллигентные слои московского общества увлекались в то время представлениями знаменитой Рашели, антрепренер которой вынужден был давать спектакли утром. Около того же времени объявлено было всенародно о разрыве дипломатических сношений с Англией и Францией, и наступило роковое время рекрутских наборов [42], особенно тягостных тогда по тем приемам, которые грубо практиковались. Несмотря на хвастливые и задорные уверения в победе над врагами, выразившиеся и патриотическими стихотворениями, и такого же направления пьесами, и неудачным афоризмом, пообещавшим «закидать врагов шапками», недобрые пред-

чувствия все-таки успели уже проникнуть в общественное сознание. Они обнаруживались тревожным настроением именно в той среде, которая была наиболее подготовлена и способна к пониманию и восприятию художественных красот. Тем не менее эти неожиданные события не помешали совершиться поразительному перевороту, наступлению новой эры в отечественном театре. <...>

Все согласились на том, что этот начинающий молодой писатель с первого же шага обогнал всех своих предшественников, что он явно встал плечо о плечо с самим Гоголем, что от него все вправе ожидать теперь заповедного и великого «нового слова» и проч.

На самой же сцене произошло нечто совершенно неожиданное и чрезвычайное. <...>

По настойчивому требованию публики в директорской ложе появился и сам главный виновник и руководитель небывалого торжества. Он предстал зардевшимся, как красная девушка, с потупленным взором и с тою застенчивостью, которая у него была чрезвычайно тонкой природы, не уверенный в том, что она может нравиться и привлекать, и лишенный всякого самомнения и тщеславия. Островский всю жизнь не чувствовал себя особенно легко и свободно в присутствии чужих и имел обманчивый вид человека, не привычного бывать в обществе, а под призрачною суровостью, замечавшеюся на его лице, особенно когда он был задумчив, все-таки хранились постоянные источники беспредельной нежности.

На этом незабвенном празднике обручения нашего великого драматурга со сценою (и в таком счастливом представительстве) П. М. Садовский встал во весь рост своего огромного таланта. Вровень с ним уже не привелось наладиться никому: сам великий комик М. С. Щепкин попробовал было впоследствии свои силы в этой же роли Любима Торцова, но не имел никакого успеха *. <...>

* Знаменательно, между прочим, то обстоятельство, что Щепкин не решился применить свои крупные силы к роли Любима в Москве. Он обдуманно и расчетливо приготовился полюбовать себя перед тою развеселою отобранною московскою публикою, которая выезжает в Нижний на ярмарку, куда и Михаил Семенович прибыл затем, чтобы дать девятнадцать спектаклей. Хитрый старик, малороссийского закала, оправдывал это намерение свое сле-

Будучи коренным и оставаясь постоянным жителем Москвы, где его все знали, горячо любили и искренно гордились им, он тем не менее каждым летом оставлял ее для милого и родного Приволжья.

В Кинешме надо переехать Волгу, чтобы попасть на проселочную дорогу, идущую на Галич, на тот довольно бойкий проезжий тракт, по которому в известные времена года возвращается из столиц на побывку в родные деревни партиями рабочий люд, выходящий на отхожие промыслы из Галицкого, Чухломского и Кологривского уездов Костромской губернии. На восемнадцатой версте находится поворот влево и через версту по стоялому и хорошо сбереженному лесу дорога приводит к глубокой долине, на дне которой бежит речка с запрудой для мельницы, а на пологой горе противоположного берега высятся здания усадьбы Щелыкова, принадлежащей нашему знаменитому драматургу * вместе с братом Михаилом Николаевичем.

Местность, где расположено Щелыково, действительно одна из самых живописных. Ее пересекают три реч-

---

дующим образом (в письме к сыну 27 августа 1858 года): «Я выучил летом роль Любима Торцова из комедии «Бедность не порок» Островского, в которой Садовский так хорош. Сыграть мне ее нужно было бы во что бы то ни стало. Это являлось потребностью моей души. В Москве я не мог ее сыграть, потому что это было бы не по-товарищески: я как будто бы стал просить себе сорок рублей разовых, между тем Садовский еще не получает и полного оклада. Роль сама по себе «грязна» (?!), но и в ней есть светлые стороны. Моя старая голова верно поняла; разогретое воображение затронуло неведомые дотоле струны, которые сильно зазвучали и подействовали на сердце зрителя. П. В. Анненков хотел написать статью, которая расшевелила бы Садовского. Он, бедный, успокоился на лаврах, думая, что искусство дальше идти не может, что при его таланте очень и очень обидно»[43]. *(Прим. С. В. Максимова.)*

* Река Сендега принимает воду этой речки Куекши и уносит ее в реку Меру, впадающую в Волгу. Сельцо Щелыково куплено было отцом драматурга, который проводил в нем каждое лето; там и скончался (в той же комнате, где умер и Александр Николаевич) и похоронен на погосте церкви села Никола-Бережки. К приходу его принадлежало Щелыково. Александр Николаевич похоронен здесь же, рядом с могилой отца. После смерти последнего (Николая Федоровича) имение досталось, по завещанию, вдове его (мачехе старших двух сыновей), у которой оно было куплено младшим (Михаилом Николаевичем) при участии старшего брата[44]. *(Прим. С. В. Максимова.)*

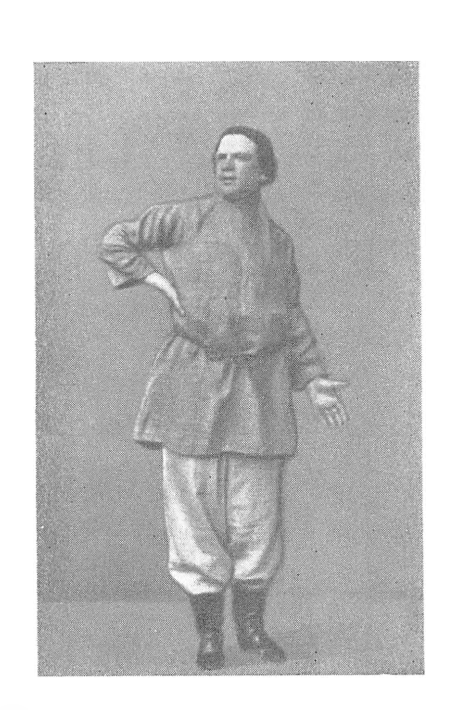
ки: первые две (Куекша и Сендега) быстрые в своем течении по оврагам, где они красиво извиваются и шумят, делая бесчисленные каскады. Мера — спокойная, сплавная река, текущая также в красивых берегах (на ней Александр Николаевич любил ловить рыбу неводом). Не было ни одного гостя в Щелыкове, который бы не восхищался его местоположением. Говорят, что отец братьев Островских, чувствуя приближение смерти, просил приподнять его с кровати, на которой кончался, чтобы дать ему возможность в последний раз взглянуть на окрестные виды, открывающиеся из окон дома.

В усадьбе имеется старый деревянный двухэтажный дом с огромным каменным скотным двором и каменным зданием кухни и прачешной с мезонином. В мезонине этом и в верхнем этаже старого дома находили приют приезжие гости. Всех чаще жил здесь актер Александринского театра Фед. Алек. Бурдин с семьей, издавна находившийся в дружеских отношениях с Александром Николаевичем, пользовавшийся особенным его вниманием перед прочими и полным доверием. Редкое лето не навещали здесь Александра Николаевича кто-либо из литературных и театральных друзей, и всех чаще, конечно, И. Ф. Горбунов.

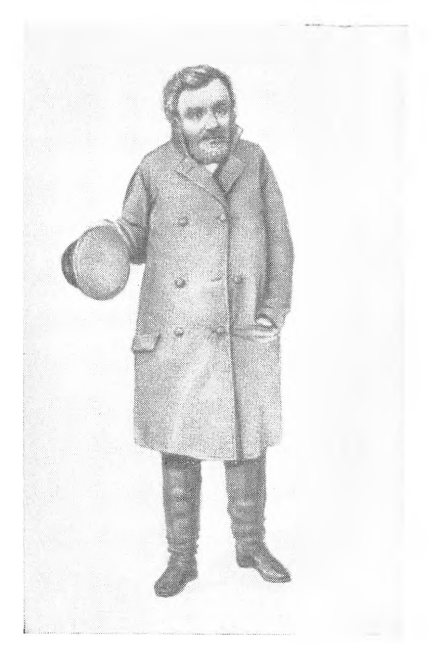
С балкона открывается не подлежащий описанию живописный вид на окрестности с речкой внизу горы и с красивой рисующейся среди зелени церковью Никольского погоста. После покупки братьями Островскими у своей мачехи Щелыкова Михаил Николаевич не в далеком расстоянии от старого дома выстроил собственно для себя небольшой деревянный домик, соединенный со старым березовой аллеей. В этом домике проживал Михаил Николаевич в редкие свои приезды в Щелыково, чтобы отдохнуть от нелегких и многосложных своих обязанностей по управлению министерством государственных имуществ. В верхнем же этаже этого домика Александр Николаевич постоянно занимался вырезными работами из дерева, которые он страстно любил и в которых был очень искусен. Вид из этого домика еще лучше, чем из старого дома.

По кончине Александра Николаевича брат его разбил и устроил обширный парк, идущий частью сосновым лесом по волнистой местности, частью лужками и полянками и наконец по берегу речки Куекши.

Мы видели Александра Николаевича среди этих красот природы здоровым и жизнерадостным. С необыкновенно ласковою улыбкою, которую никогда невозможно забыть и которою высказывалось полнейшее удовольствие доброю памятью и посещением, радушно встречал он приезжих и старался тотчас же устроить их так, чтобы они чувствовали себя как дома. На деревенское угощение имелось достаточно запасов в погребе и на огороде, на котором сажалась и сеялась всякая редкая и нежная овощь и которым любил похвастаться сам владелец. У него, как у опытного и прославленного рыболова, что ни занос уды, то и клев рыбы — обычно щурят — в омуте речки перед мельничной запрудой, и в таком количестве при всякой ловле, что довольно было на целый ужин. Оставаясь таким же радушным и хлебосольным, как и в Москве, в деревне своей он казался упростившимся до детской наивности и полного довольства и благодушия. Несомненно, он отдохнул, повеселел и стал совершенно беззаботен, а чтобы не обратили ему это все в упрек и обвинение, то вот, когда открывается съезд мировых судей, он, в качестве почетного судьи, каждый месяц ездит в город Кинешму, да и вообще ее старается посещать: там у него есть где остановиться и с кем поговорить. А затем вот и газеты и журналы высылаются из Москвы: «Читаем, гуляем в своем лесу, ездим на Сендегу ловить рыбу, сбираем ягоды, ищем грибы». «Отправляемся в луг с самоваром — чай пьем. Соберем помочь; станем песни слушать; угощение жницам предоставим: все по предписанию врачей и на законном основании» [45]. Богатырь в кабинете с пером в руках — в столовую к добрым гостям выходил настоящим ребенком, а семье всегда предъявлялась им сильная и глубокая любовь к домашнему очагу. В маленьком скромном хозяйстве, не дающем ни копейки дохода, ощущалась полная благодать для внутреннего довольства и для здоровья, которое начало сдавать: усилилось колотье в боках, увеличилась одышка; очень пугает сердце. В деревне меньше и реже приходится схватываться за грудь и жаловаться на боли, а по возвращении в город, конечно, опять начнется старая история и напомнят о себе застарелые недуги. В городе много работы; не стало отдыха.



И. Ф. Горбунов.
Сцена из народного быта.
Фотография
начала 1860-х годов.



П. М. Садовский
в роли Любима Торцова
(«Бедность не порок»).
Рисунок. 1854.

— Надо освежить голову: потруднее какой-нибудь пасьянс разложить,— обычно говаривал А. Н. Островский, когда, достаточно поработав над отделкою сцен своих драм и комедий и довольный работой, желал отрешиться от нее и отдохнуть.

Он, по издавна усвоенной привычке, когда приготовлялся что-либо писать, то долго, до утомления, расхаживал по комнате, то раскладывал легкие пасьянсы. Знал он тех и других способов подбора карт очень много: трудно было кому-либо показать ему неизвестные. Он не покидал этого стариковского развлечения, столь удачно приспособляемого в досужее время на случаи воспоминаний о прожитом,— не покидал и в молодые годы, когда создавал лучшие свои произведения, прибегая к нему даже и в те дни, когда начал письменную работу.

Писать предпочитал Александр Николаевич по ночам, по крайней мере в первое время своей литературной деятельности, пользуясь теми тихими и молчаливыми, какими славятся и красятся все московские захолустья, а в том числе и воробинское. Обыватели очень рано, по крайней мере не позднее соседней Таганки, и всегда в урочный час, как по команде, засыпали мертвым сном. В соседних Серебряных банях усталый до изнеможения дежурный банщик бросал на каменку последнюю шайку, и вода не только не вылетала паром, но и не шипела. Будочник Николай, живший прямо перед окнами, приставлял алебарду к двери, приседал на пороге и, уткнувши голову в колени, также засыпал до утра. Московский день кончался, и для писателя, счастливого необычайными успехами, и для человека, доступного всем и приветливого, беспокойный день оставался назади и с приятными, и с докучными посещениями, которые особенно учащались после каждого представления новой пьесы его на сцене.

По свойству прирожденного характера делать все не спеша, вдумчиво и основательно, Александр Николаевич обыкновенно писал долго, допуская большие перерывы. Так, например, над «Банкротом» («Свои люди — сочтемся!») он работал свыше четырех лет, несмотря на то что писал уже умелою и привычною рукой после сцен и очерков Замоскворечья и особенно после «Картины семейного счастья», которая произвела сильное

впечатление на Гоголя [46]. Писал Островский разгонистым и крупным, четким почерком, круглые буквы которого напоминали неуверенный женский, что приводило в некоторое недоумение Тургенева, одно время увлекавшегося мимоходно возможностью по внешним характерным признакам автографов определять не только состояние духа в данный момент писания, но и вообще душевные прирожденные качества писавшего лица. Впрочем, то было время орешковых чернил и гусиных перьев. Для чиненья их продавались в лавках особые машинки, а в департаментах и палатах имелись особые чиновники, изготовлявшие для начальства этого рода изделия *.

Несмотря, однако ж, на поразительную разборчивость своих рукописей, Островский все произведения отдавал переписывать в другие руки по нескольку раз. От этого удовольствия не отказывались ближайшие друзья автора (как, например, Т. И. Филиппов и А. А. Григорьев), и оно же И. Ф. Горбунову, тогда еще неизвестному, но уже до обожания увлекшемуся красотами произведений нового писателя, облегчило возможность найти к нему доступ, удостоиться внимания и знакомства и затем на всю последующую жизнь сделаться неразлучным спутником и самым преданным другом. Горбунов, например, пять раз переписал драму «Не так живи, как хочется». Эта народная драма, между прочим, служит показателем того, что плана, предназначенного, законченного, Александр Николаевич не записывал, полагаясь на свою необыкновенную память [47]. Он подчинялся тому влечению творческого духа, когда завязка и развязка были на втором плане, а фабула зависела уже от характера задуманных и выношенных действующих лиц. Писал эту драму, «взятую из народных рассказов» о событии конца прошлого века, под влиянием настроения кружка, где песня народная была «главною силой, которая постепенно слагала, вырабатывала и выясняла основы миросозерцания молодых друзей» [48]. Писал ее Островский долго, гораздо мед-

---

* Вообще, это время — начало пятидесятых годов — было переходною эпохою от гусиных перьев к стальным, от ассигнационного рубля к серебряному, от сальных свечей — к стеариновым, от курительных трубок — к папиросам и т. п., и в тех и других случаях с постепенностью, по градациям. *(Прим. С. В. Максимова.)*

леннее прочих, может быть, также и потому, что принялся за нее несколько поистратившимся и, во всяком случае, очень усталым,— принялся тотчас же после последней пьесы («Бедность не порок») из прочих трех, уже игранных на сцене («Бедная невеста» и «Не в свои сани не садись»). <...>

Драма «Не так живи, как хочется» к осени 1854 года была готова, и автор в первый раз прочитал ее кружку у себя на дому, следуя издавна установившемуся обычаю доставлять полное эстетическое удовольствие слушателям своим мастерским, несравненным чтением, искать у компетентных судей: от товарищей по перу — советов при случаях нарушения строгого художественного строя цельного произведения, от артистов — указаний практических при уклонениях от требований сцены. Наибольшим доверием у автора между теми и другими оценщиками пользовались: Филиппов, Эдельсон, Садовский и Ап. Григорьев.

Эдельсон, по словам одного из близких друзей и деятельных членов кружка (Т. И. Филиппова), «отличался полною самостоятельностью мысли, весьма тонким художественным чувством и замечательно изящным изложением. Тон был всегда спокоен и в высшей степени деликатен. Спокойствие и невозмутимое приличие его тона истекали из глубокого уважения к достоинству литературы» [49].

Садовский, сблизившийся с автором еще в 1849 году, по мнению того же компетентного оценщика, был таким исполнителем типов, созданных Островским, каких можно видеть только во сне. «Этот писатель и этот актер были буквально созданы друг для друга и представляли собою идеальное сочетание» [50].

Ап. Ал. Григорьев, до фанатизма увлекавшийся Островским, прослушал все его художественные создания по нескольку раз с неустанным и неослабевшим интересом. Если в это время он не успел подсказать руководящих мотивов, зато умел придать энергии в работе и уверенности в силах своими толкованиями места и значения уже созданных и вылившихся в образы художественных типов. Григорьев, во всяком случае, своими критическими этюдами сделал свое имя, в свою очередь, неразрывным и неотделимым от имени Островского [51]

Конечно, от этих четырех-пяти получал искренние советы и пользовался неподкупною любовью наш знаменитый писатель,— конечно, единственно от них, а не от надутого Шевырева, чопорного и не в меру строгого Погодина. Такому художнику от этих нечем было поживиться, хотя пред ними раньше других ему довелось впервые обнаружить во всю силу свой необыкновенный талант и поразить их всех обаянием новизны и изумительного мастерства как в отделке фабул, так и в процессе чтения.

3-го декабря 1849 года Островский прочел «Банкрота» у Погодина (попеременно с Садовским), и затем всю зиму читал эту пьесу то у гр. Ростопчиной, то у кн. Мещерских, у Пановой, у Шереметевых, у Каткова, и везде производил необыкновенное впечатление,— читал чуть не каждый день — и быстро разнеслась его слава по Москве. <...>

В марте 1850 года комедия, через четыре месяца, была напечатана в «Москвитянине», упрямо и настойчиво запаздывавшем выходом своих книжек, и с этого времени началась всероссийская известность нового таланта. Особенно быстро распространилась она по Москве, когда узнали там, что пьеса запрещена для представления на сцене и сам автор отдан под надзор полиции. Воспользовавшись случаем сказать об этом в прежних статьях своих [52], в настоящее время имею возможность сделать дополнение и разъяснение, основанные на свидетельстве лица, близко стоявшего к делу.

Попечитель московского учебного округа (потом генерал-губернатор Северо-Западного края, некогда сопровождавший в путешествии по России, вместе с поэтом Жуковским, царя-освободителя Александра II, бывшего наследником цесаревичем), Влад. Ив. Назимов как начальник московской цензуры предварительно прочел «Банкрота» графу Закревскому. Однако «негласный комитет» из Петербурга обратил внимание министра просвещения графа Уварова (ведавшего всю цензуру), а этот, в свою очередь, Назимова, поручивши ему сделать некоторое вразумление автору, что цель таланта не только в живом изображении смешного и дурного, но и в справедливом его порицании, в противопоставлении пороку добродетели, чтобы злодеяние находило достойную кару «еще на земле». Назимову

Александр Николаевич с обычною помощию и по совету ближайших друзей отвечал письмом, исполненным достоинства. Между прочим, он сказал: «Твердо убежден, что всякий талант налагает обязанности, которые честно и прилежно должен исполнять человек,— я не смел оставаться в бездействии. Будет час, когда спросится у каждого: «Где талант твой?» [53].

Впрочем, столь важная неудача на первых шагах, очень чувствительная также и в материальном отношении, не произвела, как известно, глубокого влияния на впечатлительного автора, сумевшего весьма вскоре оправиться от внезапного и сильного удара, побороть в себе естественные и неприятные ощущения острастки, исходившей издалека и свысока. Первым же порывом осмелевшего духа он направил свой путь к предопределенной цели. За «Бедною невестой» последовали комедии «Не в свои сани не садись», за нею и «Бедность не порок», которые в одно и то же время развеяли прахом гнусные клеветы литературных недоброжелателей, бесплодно искавших в первой комедии плагиата [54], и поставили на чрезвычайную небывалую высоту нашу родную (выражаясь словами восторженной гр. Ростопчиной) «театральную литературу». <...> Совершилось нарождение народного театра и тотчас за ним коренное обновление старого с первого же почина на знаменитом московском. <...>

Никогда и ни один из русских театров не достигал такой высоты совершенства и влияния, до какой поднялся к середине девятнадцатого столетия московский театр. Произошло это благодаря необыкновенно счастливому соединению разнообразных талантливых сил, создавших известные традиции, живые и действительные там и в наши дни, и выразилось в том, что все роды драматических произведений находили себе первоклассных исполнителей. Гениальный трагик Мочалов, увлекавший своею игрою до чрезвычайных восторгов самую требовательную публику, донашивал на своих могучих плечах классическую трагедию и драму. Высокая комедия также властительно пользовалась своими законными правами и блистательно отвоевывала их с такими вождями, как Грибоедов и Гоголь, и таким пособником,

как М. С. Щепкин, звезда которого к тому времени, когда выступил Островский, еще блистала ярким светом. Под особой защитой высокой комедии укрылся и ужился ветреный весельчак, безобидный остряк и бесстрастный потешник, привозный гость — водевиль, счастливее и богаче всех прочих заручившийся поклонниками и защитниками. При таких условиях сцена, угождая репертуаром решительно всякому вкусу, а при подобных исполнителях самому требовательному, возобладала небывалым влиянием на общество богатой и купеческой Москвы. Такого влияния в равной степени нельзя наблюдать ни в каком другом городе, хотя бы также университетском и также торговом.

Мочалову (едва ли не из первых) довелось убедиться, насколько существенно это влияние сцены и деятельна связь, незримо, но прочно закрепляемая ею с зрителями. Во всяком случае, он первым в счастливом избытке воспользовался результатами влияния своей потрясающей нервы игры на простых людей, не тронутых образованием, и тотчас же, как только они возымели решимость выйти в театральную залу из затворов Замоскворечья, оберегавшихся дубовыми воротами и злыми цепными собаками. Увлечение Мочаловым в наибольших размерах проявилось именно в этой среде, нуждавшейся в сильных наркотических средствах для подъема душевной энергии, ежедневно ослабляемой мелкими заботами будничной жизни, направленной исключительно к наживе и сосредоточенной на денежном барыше и имущественной прибыли. В то время, когда художественная, тонкая в отделке, игра Щепкина в высоких комедиях была здесь менее внятною, чем в интеллигентных столичных слоях,— у Мочалова была благодарная, восприимчивая и им же самим взрыхленная почва в средних классах. <...>

Затем после Мочалова надо было явиться Островскому с народными драмами и комедиями, чтобы, смягчив и уничтожив кое-какие противоречия и недоразумения, разом повернуть симпатии Москвы в другую сторону, остановить их на новом месте и здесь навсегда закрепить.

Благодаря Островскому сцена сделалась в общественном мнении своею, родною, «нашей московской». Театр из храма увеселений превратился в школу, и в

ней совершилось неожиданное чудо. Автор, проникший во все тайны темного царства и выставивший их на всеобщий суд и осуждение,— и артист[55], одухотворявший с равным искусством и очевидною правдой и крикливый порок, и молчаливую добродетель, сделались излюбленными друзьями этих самых героев комедий. Уважение обоим великим художникам оказывалось всюду и всеми также великое. Они сделались дорогими гостями. За высокую честь стали считать их внимание и посещения; к их речам с восторгом и благоговением прислушивались. И сотворила такие чудеса художественная правда, выведенная на сцену не только в среде образованных из купечества, успевшего зачислиться в интеллигенцию, но и среди тех «диких», избалованных достатком самодуров, которых особенно не щадил автор, и в них действительно еще не кончилась борьба темного злого духа с добрым началом. И эти в одинаковой степени широко растворяли двери своих крепко запертых домов прямо в гостиные комнаты с аляповатою мебелью старых рисунков, с застоявшимся затхлым запахом забытых покоев, которые только что перед приходом дорогих гостей были подметены и проветрены, а открывались и освещались лишь на такие исключительные случаи.

Степень нравственного влияния произведений Островского на публику в главном выдающемся сословном представительстве ее жителей, с самых первых пьес, сделалась настолько очевидной, что не нуждается в примерах и доказательствах. Особенно сильное возбуждающее впечатление на «купеческую» Москву произвела драма «Бедность не порок», с 25 января 1854 года до последнего дня масленицы не сходившая со сцены. И все это, между тем, происходило в то тяжелое время, когда помрачился политический горизонт и до патриотической русской столицы, хотя и медленно и в искаженном, по обычаю, виде, доходили недобрые вести о севастопольском погроме. <...>

Сверх купеческих домов, куда нарасхват приглашались наш драматург и его толкователь[56], компания Островского любила посещать по субботам веселые и разнообразные вечера Булгакова,— не Павла, бросившего

на сцену кошку вместо букета петербургской танцовщице Андреяновой, а другого брата — Константина Александровича. У этого все друзья Островского были своими людьми, умело соединенные в такую беседу, подобной которой не было, конечно, во всей Москве благодаря тому, что и сам хозяин не был заурядным человеком. Он был отлично образован и даровит: прекрасно рисовал, мастерски играл на рояли и под аккомпанемент ее без голоса умел обаятельно передавать суть глинкинских романсов. Сверх всего, владел он необыкновенно добрым сердцем.

Посетители булгаковских вечеров на Дмитровке в доме Щученка, куда Константин Александрович перебрался по смерти отца, назывались «субботниками». Заведена была книга-альбом, в который каждый из посетителей обязан был при поступлении собственноручно вписывать свою фамилию. Кн. П. А. Вяземский, при проездах через Москву бывавший у Булгакова, значится в числе субботников, и в альбоме имеются его стихотворения. Вообще, стихов было много, в особенности Б. Н. Алмазова. А. Н. Островский также охотливо вместе с друзьями посещал эти собрания и, следуя общему закону кружка, внес и свою лепту, и, по примеру большинства, также стихотворную — «К ней» или «О ней», но, во всяком случае, вызванную молодым настроением в пору развлечений и любви. Хотя, благодаря внешней форме, стихи могли быть прочитаны при посторонних свидетелях, но в них все-таки скрывалось истинное увлечение влюбленного, и стихотворение предъявлено было в виде признания, но искусно замаскированного шуткой. Свидетелями были обычные посетители вечеров: чуть не ежедневный Садовский, Мих. Ник. Лонгинов, скульптор Рамазанов, музыкант-композитор Дютш, остроумный Б. Н. Алмазов и отставной актер Максин, служивший большим утешением и развлечением общества. Он иногда среди оживленного разговора задавал вопросы, совершенно не вытекающие из темы бесед, и вставлял замечания, вызывавшие общую веселость, а временами даже и неприятную досаду. При таком-то вмешательстве Максина, когда он, по привычке, усвоенной на сцене, встал в важную позу и сделал серьезную мину, являя из себя вид знатока, прочитал А. Н. Островский свое стихотворение:

Снилась мне большая зала,
Светом облита,
И толпа под звуки бала
Пол паркетный колебала,
Пляской занята.

— Прекрасно! — воскликнул Максин.— Живая картина!

У дверей — официанты
И хозяин сам.
И гуляют гордо франты,
И сверкают бриллианты
И глаза у дам.

— Необыкновенная поэтическая картина! Ну-с! — не отставал Максин.

— Да не мешайте, Петр Алексеич!

— Я не мешаю: я преклоняюсь перед поэтом.

Воздух ароматно-душен,
Легким тяжело.
К атмосфере равнодушен,
Женский пол совсем воздушен
И одет голо...

— Да! К сожалению, в нашем великосветском обществе дамы одеваются...

— Ах, Петр Алексеевич!

— Молчу!

И отважно и небрежно
Юноши глядят.
И за дочками прилежно,
Проницательно и нежно
Маменьки глядят.
Всюду блеск, кенкеты, свечи,
Шумный разговор,
Полувзгляды, полуречи,
Беломраморные плечи
И бряцанье шпор.
Вальс в купчихах неуместно
Будит жар в крови.
Душно, весело и тесно,
Кавалеры повсеместно
Ищут визави.

— Виноват, я думал, что это в великосветском обществе,— не переставал Максин, говоря все тем же напыщенным тоном голоса, к какому привык на сцене, играя в трагедиях.

Вот меж всех красавиц бала
    Краше всех одна.
Вижу я, что погибало
От нее сердец немало,
    Но грустна она.
Для нее толпа пирует
    И сияет бал,—
А она неглижирует,
Что ее ангажирует
    Чуть не генерал.

— Превосходно!

— Да отстаньте, Петр Алексеич!

Чтение прерывается. Стихотворение полностью вносится в альбом Булгакова, как в протокол веселого заседания.

Гений дум ее объемлет,
    И молчат уста.
И она так сладко дремлет,
И душой послушной внемлет,
    Что поет мечта.
Как все пусто! То ли дело,—
    Как в ночной тиши
Милый друг с улыбкой смелой
Скажет в зале опустелой
    Слово от души.
Снятся ей другие речи...
    Двор покрыла мгла...
И, накинув шаль на плечи,
Для давно желанной встречи
    В сад пошла она.
. . . .

Следом за этим стихотворением Щепкин собственноручно вписывает стихотворение Пушкина «Полководец». Он также читал его и здесь, как равно и любимое стихотворение про Жакартов станок [57], которым он всегда занимал публику на благотворительных концертах и литературно-драматических вечерах. Это, как известно, дало повод Б. Алмазову сказать в одном из стихотворений: [58]

И Щепкин не раз про Жакартов станок
    Рассказывал нам со слезами,
И сам я от слез удержаться не мог,
    И плакали Корши все с нами *.

* Известная семья, замечательная выдающимися деятелями: старший, Евгений Федорович Корш, скончавшийся в глубокой старости, принадлежал литературе, как и брат его Валентин Федорович, бывший редактор «Санкт-Петербургских ведомостей». Младший

«Она» стихотворения Островского и его увлекшегося сердца принадлежала к интеллигентной семье, и в комедии, по толкованию его живых комментаторов, оказалась в семье небогатого чиновника под именем Марьи Андреевны. Находилась «она» в очень схожих условиях жизни, как и дочь вдовы Незабудкиной[59]. Вообще на «Бедную невесту» будущим комментаторам придется обратить особое внимание, тем более что это одна из самых ранних пьес писалась под впечатлением ближайшей среды, когда горизонт мировоззрений автора еще не развернулся в полную мощь и сумма наблюдений не была еще настолько богата, как впоследствии. При обобщении характерных черт действующих лиц комедии свободно и естественно могли подвернуться те, которые присущи некоторым друзьям автора, может быть, из его же кружка, как, например, Милашин, и, кроме того, конечно, случайные знакомцы, хотя бы по кратковременной службе автора в одном из московских присутственных мест (каковы старый стряпчий Добротворский и служащий чиновник Максимка Беневоленский) * . В Хорькова вложены те общие субъективные черты, которые присущи робким и бесхарактерным людям коренного русского склада, ударяющимся при роковых неудачах в загул, но вовсе нет надобности искать здесь какого-то ответа коварной изменнице от страстно влюбленного и отвергнутого поклонника. Могло пройти и это событие живым и вчерашним на зорких глазах юного и впечатлительного автора. Конечно, и его исключительному темпераменту, как избранника, не только не меньше, но в значительной степени в более крупных дозах отпущено было запаса нежных чувств для проявления их, как законной дани молодости. Затем всесильная мода на альбомы и всемогущий обычай

брат, Леонид, известен был в Петербурге как владелец экипажной фабрики, изготовлявшей самые фешенебельные и прочные рессорные кареты, коляски и проч. Из сестер одна была замужем за известным нашим критиком Аполлоном Алекс. Григорьевым, другая — за К. Д. Кавелиным, третья — за профессором университета Никитой Ив. Крыловым, четвертая — за московским богачом А. К. Куманиным, а пятая расцветала в девицах во время молодости Ал. Ник. Островского. *(Прим. С. В. Максимова.)*

* В Беневоленском знающие люди находят схожие во многом черты с известным оригиналом, профессором университета по кафедре римского права[60]. *(Прим. С. В. Максимова.)*

свидетельствовать свои влюбленные чувствования стихами известных поэтов, а того лучше собственного сочинения, соблазнили и молодого драматурга нашего. И он не избег общей участи: к нему, конечно, также предъявлялись эти требования в ту пору, когда романтическое настроение еще не искоренилось и замоскворецкие девы поглядывали на луну и задумывались над пылающими сердцами, зарисованными в их альбомы. Молодой Островский представлял из себя стройного юношу, одетого щеголевато, а по получении первой платы от Погодина за «Свои люди» даже по последней парижской моде. Он пел романсы, и пел превосходно, очень мелодичным тенором, как свидетельствовала в печати одна из знакомых его в этой ранней молодости[61]. С годами он начал полнеть, приобретал солидную посадку и перестал в довольной мере напоминать собою то время, когда он был еще начинающим писателем *. А так как в то же время он становился великим, то долг наш, обязывающий сохранять в памяти все то живое, чем высказывался его устанавливающийся характер, невольно понуждает кстати и к слову привести нижеследующий акростих, написанный в скромном и теперь уже потерянном альбоме:

Зачем мне не дан дар поэта,
Его и краски и мечты?
Нашлась нужда теперь на это.
Аврору, майские цветы
И все на свете красоты
Давно бы описал я смело,
А вас писать — другое дело.

Рядом со стихотворными шутками, облегченными знанием родного языка и его форм, доведенным, можно сказать, до виртуозности, у Островского шло прислуживое изучение неизвестных еще приемов в живой речи и усыновление их при помощи сцены в литературном языке. Опыты, как известно, оказались настолько удачными, что многие слова и выражения получили

* «Вот что делают годы: из Аполлона я превратился теперь в Посейдона»,— шутливо острил над собою Александр Николаевич в кругу близко знавших его в молодости друзей своих в Петербурге. *(Прим. С. В. Максимова.)*

права гражданства и некоторые из них узаконены как новые пословицы или уличные поговорки. Родную речь он любил до обожания, и ничем нельзя было больше порадовать его, как сообщением нового слова или не слыханного им такого выражения, в которых рисовался новый порядок живых образов или за которыми скрывался неизвестный цикл новых идей. Это привело его к серьезной работе составления особого словаря с своеобразным толкованием, которая, конечно, за недосугом не могла быть доведена до конца. Тем не менее наследникам автора представилась возможность дать второму отделению Академии наук ценный подарок в образчиках, которые удалось набросать Островскому в черняках его посмертных рукописей [62].

Много слов, взятых из ёго произведений, прошло в обиход, и досужливому наблюдателю нетрудно будет выделить их и занести, как новость и особенность, в словарь, подобно словам «метеорское звание», «доказать», «патриот своего отечества», «черты из жизни» (на красных носах невоздержных гуляк) и проч., за которыми скрываются цельные представления и картины, обрисовываются оригинальные характеры и живые типы *. Все, имевшие случаи слушать его беседы и принимать в них участие, не откажутся подтвердить, какую массу метких замечаний разбросал он бесследно с легкостью богатого и расточительного владельца.

Глубина наблюдений всегда являлась первою на глаза и вела к прямому убеждению, насколько богато одарена была эта талантливая натура, которой, однако,

---

* «Метеорское звание», которое носил знаменитый Любим Торцов, и сейчас применяется с удобством ко всем лицам подобной печальной профессии метеоров, и которым, с придатком характеристики «тепленького», «чуть тепленького», оттеняются настоящие, безвозвратно потерянные. «Доказывает» (свое превосходство) — ломается надменный человек, не желающий слушать чужих мнений и не умеющий отвечать по неразвитости; мысли в разброде, и голова занята лишь самим собой; гордо глядит, односложными словами отвечает, покручивая усы и даже мимоходом поглядывая в зеркало, и т. п. Объем статьи затрудняет дальнейшие наблюдения в этом направлении. Применение различных выражений из произведений Островского к случайным обстоятельствам обиходной жизни Горбунов довел также до виртуозности. Модест Иванович Писарев также знал почти всего Островского наизусть. *(Прим. С. В. Максимова.)*

не помирволила судьба. Богатой природе не дано было настоящего образования в строгом смысле этого слова, по зависимости от обстоятельств того сурового времени, когда начал расти и развиваться самобытный и природный талант. Ему не удалось сделаться специалистом, пригодным на государственную службу, так называемым «сих дел мастером», но та же университетская неудача[63] не помешала найти путь к истинному призванию. Немногим удавалось выбиваться из навязанной или вынужденной колеи и за свой счет попасть на прямую дорогу при чрезмерных усилиях. Я уже имел случаи указывать на резкие и выдающиеся примеры, подтверждающие мою мысль, и теперь, при занесении в этот список Островского, тем не менее не приходится считать это общеевропейское явление коренным русским. В самом же виновнике недовольство собой и эта досада на вынужденное несовершенство было довольно глубоко и искусно скрыто. Въяве это могло проявляться (и то лишь отчасти) в той хвастливости, которую засчитывали Александру Николаевичу,— явный недостаток, правду сказать, резко бросавшийся в глаза. В сущности же, неудержимое стремление прихвастнуть собой и повеличаться небывалыми и даже невозможными в его положении качествами и достоинствами всего вернее следует отнести ко времени выхода из незаметного положения в общественной среде и к той забалованной привычке, от которой отставать ему не хотелось, а окружающие усиленно не дозволяли. Привычка эта, конечно, приобретена была им главнейшим образом в ту пору, когда ранние успехи и тотчас следовавшая за ними слава захватили его в молодых летах неустоявшимся. Не было опыта жизни и достаточных сил удержаться от угара, чтоб ослабить охмеляющий наплыв лести и слепого повсюдного поклонения. Эта хвастливость не была, однако, продуктом отталкивающего чванства или гордого самомнения. Она носила самый невинный характер, доходивший нередко до забавных крайностей в тех случаях, когда в виду чужих действительных заслуг на него быстро нападал каприз равняться и даже первенствовать на словах, как бы из боязни остаться на задах в обидном положении неумелого или неспособного. Зато если кто из людей, к нему близких, проявил известное признанное за ним дарова-

ние, то в глазах и на словах Островского не было уже человека лучшего и высшего. Привязанность здесь была искренняя и прочная, и даже не без крайности и увлечения. Личная же похвальба во всяком случае являлась не только странною, но и совершенно ненужною даже и в то время. Все, что успел Островский сделать в своей трудовой литературной жизни, произведено было им с образцовым и изумительным совершенством, и Александру Николаевичу некому было завидовать. <...>

Живо вспоминается теперь чтение А. Н. Островского в одном из купеческих домов за Москвой-рекой, на Полянке, куда привез меня П. М. Садовский, бывший в этой семье своим человеком. Чтение назначено было утром с двенадцати часов в уважение болезни хозяина, которого Островский очень любил, но которого доктора засадили дома и не позволяли засиживаться по вечерам. Больному хотелось послушать «Воеводу», о котором он слышал как о пьесе очень давно задуманной, а теперь вот узнал, что она наконец написана.

Уже по рысакам у подъезда можно было предположить, что хозяин вознамерился слушать не по-домашнему, запросто, а в большом собрании и с некоторою торжественностью, в праздничной обстановке. Два официанта в нитяных перчатках, встретившие нас в передней, эту догадку подкрепили. <...>

Вся толпившаяся около дверей залы и в гостиной публика зашевелилась, освобождая дорожку и устанавливаясь стенкой. Устроилось это совершенно так, как делалось при соборном служении, когда суровый и строгий митрополит Филарет входил в Успенский собор и его также ждали и встречали такими же поясными поклонами, и, кажется, даже с опущенными глазами встретили и Александра Николаевича, который вошел своей медленной походкой с разлитой на лице добродушной и приветливой улыбкой. В руках у него была листовая в переплете тетрадь. Он положил ее на круглый стол, когда сам уселся на диване, а слушатели разместились на тяжелых стульях с выгнутыми спинками, обитых скользкою волосяною материей.

Началось чтение мелодичным голосом, чистым и светлым баритоном, когда ни одно фальшивое ударение не дерзает оскорблять слуха, как случается теперь

зачастую на петербургских литературных чтениях *. При чтении вслух Александр Николаевич выработал особенную манеру, отличительную от других мастеров в этом роде, каковы его друзья, именно Писемский и Ал. Ант. Потехин. Читал он очень медленно и спокойно, как бы сам прислушивался к звукам своего ровного голоса и каждую отдельную, тщательно отделанную фразу, пользуясь этим благоприятным случаем, еще раз взвешивал и оценил. «Сон на Волге» стал оживать в картинной яви, когда у ворот воеводского дома заговорила толпа, раздались крики бирюча и полились затем ворчливые речи измученных воеводскими неправдами посадских из лучших людей. С постепенностью, с какою он вводил всех в интересы действующих лиц, навевал он на слушателей то же душевное настроение, каким, несомненно, и сам был проникнут.

Невозможно было разобраться, что здесь лучше: прелестный ли стихотворный размер или превосходное чтение. Явно чувствовалось одно, что автор перенес нас в такое далекое время, когда одна за другою восстают новые картины, как живые, хотя не виданные и не слыханные: свободные речи недовольных; площадной шут, дерзающий обличать грозного воеводу, и сам он, немилостивый, отбивающийся от жалоб и нападок лукавыми речами всенародно, на городской площади и на ступенях собора, и т. д.

Читал это автор при таком гробовом молчании, которое ясно доказывало, что слушатели, как бы сговорившись заранее между собою, решились ему показать, что они умеют благоговейно слушать, что недаром приучала их к такому способу игра сценических мастеров, каковы Щепкин и Садовский, что они всецело отдались автору, верят всему, что он скажет, и по мере разумения и по силе чувствований наслаждаются. «Вот этакого

* Хотя Островский и считал себя (по отцу) костромичом, родившись в Москве, но в разговоре его не замечалось признаков грубоватого низкого говора на *о*,— он, конечно, говорил и читал свысока, низким московским говором и, разумеется, без пересола замоскворецких кумушек. Зато Писемский упрямо сохранил говор своей чухломской родины, и это помогало ему доводить до полного слухового обмана особенно тех, кто слушал из соседней комнаты чтение «Плотничьей артели» и «Горькой судьбины». *(Прим. С. В. Максимова.)*

разумного человека народил господь и послал в нашу матушку-Москву: слушает она его теперь и не может вдоволь наслушаться. То всем дорого и лестно, что наш он, батюшка, наш».

Много раз потом слушал я чтение Островского в ежегодние осенние и зимние приезды в Петербург (в квартире брата, у актера Бурдина, у Некрасова, и проч.), но такой свободной манеры, непринужденной до изящного, и художественной простоты я уже не слыхал (читывал он и стихотворения). Казалось тогда, что будто слушаешь оперу, построенную на новых мотивах, словно древних лет Баян воскрес и вновь вдохновился.

И речи из уст его вещих сладчайшие меда лилися.

Прочитал Александр Николаевич пролог «Воеводы» за один дух и когда откинулся на спинку дивана, прося позволения отдохнуть,— всеобщее молчание не нарушалось.

Отдыхал автор не долго. Не скрылось от нас, что он сам увлекся чтением и желает его продолжать перед такими охотливыми и благодарными слушателями. Он прочитал затем самый «Сон». Когда дошел до хвалебного стиха Волге, вложенного в уста недруга воеводы, и прочитал его с поразительною простотой и в увлекательно мягких тонах, совершенно непохожих на общепринятые прочими поэтами,— в чрезмерно приподнятых тонах до неестественной торжественности,— в среде простодушных, но тем не менее восприимчивых слушателей, началось неожиданное движение. Один глубоко вздохнул на всю комнату и этим как будто подал сигнал, чтобы и прочие несколько пришли в себя, оживились и приободрились. У хозяина навернулись слезы, хотя он и старался скрыть их от чтеца, но это ему не удалось: Александр Николаевич прекратил чтение, посвятивши ему времени около часу. Когда вышел он из-за круглого стола и все поднялись с мест, всеобщее молчание еще некоторое время продолжалось, словно не застыли еще в воздухе и носились в нем нежные слова привета, лаская слух и окрыляя мысли:

Кормилица ты наша, мать родная!
Ты нас поишь, и кормишь, и лелеешь!
Челом тебе! Катись до синя моря!..

Один из слушателей простодушно признавался мне:

— Ну, чего тут толковать и о чем еще разговаривать? Не хвалить звали — слушать. Неумелою похвалой,— да ежели она невпопад окажется,— можно обидеть. Верно, как говорили, что лучше нельзя и никто так не может. Вон и Пров Михайлыч — на что уж умен и сам доточлив, а и тот молчал: тоже замер. <...>

Литературные чтения с легкой руки Островского и его ближайших друзей пришлись по вкусу публике и вошли в моду: Островский, Писемский и Потехин начали их в Москве в частных домах купеческих и аристократических и, конечно, бесплатными, исключительно в интересах личного творчества. Впоследствии литературные утра и вечера сделались платными, всегда с благотворительной целью. С переходом на эстрады общественных и клубных зал чтения в глазах публики получили сначала тот существенный интерес, что можно было видеть вживе и въяве доселе незримых виновников наслаждений эстетических и художественных, вглядеться в их облик, из уст самих услышать их произведения, а по пути и кстати общепринятыми знаками доказать им свою признательность и за доставленные удовольствия, и за поучения. Чтения во фраках сделались нового вида театральными увеселениями.

Если бы возник вопрос: который из трех московских основателей литературных чтений был лучшим? — пришлось бы ответить обычным детским способом. Каждый внес свою монету, и все пользовались одинаковым успехом с наддачею лишних восторгов в сторону которого-либо из них в исключительных случаях подъема духа публики и вследствие какого-либо особого, временного, ее настроения. Вообще прием в публичных чтениях, усвоенный, например, Алек. Ант. Потехиным, выделялся наибольшею горячностью по сравнению с двумя остальными, но у него, как равно и у Писемского, слушатели чувствовали живых лиц с оттенками их голоса и манеры, а для артистов имелись намеченными и готовыми такие штрихи, которые достаточно облегчали путь и способы к созданию полных и правдивых типов. Писемский сам был превосходным актером и замечательным рассказчиком, чего недоставало двум другим и в особенности Островскому. Последний пробовал участ-

вовать в своих пьесах на домашних сценах, но лишь превосходно читал избранную роль и совсем не играл, не был действующим лицом, а лишь посторонним участником и как бы обязательным свидетелем игры прочих. Многим еще памятно одно из таких представлений в квартире его шурина [64] (сначала в Запасном дворце у Красных ворот, потом в казенной квартире в Кремле). Автор превосходно читал свою роль, но все время не спускал глаз с Садовского, который, в числе прочих артистов, избранных и приглашенных на спектакль, сидел между зрителями. Этот странный прием, и притом примененный во все время действия с изумительным упорством, вынудил настоящего артиста сделать в антракте актеру-автору такое замечание:

— Зачем вы на меня смотрите? Ведь я могу сейчас уйти из кресел, чтобы не мешать вам «играть».

Островский всеми помыслами, можно даже сказать — всем существом своим до того был предан интересам сцены и ревнив к ее успехам до мелочи, что потом еще не один раз пробовал испытывать на ней свои силы, но всякий раз (например, в доме Пановой в роли Маломальского) не пользовался удачами. Не удались ему роль Подхалюзина и другие в собственных пьесах, из которых игрались преимущественно еще не допущенные в то время на сцену, как «Свои люди» и «Доходное место». Зато Писемский чтением своим (в особенности «Горькой судьбины») развертывал движение целой драмы в мельчайших оттенках характеров каждого из действующих лиц так, как должно быть на театральной сцене и совершенно, и безобманно, именно в таком виде, как оно разыгралось бы и в жизни крепостной деревни и барской усадьбы. <...>

Островский был неизмеримо счастлив тем, что около всех, без исключения, им написанных произведений образовались целые самостоятельные труппы артистов, а на образцовом московском театре наш автор имел, в видах исключения для одного себя, выдающуюся удачу обойтись на первое горячее время без помощи таких сил, каковы: громадная — Щепкина и весьма значительные и внушительные — Шумского и Самарина, первого — ярко выступавшего в водевилях и комедиях, а второго — в комедиях и драмах. И кто бы мог поверить, что эти три артиста были закулисными недоброжела-

телями нашего знаменитого драматурга: Михаил Семенович — довольно открытым [65], Сергей Васильевич — из подражания ему, как своему покровителю, а Иван Васильевич, в то время не успевший вполне установиться на своих ногах,— в роли нейтрального, но с приметным наклоном в сторону театрального ветерана. Об этом обстоятельстве необходимо сказать несколько слов в интересах правды и полноты воспоминаний.

Во время расцвета творческого таланта Островского известная борьба славянофилов с западниками была в полном разгаре, в особенности когда первым удалось основать свой орган «Русская беседа» и в нем укрепиться с большею последовательностью и независимостью, чем до тех пор в погодинском органе «Москвитянине» и в отдельных сборниках. Во главе так называемых «западников» стояли тогда молодые профессора университета: Грановский, Кавелин, Кудрявцев, Катков и др [66]. Когда Островский напечатал свою превосходную первую комедию «Свои люди — сочтемся!» в «Москвитянине», западники легким, скороспелым способом только по одному этому обстоятельству зачислили его в ряды славянофилов. Когда же около погодинского журнала определительно сгруппировалась так называемая «молодая редакция»,— западники еще тверже укрепились в своем ошибочном предположении.

Островский на самом деле мог оставаться еще под некоторым сомнением, если бы западники взяли труд поверить себя хотя бы явными фактами. Оказалось бы, что с славянофилами он тесно не сближался, хотя в то же время не искал знакомства и с их противниками. Однако на приглашение Каткова охотно отозвался и читал у него свою первую пьесу прежде многих других, и едва ли даже не у первого. Салон графини Салияс, писавшей под псевдонимом Евгения Тур (составленным из обратно переставленных слогов фамилии Тургенева), посещаемый исключительно западниками, Островский изредка навещал, хотя все его товарищи по редакции того намеренно избегали, боясь именно встречи с крайними западниками (и через это попали под их гнев). Их могло еще вводить в сомнение также и то, что некоторые из друзей молодого драматурга, как, например, более известный и видный между ними [67], придумал для себя оригинальный костюм на манер

славянофильского, нечто вроде поддевки, которую и обратил в обиходный. <...>

Недоразумение выходило полное, и оба особняка устояли в замкнутом и непроницаемом виде, каждый под своей смоковницей, сообразно с личным темпераментом и усвоенными симпатиями. <...>

На вечере у М. С. Щепкина один из ученых западников вдался в объяснение того, что вся Русь такова, как обрисовал купеческую семью Островский в первой своей комедии. Иных людей, кроме плутов и мошенников, и быть не может.

— Ну, так прощайте, мошенники! — сказал Садовский — и ушел.

Раскол в ученых и образованных слоях Москвы такой высокой важности и глубокого значения успел проникнуть и за кулисы Малого театра, так как крупных представителей сцены не чуждалось не только образованное, но и самое высшее столичное общество. Впрочем, здесь оба эти направления, занесенные извне во взаимных сношениях между собою артистов, не имели особенно выдающегося и серьезного значения с последствиями, хотя самое движение было очень приметно. Образовались две партии, но ни за тою, ни за другою нельзя было признать указанного определения в строгом смысле. Вернее сказать, западницкая была просто щепкинской, а другая — крайняя — островской партией. К последней принадлежали почти все артисты, игравшие в пьесах Островского; на стороне правой стояли особняком только три вышеупомянутые во главе со Щепкиным, Шумский и Самарин. В сущности, главным поводом к этому распадению передовых артистов послужил именно новый репертуар, возобладавший сценою с неожиданно поразительным успехом. Эти трое не нашли в нем себе подходящих ролей: ни ветеран сцены, ни прекрасный в водевилях (в то время) Шумский, ни блестящий первый любовник Самарин. Типы Островского оказались совершенно незнакомыми, и им всем как будто приходилось оставаться за флагом [68]. Шумский, ознакомившись с критическими статьями Григорьева, так и говорил откровенно в знакомых домах и за кулисами в уборных:

— Надеть на актера поддевку да смазные сапоги — еще не значит сказать новое слово.

— Бедность-то не порок, да ведь и пьянство не добродетель! — ехидно острил хитрый ветеран сцены, не без скрытого подмигиванья и лукавого киванья в прямом направлении.

На защиту выступал Степанов, отличавшийся в роли Маломальского. Он говорил товарищам, втихомолку посмеиваясь:

— Михайлу Семенычу с Шумским Островский поддевки-то не по плечу шьет, да и смазные сапоги узко делает: вот они оба и сердятся.

Известно, что Щепкин играть назначенную ему роль Коршунова (в комедии «Бедность не порок») наотрез отказался и резко порицал самую пьесу.

Не выдержал наконец и Садовский, вообще сдержанный и правдивый, когда «хитроумный» старец, в виду выраставших успехов молодого писателя, начал не признавать в его пьесах уже никаких достоинств и в особенности порицал «Грозу». После споров в уборной, когда Щепкин вышел из себя, стучал кулаком по столу, костылем в пол, Садовский хладнокровно установил свое мнение, высказав решающее слово:

— Ну, положим, Михайло Семенович западник: его Грановский заряжает, а какой же Шумский западник? Он просто Чесноков.

Такой отзыв быстро распространился, и тем более угодил всем, что Щепкин состоял усердным посетителем собраний западников (чаще у Кетчера), а Грановский, по его просьбе, прочел актерам лекцию о комментаторах «Гамлета». Что же касается Шумского, то действительно он носил природную фамилию Чеснокова до поступления на сцену в Одессе, которую оставил для Москвы, но снова туда возвращался и опять вернулся в Москву на постоянную службу. <...>

Чуждый всяческих интриг и зависти и забавляясь театральными сплетнями, как веселым развлечением в досужие часы и в приятельской компании, Островский верил своему призванию столь твердо, что на нападки предпочитал отвечать действием, а не словами. <...> Недоброжелательство, укреплявшееся на шатких основах временных недоразумений, стало утрачивать свои силы и совсем ослабело, когда сам автор вышел

из тесных рамок купеческого быта и ввел в свои комедии и драмы новые и живые элементы. Драматическая литература обогатилась свежими художественными типами, взятыми из прочих сословий государства, и сценическим деятелям предъявлены были иные мотивы, где можно было показать свои сдержанные силы и всем тем, которые до сих пор намеренно, из притворного упрямства, не хотели прибавить себе лишних успехов на сцене. С появлением в числе действующих лиц новых комедий с ролями чиновников и военных, помещиков и актеров и проч. секрет был открыт. Самые стойкие и упрямые вынуждены были соблазниться и покориться. За объятиями Щепкина, хотя, конечно, и без прямого влияния их, последовало негласное, но столь же поучительное примирение с автором его театральных противников. И Шумский и Самарин доброхотно сдались, но тем не менее успевши одержать благородную победу над самими собой и блистательную над публикой, когда взялись за те роли в ранних пьесах, которые до того времени обегали. Среди выдающихся сценических успехов в московском театре не забудется та образцовая мастерская игра, какою отличались: Шумский в роли Вихорева (в «Не в свои сани...»), Добротворского («Бедная невеста»), Жадова («Доходное место»), Оброшенова («Шутники»), Крутицкого («На всякого мудреца...»), Счастливцева («Лес»), ростовщика («Не было ни гроша...»), и Самарин в ролях Телятьева в «Бешеных деньгах», и Линяева в «Волки и овцы». Исполнение роли Самариным в последней пьесе вызвало искренний восторг самого автора, сказавшего, что артист в ней как рыба в воде.

С переходом Островского в «Современник» стало ослабевать и то неблагоприятное предубеждение, которое с самого начала его деятельности господствовало среди западников, хотя крайние из них, как В. Ф. Корш и переводчик Шекспира Кетчер, всегда признавали в нем великий талант. Талантливая критика Добролюбова («Темное царство») окончательно разрешила вопрос и примирила западников с Островским. Он сделался постоянным и исключительным сотрудником «Современника», где дана ему была и подходящая материальная оценка, установившаяся раз навсегда (по двести рублей за каждый акт), и остался верен редак-

ционной компании Некрасова, когда она, после запрещения «Современника», взяла в свои руки «Отечественные записки», где, как известно, Краевский оставался лишь номинальным редактором-издателем.

Рассеялись подозрения западников, однако, не без некоторых существенных нравственных утрат для нашего драматурга в среде московских его друзей; исчезла рознь в закулисном мире, и число исполнителей увеличилось, обогатившись крупными силами,— и Островский действительно стал счастливым человеком, как подсказал Садовский в день покаяния и примирения Щепкина * [69].

Зависть, всегда неразлучная спутница всяких успехов, а тем более столь быстрых, не перешла в ненависть, от которой обычно происходит много бед. Во многом помогла здесь, мягкая, нежная природа самого драматурга, который сдержанностью характера и величавым хладнокровием умел ослаблять силу ударов врагов и сдерживать пылкие порывы союзников. Ветки терновника, вплетенные в его лавровый венец, не были для него настолько болезненно колючими, чтобы привести в раздражение. Настоящего горячего или стойкого боя по этой причине не произошло, и даже злому языку водевилиста Ленского, искавшего всюду хотя бы единую кроху для красного словца, здесь не было пищи. Слишком ярко выступало приветливое обхождение с равными и большими, ободряющая ласка к малым и незаметным; с большим тактом устраивались и уладились истинно товарищеские, взаимно помогающие отношения, и всегда теплое домашнее гостеприимство и радушная хлеб-соль попросту, а нередко и с затеями.

---

* Очень серьезные недоразумения, возникшие впоследствии в личных отношениях между Островским и Садовским, настолько странны и неожиданны, что разъяснение их приходится предоставить будущему. Они не имели особенно важных последствий: Садовский оставался прежним поклонником таланта и честным исполнителем его произведений; Островский первым решился подать руку примирения. Однако прежних теплых и близких отношений не установилось: не на мир они побранились (вопреки народной пословице) в то роковое время, когда от неумелого хозяйства вконец распадался московский Артистический кружок, в который наш драматург влагал всю свою душу [70]. *(Прим. С. В. Максимова.)*

— Проходил мимо Генералова,— говаривал дома милый хозяин, привычным особенным приемом поправляя свою густую, круто подстриженную бороду,— глядит в окно провесная белорыбица, точно сливки...

— Да и у Арсентьевича она не хуже: садитесь — попробуйте,— следовал ответ и наглядное доказательство.

Или так:

— В кофейной у Печкина на карту поставили суп из сморчков...

— Да и в наш суп они сегодня попали...— и т. п.

Так это было, по крайней мере, в те годы, когда возрастала слава и устанавливались литературные и общественные отношения этого дорогого человека. Дорог он был своими сердечными упрощенными отношениями. Шутливым советом И. Ф. Горбунову запастись белою фуражкой с кокардой, чтобы уже очень не обижали ямщики на бойком Петербургском шоссе и притом еще во время ярмарки, проводил он нас обоих в путь на Волгу и дальше из своего укромного и теплого гнездышка [71]. Дружескими советами с крепким объятием и прощальным словом, в котором чувствовалась скрытая жгучая слеза разлуки, любовно напутствовал, отечески благословлял он и меня в дальний путь по Сибири на далекий неведомый Амур [72]. За больным Писемским, возвратившимся из путешествия по устьям Волги [73], истощенным астраханскою лихорадкой, он ходил, как за ребенком, и посылал жене его в деревню успокоительные письма, а впоследствии заботливо защитил его от легкомысленных и скороспелых обвинений в том, что он из поездки своей ничего не вывез и там ничего не делал. Эти доказательства дружеских отношений и братских чувств, которым и вмале он был много верен, приводятся здесь не только по чувству личной благодарности, но и с уверением, что подобных примеров в жизни нашего великого писателя было много, чрезвычайно много. К Садовскому, например, он простер свою дружбу до того, что вместе с ним и исключительно для него приехал в Петербург на первые гастроли артиста; зная нелюбовь его к Петербургу, терпеливо выдержал с ним затворничество в меблированных комнатах Толмазова переулка, и, если настояла надобность выезда, сопровождал его лишь туда,

где его не могли сильно огорчить и сам он не мог резко проговориться. На защиту обвиняемых друзей в эпоху всеобщего отрицания (как, например, на обеденных собраниях у Некрасова) Островский, здесь всегда серьезный и очень сдержанный, более молчаливый и прислушливый, чем разговорчивый, выступал с горячностью и убедительностью[74].

Не только при этих случайных и редких натисках, но и вообще во время приездов в Петербург он казался далеко не таким, каким был дома в Москве. Исчезали и безграничное добродушие, и приветливая веселость,— вдруг надобилась личина особенного смирения и наложение обета молчания. Иногда невозможно было вызвать его на такую оживленную беседу, какие были обычны в присутствии и при его живом участии везде в Москве. Здесь он как будто все оглядывался и осматривался, как тот редкий гость, который пришел в незнакомый дом и не знает, что делать: сесть или стоять, слушать других или начать разговор, и даже затрудняется в том, куда девать свои руки. Это не было упорное отчуждение и намеренная замкнутость при полном затворничестве Садовского, но некоторая натянутость москвича все-таки проглядывала при всех его стараниях это скрыть, а в последние посещения даже и развернуться. Конечно, это в развязном Петербурге с дерзким и вызывающим моноклем в глазу нашему скромному гостю совсем не удавалось развернуться: он был тяжел и неловок, не имел светского лоску и не в силах был заставить себя отбросить всякое стеснение. Один только раз помню я, когда речь его заблистала увлекательно и он, осилив натянутость, обычную при первом свидании с незнакомыми, дал себе волю. Это было на одном из еженедельных «вторников» у Н. И. Костомарова в то время, когда печатались в «Вестнике Европы» его «Последние годы Речи Посполитой»[75]. После ответа на вопрос Николая Ивановича, где автор «Минина» нашел известие о том, что этот нижегородский гражданин покупал плохих лошадей, но потом в короткое время они у него так отъедались, что сами хозяева их не узнавали,— ответа, предъявившего новые доказательства тому, что, отдаваясь известному изучению, Александр Николаевич доходил до корня вдумчиво и основательно,— коснулась речь отношений Москвы

к Польше, московских посольств и переговоров. По ведомым, живым образцам, еще уцелевшим в современной Москве в среде именитого купечества, и с тем художественным проникновением, которое составляло секрет Островского, он развернул картину в художественно-комическом виде свидания наших долгополых доморощенных политиков, несговорчивых, грубых и упрямых перед надменными, блестящими кунтушами с таким мастерством, что поразил всех. Болезненно-нервный Костомаров увлекся так, что вскакивал с места, бегал по комнате, хохотал до упаду и топал ногами по привычке, усвоенной им в подобных случаях восторгов и увлечений. Соревнование художника-драматурга с художником-историком действительно было полно интереса и увлекательности. На другой день в «Балабаевской обители» (как шутливо назывался трактир в доме Балабина, рядом с Публичной библиотекой), куда после занятий в библиотеке Костомаров заходил пить чай с Кожанчиковым, Островский побеседовал с ними на подобные же темы, вновь убедивши историка в глубоком изучении и живом понимании именно народной русской истории. Оба художника были в восторге друг от друга, и один из них писал мне потом: «Молю бога, да не оскудевает в обители Балабаевской обилие чайное» [76].

Не от избытков средств теплился и светлел приветливый очажок у Серебряных бань, когда нижний этаж дома отдавался жильцам, а сам хозяин ютился сначала и долгое время наверху. Борьба с нуждой велась незримо для посторонних глаз, но ясна была для окружающих, а от близких и доверенных в крайних случаях и не скрывалась. Далеко было до того довольства совершенно обеспеченного в материальном отношении Тургенева и даже до того скромного, каким, например, успевал обставиться Писемский. В немногих и тесных комнатах Островского не нашлось бы места тем широким оттоманкам Тургенева (привычку к ним не покидал он и за границей), на которых спокойно велись литературные беседы и беззаботно валялись довольные своим настоящим: счастливый в денежных делах Некрасов, обеспеченные отцовскими наследствами артиллерийский офицер, только что покинувший осажденный Севастополь, граф Л. Н. Толстой, умеренный

и аккуратный А. В. Дружинин, обеспеченный доходами с журнала И. И. Панаев, очень богатый от чайной торговли отца В. П. Боткин и др.

Не помнится, чтоб у Александра Николаевича был даже письменный стол с общепринятыми приспособлениями и приличный такому работнику, но уютного и уединенного кабинета, обставленного удобствами, облегчающими занятия, положительно не было и нигде невозможно было заметить живых следов литературного труда. Деревянный дом принадлежал ему совместно с братом (Михаилом Николаевичем).

У Погодина нельзя было поживиться: например, Эдельсон и другие получали по пятнадцать рублей с печатного листа мелкого шрифта, и только Алмазову иногда удавалось счастливо срывать двадцать — тридцать рублей. Островский за «Банкрота» получал по мелочам и всякий раз с наставлениями о сбережениях и воздержании, и вдобавок за ними надо было еще ездить в даль Девичьего поля на извозчике. Во всяком случае, великому драматургу приходилось испытывать горькую судьбу литературного деятеля в то время, когда подхваченные на сцене слова и выражения уже разносились по Гостиному двору, начиная с Ножовой линии, и через трактиры уходили в деревни прямо в народ. Писатель становился в полной мере популярным и бесспорно народным.

При таковых-то условиях материальной оценки художественного труда, более мешающих, чем способствующих творческому настроению, приходилось работать Островскому, по крайней мере на добрую половину его авторской жизни. Их следует знать и помнить при оценке его первых трудов и при встрече с недостатками, обличающими торопливость и недоделанность. Под влиянием дружеских и товарищеских побуждений он должен был поспешать отделкой, поспевая к бенефисам, и под натиском нужды — изготовлением новых пьес к сроку выхода казовых новогодних номеров журналов. Нужда неотступно стояла за плечами, именно во все осеннее время и усиливалась по мере приближения рождественских праздников. «Сами знаете (писал он мне в одном из своих писем), в каком я положении нахожусь. К такому празднику, когда расходы удесятерятся, быть совершенно без копейки — вещь очень не-

приятная. Я не знаю, что мне делать. Я просто теряю голову»[77].

В это время возраставшей нужды и происходили ежегодно наши петербургские встречи, когда Островский привозил новые пьесы, читал их по вечерам избранным кружкам, приглашая артистов, входил в денежные соглашения с Некрасовым; иногда успевал прочитывать корректуру. Корректуру полного собрания доверял обыкновенно мне с помощью Горбунова, а раз избрал меня посредником при продаже шестого тома, в который вошли «Горячее сердце», «Бешеные деньги», «Лес» и «Не все коту масленица», книгопродавцу Звонареву[78], а затем и нового полного собрания сочинений Д. Е. Кожанчикову[79]. Из переписки, усилившейся между нами по этому поводу и имеющей уже теперь за собою более чем двадцатипятилетнюю давность, из этой переписки, которая свято сохраненною лежит теперь перед глазами, воскресает милый образ. На пожелтевших от времени листках выступают живыми и яркими те незабвенные черты его, которые привлекали и очаровывали всех при жизни: поразительная скромность — существенный признак, свойственный лишь истинным талантам и служащий их украшением; еще неустановившаяся в себе неуверенность в силе таланта, жаждущая новых проявлений и рассчитывающая на будущие более решительные доказательства; и полная дружеская откровенность с простосердечною искренностью, и при всем этом изумительная деликатность во всяческих отношениях, хотя бы и с личным ущербом.

Между тем надвигалась беда. Чрезмерная работа последних лет оказалась губительною тем более, что целый год производилась порывами и тревожно. Эти волнения и ежедневные беспокойства в Москве оказались более убийственными, чем прежняя умеренная деятельность и правильно налаженные литературные занятия, когда привелось написать для русской драматической сцены сорок четыре оригинальных произведения[80], кроме некоторых переводных пьес*. Литератур-

* Переводных пьес восемь[81] и написанных в сотрудничестве с двумя лицами: г. Соловьевым — четыре пьесы и г. Невежиным — одна[82]. Из оригинальных пьес семь написаны стихами. *(Прим. С. В. Максимова.)*

ные занятия, как всякое телесное упражнение, могли казаться здоровыми, но, чрезмерно возбуждая душевные силы, в то же время истощали и убивали тело, в котором уже успели угнездиться тяжелые недуги. Эта-то чрезмерность в труде, а главное — постоянное раздражение неприятностями по управлению труппой [83], на податливой почве потрясенного организма и сделались роковыми, как всякое излишество, когда перед отъездом на лето в Щелыково Александр Николаевич еще вдобавок и простудился. По целым часам от ревматических болей он не мог пошевелиться и ужасно страдал; дорогой впадал в обмороки.

А затем коротенький сказ, торопливое газетное известие на легком ходу:

«Утром в духов день 2 июня (1886 г.) А. Н. Островскому внезапно сделалось дурно, и он скончался».

Совершилось ужасное событие, и разнеслась по России потрясающая весть:

Островского не стало!

Тем не менее, по искреннему и правдивому выражению, безыскусственно высказанному, между прочим, на двадцатилетнем юбилее его драматической деятельности:

Пройдут года — дойдет от дедов
Ко внукам труд почтенный твой,
И Пушкин, Гоголь, Грибоедов
С тобой венец разделят свой... [84]

Показывая нам юмористическую сторону жизни, он учил плакать и смеяться честно и искренно,— и этим особенно дорога нам его память. Недалеко ходить и за утешением: уже очень давно сказано: «Жить после смерти в сердцах тех, кого покидаем,— не значит умереть».

М. И. Семевский

<ВСТРЕЧИ С А. Н. ОСТРОВСКИМ В МОСКВЕ>

26 октября <1855 года> вечером отправился я к талантливому автору знаменитой комедии; адрес его я узнал отчасти в редакции «Москвитянина», но вернее в Коммерческом суде, откуда только года два назад он вышел, а то прежде довольно долго там служил *[1].

В Серебряном переулке, у Николы Воробина <...> я набрел на собственный деревянный домик Островского. <...> По темной и грязной деревянной лестнице я поднялся в мезонин, где живет гениальный комик. Едва я отворил дверь (по обычаю московскому, незапертую), две собачонки бросились мне в ноги. За собачонками явился мальчик[2] с замаранной мордочкой и с пальцем во рту — знак, выражавший его изумление при взгляде на офицера, забредшего в такую пору; за мальчиком виднелся другой, за другим с вытаращенными глазами смотрела на меня кормилица с грудным младенцем. <...> Скинув с себя шинель, что исполнить было некому, я прошел влево через комнату,— старый лисий салоп просушивался на парадном месте, то есть на столе посреди комнаты. Наконец я вошел в третью маленькую комнатку, освещенную стеариновой свечкой: простой стол, одна сторона которого была

---

* Это достаточно объясняет, почему Александр Николаевич Островский так хорошо знает купеческое сословие. *(Прим. М. И. Семевского.)*

завалена бумагами, и несколько стульев составляло мебель ее; за столом сидели женщина с работой, недурна собой, но, как видно, простого званья[3], и А. Н. Островский. Первая, заслыша чужой голос, улетела за перегородку (откуда, как и следует, выглядывала, хотя смотреть-то было не на что). Хозяин же, заслыша мой голос и шаги, встал и стоял в недоуменье — скинуть ли ему халат или нет <...>. Недоумение его прекратилось, когда он увидел пред собой мальчугана.

Бедность, которая проглядывала во всей квартире автора «Своих людей», не только не поразила меня неприятным образом, напротив того — в глазах моих Островский стал еще выше.

Войдя в комнату, я увидел пред собой очень дородного человека, на вид лет тридцати пяти, полное месяцеобразное лицо обрамляется мягкими русыми волосами, обстриженными в кружок, по-русски (a la мужик, или a la Гоголь — как его рисуют на портретах), мало заметная лысина виднеется на маковке, голубые глаза, кои немного щурятся, при улыбке дают необыкновенно добродушное выражение его лицу.

«Я имею честь видеть пред собой Александра Николаевича Островского?» — начал я, раскланиваясь, как Чичиков, с «ловкостью почти военного человека». Утвердительный ответ и приглашение садиться я получил от моего идола. Комплименты и рассказ, в коем заключалась моя маленькая литературная деятельность на школьной скамье, объяснили Островскому, что я за птица и из каких хоромов к нему залетел. Островский слушал меня с вниманием, по всей вероятности, думая в это время: правда ли впрямь это? Мальчуган в гвардейском костюме (вывеска пустоты, картежничества и <...> — так понимают его многие) — все это не располагало в мою пользу, да и притом физиогномия-то больно нелитературная, сиречь не имеющая никакого выражения... <...> Подобные или такие мысли, но, верно, они роились в голове талантливого комика; вот почему он был угрюмым... <...> Равнодушно слушая меня, Островский говорил редко и заикаясь и, наконец, когда я выходил, то он мне не подал руки, тем не менее приглашал меня бывать. С тяжелым чувством вышел я от обожаемого мною писателя: я бранил свой костюм, бранил свою физиогномию, приходил в негодование от



«Свои люди — сочтемся!» Большов и Подхалюзин.
Рисунок П. Боклевского 1850—1860-х годов.

мысли, что меня, может быть, приняли за мальчишку, шарлатана и вертопраха... <...>

1-го ноября я отправился снова к А. Н. Островскому. Вхожу в его комнату (вообще его квартира показалась мне на этот раз весьма нарядною), автор «Своих людей» быстро приподнялся, дружески протянул мне руку и, крепко пожав мою, усадил меня. Едва очнувшись от неожиданно ласкового приема, я оглянулся — кроме меня и Островского, сидели здесь: мужчина с загорелым смуглым лицом и с черными усами (как я узнал после от Островского, это был Дриянский, автор повести «Одорко Квочка» и других малороссийских повестей и «Комедии в комедии», пьески, отпечатанной в «Москвитянине» [4]); другой с рябоватым, но скромным и добрым лицом — это был Дементьев — бескорыстный сотрудник редакции «Москвитянина».

В этот вечер более всех говорил Островский — глаза его оживились, и он говорил живо и красноречиво. Кроме нескольких отзывов о нынешних современных писателях, он разговорился о *славянофильстве.* <...>

«Вы спрашиваете,— говорил Александр Николаевич,— кто написал разбор «Бедной невесты» в «Современнике»? Это Иван Тургенев [5], действительно, он человек хороший и писатель с большим талантом. Мы с ним сошлись весьма недавно... Да, талант у него большой, но он не может вырваться из-под той коры, которая охватила его голову, набитую наиглупейшим светским воспитанием. Он человек богатый и, вопреки своему ложному русско-французскому воспитанию страстно полюбя отечественную литературу, сделался туристом. Ездил по России и, таким образом, сделался одним из тех писателей, кои, посмотрев сквозь стеклышко, в какой поневе одета русская баба, записывают это в свою памятную книгу... Нет, нет, это не анекдот, что он сидел на съезжей, напрасно вы так думаете, это вот как было дело: после смерти Гоголя Аксаков, сын автора «Записок ружейного охотника», написал дельную статью по поводу сочинений Гоголя [6]. Ивана Сергеевича Тургенева также упросили написать на эту же тему, и он написал статейку, по его собственному отзыву — препустую, и отослал ее в редакцию «Санкт-Петербургских ведомостей»; Мусин-Пушкин, эта деревянная голова, вздумал, бог знает почему, не пропустить ее,— Турге-

нев напечатал ее в «Московских ведомостях». Это взорвало цензора-солдата. «Да это нарушенье субординации, да это бунт, да это...» — и пошел, и пошел. О этом пустом деле он сделал донос государю, сделал в совершенно превратном виде, и аристократ-писатель попал на съезжую, где два месяца просидел [7]. Что делать, только на Руси и случаются подобные диковинки... Нынешний император очень любит Тургенева, и в одном из собраний, встретя его, его величество ласково сказал: «Что вы пишете теперь?» — «Ничего, ваше императорское величество»,— отвечал смущенный неожиданною милостью Тургенев. «Пишите, и пишите больше»,— продолжал ласково император, отходя от него.

Да, теперь Тургенев, Анненков и Писемский, живя все трое в Петербурге, составили кружок, к которому ходят на поклон редакторы петербургских журналов.

Кстати о *Анненкове*, это человек с талантом ниже второстепенного, человечек до сих пор, незаметный, но как от одного прикосновения к гениальному писателю возвышается самая личность разбирателя. Анненков составил биографию Пушкина, составил добросовестно, без особых претензий [8], и он занял почетное место в современной родной литературе...

Вы спрашиваете про Писемского?.. Ха, ха, ха — какой он, черт, аристократ, такой же аристократ, как мы с вами, ему лет за сорок — помещик небольшого именьица Тверской губернии душ пятидесяти, он домосед большой руки (живет теперь в Питере), ходит всегда в халате, рубашка расстегнута до пупка, и крепко, крепко любит выпить, да у него жена, Катерина Павловна, очень миленькая светская дама, не позволяет ему заниматься этою «провинностью» *. Но когда собираются гости, тогда строгая Катерина Павловна приказывает подать водку и вино, но сам хозяин боится при ней пить. «Катюша, дружок, выйди на минутку,— обыкновенно говорит он, когда заберет его охота выпить,— я хочу дурное слово сказать», и Катюша его выходит. Мягкий, ласковый характер Писемского. Вы заговорили про его последнюю статейку «Плотничья артель» — это премиленькая повесть, написанная с

---

* Слово Подхалюзина, кое в речи Островского обратило на себя мое внимание. *(Прим. М. И. Семевского.)*

большим искусством. Или в статье о второй части «Мертвых душ» он высказал именно то, что нужно и что можно было высказать о этом, кое-как набросанном сборнике нескольких отрывков, высказал просто и от души, не поднимаясь на ходули. <...>

Вы спрашиваете, знаю ли я *Потехина*, помилуйте, как не знать — мы с ним земляки [9]. Кострома наш родимый уголок. Но нынешняя его биография весьма грустна... Вот видите ли в чем дело: во время оно, впрочем весьма недавно, попечителем московского учебного округа была *преумнейшая голова*, одна из тех голов, кои только и могла иметь Россия в прошлое правление,— это Муравьев. Рассказывает про него *клевета* много анекдотов. Вот один из них: ревностный попечитель, забредя однажды не в овчарню, а в Университетскую библиотеку, окинул орлиным взором à la l'empereur * все шкафы: «Это что за беспорядок — поставьте книги в порядке, и малые к малым, а большие к большим, да и на кой черт даете вы студентам книги из середины шкапа, пусть начинают брать с краев, небось ведь не перечитают всего». Ревностного поборника просвещения перевели в Кострому губернатором, и бедный Потехин, по несчастью, сделан был им чиновником по особым поручениям. Дворянство, возбужденное против губернатора его нелепо-солдатскими ухватками, подарило своею ненавистью и Потехина. Прямым следствием этого было то, когда избирали в ополчение,— Потехина выбрали первым [10], и только недавно, по моему ходатайству в недавнее пребывание мое в Костроме, его начали принимать в некоторые дома, дотоле запертые для него по милости Муравьева...» <...>

Кстати, пошло дело на рассказы, передаю вам еще анекдотец, рассказанный Островским. «Краевский постоянно враждовал и враждует с Булгариным. «Пчелка» страшно возненавидел редактора «Отечественных записок» и своими наговорами вооружил против него Мусина-Пушкина до того, что *меценат* николаевского просвещения говаривал: «Если б было можно, я бы повесил Краевского». Издателю «Отечественных записок», естественно, не устоять было бы, если бы он не нашел себе покровителя в Дубельте. Но, несмотря на

---

* императора *(франц.)*.

это, Булгарин, действуя через Мусина-Пушкина, умел во многом досаждать Краевскому: целыми десятками печатных листов не пропускал сукин сын Фрейганг. Краевский с своей стороны не оставался в долгу. Вот когда вышла новая такса на петербургских извозчиков, Краевскому случайно пришла мысль прочитать фельетон в «Пчелке» Булгарина. Фаддей, с свойственными ему одному замашками, начинает в подобном духе: «Я всегда говорил, говорю и буду говорить, что правительство неустанно печется о нас, все меры и распоряжения его с благою целью и увенчиваются блистательным успехом, самое свежее из подобных распоряжений — вновь положенная такса на извозчиков». За этою прелюдиею следовало еще несколько панегириков и таксе и правительству, наконец следовало «но», и за этим *но* разболтавшийся фельетонист выставил несколько невыгод для ездоков, проистекавших от таксы.

«Та-та-та, да, никак, Фаддей наш либеральничает,— сказал мне, тут бывшему (говорит Островский), Краевский,— прочтем еще раз. Да, помилуйте, да это республикой отзывается! — Вот поглядите, он взбунтует всех извозчиков, поколеблет Россию»,— и, расхохотавшись, Краевский тотчас же написал пресерьезное донесение к Дубельту, что вот, мол, так и так, что затевает «Пчела». Дубельт, голова, впрочем, с затылком и крепко не жалующий Булгарина, написал наистрожайшее отношение к Мусину в таком духе, что Булгарин (не сказал даже господин) выкинул такое колено *, что если что-нибудь подобное повторится с его стороны, то он поставляет себе священною обязанностию запретить дальнейшее издание «Пчелы», предать редактора следствию и суду, а до того просит Мусина-Пушкина сделать распоряжение, чтобы следили за Булгариным. Отношение Дубельта ошеломило мецената «Пчелы» и как громом поразило вечно ползающего в ногах правительства Булгарина. Он долго не мог очнуться от этого тумака и не догадался, кто его виновник» [11]. <...>

16-го числа <ноября>, приехав сюда, я немедленно — в первый же свободный вечер, отправился к нему (Островский живет в пятнадцати минутах ходьбы от

---

* Я передаю подлинный рассказ Островского. *(Прим. М. И. Семевского.)*

нашей квартиры — вот чем объясняется, что я уже третий раз к нему ходил). Никого не застав у Александра Николаевича, кроме его самого, я начал между прочим просить у него хоть отрывок черновой его рукописи «Своих людей». Островский повел меня в свою спальню; надо сознаться, что комик наш живет, мало заботясь о комфорте и порядочном убранстве комнат: между ширм (за которыми стоит кровать его) и печкой стояла конторка, весьма тяжелая; в одном из боковых нижних ее шкапиков лежали его черновые наброски комедии, но конторка так плотно была придвинута к печке, что дверцы шкапика нельзя было отпереть. В течение семи месяцев Островский сбирался отодвинуть конторку, но, побораемый русскою крыловскою ленью, не делал этого, хотя бумаги были ему нужны, и только в этот визит мой мои просьбы и подмога моим просьбам со стороны Ганночки (так зовет Александр Николаевич женщину, которая с ним на «ты») <...> убедили его отодвинуть конторку. С поспешностью прапорщика я начал снимать все вещи с конторки, могущие разбиться при боковом ее движении. Первое, что мне попалось, был большой бюст Гоголя, сделанный Рамазановым по маске, снятой с мертвого автора «Ревизора». За Гоголем, в настоящую величину человеческой головы, снят был мной бюст *А. Н. Островского.* Взяв его в руки, я невольно вспомнил о рассказах насчет громадного самолюбия русского Шекспира. «Что вы так пристально смотрите, неужели не узнаете? Это мой бюст; Рамазанов его снял в тысяча восемьсот пятидесятом году, я был тогда гораздо тоньше... Да рубля за два или за три вы можете найти этот бюст в редакции «Москвитянина» и в петербургских лавках»,— отвечал мне Александр Николаевич. Подняв кипу бумаг и встряхнув ее так, что от облака пыли чихнул я, Ганночка, чихнул гений и двое ребятишек за перегородкой. Островский начал разбирать эту кипу. «Первого и второго действия «Своих людей» нет у меня, они у Погодина». Я пригорюнился. «Но позвольте, позвольте, вот сцена из второго действия,— продолжал Островский, разбирая бумаги,— вот все третье действие, все это писано моей рукой с черновых набросок, а вот все четвертое действие в первом виде, как оно вышло у меня — извольте получить».

С неподдельным восторгом я прочитывал и перелистывал комедию в том виде, как она только что строилась [12]. Итак — первоначально школьный разбиратель «Своих людей», потом знакомый автора этого произведения, наконец обладатель рукописи: «Да от этой радости, как говорит Подхалюзин, можно спрыгнуть с колокольни Ивана Великого!»

По словам Островского, первая его комедия сочинялась им с 1846 года по 1850 год и читана была Гоголю в большом собрании гостей [13]. Гоголь расцеловал автора-чтеца. Гр. Соллогуб, прослушав ее у Гоголя, прочел ее при дворе Марьи Николаевны.

Пятого действия и не думало быть в «Своих людях». Цензура, кроме двух слов, все пропустила в печать из этой драмы. Из этих двух слов, как я помню, сказал мне Островский, цензор не пропустил первой половины поговорки Устиньи Наумовны: *<нельзя ж> комиссару без штанов, хоть худенькие, да голубенькие* [14]. <...> Но автор сам много переделывал, пока выпустил в печать свою драму. Сцена, когда приходит из *ямы* Большов, особенно много перемарана и переделана. Доставшиеся мне листы, за исключением нескольких страничек в четвертом акте, диктованных во время болезни автором одному плохо грамотному «землемеру» [15], писаны небрежным, скорым и неровным, но довольно разборчивым почерком Островского.

Все черновые рукописи остальных его комедий я видел, но не просил их. В остальных комедиях весьма мало перемарано, автор, делаясь самоувереннее, меньше трудился над ними. Между прочим, в «Не в свои сани» Островский первоначально хотел ввести вместо Вихорева офицера *Ганцова*, вся жизнь которого (как и многих из нашей братьи офицерщины) заключалась бы: в усах, шпорах, мазурке, фронте и волокитстве, но николаевская цензура не пропустила лицо военное, и вместо него должен был выйти Вихорев. На днях будет отпечатана последняя пиеса Островского «Не так живи, как хочется». <...>

Ноября 19-го. Был у Островского. Застал его за выписками из актов Археографической комиссии. Толковали о множестве ныне изданных материалов отечественной истории. Островский весьма хвалит сборники *Арцыбашева*, а, как известно, последний показал все

свое невежество — собрал без всякой критической оценки всевозможные документы: важные и не важные [16]. Карамзин говорит: «Я не верю той любви к отечеству, которая презирает его летописи или не занимается ими: надобно знать, что любишь, а чтобы знать настоящее, должно иметь сведение о прошедшем» [17]. Островский, любя отчизну, ревностно занимается памятниками нашей старины [18]. Говоря о театре, я, между прочим, прочел ему из своей «Истории комедии» о Аблесимове. «Я с вами не совсем согласен,— возразил автор «Своих людей».— Аблесимов был вполне народный писатель, в нем едва ли не более, чем у всех того времени авторов, заметно стремление к изображению действительного мира. Он не виноват, что в его время не было еще той формы истинного согласия с нашей народностью, коей он мог бы вполне художественно облечь свое талантливое произведение». По прочтении начала моей статьи о Сумарокове он сделал следующего рода замечание: «Превознося «Опекуна», вы находите недостатки во всех остальных его комедиях, я не согласен, чтобы «Лихоимец» был ниже «Опекуна». На это отвечал я возражением. «Положим, пусть так,— отвечал Островский, выслушав меня,— но вы излишне растянули свою статью о недостатках одиннадцати комедий Сумарокова, это напрасно, притом же ваши обвинения излишне однообразны». Далее просил я его сделать замечание касательно языка. «Язык ваш далеко не созрел, периоды его вылиты в одну форму, что делает его тяжелым и во многих местах крайне утомительным. Но, обратя внимание на этот недостаток и имея много практики в письме, вы скоро его исправите. Указать же правила слога и гармонию в расстановке слов — дело невозможное, только трудом и вниманием к написанному можно прийти наконец к верным, постоянным правилам, держась которых вы сделаете язык свой живым, полным разнообразия в оборотах, звучным и увлекательным». Достоинства же, им найденные в мною прочтенных отрывках из «Истории» [19], есть: отличная распланировка, добросовестность к исследованию достоинств и недостатков комедии «Опекун», наконец смелость в обвинении пристрастных приговоров наших журналов *. <...>

* Александр Николаевич советовал мне обратить внимание на *Судовщикова* комедию «Неслыханное диво, или Честный секре-

15-го декабря. Часа два провел у меня вечером Александр Николаевич *Островский.* Автор «Своих людей» был, как говорится, в ударе. Разговорились о его любимом авторе — Гоголе. Спрашивал про похороны.

— Хоронили,— отвечал Островский,— действительно с полным уважением и всеобщею грустью, которую вполне он заслуживал. Между прочим, здесь нельзя не рассказать,— добавил Островский,— следующий анекдот: когда совершалась панихида, а отпеваемое тело Гоголя привлекло к нему столько людей высшего круга, что церковь едва-едва вмещала. В это время один полковник, заметя большой съезд и вбежав на паперть, стал шепотом спрашивать у придверника: «Какого генерала хоронят?» — «Не могим знать, кого хоронят, а только не енерала»,— отвечал сторож. «Что ж, должно быть, по статской какой генерал»,— возвыся голос, продолжал вопрошающий. «По статской,— нет, кажись, и не по статской был»,— флегматически отвечал ему. «Так кого же, кого?» — громко продолжал воин. «Гоголя»,— отвечал, входя в церковь, Островский. «Гоголя,— в недоумении заметил полковник,— такого не слыхал. Кто он?» — «Титулярный советник, если не ошибаюсь»,— любопытному отвечал, улыбаясь, студент. «Т-и-т-у-л-я-р-ный! Тьфу-ты, пропасть»,— сказал полковник, окончательно не понимая, что бы значил подобный парад титулярному советнику. <...>

Укоряют Островского в незнании языков, но он настолько знает английский язык, что перевел из Шекспира одну комедию (что-то вроде этого: «Сумасшедшая жена» или «Бешеная семья» [20]) и читает произведения Мольера, правда, сколько я видел, в русском переводе.

Островский, как сам рассказывает, был представлен Гоголю Садовским. «Автор «Мертвых душ», прослушав мою первую пьесу — от Садовского, сию похвалил и сделал замечание: что сцена Большова с Рисположенским в первом действии излишне растянута». Между тем Гоголь пожелал видеть нового комика, который

тарь», Прочтя ее, я согласился с ним, что она несравненно выше «Ябеды» Капниста и должна быть введена для сравнения с последней в «Историю русской народной комедии». Комедия Кокошкина «Воспитание», по его же словам, должна быть прочтена автором «Истории». *(Прим. М. И. Семевского)*

и был представлен ему на вечере у Ростопчиной [21]. Литературный вечер открылся на этот раз чтением самой хозяйки: баллады ее «Нелюдимка». Монотонное чтение скучного и слабого сочинения, продолжавшееся три часа, заметно утомило и Гоголя, и остальных слушателей. Времени оставалось немного, и Островского попросили прочесть хоть некоторые отрывки из его драмы. Автор прочел сцену Рисположенского (первого действия). На этот раз, благодаря его искусному чтению, она не показалась растянутой. Что же касается до прочитанных им сцен (Липочки, свахи и обручения в третьем и четвертом действиях), то все они; как и надо было предполагать, произвели полный эффект. Говоря о нелепой цензуре Гедеонова, вследствие которой до сих пор не игралась его драма «Свои люди» [22], Островский рассказал следующее: года два тому назад дана была на здешней сцене Шекспирова драма «Король Лир». Глава театральной дирекции [23], славный выродок прошедшего периода, сведав о этом, прислал наистрожайший выговор с запрещением отнюдь не давать впредь драмы этой. «Помилуйте, на что это похоже,— писал Гедеонов,— короля убивают на сцене,— да это что же такое... это безначалие... это, наконец,— либерализм!» И «Короля Лира» сослали со сцены за либерализм.

Любопытно послушать, когда Александр Николаевич, воодушевясь, вдается в странную крайность славянофильства. В одну из подобных минут вы можете узнать, что при осаде Казани мы вели правильные траншеи и что, следовательно, опередили европейцев целым столетием (1689 год), позже начавших осаждать города <...> траншеями. Тут же вы узнаете, что у нас еще при царе Феодоре Алексеевиче была конная артиллерия, а отсюда заключение, что и здесь мы опередили Европу. Тут же автор «Своих людей» расхвалит вам «Переписку» Гоголя, заметив при этом, что эта замечательная книга имеет недостаток только один, именно: излишнюю скорость, с коею она издана, что Маржерет и Курбский— писатели — не заслуживают никакой доверенности, равно как и Котошихин [24]. <...>

12-го генваря 1856 года. «Гром не грянет, мужик не перекрестится» — вчера дал знать Островский, что зайдет ко мне сегодня вечером, и я для редкого гостя пришел из караула. «Для милого дружка — сережка из

ушка». Кроме автора «Своих людей», был и Назаров. Беседа началась о «В чужом пиру похмелье» — новой пиесе Островского. Как Назаров, так и я делали свои замечания о недостатках пиесы. Автор, не сердясь, оправдывался. <...> Потом перешли к Аксакову [25]. Островский с ним знаком, и, страстно любя охоту, едет к нему весною на облаву и ужение. Александр Николаевич долго и с жаром рассказывал о мужестве и силе костромского мужичка, выходящего сам-один с рогатиной и ножом на бурого медведя. Кострома — место рождения автора «Своих людей» [26], поэтому и вызывает его к одушевленному разговору. Говоря о тетеревах, голубях, рыболовстве и проч. и проч., мы и не заметили (вернее, он, ибо разговор этот мне приходился «не ко двору» и я жалел только, что мой пламенный охотник Н. А. Ф — в [27] уехал на бал), не заметили, как ударило одиннадцать часов. <...>

Последняя комедия Островского в кругу гг. *западников* (если можно так выразиться) возбудила всю их желчь против талантливого комика [28]. <...> «Помилуйте, да что этакое комедия в несколько листиков, да ее можно написать в один вечер, ни сюжета, ни здравой идеи, ничего нет»,— вот какими словами встретил Галахов мой вопрос: «Читали ли вы новое произведение Островского?» <...> Действительно, в новой комедии автора «Своих людей» я заметил много недостатков. <...> Привыкши видеть в каждом выведенном лице Островского особый художественно обрисованный тип, мы не видим этого ни в Иване Ксенофонтовиче, ни в Лизавете Ивановне, ни даже в Аграфене Платоновне, названной автором «губернской секретаршей». <...>

На это замечание Островский отвечал мне, что он и не хлопотал о обрисовке и верности лиц учителя и дочки, что он их вывел «так себе», для дополнения и развития главной, основной его идеи, олицетворенной в характерах и поведении двух *Брусковых*. <...>

Относительно сюжета всем бросается в глаза маленькая несообразность: каким чудом купец с здравым смыслом выкупает за 1000 рублей расписку свою, расписку, по которой никто и ничего не может сделать? На это Островский отвечал мне, что *Тит Брусков* слишком прост и невежествен, чтобы понять это,— гербовая бумага пугает его, еще более пугает его мысль о про-

цессе, боязнь его выражается в его собственных словах: «Еще дело заводить, путаться», <...> из-за чего он и возвращает расписку учителю. <...>

Странным кажется быстрый переход Тит Титыча от упорства к свадьбе сына *по любви* к строгому приказанию ему же немедленно жениться. На это замечание, сделанное мною же А. Н. Островскому, последний отвечал, что старик Брусков был до того поражен благородною выходкою человека из того сословия, которое, по его мнению, только и умеет что «обмануть да ограбить!» <...>, что ему как бы совестно стало. Мысль же, что Иванов не только не думал впутывать его сына, а напротив, презирает и отвергает родство с ним, обидела его. Итак, увлеченный и совестью и в то же время глубоко оскорбленный тщеславием, он повелевает сыну во что бы то ни стало жениться на Лизавете Ивановне, но так как брак этот «выходит из постоянных условий его быта», то зритель, следуя за характером Брускова, вполне уверен, что это не более не менее как порыв своенравия. <...>

5 марта, ночью. Только что вернулся от Островского. <...> Странное дело, непонятная вещь. Сколько переслышал я о нашем современном драматургическом таланте и пошлых пасквилей, и глупых анекдотов — и никогда, решительно ни в один из многих моих визитов к Островскому не заметил я ни одной черты, ни одного намека, которая бы оправдывала хоть сотую долю из всего того, что говорят его завистники и его недоброжелатели. <...>

Недавно еще я слышал следующий пошлый анекдот о Островском. «Гоголь и Тургенев,— будто бы сказал однажды под хмельком автор «Своих людей»,— солисты русской литературы, во мне ж Россия видит оркестр». Все, подобные этому анекдоту, рассказываются на тему «самолюбия в насмешку прозванного русского Шекспира».

Александр Николаевич самолюбив, в том спору нет, но далеко же не так, как об этом рассказывают. По крайней мере, я не видел ни одной серьезной его выходки гордого самолюбия и тщеславия.

А как вы думаете, кто более всех в настоящее время старается сколь возможно унизить славу Островского, славу упрочившегося, твердо установившегося и при-

знанного всеми журналами? Кто пялит себя изо всех сил, желая выдвинуть свою пошлую личность на счет славы Островского? Назаров! — Безыменный фельетонист «Санкт-Петербургских ведомостей»! Вот оно: в тихомго болоте черти водятся. На упрек в этом, сделанный Краевскому Островским, первый отвечал: «Да что прикажете делать, Александр Николаевич,— дайте мне других писателей, других фельетонистов, и я плюну на ваших антагонистов — мелкотравчатых Назарова, Руднева и Петрова».

Пожимая плечами, сказал Островский мне: «Вы, Михаил Иванович, знакомы с Назаровым. Когда увидите его,— добавил он с своей добродушной улыбкой,— спросите, пожалуйста: за что он воюет против меня. Неужели я чем осквернил русскую литературу? Неужели он убежден в своей странной, не хочу сказать нелепой мысли: что я будто бы ратую за невежество в ущерб истинному просвещению. Допустим, что я ничего не сделал особенно важного, гениального, так не за мной ли остается честь писателя, впервые затронувшего нетронутый слой общества русского, честь писателя, внесшего в литературу новые типы?»

Даю вам слово, Григорий Евлампович, что все здесь сказанное принадлежит от буквы до буквы автору «Своих людей». Итак, где же это олицетворение уродливо громадного самолюбия? Напротив того: скромность, добродушие и незлопамятность характера видна и в речах и в поступках Александра Николаевича.

Вот еще один случай, явно подтверждающий мое мнение: отправился он в Петербург с неприязнью к Григоровичу, которую не может не почувствовать всякий, прочитавший письмо Дриянского к нему, в коем выставлен автор «Рыбаков» на основании непреложных фактов подлейшим, пустейшим, негоднейшим из людей [29]. Вернулся же Островский из Петербурга если не с дружбою к последнему, то и не с враждою к нему. Дело в том, что Григорович при первом же свидании с ним у *Тургенева*, заметя его холодность к себе, бросился на шею к Островскому и залепетал: «Душечка, душечка * Островский, ты на меня сердит, уж я вижу, душечка,

* Это слово постоянная его поговорка. *(Прим. М. И. Семевского.)*

что сердит. Право, вижу. И все вы на меня сердиты (добавил он, обращаясь к Тургеневу, Анненкову и другим). По вашему мнению, душечки, я сплетник, пустой человек, дрянной человек. Душечки, пусть так. Только вы простите меня. Впредь буду вести себя как следует, а то, душечки, нам, литераторам, грешно не жить в дружбе, а? Простите или нет? Если нет, так уж, душечки, уеду в Италию, приму католическую веру, буду валяться под чинарою да питаться апельсинчиками». Григорович кинулся обнимать Островского, и тот, забыв сплетни и насмешки, кои распускал новый его друг насчет его, простил и забыл все старое да бывалое! <...>

Александр Николаевич возвратился из Санкт-Петербурга, не успев выполнить многих из своих проектов [30]. Так чтение «Своих людей» у Константина Николаевича не состоялось по случаю масленицы. Немедленный отъезд в <...> командировку не исполнился по случаю запоздалости его хлопот. Но рано или поздно она исполнится. Островский ждет ответа от Потехина в том, какую часть бассейна Волги, верхнюю или нижнюю, хочет он себе взять, а какую уступит Островскому [31].

Собрание сочинений Островского взялся напечатать на весьма выгодных для Островского условиях типографщик «Современника», но, к сожалению, без картин[32].

С Островского, Тургенева, Писемского, Григоровича, Гончарова и Ковалевского лучший петербургский фотографщик снял портреты для французской иллюстрации! Да здравствует художник, знакомящий Францию и Европу с блестящими звездами современной русской литературы!

Самое же важное дело, сделанное Александром Николаевичем в Петрополе, есть окончательный переход его вместе с *Тургеневым, Гончаровым, Григоровичем, Л. Толстым и Писемским*, с сентября месяца, под знамя «Современника» — с тем, чтобы, кроме этого журнала, нигде не печататься им...

Но... тпр... забыл я, что мне сказано это под секретом; впрочем, ведь я говорю — самому себе?

Условия же этого оригинального трактата я вам потому не рассказываю, что все это еще буки: «улита едет, да коли-то будет!» [33] <...>

В «Русской беседе» явится, по заранее сделанному Островским обещанию, пятиактная его драма «Минин»[34].

«К святой неделе я, даст бог, напишу его окончательно»,— сказал мне Александр Николаевич. Скорость работы и маленькая самоуверенность — вот недостатки его таланта, возникшие вследствие нашей несчастной критики, убивающей нередко молодой, только что выступающий талант злою насмешкою или портящей его другим, более опасным орудием: неумеренною похвалою. <...>

С увлечением рассказывая о игре своей на домашних спектаклях, Островский, опять же таки вопреки своему мнимому громадному самолюбию, сказал: «Я был хорошим или порядочным чтецом своих ролей, но никогда не думал и не мог сравняться с посредственным из наших актеров!»

— Ну, вот что, Михаил Иванович,— заговорил между прочим бывший в этот вечер у Островского Дриянский,— я к вам заходил в караул, бывал и дома, вы все читаете да делаете разные заметки и извлечения, что ж, не напишете ли чего-нибудь?

На это отвечал я шутливою пословицею и отрицанием.

— Да почему ж,— заметил Железнов,— вы образованны, любите науку, трудитесь, для чего ж и не написать.

Улыбка скользнула по губам хозяина, в ней прочитал я намек на «Историю народной комедии», но Островский не выдал моего секрета так, как выдаю я его; но только сказал с тою же добродушною, слегка насмешливою улыбкою:

— Какой-нибудь Назаров пишет же, а чем вы хуже Назарова? По всей вероятности, напишете гораздо дельнее и умнее его.

Не ожидая нового, более невыгодного для моего самолюбия сравнения, я сказал твердо:

— С поручьим чином — стану вино пить; а в тридцать лет буду печататься.

Гости и хозяин захохотали. <...>

5 апреля. Четверг. <...> Читал сегодня у А. Н. Островского письмо к нему генерала Врангеля — товарища морского министра, в коем генерал от имени великого князя Константина предлагает ему ехать в губернии Костромскую, Тверскую и Ярославскую... для описания этих губерний преимущественно в отношении кресть-

янского быта. Впрочем, план и состав сочинений представляется таланту г. Островского [35].

Тут же приложен открытый лист от министра внутренних дел за его подписью и печатью, в коем отдается приказание местному начальству: доставлять все бумаги, все сведения, всякого рода провожатых и подводы, кои и когда-либо только потребует г. Островский. <...>

17 апреля. Среда. <...> Завтрашний день А. Н. Островский едет на верхнюю часть Волги: в губернии Тверскую, Ярославскую, Костромскую и проч. В шесть часов вечера отправился я к нему.

— Вот, Михайло Иванович, позвольте вам рекомендовать Прова Михайловича Садовского,— встретил меня этими словами хозяин, указывая на полного мужчину.

— Наконец-то я имею удовольствие видеть знаменитого артиста,— проговорил я, от души приветствуя гениального актера.

Приветствие понравилось Прову Михайловичу, он дружески пожал мне руку и стал что-то веселее и — вопреки своему обыкновению — говорлив. Садовскому, как мне показалось, лет тридцать семь, полное отвисшее лицо его не отличается резкостью черт, а тем более красотою. Но взгляд его умных, черных глаз надолго остается в памяти. Черные густые волоса, подстриженные в кружок, обрамляют его вечно спокойную (внешне), вечно угрюмо-сумрачную физиогномию.

Когда я видел его, на нем был род коришневого сюртука, пестрый жилет и желтовато-бледные летние брюки. Наклонившись на локоть на правое колено и вертя в руках серебряную табакерку, он больше слушал, нежели говорил.

Далеко не таким серьезным флегматиком был И. Е. *Турчанинов*, тут же находившийся в гостях у А. Н. Островского. Турчанинов — талантливый актер, актер умный и дельный для всех второстепенных ролей *, мужчина лет тридцати пяти, длинный, сухой, с бледным, но живым, выразительным, весьма подвижным лицом, довольно длинным носом, небольшими жи-

---

* Я его видел, например, в Капитоне Титыче Брускове, дурачке («В чужом пиру похмелье»), в купчике Грише («Утро молодого человека», этюд Островского), в Гуслине («Бедность не порок»). *(Прим. М. И. Семевского.)*

деньками бакенбардами и редкими с лысиной волосами на голове.

— Да, Пров Михайлович, вот наш офицерик надоел уж мне, спрашивая меня беспрестанно: когда же я увижу Садовского, где мне увидеть Садовского? — заговорил, указывая на меня, сидящий тут же за столом Дриянский.

Последовал с стороны автора «Своих людей» панегирик мне, поблагодарил я за лестные отзывы доброго Александра Николаевича. Поблагодарил и быстро переменил разговор. Заговорили о гвардии вообще и о Павловском полке в особенности.

— Да, перемена, перемена большая видна теперь даже и в войске,— сказал между прочим хозяин.— Теперь и под мундиром, под военным мундиром нередко скрывается человек с любовью к труду, с сильным протестом против всего пустого, пошлого и гадкого, с умом просвещенным...

— Поэтому-то,— заметил я,— не совсем прав Искандер, называя наш мундир парадным костюмом дураков *.

Разговор переменился на театр. <...>

Островский вынес галерею портретов современных наших писателей **. Все мы уселись их рассматривать. Видели и поэта Полонского с вдохновенным взглядом, и поэта Майкова — скромного, субтильного, и Потехина — посадкой своей напоминающего одного из героев последнего его романа: «Крушинский», и Дружинина — с его маленькими блестящими глазками,— и добродушного автора «Рудина», и Григоровича с лорнеткой, и Писемского: важного, солидного, с открытым лбом и ясным взглядом, и юного Толстого, и Островского, сидящего, по своей неизменной, постоянной привычке, с поджатыми под стул ногами и неизменной, не сходящей с лица его улыбкой острого юмора. Наконец дошла очередь до Гончарова.

— Посмотрите, господа,— заговорил Турчанинов,— Гончаров сидит так спокойно, так равнодушно, что вот

---

* «Прерванные рассказы» Искандера. Лондон. 1854 г. в вольной русской книгопечатальне. Глава 4. Записки доктора Крупа: Левка [36] *(Прим. М. И. Семевского.)*

** Без сомнения <...> вы уже видели их; это — фотографические портреты работы Левицкого. *(Прим. М. И. Семевского.)*

так и слышишь от него слова: «Пожалуй, снимайте и с меня... если вам угодно, а только я не понимаю, к чему все эти затеи... а пожалуй, снимайте... я сяду».

Все захохотали, так мастерски прочитал на лице Гончарова талантливый актер именно то, что он должен был сказать и что действительно, по свидетельству Островского, сказал на самом деле! <...>

Рассматривание портретов прервалось явлением новых двух лиц. Один из вошедших был в белой русской рубашке с красной оборкой и красными же ластовичками (подмышниками), бархатные шаровары внизу рубашки и вдетые в высокие, по колено, козловые сапоги с красной же сверху оборкой, наконец русский бешмет на плечах и русская московско-извозчицкая шапка в руке составляли его костюм. Полное добродушное лицо, обрамленное черными волосами (в кружок) и черными сходящимися в виде окладистой бороды с бакенбардами, привлекало невольное внимание. Атлетическое сложение при небольшом пропорциональном росте делало из него вполне русского молодца, русского красавца! Этот молодец (лет тридцати шести — тридцати восьми) и красавец был, как мне тут же сказали, *Н. А. Рамазанов*, профессор и начальник Московской школы живописи и ваяния, известный ваятель * и единственный наш талантливый критик-писатель произведений скульптуры и живописи.

Другой вошедший с ним — бледный, худой, с редкими волосами и клинообразной бородой, в отличной красной рубашке, бархатных панталонах, вложенных в сапоги, и русском кафтане — был известный переводчик и лингвист Шаповалов. <...>

Через пять минут я уже был знаком с Николай Александровичем Рамазановым. Говорит он громко густым басом и так же плавно и красноречиво, как пишет. Разговор вязался сначала общий, но приехал *Васильев* (актер), *Эдельсон, Железнов* (казак-автор), и общество с приращением гостей само собою разбилось на кучки. Долго толковали с Рамазановым о его журнальных статьях. Я вдруг спросил его: «Скажите, пожалуй-

* Последним из замечательных его произведений был бюст из мрамора А. С. Пушкина. Я любовался им — видел в Москве на выставке этого года. *(Прим. М. И. Семевского.)*

ста, Николай Александрович, что за причина, что критика ваша необыкновенно снисходительна, что отзывы ваши, как выразился о вас один из моих знакомых, иногда весьма и весьма *легковерны*?»

— Послушайте, кому же, как не нам, защищать нашего же брата? Наука и в особенности художества слишком, слишком плохо привились у нас на Руси. Много ли у нас ваятелей? Как велико число талантливых живописцев? И тех и других очень мало. Что же будет, если эти *немногие* гордо-чванливо и строго будут разбирать произведения юных, только что выступающих молодых людей? Не отталкивать их строгою критикою, а привлекать нам должно их к работе ласковым приветом и ласковым словом.

Разговор как-то перешел к Иванову — живописцу, о коем так много писал Гоголь («Переписка с друзьями») <...>.

— Картина его,— заметил Рамазанов, — бесспорно хороша, она уже кончена в настоящее время — картина превосходна и привлечет внимание всей Европы [37]. <...>

Быстрый, живой, неумолкаемый разговор переходил с предмета на предмет. Заговорили о Кокореве.

— Этот купец весьма и весьма хорошо образован порусски, у него преталантливая голова. Представьте себе, недавно, отправляясь в Петербург, он «сочинил» преостроумный аллегорический рассказ, сравнив Россию с вагоном железной дороги. Какая смелая задача! Вот как он начинает, например: «Я дремал, сидя в вагоне, остановившемся пред станцией... Но вот застучали под каретой работники: вынимали старый свинтившийся винт и заменяли его новым... Не это ли наша православная Русь, не вагон ли этот наша администрация, и не старые ли винты наши старые генералы и выжившие из ума министры?» И в этом духе продолжает беспощадно и в то же время остроумно смеяться над всеми нашими официальными и неофициальными грехами. <...>

— Кстати, о официальных и неофициальных грехах наших, читали вы,— продолжал Рамазанов, вынимая какую-то тетрадку из кармана,— читали ли вы письмо Сперанского из Перми к императору Александру Первому в тысяча восемьсот пятнадцатом году? [38]

Я ответил отрицательно, и Рамазанов прочел мне письмо этого знаменитого русского законодателя. <...>

Подошел к нам Островский и стал рекомендовать меня Рамазанову. <...>

Вошли: А. А. *Григорьев* и Тирс Иванович *Филиппов* — автор статей в «Москвитянине» о Теккерее и редактор *механической* стороны нового журнала, «Русской беседы». Тирс Иванович, в щегольском сюртуке, черных шароварах, темном жилете и белой манишке с белейшими высоко стоячими манжетами, кажется с виду человеком весьма еще молодым: лет двадцати шести или двадцати семи. Чистое, правильное лицо могло бы назваться красивым, если б не было так истасканным. Зато оловянные глаза далеко не имеют права быть названными красивыми. Предупрежден ли я был против Тирса Ивановича *, только, несмотря на его особенную со мной любезность, я с неудовольствием беседовал с ним, с неудовольствием слушал его чистый, мягкий вкрадчивый голос. <...>

— Кто это? — спросил я, указывая на вошедшего длинного, подобно Филиппову, безусого, и подобного ему же довольно хорошенького молодого человека.

— Это Алмазов,— отвечал мне Тирс Иванович.

«Алмазов — так вот этот известный фельетонист «молодой редакции» «Москвитянина», известный враг Нового поэта (Панаева), известный своими остроумными по идее и легкому стиху пародиями <...> на разные стихотворения, насоливший многим, Эраст Благонравов!!» [40]

— Здравствуйте, Эраст Благонравов,— сказал я, под-

---

* Как рассказывали мне: Филиппов, принимая деятельное участие еще в начинавшемся плане «Русской беседы», пригласил, разумеется, и А. Н. Островского и А. А. Григорьева, насулив им насчет журнала много и много добра. Но когда последние увидели, что по милости *Филиппова* (страшного ханжи и общего друга всех монахов) в состав «Беседы» войдут едва ли, едва ли не проповеди и житие святых, что журнал будет лишен всякой *журнальной* жизненной деятельности, что это будет какое-то *четьи-минеи* или ратующий за православие и наш язык какой-нибудь розыск, тогда они отступились.

И автор «Своих людей», не освободившись от своего обещания отдать «Беседе» драму свою «Минин», уступил ее и окончательно перешел под знамя «Современника» [39]. Критик же «Москвитянина», положительно восставший против утрированного до крайности направления будущего журнала, примиряется (как я слышал) с ним после появления первой довольно удовлетворительной книги. *(Прим. М. И. Семевского.)*

ходя к вошедшему. Алмазов улыбнулся и спросил: «Да вы откуда знакомы с Эрастом Благонравовым?»

Последовало шутливое объяснение. Сколько я заметил из начавшейся беседы, фельетонист «Москвитянина» отличается именно теми же свойствами, кои надавал он своему двойнику Благонравову. То есть любовью к известности, страстью к литературе, восприимчивостью сердца, благородством, добротою и мягкостью характера. <...>

Только что мы разговорились, вошел И. Ф. *Горбунов*, личность весьма и весьма замечательная: замечательная своими рассказами из русской жизни, привлекшего скоро всеобщее внимание. Но, прежде чем перейти к *Горбунову* и его рассказам из русской жизни, <...> считаю долгом познакомить вас <...> с внешнею обстановкой *Эраста Благонравова*. Мужчина он, как я уже сказал, высокий ростом, непропорционально росту — тонок и непропорционально своей длинной фигуре говорит дишкантом. Весьма моложав, с приятною физиогномиею, вина, как и Филиппов, почти не потребляет. Я его видел в широком, довольно грубом пальто без всяких претензий на щегольство. Что же касается до И. Ф. Горбунова, то это молодой человек с правильным выразительным лицом, черными глазами и черными же как смоль волосами, обстриженными в кружок *. <...>

Островский, Садовский, Васильев, Григорьев, Рамазанов, Эдельсон, Алмазов, Филиппов, Шаповалов, Турчанинов, Железнов, Дриянский — все мы собрались вокруг Горбунова, который в течение двух часов заставлял хохотать *навзрыд* всю компанию, являясь мастерским автором в сочинении тут же разных комических сцен и еще более талантливым актером в воспроизведении их. Вот, например, перечень некоторых из разыгранных им сцен: 1) Лакей — весь отдавшийся чтению книг, увлекающийся процессом чтения, как гоголевский Петрушка, на этот раз читающий *психологию* и объяс-

---

* Бог знает почему полиция сильно преследует употребление русской одежды. Как Рамазанов, так и другие, одевающиеся постоянно в национальный костюм, возят с собой постоянно галстухи... Приближение полицмейстера, или обер-полицмейстера, или другого какого ни на есть осла в *благочинной* оболочке заставляет проворно их застегиваться и навязывать сверх русской рубашки немецкий галстух. *(Прим. М. И. Семевского.)*

няющий ее горничной. Является горничная — гостья, ездившая за границу с господами, помешанная на галантерейности, но, к несчастию, имеющая мужа вечно пьяного, вечно ругающегося и постоянно рассказывающего о том, «что-де не всякому дается эта механика — значит, что с блюда-то уметь подавать». Ряд пресмешных выходок со стороны всех этих прямо из передних выхваченных лиц заключается рассказом старушки няни о том, кому она завещала чайницу, а кому чепчик свой. 2) Монах рассказывает московской барыне о святости жизни отцов святых, и сам уписывающий колбасу, запивая ее водкою. Горничная в удивленье замечает об этом громко; барыня, с благоговением слушавшая святого отца, кидается на нее и кричит: «Молчи, мерзавка (к монаху): простите, батюшка, она у меня такая... юродивая, с придурью». 3) Фабричный просит у хозяина позволения жениться. Причем начинает едва ли не с потопа. 4) «Человек, спившийся до чертиков» — то есть купец, сидящий в горячке, пред коим кажутся: то соленый огурец, то исповедывающий его поп, то жена, укоряющая его в пьянстве, то купец Матвеев, не отдавший ему тридцать рублев, то пред ним чертик пляшет, то ему кажется, что он любезничает с кухаркой Аграфеной... Довольно назвать этих четырех из двенадцати или четырнадцати представленных Горбуновым сцен, чтобы видеть, как их трудно воспроизводить. И надо видеть, с каким исто великим искусством преобразовывается он то в монаха, то в пьяницу лакея или из горничной, поднявшей кверху нос, в больного белой горячкой, а он действительно весь преобразовывается, то есть голос, лицо, жесты, поза всего тела — все это без всякой утрировки, олицетворяя желаемое лицо...

— Ну, батюшка,— заметил Рамазанов, утирая от смеха слезы,— мастер вы, мастер, хоть бы этого человека, что спился до чертиков, словно вы в шкуру его влезли. Ведь я сам, грешный человек, два раза сходил с ума да в длинной рубашке просиживал на Фонтанке, в Обуховской больнице, так ведь я знаю весь бред этот... Молодцом, молодцом! — повторял Николай Александрович, восторженно протягивая руку молодому артисту.

Что до меня — я был решительно без ума от восторга и готов был кинуться к нему на шею...

Рассказы Горбунова сменились шутками слепца Васильева, шутки сменились песнями, и громкий, звучный, приятный голос Филиппова затянул «Ивушку зеленую» — хор дружно подхватил и весело, весело было мне... «По душе гуляет быт родной!» [41].

Никогда не забуду я отрадных вечеров, проведенных мною у А. Н. Островского. Там я видел исто русское гостеприимство, добродушие, откровенность, и не чопорных гостей. Я не видел карт, не видел чванливо поднятых *ученых физиономий*, но постоянно встречал людей *русских*, людей скоро сходящихся, поборников дружных, поборников любви к отчизне! Умная беседа, живая, огненная, как русское слово и песня, песня, столь же разудало веселая, как русское веселье! Здесь — и только здесь — я мог сказать: что тут —

Великорусское начало торжествует,
Великорусской речи склад
. . . .
Великорусский ум, великорусский взгляд,
Как Волга-матушка широкий и гульливый! *

С такими или подобными мыслями возвращался я домой <...>.

14 июня. Четверг. И сегодняшний день, день одного из наших собраний. А. А. Григорьев был подобно предыдущему — героем собрания. Он более всех говорил, его более всех слушали.

— Михаил Иванович, сегодня приехал сюда дня на два Островский,— сказал он мне между прочим.— И приехал с набросанною вчерне комедиею. Ни содержания, ни даже быта, из коего он почерпнул сюжет своего нового произведения,— не знаю, да и не старался узнать: ибо знаю особенность Островского: если он кому выскажет содержание пиесы или прочтет из нее отрывки прежде создания целого, то самое целое никогда не выйдет хорошо или же и вовсе не будет закончено как надо [42]. <...>

Пятница, 15-го июня. <...> Был у А. Н. Островского. Нечего и говорить, что был принят нехолодно. Прежде всего нужно заметить, что фигура его после первой

* Стихи А. А. Григорьева: «Элегия — ода — сатира. Искусство и правда». *(Прим. М. И. Семевского.)*

главы его путешествия (послезавтра он отправляется продолжать его) значительно распространилась в ширину. Лицо его зацвело здоровьем, но рыжие, отпущенные им усы не совсем пристали к его чрезмерно полной физиогномии и его голубым глазам. Путешествием своим он пока совершенно доволен. Привез кучу материалов, то есть заметок, записок и чертежей *[44]. Форма, в кою облечены будут все эти заметки, та же, в какую облек Гончаров свои заметки о Японии [45], то есть форма писем и дневника, как видите, самая легчайшая для исполнения, самая удобнейшая для рассказа.

Явился И. Е. Турчанинов. Островский, будучи, как выражаются, в ударе, рассказывал о ласково-радушном приеме, какой ему делали в Осташкове и Торжке все купцы и как быстро знакомился он с ними. Мастерски обрисовал и представил одного молодого купчика, с самыми уморительно-оригинальными ухватками, одного старика купца, заставлявшего в течение трех часов послушать его рассказов о местной рыбной ловле, которая интересовала Островского, и не рассказавшего ничего, и проч. и проч.

— Ну, Александр Николаевич, мастер вы немногими словами очертить целую личность. Но грустно будет,— сказал я,— если вы этих героев не введете в одну из ваших пиес.

— Да нельзя не ввести их, непременно введу, Михаил Иванович,— сказал мне на это Островский,— ведь вы сами видите, они так и просятся в комедию.

Предписание министра внутренних дел, разосланное по всем городам Тверской, Костромской и прочим соседним губерниям, разосланное городничим с приказанием везде исполнять все требования посланного чиновника Островского, по коему местные начальства должны представлять ему все бумаги, кои он только пожелает видеть, породило, по рассказу Александра Николаевича, весьма много прекомических сцен. Так, например, все начальство города Торжка явилось к нему

* Важным помощником Островскому в его работах — некто Гурий Николаевич [43]. Бессловесный молодой человек, сын богатого купца, пламенно любящий литературу, благоговеющий пред ее светилами, он добровольно служит Островскому в качестве его компаньона, литературного адъютанта, переписчика, и иногда — чуть не слуги. <...> *(Прим. М. И. Семевского.)*

в мундирах с представлениями, как ревизору, приехавшему инкогнито. <...>

Что же касается до драмы его «Минин», то, сколько можно было заметить, Александр Николаевич, придавая ей особенное серьезное значение, трудится над ней не торопясь, по пословице: «Поспешишь, людей насмешишь». Обещанием быть сегодня на общем собрании друзей «московского драматурга»[46] в Сокольниках у Е. Н. Эдельсона — покончил я сегодняшний визит свой Островскому.

16-го. Суббота. Июня. <...> Завернул <...> к А. Н. Островскому. У него застал Григорьева. Как тот, так и другой были очень грустны; причина грусти, как я узнал тут же, смерть Ивана Васильевича Киреевского, этого талантливого русского писателя, ревностно-даровитого поборника так называемого славянофильского направления. Завтра привезут его тело из Петербурга, где он скончался, и Аполлон Александрович предложил мне отправиться на машину для встречи драгоценного каждому грамотному русскому праха покойника!

Островский, между прочим, прочел нам сегодня очерк свой о бурлаках волжских. Очерк набросан еще в 1848 году[47], и я прослушал его с большим удовольствием.

Он описывает в этом очерке всю бедную, бродяжническую, вечно полупьяную жизнь бурлаков, с теплым сочувствием говорит о этих несчастных, и говорит языком плавным, легким, даже увлекательным.

Чтение этого отрывка окончательно рассеяло родившееся уже у меня сомнение в том, сумеет ли Островский придать своим настоящим заметкам высокий интерес и выказать в них тот же высокий талант, какой мы видели в его драмах.

Под влияньем превосходного отрывка из записок, некогда веденных Островским, я с негодованием заговорил о Гореве и его клевретах[48]. К удивлению моему, на мою азартную выходку Александр Николаевич ответил на этот случай далеко не красноречивым молчанием и какою-то странною улыбкою, в коей я прочел назидание, вроде следующего: «Не зван попер — не ходи, пока позовут — пожди». Тем не менее и молчание это, и улыбка меня сильно укололо или, говоря откровенно,— обидело!

5-го июля. Четверг. С прощальными визитами пред отъездом в деревню бывши у всех моих добрых знакомых, забрел я и к фельетонисту Назарову. Здесь меня ожидало два сюрприза; первый состоял в превосходной статье автора «Своих людей» («Московские ведомости», 1856 год, 5 июля), коей он — по общему приговору — навсегда всем и каждому зажал рты насчет горевской интриги.

Как Назаров ни ненавидит Островского,— но и он согласился, что статья написана с большим тактом и именно так, как и следовало ее написать в подобном случае. Против одного только восстал рецензент «Петербургских ведомостей» — именно против резкости тона нашего комика в отзывах о фельетонистах. «Должно быть, чует кошка, чье мясо съела»,— подумал я, слушая его азартные выходки против этих отзывов.

Второй сюрприз, полученный мною сегодняшний день, состоял в комической сцене, возникшей между мною и Назаровым по поводу рукописной статейки: *Михайловановской* статейки, написанной чрезвычайно резко против фельетончиков господина Н. Н. (Назарова) [49]. Но как ни оригинальна эта сцена, я, верный своей программе — никогда не втягивать большой рассказ о собственной личности в настоящий отчет, оставляю его до поры до времени.

<ВСТРЕЧИ В ПЕТЕРБУРГЕ>

<...> Второе свидание мое с Островским было в Петербурге в 1860 году [50]. Здесь, в квартире довольно бедной и довольно неряшливой, у Аполлона Григорьева собралась однажды большая компания собутыльников его и молодых людей, студентов и офицеров, ютившихся подле литераторов. Как теперь помню, тут, кроме хозяина, Аполлона Григорьева, были: Василий и Николай Курочкины, Всеволод Крестовский, Василий Иванович Водовозов, Иван Федорович Горбунов, кажется, Эдельсон, подобно Григорьеву, также переехавший из Москвы в Петербург и участвовавший тогда в журнале «Библиотека для чтения». Хозяин был в чрезвычайно силь-

но возбужденном состоянии от неумеренного питья. Островский, давний его друг, исключительно для него приехал к нему прочитать новую свою пиесу «Воспитанница». Я и все присутствовавшие так и впились в чтеца. Пиеса эта довольно известна, она прямо выхвачена из крепостного помещичьего быта и преисполнена множеством дивно очерченных сцен и характеров, живьем выхваченных из тогдашнего русского помещичьего провинциального общества. Чтение нимало не уступало достоинству пиесы: Островский — один из лучших чтецов в современном обществе. При чтении он не изменяет голоса, но дает такие превосходные оттенки каждому выдвигаемому вновь лицу, что, не называя это лицо, читатель прямо видит, кто из них выбегает на сцену, словом сказать, живо представляет себе каждое из действующих лиц. На этот раз сам чтец не был доволен главнейшим из своих слушателей. Пламенный его поклонник, Аполлон Григорьев, прерывал чтение азартными, восторженными восклицаниями удовольствия, стучал по столу, словом сказать, его выходки, проистекавшие отчасти под влиянием спиртных паров, видимо огорчали Островского. Он несколько раз останавливался и угрюмо, с сдержанною досадою, говорил: «Да успокойся ты, Аполлон», и только что кончил чтение, тотчас его оставил.

Прошли года. За «Воспитанницей», сколько я помню, явилась «Гроза», возведшая Островского на высшую степень таланта. Являлись и другие пиесы, являлись они каждый год; не скажу, чтобы они свидетельствовали или чтобы, по крайней мере, каждая из них свидетельствовала об умалении этого могучего русского дарования, но уже, однако, не было ни одной пиесы в бытовом роде, которая могла бы быть поставлена выше пиес: «Свои люди — сочтемся!», «Не в свои сани не садись», «Воспитанница», и в особенности — «Гроза». Но Островский в этот же период дал несколько историко-драматических хроник и в некоторых из них, как, например, «Воевода, или Сон на Волге», выказал весьма обширное знакомство с отечественной историей по ее памятникам и необыкновенное художественное понимание самых разнообразных сторон быта наших предков в XVI—XVII столетиях. Добавлю к этому, что во весь пережитый период, обнимающий четверть века,

Островский остался в стороне от всех литературных партий и замкнутых кружков, остался на своем посту вполне самобытного русского дарования, творящего не по указкам каких бы то ни было вожаков литературных взглядов и партий, а творящего именно так, как указывал и указывает ему его собственный гений. Островский приезжал в Петербург почти каждый год, так как каждый год ставилась им новая пиеса. Если я не спешил и не искал случая с ним видеться, то это происходило лишь оттого, что мне не хотелось, так сказать, толкаться в кругу его восхвалителей и льстецов; при том же до меня доходили слухи, что самолюбие этого писателя едва ли не выше его дарования. Последнее оказалось, однако, совершенно неверным.

Посетив Островского 17 ноября 1879 года на квартире его брата, члена Государственного совета, статс-секретаря Михаила Николаевича Островского, я увидел вновь того же Александра Николаевича: простого, хотя и несколько угрюмого, но радушного и даже словоохотливого человека, каким видел его в Москве двадцать четыре года тому назад. Вот некоторые выдержки из нашей беседы. Не привожу моих вопросов и ответов, а сложу в одно некоторые из замечаний Островского:

— Диковинное положение русского драматического писателя. Кончишь пиесу и садись пиши *прошение*. «Имею честь представить начальству театра такую-то пиесу и покорнейше прошу принять ее», и т. д. и т. д. Идет пиеса на просмотр цензуры, Литературного театрального комитета и т. д. и т. д. Но скажите, есть ли где такое положение за границей для тамошних писателей? Всюду мало-мальски талантливую вещь для театра, как говорится, оторвут с руками. Не автору приходится писать прошение, а его просят и все для него устраивают. Здесь же, у нас на Руси, мало написать пиесу, надо провести ее по всевозможным мытарствам. Но вот она прошла, она на сцене. Начинаются репетиции. Вы должны взять на себя решительно все: не только учить актеров, из которых некоторые или ничего не могут сделать из роли по своей бездарности, а заменить их решительно некем, или если и могут, то самолюбие, каприз и леность мешают им исполнить свое дело так, как они должны были бы это сделать. Но возни с актерами еще мало. Вам предстоит взять на себя и все обязанности режис-

сера, что и где поставить, словом, всю обстановку пиесы вы решительно должны взять на себя, в противном случае выйдет совершенное безобразие. Отсюда, поверите ли, приедешь в Петербург и попадаешь в такую каторжную работу при постановке пиесы, что об отдыхе, о посещении добрых приятелей и думать нечего. Уходишь на репетиции часов в десять и когда в три часа вернешься домой, то так изломан и утомлен и нравственно и физически, что решительно не хочется никуда идти. Но довольно вам сказать, что в нынешний приезд [51] я даже не был у Ивана Александровича Гончарова, а между тем к нему каждый приезд свой в Петербург считал долгом являться; точно так же, как, приехавши в Москву, нельзя не посетить Иверской божией матери, так в Петербурге нельзя не побывать и не явиться к Ивану Александровичу Гончарову. Нынче же я у него не был, зашел на несколько минут к Салтыкову,— вот, кажется, и все!

Но рецензенты наши, публика,— как часто среди их слышим: «Эта пиеса написана наскоро, не обделана, не выработана». Да понимают ли они, что я ничего не пишу наскоро, каждый сюжет обдумываю весьма долгое время, ношусь с ним целый год, грезится и видится он мне со всеми в нем лицами постоянно и не дает мне покою до тех пор, пока не уляжется на бумагу. Набросавши сценки, начинаешь разговор, не кончаешь фразы, не доводишь сцены до конца, набрасываешь другую, переводишь с места на место — и у меня пиеса пишется долго, почти всегда не менее года. И до самого кануна отсылки ее в цензуру самой пиесы у меня, в строгом смысле говоря, нет; она никогда у меня не пишется последовательно, сцена за сценой, акт за актом. Обыкновенно забежит ко мне в Москве Р<одиславский>. «Ну что у вас, Александр Николаевич, написано?» Ну и всегда ответишь: «Нет, ничего не написано». И действительно, пока не выльется пиеса вся, как она у меня сложилась в голове, до тех пор я никак не могу сказать, что что-нибудь написано, потому что то там, то здесь не окончена сценка, то не выведен до конца разговор, и уже накануне отсылки дашь последний штрих, сзовешь несколько переписчиков, которые и отхватывают копии, и пиеса посылается. Ну не выписаны сцены, не удалось очертить тот или другой характер, это значит не выли-

лись они из головы так, как бы хотелось, ну не хватило на это таланта,— все это может быть, в этом и вините, а уж никак не кричите, что пиеса набросана наскоро, небрежно.

Я в большом долгу перед многими моими друзьями, приятелями и знакомыми из писателей и, в особенности, артистов, в долгу пред теми из них, которые уже сошли в могилу. Едва ли кто, кроме меня, может сказать о них надлежащее справедливое слово. Вот, например, что у нас путного сказано об Аполлоне Григорьеве? А этот человек был весьма замечательный. Если кто знал его превосходно и мог бы о нем сказать вполне верное слово, то это именно я. Прочтите, например, Страхова. Ну что он написал об Аполлоне Григорьеве? Ни малейшего понимания, чутья этого человека [52]. Но записки писать мне решительно некогда, хотя память у меня чрезвычайно хороша. А вот что может заменить мои воспоминания. Чуть ли не с 1850 года я храню у себя письма всех моих знакомых, в особенности писателей и артистов; накопилось этих писем громадное количество, все они у меня в отличном порядке и мне будет очень легко подобрать те или другие из писем, обставив их своими примечаниями; о каждом письме я могу сказать что-нибудь, и вот с такими комментариями эти документы явятся у вас. Я буду присылать их к вам, а вы уже делайте с ними что хотите [53].

Речь перешла на злобу дня, натолкнувшуюся в это время в окружном суде — процесс Мирского. Александр Николаевич Островский вполне основательно осуждал эти гнусные, мальчишеские выходки, доведшие Мирского и ему подобных до страшного преступления, но в особенности неодобрительно относился он к бывшему присяжному поверенному Ольхину. Островский винил его строго, находя в неосторожной болтовне Ольхина причины многих бед. По его мнению, этому человеку не миновать каторги [54]. В беседе принял участие Иван Федорович Горбунов...

— Ну что же, мой ординарец, так поздно являешься,— встретил Горбунова Островский.

Разговор продолжался об уголовщине и коснулся сыщика Путилина.

— Бывало,— заметил Островский,— Горбунов говорил мне об этом человеке и предлагал с ним познако-

миться. Я и слышать не хотел. Ну что за знакомство с сыщиком? Но потом, действительно, понял и увидел из множества фактов, что этот человек далеко не дюжинный; это, прямо сказать, человек гениальный в своем роде. Гении рождаются на всех поприщах общественной жизни. Начал он свою карьеру двадцать — тридцать лет назад помощником квартального на Сенной площади, изучил нравы, обычаи, привычки петербургских мошенников, изучил необыкновенно, знает все их логовища. Нельзя не дивиться смелости, находчивости, энергии и храбрости этого человека. А вы бы послушали, как он рассказывает: рассказ простой, без всяких украшений, но вы бы просто заслушались его,— так жив и увлекателен его рассказ. Да, с ним стоит познакомиться, как со всяким даровитым человеком, выходящим из ряда обыкновенных людей.

Вошел молодой человек лет двадцати семи — двадцати восьми, блондин, розовенький, с маленькой русой бородкой.

— Рекомендую вам моего сотрудника Соловьева, с ним вместе написана мною пиеса «Дикарка»,— сказал Островский.

Стряпаются пиесы во французском репертуаре зачастую двумя и даже тремя авторами, но у нас это еще новинка, по крайней мере в пиесах высшего по достоинству разряда. Любопытно было бы знать процесс таковой работы, но в это свидание не удалось об этом поговорить. Явился фотограф Шапиро, кажется еврей, и преподнес Островскому очень похожий на него и хорошо сделанный кабинетный фотографический его портрет. Островский нашел портрет вполне удовлетворительным и с удовольствием принял один экземпляр, а Горбунов подхватил себе другой. В наружности Островского после девятнадцати лет разлуки я не нашел особенных перемен. Правда, он сильно полысел, но короткая, почти под гребенку, стрижка волос не выдвигает эту лысину. Окладистая борода русая с сильною сединою, фигура вся громоздка, но не тучна, а пропорциональна. Сутуловат. Голова несколько потуплена. Голос грубый. Речь прерывиста. Много курит. Вообще вся фигура русского, плотно, хорошо сколоченного боярина.

С. В. Максимов

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

По архивным документам и личным воспоминаниям

Осенью 1855 года в петербургских литературных кружках, тогда не столь разнообразных и многочисленных, как теперь, но гораздо более сплоченных, распространился слух о небывалом событии, казавшемся всем неожиданным и почти невероятным. Правительство понуждалось в содействии тех общественных деятелей, которым уже давно присвоено было обществом непризнанное и неутвержденное правительством звание литераторов, находившихся до той поры в сильном подозрении. <...>

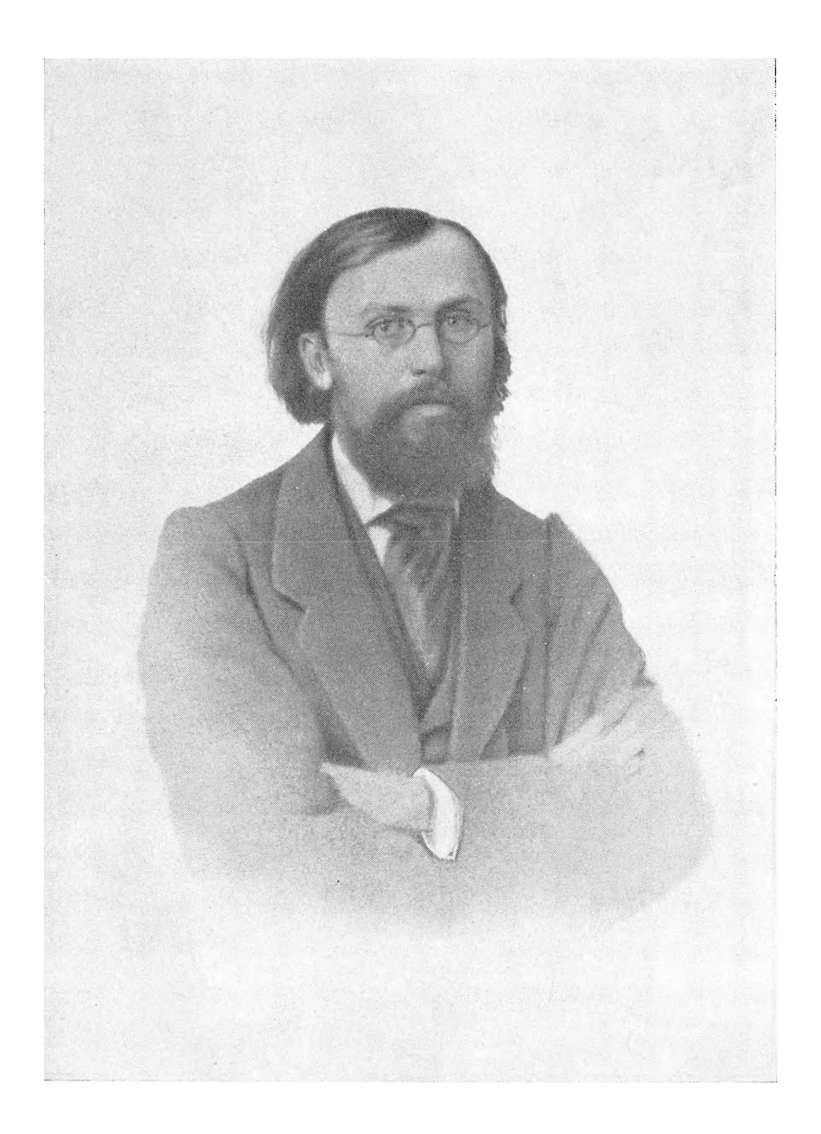
Великий князь[1] отдал 11 августа 1855 года следующий приказ по министерству через князя Дм. Алек. Оболенского, занимавшего должность директора комиссариатского департамента:

«Прошу вас поискать между молодыми даровитыми литераторами (например, Писемский, Потехин и т. п.) лиц, которых мы могли бы командировать на время в Архангельск, Астрахань, Оренбург, на Волгу и главные озера наши, для исследования быта жителей, занимающихся морским делом и рыболовством, и составления статей в «Морской сборник», не определяя этих лиц к нам на службу». <...>

В числе оснований, на которых покоилась мысль генерал-адмирала по поводу командировки «молодых» литераторов, помимо поддержания созданного и упроченного с 1855 года успеха «Морского сборника», находилось и то, чтобы исследовать и описать подробности быта, нравы и обычаи того населения, которое зани-

мается промыслами на воде и из которого, следовательно, всего бы полезнее и натуральнее было «брать матросов». В преобразовательных предначертаниях Морского министерства вырабатывался проект рекрутирования флота по образцу французской морской записи именно теми людьми, которые с малых лет привыкают к жизни и занятиям на воде. Впоследствии эта мысль была оставлена в виду тех соображений, что Россия, счастливо орошенная громадною цепью рек и усыпанная озерами, всегда в состоянии представить громадное число людей, обыкших в плавании на судах и приготовленных к морскому делу в большей или меньшей степени,— особенно в северной лесной половине страны, по Волге с притоками и даже по южным главным рыболовным рекам и по трем морям (Черному, Азовскому и Каспийскому, по Дону и Днепру). Например, на архангельском севере, в особенности в Поморье и по прибрежьям всех рек, не только каждый человек, случайно взятый на выбор, представляет бесстрашного и опытного морехода, но даже и женщины наделены теми же способностями, но архангельский север и схожее с ним Обонежье мало населены. По этим-то и другим причинам первоначально намеченные местности для исследований подверглись изменениям и районы наблюдений были расширены в другом направлении. <...>

Все командированные [2] были, за одним лишь исключением, уроженцами тех мест (стало быть, знакомыми с ними с детства), обследование которых приняли они на себя [3]. Оставались свободными, при добровольном выборе, лишь негостеприимные, суровые и холодные страны севера, расположенные по северным рекам, по Белому морю и озерам Ладожскому и Онежскому. Исследование их принял на себя пишущий эти строки в феврале 1856 года, когда все товарищи по путешествию были уже на местах, исключая А. Н. Островского, отправившегося последним по изумительной случайности. Он мимоходом узнал о задуманном Морским министерством предприятии, во время проезда через Москву на места исследований двух его друзей, одновременно сотрудничавших с ним в «Москвитянине». А. А. Потехин, ограничившись волжским плесом от устьев Оки до Саратова, уступил Островскому всю верхнюю Волгу от самых ее истоков [4]. А. А. Потехин писал к гр. Толстому [5],



С. В. Максимов.
Фотография 1860-х годов.

между прочим: «Приступивши к исполнению возложенного на меня поручения, я все более и более убеждаюсь в совершенной невозможности одному в течение годичного срока исследовать с надлежащею подробностью и точностью берега Волги на пространстве двух тысяч верст. При этом считаю долгом сообщить, что А. Н. Островский писал ко мне, с вашего согласия, что он желал бы поделиться со мною трудами при описании Волги. Письмо это и дало мне повод обратиться с настоящею просьбой». 17 марта 1856 года великий князь изъявил согласие на командировку Островского. Все командированные на окраины получили подорожные по казенной надобности, оберегающие от неприятных случайностей в дороге. В них исследователи прописаны были в первый раз, что стоит на свете Русь, тем званием «литераторов», в котором до сих пор не могут разобраться присяжные оценщики, но которое тем не менее решительно и безбоязненно присвоено было правительственным учреждением, дававшим, таким образом, этому заподозренному и непризнанному званию свою определительную санкцию. Написанное полными буквами в официальных документах, оно, при посредстве восьми лиц, стало известным в тысяче мест нескольким тысячам человек, впервые слышавших это чужеземное слово и пугливо и опасливо до крайностей комизма домекавших внутренний смысл и значение обязанностей, представляемых им.

В первых месяцах 1856 года все выбранные исследователи были на местах и приступили к работам, не легким по тому времени всеобщего возбуждения в различных направлениях, вызванного сильными мерами великих преобразований. Исследователей молодое поколение, все люди, сочувствующие реформам, могли встречать лишь, что называется, с распростертыми объятиями и с энергическою готовностью помогать по мере сил и средств, как сверстникам, с которыми можно было сговориться и с первых слов понять друг друга. Ценились они и как дорогие гости, явившиеся исследовать те застарелые язвы народного организма, которые не переставали ныть и болеть. Люди старого воспитания, деятели по заветшалым программам и по приемам, которым отказано было в праве на существование, естественным образом недружелюбно, неискренно и искоса

встретили неведомых, незваных и непрошеных и, к тому же, неожиданных пришельцев, обеспеченных высокою защитой и сильным покровительством, о которых до того слыхом не слыхать и видом не видать. Хорошо еще, если они только ревизоры, передающие наблюдения непосредственно из первых рук, а не то «инкогнито» проклятое, которого надо всемерно остерегаться. Во всяком случае надо быть вежливыми и по силе-помочи внимательными, но сторониться, осматриваться, опасаться, чтобы какой-нибудь щелкопер тебя не вставил в комедию.

Один из исследователей[6] явился к губернатору для предъявления рекомендательного письма (подписанного гр. Толстым), в котором испрашивалось «благосклонное внимание начальников губернии к даровитым писателям,— внимание, имеющее, несомненно, облегчить предстоящие по этому поручению труды, от которых морское начальство ожидает и пользы и занимательности». Этот начальник встретил путешественника довольно сухо и важно и на представление тех желаний, ради которых состоялась поездка, отвечал:

— Ничего не увидите. Нечего здесь смотреть. Рыболовства нет, потому что и рыбы нет, да и никогда не было. Судостроение в жалком состоянии.

Через несколько времени, спохватившись, начальник губернии на прощанье пожал руку и попросил за всеми сведениями без церемонии обращаться к нему.

— Если обратитесь к кому-нибудь другому, так вас непременно обманут.

Это — еще в лучшем случае, на счастливый выход; в других — неосновательные подозрения и ошибочные заключения о цели командировок прямо оскорбительно высказывались в лицо и требовали большого присутствия духа, чтобы не обижаться на предъявление подозрений в фискальстве и доносах. Если бы и в самом деле имелась подобная цель, то не мудрено было бы опытным исследователям распознать виновных по одним лишь их грубым или недружелюбным приемам: у кого глаза чаще смотрят исподлобья, кто усерднее хоронится и избегает, у того, несомненно, на голове и шапка горит. Не от этих шла доброхотная помощь для заезжих наблюдателей нравов, поставленных в новых местах, как в дремучем непролазном лесу. Местная уездная и гу-

бернская молодежь из чиновничьего мира, всего больше и чаще та интеллигентная среда, которую составляют лица из педагогического сословия и духовенства,— вот кто явился в качестве первых искренних друзей и готовных пособников. Через них, как по звеньям цепи до конечного кольца, удавалось доходить и до тех знатоков местности, знания которых в особенности требовались и представляли собою искомую и высокую ценность. Такие знатоки-добровольцы обязательно вырабатываются всюду, доброхотно отдаваясь исследованиям родных гнезд. В подобных поисках всяких препятствий не оберешься и сосчитать и представить все их на вид и в поучение совершенно невозможно. Особенно такое положение было тяжело в то переходное время и в тех щекотливых случаях, когда доводилось становиться глаз на глаз с народом, обращаться непосредственно к простому деревенскому человеку. Он уже глухо прослышал про надвигающуюся волю и теперь совершенно растерялся в распознавании того, кто его друг и кто недруг. <...>

Приблизилось время (через полгода), когда от всех нас, странствующих и страждущих, потребовались сведения о ходе наших работ *. <...>

Затем, когда пришел черед доставления изготовляемых статей в «Морской сборник», выступил на сцену Морской Ученый комитет, как официальный издатель и главный оценщик поступающих в печать литературных и ученых работ. Оказалось, что он не имел никаких сведений как о назначении литераторов, так и об условиях, на которых они отправлены. <...> ...Комитет при оценке поступавших для «Сборника» очерков действовал и решительно и самостоятельно, руководясь неизвестными правилами и личными вкусами председателя. Таковым был в то время адмирал Рейнеке, автор «Гидрографического описания Белого моря и Северного океана». На представления программ вызвавшимися на исследования он самостоятельно высказывался в реши-

---

* Выговорилось слово «страждущих» в смысле неприятностей от безденежья, испытанных всеми командированными по истечении полугода, когда израсходованы были те шестьсот рублей, которые выданы были вперед и истрачены на подъем, на обеспечение зимнею дорожною одеждой, на переплаты, по неопытности, в пути и на чужбинах, и т. п. *(Прим. С. В. Максимова.)*

тельной форме: «Обещаем, по получении статьи, своевременно ее оценить соответственно исполнению». На одной из таковых, просмотренных им, написал: «и по литературному достоинству не одобряется к помещению в «Морском сборнике». Между тем из статей Островского исключаются те места, где автор делится личными впечатлениями с читателем под влиянием навеянных на художественную душу красотами природы или вызванных какими-либо резкими характерными чертами быта, представшими на глаза наблюдателя в неприкрашенном виде. Отдается предпочтение лишь тем фактам, которые имеют непосредственное отношение к воде и далеко стоят от живой жизни, между тем как именно на нее сделаны прямые указания в программе, предоставлявшей простор для свободного избрания и формы изложения, и тех размеров, которые каждому окажутся наиболее подходящими[7]. Браковка производилась по-военному, с изумительною самоуверенностью, без справок с желаниями авторов и властною рукой, не признававшею обычных прав сочинителей. Литературные обычаи, установленные в частных журналах на правилах истинной деликатности и уважения к самостоятельным авторским вкусам и приемам, не входили в соображение при расценке трудов даже тех писателей, которые приобрели почетное имя и заслужили известность, как Островский, Писемский и Потехин. <...>

Неудобства примирения с нарушенными общепринятыми литературными обычаями усиливались еще более и делали положение безвыходным для всех авторов, следовавших с добросовестностью и настойчивостью программе Морского министерства. У всех оставались на руках те многочисленные сведения, которые собирались исключительно для специального морского органа и не могли, в свою очередь, найти себе места в литературных журналах,— те скучные для разработки сведения, над которыми в отчаянии простосердечно воскликнул про себя (в дневнике) великий мастер слова и художественного творчества А. Н. Островский в Твери, заготовлявший для «Морского сборника» статьи о Городне: «Как трудно еще писать для меня!» Слова эти (которые, между прочим, выговаривали все великие европейские писатели, начиная с Вольтера) достаточно

усиливают и пополняют картину тягостного и обидного авторского положения ввиду тех лишений, которые наносились красными чернилами председателя без объяснения причин и без спроса. Особенно чувствительною оказывается такая несправедливость именно по отношению к нашему знаменитому драматическому писателю. У нас перед глазами находится теперь поражающее количество собранных им на верхней Волге разнообразных материалов [8]. Из них, при более благоприятных условиях труда, при обязательном и желательном гостеприимстве, под художественным пером возникли бы величественные картины великой реки и выступили бы живые образы трудолюбивых, в самых разнообразных формах промыслов, ее приречных обитателей. Теперь материалы сохранились лишь в сыром виде, но из груды их все-таки ярко просвечивает выработанная система, уже ясно намеченные самостоятельные приемы разработки и изумительная до мелочей исполнительность всех задач программы (даже рисунков судов, рыболовных снарядов и т. д.). Сильный талантом художник не в состоянии был упустить благоприятный случай при разнообразных дорожных встречах исполнить то, что составляло его призвание и основную цель жизни. Он продолжал наблюдения над характерами и миросозерцанием коренных русских людей, сотнями выходивших к нему навстречу и поддававшихся его изучению. Это предвиделось и тем, от кого получен был заказ на исследования иного рода. Действительно, в полную меру доставлена была возможность довершить свое развитие нашему драматическому писателю, бравшему художественные типы прямо из жизни и вырабатывавшему цельные картины по непосредственным личным впечатлениям. Он почерпнул здесь и живые образы и заручился новыми материалами для последующих литературных произведений. Волга дала Островскому обильную пищу, указала ему новые темы для драм и комедий и вдохновила его на те из них, которые составляют честь и гордость отечественной литературы. С вечевых, некогда вольных, новгородских пригородов повеяло тем переходным временем, когда тяжелая рука Москвы сковала старую волю и наслала воевод в ежовых рукавицах на длинных загребистых лапах. Приснился поэтический «Сон на Волге», и восстали из гроба живыми

и действующими «воевода» Нечай Григорьевич Шалыгин с противником своим вольным человеком, беглым удальцом посадским Романом Дубровиным, во всей той правдивой обстановке старой Руси, которую может представить одна лишь Волга, в одно и то же время и богомольная, и разбойная, сытая и малохлебная. Захудалый и опустелый, за чужое злодеяние, Углич, неповинный, всегда смиренный город, охотно приносивший покорную и поклонную голову всякому наступавшему врагу, напомнил мимоходом путешественнику, изучавшему современное рыболовство и судоходство, кровавое событие, породившее «Дмитрия Самозванца». Наружно красивый Торжок, ревниво оберегавший свою новгородскую старину до странных обычаев девичьей свободы и строгого затворничества замужних, вдохновил А. Н. Островского на глубоко поэтическую «Грозу» с шаловливою Варварой и художественно изящною Катериной. На городском бульваре и на улицах по вечерам наш автор видал еще стройных новоторок в бархатных (теперь исчезнувших) шубейках рядком и обок с своими «предметами» — добрыми молодцами, с которыми обычай разрешал открыто миловаться и целоваться. В Нижнем Новгороде величественно восстал образ Минина. Случайная встреча с отказом в приюте на ночлег по пути из Осташкова во Ржев и с хозяином постоялого двора, имевшим разбойничий вид и торговавшим пятью дочерями, напечатлелась в памяти и выработалась в комедии «На бойком месте». Припомнилось и пригодилось все: и обилие самоучек Кулигиных, и диких самодуров; и степенных Русаковых в торговых городах Поволжья, где еще сильно распространен обычай свадеб убегом, и т. п. Сюда с заветною любовью и неудержимою охотой и энергией устремилось творчество нашего знаменитого драматурга-художника, потратившего, к сожалению, много времени на исследование разницы между расшивой и баркой, между неводом и мережкой в груде других сведений о разнообразных способах рыбной ловли, торговых и других прозаических промыслов. Родная автору река Волга, во всяком случае, подслужилась достаточным количеством свежих и живых впечатлений, сделалась ему родною и своею и в этом отношении влияла на его многоплодное творчество. <...>

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ А. Н. ОСТРОВСКОМ

<...> Александр Николаевич приехал в Ярославль лишь в конце апреля 1857 года и представился военному губернатору г. Ярославля А. П. Бутурлину, которым уже сделано было распоряжение об оказании ему содействия подлежащими должностными лицами. Причиной замедления было повреждение, при разъездах в Тверской губернии, ноги, долгое время находившейся в гипсовой повязке. В доме члена-корреспондента Ярославского губернского статистического комитета, профессора Демидовского лицея Н. А. Гладкова Александр Николаевич познакомился с производителем работ сего комитета, и оба условились вместе ехать в Романово-Борисоглебск, Рыбинск и Углич. Первого мая в шесть часов утра сели они на пароход, кажется общества «Польза». Тогда только начиналось движение пассажирского пароходства в Ярославской губернии. С Александром Николаевичем ехал молодой человек Гурий Николаевич, фамилии коего не припомним [1], занимавшийся перепискою бумаг и помогавший Александру Николаевичу во время болезни, от которой он еще не совсем оправился, часто перевязывая больную ногу. Ясное и холодное, с морозом, было первое майское утро. Александр Николаевич пожелал ехать в третьем классе, или, как говорили тогда,— на палубе, которая была открыта со всех сторон. Он любовался живописными берегами Волги, внимательно наблюдал за простым народом, во множестве ехавшим на пароходе в Ры-

бинск. В девятом часу того же утра пароход прибыл в Романово-Борисоглебск. С трудом опираясь на костыль, Александр Николаевич вошел на высокую Романовскую гору. Все трое остановились на постоялом дворе, находившемся на площади, содержательница коего была известна тогда под именем тетки Натальи, пожилая, приветливая женщина, обратившая внимание прибывших путешественников своим приличным, опрятным костюмом; большая чистота оказалась и в номерах, которые ими заняты были в деревянном доме постоялого двора. С *тетушкой Натальей*,— так называл ее Александр Николаевич,— немедленно он начал ласковую речь, шутил, вставляя в разговор и вопросы, его интересовавшие, и ответами ее был доволен; оказалась Наталья довольно сведущей и видавшей виды во время многолетнего содержания постоялого двора в Романове. Скоро прибыл местный частный пристав Клавдий Афанасьевич Абиссов и представился Александру Николаевичу, который очень внимательно отнесся к нему и на предложение пристава своих услуг ограничился выражением просьбы о содействии, чтоб на другой день доставлен был на Борисоглебскую сторону города покойный, по возможности, тарантас с тройкой почтовых лошадей и исправным ямщиком.

Небольшой городок, раскинутый по горам, потребовал около двух часов для обозрения его. День проведен был Александром Николаевичем в беседе с некоторыми лицами, знакомыми с судоходством, в том числе с Игнатием Андреевичем Юриным, известным лесопромышленником, который в то время был и градским головой. Городничий сюда недавно переведен был из Белебея, пожилой и странный, и свидание с ним было минутное. В семь часов вечера Александр Николаевич с своими спутниками отправился пешком к г-же Чиж, с которою его познакомил в тот же день производитель дел Статистического комитета. Сама г-жа Чиж и больной муж ее были очень приветливы и радушны; у них уже собрались некоторые знакомые. В доме зимние рамы были выставлены и оказалось так холодно, что Александр Николаевич скоро это почувствовал. Он был неразговорчив. После чаю, поданном на серебре, предложены были карты; в десять часов Александр Николаевич, не вынося более холода, сделал расчет в картах

и поднялся, взяв шляпу; хозяева убедительно просили остаться ужинать, но Александр Николаевич извинился усталостью и нездоровьем и довольно спешно шел в лунную ночь в номера тетушки Натальи. Здесь оказалось тепло, оказалось и то, что Александр Николаевич желал поужинать, а у тетушки Натальи ничего не было, по ее словам, для утоления голода; но потом Александр Николаевич поговорил с ней, и явился на стол скромный ужин, который все нашли очень вкусным. Александр Николаевич скоро согрелся и был очень весел, разговорился, рассказал и о том, какой успех имела в Санкт-Петербурге его последняя комедия «Доходное место» и каких трудов стоило добиться постановки ее в Москве, где накануне представления ее последовало запрещение администрации и лишь после усиленных стараний получено было разрешение свыше [2]... Узнав, что производитель работ Статистического комитета не читал этой комедии, Александр Николаевич достал печатный экземпляр ее из чемодана и сам всю комедию прочитал до конца, без пропусков, с замечательною декламацией, особенно в патетических частях комедии, и с глубоким чувством. По окончании чтения Александр Николаевич подарил этот экземпляр производителю работ с автографом и с видимым удовольствием сообщил своим слушателям, что государь император Александр Николаевич удостоил высоким своим посещением одно из представлений этой комедии на Санкт-Петербургском театре и громкие аплодисменты раздавались в императорской ложе на многие места комедии, которые и указал автор [3]. Было три часа утра и светало, когда все разошлись по своим номерам.

Второго мая в девять часов утра Александр Николаевич отправился с своими спутниками на перевоз, где кто-то уже позаботился о приготовлении лодки со всеми удобствами и гребцами. Когда сели в лодку, появился пристав Абиссов и с берега приветствовал Александра Николаевича, говоря, что в Борисоглебском соборе сегодня праздник. Гребцы ударили веслами и быстро перевезли. Только что Александр Николаевич вышел из лодки, как тот же г. Абиссов встретил его; Александр Николаевич улыбнулся и спросил, как он успел так скоро переехать? Абиссов молча поклонился и исчез в толпе народа, со всех сторон стремившегося

на храмовой праздник в Борисоглебский собор; служба еще не началась, когда Александр Николаевич вошел в гору и приблизился к соборному храму, который переполнен был богомольцами, так что многочисленные толпы городского и преимущественно сельского населения группировались около храма, в который не легко было попасть желающим, и это сознавал Александр Николаевич. Пристав опять встретил его и тотчас отошел в сторону. Несмотря на тесноту в храме, на паперти и лестнице, Александр Николаевич вошел в храм свободно, как по аллее. Во время обедни пристав несколько раз выходил из храма, а в конце ее подошел к Александру Николаевичу и пригласил его со спутниками к себе на чай. Последние, зная, что Александр Николаевич очень спешил в Рыбинск, были уверены в неуспехе приглашения пристава, но, к удивлению их, Александр Николаевич охотно пожелал посетить его. По окончании обедни был совершен крестный ход, который пристав сопровождал, а Александр Николаевич в это время обозревал замечательный по своей древности, архитектуре и вообще по наружным и внутренним частям соборный храм и говорил своим спутникам, что редко можно встретить подобный храм в России. Кончился крестный ход, но обозрение храма далеко не было кончено, и с видимым сожалением Александр Николаевич оставил на этот раз собор, надеясь в более свободное время опять быть в нем и во всех подробностях осмотреть его. Пристав встретил своих гостей у входа его скромной снаружи и внутри квартиры, но чистенькой. Во время чая пристав выходил, и Александр Николаевич в окно видел его в среде народа и улыбался. После чаю пристав вместе с женою предложили очень скромный завтрак, во время которого Александр Николаевич много говорил и был доволен радушием хозяев, и с вниманием к оным относился. Был второй час, когда Александр Николаевич спросил о лошадях; «готовы» был ответ пристава; оказались добрые кони и покойный экипаж. Когда отъехали несколько сажен, Александр Николаевич оглянулся в сторону квартиры пристава и, увидев его, издали, из экипажа, приветливо поклонился ему и, обратившись к спутникам, с чувством проговорил: «Вот какие нужны нам полицейские чиновники», и дорогой не раз говорил о распорядительности, про-

ворстве, скромности и доброте Клавдия Афанасьевича; <...> ясно было, что пристав отвечал воззрению Александра Николаевича на эту должность.

По приезде в Рыбинск путешественники увидели, что р. Черемха широко разлилась и постоянного моста близ мельницы не видно из-под воды. Ямщик приостановился на минуту и потом, что-то сообразив, вскрикнул: «Благослови, господи!» — и стремглав помчался в воду. У всех сидевших в экипаже захватило дыхание, и они вздохнули свободно, когда выехали на другой берег реки близ бульвара, на котором гуляющие с ужасом смотрели на дерзкую удаль ямщика, который мог по ошибке направить лошадей мимо моста, да и на мосту могли иные доски подняться. Александр Николаевич остановился в гостинице И. М. Крашенинникова, который тотчас явился и представился ему; а на другой день поехал к членам-корреспондентам Ярославского губернского статистического комитета, утвержденным министерством внутренних дел: П. А. Щербакову, А. И. Миклютину и Г. Г. Голубенцову, с которыми близко сошелся, и знакомство с ними было полезно для дела, порученного ему, особенно по судоходству, так как Щербаков и Миклютин были крупные хлебные торговцы и оба служили последовательно в предыдущие трехлетия в должности городского головы, а А. И. Миклютин, кроме того, в это время состоял и председателем Рыбинской судоходной расправы, в которой был маклером Г. Г. Голубенцов, отличавшийся развитием и многосторонними сведениями. <...> П. А. Щербаков заинтересовал Александра Николаевича сообщением о предпринятом им деле проведения железной дороги от Бологова до Рыбинска, которое, несмотря на всю свою важность, к сожалению, в то время не имело успеха, и П. А — ч, сделав большие денежные затраты, поплатился еще и здоровьем. Много лет спустя эта мысль приведена в исполнение более счастливыми предпринимателями. Александр Николаевич обратил особенное внимание на р. Шексну — этот большой приток Волги, дающий важное значение ей и по отношению к Рыбинску. Городничий И. Н. Кобяков, старый и многоглаголивый, внимательно относился к посетителю Рыбинска. О хлебосольстве, оказанном в Рыбинске Александру Николаевичу, не будем говорить. Чрез три дня произво-

дитель работ Статистического комитета уехал из Рыбинска в Углич после данного в честь Александра Николаевича обеда у городского головы М. А. Григорьевского, который, равно и супруга его Елена Ивановна, оказывали гостю большое внимание. Александр Николаевич намерен был отправиться чрез неделю в Углич, где ожидал его производитель работ; но дело остановило в Рыбинске на более продолжительное время; в Угличе Александр Николаевич был потом только с Гурием Николаевичем. Здесь он познакомился с отцом и сыном Серебренниковыми, или Тихомеровыми, и по возвращении в конце мая в Ярославль рассказывал о них. Отец, угличский мещанин Иван Петрович, был проникнут русскими началами; его иначе не называл Александр Николаевич, как *славянофил*, а сын — Василий Иванович — поклонник западных начал или, по выражению Александра Николаевича, *западник*. Оба жили в одном старинном небольшом домике и вели между собою в свободное от торговых и других занятий время словесную во имя славянофильских и западнических начал полемику, которой бывал свидетелем и Александр Николаевич.

По возвращении в Ярославль Александр Николаевич присутствовал на обеде, данном профессорами лицея Н. А. Гладковым и В. Н. Никольским с некоторыми другими лицами в честь прибывшего сюда, проездом на родину в Пошехонский уезд, уважаемого тогда профессора Московского университета Никиты Ивановича Крылова, с которым Александр Николаевич оживленно беседовал о некоторых, интересовавших их, новинках литературы. Вскоре после того Александр Николаевич оставил Ярославль, отправясь вниз по Волге, для продолжения своего труда в Костромской губернии и заезжал в Ярославль лишь на короткое время по исполнению поручения. Был ли напечатан литературный его труд,— мы не знаем [4].

А. Я. Панаева (Головачева)

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

<Отрывок>

О появлении комедии Островского «Свои люди — сочтемся!» много было разговоров в кружке. Некрасов чрезвычайно заинтересовался автором и хлопотал познакомиться с Островским и пригласить его в сотрудники «Современника».

Не помню, через посредство кого произошло знакомство Островского с кружком «Современника» [1], но очень хорошо помню обед, на котором в первый раз присутствовал Островский и на который были приглашены все сотрудники «Современника».

Островский первый раз явился в кружке с актером И. Ф. Горбуновым, тогда только поступившим на императорскую сцену на самые маленькие роли.

Впрочем, и впоследствии в каждый свой приезд из Москвы Островский постоянно являлся в сопровождении Горбунова.

Обед, данный для Островского, был очень оживлен, потому что Горбунов потешал всех своими рассказами. Островский любовно улыбался на рассказчика, как любящий отец на своего сына, а Горбунов благоговел перед Островским, и это благоговение было самое искреннее.

Я никогда не слыхала от Островского каких-нибудь рассказов о частной жизни литераторов. Хотя Островский и жил в Москве, но это не помешало любителям

распространять слухи о его частной жизни: будто он пьет беспросыпу и толстая деревенская баба командует над ним.

Когда рассказчику заметили, что Островский, кроме белого вина, ничего не пил за обедом, то на это следовало объяснение, что Островский, приезжая в Петербург, боится выпить рюмку водки, потому что тогда он уж запьет запоем. Но, кроме слухов о его частной жизни, появились и другие.

Раз прибегает в редакцию литератор, известный вестовщик всяких новостей [2], и, совершенно как в «Ревизоре» Добчинский, захлебываясь, передает, что «Свои люди — сочтемся!» принадлежат одному пропившемуся кутиле, купеческому сыну, который принес рукопись Островскому исправить, а Островский, исправив ее, присвоил себе. Когда стали стыдить литературного Добчинского в распространении нелепой новости, то он клялся, что это достоверно, что его знакомый москвич знает этого кутилу купеческого сынка, который сам ему жаловался на Островского в утайке его рукописи [3].

Очень смешно мне было видеть, когда литературный Добчинский присутствовал при чтении второй комедии Островского и восторгался новой его пиесой, забыв уже, что усердно распространял нелепейшие слухи о присвоении им чужой рукописи.

Островский читал свои пиесы с удивительным мастерством: каждое лицо в пиесе — мужское или женское — рельефно выделялось, и, слушая его чтение, казалось, что перед слушателями разыгрывают свои роли отличные артисты. Много было неприятностей и хлопот Островскому, чтобы добиться постановки первой своей комедии на сцену [4], но потом каждая его новая пиеса, поставленная на Александринской сцене, составляла событие как для артистов, так и для публики, а также для дирекции, потому что сборы были всегда полные.

Островский, когда ставились его пиесы на сцену, приезжал из Москвы и много возился с артистами, чтобы они хорошенько вникали в свои роли. Островский чуть не до слез умилялся, если артист или артистка старались исполнить его указание. К Мартынову он чувствовал какое-то боготворение. Островский был

исключением из драматургов по своей снисходительности к артистам. Он никогда не бранил их, как другие, но еще защищал, если при нем осуждали игру какого-нибудь из артистов.

— Нет, он, право, не так плох, как вы говорите! — останавливал Островский строгого критика.— Он употребил все старание, но что делать, если у него мало сценического таланта. <...>

Островский приехал в Петербург летом хлопотать о постановке своей комедии на Александринской сцене, а в это время уже готовилась Крымская война[5].

За обедом присутствующие только и говорили, что о войне.

Островский не принимал никакого участия в жарких спорах о предстоящей войне, и когда Тургенев заметил ему,— неужели его не интересует такой животрепещущий вопрос, как война, то Островский отвечал:

— В данный момент меня более всего интересует — дозволит ли здешняя дирекция поставить мне на сцену мою комедию.

Все ахнули, а Тургенев заметил с многозначительной улыбкой:

— Странно, я не ожидал такого в вас равнодушия к России!

— Что тут для вас странного? Я думаю, что если бы и вы находились в моем положении, то также интересовались бы участью своего произведения: я пишу для сцены, и, если мне не разрешат ставить на сцену свои пиесы, я буду самым несчастнейшим человеком на свете.

Когда Островский и другие гости разъехались и остались самые близкие, Тургенев разразился негодованием на Островского:

— Нет, каков наш купеческий Шекспир?! У него чертовское самомнение! И с каким гонором он возвестил о том, что постановка на сцену его комедии важнее для России, чем предстоящая война. Я давно заметил его пренебрежительную улыбочку, с какой он на нас всех смотрит. «Какое вы все ничтожество перед моим великим талантом!»

— Полно, Тургенев,— остановил его Некрасов,— ты когда расходишься, то удержу тебе нет! В тебе две крайности — или ты слишком строго, или чересчур сни-

сходительно относишься к людям; а насчет авторского самолюбия, то у кого из нас его нет? Островский только откровеннее других.

— Я, брат, при встрече с каждым субъектом делаю ему психический анализ и не ошибаюсь в диагнозе,— ответил Тургенев [6].

Некрасов улыбнулся, да и другие также, потому что было множество фактов, как Тургенев самых пошлых и бездарных личностей превозносил до небес, а потом сам называл их пошляками и дрянцой...

Н. Д. Новицкий

ИЗ ДАЛЕКОГО МИНУВШЕГО

<*Отрывок*>

Перешли мы затем к только что тогда напечатанному добролюбовскому «Темному царству», как в эту минуту раздается звонок и в дверях появляется,— кто бы вы думали? — сам А. Н. Островский!! [1] Я тут в первый да, к сожалению, и в последний раз в моей жизни видел Островского, произведшего на меня при этом самое приятное впечатление.

Конечно, я теперь не могу уже ни в подробностях, ни тем более дословно передать разговора его с Добролюбовым, длившегося, полагаю, более часу, но я отлично сохраняю в памяти ту горячую, неподдельную благодарность, какую он выражал Добролюбову за его «Темное царство», говоря, что он был — *первый и единственный* критик, не только вполне понявший и оценивший его «писательство», как назвал Островский свои произведения, но еще и *проливающий* свет на избранный им путь...

— Ну, знаете ли, Николай Александрович,— обратился я к нему, когда уехал Островский,— я столько же радуюсь оценке, сделанной Островским вашему «Темному царству», как он сам доволен им, если только, конечно, слова его искренни, в чем, кажется, едва ли может быть сомнение?! [2]

— Да, оно не хотелось бы, говоря по правде, сомневаться в том и мне,— заметил на это Добролюбов,— да только как тут поймешь и разберешь всех этих литературных генералов, которые, поверьте, хуже во сто крат ваших Бетрищевых [3], до того они все щепетильны и готовы видеть в каждом слове честной критики посягательство на их имя, на славу!!

В. А. Герценштейн

ИЗ «ПИСЕМ О БЫЛОМ И ПЕРЕЖИТОМ»

<...> В августе 1860 года я ехал в Москву для поступления в университет. В то время во всей России была лишь единственная железная дорога — от Москвы до Петербурга, во всей же остальной необъятной России, «от финских хладных скал — до пламенной Колхиды» [1], ездили или на долгих, или на почтовых с попутчиками. Доехав до Харькова, я расстался там с своим попутчиком и на почтовой станции стал справляться о новом спутнике на дальнейший путь. Смотритель станции любезно указал мне адрес гостиницы, где какой-то проезжий ищет попутчика до Москвы. Постучавшись в двери указанного номера гостиницы, я застал за столом, уставленным чайным прибором, плотного господина, без сюртука, с расстегнутым воротом рубахи, редкими рыжеватыми волосами на голове и такой же небольшой бородкой, с открытым, ясным, добрым и весьма симпатичным лицом. При входе моем господин этот приподнялся, слегка извиняясь за свое дезабилье. Я объяснил цель моего прихода, и через пять минут мы уже условились ехать вместе, назначив на следующее утро время отъезда. Мой новый попутчик гостеприимно придвинул мне налитый им стакан чаю и стал меня расспрашивать о путевых впечатлениях, и в разговоре я с изумлением узнал, что предо мною известный драматург А. Н. Островский [2].

Необходимо заметить, что в то время молодежь, и преимущественно провинциальная, относилась с особым благоговением к имени и к личности каждого

сколько-нибудь выдающегося писателя. Всякий такой писатель или литератор представлялся каким-то необыкновенным существом, окруженным каким-то особым ореолом, стоящим неизмеримо выше всей окружающей его толпы, и поэтому легко представить себе смущенье совсем еще зеленого юнца, впервые выпорхнувшего из своего провинциального гнезда на божий свет и волей судеб попавшего в столь близкое соприкосновение с известным писателем.

Я должен сознаться, что хотя и был тогда уже несколько знаком с драматическими произведениями Островского, но имел об их литературном значении довольно смутные понятия. Великорусский купеческий быт, преимущественно изображенный в его произведениях, был для меня, жителя юга, выросшего притом и воспитанного в другой совсем сфере, совершенно незнаком. В провинциальных же театрах ставились тогда преимущественно разные мелодрамы или гнуснейшие фарсы, большинство провинциальных актеров были круглейшие бездарности, и публика ходила в театр, чтобы похохотать в фарсах или поплакать в раздирательных трагедиях, и больше для того, чтобы встретиться с знакомыми, на людей посмотреть и себя показать. О каком-либо воспитательном значении театра и драматических произведений редко кто имел понятие, а актеры менее всего, и провинциальные актеры пользовались вообще самой незавидной репутацией.

И когда на другой день [3], ко времени нашего отъезда, собралась большая толпа провожатых, большая часть которой были актеры местного театра, когда я увидел, с каким уважением и любовью все эти бритые физиономии относились к Островскому, как он интересовался судьбой каждого из них, с какой отеческой любовью он давал им разные наставления и с какими шумными овациями и пожеланиями вся эта толпа провожала его до выезда за город, я впервые понял, что существует какая-то духовная связь между драматическим писателем и артистами, связь, выразившаяся на моих глазах столь искренно, столь задушевно, как между членами одной общей семьи, и для меня выяснилось значение этой связи для сцены и для зрителей.

Еще более трогательная и теплая встреча и проводы ожидали Островского в Орле, куда мы прибыли

в начале вечера и где в ожидании лошадей Александр Николаевич зашел в трактир закусить. Здесь случайно увидел его какой-то актер и поспешил дать знать «своим» о дорогом госте, и не прошло и получаса, как в трактир набралось около десятка артистов, которые с шумными приветствиями окружили Островского, обнимали и лобызали его, сообщали ему о своих радостях и печалях, о своих успехах и неудачах. Узнав, что Островский намерен в тот же вечер ехать дальше, кто-то из артистов втихомолку упросил смотрителя станции, и лошади оказались все в разгоне. В одиннадцать часов вечера, когда окончился спектакль в театре, привалила в трактир вся труппа в полном составе; из них многие не успели смыть грим и белила. За шумным ужином с дешевым вином и трактирным угощением сидела одна общая, тесно сплоченная семья, и во главе ее Александр Николаевич с несколько раскрасневшимся лицом, с сиявшими от удовольствия добрыми глазами, любовно беседовал со всеми, находя для каждого из присутствующих доброе сочувственное слово. Беседа продолжалась далеко за полночь, и наутро вся толпа с шумными пожеланиями провожала Островского до заставы.

— Это все мои ученики,— объяснил мне Островский, когда мы остались одни,— все это воспитанники московской театральной школы; я был свидетелем первых шагов многих из них на сцене, по мере возможности руководил ими и направлял их в начале их артистической деятельности...

И видно было, какое высокое наслаждение доставило ему проявление любви к нему всех этих деятелей сцены.

Я отказываюсь передать то чарующее действие, которое производила на меня близость этого человека в течение четырехдневного совместного путешествия. Его ласковая, мягкая, в душу проникающая речь, его меткий, безобидный юмор, его добрые ласкающие глаза — все это производило столь неотразимое впечатление, что должно было приковать к нему самого черствого человека.

Во все время пути главным предметом разговора была его любимая тема — сцена и ее деятели, и мне трудно определить теперь, чему более обязан я тем, что страстно полюбил драматическую сцену и научился не-

сколько понимать ее значение: этим ли беседам с Островским в продолжение нашего путешествия или тем высокодаровитым артистам, которые подвизались тогда на сцене московского театра.

Гейне восклицает где-то о Наполеоне I: «Шапку долой, читатель: я говорю о великом императоре». Заговорив теперь о тогдашних деятелях московской сцены, я готов также воскликнуть: шапку долой, читатель! я говорю о Щепкине, Садовском, Шумском, Самарине, Васильеве, Живокини, Васильевой, этих столпах русской сцены, создавших столько художественных образов. <...>

Громадное воспитательное значение произведений Островского давно и много раз было засвидетельствовано русской критикой. Этот любвеобильный друг человечества воспитал на отечественной сцене целые поколения. Из мрака невежества и заблуждений он выводил людей на путь ясный, открытый, на путь сознательного понимания жизни и человеческих отношений и обязанностей. Созданной им драмой он осветил умы зрителей и читателей, он внес не один светлый луч в царившее вокруг темное царство, он вдохнул в людей чувства человечности, и это благодетельное влияние отразилось на всей их дальнейшей жизни!.. <...>

4-го января 1861 года была в первый раз поставлена на сцене Александринского театра комедия Островского «Свои люди — сочтемся!» <...>

К началу спектакля в театр прибыл двор, и в ложах и первых рядах кресел виднелась знать и представители большого света. Комедия, благодаря умелой игре Самойлова, Линской и других, имела громадный успех. Автор во все время действий оставался за кулисами и только в антрактах появлялся в директорской ложе, откуда он раскланивался на вызовы публики. По его несколько бледному лицу можно было догадаться, что он за кулисами все время сильно волновался, и только когда занавес в последний раз опустился и раздался оглушительный гром рукоплесканий и вызовы автора, лицо его прояснилось и приняло свое обычное ласковое и доброе выражение.

Прошла неделя, и та же комедия была поставлена впервые в Москве[4], в Большом театре, в бенефис любимца и друга Островского — Прова Садовского, и этот

вечер был настоящим праздником для самого автора и для всей интеллигентной части Москвы. Весь громадный зал московского Большого театра, вмещающий более трех тысяч зрителей, был переполнен сверху донизу. Во все время спектакля автор спокойно сидел в ложе, а на лице его отражалась уверенность, что исполнение своей пьесы он передал в надежные руки. И действительно, где и когда после этого можно было видеть в России такой подобранный персонал? М. Щепкин — в роли Большова, Пров Садовский — в роли Подхалюзина, Живокини — Рисположенского, Никулина-Косицкая — Липочки, Васильева — матери ее; да и публика была не петербургская, великосветская, едущая в русский театр только в те вечера, когда этого требует этикет или мода, а публика своя — московская, с затаенным дыханием прислушивающаяся к каждому слову, к каждому звуку, раздающемуся со сцены, и переживающая вместе с артистами все перипетии действий пьесы.

Что творилось в театре в этот вечер, не поддается никакому описанию. Молодежь вынесла Островского на руках, без шубы, в двадцать градусов мороза, на улицу, намереваясь таким образом донести его до квартиры, и когда более благоразумным удалось накинуть ему на плечи шубу и усадить в сани, толпа в несколько сот человек различного пола и возраста направилась по сугробам снега к дому автора. Островский жил тогда в Замоскворечье, в самом центре «темного царства», и в эту ночь шумная толпа потревожила сон многих Кит Китычей, мирно покоившихся на высоких пуховиках. Островский появился на пороге своей квартиры, вызванный оглушительными криками толпы, он раскланивался со всеми, двух или трех вблизи стоявших обнял и расцеловал и выразил сожаление, что не может пригласить и вместить в своем доме всех, «хотя и поздних, но милых гостей»... <...>

П. Д. Боборыкин

<ОСТРОВСКИЙ НА ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ СЦЕНЕ>

<...> Цензура так же сурово обходилась и с Островским.

«Свои люди — сочтемся!» попала на столичные сцены только к 1861 году [1]. И в те зимы, когда театр был мне так близок, я не могу сказать, чтобы какая-нибудь пьеса Островского, кроме «Грозы» и отчасти «Грех да беда», сделалась в Петербурге репертуарной [2], чтобы о ней кричали, чтобы она увлекала массу публики или даже избранных зрителей.

Культом Островского отличался только Аполлон Григорьев — в театральной критике. На сцене о пьесах Островского хлопотал всегда актер Бурдин, но дирекция их скорее недолюбливала.

У меня в памяти осталась фраза начальника репертуара Федорова. Выпячивая свои большие губы, он говорил с брезгливой миной:

— Вот нас упрекают все, что мы мало играем Островского (он произносил: Островско́го), но он не дает сборов.

И правда: даже лучшая его вещь — «Свои люди — сочтемся!» — не удержалась с полными сборами [3].

Мало того, позднее Литературно-театральный комитет возвратил ему даже «Женитьбу Бальзаминова» [4], найдя, что это — фарс, недостойный его.

Но это случилось уже позднее; а пока Островский для Петербурга был еще новинкой, и очень немногие и в литературном кругу лично знали его.

А тогда он уже сошелся с Некрасовым и сделался одним из исключительных сотрудников «Современника». Этот резкий переход из русофильских и славянофильских журналов, как «Москвитянин» и «Русская беседа», в орган Чернышевского облегчен был тем, что Добролюбов так высоко поставил общественное значение театра Островского в своих двух знаменитых статьях [5]. Островский сделался в глазах молодой публики писателем-обличителем всех темных сторон русской жизни.

В какой степени он действительно разделял, например, тогдашнее credo Чернышевского в политическом и философском смысле,— это большой вопрос [6]. Но ему приятно было видеть, что после статей Добролюбова к нему уже не относятся с вечным вопросом: славянофил он или западник.

Аполлон Григорьев по-прежнему восторгался народной «почвенностью» его произведений и ставил творца Любима Торцова чуть не выше Шекспира [7]. Но все-таки в Петербурге Островский был для молодой публики сотрудник «Современника». Это одно не вызывало, однако, никаких особенных восторгов театральной публики. Пьесы его всего чаще имели средний успех. Не помню, чтобы за две зимы — от 1861 до 1863 года — я видел, как Островский появлялся в директорской ложе на вызовы публики.

Но раньше всего я увидал его все-таки в театре, но не в ложе, а на самых подмостках, в качестве любителя.

Тогда театральное «аматерство» * было уже в большом ходу и приютилось в Пассаже, в его зале со сценой, не там, где теперь театр, а на противоположном конце, ближе к Невскому.

К этому любительству и я был привлечен. Тогда среди любительниц блистала г-жа Спорова, младшая дочь генеральши Бибиковой — курьезного типа тогдашней madame Sans-Gêne [8]. Спорова особой талантливостью не выдавалась, но брала красотой. Ее сестра, г-жа Квадри, была талантливее. Она и ее муж, офицер Квадри (недавно умерший), страстно любили театр и готовы были играть всегда, везде и какие угодно роли. К этому кружку принадлежала и даровитая Сандунова, когда-

---

* любительство (от *франц.*— amateur).

то артистка императорских театров и писательница — в те годы, когда ее муж издавал «Репертуар и пантеон» [9]. Она была прекрасной исполнительницей бытового репертуара.

И меня втянули в эти спектакли Пассажа. Поклонником красоты Споровой был и Алексей Антипович Потехин, с которым я уже водил знакомство по дому Писемских. Он много играл в те зимы — и Дикого и Городничего. Мне предложили роль Кудряша в «Грозе», а когда мы ставили «Скупого рыцаря» для такого же страстного чтеца и любителя А. А. Стаховича (отца теперешних общественных деятелей [10]), то я изображал и герцога. <...>

Пассаж оставался верен бытовому театру. И участие не только Потехина, но и самого Островского было неожиданной приманкой для той публики, которая состояла из самых испытанных театралов.

Островского я еще не слыхал как чтеца сцен из его комедий. Читал он не так, как Писемский, то есть не по-актерски, в лицах, а писательски, без постоянной перемены тона и акцента, но очень своеобразно и умело.

Появление его в роли Подхалюзина — это и был «гвоздь» и для тогдашних любителей театра. Ему сделали прием с подношением венка, но в городе это прошло почти что не замеченным большой публикой [11].

Как актер Островский не брал ни комизмом, ни созданием типичного лица. Он был слишком крупен и тяжеловат фигурой. Сравнение с Павлом Васильевым было для него невыгодно. Но всю роль провел он умно и с верностью московскому бытовому тону.

И тогда уже и за кулисами и в зале поговаривали, что ему не следовало бы с его именем рисковать такой любительской забавой. Красота госпожи Споровой и на него подействовала, после того как он ее видел на той же сцене в Катерине.

Мое личное знакомство с Александром Николаевичем продолжалось много лет; но больше к нему я присматривался в первое время и в Петербурге, где он обыкновенно жил у брата своего (тогда еще контрольного чиновника, а впоследствии министра), и в Москве, куда я попал к нему зимой, в маленький домик у Серебряных бань, где-то на Яузе, и нашел его в обстановке,

которая как нельзя больше подходила к лицу и жизни автора «Банкрута» и «Бедность — не порок».

Он работал тогда над своим «Мининым», отделывал его начисто; но первая половина пьесы была уже совсем готова.

Домик его в пять окон — самой обывательской внешности — окунул и меня в дореформенный московский мир купеческого и приказного люда.

В передней меня встретила еще не старая, полная женщина, которую я бы затруднился признать сразу тогдашней подругой писателя. Это была та «Агафья Ивановна», про которую я столько слыхал от москвичей, приятелей Островского, особенно в годы его молодости, его первых успехов.

Ей он — по уверению этих приятелей — был многим обязан по части знания быта и, главное, языка, разговоров, бесчисленных оттенков юмора и краснобайства обитателей тех московских урочищ.

Агафья Ивановна сейчас же стушевалась, и больше я ее никогда не видал.

В первой же комнате, служившей кабинетом автору «Минина», у дальней стены стоял письменный стол, и за ним сидел — лицом ко входу — Александр Николаевич в халате на беличьем меху. Такие его портреты многим памятны.

Он сейчас же начал говорить мне о своем герое, как он его понимает, что он хотел в нем воспроизвести.

Замысел его нельзя было не найти верным и глубоко реальным. Минин — по его толкованию — простой человек, без всякого героического налета, без всякой рисовки, тогдашний городской обыватель, с душой и практической сметкой.

В его хронике нижегородский «говядарь» сбивается с этой бытовой почвы, и автор заставляет его произносить монологи в духе народнического либерализма.

Но, судя по тем сценам, какие Островский мне прочел,— а читал он, особенно свои вещи, превосходно,— я был уверен, что лицо Минина будет выдержано в простом, реальном тоне [12].

И тогда уже, и позднее, на протяжении более двадцати лет, я находил в Островском такую веру в себя, такое довольство всем, что бы он ни написал, какого я решительно не видал ни в ком из наших корифеев: ни

у Тургенева, ни у Достоевского, ни у Гончарова, ни у Салтыкова, ни у Толстого, и всего менее — у Некрасова.

По этой части он с молодых годов — по свидетельству своих ближайших приятелей — «побил рекорд», как говорят нынче. Его приятель, будущий критик моего журнала «Библиотека для чтения», Е. Н. Эдельсон, человек деликатный и сдержанный, когда заходила речь об этом свойстве Островского, любил повторять два эпизода из времен их совместного «прожигания» жизни, очень типичных в этом смысле.

Когда мне лично привелось раз заметить Александру Николаевичу, как хорошо такое-то лицо в его пьесе, он с добродушной улыбкой, поглаживая бороду и поводя головой на особый лад (жест, памятный всем, особенно тем, кто умел его копировать), выговорил невозмутимо:

— Ведь у меня всегда все роли — превосходные!

Поэтому, когда он ставил пьесу — и на Александринском театре,— он всегда был отменно доволен всеми исполнителями, даже и актера Никольского похваливал. Раз они играют в его пьесе — они должны быть безукоризненно хороши [13].

Может быть, это повышенное самосознание и давало ему нравственную поддержку в те годы (а они продолжались не один десяток лет), когда он постоянно бился из-за постановки своих вещей и дирекция держала его, в сущности, в черном теле.

Переписка Александра Николаевича, появившаяся после смерти актера Бурдина [14], бывшего его постоянным ходатаем, показала достаточно, как создатель нашего бытового репертуара нуждался в заработке; а ставил он обыкновенно по одной пьесе в сезон на обоих императорских театрах.

И позднее, в семидесятых и восьмидесятых годах, его новые вещи в Петербурге не давали больших сборов, и критика делалась к нему все строже и строже [15].

Но все это не могло поколебать той самооценки, какой он неизменно держался и в самые тяжелые для него годы. Реванш свой он получил только перед смертью, когда реформа императорских театров при директоре И. А. Всеволожском выдвинула на первый план самых заслуженных драматургов — его и Потехина, а при восстановлении самостоятельной дирекции в Москве Ост-

ровский взял на себя художественное заведование московским Малым театром.

Ему предложили и директорство [16], но он отказался от главного административного поста.

И поразительно скоро, как все говорили тогда за кулисами, он приобрел тон и обхождение скорее чиновника, облекся в вицмундир и усилил еще свой обычный важный вид, которым он отличался и как председатель Общества драматических писателей, где мы встречались с ним на заседаниях многие годы.

Такая писательская психика объясняется его очень быстрыми успехами в конце сороковых годов и восторгами того приятельского кружка из литераторов и актеров, где главным запевалой был Аполлон Григорьев, произведший его в русского Шекспира. В Москве около него тогда состояла группа преданных хвалителей, больше из мелких актеров. И привычка к такому антуражу развила в нем его самооценку.

Но вся его жизнь прошла в служении идее реального театра, и, кроме сценической литературы, которую он так слил с собственной судьбой, у него ничего не было такого же дорогого. От интересов общественного характера он стоял в стороне, если они не касались театра или корпорации сценических писателей. Остальное брала большая семья, а также и заботы о покачнувшемся здоровье. <...>

А. Ф. Кони

А. Н. ОСТРОВСКИЙ
(Отрывочные воспоминания)

Несмотря на признаваемое мною огромное художественное и общественное значение произведений А. Н. Островского и неизгладимое впечатление, оставленное во мне некоторыми из них в сценическом исполнении, мои личные воспоминания о нем весьма невелики. Моя сознательная юность совпала со второю половиной пятидесятых годов прошлого столетия, со временем особого оживления литературы после леденящего гнета последнего десятилетия перед тем. В обществе жило и с каждым днем расширялось предчувствие неизбежности великих реформ, которые должны были коснуться уклада русской бытовой жизни, заглянув в ту область, которая заслонялась тем, что Иван Аксаков метко назвал общественной и государственной «фасадностью». Первая и главнейшая из этих реформ — отмена крепостного права — с каждым днем приобретала реальную осуществимость, а в области словесности каждый год приносил произведения, составляющие до сих пор драгоценные перлы нашей литературы. Достаточно указать на «Обломова» в полном виде, на «Дворянское гнездо», «Рудина», «Тысячу душ» Писемского и др. С того времени прошло более чем шестьдесят лет, но и до сих пор после многого пережитого в той же области, мне светят и меня греют воспоминания о тех далеких днях, когда приходилось с нетерпеливым и жадным волнением добывать и раскрывать книжку журнала, где бывали помещены такие

произведения. Они рисовали и уясняли нам, молодежи, многие стороны уходившей в прошлое действительности и своими яркими красками давали почувствовать желанное и, казалось, так возможное светлое будущее родины. Имена Тургенева, Гончарова, Некрасова были нам особенно дороги, но Островский был довольно чужд. Этому было несколько причин. Те его пьесы, которые изредка приходилось видеть на сцене в Петербурге, давались без серьезного к ним отношения, с крайними преувеличениями их комического оттенка, причем одна из лучших его комедий, создавшая ему громкую известность — «Свои люди — сочтемся!», была допущена на сцену лишь в самом конце пятидесятых годов и притом с искаженным, по цензурным соображениям, концом [1]. Бытовая драма медленно завоевывала себе театральные подмостки, приучившие публику к представлениям ложнопатриотического характера, к сентиментальной мелодраме и к водевилю, постепенно уступившему место оперетке, едва ли содействовавшей развитию вкуса зрителей. Того глубокого понимания смысла и значения произведений Островского, какой представляла московская сцена, тут не было и в помине. Из-за потешно и часто карикатурно представленных положений в среде весьма далекой от петербургской бюрократической жизни не выглядывала, несмотря на присущую ей своеобразность, человеческая личность с ее глубокими, то мрачными, то трогательными свойствами в ее житейском укладе. Вместе с тем почти исключительное сотрудничество Островского в «Москвитянине», его близость с «молодой редакцией» последнего и восторженные отзывы со стороны так мало понятного в свое время Аполлона Григорьева [2] очень не нравились петербургской критике, ставившей на первый план не художественность, а публицистическое направление произведений. Старый московский горячий спор западников и славянофилов принимал здесь новую форму, и близость Островского со славянофильским кружком — «ein кружок... in der Stadt Moskau» * — считалась признаком отсталости и равнодушия к общественным интересам, размеры и свойства служения которым, а не художественная разработка житейской правды, служили мерилом

---

* один .. в городе Москва *(нем.)*.

для оценки писателя. Голос Григорьева, вдумчивого сторонника Островского, был для петербургской критики голосом вопиющего в пустыне. До появления «Грозы» сочувственные отзывы о произведениях Островского встречались редко среди пренебрежительных, а подчас даже и ругательных рецензий. Даже такая глубоко прочувствованная и содержательная вещь, как «Бедность не порок», была встречена глашатаями «истинных», то есть, в сущности, исключительно публицистических задач литературы, весьма неодобрительно [3]. Автору «ставилось на вид», что он не ограничился бичующим изображением «самодурства», а позволил себе под обличием падшего и порочного русского человека раскрыть душу живу и найти в ней божью искру любви и сострадания, считая, как он сам выразился в письме к Погодину, что «для права исправлять народ надо ему показывать и то, что знаешь за ним хорошего» [4].

Особенно отличался в этом отношении поэт Щербина [5] — «грек нежинский, но не милетский», с которым одно время носились некоторые круги петербургского общества и в особенности усердные почитатели вице-президента Академии художеств графа Ф. П. Толстого, у которого, слегка заикаясь, Щербина стал ярым противником старика Погодина, Аполлона Григорьева и Островского. Его сатирические стихотворения ходили по рукам во множестве списков и разносили неверное и крайне недоброжелательное об упомянутых литературных деятелях представление, злорадно повторяемое людьми, не дававшими себе труда основательно познакомиться с произведениями ядовито уязвляемого Щербиной автора. В моем собрании автографов писателей есть написанное характерным крупным почерком Щербины «Послание к некоему бессребреному старцу Михаилу (Погодину), отправляющемуся на казенный счет изучать монголов на месте» и стихотворение «Пред бюстом автора гостинодворских комедий»; среди бумаг покойного профессора Бориса Николаевича Чичерина я нашел автограф Щербины — «Сказание о некоем боголюбивом юноше и святоше Тертии» (Филиппове), и в этом сказании Островский называется стяжавшим себе по справедливости наименование «гостинодворского Коцебу», а во втором из этих пасквилей, написанном «после чтения в «Москвитянине» стихотворения А. Григорьева «Искус-

ство и правда», автор, обращаясь к Островскому, которого именует трибуном невежества и пьянства адвокатом», «чей жалкий идеал пропоица Торцов», говорит: «Тебе сплели венок из листьев белены и пенник, и дурман несут на твой треножник лишь «Москвитянина» безумные сыны, да с круга спившийся бессмысленный художник».

Появление «Грозы» произвело, однако, решительный поворот в отношении печати и общества к Островскому. Добролюбов, еще и раньше ценивший Островского как изобразителя и обличителя самодурства, произвел сильное впечатление своей статьею «Луч света в темном царстве», которая читалась с жадностью и заставляла приступить к серьезной переоценке прежнего критического отношения к Островскому [6]. Еще большее впечатление производила «Гроза» на сцене, где к исполнению ее были привлечены лучшие силы Александринского театра [7]. Было видно, что к постановке ее все участники — артисты, режиссер и декораторы — отнеслись с особой любовью. Линская была удивительная Кабанова, холодом веяло от нее, от каждого ее слова и движения. Снеткова создала цельный и поэтический образ Катерины, а сцена ночного свидания Кудряша — Горбунова с Варварой — Левкеевой — была проведена ими с такой жизненной правдой и эстетическим чутьем, что заставляла совершенно забывать, что находишься в театре, а не притаился сам теплою весеннею ночью на нависшем над Волгою берегу в густой листве, в которой свистит и щелкает настоящий соловей. Но выше всего был Мартынов, драматический талант которого, столь неожиданно расцветший, тут проявился во всей своей силе. На месте актера, одно появление которого еще недавно, в каком-нибудь нелепом водевиле, вроде «Дон Ронуда де Калибрадос» или «Что и честь, коли нечего есть», возбуждало громкий, заранее готовый смех зрительной залы,— вырос человек, властно и неотразимо заглядывающий в самую глубину потрясенного сердца зрителя. Роль молодого Кабанова была апогеем славы Мартынова, она же была и его лебединой песнью. Я еще вижу его как живого над трупом несчастной жены с непередаваемым выражением в лице и голосе, бросающим старой Кабановой упрек: «Это вы ее убили, маменька, вы».

Переехав после закрытия петербургского университе-

Путешествіе по Волгѣ отъ исто-
ковъ до Нижняго Новгорода.

1.

Тверь. Весенній караванъ.

Апрѣля 1856 года

Въ Тверь я пріѣхалъ еще до открытія
навигаціи. Это было на Святой недѣлѣ, погода стояла пре-
толпы народа въ праздничныхъ наря- красная.
дахъ гуляли по набережной; Волга бы-
ла въ полномъ разливѣ, и сливаясь съ
Тверцой представляла огромное
пространство мутной, желтой
воды, взволнованной свѣжимъ вѣтромъ; и набережной [illegible]
но пусто и безжизненно было все [illegible]
это пространство; ни одно судно не оживл-
яло рѣки и только черные плашко-
уты, приготовленные для моста,
виднѣлись на той сторонѣ, да мокрые
[illegible] и грязная [illegible]
ла полосами по берегамъ, свидѣтель-
[illegible]

«Путешествие по Волге от истоков до Нижнего Новгорода».
Страница из записной книжки А. Н. Островского. 1856.

та в 1861 году в Москву, я мог наслаждаться, насколько позволяли мои скудные студенческие средства, зрелищем настоящего исполнения произведений Островского, которое было достойно их художественной обработки и внутреннего смысла. Без глубокой благодарности не могу я вспомнить Садовского и Шумского, Рассказова, Акимову, Косицкую и других, составлявших истинное и непревзойденное украшение московской сцены. Их игра была не только ярким личным воплощением образов, созданных автором, но и живою непосредственною связью между артистом и зрителем. Не могу забыть впечатления, произведенного на меня и на многих из тогдашней студенческой молодежи «Доходным местом». Перед нами, будущими юристами, в заманчивых чертах рисовалась грядущая судебная реформа, но большинство из нас не имело случая и возможности узреть воочию душевный склад и повадку деятелей еще существовавшего суда с его приказным строем и теми свойствами, которые дали Хомякову право воскликнуть: «В судах черна неправдой черной» [8]. Нравственные мучения и колебания Жадова и проповедь пляшущего Юсова не могли не вызывать желания стать работником в том новом суде, который искоренит черную неправду. И как осязательно и наглядно для мало-мальски чуткого молодого сердца страдал незабвенный Жадов — Шумский! Какое негодование вызывала самодовольная фигура Юсова — Садовского, желающего плясать на улице, пред всем народом, потому что он — мздоимец и лихоимец — объявляет, что «душу имеет чисту». Как было не любить и не ставить высоко автора, который, найдя понимающих его замыслы исполнителей, умел в «Шутниках» Шумскому дать возможность сказать поворачивающим душу полушепотом свое трагическое: «пошутили», а Садовскому раскрыть весь ужас положения бедной девушки, покровительственно гладя ее волосы и с особым многозначительным выражением говоря ей: «Ко мне в экономки»... Обаятельное впечатление, производимое на меня пьесами Островского в московском исполнении и истолковании, усиливалось еще и тем, что я на собственном опыте, давая уроки в купеческих домах, на Малой Якиманке, у Николы на Ямах и т. п., изведал всю справедливость тех картин и образов, которые провозглашались в Петербурге, как карикатура. В моих воспо-

минаниях студенческого времени (в третьем томе «На жизненном пути») я говорю об этом подробно. Теперь же скажу только, что мне не раз, слушая и видя многое, что совершалось и говорилось в суде, приходилось спрашивать себя: «Да не отрывок ли это из какой-нибудь неизвестной мне комедии Островского, разыгрываемый опытными любителями?» Сколько раз чувствовал я, что Островский поэтому имеет полное право повторить по отношению к себе те слова, которыми Л. Н. Толстой заключает вторую часть своих «Севастопольских рассказов»: «Герой моей повести, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен,— *правда»*.

Не все, впрочем, и в Москве относились к Островскому с справедливым признанием его таланта и заслуг пред русской драматической литературой. Особенно меня поразил в этом отношении выдающийся и тонкий артист Михаил Семенович Щепкин. Я несколько раз был у него — старого приятеля моего отца, на Третьей Мещанской улице, и слушал его исполненные интереса и глубоких артистических замечаний рассказы, воспоминания и чтение стихотворений Шевченко. Я помню его восторженные слезы при отзывах о Гарибальди, по поводу которого он приводил ходивший на Украине слух, что будто бы предки итальянского героя были «запорожцами и назывались загребайло». Я был раз свидетелем удивительного по своей оригинальности объяснения его о том, как играть Отелло, со знаменитым трагиком негром Айро Олдриджем, посетившим его в сопровождении шумливого Кетчера в качестве переводчика. В сетованиях о том, что ему пришлось покинуть сцену вследствие преклонного возраста, Щепкин коснулся, не помню по какому поводу, «Грозы» Островского, и неожиданно поразил меня, сказав, что по отношению к этой пьесе он разделяет мнение Галахова, считавшегося некоторыми в то время за авторитет в оценке драматических произведений. Мнение же это состояло в том, что Академии наук не следовало присуждать Островскому Уваровскую премию за эту драму — за произведение, на представление которого нельзя идти порядочному семейству и куда, конечно, сам граф Уваров никогда бы не повел свою дочь [9]. «Народная драма,— говорил Щепкин,— должна соответствовать народным воззрениям, и

потому странно, что Островский выставляет, как идеал, женщину, решившуюся всенародно объявить себя распутною. Да и Дикой неправдоподобен и карикатурен. Нельзя выставлять в условиях современности самодура, действующим беспрепятственно в такое время, когда никто его самодурству уже не покорится»[10]. Так сильно влияли на взгляды замечательного и глубокого артиста, умевшего создать незабываемые образы Фамусова и Городничего, устарелые традиции условного искусства. Резкое осуждение Островскому, наводнявшему сцену своими комедиями, пришлось мне слышать и от автора «Аскольдовой могилы» Верстовского.

Личные встречи мои с А. Н. Островским были не часты. Мне приходилось видеть его у Алексея Феофилактовича Писемского, переселившегося в Москву на Пресню после неудачного редактирования в Петербурге «Библиотеки для чтения» и оскорбительного шума, поднятого вокруг его имени по поводу бестактных фельетонов под псевдонимом Никита Безрылов, огульно осмеивавших разные либеральные общественные начинания. Еще недавно прославляемый за свой замечательный роман «Тысяча душ» и драму «Горькая судьбина», увенчанную Уваровской премией, он сделался мишенью для самых резких нападений, доходивших до вызова его на дуэль. Давши некоторую отповедь своим литературным противникам в романе «Взбаламученное море», в котором, по его мнению, «была тщательно собрана вся ложь нашей русской жизни», он успокоился и вновь приобрел утраченную на время объективность художника-бытописателя[11].

Писемский был гостеприимный человек и по временам звал меня и моих товарищей по университету — Куликова (сына режиссера Александринского театра) и Кирпичникова (впоследствии известного профессора) обедать и проводить у него вечер, причем иногда превосходно читал или, вернее, играл отрывки из своих произведений. У него мы часто встречали Островского. С ним Писемский был в дружеских отношениях. Их соединяло основательное знание разных сторон русской жизни и общность взглядов на душевные свойства русского человека. Их «Горькая судьбина» и «Грех да беда» были в нравственном отношении провозвестниками будущей «Власти тьмы»[12]. Островский в свое время

пригласил Писемского дебютировать в «Москвитянине» сразу снискавшей ему известность повестью «Тюфяк» и всегда интересовался мнениями Писемского, с которым бывал в откровенной переписке. Застольные и вечерние беседы у Писемского были для нас и интересны и поучительны. Часто они состояли из рассуждений о задачах искусства, причем деятельное и горячее участие в спорах о них принимал известный скульптор Рамазанов. Мне особенно памятны беседы о Шекспире и Сервантесе, которыми чрезвычайно восхищался Писемский. К сожалению, я не записал подробное содержание этих бесед, но ясно помню, что Островский указывал на все величие бессмертных творений английского гения. Мы слушали его жадно, и ему, видимо, нравилось наше напряженное внимание. Самой глубокою из трагедий Шекспира он тогда считал «Короля Лира». Анализируя по этому поводу человеческие страсти как материал для драматического произведения, он находил, что каждая из них имеет своего представителя в отдельных образах, разработанных Шекспиром, и что судьба каждого из них есть изображение неизбежного конца, которым роковым образом завершается развитие той или другой страсти. Гораздо позже, изучая Шекспира и знакомясь с трудами его немецких толкователей, я нашел ту же мысль у немецкого критика Крейзига.

Излишне говорить, что наши беседы оживлялись воспоминаниями собеседников из личной жизни и грубоватыми, но остроумными шутками Писемского.

В половине семидесятых годов я встретил Островского за обедом у Некрасова. Он был молчалив и показался мне чем-то озабоченным. Мне пришлось видеть его снова в Москве в июне 1880 года при открытии памятника Пушкину. Радостный и добрый, он принимал участие во всех видах чествования великого поэта. На обеде, данном городом депутатам от разных учреждений и обществ, мне (привезшему адрес от петербургского Юридического общества) пришлось услышать в его речи горячо сказанное от лица литературы крылатое слово: «Сегодня на нашей улице праздник» [13]. Он находился в группе выдающихся писателей, вышедшей на третий день празднества на эстраду Дворянского собрания с лавровым венком для увенчания бюста Пушкина, причем его друг, Писемский, при общем одобрении,

снял на время этот венок с бюста и возложил на Тургенева...

В последний раз я видел Островского за два года до его кончины, в редакции «Вестника Европы». Он жаловался на усталость, и на лице его лежала какая-то тень, как будто его уже слегка коснулась смерть своим крылом. Но он был очень оживлен и с иронией повествовал о своих прошлых цензурных злоключениях, указывая, что знаменитое Третье отделение за время своего существования очень косо смотрело на него, считая его драматические произведения систематическими и последовательными нападениями на купечество, дворянство и чиновничество. Разговор перешел на Салтыкова-Щедрина, и Островский отзывался о нем самым восторженным образом, заявляя, что считает его не только выдающимся писателем с несравненными приемами сатиры, но и пророком по отношению к будущему.

Излишне говорить о заслугах Островского в истории русского драматического искусства. Они уже давно всеми признаны. Но у него есть и другая заслуга пред русской историей вообще: ученому исследователю нашей прошлой бытовой жизни он дал в своих драмах и комедиях драгоценный и содержательный материал для освещения одной из сторон целого периода именно этой жизни.

В. М. Сикевич

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР

<Из «Былых встреч»>

Покойный артист Александринского театра Ф. А. Бурдин заехал однажды ко мне вечером и с особенной торжественностью объявил, что утром того дня приехал из Москвы в Петербург Александр Николаевич Островский и привез новую комедию, которую не дальше как завтра вечером сам будет читать у него, Бурдина, в доме. Далее Федор Алексеевич сказал, что такой чести знаменитый драматург каждый год удостоивает лишь его одного, что на подобные вечера он, как хозяин, не волен приглашать кого ему угодно, а подаст предварительно Островскому список своих гостей, с которым тот поступает иногда совсем нецеремонно, подчас, дескать, большую половину вычеркнет. Больше же всего не терпит Островский присутствия на чтении своих пиес кого-нибудь из литераторов. Привилегия дается исключительно артистам, и то немногим [1]. «Тут уже ничего с ним не поделаешь...— закончил Бурдин,— но я во всяком случае внесу вашу фамилию в свой список и буду просить Александра Николаевича сделать для вас исключение; он меня балует и, надеюсь, уважит мою просьбу».

На другой день добрый Бурдин завернул ко мне *всего на минутку*, как он любил выражаться, и с нескрываемой радостью объявил, что Островский, в виду *сообщенной ему аттестации* о моей особе, благоволил согла-

ситься на то, чтобы я присутствовал при чтении его пиесы. «Чтение начнется ровно в девять часов вечера; приезжайте в восемь с половиной; в три четверти девятого все приглашенные должны быть на местах; в девять ровно приедет Александр Николаевич; тогда немедленно будет отдано приказание швейцару и прислуге, чтобы никого больше и ни под каким видом не принимали, чтобы во время чтения, не дай бог, не раздался вдруг звонок или вообще какой-нибудь шум... Нельзя!.. такой уж у нас порядок!..» С этими словами Бурдин оставил меня, повторив еще раз, чтобы я приезжал к нему не позже восьми с половиной в черном сюртуке.

При всем непреклонном желании моем попасть к Бурдину в назначенные им минуты, я опоздал на четверть часа по каким-то неодолимым, теперь не помню, препятствиям. С радостью узнал я от швейцара, что Островский еще не приезжал, но что все уже в сборе, и я явился последним, так что после меня велено уже никого более не принимать.

Хозяин встретил меня по обыкновению радушно, хотя, покачав головой, посмотрел на меня с немым укором. С некоторыми из гостей Бурдина я был знаком, с остальными немедленно познакомился. Все это были исключительно артисты Александринского театра. Всех участников этого вечера, человек восемь — десять, я теперь перезабыл (дело было в декабре 1864 года [2]), но очень хорошо помню, что тут были Леонидов, Зубров, Степанов и Васильев, тот самый Васильев, который мастерски играл роли солдат и был таким неподражаемо хорошим солдатом в «Москале Чаривнике» [3].

Но вот раздался звонок, все всполошились, хозяин побежал навстречу дорогому гостю, и оба они появились в гостиной. До тех пор я не видел Островского, знал его только по фотографиям и был несколько озадачен большим несходством оригинала с виденными мной его карточками. На последних он выходил обыкновенно с добродушной, несколько улыбающейся физиономией, причем в лицевой растительности его главную роль играли роскошные баки, спускавшиеся к небольшой бороде; притом из фотографии можно было заключить, что Александр Николаевич брюнет. Здесь же предстал он серьезным, несколько нахмуренным, с довольно большой рыжеватой бородой. Артисты поспешили приветствовать

его, причем Леонидов и Васильев в самых сердечных словах выразили свою радость, видя Александра Николаевича бодрым и здоровым; затем хозяин подвел и представил меня. Подавая мне правую руку, Островский в то же время левой вынул из кармана часы и, глядя на них, произнес: «Очень рад; будемте знакомы». Вслед за тем он сел в вольтеровское кресло, перед которым стоял инкрустированный стол, а на нем свеча, графин с водой, стакан с ложечкой и мелкий сахар в хрустальной вазочке. Мы молча уселись на стульях у стенки против Островского, который вынул из портфеля, внесенного сюда хозяином, толстую тетрадь, налил в стакан, хлебнул глоток воды и начал так: «Воевода, или Сон на Волге; комедия в пяти действиях». С того момента, как мы уселись, в комнате и без того царила абсолютная тишина, а тут при провозглашении названия пиесы все мы затаили, как говорится, дыхание.

Чтение первого действия продолжалось минут сорок. Прочитано оно было мастерски, бойко, с оттенками в голосах действующих лиц комедии. Островский не любил, чтобы до полного прочтения им всей пиесы было высказано слушателями, в какой бы то ни было форме, впечатление прочитанного. Это знали все здесь присутствовавшие, и потому царившая тишина ничем не прервалась. Все с такими же интересом и любовью продолжали не спускать своих глаз с лица лектора, который на минуту откинулся на спинку кресла, затем выпил глоток воды с сахаром и приблизился к своей рукописи.

Не успел он прочесть с усиленной бойкостью двух страниц второго действия, как в соседней, передней комнате вдруг неожиданно рявкнул оглушительный звонок. Мы все чуть не привскочили на своих местах; бедный Бурдин побледнел, растерянно посмотрел вокруг и чуть шепотом произнес: «Это, должно быть, по ошибке...» Островский опустил на колени рукопись и не сводил с нее прищуренных глаз, словно выжидая чего-то; мы все тоже вытянули ожидательные физиономии, поспешив каждый в душе присоединиться к предположению хозяина, что этот звонок раздался по ошибке. Но не прошло и полминуты, как звонок затрещал с удвоенной силой. Бурдин, сидевший рядом с Островским, схватил себя за

голову и бросился в переднюю; там у двери стоял уже лакей, не зная, на что решиться.

Я сидел на месте, откуда видна была входная дверь, и был свидетелем следующей сцены. Не успел Бурдин сам отворить дверь, как в нее силой ворвался небольшого роста, толстый пожилой господин во фраке. Прежде всего с обеих сторон последовала чрезвычайно энергичная жестикуляция. Оба в одно время тихо говорили и не хотели слушать друг друга; Бурдин подкреплял свои доводы, указывая руками на комнату, где мы находились; толстяк, по-видимому, ничего этого знать не хотел и, прикладывая руки то к груди своей, то к лысине, не сдавался на доводы Бурдина и с отчаяньем отстаивал свои собственные. Эта сцена продолжалась не менее трех минут, которые нам показались доброю четвертью часа. Наконец хозяин, должно быть, преодолел упорство своего непрошеного гостя, и тот удалился.

— Объяви швейцару, чтобы завтра и духу его не было в моем доме! — громко произнес Бурдин, обратясь к лакею, и вошел к нам нахмуренный и встревоженный.

— Извините, дорогой Александр Николаевич,— обратился Бурдин к Островскому,— все это вышло так неожиданно... были приняты все меры... швейцар получит должное возмездие...

— Ничего, ничего...— отвечал Островский, кладя рукопись на стол и закрывая ее,— это вышло даже кстати, потому что я чувствую усталость и хотел и без того прекратить чтение.

Бурдин как ошпаренный только развел руками.

— Что же это?..— чуть не со слезами произнес он, оглядывая всех нас.

Все мы были глубоко огорчены таким неожиданным исходом дела. Раздались сначала робкие, потом все смелее и смелее просьбы к Александру Николаевичу.

— Я совсем не потому; я устал, господа,— отвечал нам Островский; но это не ослабило домогательств.

— Позвольте, господа,— выступил вперед Васильев,— позвольте мне быть докладчиком вашим и ходатаем перед нашим дорогим Александром Николаевичем... Александр Николаевич! дорогой! гордость наша! положим, у меня рука не дрогнула бы повесить на пер-

вой же осине здешнего швейцара; положим, я не задумался бы проделать такую же точно операцию и с почтенным нашим хозяином... (смех) да, да, Феденька! смеяться нечего; тут не до смеху; туда тебе и дорога,— не держи мерзавца швейцара!.. Но при чем же тут все мы? чем *мы* прогневили вас, Александр Николаевич? За что нам такая горькая обида? виноват Бурдин, ну, и выгоним его отсюда; я первый дам ему горячего подзатыльника... Но мы-то, мы-то за что страдать будем? и хоть бы эта беда стряслась над нами при самом начале, а то теперь, когда после первого действия у нас только что разыгрались аппетиты... Помилуйте, Александр Николаевич!..

По мере того как Васильев продолжал ораторствовать в этом роде, к нему присоединялись голоса других артистов. В конце концов Островский сдался, и чтение возобновилось. Но это уже было неохотное, вялое чтение. Уступив усиленным просьбам, знаменитый драматург, очевидно, спешил поскорее отделаться; только в последнем действии, к самому концу пиесы, голос лектора несколько раз дрогнул, и он закончил чтение так же мастерски, как и начал.

Тут со всех сторон понеслись к нему выражения благодарности и восторга. Опытные артисты сразу подчеркнули некоторые выдающиеся места пиесы, особенно самый сон воеводы, который должен быть изображен в лицах, за прозрачной кулисой.

— Это совершенно новый прием, новая вещица,— говорил Леонидов,— это произведет громадный, небывалый эффект.

Вслед за тем хозяин предложил нам отправиться в столовую. Там на большом столе воздвигнута была лукулловская закуска; мы уселись, и общее настроение начало малу-помалу оживляться. Один лишь гостеприимный хозяин наш при всем оказываемом им радушии, видимо, не мог еще отделаться от тяжелых впечатлений случившегося.

— Ну, Феденька,— начал Васильев после третьей рюмки,— расскажи нам теперь, какая это сатана чуть было не испортила нам сегодняшнего вечера?

— Не могу ничего говорить,— отвечал Бурдин, подливая стаканы,— вина перед Александром Николаевичем сковала язык мой.

— Ну, полноте, милый Федор Алексеевич,— произнес Островский, протянув к нему стакан, чтобы чокнуться,— все давно забыто, да и нечего было помнить... Пью за здоровье нашего милого хозяина и прошу его полной милости к не повинному ни в чем швейцару! — При этом лицо Островского осветила добродушная улыбка, и сразу оно приняло приветственное выражение.

— Ура!! — закричало несколько голосов, и стаканы протянулись к Островскому и Бурдину. Последний сразу повеселел <...>.

Н. А. Кропачев

А. Н. ОСТРОВСКИЙ

(Воспоминания его бывшего личного секретаря)

<...> Лично познакомился я с Александром Николаевичем в экстренном общем собрании Общества русских драматических писателей 21 октября 1877 года (в день третьей годовщины открытия Общества). Заседание Общества происходило тогда в Школе живописи, зодчества и ваяния, что на Мясницкой, против почтамта.

Как нового члена Общества, его председателю представил меня тогдашний секретарь Общества В. И. Родиславский. Александр Николаевич принял меня очень приветливо. Все внимание мое в этом заседании было сосредоточено на его председателе. С каким тактом и достоинством вел он прения и как ровно и торжественно-спокойно он осаживал двух-трех добродушных крикунов, которые галдели не ради дела, а для того больше, чтобы показать — «дескать вот и *мы пахали*»,— любо было посмотреть. Я почему-то сильно волновался и молча трепал свои длинные волосы, и это, о чем отмечу после, не ускользнуло от наблюдательного ока Александра Николаевича.

Собрание это памятно мне еще тем, что в конце его, когда протокол был уже подписан, присутствовавшим членам были розданы фотографии, сделанные с гравированного в 1814 году портрета И. А. Дмитревского[1].

Из школы после заседания некоторые из членов Общества, желавшие поужинать в компании с своим пред-

седателем, отправились в гостиницу «Эрмитаж». Собралось, кажется, человек четырнадцать. За общим столом, когда наступило оживление, Александр Николаевич полушутливым тоном произнес:

— Что за собрание нынче было: один кричит, другой шумит, третий бог знает что говорит, четвертый ерошит свои кудри...

Последние слова относились ко мне; я это понял и, улыбнувшись, заметил:

— Но кудри, вероятно, *не шумели*, Александр Николаевич, и вряд ли мешали ходу прений.

— Находчив! — сказал Александр Николаевич и, прищурив глаза, добродушно-ласково посмотрел мне прямо в лицо и засмеялся.

Ужин сошел превосходно, в самой дружеской и веселой беседе. Разъехались много времени спустя после закрытия ресторана. Чего я никак не ожидал, этот вечер, к моему несказанному удовольствию, положил начало моего прочного знакомства с Александром Николаевичем. Он осведомился, давно ли я начал писать пьесы. Единственная в то время моя двухактная пьеса, с которою я вступил в члены Общества драматических писателей, появилась в свет случайно. Я рассказал Александру Николаевичу, как против своей воли, лишь по настойчивым требованиям одних дам, больших охотниц подвизаться на сценических подмостках, отказать которым нельзя было, мне пришлось быть нечаянным исполнителем в любительском спектакле, и я заранее краснел, боясь быть *поделом* осмеянным за мое непризнанное лицедейство. К счастию, зрители были невзыскательны, и первым из них был покойный московский генерал-губернатор кн. В. А. Долгоруков, поощрявший нас своими рукоплесканиями, а за ним и вся зрительная зала хлопала нам единодушно. Пьеса, разыгранная нами, была не из мудреных, о чем я имел неосторожность проболтаться в кружке своих товарищей-лицедеев, из которых некоторые считали себя несомненными талантами. Мое мнение вызвало усмешки, и дело кончилось тем, что вследствие пари на мою долю выпал новый искус — сделаться через *две недели* драматическим писателем. Упомянутая выше пьеса была задумана в конце июля; первые наброски ее я показал известному артисту Н. И. Музилю, давшему удовлетворительный отзыв, за

что пьеса и посвящена ему. В начале августа она была переписана и отослана в Петербург, в половине сентября (17 дня) одобрена Театрально-литературным комитетом к представлению на императорских сценах за поспектаклъную плату, а в конце ноября предстояло ее исполнение в бенефис покойного артиста Н. А. Александрова на сцене Малого театра [2]. А на вопрос Александра Николаевича, давно ли я начал *«литераторствовать»*, я ответил, что первое мое стихотворение было напечатано в «Сыне отечества» 7 марта 1862 года, и с тех пор я помещал свои небольшие произведения в прозе и стихах в разных мелких петербургских журналах и газетах. Рассказанное мною понравилось Александру Николаевичу; оказалось, что оно отчасти было уже ему известно от Н. И. Музиля. При содействии последнего, наиболее других артистов пользовавшегося симпатиями Александра Николаевича, я вошел в его дом, где он и семейные его обласкали меня и пригласили к завтраку. С тех пор, несмотря на далекое расстояние (я жил в центре Петровского-Разумовского), по любезному приглашению не забывать его, я действительно часто напоминал ему о своем существовании. Но долг платежом красен: домосед и тяжелый на подъем Александр Николаевич пред своим отъездом в собственное имение Щелыково (Костромской губернии, Кинешемского уезда) совершил подвиг и посетил меня в начале мая 1879 года в сопровождении Н. И. Музиля и Н. П. Богданова (теперешнего смотрителя Докторского клуба). Так как он заблаговременно назначил мне день своего посещения, то через моих семейных о его намерении знала вся академия, в том числе и студенты, которые готовились устроить ему овацию. Узнав об этом, Александр Николаевич просил меня отклонить студентов от овации, потому, во-первых, что ему не хотелось быть неизбежно при этом помятым при его сырой и не совсем тогда здоровой натуре, а во-вторых, это было такое время, когда овации со стороны учащейся молодежи могли компрометировать его, бывшего уже однажды под надзором полиции за свою пьесу «Свои люди — сочтемся!» [3], первоначально названную им «Банкротом».

Обрадованный появлением его в моем доме, я так растерялся, что даже забыл познакомить с ним мою свояченицу, которая до сих пор не может забыть такого

с моей стороны упущения. Вечер сошел как нельзя лучше. Александр Николаевич играл в винт с Ф. К. Арнольдом (бывшим директором Петровской академии) и с своими спутниками, завзятыми винтёрами, а с такими мастерскими игроками Александр Николаевич охотно садился играть. Кажется, он проиграл «пустяки», как сам выразился. Перед ужином за «черновою» закуской один из профессоров, бывший у меня в гостях, сказал по адресу Александра Николаевича (не помню — какую) любезность по поводу посещения им академии и выразил то общее удовольствие, какое произвел он своим присутствием на окружающих. Александр Николаевич благодарил и ответил тем же. Ужин прошел довольно оживленно. Конечно, главным образом пили за здоровье дорогого гостя. На рассвете, когда уже яркою полосой загорелась на горизонте алая зорька и свежий утренний воздух заблагоухал душистою смолкой от распускавшихся березовых почек, Александр Николаевич с своими спутниками, поместившись в открытую коляску, уехал от меня, вполне довольный и веселый.

Вечером накануне отъезда Александра Николаевича в Щелыково я заехал к нему проститься. Он подал мне свой фотографический кабинетный портрет, снятый в рост, работы Дьяговченко, и спросил: похож ли? Я отвечал утвердительно. Он сделал на нем свой автограф с датой: *11 мая 1879 г.* и презентовал мне, чем бесконечно меня обрадовал. По той позе, по тому выражению лица и вообще всей фигуры, каким изображен Александр Николаевич на этом портрете, последний мог бы служить бесподобным образцом для проектируемого ему памятника [4].

— Что,— спрашивал он меня в тот вечер,— пишете ли новую пьесу? Хотите, давайте вместе писать.

Конечно, такое предложение мне очень польстило, и я только сердечно поблагодарил его за высокую честь, признавая себя мало полезным для него сотрудником. Еще более он удивил меня, когда в том же 1879 году после осеннего собрания мы по обычаю — а обычай этот, должно быть, укоренился с основания Общества драматических писателей — собрались поужинать в Патрикеевском ресторане, где за закуской Александр Николаевич предложил мне выпить «брудершафт». Я, разумеется, принял его предложение с восторгом, но

тут же отказался говорить ему «ты», предоставив ему сохранить это право за собой по отношению ко мне, и я был счастлив его дружественным расположением ко мне. После этого он называл меня *amicus*, или *друг*, и почасту говорил мне *ты*.

Однажды, в конце осени 1880 года, я застал Александра Николаевича в самом мрачном настроении духа. Он, по обыкновению, сидел в своем обширном и роскошно обставленном, с двумя большими окнами и расписанным римскими сценами потолком, кабинете, за широким, на шкапчиках, рабочим столом. Зябкий, по своему болезненному состоянию, он был одет по-осеннему — в теплой на меху тужурке и мягких спальных сапогах. Откинувшись осанистым туловищем на спинку кресла, при входе моем в кабинет он даже не поднял своей крупной, с подстриженными коротко рыжевато-седыми на висках и затылке волосами и большим выпуклым лбом, головы, свисшей как бы от сильного утомления на грудь. Болезненно сморщенное лицо было бледно, тонкие губы немощно сжаты, а потускневшие серо-голубые глаза далеко ушли в орбиты; кисти рук, раскинувшись, лежали на столе, а ноги утопали в густом медвежьем ковре.

На мое приветствие он вяло и молча протянул мне свою холодную руку и указал против себя на кресло, в которое я и опустился. Глядя на него, и я было упал духом, но тотчас же оправился и приступил к нему с расспросами о его здоровье.

— Какое тут здоровье! — запинаясь и подергивая плечами и всем туловищем, воскликнул Александр Николаевич подавленным голосом и нервно стал поглаживать концами пальцев небольшую, но правильную, плоскую, с проседью, светло-рыжую бороду на несколько выдавшейся нижней челюсти.

— Слыхали,— продолжал он, судорожно подергиваясь,— «Светит, да не греет» провалилась [5], чего я не ожидал. Потребую снять долой с репертуара.

Я возразил ему, что я видел пьесу, и, по-моему, она *не* провалилась, а сыграна неверно, благодаря фальшиво взятому сначала тону руководившей всем ходом пьесы, следовательно и ансамблем исполнителей, особы [6]. Выслушав меня, Александр Николаевич, по-видимому, несколько успокоился. Ему известно было, что я собирался ехать в Петербург.

— Вы когда едете в Петербург?— спросил он.

— Сегодня. Заехал к вам проститься.

Он наказывал мне, чтобы я тотчас же по приезде в Петербург побывал у Ф. А. Бурдина и рассказал ему подробно, как очевидец, о том, как прошла пьеса на московской сцене, так как пьеса эта ставилась на Александринской сцене в бенефис Бурдина. Затем просил меня, чтобы, в случае надобности, я сообщил в петербургские газеты, почему пьеса не имела в Москве успеха. Бурдин и сотрудник Александра Николаевича по пьесе Н. Я. Соловьев действительно были сильно взволнованы сообщениями московских репортеров петербургских газет. Однако не все из них покривили совестью и исказили факт [7]. Впрочем, и сама петербургская публика недоверчиво отнеслась к московским сообщениям. Зрительная зала в бенефис Бурдина была полна. Все представители петербургской прессы, бывшие в театре, дружно вызывали после каждого акта и г-жу Абаринову, исполнявшую роль Реневой, и авторов, из которых, конечно, выходил только один Н. Я. Соловьев. Само собою разумеется, не обходили одобрениями и бенефицианта. По приезде в Москву я засвидетельствовал Александру Николаевичу, что бенефис сошел так блестяще, что лучше и желать нельзя, и показал при этом презентованный мне Соловьевым его кабинетный портрет с надписью: «На память бенефиса 14 ноября 1880 года».

Хотя с своим известием я и опоздал, тем не менее лицо Александра Николаевича просияло тою благодушно-веселою улыбкой, которою в хорошие минуты он привлекал к себе всякого, даже самого мрачного собеседника. Замечательно, что при всех своих душевных и телесных недомоганиях, при плохом, коротком сне от припадков удушья (он издавна страдал грудною жабой), он был неутомимый труженик и, как говорится, рук не покладая работал с раннего утра и до поздней ночи, а иногда и ночи просиживал напролет при спешной работе. Если отдыхал после обеда, то немного, и отдых этот недостаточно освежал его. Его всегда можно было застать за работой; беседуя с посетителем и не теряя нити разговора, он что-нибудь в то же время обдумывал и украдкой, поднимая лист газетной бумаги, под которым скрывалась от посторонних глаз его работа, заносил в нее что-

нибудь карандашом. Если ж ум его утомлялся и требовал отдыха, то, оставляя работу и бережно уложив ее в ящик письменного стола, он вынимал из него пачку карт из нескольких колод и раскладывал пасьянс с большим вниманием и аккуратностью. И это не мешало ему продолжать беседу и курить из камышового мундштука толстейшие папиросы, которые он свертывал сам из табака крупной крошки фабрики Бостанжогло, изготовлявшегося по его особому заказу. Камышовые мундштуки десятками лежали у него на столе. Мне кажется, табак изрядно подтачивал и без того слабое его здоровье, потому что он курил беспощадно. Если своей собственной работы у него не было, то все свободное время он посвящал просматриванию разных театральных пьес, во множестве присылавшихся к нему как председателю Общества драматических писателей и тонкому знатоку сцены со всех концов России. И он терпеливо занимался этим делом. Таким образом он облюбовал себе двух наиболее даровитых сотрудников, которые, впрочем, были к нему вхожи, в лице П. М. Невежина и Н. Я. Соловьева. С первым он написал «Блажь», со вторым «Женитьбу Белугина» и «Светит, да не греет»[8]. Одно время ходила молва, что и пьеса «Медовый месяц» написана совместно с ним, но Александр Николаевич убедил меня, что пьеса эта исключительно принадлежала перу Соловьева, а только помещена в «Отечественных записках» по его рекомендации[9].

Насколько Александр Николаевич был глубоко почитаем, любим и уважаем всеми артистами, как столичными, так и провинциальными,— об этом излишне распространяться. Не только следившему за родною сценой, а и всякому просвещенному русскому человеку это хорошо известно — и тем, кто посещал театры, и тем, кто не посещал их никогда. <...>

По случаю тридцатипятилетней литературной деятельности А. Н. Островского и в Петербурге в честь его состоялся обед 2 марта того же 1882 года в гостинице Донона. Устроителями были М. Е. Салтыков (Щедрин) и М. М. Стасюлевич. Обед простой, дружеский, без всякой особой торжественности. Меню составлено было В. П. Гаевским. «Ничего нет мудреного, что обед был изящен, так как распорядителем был В. П. Гаевский»,— сказал Александр Николаевич, сообщивший мне об

этом обеде. Из лиц, участвовавших в обеде, были: И. А. Гончаров, К. Д. Кавелин, М. Е. Салтыков, М. М. Стасюлевич, Д. В. Григорович, В. Ф. Корш, А. Н. Пыпин, А. М. Унковский, г. Михайловский и другие. Не из литераторов были приглашены: артист императорских театров Ф. А. Бурдин и художник Крамской. Никаких речей не было за этим обедом, но были весьма сочувственные тосты, которые предлагал Д. В. Григорович.

Обед сопровождался самою дружескою, оживленною беседой, главным предметом которой были воспоминания, анекдоты, случаи из прошлой литературной деятельности участвовавших на обеде лиц <...>

Стойкий сам по себе, сильный волей, твердый в слове и убеждениях, не легко поддававшийся душевным недомоганиям, и, несмотря ни на какие болезненные припадки, никогда не терявший бодрости духа — вот те характерные черты, которыми при честной, прямой и миролюбивой натуре отличался Островский.

Когда в заседаниях общих, очередных или экстренных собраний Общества драматических писателей и оперных композиторов возникал между членами спор, Александр Николаевич не принимал в нем участия, но молча и внимательно вслушивался в разговор, и когда, казалось, вследствие непримиримого разногласия, вопрос должен был остаться открытым, Александр Николаевич сразу разрешал спор, осветив его своим метким заключением, против которого пораженная сторона не находила возражений и nolens-volens * присоединялась к его мнению.

По мере того как год от году плодилось Общество, собрания его делались все шумнее. За время председательства Александра Николаевича не было ничего доступнее, как попасть в члены Общества драматических писателей. Тут были, например, такие субъекты, которые и пера-то в руки не брали: для них писали другие из меркантильных расчетов. Были писавшие вдвоем одноактную оригинальную пьесу, и та с конфузом проваливалась. Были переводившие вдвоем пьесы. Были разные

* волей-неволей *(лат.)*.

либреттисты и авторы таких пьес, которые не ставились, а лишь объявлены были на афишах, и этого было достаточно, чтобы сделаться членом Общества драматических писателей. Однако все они имели право голоса и при случае могли нашуметь в собраниях больше других, так что Александру Николаевичу приходилось обуздывать их энергическими звонками.

С наплывом разных выскочек, возомнивших о себе высоко и утвердившихся в Обществе с апломбом якобы перворазрядных писателей благодаря обширному знакомству с театральными, кстати сказать, не всегда правдивыми рецензентами газет, Общество в нравственном смысле заметно начало падать. Дошло до того, что инициатора Общества, главного охранителя его интересов и радетеля, А. Н. Островского, в последний год его жизненной драмы пожелалось *кому-то* заменить другим председателем, о чем и объявил в присутствии всего собрания самому Александру Николаевичу какой-то неважный, но желчный, самообиженный член Общества [10]. Должно быть, он нашел себе поддержку в некоторых из «своих» по конспиративке, устроенной за год или за два до этого у одного из членов Общества с целью свергнуть весь состав комитета с председателем его во главе [11]. Надо сказать, что только что в этот вечер Александр Николаевич почти единогласно был выбран в председатели. С невозмутимым спокойствием Александр Николаевич предложил собранию выбрать председателя закрытою баллотировкой. «Свои», должно быть, устыдились поддержать конспиранта и, по произведенной баллотировке, желчный, но самообиженный член остался при *одиночном* голосе. Наша оппозиция не умеет действовать на совесть, открыто. К чему было затягивать время по меньшей мере на полчаса? Таки понадобилось хоть молчанием поддержать «своего», а в результате свести к нулю или единице, равной нулю, и тем уничтожить «своего» же.

Однажды за ужином после заседания, кажется, в Большом московском трактире один недюжинный драматург произнес медоточивую речь по адресу Александра Николаевича, превознося его чуть не до небес — и как неоцененного председателя Общества, и как писателя, и как человека. Такою неожиданностью Александр Николаевич был очень тронут, поблагодарил оратора

и облобызался с ним. После Александр Николаевич немало удивил меня, сообщив, что расточавший ему дифирамбы желал загладить свой проступок. Он принадлежал к числу конспирантов, замышлявших сместить комитет Общества. Другой недюжинный драматург, тоже из конспирантов, сам являлся к Александру Николаевичу с повинною и был им принят хорошо [12]. По благородству своей души и миролюбию, Александр Николаевич всем своим врагам отпускал их «вольная и невольная». Впрочем, трудно сказать, имел ли в действительности Александр Николаевич врагов. Мелкие литературные сошки сами навязывались ему во враги, считая, вероятно, себя равными ему величинами [13]. Из крупных литераторов, сколько мне известно, он не любил только одного Достоевского, а за что — никогда слова не проронил. При всей своей, видимо, благодушной натуре, Александр Николаевич иногда был и скрытен и никому не высказывался, хоть бы это гнетом лежало у него на сердце.

Заседания членов Общества драматических писателей при Александре Николаевиче происходили в Школе живописи, зодчества и ваяния. Когда, значительно запоздав, однажды я вошел в овальный зал (обыкновенное место заседаний), Александр Николаевич находился уже там. Я поздоровался с ним и с теми из окружавших его членов, с которыми был знаком.

Александр Николаевич отвел меня в сторону и шутливо сказал:

— Вон какой еще у нас новый член: Говоруха, да еще Отрок.

— Который?— спросил я.

Александр Николаевич огляделся кругом:

— Нет его. Сейчас около меня стоял; невысокий, темноволосый...

Я помню, как во время заседания напротив Александра Николаевича поместилось новое лицо и, стоя, оживленно вело прения, любовно глядя ему в глаза и исключительно обращаясь к нему. Это, должно быть, и был Ю. Н. Говоруха-Отрок: живой, ниже среднего роста, речистый, темные с завитками длинные волосы. Жалею, что я не предвидел в нем будущего даровитого писателя и критика, я бы тогда со вниманием выслушал его. Мне показалось, что он также был неравнодушен к Александру Николаевичу, как и любимый его критик Аполлон

Григорьев, который, будучи горячим поклонником Островского и Пр. Мих. Садовского, восклицал: «Нет бога, кроме Островского, и пророка его выше Садовского!»

Чуть ли не в том же годичном очередном собрании (в апреле 1884 года) объявлено было о присужденной Александру Николаевичу за сезон 1883 года Грибоедовской премии за пьесу «Красавец мужчина», что встречено было дружными рукоплесканиями, несколько раз повторявшимися. Вторую такую же премию он получил за пьесу «Не от мира сего» в 1885 году. За факт ручаюсь, но за хронологическую последовательность не отвечаю [14]. Все это было так давно, и только одни эпизоды уцелели в памяти.

В том же 1884 году 21 октября состоялось экстренное собрание членов Общества по случаю десятилетнего его существования [15]. Когда все члены были уже в сборе, последним вошел в залу заседания Александр Николаевич. Его встретили дружными, долго не смолкавшими рукоплесканиями. Почтенный член Общества Н. А. Чаев сказал от лица всего Общества, тут же в собрании до прихода Александра Николаевича им составленное, следующее приветствие: *

«Сегодня исполнилось десятилетие дорогого нам Общества. В течение десяти лет вы бессменно стояли во главе его. Дело шло стройно, разрасталось шире и шире, росло не по дням, а по часам. Большая доля такого успеха, без лести можно сказать, принадлежит вашему доброму влиянию. Вы умели соглашать разногласия, умиротворять возникавшие иногда недоразумения. Помня добро и ценя такую великую послугу вашу драматическому делу, члены Общества пожелали в этот знаменательный день десятилетия высказать вам душевнейшее русское спасибо и поднести этот подарок как выражение общей любви и уважения к вам».

Серебряная чернильница изящной работы Хлебникова стояла уже на столе против кресла Александра Николаевича.

На приветствие Н. А. Чаева Александр Николаевич ответил:

— Милостивые государи! От всей души благодарю вас за дорогой подарок, но боюсь, что я уже исписал

---

* Автограф хранится у меня. *Автор.*

все чернила, которыми мне суждено было писать, и что мне придется только любоваться вашим подарком, а не пользоваться им.

Затем был прочитан В. А. Крыловым адрес от петербургских членов Общества, присланный в изящной дорогой папке, художественно исполненной в древнем русском стиле.

От лица всех артистов императорского Малого театра поздравительное приветствие сказал кн. Сумбатов (по театру Южин).

Все приветствия были встречены живым сочувствием и покрыты единодушными рукоплесканиями.

Триумфатор дня Александр Николаевич в кратком очерке представил ход действий Общества и его успехов за истекшее десятилетие [16]. Он живо изобразил, как Общество своею деятельностью постепенно завоевывало и расширяло область признания авторских прав драматических писателей. Он упомянул, что Общество при самом своем учреждении было встречено просвещенным сочувствием правительственных лиц и учреждений и что члены Общества считают своим долгом с глубокою благодарностью в этот день десятилетней годовщины вспомнить имя московского генерал-губернатора В. А. Долгорукова, который с просвещенным вниманием относится к нововозникающему Обществу. С такою же глубокою благодарностью Общество должно отнестись к министерству внутренних дел и к подведомственному ему Главному управлению по делам печати, которые всегда оказывали Обществу свое благосклонное содействие в вопросах, восходивших на их усмотрение. Обращаясь к судебному ограждению прав Общества, Александр Николаевич выразился, что с таковою же признательностью члены Общества должны вспомнить, что и высшие блюстители законов империи, правительствующий сенат, при первом, восшедшем на его рассмотрение деле, безусловно признал права собственности за драматическими писателями.

Свою речь Александр Николаевич заключил следующими словами:

— Встретим же, милостивые государи, нынешнее собрание и второе десятилетие существования Общества искренним желанием, чтобы наше Общество продолжало преуспевать и чтобы с увеличением средств

нашего фонда, предназначенного на благое дело, в недалеком будущем могло наконец приступить к осуществлению той задачи, которая предположена его уставом.

Дружные рукоплескания покрыли речь.

В благоговейном уважении к достойной памяти славного драматурга я закончу на этом слишком скромном чествовании свои воспоминания о нем как о незабвенном председателе Общества русских драматических писателей, которому он служил безвозмездно с основания его, то есть с 21 октября 1874 года, ревностно и неутомимо... <...>

По свидетельству А. А. Майкова, Александр Николаевич постоянно нуждался, несмотря на то что его пьесы как на императорских сценах, так и на провинциальных делали хорошие сборы. Он частенько обращался к нему за авансами как к казначею Общества драматических писателей. По собственному опыту и я могу подтвердить то же. Я был нездоров и никуда не выходил долгое время; денег у меня было только на городскую марку; я обратился письменно к Александру Николаевичу об одолжении небольшой суммы, и, к моему полному удивлению, ожидаемого мною скорого ответа не получал более двух недель. Это меня так волновало, что я и не рад был, что обратился к Александру Николаевичу с просьбой. Вдруг 22 октября 1882 года получаю следующее письмо от Александра Николаевича:

«Многоуважаемый Николай Антонович!

Не удивляйтесь, что я вам ничего не отвечал до сих пор! Жестокая болезнь свалила меня совершенно; у меня невралгия левой половины головы, что причиняет мучительную боль. У меня теперь одна забота — кончить пьесу, которую я обещал в «Отечественные записки»[17]. Согласитесь сами, что болезнь и срочная работа никак не дозволяют мне заняться ничем посторонним. Я *сам нуждаюсь* и трачу последние силы на свой труд.

Искренно преданный вам *А. Островский*».

Забыв о своей болезни, я тотчас по прочтении письма помчался навестить болящего и нашел его действи-

тельно в совершенно разбитом состоянии духа и здоровья. В лице, что говорится, кровинки не было, губы сухие и синие, глаза глубоко впали и глядели как-то безжизненно, и на голове была черная шелковая шапочка, которой он раньше никогда не носил.

— Вы просили денег, а у меня, *ей-богу* (подлинное выражение), гривенника не было в доме (в доме или кармане — точно не припомню),— сказал Александр Николаевич, упорно посмотрев мне в глаза, и прибавил: — в долгу весь!

— Верю, Александр Николаевич,— возразил я,— чего вам одна обстановка стоит, воспитание детей...

— Вот: весь и все для них! — с жестом и подчеркнув воскликнул Александр Николаевич, покряхтывая и подергивая по привычке плечами.

Кто близко знал Александра Николаевича, тому знакомы его привычки: покряхтыванье во время разговора, подергиванье плечами и пожимание рук выше локтей — это в задушевных беседах. В собраниях, обществах и с посторонними лицами — он был неузнаваем: тон и манеры менялись. В общем же Александр Николаевич везде и всегда держал себя с большим достоинством и тактом.

У Александра Николаевича в то время из шестерых детей пятеро учились: два старших сына в Поливановской гимназии, третий — не помню где учился, но учился, старшая дочь — в Арсеньевской женской гимназии, а у младшей была гувернантка из иностранок (кажется, англичанка), под ферулой которой, сколько мне помнится, воспитывался и меньшой сын. Англичанка эта занималась и со старшею дочерью, которую учила говорить по-английски; кроме того, к ней ходила учительница музыки, а к сыновьям репетиторы. Все это, конечно, дорого обходилось Александру Николаевичу.

— Мне даже некогда было письма написать вам. Извините, что медлил. Урвал минуту и написал,— говорил мне Александр Николаевич за завтраком, за которым сам ничего не ел.— А ваше дело вот где гнетом лежит у меня,— хлопая себя *по сердцу*, добавил Александр Николаевич,— потерпите, как и я терплю, всем будет хорошо: и мне и вам...

В то время я нуждался в занятиях постоянных. Строить свое материальное благополучие на такой шат-

кой почве, как беллетристика, я не желал, и с изложенным мною согласился сам Александр Николаевич. Он думал, что из меня выйдет драматург; а этого не вышло: «*Мастерить* пьесы не хитро и для кармана полезно, но похвально ли? Такими мастерами и без меня хоть огород городи». Резкий ответ мой Александру Николаевичу не понравился; по «своим соображениям» он не ожидал такого возражения [18]. Тем не менее он был верен своему слову и обещал устроить меня «поближе к себе».

За свои пьесы, печатаемые в журналах, Александр Николаевич получал minimum 300 р. за акт, будь акт хотя в половину печатного листа.

Когда со вступлением на престол в бозе почивающего государя императора Александра III была отменена монополия императорских театров, против которой всегда так горячо протестовал Александр Николаевич, он ухватился за свою излюбленную мысль — устроить в Москве *образовательное* народное учреждение, то есть народный театр.

Заручившись согласием нескольких богатых коммерсантов-капиталистов (П. И. Губонин, С. П. Губонин, С. М. Третьяков и др.) дать деньги на устройство «русского народного театра» и, кроме того, обещанием городского головы отвести под театр место у стены на Театральной площади, Александр Николаевич составил проект устройства театра и объяснительную к нему записку, и так как самое учреждение и помещение требовали высочайшего соизволения, то он и отвез свой проект с запиской и прошением в Петербург, где, при содействии министерства императорского двора, дело это было доложено государю. <...>

На записке этой, повергнутой министром внутренних дел 19 февраля 1882 года на высочайшее рассмотрение, государь император Александр III благоволил собственноручно начертать:

«Было бы весьма желательно осуществление этой мысли, которую *я* разделяю совершенно».

И в результате — устройство частного русского театра в Москве Александру Николаевичу было разрешено [19].

Первый намек на задуманное предприятие устроить в Москве народный театр Александр Николаевич сделал

мне еще в первой половине августа 1881 года в его имении Щелыкове, где я гостил.

Мы вдвоем тогда удили с лодки рыбу, сначала в запруде около мельницы, а потом в реке Меричке,— после обеда и небольшого отдыха. Вечер был теплый и сухой, несмотря на пасмурное небо, и в воздухе отдавало благовонным запахом сосны, которою изобилует Щелыково. Рыба брала плохо. Александр Николаевич поймал несколько штук плотвы (по местному — сорога) вершков по пять-шесть, а я одного пескаря. Вообще мне не везло; шелковая леса моей удочки то сматывалась узлами, то захлестывалась в густую осоку или водоросли, что очень не нравилось Александру Николаевичу, и он добродушно ворчал на меня:

— Ну, вот, всю рыбу распугал. Лови тут!..

— Незадача! — оправдывался я.— Зато утром каких голавликов штук десять наловил, ростом с вашу плотву.

Александр Николаевич молча улыбнулся.

Я только и занимался в Щелыкове что уженьем или ездил с детьми в лес «рыжики брать». Их тогда родилось много. Александр Николаевич или писал в своем кабинете, в главном здании, или работал за токарным станком в другом доме, где находилась библиотека и отводилось помещение для приезжающих. Меня поместили в апартаментах Михаила Николаевича, бывшего в то время министром государственных имуществ. Они состояли, кажется, из трех комнат: обширного кабинета, выходящего окнами на крытую террасу, спальни и гардеробной.

Возвратимся к записке. Благодаря разрешению устроить в Москве частный русский театр, Александр Николаевич к составленному им проекту устава товарищества «Русского театра в Москве» написал еще объяснительную записку для учредителей; излагать в подробностях содержание ее излишне, так как, в сущности, в ней повторяются почти те же мысли, которые были представлены на высочайшее рассмотрение. Кроме того, записка эта, равно как и проект устава товарищества, потеряли свое значение с назначением Александра Николаевича на ответственный пост заведующего репертуарною частию и школой императорских московских театров [20]. Следует лишь отметить, что проек-

том устава товарищества Александр Николаевич назначался пожизненно *первым управляющим театром*, как инициатор устройства этого театра. Таким же бессменным начальником репертуара и школы императорских театров он оставался бы до конца жизни, если бы бог продлил ему веку еще на десятки лет.

Из более видных драматических писателей того времени я встречал у Александра Николаевича П. М. Невежина и Н. Я. Соловьева. При первом знакомстве я видел Невежина в общеармейской форме с капитанскими погонами, и одна рука у него была на черной шелковой перевязке. Александр Николаевич в сотрудничестве с ним писал тогда пьесу «Блажь». С Соловьевым я познакомился гораздо позднее, так как он бывал в Москве наездом из Петербурга, где имел постоянное жительство. В сотрудничестве с ним Александр Николаевич написал пьесы: «Женитьбу Белугина», «Дикарку» и «Светит, да не греет», а пьеса «Счастливый день», которая почему-то приписывается и перу Александра Николаевича, как сам он говорил мне, принадлежит исключительно Соловьеву [21].

За тридцатипятилетние, в качестве драматического писателя, литературные труды Александра Николаевича для отечественной сцены в бозе почивший государь Александр III пожаловал ему пожизненную пенсию в 3000 рублей [22], а от Общества русских драматических писателей поднесен был при письме золотой медальон, на котором был изображен девиз Общества, его имя и надпись: «Общество русских драматических писателей» [23]. За участие его в комиссии «для пересмотра законоположений по всем частям театрального ведомства» государь всемилостивейше наградил его массивною золотою табакеркой с бриллиантовым вензелем своего имени. За оказанную ему с высоты престола милость назначения пожизненной пенсии Александр Николаевич ездил в Гатчину благодарить государя [24]. Принят был маститый драматург весьма благосклонно, и, как лицу уже «знакомому» по своим сочинениям, государь подал ему руку. Беседа все время, около четверти часа, происходила на ногах: оба они прохаживались по кабинету, убранному без особенной претензии на роскошь. Государь, между прочим, сказал Александру Николаевичу, что он присутствовал на представлении его пьесы

«Красавец мужчина», и спросил, почему он взял для своей пьесы «такой» сюжет.

— Очевидно,— добавлял Александр Николаевич,— государю не понравился сюжет. На это я ему ответил: «Дух времени таков, ваше величество».

Далее из своей беседы с государем Александр Николаевич заключил, что государь живо интересовался современною драматическою сценой и внимательно следил не только за русскими, но и за иностранными современными авторами. Из последних более всех других понравился ему норвежский драматический писатель Бьёрнсон, пьеса которого (название ее я забыл), по словам царя, произвела на него сильное впечатление, и он сообщил Александру Николаевичу сюжет ее. В заключение государь выразил желание, чтобы между русскими молодыми писателями нашлись у Бьёрнсона подражатели[25]. Где давалась пьеса и на каком языке, Александр Николаевич не пояснил мне, а я упустил из виду узнать об этом.

На вопрос государя, кого Александр Николаевич признает наиболее талантливым из наших современных драматических писателей, он указал на Соловьева и Невежина, совместно с которыми он писал пьесы.

По наблюдениям Александра Николаевича, прежде чем отпустить его из кабинета с милостивым пожатием руки, государь, подойдя к рабочему столу, надавил ногой находившуюся под ним пуговку, должно быть, от электрического звонка. По догадкам Александра Николаевича, это послужило сигналом, чтобы предложили ему позавтракать, когда он выйдет из кабинета. Так и было сделано. Завтрак был вкусный и сытный, водка в маленьких графинчиках, с расчетом по две рюмки на одного с vis-à-vis, и две порционные бутылочки: красного и еще какого-то крепкого вина, хереса или мадеры. За общим столом с Александром Николаевичем сидели всего три или четыре особы. Должно быть, это были дежурные придворные чины, в форме исключительно военной.

После завтрака, выходя в швейцарскую, Александр Николаевич задумался над вопросом: «Принято ли во дворце давать на чаек швейцарам и сколько дать?.. Рублевку — мало, а трешницу дать не по средствам. Ну-ка, попробую». И Александр Николаевич сунул в руку швейцару три рубля. Тот даже обомлел, и, лю-

безно накинув на Александра Николаевича верхнее платье, поклонился ему в пояс, когда выпускал из дворца, широко растворив двери.

Из этого Александр Николаевич вывел заключение, что при дворе прислугу не балуют.

Александр Николаевич всегда в самых теплых, самых прочувствованных выражениях отзывался о русском благодушии и сердечности бывшего министра двора, гр. Ил. Ив. Воронцова-Дашкова. Он говорил про него: «Этот гуманный человек кого полюбит, к тому привяжется всею душой, а от кого оттолкнется — так отходи от него подальше, уж не сойдется с ним больше никогда, но вреда ему не сделает».

Итак, инициатива передачи императорских московских театров под руководительство А. Н. Островского <...> исходила главным образом, при содействии других близких к государю влиятельных лиц, от другого непосредственного их хозяина и начальника — министра императорского двора графа Ил. Ив. Воронцова-Дашкова [26], что было сочувственно принято и одобрено впоследствии самим государем императором Александром III.

Чтобы лично государь предложил Александру Николаевичу заведовать его московскими театрами, как это сообщается в биографическом очерке, приложенном к последнему и предпоследнему изданиям (В. В. Думнова) сочинений А. Н. Островского [27], от него лично я ничего подобного не слыхал.

Такого знаменательного факта, будучи сам близко заинтересован им, я не мог пропустить мимо ушей. Или, может быть, по какой-нибудь случайной рассеянности Александр Николаевич забыл сообщить мне о столь радостном для нас *обоих* событии: ведь и на мою скромную долю выпадало отчасти разделить с ним его «счастье». А может быть, он по своей привычке *знать про себя, при себе* и оставил то, что вынес из дворца относительно театров.

Однажды в 1884 году зашел я к Александру Николаевичу узнать мнение его о моих двух пьесах (впоследствии одобренных драматическою цензурой к представлению на сцене), которые находились у него более

месяца [28]. Вхожу в кабинет. На обычном месте Александра Николаевича не видать, а у стола сидят Н. И. Музиль и еще незнакомый мне красивый брюнет средних лет. С Музилем, по обыкновению, мы дружески поздоровались, а с тем я раскланялся, назвав свою фамилию.

— Ватсон,— отрекомендовался он, пожав мою руку.

Ватсон — природный англичанин, русский инженер путей сообщения, большой любитель драматической сцены, можно сказать, был *энциклопедически* образованный человек и, как родным, владел русским языком. Он занимался с детьми Александра Николаевича английским языком, а самому Александру Николаевичу, как последний сам говорил, при его «ученическом» переводе шекспировской пьесы «Антоний и Клеопатра» Ватсон также был очень полезен, потому что благодаря ему Александр Николаевич «учился английскому языку и понимать Шекспира».

— А где же Александр Николаевич? — спросил я удивленно, не найдя его на обычном месте.

— А вот сейчас явлюсь к вам в новом издании,— услыхал я шутливый голос Александра Николаевича.

Я посмотрел в противоположный столу угол, освещенный окном. В это время Александр Николаевич поднялся со стула, и парикмахер, снявши с него полотно, после стрижки обчищал его метелочкой. Таким свежим, как в тот раз, я его редко видел.

— Что значит стрижка-то? — сказал я весело Александру Николаевичу.— Совсем молодым человеком выглядите.

Я замечал, что в присутствии Н. И. Музиля Александр Николаевич всегда оживлялся и любил с ним побеседовать, тогда как от других дневных посетителей он не знал, как отделаться, и только приличия ради принимал и слушал их; но в приеме не отказывал никому, будь хоть самое неприятное ему лицо. Для артистов, как бы ни недужилось ему, его двери всегда были открыты.

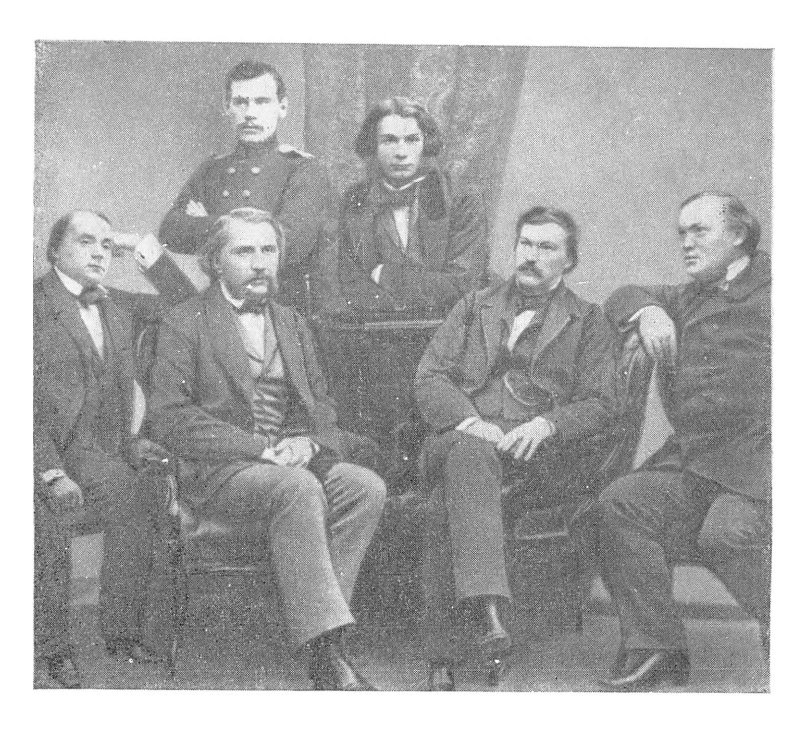
Речь об англичанине Ватсоне я завел с намерением. Ватсон — впоследствии Дубровин по драматической сцене — удивлялся лингвистической способности Александра Николаевича на старости его лет. При помощи

диксионера *, подсказки Ватсона, а иногда и по собственному старательному соображению, ему сравнительно легко дался перевод шекспировской пьесы «Антоний и Клеопатра» [29], о которой я упомянул выше. Даже при поверхностном знании, какое Александр Николаевич получил по своему гимназическому образованию, немецкого, французского и латинского языков, а в особенности двух последних, да при любви его к языковедению, немногого стоило ему при справочных лексиконах познакомиться с итальянским и испанским языками, которые, во всяком случае, не труднее даются русскому лингвисту, нежели *прононсовый* французский или *гортанный* немецкий языки. Как человек предусмотрительный и осторожный, он *боялся* говорить на знакомых ему иностранных языках, не обладая произношением,— боялся потому, что за это его осудят; но *знать* — он их знал настолько, что, читая â livre ouvert **, мог буквально понимать, что читает, за исключением лишь таких фигуральных выражений, за разъяснением которых приходилось обращаться к лицам компетентным. С его замечательною памятью, которою он владел до гробовой доски, мудрено ли было не научиться понимать, по крайней мере французский, немецкий и английский языки, когда за завтраком, обедом, за утренним и вечерним чаем, иногда и за ужином, представительницы этих языков — бонны, гувернантки и наставницы, сидя за одним с ним столом, болтали *по-своему* с его детьми?

Состоя уже на службе при императорских московских театрах в качестве секретаря Александра Николаевича, я был свидетелем следующего эпизода. В кабинете, где мы вдвоем заседали, по докладу капельдинера принята была дама, немолодая, изящная, прилично одетая, с виду иностранка. По приглашению Александра Николаевича занять место она села. На вопрос его: «С кем имею честь?» и т. д., она по-французски отрекомендовалась вдовой русского полковника Д — вою. На все русские вопросы она отвечала по-французски. Александр же Николаевич на ее французские изложения и вопросы отвечал и, где нужно, спрашивал ее по-русски. Она понимала прекрасно русский язык, но говорить

---

* словаря *(от франц.—* dictionnaire).
** без подготовки, с листа *(франц.)*.



Сотрудники журнала «Современник».
Стоят: Л. Н. Толстой, Д. В. Григорович.
Сидят: И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, А. В. Дружинин,
А. Н. Островский.
Фотография. 1856.

совестилась по плохому произношению; по той же причине стеснялся говорить по-французски и Александр Николаевич. Но они отлично поняли друг друга. Г-жа Д — ва просила принять ее в воспитательницы в театральное училище и подробно рассказала ему свое curriculum vitae *.

После смерти Александра Николаевича в 1886 году вышли в Петербурге изданные Н. Г. Мартыновым два тома «Драматических переводов» покойного драматурга из литератур испанской, английской, итальянской и французской. Библиограф «Правительственного вестника» тогда же по этому поводу отметил, что «они оказываются искусственными и не соответствуют русскому быту» (так как некоторые из них были применены к русской жизни)[30]. «Таковы комедии «Рабство мужей», заимствованная из французской пьесы «Les maris sont esclaves» par A. de Lêris ** и «Заблудшие овцы», переделанная из итальянской комедии Теобальдо Чикони «Le pecorelle smarrite» ***. В той и другой переделке действие перенесено в Россию и обставлено лицами с русскими именами, но все это чуждо русским нравам и не соответствует русской жизни. Здесь не только в компановке сцен и характеров действующих лиц, но даже в самом языке чувствуется фальшь и изысканность. Несмотря на то, и эти пьесы необходимо поместить в полное собрание произведений Островского для полной характеристики его литературной деятельности».

Если переводные и заимствованные пьесы Александра Николаевича и были не особенно удачны, тем не менее они показывают в нем человека литературно образованного. Для изучения языков он прошел большую школу терпения и уже не в молодые годы занялся своими «ученическими» трудами, как он сам называл свои переводы и заимствования. Этими переводами он познакомил читающую русскую публику с мало известными иностранными драматургами.

---

* жизнеописание, биографию *(лат.)*.

** «Мужья — это рабы» А. Лериса *(франц.)*.

*** «Заблудшие овцы» *(итал.)*.

И. А. Купчинский

ИЗ ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЛЕКСАНДРЕ НИКОЛАЕВИЧЕ ОСТРОВСКОМ

Блаженны чистые сердцем,
яко тии бога узрят [1].

Знакомство мое с Александром Николаевичем началось в начале семьдесят девятого года, приехав в Москву для приискания должности; я раньше служил приказчиком, был потом кондуктором на железной дороге, затем был причислен к политическим, около двух месяцев просидел в одиночном заключении и был освобожден без суда, но под надзор полиции; [2] страсть к драматической литературе у меня была с юношеских лет, но, сознавая свое недоразвитие, я мало придавал значения своему писательству. В Москве в ожидании должности я, узнавши, что Александр Николаевич не тяготится просматривать рукописи чающих попасть в драматурги, захватив две-три одноактные пьески, отправился к нему — он тогда жил в доме Голицына против храма Христа Спасителя. Не успел я спросить отворившую мне дверь в прихожую, дома ли Александр Николаевич, как он вышел из соседней комнаты и обратился ко мне с вопросом: что мне надо? Я объяснил ему причину моего прихода и подал ему принесенные мною пьесы; он, окинув меня пристальным взглядом, сказал:

— Вы не юноша?

— Да мне, Александр Николаевич, уже перевалило за тридцать.

— Так я с вами буду откровенен, наш вы — так наш, а нет — так нет,— приходите дня через три!

Придя в назначенное время, я только что вошел в прихожую и заговорил с отворившею мне дверь горничною, как тот же час появился Александр Николаевич с сияющей улыбкой и весело заговорил, пожимая мне руки:

— Наш, вы наш, да где же это вы раньше были? — и повел меня в кабинет.

Обстановка кабинета Александра Николаевича была проста: налево от входа письменный стол, на нем письменный прибор, далеко не роскошный, рукописи, две колоды подержанных карт для пасьянса.

Направо от дверей диван, перед ним круглый стол, на нем книга журнала или номер газеты,— он получал «Московские ведомости», потому что в них рецензии о пьесах помещал С. В. Флеров (С. Васильев), которого Александр Николаевич считал лучшим театральным рецензентом; над диваном резная, выпиленная из ореховой фанерки, собственной ручной работы рамка с многими отделениями для фотографических карточек,— в них карточки артистов императорского театра, небольшой шкаф с книгами — пьесы русских и иностранных драматургов; вот и вся обстановка кабинета знаменитого русского драматурга.

Введя в кабинет, Александр Николаевич усадил меня напротив себя и стал расспрашивать меня о моем прошлом.

Когда я ему рассказал свое прошлое, он, весело рассмеявшись, проговорил:

— Каково — драматург, ему писать и писать надо, а он приказчиком служит, кондуктором на тормозах мерзнет, в одиночное заключение попадает,— эх, поздно вас посадили, надо бы пораньше. Есть у вас еще что-нибудь написанное?

— Есть, и много.

— Приносите, да приходите, как вздумается.

С этого дня началось мое знакомство с Александром Николаевичем и установилось так, что я, хотя знал, что он работает много, шел к нему без опасения быть ему в тягость; бывало, придешь, войдешь к нему в кабинет без доклада, он сидит за столом, пишет или раскладывает пасьянс; поздоровавшись со мной, если раскладывает пасьянс, скажет:

— Выходит, сейчас кончаю.

Другой раз мешает карты, говоря:

— Нет, не сойдется, садитесь — побеседуем.

Если застанешь его пишущим, он, поздоровавшись, бывало, скажет:

— Надо кончить,— и продолжает писать, а я сажусь возле круглого стола и принимаюсь за газеты.

Наконец Александр Николаевич кладет рукопись в сторону, встает и начинает тереть руки от плеч до кистей вследствие боли в руках; боли в них, по словам его, особенно увеличивались после того, как он в продолжение двух недель — что говорится, в один присест — написал четырехактную комедию и перевел тоже четырехактовую драму. Закончив такую работу, «я, вставши, не мог от боли во всем теле с полчаса с места тронуться»,— сказал он.

— На что же вы так себя утруждали? — спросил я.

— Деньги, деньги до зарезу нужны были,— отвечал Александр Николаевич.

Я в то время, работая по ежедневным газетам и еженедельном журнале, поставлял рассказы на Никольский рынок; [3] когда, бывало, скажешь ему, что пришел от издателя народной литературы, или принесешь рассказец, уже отпечатанный, он скажет:

— Ничего, ничего, прежде деньги, а слава потом придет, вы одинокий, а одна голова не бедна.

— А приятно было вам получить первый гонорар за литературный труд? — однажды спросил он.

— Очень даже.

— И мне уж так-то было приятно, что взял бы его да в рамочку, да на стену, да и любовался бы им, но что поделаешь, надо было его израсходовать.

Прошлое Александра Николаевича, по его словам, было далеко не из легких. Дед Александра Николаевича был из духовенства, но отец, хотя и окончил Духовную академию, но пошел по гражданской службе и был стряпчим. Александр Николаевич по окончании гимназии поступил в университет на юридический факультет, но со второго курса вышел из университета и поступил канцелярским служителем в Совестный суд, а спустя около двух лет перешел на ту же должность в Коммерческий суд с жалованьем четыре рубля в месяц; спустя некоторое время жалованье ему увеличили до пятнадцати рублей, но служба его мало интересо-

вала,— у него была врожденная любовь к литературе, в особенности к драматической. Большое удовольствие у него было посещение театра. Несмотря на антипатию к канцелярщине, Александр Николаевич по необходимости продолжал служить, а для улучшения своего материального положения стал работать в «Московском листке» [4], издаваемом Драшусовым, а затем начал работать у Погодина, издававшего «Москвитянин». Александр Николаевич жил в доме отца у Яузского моста, а редакция «Москвитянина» была на Девичьем поле, и Александру Николаевичу приходилось каждый день ходить в редакцию, которая за всю работу платила ему пятнадцать рублей. Одна из первых его пьес была напечатана в «Московском листке» — «Картина семейного счастья», за нее он получил что-то около сорока рублей.

— И как я был рад — ох, как рад, деньги были нужны,— говорил он.

«Картина семейного счастья» составила Александру Николаевичу имя. О ней заговорили в печати как о выдающемся произведении; [5] вслед затем в «Московском листке» было напечатано одно действие [6] комедии «Банкрот». Петербургские журналисты, узнавши, что «Банкрот» комедия, покупали ее у Александра Николаевича для напечатания за сравнительно хорошую цену, но цензура воспротивилась и продажа «Банкрота» не состоялась [7]. Погодин, желая во что бы то ни стало напечатать в «Москвитянине» «Банкрота», попросил Александра Николаевича переименовать его в «Свои люди — сочтемся!», затем пригласил к себе на чай литераторов: Хомякова, Шевырева, Одоевского и цензора, цензуровавшего «Москвитянин» [8]. Александр Николаевич в присутствии их прочел комедию, слушатели пришли в восторг, цензор в комедии в фразе Рисположенского «Нельзя комиссару без штанов, хоть худенькие, да с пуговками» зачеркнул: «Нельзя комиссару без штанов», а остальное все пропустил, комедия была напечатана, именитое московское купечество оскорбилось, посыпались жалобы на автора и Погодина генерал-губернатору Закревскому, последствием чего были нагоняи цензору, Погодину, а Александр Николаевич был отдан под надзор полиции и уволен от службы [9].

С Погодина Александр Николаевич за «Свои люди — сочтемся!» получил девяносто пять рублей.

— Но я был рад, пьеса попала в печать,— раз, а второе — деньги, ох, как нужны были,— говорил Александр Николаевич.

Пьесы Александра Николаевича издавались, их ставили на провинциальных сценах, они делали хорошие сборы, помню, в шестидесятых годах в Харькове появление пьесы Александра Николаевича для театралов было событием большой величины, и на первый спектакль в театр билеты доставались с трудом. Что же получал от этого Александр Николаевич?

С провинциальных театров он не получал ничего. С императорских театров авторам в то время получать приходилось тоже мало, да и пробиваться на сцену им и теперь-то надо с протекцией, а в то время и подавно,— надо было ладить и ухаживать за театральной администрацией, что делать и по натуре и сознавая свое достоинство Александр Николаевич не мог, а потому в то время, когда имя его стало известностью во всей России, он терпел и материальную нужду, и нравственное оскорбление. <...>

Первая пьеса Александра Николаевича появилась в 1847 году, и до 1875 года он материально нуждался, только с 1875 года, после учреждения Общества драматических писателей и оперных композиторов, материальное положение Александра Николаевича улучшилось.

В суждениях о новых пьесах, появляющихся на сцене Малого императорского театра, Александр Николаевич был сдержан; лишь когда пьеса была плоха, бывало, с досадой скажет:

— Ах, и что это он (автор) написал? Разве же можно так писать? Ведь это ни на что не похоже, и как это подобные пьесы пропускают на сцену образцового театра?

Интересно было бы знать, что бы сказал Александр Николаевич о шедеврах драматической литературы вроде «Дамы из Торжка», попадающих на сцену Малого театра? [10]

По мнению Александра Николаевича, правила, которых следует придерживаться автору пьесы: во-первых,

первое действие пьесы должно было быть как можно полно интереса; во-вторых, следует избегать в пьесе вводных лиц, то есть таких, которых авторы вводят только затем, чтобы продлить действие. Лица должны говорить своим языком, а не языком автора, появлялись и уходили со сцены, когда надо то по ходу пьесы, а не тогда, когда это желательно автору (то есть как в настоящее время в пьесе то и дело слышишь: уходите, нам надо поговорить, уйдемте, пускай они поговорят и т. п.). Избегать двусмысленностей, словечек, возбуждающих смех райка, эффектов, доставляющих автору дешевый успех в ущерб здравому смыслу пьесы, характеризовать героя не его заявлением «я герой», суждением о нем, что он герой, других, а его делами.

О женщинах-писательницах Александр Николаевич говорил, что женщине не написать сильную драму,— такая работа женщине не по силам.

Когда, бывало, спрашивали Александра Николаевича, почему он не бывает в театре на первых спектаклях новых пьес, он отвечал с улыбкой:

— Я только смотрю свои пьесы.

Хорошо не знавшие Александра Николаевича это ставили ему в вину, дескать, он этим ответом давал понять, что только его пьесы имеют значение, интерес. Александр Николаевич не посещал театра, когда шла пьеса не его, вследствие того, что любил свободное время быть дома да на здоровье жаловался; свои же пьесы он считал смотреть своею обязанностью, так же считал своим долгом прочесть свою пьесу артистам; читал он артистически,— во время его чтения артисты просто пожирали интонацию его голоса, на репетициях указания Александра Николаевича артистам принимались ими как закон; они делались мягко-разумно. В кругу артистов он был отец в кругу любящих детей.

Я посещал Александра Николаевича большею частью по утрам, иногда в это время у него бывали артисты, чаще других Н. И. Музиль, М. П. Садовский.

— Вы сегодня не заняты, так мы вечерком повинтим,— говаривал он уходившим.

Чаще других, исключая артистов, мне приходилось встречать у Александра Николаевича из драматургов П. М. Невежина, иногда В. А. Крылова и композитора Кашперова.

В двенадцать часов в кабинет входила Марья Васильевна, жена Александра Николаевича, с известием, что завтрак готов.

— Пора чарку горелки выпить,— говорил Александр Николаевич, приглашая случившихся в кабинете в столовую. Мы переходили в столовую, тут за столом ожидали дети Александра Николаевича, кто в это время был дома, и завтрак начинался; гостям, как хозяевами, так и детьми их, предлагалось то то, то другое, так что невольно приходилось и есть и выпить лишнее. За столом чувствовалось радушие чисто русское.

Александр Николаевич бывал в Малороссии [11], с любовью вспоминал о ней, любил после «чарки горелки» закусить малороссийским салом, и оно за завтраком часто подавалось.

Особенно мне памятны первые дни св. пасхи. В первый день св. пасхи к Александру Николаевичу являлось немало визитеров, менее близкие к Александру Николаевичу или обремененные визитами, поздравив хозяев, удалялись, более же близкие <задерживались>: Н. И. Музиль, М. П. Садовский, Живокини-сын, Макшеев, Дурново, И. Ф. Горбунов, нарочито для поздравления Александра Николаевича приезжавший из Петербурга, и др. Когда оставался избранный кружок, Александр Николаевич приглашал его садиться за стол, затем с веселой улыбкой, придерживая левой рукой рукав правой, как то делают священники при благословении стола, благословлял стол, трапеза начиналась и шла так, что забывалось, что надо было еще сделать визиты; шутки-рассказы Горбунова, Садовского, а тут еще чарки, беспрестанно наполняемые хозяином, если сам гость медлил наполнить свою чарку,— уносило время, Александр Николаевич сам пил мало, но угостить умел так, что после такой трапезы гостям было не до визитов. Особенно весело была проведена трапеза восемьдесят шестого года, как будто чувствовалось, что это последняя наша трапеза с дорогим хозяином; в первый день св. пасхи трапеза затянулась до пяти часов, прислуга доложила, что причетник спрашивает, могут ли быть приняты священники.

— Просите их,— сказал Александр Николаевич, а мы прошли в соседнюю комнату. Священники пробыли недолго, а мы вслед за уходом их снова уселись за стол.

Я, проведя лето в Курске, осенью возвращался в Москву, и, как только, бывало, приедешь в Москву, в тот же день не утерпишь, чтобы не побывать у Александра Николаевича, и, признаюсь, часы, проведенные у него, считаю лучшими в моей жизни.

К детям Александр Николаевич относился с любовью, только старшим, Александром Александровичем, был заметно не очень доволен; бывало, скажет:

— И что это за человек? увалень какой-то, к столу не подпускай, не досмотришь,— что-нибудь, карандаш или ручку, непременно сломает; в имении не пройдется, ни верхом не проедется, норовит все на беговых, как это он будет воинскую повинность отбывать.

Особенно он с любовью относился к младшему, Николаю Александровичу, называя его своим Вениамином;[12] он был лет шести-семи; видя отца постоянно пишущим и зная, что он пишет пьесы, сам принимался писать и, написав что-нибудь, подавал Александру Николаевичу; Александр Николаевич брал и затем серьезно говорил сыну, что его пьесу цензура не пропустит; бывало, сидим, разговариваем, вбегает Коля и пресерьезно обращается ко мне:

— Иван Алексеевич, а мою пьесу опять цензура не пропустила.

На это Александр Николаевич, бывало, смеясь, скажет:

— Ха-ха-ха, представьте, как человек ни старается, никак не может угодить цензуре: не пропускает, да и все тут, ха, ха, ха!

Натура Александра Николаевича была крайне впечатлительна: сообщаешь, бывало, ему веселое, он улыбается, станешь передавать печальное — сейчас лицо его изменится, делается печальным и из груди слышится вздох; печаль и радость совсем ему лица неизвестного он принимал близко к сердцу. Ложь, в особенности в ущерб интересам других, интрига и т. п. вызывали у Александра Николаевича негодование, он возмущался ими, высказывал негодование, но как-то так, что человек, сделавший гадость, оставался в стороне, осуждению подвергался поступок.

В жизни обыкновенно бывает так: человек, испытавший нужду и невзгоды, впоследствии, ставши на высоту величия и достатка, забывает прошлое и делается равнодушным к невзгодам и нужде ближнего; не таков был покойный драматург, он помнил, каково ему было в дни его невзгод, и всегда шел на помощь нуждающимся, помогал чем мог, если не делом, то словом, советом; иногда желание помочь нуждающемуся заставляло Александра Николаевича задумываться, просто терзаться. Знакомый его К<ашперов>, обремененный большой семьей, а еще большей амбицией, по милости которой оставил хорошую должность, впал в нужду; Александр Николаевич, зная его гордость, не знал, как ему помочь, просто терзался — и успокоился лишь тогда, когда К<ашперову> была предоставлена должность. Сожалея о неудачнике-композиторе, обремененном семьей, Александр Николаевич все старание приложил к тому, чтобы опера неудачника была поставлена на сцене Большого театра, хлопоты Александра Николаевича увенчались успехом. Опера была поставлена, что значительно поправило обстоятельства композитора [13]. Оказывая помощь нуждающимся в ней, Александр Николаевич не ставил это себе в заслугу и относился к этому как бы к своей обязанности. Один из моих знакомых, служивший по министерству государственных имуществ, заболел тяжкой болезнью, вышел в отставку, подал прошение о пенсии; проходит около года, о пенсии ни слуха ни духа, а между тем больному жить нечем; в то время министром государственных имуществ был брат Александра Николаевича, Михаил Николаевич. Перед сырной неделей [14] прихожу к Александру Николаевичу, он собирается ехать в Петербург.

— Еду к брату блины есть,— сказал он.

Я вспомнил о больном знакомом и попросил Александра Николаевича замолвить слово брату о пенсии больному.

— Хорошо, это можно, только надо записать,— сказал Александр Николаевич и записал в памятную книжечку адрес, имя, фамилию моего приятеля.

На первой неделе поста прихожу к больному, он рад, пенсия, и притом усиленная, им уже получена.

Когда я стал благодарить от имени больного Александра Николаевича, он сказал:

— Да за что же? Разве мне стоило то большого труда? Как приехал к брату, вспомнил о вашей просьбе, передал ее брату, он курьера, курьер — секретарю, явился секретарь — и делу конец.

Однажды горничная докладывает Александру Николаевичу, что пришел молодой человек, приходивший раньше с письмом.

— Проси его сюда!

Горничная ушла. Входит молодой человек — одет еще ничего, а сапоги худые.

— Вот что я вам скажу,— обратился Александр Николаевич к вошедшему,— матушка ваша пишет, что вы пишете, говорите ей, что сочинения пишете, а по ее мнению, вы только бумагу и чернила переводите,— и она права. Мой вам совет, оставьте сочинительство и поищите себе должность, а так как в таких сапогах, как ваши, ходить искать должности неудобно, то вот вам на сапоги,— и Александр Николаевич подал молодому человеку пять рублей и его рукопись, тот заметно ушел довольным; по уходе его Александр Николаевич, смеясь, достал из ящика стола письмо и прочел следующее:

«Милостивый государь, Александр Николаевич, посылаю к вам моего сына, он все пишет, говорит, что сочиняет, а по-моему, он только бумагу и чернила переводит; пожалуйста, научите его сочинять.

Такая-то».

— Ха, ха, ха! — рассмеялся Александр Николаевич, прочтя письмо.— Как это вам покажется?

Раз в такое время, кроме меня, в кабинете был известный драматург К<рылов>; он был еще известен своим корыстолюбием; входит жена Александра Николаевича, Марья Васильевна, и говорит, что Александра Николаевича спрашивает какой-то плохо одетый субъект, похоже с просьбой о подаянии.

— На, подай ему,— проговорил Александр Николаевич, подавая Марье Васильевне бумажку.

— Не много ли будет? Он заметно выпивши.

— Ничего, ничего, наш первый драматург, святой Дмитрий Ростовский [15], подавал просящим не рассуждая, и нам следует то же делать,— проговорил Александр Николаевич.

— Вот и я,— проговорил сладеньким голосом К<рылов>,— как только идет моя пьеса, то отклады-

ваю, откладываю на это,— и сделал жест рукой, как бы что кладя в боковой карман сюртука.

— Так и следует, это хорошо,— одобрил его Александр Николаевич.

По уходе К<рылова> я, смеясь, говорю:

— Александр Николаевич, а у К<рылова>, надо полагать, чужих денег набралось много.

— Чужих, каких чужих? — спросил Александр Николаевич серьезно.

— Да ведь он сказал, что как только идет его пьеса, он на благотворительность откладывает, и даже показал куда, а не сказал, что потом их вынимает для расхода, на какой откладывает.

Александр Николаевич рассмеялся.

Надо заметить, К<рылов> едва не был исключен из Общества драматических писателей за свое корыстолюбие. Он в сотрудничестве с В. [16], членом Общества, написал пьесу, за нее авторские брал половину. В. сделался несостоятельным, имущество его было описано; чтобы хотя гонорар остался за пьесу у него, комитет Общества зачел гонорар за дочерью В., не могшей быть членом Общества. К<рылов>, узнавши это, стал все авторские требовать себе, и только угроза Александра Николаевича ему исключением из Общества умерила его алчность.

Член Общества А. своим неблаговидным поступком возбудил негодование в Обществе, и оно намеревалось исключить его из Общества; так как Александр Николаевич был председателем Общества, то ожидалось его решение.

А., несмотря на то что, надо полагать, чувствовал за собой грех, явился на годичное собрание членов Общества и на нем вел себя бурно; Александр Николаевич сперва молчал, затем слегка останавливал его, но, видя, что замечания на него не действуют, позвонил и, когда водворилась тишина, сказал:

— Господа, я намерен в настоящем собрании доложить о неблаговидном поступке одного из членов, а пока заседание прерываю.

Когда заседание возобновилось, провинившегося члена не оказалось. Многие знали, на кого Александр Николаевич намекал, и ожидали доклада, но его не было.

По окончании заседания я, прощаясь с Александром Николаевичем, сказал, что многие из членов ожидали доклада об А.

— Ну, будет с него и того, что я попугаю его,— улыбаясь, сказал Александр Николаевич.

На следующий день, только что я вошел в прихожую квартиры Александра Николаевича, как из кабинета поспешно вышел провинившийся А., он был красен, словно печеный рак, поспешно пожав мне руку, схватил пальто и почти бегом вышел.

— Александр Николаевич, что это с А.— он от вас вышел, словно из горячей бани?

— Нельзя, надо было немного пробрать его,— улыбаясь, проговорил Александр Николаевич.

Приезжая в Петербург, Александр Николаевич давал мне известие о своем приезде, и я бывал у него. Однажды он передал мои две пьесы А. А. Нильскому, прося его о проведении на сцену Александринского театра; но он не только не провел их, но даже я едва их смог выручить обратно, потому что он позабыл, куда их положил; и когда я потом приходил к нему с вопросом о пьесах, он отвечал, что читает их и чтобы за справкой о них пришел завтра. Выручить пьесы пришлось случайно.

В следующий приезд Александра Николаевича в Петербург, в то время, когда я был у него, входит Нильский,— во фраке, с цилиндром в руке.

— Александр Александрович, ха, ха, ха, ко мне во фраке, в перчатках, с цилиндром, полный парад, что это значит? — весело проговорил Александр Николаевич.

— Да я к вам, Александр Николаевич, заехал от Всеволожского (директор императорских театров) с покорнейшей просьбой.

— В чем дело?

— Да вот я положительно не знаю, за что на меня Всеволожский сердится; вероятно, кто-нибудь на меня ему насплетничал, по всему заметно, он мною недоволен; я это знаю, а объясниться с ним не могу — приезжаю к нему, он не принимает, вот и сейчас я от него.

— Как же это так?

— Да так, каждый раз приходится слышать от швейцара: принять не могут, сейчас уезжают, а между тем экипажа у подъезда нет, по всему видно, что он не

желает меня видеть. Александр Николаевич, завтра в Большом театре репетиция, вы, конечно, будете на ней.

— Буду.

— Всеволожский тоже будет, пожалуйста, устройте так, чтобы он меня выслушал: когда вы с ним будете говорить, я подойду к вам.

— Хорошо, я примирю вас с ним.

Нильский ушел, по уходе его я сказал:

— Ах, Александр Николаевич, как я благодарен Всеволожскому,— надо заметить, Всеволожскому Александр Николаевич говорил обо мне, но я у него не был.

— Вы были у него, он что-нибудь сделал?

— И не был у него, и не видел его.

— Так за что же вы ему благодарны,— с удивлением глядя на меня, спросил Александр Николаевич.

— За Нильского.— И я сообщил Александру Николаевичу, как меня угощал Нильский — «приди завтра».

— Нехорошо, нехорошо, зла не следует помнить, его надо забывать,— с укором проговорил Александр Николаевич.

— Да бог с ним, я его поступок злом не считаю, мне только досадно, что он отнесся так холодно к вашей просьбе.

— Питер город холодный, и люди в нем такие же, бог с ними,— сказал Александр Николаевич.

После того как Александр Николаевич был назначен начальником репертуара московских императорских театров [17], на первый день св. пасхи к нему с поздравлением собралась вся театральная администрация и артисты, а так как он отлучился с визитом к князю Долгорукову, то мы ожидали его в зале. Приезжает Александр Николаевич, показался в прихожей, и вслед за тем двери в зал из прихожей поспешно притворились, за ними произошел шум, собравшихся в зале это обеспокоило, думали, не произошло ли что-нибудь неблагополучное с Александром Николаевичем, но прошло несколько минут, и улыбающийся Александр Николаевич появился в зале.

Причина, как потом мне передал Александр Николаевич, задержавшая его в передней, была такая: как только он хотел войти в прихожую, перед ним появился капельдинер Малого театра и, проговорив голосом пьяного «па...а...па...аз...», растянулся у ног Александра

Николаевича. Александр Николаевич, поспешно войдя в прихожую, приказал притворить двери в зал, а затем убрать визитера на черный ход и привести в чувство.

— Ха, ха, ха, каково вам покажется, это он с поздравлением к начальству явился; да я что, он мог попасться своему непосредственному начальству.

С. В. Добров, ректор университета [18], друг Александра Николаевича, когда, бывало, арестуют студентов за малую провинность, приезжает к Александру Николаевичу с просьбой ехать с ним к генерал-губернатору князю Долгорукову. Александр Николаевич оставляет занятие и без рассуждения едет с Добровым ходатайствовать за арестованных, и, конечно, ходатайство было успешно — арестованные получали свободу.

Одним словом, Александр Николаевич считал непременным долгом принести пользу ближнему. Часто мне приходилось встречать у Александра Николаевича П. М. Невежина. Александр Николаевич, сожалея о нем как о страдающем от раны, полученной в турецкую кампанию, помогал ему советом в драматической литературе и наконец, исправивши «Блажь», прибавил свое имя, благодаря чему, несмотря на то что пьеса не без недостатков, была принята на сцену императорских театров и затем напечатана в одном из журналов [19].

Если бы не Александр Николаевич, то и Соловьеву не попасть на сцену императорских театров [20].

Я заболел нервною болезнью, доктора сказали, что мне надо бы лечь в клиники, но едва ли профессор Кожевников меня примет, потому что моя болезнь проста, упорна и для науки интереса не представляет; когда я об этом сказал Александру Николаевичу, он дал мне свою карточку к Кожевникову, который, осмотрев меня, сказал:

— Вы для нас не интересны, помочь мы вам не можем, но за вас просил Александр Николаевич Островский, и я вас принимаю.

И я был принят, пробыл несколько месяцев и вышел из клиники с тем, с чем пришел, несмотря на всестороннюю Кожевникова старательность поправить мое здоровье.

В то время клиники по нервным болезням были при Ново-Екатерининской больнице,— стол был плохой; приходилось просить нянек о покупке закуски, но это

было неудобно; покупалось плохое — залежалое; спустя недели три мне доставляют от Александра Николаевича превосходную ветчину, лососину и пр. с вопросом, не надо ли мне еще чего. Настал великий пост, вспомнили о том, что я соблюдаю его, и мне были принесены превосходные маслины.

Надо заметить то, что о плохом столе клиник я никому ни слова не говорил.

Так в Александре Николаевиче постоянно проглядывало стремление помочь ближнему.

О Л. Н. Толстом Александр Николаевич был высокого мнения, но когда Толстой принес ему свое произведение по философии[21] и, помнится, Евангелие, Александр Николаевич ужаснулся, и когда заходил разговор о Толстом, он, покачивая головой, говорил:

— Ах, и что это он начал писать, на что?

Мария Васильевна передавала, что при ней Александр Николаевич уговаривал Толстого оставить философию.

— Лев,— говорил Александр Николаевич,— ты романами и повестями велик, оставайся романистом, если утомился — отдохни, на что ты взялся умы мутить, это к хорошему не поведет.

О социалистах и тому подобных истах Александр Николаевич отзывался с сожалением[22], особенно о молодежи. Судя по тому, что мне приходилось видеть в доме Александра Николаевича и слышать от него, он принадлежал к числу людей, не мудрующих лукаво по отношению к религии.

Незадолго перед св. пасхой к Александру Николаевичу стал вхож поднадзорный за политическую неблагонадежность. На первый день св. пасхи приходит он с поздравлением к Александру Николаевичу и, не зная, принято ли у него христосоваться, только поздравил Александра Николаевича с праздником.

— А христосоваться будем? — спросил Александр Николаевич.

— Будем, будем, Христос воскресе,— проговорил визитер.

— Воистину воскресе,— отвечал Александр Николаевич и, три раза поцеловавшись, проговорил: — Если

мы желаем сделать что хорошее для народа, то не должны чуждаться его веры и обычаев, не то не поймем его, да и он нас не поймет.

Господа, мечтающие быть драматургами, очень часто появлялись к Александру Николаевичу с своими произведениями, прося Александра Николаевича сказать о них суждение.

— Господи,— бывало, скажет Александр Николаевич,— и откуда это берутся драматурги? То и дело являются с пьесами, да хотя бы приносили сколько-нибудь дельное, а то приносят такое, что читать невозможно, станешь читать, в начале еще что и похоже на что-нибудь, а затем и пошло: и дьяволы, и гром, и бенгальские огни, только говорящей собаки нет,— да все это нагорожено так, что и не разберешься, в чем суть пьесы; а то читаешь, читаешь, а в конце вопрос автора, что сделать с героем, женить его или заставить повеситься. Придется детям давать читать приносимые пьесы для прочтения и уже после их суждения читать, а то у меня время не хватает.

Один из авторов принес Александру Николаевичу пьесу, он, прочитав ее, возвратил с замечанием, что она слаба,— автор ее приносит вторую пьесу, слабей первой. Когда потом он пришел к Александру Николаевичу, он, возвращая пьесу автору, с улыбкой сказал:

— Пьеса ничего себе, только длинна, ее сократить надо.

Автор просиявши спросил:

— Где же? Вы заметили?

— Нет, вы отбросьте первую половину.

— А потом?

— А потом вторую — и хорошо будет.

Чаящие быть драматургами не давали покоя Александру Николаевичу и в Петербурге. В 1882 году я зиму проводил в Петербурге. Приезжает туда Александр Николаевич и останавливается у своего брата Михаила Николаевича, министра государственных имуществ; я, уведомленный им о приезде, прихожу в министерство, спрашиваю курьеров, дома ли Александр Николаевич, мне отвечают — дома, принимают мое пальто;

вдруг, едва не бегом, появляется в антре* пожилой человек в черной паре и заявляет, что Александра Николаевича дома нет. Это, как потом я узнал, был камердинер министра, находящийся в услужении у Александра Николаевича во время его пребывания у брата; я сказал свою фамилию и ушел, но, не пройдя и ста шагов, я услышал за собою крик:

— Господин! господин, позвольте! обождите!

Я обернулся, смотрю, ко мне подбегает человек, только что сказавший, что Александра Николаевича нет дома.

— Александр Николаевич вас просит,— заявил он мне.

— Разве он воротился?

— Да нет, он был дома, уже вы, пожалуйста, простите, я не знал вас, думал, что вы из тех писателей, которые Александру Николаевичу покоя не дают, а когда сказал ему о вас, он приказал воротить вас.

Когда я вошел к Александру Николаевичу, он, улыбаясь, проговорил:

— Вы извините его, он оберегатель моего спокойствия.

Не успел окончиться завтрак, как на пороге появился оберегатель с докладом, что Александра Николаевича желает видеть княгиня.

— Что ты ей сказал? — спросил Александр Николаевич оберегателя.

— Я сказал, что пойду узнаю, дома ли вы.

— Ну так скажи, что меня нет.

— Александр Николаевич, да это та, что привезла вам сочинение, я ей уже два раза отказывал, вы уже как-нибудь ее примите.

— Ах, боже мой, что мне с ней делать, что ей сказать; привезла драму такую, что и сказать-то о ней не знаю что, да и дернула же нелегкая еще и княгинь драмы писать. Ах, боже мой,— досадливо проговорил Александр Николаевич.

— Да вы, Александр Николаевич, как-нибудь, а то ведь она опять придет,— проговорил оберегатель.

---

* в прихожей (от *франц.*— entrée).

— Ну ладно, пойдем,— сказал Александр Николаевич и, взяв рукопись драмы, вышел к княгине.

— Отделался, пускай переписывает,— улыбаясь, проговорил, возвратившись, Александр Николаевич. <...>

В 1886 году Александр Николаевич был назначен начальником репертуара московских императорских театров.

До Александра Николаевича доходили слухи о тех беспорядках, которые царили в управлении театров, а также в репертуарной части, и его была заветная мечта стать во главе управления театрами, но управляющим по чину он еще не мог быть, а потому управляющим был назначен А. А. Майков, камергер двора его величества, состоящий казначеем Общества драматических писателей и русских композиторов. А. А. Майков был назначен по усмотрению Александра Николаевича. <...>

Увы, немного спустя, когда ближе познакомился с делами театральной конторы и театральными дрязгами, он печально говаривал, что окунулся в омут, из которого не знает, как выбраться.

Каждый раз после посещения конторы он возвращался раздосадованный.

— Помилуйте,— бывало, скажет,— это же ни на что не похоже, смотришь, ремонту на грош, реквизиту пьесы на рубль, а подают счета на десятки, сотни рублей. Ну украдь, украдь, уж если без того не можешь, да знай же меру.

Однажды приезжает крайне возмущенный, взволнованный.

— Каково вам это покажется,— появляясь в столовой, где был приготовлен завтрак, проговорил Александр Николаевич.— Осматривал помещение для декораций, только что отремонтированное, чистенько, смотрит все заново отделанным, как и в отчете числится; и что же,— приказал я тронуть столб,— он рухнул, а за ним рухнул и весь склад декораций, едва человека не задавило,— столбы оказались старыми, подгнившими, их только подбелили и в отчеты новыми поставили.

В другой раз приезжает с осмотра здания театрального училища тоже крайне рассерженный.

На просьбы Марьи Васильевны успокоиться, не волноваться, беречь себя, он проговорил:

— Помилуй, как тут успокоиться, ведь это же хоть кого может взбесить; в театральном училище рамы в окнах были дубовые, здоровые, могущие простоять десятки лет; и что же, сегодня осматриваю,— вместо их рамы новые, сосновые; начинаю доискиваться, куда делись старые, и что же — одному из начальствующих понадобились рамы на дачу для огуречных парников, и он, ничтоже сумняшеся, спровадил их туда, а вместо их ремонт устроил. Нет, так нельзя, со мною им не служить, надо бы сейчас многих удалить, да не могу, не могу, на прощанье скажу: господа, вам со мною не служить, вот вам год сроку, приискивайте себе занятие и уходите.

«Не могу! не могу!» — относилось к тому, что он по своей доброте не мог немедленно уволить замеченных в нечестности.

Ко всему этому пошли доносы младших служащих на старших, жалобы, анонимные письма,— все это волновало Александра Николаевича, и он чаще стал жаловаться на здоровье, говоря: «Ну и окунулся я в омут».

В средних числах мая я, уезжая в Курск, по обыкновению, зашел к Александру Николаевичу проститься; он уже готовился оставить квартиру в доме князя Голицына, и так как ему в доме театра, где помещается контора, квартира была не готова, то он до отъезда в имение перебирался в гостиницу «Дрезден».

В прежние года прощание мое с ним происходило как-то весело, он шутил, предупреждал меня вести себя в Курске так, чтобы меня потом ему не пришлось разыскивать в местах не столь отдаленных, советовал работать, улыбаясь, говорил о своем времяпрепровождении на лоне природы, об удовольствии ужения рыбы и т. п. На этот раз разговор у нас не вязался, мы более глядели друг на друга, чем говорили, как будто предчувствовали, что видимся в последний раз, и предчувствие не обмануло.

Многие приписывают окончательное расстройство здоровья Александра Николаевича, а затем и смерть

его, беспокойству и волнению, причиняемыми ему неприятностями по должности, но это не совсем верно; что окончательно свело его в могилу, то это семейная неприятность, или, скорее, интрига человека, которого он считал другом и, сожалея его имущественный недостаток, старался быть ему полезным; и вот до Александра Николаевича стали доходить слухи, что семейство друга ловит второго его сына, Михаила Александровича, студента, помнится, первого курса, для одной из дочерей [23]. Получались анонимные письма о том же, но Александр Николаевич все это считал интригой кого-то, желавшего поссорить его с другом,— и как слухам, так и письмам не придавал ровно никакого значения и даже считал лишним вызвать сына по поводу слухов на объяснение.

Надо заметить, Михаил Александрович был, что говорится, человеком не от мира сего: тихий, кроткий и притом религиозный; бывало, у дальнего родственника-атеиста Михаил Александрович, несмотря на то что у родственника собирался кружок тоже атеистов, никогда не сядет за завтрак, чтобы не сотворить крестного знамения, хотя хорошо знал направление окружающих.

Когда я лежал в клиниках по нервным болезням, там находился этот родственник, его приходила часто проведывать барышня с работой и просиживала до появления Михаила Александровича, затем с ним уходила,— барышня из себя ничего не представляла такого, что бы могло увлечь молодого человека; она была дочь друга Александра Николаевича, анонимные письма были, что для нее-то и ловят Михаила Александровича. Видя ее, я тоже думал, что письма ложь, но вышло не то; передаю со слов покойной Марьи Васильевны. В гостинице «Дрезден», куда переехал Александр Николаевич из дома князя Голицына, во время завтрака коридорный вносит письмо.

— Кому письмо? — спросил Александр Николаевич, принимая письмо.

— Михаилу Александровичу,— ответил коридорный; Александр Николаевич, взглянув на адрес и узнав руку брата Петра Николаевича, от второй жены отца Александра Николаевича; надо заметить, по словам Марьи Васильевны, Петр Николаевич враждебно относился к Александру Николаевичу [24].

— Миша, это тебе пишет дядя Петр, что он пишет? — И, вскрыв письмо, начал читать; в письме было: «Миша, приходи сегодня, О<ля> будет у нас». Прочитав письмо, Александр Николаевич, передавая его сыну, проговорил:

— Миша, кто это О<ля>?

— Дочь К<ашперова>.

— Что же значит уведомление дяди?

— Я, папа, обязан жениться на ней,— отвечал Михаил Александрович.

— Как ты обязан...— только и мог промолвить Александр Николаевич, с ним сделался припадок, продолжавшийся до вечера; таких припадков с Александром Николаевичем раньше не было [25], и окружающие его думали, что он не перенесет припадка; он на этот раз перенес, но отправился в Щелыково до того расслабленным, что провожавшие его думали, что он дорогой умрет. Он доехал в имение благополучно, а второго июня его не стало.

Александр Николаевич как бы предчувствовал гибель сына от союза с дочерью человека, о котором заботился, как друг.

После смерти Александра Николаевича, брат его, министр Михаил Николаевич сказал племяннику:

— Миша, имей в виду,— ты интересен К<ашперовы>м как сын известного драматурга и племянник министра, но пускай они знают, если ты женишься, не окончив университета, ты мне не племянник.

Михаил Александрович дал слово дяде не жениться до окончания университета, переехал в Петербург жить к дяде и перешел в Петербургский университет. Спустя год во время летних каникул он, проездом в Щелыково, заехал в Москву, остановился в семействе невесты и, после купанья в Москве-реке, заболел дифтеритом и умер; одинокая могила его на Драгомиловском кладбище.

П. М. Невежин

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ А. Н. ОСТРОВСКОМ

<1>

<...> Приступая к нашей заметке, мы оговариваемся, что берем небольшой период из жизни Островского, а именно тот, когда знаменитый драматург, утомленный борьбою с чиновниками, затворился в своей квартире и по нескольку лет не посещал театров, которым посвятил свою жизнь [1].

Мое знакомство с Александром Николаевичем произошло при исключительных условиях. Воспитавшись на его произведениях, я рано почувствовал потребность работать для сцены, но, как не посвященный в тайны цензурного ведомства, никак не мог найти верный угол зрения. Первая драма, в которой я выставил самосуд на почве благородного негодования, была не только забракована цензурой, но мне даже угрожали оставить рукопись при делах комитета. Во второй работе я описал, как женщина, доведенная мужем до отчаяния и не находя защиты в законе, решается деньгами откупиться от ненавистного человека. Это было обычным явлением того времени, и все знали, что подобные сделки совершались повсеместно, но охранительная цензура желала держать на глазах людей повязку, чтобы они видели только то, что им показывают, а не то, что есть. Пьеса была также забракована [2]. В третьей комедии я выставил, как женщина, не знавшая счастья в супружестве

и овдовевши, взяла себе в дом, в виде управляющего, «друга сердца». Этот молодец изменял своей дульцинее и хапал из имения все, что только мог. У помещицы были две взрослые дочери; девушки возмутились и потребовали удаления «управляющего». В свою очередь, и он не дремал и с необычайною дерзостью стал относиться к молодым хозяйкам. Те вызвали тетку, грубую и энергичную женщину, напоминавшую своим видом скорее мужчину, чем барыню. Она приехала. Началась война с возмутительными сценами. Оканчивается пьеса тем, что барыне стало нечем платить долгов, и управляющий, видя, что его благополучие кончилось, наговорив своей покровительнице массу дерзостей, уезжает из имения.

Трудно представить себе, в чем заключалась тут антицензурность, но чиновники увидели в сюжете стремление подорвать престиж родительской власти.

Сбитый окончательно с толку, я отправился к Островскому и рассказал свои злоключения. Моя военная форма сначала смутила Александра Николаевича, и он холодно отнесся ко мне, но потом приветливо обернулся, и на его милом, благодушном лице появилась такая улыбка, какую нельзя забыть.

— Так вы капитан?

— К вашим услугам.

— Из вашего рассказа я узнаю в вас настоящего русского человека. Столько времени писать [3], затрогивать такие интересные вопросы и не отдаться всецело литературе, а носить военный мундир!

— Военная служба мне была дорога тем, что давала возможность быть в хоромах губернаторов, у всесильных бар, у средних людей, посещать крестьянские хаты и изучить душу русского солдата.

Он пристально посмотрел на меня и, несколько нахмурившись, одобрительно заметил:

— Если так, вы — правы.

Сюжет моей последней пьесы ему очень понравился, и он одобрил сценарий, но прибавил:

— Едва ли вам удастся поладить с цензурой.

Тогда я, набравшись смелости, чистосердечно обратился к нему:

— Помогите мне. Без ваших указаний я решительно пропаду. Может быть, вы мне окажете большую честь

и, переработав пьесу, удостоите меня чести быть вашим сотрудником.

Он потер себе лоб, почесал бороду, что всегда делал, когда чувствовал какое-нибудь затруднение, и, улыбнувшись, ответил:

— Об этом надо подумать.

В тот же день я доставил свою рукопись, а когда через три дня пришел за ответом, то увидел на лице его опять ту же привлекательную улыбку:

— Ваша взяла... Беру.

Так появилась на свет божий комедия «Блажь», которая впоследствии была напечатана в «Отечественных записках» Щедрина. Для характеристики цензурных условий того времени я расскажу, к чему должен был прибегать автор. Чтобы обойти цензурный гнет, Островский обратил мать в сестру от первого брака. Таким образом идея пьесы была убита. Взамен этого Александр Николаевич внес в мою работу живые сцены, прельстившие покойного Михаила Евграфовича. Комедия шла в московском Малом театре, в Александринском и обошла все провинциальные сцены [4].

После этого литературного сближения я стал пользоваться искренним расположением Александра Николаевича. Я вспоминаю с горечью и радостью те дни, которые проводил в его кабинете. То было невыносимое время для людей, связанных работой с театром. Довольно сказать, что его комедия «Не в свои сани не садись», не сходящая до сих пор с репертуара, взята была у автора дирекцией даром.

— Почему же даром? — спросил я.

— Дирекция ее не брала, а пришлось отдать в бенефис, за бенефисные же постановки не платилось. Теперь авторы получают за пьесы тысячи, а я рад был радехонек, когда мне за «Бедную невесту» заплатили пятьсот рублей, взяв ее в вечную собственность.

При таком отношении начальства к автору можно себе представить, в каком положении находились ресурсы тружеников. Провинциальные театры тогда авторам не платили ничего, а казенные жестоко притесняли. Были и тогда ловкачи, входившие в сделку с стоявшими у руля репертуара, и их пьесы ставились часто; те же, у кого совести не хватало поступать неблаговидно, бедствовали.

— Александр Николаевич, отчего вы теперь никогда не бываете в театре? — обратился я к нему.

— А что я там буду делать? Смотреть стряпню Крылова или переводы Тарновского?[5] Да мне, как обойденному, неловко смотреть на актеров. Я для театра чужой теперь. Просветлеет, разгонит шушеру, тогда и мы пойдем туда, где послужили делу.

А между тем нужно было жить, а следовательно, и работать. Недовольство окружающих и раздражение, не покидавшее автора «Грозы», отзывалось на самом творчестве. В его пьесах не стало уже той яркости, бывшей отличительной чертой великого таланта. В этот период ослабевшие силы уже не могли творить так, как прежде, и его пьесы «Красавец мужчина» и «Невольницы» имели слабый успех. Замечательно то, что при жизни Островский получал в год две, три тысячи, а после его смерти, когда злоба завистников и ненавистников затихла, наследники его стали получать за пьесы от семнадцати — восемнадцати тысяч в год.

Островский был недоволен не только административными порядками, но и тем, что состав артистов сильно потускнел. В то время не было уже ни Садовского, ни Васильева и других корифеев Малого театра, а вновь поступившие оставляли желать многого, и, хотя тон еще держался, но уже начинал сказываться провинциализм, который внесли вновь приглашенные актеры.

— Нужна школа, настоящая школа, а без нее Малый театр потеряет то великое значение, которое он имел,— говорил Островский.

Кроме школы, он мечтал создать театр на новых началах, где люди, ничего общего не имеющие с искусством, не являлись бы руководителями дела.

Чтобы осуществить эту мысль, Островский, по своей наивности, отправился к бывшему московскому генерал-губернатору кн. В. А. Долгорукову, чтобы вызвать его инициативу.

— Князь,— обратился он к нему,— столько лет вы состоите всесильным хозяином Москвы, а до сих пор не поставите себе памятника.

— Какого памятника? — удивился генерал-губернатор.

— Должен быть построен театр вашего имени.

Долгоруков улыбнулся и мягко заметил:

— Я знаю, меня в шутку называют удельным князем, но, к сожалению, у этого удельного князя нет таких капиталов, которые он мог бы широко тратить.

— Я приехал к вам, князь, искать не ваших денег. Скажите одно слово — и московское именитое купечество составит компанию и явится театр.

Долгоруков очень сочувственно отнесся к словам Островского, и Сергей Петрович Губонин, сын знаменитого железнодорожного деятеля, принялся уже составлять акционерное общество, но тут вышло правительственное распоряжение о всеобщем разрешении частных театров и проект пал [6]. Скоро при императорских театрах учреждены были драматические школы, существенно расходившиеся с тем, о чем мечтал Островский.

— Актер должен пропитаться своим ремеслом и слиться с ним,— утверждал он.— Артисты, в благородном смысле слова, те же акробаты; тех выламывают физически, а актера нужно выломать нравственно. Походка, красивые повороты, пластика и мимика... все это приобретается легко, когда тело и нервы гибки. Равномерная и выразительная речь также несравненно лучше могут быть усвоены в детском возрасте, чем тогда, когда жизнь искалечила человека. Посмотрите на большинство актеров. Как они держат себя на сцене? Увальни, неповоротливы, косолапы, движения не изящны. И это вполне понятно. Люди редко перерождаются, и большинство живет приемами, усвоенными в детстве. Есть исключения, но о них не говорят.

Так проект школы и остался в бумагах покойного [7].

Любовь к театру у Александра Николаевича была так велика, что даже в тягостные дни материальных невзгод он говорил о нем с любовью и подшучивал над своими неудачами.

— Надо бы пойти и искать милости у господина Черневского, да ноги не слушаются, опять же каналья спина не гнется. Деньги нужны до зарезу, а их нет. Занять можно, но, занявши, нужно отдавать, а как не отдашь — совестно.

Это не мешало ему проявлять неимоверную доброту ко всем, кто к нему бы ни обращался.

Был такой случай. Пришел к нему автор, теперь

занимающий огромный пост при театре, а тогда еще малый и неизвестный, и говорит:

— Александр Николаевич, я написал пьесу, но цензура не пропускает ее. Помогите мне обойти препятствия, и мы поделим пополам гонорар.

Островский взял пьеску, сделал поправки, и автору тотчас же выдали две тысячи целиком. Но с той поры этого автора Островский не видал, и когда я, шутя, напомнил ему об этом, он шутливо заметил:

— Он с востока [8], а там набеги уважаются.

Так Островский и не получил ни копейки, но никогда ни словом не заикнулся о том, что было, и, встречаясь с автором, благодушно протягивал ему руку.

Просто не верится, чтобы драматург, написавший тридцать с лишком пьес, шедшие на сценах, мог так нуждаться.

Каким-то образом император Александр III узнал, что Островский находится в тягостном материальном положении, и при первой встрече с братом драматурга, Михаилом Николаевичем, бывшим членом Государственного совета, обратился к нему:

— Как живет ваш брат?

Островский молча поклонился. Государь продолжал:

— Как его материальное состояние?

— Очень дурное, ваше величество. Своих средств у него нет почти никаких; за труды же он получает очень мало, а у него жена и шесть человек детей.

— Странно,— с неудовольствием сказал император,— что до сих пор мне об этом никто не сказал. Я сделаю, что нужно.

Через несколько дней состоялся высочайший указ о назначении драматургу, губернскому секретарю Александру Николаевичу Островскому, пенсии в 3000 рублей в год [9].

Трудно себе представить ликование, какое проявляли друзья Островского. Мы радовались больше, чем он, и, конечно, помчались поздравлять его. Но нашли его в унылом настроении духа.

Очевидно, Александру Николаевичу было больно, что не заслуги дали ему вполне заслуженную пенсию, а протекция. Его возмущало это потому, что в некоторых западных государствах смотрели на писателей как на людей, служащих государству. Русских же работни-

ков участь была печальна. В маленькой Норвегии литератор, проработавший определенное количество лет, получает право на пенсию. Стортинг только утверждает назначение, а мы, огромное государство, так далеко в этом случае идем позади всех.

Свои театральные злоключения Александр Николаевич приписывал режиссерскому произволу, и отделаться от враждебных действий своих недругов стало его заветной мечтой. А так как этот произвол еще рельефнее выражался при назначении артистам ролей, то вступиться за своих истинных друзей, актеров, Островский считал священной обязанностью. И вот когда наступило время реформ, то Александр Николаевич горячо ратовал за уничтожение разовой системы [10]. Это была огромная ошибка. Но человек, выбитый из колеи, всегда бывает односторонен. Так случалось и с Островским. Не только мы, друзья, предостерегали его от увлечений, но сам режиссер Черневский осмелился открыто сказать ему в глаза:

— Вы спасаете актеров, а губите театр.

Но Александр Николаевич, как идеалист и добрейший человек, думал о людях гораздо лучше, чем они есть.

— Позвольте,— говорил он,— зачем предполагать одно дурное? Надо верить. Я убежден, что истинные артисты никогда не забудут своего долга. Не хуже же мы немцев, французов, а посмотрите, какой у них стройный порядок! Все работают для дела.

На это возражал ему Родиславский:

— Если вы уничтожите разовые, то какая охота будет большому актеру играть маленькие роли? Покойный Шумский великолепно шутил: «Что за чудная роль в «Горячем сердце»! Слов у меня почти нет, закину удочку и тридцать пять рублей вытащу». Заставьте же вы без разовой системы сыграть кого-нибудь то же самое, и вы увидите, что вам швырнут роль. Немец дорожит репутацией. Если он будет отказываться от ролей или прослывет лентяем, то его ни один порядочный антрепренер не возьмет, да и от товарищей услышит то, чему не обрадуется. Я весь век при театре. Без ошибки могу вам перечесть все пьесы, какого числа они шли, и все бенефисы. Я тоже в хороших отношениях с артистами, но умею отделить актера от человека.

Большинство из них люди прекрасные, а как вдохнут театрального воздуха и газом запахнет, словно туман найдет на всякого.

Наконец наступила пора осуществить реформы[11]. В комиссию для пересмотра театрального положения назначены были Островский, Потехин и Аверкиев. Потехин был, так же как и Островский, завзятый друг актеров. Аверкиев же иначе смотрел на дело, но два голоса его сотоварищей пересилили, и разовая система была уничтожена. Еще большей ошибкой было со стороны Островского допустить назначение Потехина управляющим труппою с уполномочием установить актерское вознаграждение артистов. Алексей Антипыч, желая заслужить благорасположение артистов, стал делать вычисления получаемых окладов, измерил эти цифры в гораздо большем размере, чем они существовали на самом деле, и назначил огромные оклады. Но тут Островский уже ничего не мог сделать. Противоречить Потехину значило вооружить против себя артистов.

Первое время Островский ликовал, что он сверг режиссерскую власть и освободил артистов от произвола, но скоро сам раскаялся в своем заблуждении. То, что случилось при постановке его пьесы «Сердце не камень», было жестоким ударом доверчивому реформатору. Артистка Ф<едотова Г. Н.>, бывшая до того времени одной из самых сговорчивых актрис, получая 12.000 в год жалованья, резко изменилась и жестоко поступила с автором. Мало того что она третировала роль на репетициях, а сыгравши ее три раза, совсем вышла из пьесы. Роль передали другой актрисе, но публика не признала такой замены, и пьеса за отсутствием сборов снята была с репертуара. Разовые сказались.

Когда я вскоре после этого пришел к нему, он сидел сумрачный и бледный.

— Кума-то, кума-то какова?.. отказалась. С лишком год работы и четыреста рублей.

Мне очень хотелось напомнить ему, что в этом он сам виноват, но по его тону было видно, что к нему уже пришло позднее раскаяние. Так как у всякого крупного деятеля всегда есть приспешники, то и у Островского было их немало, а эти господа всегда способ-

ны оказать медвежью услугу. Один из них, придя к Александру Николаевичу, с негодованием заявил:

— Вчера в театре «такой-то» и «такая-то» громко заявляли, что дирекция права, не ставя пьес Островского. Мы выросли из них.

Александр Николаевич с горечью улыбнулся и вскользь заметил:

— Какие же они большие.

Все эти уколы не могли не действовать на больное сердце и не ухудшать его состояния.

Упомянутый случай с «Горячим сердцем» был не единичный, но Островский не признавал себя неправым, а утверждал:

— Теперь не хорошо, потом будет лучше.

При этом давнишняя мысль о театральной школе более и более занимала его.

— Нужно создать новых людей с новыми взглядами и с новыми правилами, тогда и мы станем другими.

Наконец влияние брата, бывшего видным государственным деятелем, оказалось всесильным, и Островский был назначен заведующим репертуаром московского Малого театра[12]. Это было истинною радостью для всех. Театр ожил. Там стало словно светлее. Когда за кулисами появилась могучая фигура любимого автора, все стремились к нему поздороваться как с истинным другом искусства; зато Черневский, хотя и старался быть подобострастным, но с желчью посматривал на своего счастливого победителя.

Работал Александр Николаевич очень много, но о своем творчестве у него не было и речи, и когда кто-нибудь вспоминал о нем, то Островский отшучивался:

— Нет, довольно, а то опять хватишь «Не от мира сего».

Эта пьеса была его последней работой, написанной до назначения его начальником репертуара. И она была уже не творчество, а, если можно так выразиться, потугами на творчество.

Вместо этого он всецело отдался идее создать школу, в которой властвовало бы одно только искусство. Когда кто-нибудь из нас приходил в экзаменационное время, он приглашал сесть к столу и любил, если задавали девочкам вопросы. Когда мы замечали, что они конфузятся, он говорил:

— Пусть привыкают. Актриса должна быть смелой.

Кроме службы при театре, Островский оставался председателем Общества русских драматических писателей и оперных композиторов. Хотя отношения этого Общества к антрепренерам и были налажены, но все еще находились господа, не признававшие за автором права получать гонорар. Не могу забыть одного уморительного случая. Едва я вошел в прихожую его квартиры, как до меня донесся чей-то резкий голос, раздавшийся из кабинета Островского. Оказалось, что горячился один из антрепренеров, выражая свое неудовольствие на действия комитета. Я поздоровался с хозяином и отошел в сторону. Посетитель продолжал:

— Это насилие; на экземпляре написано: «К представлению дозволено», кто же может мне запретить ставить пьесу? А ваш агент угрожает мне тюрьмой.

— И будете сидеть,— хладнокровно заметил Александр Николаевич.

— Нет, не буду и денег не заплачу.

— Заплатите, а нет — вещи опишут.

— Кто это будет описывать?

— Разве вы не знаете,— судебный пристав.

— Вы меня стращаете так же, как и ваш секретарь. Но вы председатель и должны быть справедливым.

— Причем тут я. Мы действуем по уставу.

Тут антрепренер употребил такую фразу, что Островский с достоинством заметил:

— Милостивый государь, не забывайте, где вы.

— Я помню, а все-таки платить не буду.

С этими словами огорченный антрепренер вышел. Островский обратился ко мне:

— Они меня когда-нибудь уходят. Мое сердце и то никуда не годно, а от таких историй ему несдобровать.

Действительно, Островский всегда жаловался на сердечные припадки, и не раз он, схватившись за грудь, отходил к окну и тяжело дышал. Его сердце, так много перестрадавшее, очевидно, не могло уже выносить того, что выносило в более молодые годы.

Вообще, как председателю Общества русских драматических писателей, ему приходилось переносить немало неприятностей. Теперь установлен ценз, и правом посещать общие собрания пользуются лица, получающие в год гонорар не менее трехсот рублей, тогда

Последняя страница чернового автографа «Грозы»
с правкой автора. *1859.*

же сходились все, кто внес пятнадцать рублей членских.

— У нас кто теперь членами? — говорил Островский.— Кому только захочется. Идут, например, два гимназиста, оба в веселом настроении духа. Одному и приходит мысль в голову: «А что, Жан, не сделаться ли нам драматическими писателями?» — «Поль, это идея. Давай переведем совместно какой-нибудь водевиль и при посредстве Ивана Ивановича поставим его на какой-нибудь сцене».— «А как же расходы?» — «Ты покупай чернил, бумаги, перья и словарь, а я книжку; членские взносы мы упросим сделать тетушку Клавдию Ивановну».— «Чудно, Поль, ты гениален»; и вот появляются в Обществе два новых члена, которые об этом событии оповещают миру на своих визитных карточках.

Высмеивая подобных господ, Александр Николаевич имел полное основание желать, чтобы лица, ничего общего не имеющие с Обществом, не были допускаемы на общие собрания, так как эти собрания обратились в сходку скандалистов; шум и гам стояли невообразимые. Члены не раз хватались за стулья как за предметы обороны.

Островский, как бессменный и строгий председатель, был многим не по душе, и эти господа всегда старались раздражать его. Я помню такой случай: кем-то был поднят вопрос об отчислении из гонорара известной суммы на образование каких-то благотворительных учреждений при Обществе. «Член Общества», написавший пьесу, которая никому не была известна и нигде не шла, был особенно развязен и словоохотлив. Когда прочли его заявление, Островский обратился к нему:

— Вы желаете, чтобы с каждого, получающего гонорар, производился вычет в пользу благотворительных обществ, которых еще нет? Но прежде чем приступить к обсуждению этого вопроса, я желал бы знать, какая сумма будет причитаться с вас как с докладчика-инициатора.

— Это к делу не относится,— вызывающе возразил «докладчик».

— Как не относится? Наше Общество полукоммерческое, имеющее своей задачей как можно более собрать денег драматическим труженикам, а не делать им

ущерб. Если вы предлагаете взимать, то, вероятно, и сами правоспособны платить, и мой вопрос вполне естественен.

По сделанным справкам, докладчик получал гонорара полтора рубля в год, но так как он был представителем целой группы подобных же «театральных сочинителей», то поднялся шум.

— Это неделикатно. Нельзя касаться наших материальных средств. Мы тут все равны.

— Так должно быть,— возразил Островский,— но какое же тут равенство, когда налицо явная несправедливость. Вы предлагаете вычет десяти процентов. Хорошо. Я, скажем, получаю тысячу рублей, и с меня возьмут сто, но есть некоторые, не получающие ни копейки,— с них что взять? Если благотворительные учреждения у нас необходимы, то внесем каждый поровну.

Начался хаос, и заседание прервалось.

Во время перерыва подходит ко мне известный в свое время П. И. Кичеев, тоже получавший грош как переводчик. Петр Иванович был умен, талантлив и отличался необыкновенным добродушием, но вместе с тем крайне неустойчив. Его можно было подбить на что угодно.

— Я сегодня провалю Островского на выборах,— объявил он мне.

— Ах, Петр Иванович, всегда вы зря говорите. Ну что вы можете сделать?

Я никак не думал, что мои слова сильно заденут Кичеева. Но когда начались выборы, то мы все ждали, что председатель пройдет без баллотировки, как было всегда. Вдруг поднимается Кичеев и вызывающе заявляет:

— Я требую баллотировки.

Островский сконфузился, растерялся и, запинаясь, проговорил:

— Господа, я давно решил отказаться от председательствования и прошу вас освободить меня.

Однако все, кроме Кичеева, положили ему белые шары, но этим не смутился Петр Иванович и, подойдя ко мне, с ужимкой заметил:

— Каково я его вздул?

Затем, подойдя к Островскому, заявил:

— Александр Николаевич, я нарочно это сделал,

чтоб убедиться, каким вы пользуетесь почтением. Вы победили [13].

Но такие победы тяжестью ложились на его больное сердце, и мы радовались, когда окончился сезон и он стал собираться в свое любимое Щелыково, где он сбрасывал с себя «городское платье» и, облачившись в рубаху и большие сапоги, благодушествовал на лоне природы. Утром до завтрака он отправлялся во флигель и там выпиливал замысловатые узоры. После обеда часто подавалась линейка, запряженная тройкой, которой Александр Николаевич сам правил, и мы отправлялись куда-нибудь в соседнее селение или в «Кобринский лес», как шутливо называл Островский одно место. Если же поездка не осуществлялась, то Александр Николаевич усаживался на свою любимую скамейку и предавался пасторальным мыслям.

— Эко красота,— говаривал им он, смотря на местность, амфитеатром спускавшуюся в долину реки Меры.— А облако...— продолжал он.— Кажется, нигде нет таких облаков.

Его утешали и дети, которых он страстно любил.

Часто наезжавшие к нему чувствовали себя как дома, понимая, что хозяин не воображает себя идолом, к которому стекаются на поклонение.

Этот удивительный человек до конца дней своих остался в душе наивнейшим ребенком. При этом невольно вспоминается забавный и характерный случай.

Приехал раз в Щелыково ныне здравствующий артист, большой приятель покойного [14]. Приятель, как большинство талантливых артистов, был в близком родстве с Бахусом. Но Александру Николаевичу, страдающему болезнью сердца, запрещены были крепкие напитки. Жена его, Марья Васильевна, оберегавшая здоровье мужа, приказала не подавать к столу ни вина, ни водки.

В день приезда гостя хозяйке необходимо надо было идти в поле, и она приказала подать завтрак в кабинет, причем водки было в графине на донышке.

Взглянув на микроскопическое количество вина, Островский сделал гримасу и произнес свое пресловутое «невозможно!». Это слово им произносилось так, что нельзя забыть. Александр Николаевич делал судорожное движение локтями, приподнимал плечи, так что

голова уходила в них и, слегка заикаясь, отчеканивал: «Н-н-невозможно!»

Зная, что вино и водка заперты, хозяин почувствовал свое беспомощное положение и с грустью обратился к гостю:

— Пейте! А я уж сегодня не поддержу вашей компании.

Гость тоже приуныл. Но вдруг ему пришла в голову гениальная мысль.

— Эврика! — вполголоса проговорил он и указал на бутылки с настойкой, стоявшие на окнах.— Кажется, они уж достаточно настоялись. О да, их можно тронуть.

Островский вспомнил:

— Что вы, что вы! да Марья Васильевна из себя выйдет.

— И опять войдет,— отшучивался гость, срезывая с бутылки печать.

Компания пришла в веселое настроение духа. Вошла Марья Васильевна. Увидя раскрасневшиеся лица приятелей, она не сразу догадалась, в чем дело. Того, что она прислала к завтраку, было мало, а между тем оба возбуждены. Вдруг ее осенила мысль, и она подошла к окну.

— Ах вы бессовестные,— горячилась она, смотря на раскупоренную бутылку.

Александр Николаевич сидел молча и ехидно улыбался.

Понимая, что при госте нельзя устраивать супружеские сцены, Марья Васильевна вышла, сильно хлопнувши дверью.

Когда потом актер рассказывал описанную сцену с присущим ему талантом, мы смеялись до коликов.

Похождение с четвертью без слов рисует, как знаменитый художник до конца дней оставался простым, бесхитростным, чуждым чванства. В его душе теплилась та искра божия, которая согревала, а не обжигала. Житейские невзгоды не озлобили его, а открыли сердце, до которого всякому был доступ. Жаль, что это сердце уже было надорвано теми, для кого искусство ограничивалось двадцатым числом [15]...

Когда официальная жизнь театров в последний год его жизни замерла, Александр Николаевич поспешно собрался и уехал на лето в Щелыково.

Перед отъездом он с грустью говаривал:

— Хоронить себя еду.

Разумеется, мы принимали это за слова мнительного человека, так как Александр Николаевич всегда морщился, как-то странно пожимал руками и всегда говорил, что он нездоров.

Провожая его, я поцеловал последний раз этого дивного человека. Уходя, он с грустью проговорил:

— Хочется поработать... хочется, чтоб Малый театр обновился и стал тем храмом, каким он был прежде.

Это были его последние слова.

Он уехал в свое имение и там скоропостижно умер от разрыва сердца.

<2>

Внешняя жизнь незабвенного драматурга не отличалась разнообразием и выдающимися событиями. Самое начало жизни его, как известно, поражает своей нелепостью. Окончивши гимназию и поступивши в Московский университет на юридический факультет, Островский вдруг очутился в положении студента, не способного воспринять высшие знания. Чем вызвано было такое мнение, для нас осталось неизвестным, потому что Островский уклонялся говорить о щекотливом для него вопросе, но стороной мы узнали, что знаменитый драматург был уволен начальством за «непонятие наук» [16]. Такой афоризм может всякого не только изумить, но насмешить. Какие ж такие были в то время науки, которых не мог понять юноша, наделенный большим умом и огромным талантом? Вероятно, тем, что не был поклонником зубрежки, которая считалась надежнейшим фактором для приобретения знаний.

Неудача, постигшая великого драматурга, имела свои хорошие последствия. Окончи он курс как подобало благонамеренному и благовоспитанному юноше, Островский попал бы в гражданскую или уголовную палату или в какое-нибудь правительственное учреждение, обратился бы в чиновника, и бог знает, всплыл ли бы его талант, составляющий теперь гордость русской литературы. Но очутившись чиновником Сиротского суда [17], где творились величайшие бесчинства, будущий драматург имел возможность вблизи увидеть вся-

кого рода умственные и нравственные отбросы человечества. Там опекуны, вносившие определенную лепту столоначальникам и высшим чинам, часто до последней нитки обирали опекаемых. Туда же стекались и обобранные, ища защиты и уходившие без удовлетворения. Один жаргон, на котором велись там разговоры, был для Островского тем истинным кладезем, из которого он черпал потом свои дивные народные афоризмы и словечки. Разве может выдумать один человек то, что появляется в мозгу целого народа, притом народа молодого, непосредственного и от природы наделенного злым и зажигательным юмором и сарказмом. Отличавшийся необыкновенною чистотой души, Александр Николаевич, конечно, не был в числе чиновников, выходивших с просителями в прихожую и там под шумок получавших от них мзду. Тем трагикомичнее было его положение. Получая шесть рублей в месяц жалованья и совершая ежедневно чуть не четырехверстную прогулку на службу и обратно и встречая в окнах лавок всевозможные соблазны, молодой человек ощущал, конечно, муки Тантала и, вероятно, не раз говаривал: «Недаром меня товарищи называют дураком. Делать бы мне то, что делают они, и не ходил бы я с пустым карманом».

Да, тяжела эта ноша: честь, самолюбие, долг.

Вспоминая былое, Островский сам нередко зло подшучивал над собой:

— Не будь я в такой передряге, пожалуй, не написал бы «Доходного места».

Александр Николаевич редко откровенничал, но если говорил, то каждое его слово дышало правдой. От нее он только отступал тогда, когда к нему приступали назойливые люди, от которых только и можно было отделаться политиканством.

С большим одушевлением вспоминал он свои первые литературные шаги, а особенно отзыв профессора Шевырева о его одноактных сценах «Семейная картина» [18]. И в самом деле, как не закружиться было голове, когда бывшему студенту, удаленному из университета за «непонятие наук», и чиновнику Сиротского суда, получавшему шесть рублей в месяц жалованья, предрекал славу один из самых выдающихся профессоров, друг Гоголя:

— Работайте, у вас большой талант.

При этом воспоминании лицо Александра Николаевича озарялось какой-то особенной улыбкой, в которой отражались ум и бесконечная доброта, отравленная желчью.

Это объяснялось тем, что одобрение литераторов шло вразрез с действиями начальства и «сильных мира сего», так как его комедия «Свои люди — сочтемся!» по ходатайству московских именитых купцов и по представлению генерал-губернатора графа Закревского не только была не разрешена для сцены, но и сам автор как неблагонадежный человек отдан был под надзор полиции [19].

Рассказывал Александр Николаевич об той эпохе своей деятельности с таким комизмом, что нельзя было не смеяться. В этих рассказах сквозило иногда понятное тщеславие, так как он, маленький безвестный человек, являлся бичом и грозой целого сословия. Если Вольтер насмешкой погасил костры инквизиции, а Бомарше взбаламутил французское общество, то и Островский бросил луч света в темное царство. Разные Кит Китычи этого не могли простить. Считавшие его комедию издевательством и пасквилем, они забывали, что гони природу в дверь, а она войдет в окно. Им не могло и в голову прийти, что этот «мальчишка» силою своего могучего пера сломает железные цепи и тяжелые засовы ворот, представлявших собой нередко подобие острогов, что едкая сатира сумеет дать цену тяжелым золотым медалям, висевшим на груди извергов и грабителей, и осветить область, где не было ни чести, ни стыда, ни совести, а царили произвол и насилие.

Незабвенная фраза купца Большова, сказавшего про дочь в пьесе «Свои люди — сочтемся!»: «Хочу с кашей ем, хочу масло пахтаю», осталась ярким выражением времени, когда Островский явился разрушителем оков старины, той старины, о которой до сих пор ограниченные люди вспоминают со вздохом сожаления. Да, в то время жизнь для одних была разливанным морем, для других же — неиссякаемой мукой.

В первом отрывке наших воспоминаний мы очертили внешние условия жизни Островского и изложили, так сказать, литературно-театральный формулярный список его жизни. <...> Теперь, напротив, мы оставили в стороне все внешнее и постараемся ознакомить чита-

теля с суждениями, мыслями, а иногда и чувствами, которые невольно прорывались у этого замечательного человека. Мы, конечно, не можем оглашать всего, так как многие лица до сих пор еще существуют.

С Островским повторялась обычная история. Те, от которых он находился в зависимости и кто мог вредить ему, высказывали явное и тайное недоброжелательство. Им казалось, что Островский зазнался и смотрит на них свысока. Это, может быть, было и так, но мотивы, отталкивавшие его от них, были совершенно другие. Александр Николаевич не выносил тупости, нравственного убожества и лжи.

— Это все янусы,— говорил он.— На одну сторону повернешь — пошлость, а на другую — подлость.

Выслушивая рассказы о всем прожитом им, невольно приходилось удивляться, как жизненная трепка, которой подвергался великий художник, не искалечила его натуры. Если порой и слышалась в его речи желчь, то она покрывалась неисчерпаемым благодушием. Он как бы с состраданием относился к своим врагам и говорил:

— Не ведают, что творят, а что не краснеют, то у толстокожих румянец не покажется.

Островский, несмотря на свои литературные успехи, долго оставался как бы в тени, и имя его не прогремело бы, если бы Добролюбов не явился его Баяном.

Автор «Грозы» до конца дней своих был чутким к тому, что о нем писалось, хотя и старался показывать, что порицания нисколько не волнуют его.

Раз я прихожу к нему после первого представления его пьесы, вижу — на письменном столе лежит газета. Увидя меня, он пощелкал пальцами по бумаге и с улыбкой проговорил:

— Изругали! И как еще, с треском.

— Охота вам обращать внимание? Вы должны быть выше рецензентской болтовни.

— Меня возмущает несправедливость. Если собрать все, что обо мне писали до появления статей Добролюбова, то хоть бросай перо. И кто только не ругал меня? Даже Писарев обозвал идиотом [20]. От ругани не избавится ни один драматург, потому успех сценического деятеля заманчив и вызывает зависть. Роман или повесть прочтет интеллигенция, критика появится для интелли-

генции, и все закончится в своем кругу. Сцена — другое дело. Автор бросает мысли в народ, в чуткий элемент, и то, что простые люди услышат, разнесется далеко, далеко. А внешний восторг, а крики, а овации, от них хоть у кого закружится голова. В особенности соблазнительны деньги, которые зарабатывает драматург, и счастливцу это не прощается. Зависть всюду кишит, а в таких случаях она принимает гигантские размеры; нередко друзья перестают быть друзьями и начинают смотреть на драматурга как на человека, которому везет не по заслугам. Невозможно!

И это пресловутое слово «невозможно» он по обыкновению произнес с особенным усилием. После сказанного не удивительно, что Островский даже с нежностью относился к людям, искренно ему расположенным.

В Москве в числе немногих других лиц пользовался его особенным расположением покойный Н. И. Музиль. Это был очень умный, способный, тактичный, приветливый человек, умевший своею ласковостью располагать к себе всех. Как актер он был среднего дарования, не лишенный веселости, что для сцены очень приятное качество.

Николай Игнатьевич ясно сознавал, что заслужить симпатии такого большого человека, как Островский, лестно, и артист так овладел душой автора, что ни одна его пьеса не только не появлялась без участия Музиля, но все они шли в бенефис артиста, причем он иногда играл и неподходящую роль. Островскому кололи глаза его пристрастием, но он не обращал никакого внимания на подобное замечание и не изменял своих отношений к любимцу.

Был у него и другой фаворит [21], к которому он относился еще с большею любовью и тоже давал в своих пьесах также несоответствующие роли, и поэтому пьесы с его участием шлепались, но Александр Николаевич только некоторое время дулся, а потом все шло по-старому. Деликатность этого человека была так велика, что никакие неудачи не могли изменить его чувств.

В Петербурге у него тоже был подобный лиходей — Ф. А. Бурдин, буквально благоговевший перед автором «Бедность не порок».

Имевший значительные средства, Федор Алексеевич в каждый приезд своего кумира устраивал головокру-

жительные банкеты. Такое внешнее расположение еще больше скрепляло интимную связь актера с автором, и роли в его пьесах, как из рога изобилия, сыпались на мало даровитого исполнителя.

Как-то раз, беседуя с Островским, я неосторожно задел этот вопрос. Александр Николаевич не только обиделся, но даже рассердился.

— Невозможно! — проговорил он порывисто, скрестив руки и опустив голову в плечи.— Зачем вы повторяете то, что люди говорят?

Я сконфузился.

— Извините, я не знал, что моя фраза может раздражить вас.

— Зная меня, вы не должны предполагать, что я могу поступать неосмотрительно. У нас существуют системы бенефисов, каждую неделю идет новая пьеса. Все знают, что не за заслуги часто бенефисы даются, а за угодливость начальству, но это еще полбеды, а беда в том, что каждый бенефициант ищет для своих театральных именин не пьесу, а хорошую роль, то есть возможность хоть раз в году сыграть что-нибудь заметное. Зачем же им литературная пьеса? Многие из подобных бенефициантов даже и не понимают, что такое литературность. Ему проорать бы четыре акта благим матом или проходить колесом по сцене, и довольно. Раек станет свирепствовать, в театре будет стоять гам — это ли не успех, а ему этого только и нужно. Николай Игнатьевич, как человек образованный, не подходит под общий уровень. Ставя в бенефис мои пьесы, он не только играет второстепенные, но третьестепенные роли, и таким образом пьеса идет и дает мне заработок, про Бурдина и говорить нечего. Петербург решительно не хотел признать театра из народного быта. Купцы с их простонародным жаргоном резали уши петербургскому обществу, и пьесу «Не в свои сани не садись» не хотели ставить. Помогли мне только энергия и знакомство Федора Алексеевича. Как образованный и зажиточный человек, пивавший с сильными мира сего много раз шампанское, мог повлиять на кого нужно, и пьеса была поставлена [22]. Бурдин же, игравший Бородкина, превзошел себя, и пьеса понравилась, но не всем. Некоторые утверждали, что никому не интересно, как живут в своих углах купцы и что они делают; другие же ликовали,

что повеяло на сцене русским духом. Как же мне не ценить Бурдина, как своего пионера, не боявшегося даже таких сильных людей, как любимца петербургской публики актера Максимова, который во время представления пьесы зажимал нос и с гримасой говорил: «Сермягой пахнет!» Это нужно было пережить, перестрадать, а ничто не связывает так людей, как страдание.

Проговоривши это, Островский добродушно улыбнулся и любовно обратился ко мне:

— Не сердитесь, что я резко ответил вам,— наболело!

Вспоминая былое и перебирая наброски, сохранившиеся у меня в портфеле, я невольно вспоминал чудные минуты, проведенные мною в кабинете Островского, невольно мне приходит на память фраза того же Бурдина, помещенная в одном из напечатанных им писем к Островскому; в нем Федор Алексеевич упрекает старого друга в охлаждении, усматривая причину в том, что у него завелся «Невежин» [23]. Этот забавный упрек невольно вскрыл то искреннее чувство, которое питал ко мне Островский, чем до сих пор я горжусь.

Совсем иные отношения у Островского к другому своему сотруднику, Николаю Яковлевичу Соловьеву. Правда, самое сближение их произошло при исключительных обстоятельствах.

Как известно, Островский отыскал Соловьева, когда тот очутился послушником в одном из монастырей.

Мы не вправе и не будем касаться того, что привело будущего писателя в монастырь, а отметим только то, что Александр Николаевич, прослышав, что у этого послушника есть пьеса, извлек его из монастыря, поместил на время у себя, переработал найденные листки, и в русской литературе появилась новая пьеса под названием «Счастливый день».

Видя к себе сердечное отношение Островского, я не мог не интересоваться, как относится он к другому своему сотруднику.

— Прежде чем ответить, я дам вам прочесть манускрипт «Женитьбы Белугина», по которому сделана пьеса.

Я с большим интересом прочел рукопись. Тем более с большим интересом, что в обществе ходили толки, что

Островский не только испортил, но извратил работу Соловьева. И что же я увидел? Потуги дилетанта, писание малообразованного человека, старавшегося разрешить труднейшие человеческие отношения. Пьеса была написана не литературным языком, а главное, она была скучна. Под пером Островского все дефекты исчезли, и «Женитьба Белугина», как комедия нравов, шедевр, и до сих пор не сходит с подмостков театров. Возвращая рукопись, я не мог не отметить, что пьесу нельзя узнать.

— Важно не это, а то, что при переработке Николай Яковлевич не принимал никакого участия. Он бесспорно даровитый человек, но это дарование своеобразно; оно совершенно не культивировано и окутано громадой чего-то ненужного, что приходилось счищать, чтоб добраться до зерна. Я пробовал призывать Соловьева для совещания, но раскаялся. Своими речами он приводил меня в ужас. «Помилуйте, говорил я ему, да у вас совсем другое написано, а то, что вы теперь замечаете, совсем не подходящее к делу. Трактует о чем-то хорошо, только совсем из другой оперы». Помаялся я, помаялся, наконец перестал звать его к себе, и всю обузу вынес на своих плечах. А когда пьеса была сыграна и имела успех, тогда он как шальной обнимал меня.

— Неужели же со всеми пьесами Соловьева вам пришлось так возиться?

— Да, не меньше. Меня обвиняли, что я вношу в пьесы порнографический элемент [24]. Так в этом я не виноват. Николай Яковлевич наметил личность, а разве господ Ашметьевых влечет к женщинам что иное, кроме половых чувств? А Варя? Соловьев хотел отметить у нее качество дикарки тем, что она способна была как к любовным шалостям, так и к религиозным настроениям; может быть, так и бывает, но со сцены это покажется фарсом. Представьте себе клоуна, который ни с того ни с сего станет посредине цирка на колени и начнет молиться богу, но не для возбуждения смеха, а всерьез. Конечно, такого субъекта немедленно отправили бы в сумасшедший дом. Так и я не нашел никакой возможности установить у Вари мистический порыв. Оставалось одно — уничтожить всякую религиозность, что я и сделал, а меня упрекали, что я извратил идею пьесы.

— А как отнесся к этому Соловьев?

— Что он думал и чувствовал, я не знаю, а когда «Дикарка» имела успех, был в восторге. Потом мне сообщили, что он порицал меня, но я понял, что в этом сказывалось его задетое самолюбие.

Вслед за этим появилась пьеса «Светит, да не греет», написанная Соловьевым в сотрудничестве с Островским [25].

Раньше этого шла комедия «На пороге к делу». В этой пьесе видна была рука Александра Николаевича. Но он только «поправил» ее, и произведение осталось единоличною собственностью Николая Яковлевича.

Успехи вскружили ему голову, и он так возгордился, что решил отойти от Островского и работать самостоятельно, что откровенно и высказал своему патрону [26]. Александр Николаевич отнесся к этому заявлению совершенно спокойно и выразил даже удовольствие, что его бывший сотрудник настолько окреп, что может работать без него, но я, как читавший рукописи «Женитьбы Белугина» и «Дикарки», знал, что у Соловьева не хватит сил одному идти с таким же блеском, как он шел при участии Островского.

Однако сотрудничество распалось: Николай Яковлевич написал комедию под названием «Прославились» и предъявил Островскому, чтобы он высказал о ней свое мнение. Свидание их и объяснение происходило при мне в Петербурге на Мойке в квартире брата Островского, Михаила Николаевича, члена Государственного совета, ставшего впоследствии министром государственных имуществ. Жаль было смотреть на Соловьева, которому пришлось выслушать далеко не лестные отзывы о его работе.

— Не думайте, Николай Яковлевич, что я говорю вам это потому, что мы разошлись. Теперь, конечно, я уже не возьму для переработки пьесу вашу, но сказать правду считаю своим долгом и говорю, что после тех работ, с которыми вы выступали на сцене, с такой, как эта, вам выступать стыдно. Это не пьеса, а фарс, достойный пера Крылова в соединении с Лейкиным, и я почувствую неловкость, когда лицо, близко стоявшее ко мне, будет не только обругано, а осмеяно. Чтобы проверить себя, я дал прочесть вашу рукопись брату Мише. Спросите его.

Михаил Николаевич, бывший тут же, со свойственной ему дипломатичностью подтвердил сказанное, добавив, что это будет маленьким литературным самоубийством.

Но Соловьев, нуждавшийся в деньгах, не внял доброму совету; пьеса была поставлена и с треском шлепнулась. Это падение было началом последующих неудач его самостоятельной деятельности.

После «Прославились» была написана им драма «Медовый месяц», которую постигла та же участь. Потом появился «Разлад», также не имевший успеха. Так закончил свою деятельность человек, для которого случай явился добрым гением, или, вернее, лучом, который погас после того, как зазнавшийся писатель, не рассчитав своих сил, свернул с прямой дороги.

По поводу «Медового месяца» мне пришлось беседовать с Островским.

— Ах, что можно было сделать из этого материала! — сказал он.— Какой чудный сюжет! Но Соловьев остался верен себе. Потуги большие и намеки прекрасные, но не ему было справиться с широкой задачей. Но разве он один такой? Если бы вы знали, какая возня была мне с Гедеоновым. <...>

— Я не раз удивлялся, как вы могли сойтись с таким лицом.

— Это и для меня было неожиданностью. Вдруг получаю письмо: «Имею сделать вам очень щекотливое и серьезное предложение». Я смутился. Какое Гедеонов может мне сделать предложение. Уж не хочет ли дать мне служебное место? С таким недоумением я отправился в Петербург и представился ему.

Оказалось, что генерал написал хронику «Василиса Мелентьева» и призвал меня, чтобы я переработал сюжет и придал пьесе литературную форму [27]. Я, конечно, не мог отказаться, и вот тут-то началась для меня пытка. Гедеонов, как директор театра, считал себя непогрешимым и вознамерился невинность соблюсти и капитал приобрести; другими словами, чтобы я сделал все так, как будто бы это принадлежит ему. Он не понял, что учебники, дающие материал,— только скелет для художественного произведения. Что история — оболочка для художника, а суть — в развитии характеров и психологии. Но мои слова и убеждения только раз-

дражали сановника, и я, прежде чем добиться чего-нибудь, немало испортил крови. Да, это была возня почище, чем с Соловьевым. Но все-таки с генералом я расстался в самых лучших отношениях.

Островского обвиняли за то, что он брал готовые пьесы, делал в них незначительные перемены и получал половину гонорара. Отношения его к Соловьеву ясно показали мне, что это обвинение было голословно. Конечно, в чужое творчество вторгаться трудно, но обращать внимание только на технику и на сценичность... такая работа не может удовлетворить, и Островский, прежде чем решаться на поправки, с величайшей деликатностью подходил к автору с своим мнением. Я испытал это на себе, когда мы «перефасонивали», как подшучивал Островский, мою комедию «Блажь». Переделывать ее было нелегко, потому что по цензурным требованиям приходилось вместо матери вставлять в пьесу сестру от первого брака отца. Этим искажалась идея, между действующими лицами возникали новые отношения и должны были изменяться самые сцены. Тут-то Островский, забывая горделивое положение патрона, без стеснения сказал:

— Эти лица ближе вам, чем мне; набросайте-ка сцену в подходящем духе, а потом разберемся.

За все время работы между нами не произошло ни одного столкновения; как я, так и он понимали, что содержание пьесы тускнеет, приходилось покоряться тяжелому режиму, бывшему в печати, но все-таки мы сделали переработку настолько удовлетворительно, что Салтыков-Щедрин напечатал «Блажь» в «Отечественных записках», заплатив нам по триста рублей за акт.

Одновременно с трудами по сотрудничеству Александр Николаевич трудился над своими собственными произведениями.

Эта эпоха его деятельности по духу творчества резко отделялась от прошлого. Прежде он был сатириком-художником, в последние же годы своей деятельности стал задевать и гражданские несовершенства страны. В его время добиться развода было подвигом, поэтому мужу или жене подчас приходилось прибегать к самым недостойным уловкам, коробившим щепетильных людей. В этом духе написана им комедия «Красавец мужчина»; в ней есть очень рискованная сцена, во время

которой являются лжесвидетели измены. Теперь такой пассаж показался бы только пикантным, тогда же автора обвиняли в цинизме, развращенности и жестоко осуждали, особенно в Москве, где лицемерие симулировало за добродетель; в Петербурге же к пьесе отнеслись снисходительнее [28].

Когда же Александр Николаевич читал нам пьесу у себя дома, то большинство слушателей не нашло в «Красавце мужчине» ничего шокирующего. Правда, было несколько скептиков, которые, зная московскую публику, предсказывали неуспех, но против таких опасений восставали актеры Писарев и Андреев-Бурлак, горячие почитатели Островского.

— Пьеса хорошая,— заметил Бурлак, обращаясь к Александру Николаевичу,— только нам от нее пользы мало. Не пишете больше простых людей, а принялись за интеллигенцию, нам эта сфера мало подходит.

— Да вам разве не все равно, какой автор и какая сфера; одинаково будете играть не то, что написано, а говорить то, что в голову придет.

— То есть это как же так?

— Помните, когда вы спросили меня в театре Солодовникова о вашей игре Счастливцева, то я отказался судить, потому что вы не сказали ни одного слова из текста, а стало быть, играли не мою пьесу, а свою собственную.

— Какой вы злопамятный! Но если б вы знали, что случилось на днях, заговорили бы другое.

— Что ж такое случилось?

— Играл я Подхалюзина. После последнего акта подходит ко мне суфлер с претензией: «Что, говорит, Василий Николаевич, вы делаете со мной? Через вас я в люди вышел, а теперь должен пропасть. Скажут, уж если Бурлак стал роли учить, стало быть, суфлера надо устранить, а у меня семейство».

Все присутствующие рассмеялись.

Бурлак продолжал шутовски:

— Вам, господа, хорошо смеяться, а каково мне напраслину терпеть! Слышали, какую Александр Николаевич пулю отлил? Вам, говорит, все равно, кого ни играть, его ли пьесы или кого другого. Этак, пожалуй, и до Виктора Крылова можно дойти.

«Красавец мужчина» действительно успеха не имел, но в этом виноват был сам Островский, отдавший главную роль очень талантливому актеру М. П. Садовскому, ни с какой стороны не подходившему к изображаемому лицу. У артиста было очень умное лицо, о красоте же не могло быть и речи, а между тем на этом качестве зиждилась пьеса; Садовский, как бытовой актер, никогда не отличался изящными манерами, без этого же обаяние лица падало. Но Островский так тесно был связан с семейством покойного Прова Михайловича, что при всяком случае старался выказать свое беспредельное расположение сыну его, своему крестнику [29].

И много раз ему приходилось страдать за свою доброту, но ни один актер не считал себя виноватым, а утверждал, что из роли ничего нельзя было сделать.

Островский знал об этом, но никогда не высказывал, что до него дошли толки, и даже оправдывал говоривших:

— Актерам надо прощать, потому они все ведут ненормальную жизнь. Сколько каждому из них приходится выучить ролей, то есть набить себе голову чужими мыслями, словами, еще чаще выражать чужие чувства. А зависть, интриги, клевета... в конце концов ему так очертеют люди, что он никого не любит, кроме себя, да и себя-то любит ли? Потому нельзя же назвать любовью то, когда люди не дорожат семьями, а сходятся и расходятся, не имея подле себя постоянного верного друга. Устоев ни у кого нет, а без этого якоря можно сделать и сказать что угодно. Поэтому-то на них и нельзя сердиться.

Отличительной чертой Островского была осторожность. Только человек, пользовавшийся его доверием и расположением, мог видеть Островского таким, каким он был на самом деле.

Он презирал хищников, а поэтому презирал плагиаторов, во главе которых стоял переделыватель Крылов. Когда становилось известным, что он написал «новую пьесу», то Островский спрашивал:

— У кого стяжал?

О том, что у кого-нибудь взята, никто не сомневался, только доискивались — у кого?

При этом воспоминается один забавный случай, происшедший между плагиатором пьесы «на законном ос-

новании» и секретарем Общества русских драматических писателей Владимиром Ивановичем Родиславским.

Приходит к нему Крылов получить расчетный лист на гонорар и видит, что пьеса «На хлебах из милости» причислена к переделке.

— Это неправильно. Пьеса оригинальная.

На это Родиславский не возразил, но отодвинул ящик своего письменного стола, вынул оттуда экземпляр на немецком языке и спокойно заметил:

— Оригинал-то вот, а это переделка.

Тут Крылов, видя, что пойман на месте преступления, должен был ретироваться.

Этот случай не угомонил Крылова, и он по прошествии некоторого времени явился к Островскому убеждать его, чтоб с переделывателей не взыскивали в пользу Общества больше, чем с оригинальных произведений. Сначала Александр Николаевич молчал и иронически улыбался, но потом не выдержал и горячо спросил:

— На каких же соображениях вы считаете переделку равносильной самостоятельному творчеству?

— Потому что переделка не перевод, а тоже своего рода творчество.

— Невозможно! Автор задается известной идеей, делает схему пьесы, потом сценарий ее, затем разрабатывает положения и типы. Чтоб это выполнить, нужно иметь хоть маленький талант и много потрудиться. Что же проделывают переделыватели! Одни берут бытовое произведение, изменяют место действия и переименовывают действующих лиц. Так разве мудрено Фридриха назвать Федором, а Жоржа Егором или Клотильду перекрестить в Екатерину? Это может сделать всякий протоколист из участка; написать же пьесу — дело мудреное. Переделыватели не пытаются создать что-нибудь свое, а запускают руку в чужое добро. Вы, конечно, думаете не так, потому что сами занимаетесь тем же, но я не только не могу быть ходатаем за подобное творчество, но открыто высказываю ему полное порицание.

Я сидел в сторонке и с любопытством смотрел на лицо Крылова, которого так беспощадно бичевал Островский, но к Виктору Александровичу можно было приложить известную фразу: «И на челе его высоком не отразилось ничего» [30]. Он бесстрастно не сморгнул глазом,

слушал Александра Николаевича, потом развязно заговорил:

— Лучше хорошо переделать пьесу, чем написать скверно оригинальную. Шекспира никто не обливает грязью и не бросает каменьями, а между тем он не придумал ни одного своего сюжета, а разрабатывал легенды и новеллы, написанные другими.

При этих словах Островский встал с места и произнес свое традиционное:

— Невозможно! Если уж дело дошло до того, что вы сопоставляете ваше кропание с трудами великого англичанина, то дальше этого идти я считаю лишним и возражать вам не буду; что же касается уменьшения вычета с вас, то подайте заявление в комитет, он, в свою очередь, сделает доклад общему собранию, а как оно решит — дело его.

— Порядок я и сам знаю, но к вам пришел, надеясь у вас найти справедливость и просить, чтоб вы оказали известное давление.

— Потому-то я и не буду за вас, что хочу быть справедливым, а поэтому не буду защищать переделок.

Крылов пустился доказывать, сколько он своими работами принес матерьяльной пользы Обществу, но хозяин не возражал ему, и афраппированный * гость, сухо простившись, ушел.

Вот с какими, до очевидности нелепыми, проектами приходилось воевать Островскому.

Но его еще более волновало то, что переделывателями были некоторые литературные корифеи.

А. А. Потехин, не бывший раньше никогда в фаворе у дирекции, получив место начальника репертуара императорских театров, сначала распоряжался в Петербурге и Москве, переезжая из одной столицы в другую. Это найдено было неудобным, и Алексей Антипыч остался главарём на берегах Невы.

Это были все комические элементы театральной жизни. Гораздо более деятельность Потехина, назначению которого много способствовал Островский, производила тяжелое впечатление.

— Ну и удрал же я штуку! Нашел за кого просить. Как посмотришь, что он делает, так и стыдно станет.

---

* пораженный (от *франц.*— frapper).

Алексей Антипыч повытаскал все свои забытые пьесы и ну их ставить. Это называется своя рука владыка. Так этим он принижает в глазах публики литературную корпорацию. Я намекнул ему на это обстоятельство, так он словно и не слышит. Но еще хуже он ведет себя как начальник. Говорят, в труппе идут страшные неприятности. Потехин долго не удержится, и не кончить ему добром [31].

В известной мере это предсказание сбылось, и хотя Алексею Антипычу дана была пенсия в две тысячи рублей в год, но этому никто не удивился, так как в эту пору в императорских театрах пенсии раздавались довольно щедро.

Этим благом пользовались состоявшие на службе. Кто же к этому миру прикасался своими трудами, те были совершенно устранены от всяких благ материальных. Это испытывал на себе и сам Островский.

Написал он пьесу «Невольницы» с несколько рискованно эротическим оттенком. Но что такое этот оттенок в прошлом в сравнении с тем, что пишут теперь? Там молодая женщина увлеклась приказчиком, неотступно преследует его и даже делится впечатлениями со своей подругой, которая на это с цинизмом отвечает:

— Любовь! Это будет тебе дорого стоить.

— Я люблю платонически.

— Платонически? Это обойдется еще дороже.

Думала ли публика, возмущавшаяся такими невинными вольностями, что ей придется дожить до такого времени, когда будут выдвигать на середину сцены двуспальную кровать, на которую улягутся мужчина и женщина («Под звуки Шопена» [32]). Но тогда стыдочек еще существовал и сдержанность для писателей считалась обязательной, а также и для актеров, что доказала одна артистка, отказавшись играть в «Невольницах». Это не только оскорбило, но поразило Островского.

— Вот они друзья! В глаза говорит одни ласковые речи, а о средствах к жизни автора и не думает. Будет ли мне с чем кухарку послать в Охотный ряд, не ее дело. А ведь автор прежде всего человек. Артисты и артистки скоро забывают, кому они обязаны своими успехами. Может быть, отказавшаяся думает, что я буду ее утруждать письменными просьбами или сам приеду кланяться, так очень ошибается. Лучше перетерплю.

Интересно то, что та же пьеса после смерти Островского была поставлена на Александринской сцене и в ней играла та же самая артистка, которая отказалась играть при жизни автора. Она пожинала лавры, блистая на сцене и в обществе, а автор от обид и оскорблений сидел, укрывшись от людей, в своем кабинете и, угнетаемый условиями жизни, терял свои физические силы. Что касается памятника тому же творцу любимых пьес, то это другое дело! Мы будем бросать напоказ золото и бумажки, забывая, что вызывали на лице того же человека негодование и упрек[33].

Я помню, когда приходилось заводить разговор о бренности славы, то Александр Николаевич покачивал с горечью головой и говорил:

— «Слава»? Она нужна не тому, над кем вознесут лавровый венок, а для тех, кто будет рисоваться патриотизмом и преклонением перед этими слугами родины, над которыми при жизни висел не лавровый венок, а темная туча.

На несчастье Александра Николаевича, бывший директор императорских театров Всеволожский не любил Островского как писателя. Проживший большую часть за границей и бывший долгое время атташе при посольстве, Всеволожский брезгливо относился к бытовой стороне русской жизни.

— Сермяга! Может быть, это и подходящий костюм для известного слоя населения, но на императорской сцене не должно пахнуть козлом; для этого должен существовать народный театр.

К чести И. А. Всеволожского надо сказать, что он хотя и не сочувственно относился к творчеству автора «Грозы», но отнюдь не был противником постановок его пьес.

Разрешение на сценах частных театров значительно увеличило авторский гонорар Островского. Так в одном только театре Корша в утренние спектакли почти всегда исполнялись его пьесы. Но это в глазах Александра Николаевича было не чем иным, как маскировкой настоящей физиономии театра.

По поводу одной из таких постановок я заговорил с ним о Корше и об его театре.

— Он, кажется, делец, но как о человеке я не могу сказать о нем ничего. Одно мне подозрительно: говорит

тонким голосом, а уж эти мне тенора! Много знал я их, и один чище другого. Теперь я взял такую манеру,— как только кто тенором заговорит, остерегаюсь. Что касается театра Корша, то Федор Адамович мастерски ведет дело. Утренники у него хоть куда! То ставит бытовые, то классические,— знай, мол, наших! Зато вечером — лавочка, и лавочка лоскутная. Там у него есть все, что может давать доход, а уж о качестве товара — не спрашивай. Мелькают иногда и там имена, но это тоже для колера, а между тем в труппе есть хорошие актеры, которым стыдно вертеться в свистопляске. Что поделаешь — нужда! Всякому хочется жить в хорошем городе, на постоянном месте, а не трепаться по провинции, откуда многим из них приходилось идти по шпалам. Но хуже того то, что у Корша актеры портятся. Как погаерничает несколько сезонов, куда же он будет годиться! Из тона выбиться легко, а наладить его очень трудно. Но в этом Корша не упрекают, а кричат, что он прежде держал вешалку. Это глупо. Кому какое дело, кто чем раньше занимался? Нужда может заставить сделать все. Очевидно, Коршу не повезло в адвокатуре. Много трудиться и переколачиваться с хлеба на квас — куда не интересно; директором же быть очень просто. На сцене работают режиссер и труппа, в мастерских мастера, а директор может лежать себе в кабинете на кушетке и ради развлечения почитывать пьесы. Остальное — уменье потрафить публике, хотя бы в ущерб собственному убеждению, и лавочка будет торговать хорошо. А искусство настоящее забывается — о нем никто и не думает.

В этот период времени Александр Николаевич, хотя оставался верным себе и обрушивался на все, что казалось ему пошлым и своекорыстным, но тон его стал мягче, и желчь в словах появлялась реже. Происходило это, вероятно, оттого, что изменились его условия жизни; ему назначена была пенсия в три тысячи. Но такая перемена не развила в нем эгоизма, а, напротив, вызывала заботу о пишущей братии, и в голове его стал зреть план о том, как подобную награду сделать не случайной, а обратить в право.

— Обо мне судачат некоторые господа, что я сделался пенсионером по протекции. Пускай так, но моих литературных заслуг отнять никто не может, и я с гордостью могу сказать, что назначение мне пенсии есть только то,

на что имеют право и другие литературные работники, с честью послужившие государству. При нашей апатичности достигнуть этого, конечно, трудно, но надо стараться, и я буду стараться. Образчиком я хочу взять маленькую Норвегию, где стортинг в числе других государственных дел рассматривает заслуги писателей и назначает им пенсии. У нас нет подобного учреждения, как стортинг, так пусть народных представителей заменят члены Академии наук.

Перелом, совершившийся перед нашими глазами, показался бы ему фантасмагорией. Если бы кто-нибудь решился в последние годы жизни Островского предсказывать то, что сделалось достоянием страны, то его сочли бы праздным болтуном, а если бы придавать таким словам серьезное значение, то болтун обратился бы не только в смельчака, но в опасного человека, которому не миновать бы прогулки в места не столь отдаленные, но и отдаленные. Но если общественный строй выразился в обязанностях народных представителей ведать государственный бюджет, то и пенсии писателю, как мера до известной степени экономическая, должна рассматриваться не академиками, а членами Государственной думы, что, вероятно, впоследствии и будет [34]. Кроме этого, Островский мечтал о учреждении премий при императорских театрах, но не таких ничтожных, какие существуют в Одессе — Вучины и в Москве — Грибоедовской, за лучшие из драматических сочинений [35].

— Что такое пятьсот рублей? Премии в таком размере не имеют никакого смысла. На эти деньги можно пожить некоторое время всласть или съездить куда-нибудь, а премия должна оказать писателю такую поддержку, чтобы он мог отдохнуть и, избавившись на время от трудовых забот, с новой энергией принялся бы за дело.

В этих соображениях есть глубокий смысл. Долгое время испытывая нужду, Александр Николаевич понимал, что значит отрешиться от непрестанного труда и освежиться мыслями.

— Про меня говорят, что я при случае опираюсь на моего брата — министра. Этому должны радоваться. Михаил Николаевич как человек просвещенный и горячий патриот искренно радуется, если совершается что-нибудь хорошее, и всеми силами стремится содейство-

вать прогрессу. Я сильно надеюсь на его поддержку, когда представлю мои проекты о писательской пенсии и о премии. Боюсь, что не доживу до этого; силы стали изменять, и порой опасаюсь, что вот-вот мое сердце остановится. Это будет для меня жестоким ударом не только потому, что смерть скверный акт, а потому, что исчезнет человек, забравший некоторую силу и которому легче бороться с предрассудками и отсталыми людьми. Заговорите с кем-нибудь из них о пенсиях литераторов и услышите в ответ: «За что? Люди балуются, а им отваливай из казны деньги». Совершись же то, о чем я мечтаю, те же бритые физиономии умолкнут, потому как же порицать то, что совершилось с «высочайшего соизволения».

Так рассуждал великий человек, не перестававший думать о слабых и желавший укротить нрав называвшихся «сильными», но которых приличнее назвать бы только жестокими.

Не знаю, остались ли в бумагах покойного наброски о том, о чем мы говорили [36], но его слова до сих пор звучат в моих ушах. Я считаю своим долгом огласить то, как любил незабвенный драматург пишущую братию, вносивших пером свет в тьму русской жизни. Если он над многими подсмеивался, а над некоторыми даже зло, то такое бичевание происходило не по злобе, а потому, что ум Островского находил смешные стороны у тех, кто в обществе считался безупречным.

Очерчивая личность Островского, я не старался вставить его в ореол, но, вспоминая этого человека с наивной детской душой, я стремился отметить черты его характера, которые каждому, кто вдумается, объяснят, почему все работы Островского отличаются необыкновенной чистотой и желанием осмеять то, что ограниченные люди считают устоями общества и времени. Перед нами во весь рост стоит общественный деятель, которым гордиться должна страна и имя которого на вечные времена станет синонимом справедливости, гуманности и борьбы за свободу. Но он сам, как борец, не ходил на ходулях и не величался, а скромно как истинный человек дошел до своего пристанища, к нашему горю, не исполнив своей заветной мечты. Теперь бог знает когда явится такой благожелательный, окрепший и имевший большое значение писатель, который в состо-

янии будет осуществить то, о чем мечтал Островский в последние дни своей жизни. Можно ручаться, что он добился бы своего, но, видно, русских писателей окутывает мгла, не дающая им возможности нормально существовать. Остается надеяться, что идея Александра Николаевича не умрет, но только время проведет ее в жизнь. Не умрут и его дивные произведения. Некоторые господа называют их уже архаичными, но это настолько несправедливо и даже неумно, потому много ли пьес остались вечными. Шекспир? Но и он стоит непоколебимо как творец драм; комедии же его не что иное, как бытовые картины прошлого.

По поводу «вечности» Островский остроумно замечал:

— Кто *хочет* много охватить, тот ничего не охватит. Мы должны изучать то, что вокруг нас.

Работы незабвенного драматурга навсегда останутся близкими сердцу русского человека по своему благодушному юмору и по своей незлобивой сатире. Как бы сильно автор ни наносил удары известному лицу, но никогда не забывал, что это «человек», у которого за самыми темными качествами просвечивается нечто оправдывающее его, а именно невежество, подавлявшее страну, и дикость, присущая полуживотному состоянию, в котором находился низший слой населения.

Бичевание, которому подвергал героев темного царства, было не чем иным, как стремлением сбросить с глаз завесу и сказать: «Проснись, взгляни на себя, одумайся, памятуй, что ты создан по образу и подобию божию, и не тем звероподобным, каким ты живешь». Это был подвиг, который не будет забыт народом, и всякий, проходя мимо памятника гениального драматурга, с благоговением посмотрит на него как на своего друга, любившего родную страну и бывшего для нее ярким светильником.

И. Ф. Василевский

ИЗ МОСКОВСКИХ В ЧЕСТЬ ПУШКИНА ПРАЗДНЕСТВ В 1880 ГОДУ

(По личным воспоминаниям)

Торжество открытия памятника Пушкину в Москве сопровождалось рядом блестящих литературных собраний и празднеств. Они продолжались четыре дня, с 5 по 8 июня включительно 1880 года.

В их программе значилось: официальный прием (в день открытия памятника), под председательством его императорского высочества герцога Петра Георгиевича Ольденбургского, приезжих и местных депутаций, банкет от города в честь депутаций, пушкинский музыкальный, драматический и литературный вечер, большой обед,— почти исключительно литературный,— данный Обществом любителей российской словесности, и наконец два замечательных чтения в этом же Обществе, посвященные памяти поэта и истолкованию его личности и творчества. Эти четыре незабвенных дня оставили после себя очень глубокое и цельное впечатление. Все, пережившие их на месте, в Москве, с восторгом признали их небывалыми. Наше образованное общество никогда не видало такого единодушного увлечения, такого сильного подъема гражданского, общественного и личного чувства. Эти четыре «красных дня» почти непрерывно держали Москву, а с нею Петербург и всю Россию, в необыкновенно горячем и пылком нервном оживлении и возбуждении, в каком-то сладком экстазе восхищения

и умиления, в сфере наиболее высоких и благородных мыслей, целей и настроений. Такой характер пушкинского праздника очень выгодно отразился на всех его составных частях, обусловливавших превосходную гармонию целого и вызывавших в публике неподдельный энтузиазм. Сценичные исполнители пленяли публику, ораторы электризовали, поражали ее. Никогда раньше общественное красноречие не лилось у нас таким широким руслом, не прельщало слушателей такою свободой и свежестью, не отличалось такою вдохновенною, такою могучею и захватывающею силою. Оно принадлежало Аксакову, Тургеневу, Достоевскому, Островскому и др.

Речи, приветствия и обращения говорились и у самого памятника, в час его открытия, и на официальном акте, и на обоих банкетах, давших возможность высказаться очень многим известным и случайным, интересным и банальным ораторам. Московская дума чествовала торжественным обедом детей поэта и депутатов. Второй обед[1] в Дворянском собрании, предложенный только литераторам от Общества любителей российской словесности, особенно увлек слушателей чудесною речью А. Н. Островского. В ней сказалась душевная простота и художественная непосредственность натуры драматурга. Она была очень тепла, светла и красива. Островский говорил ее фамильярным, разговорным тоном, певуче растягивая некоторые слова и окончания, несколько в нос, говорил, заметно сам увлекаясь и увлекая других. Речь его блистала удачными и новыми афоризмами. Их подчеркивали рукоплесканиями. Тут были высказаны, между прочим, следующие мысли: «Главная заслуга великого поэта в том, что чрез него умнеет все, что может поумнеть: Пушкиным восхищались и умнели, восхищаются и умнеют»... «Пушкин сполна раскрыл русскую душу»... «Он первый заявил в Европе о существовании русской литературы». «Немного наших произведений,— говорил Островский,— идет на оценку Европы, но в этом немногом оригинальность наблюдательности, самобытный склад мысли замечен и оценен по достоинству»... Особенно милым был конец речи Островского. Он очень понравился всем своим товарищеским к присутствующим обращением, своим взывающим к веселию ликованием и меткою заключительною фразою. Предлагая тост за русскую литературу, которая пошла и идет по пути, ука-

занному Пушкиным, Островский с необыкновенным одушевлением восклицал: «Выпьем весело за вечное искусство, за литературную семью Пушкина, за русских литераторов! Мы выпьем очень весело этот тост! *Нынче на нашей улице праздник!*» [2] После оглушительных аплодисментов все поднялись с мест и потянулись с бокалами к оратору. Островский сполна выразил настроение писателей и дал ему самый подходящий тон. В его лице человек, которого все очень любят, сказал то, что в данную минуту все думали. <...>

Л. Новский

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ А. Н. ОСТРОВСКОМ

Прошло уже слишком полгода, как Александр Николаевич сошел в могилу; мелкие подробности его жизни, незначительные черты личности понемногу стираются временем, скрадываются в прошедшем. Но тем ярче и выпуклее вырисовывается в памяти цельная личность, вся симпатичная и своеобразная, оригинально русская фигура покойного.

Попытаюсь, на основании личных впечатлений, очертить для читателя эту фигуру.

Внешняя обстановка дает иногда возможность понять склад ума и наметить основные черты характера человека. Поэтому войдем в кабинет, любимую комнату покойного. Александр Николаевич занимал нижний этаж дома кн. Голицына, против храма Спасителя [1]. В том же доме имели квартиры И. С. Аксаков, С. А. Усов и Б. Н. Чичерин. Верх дома занят замечательным музеем кн. Голицына [2]. Голицынскому дому, таким образом, принадлежит известное место в истории русской образованности. Александр Николаевич прожил в нем без малого девять лет после того, как должен был для удобства детей продать свой наследственный домик у Николы в Воробине в Серебреническом пер. [3] близ Яузского моста и переехать поближе к гимназиям. Ни разу не менял он ни квартиры, ни первоначального распределения комнат.

Кабинет нашего драматурга была обширная высокая комната с двумя окнами в большой палисадник, с потол-

ком, расписанным римскими сценами, старинной, очень хорошей работы. Светло-серые, мягкого тона обои. Две стены заняты ореховыми шкафами. За их стеклами можно разглядеть солидную драматическую библиотеку литератур отечественной и иностранных, образцы которых, в подлинниках и переводах, с любовью и знанием собирал покойный. Тут произведения всех западных сцен, всех веков и национальностей: греческие трагики в русском и Аристофан в латинском переводе; подлинные Плавт и Теренций, Кальдерон и Шекспир, Сервантес и Гоцци, Корнель и Метастазио, Расин и Гольдони, Скриб и Мольер, все псевдоклассики, драматурги романтической школы, все, или почти все, новые французские драматурги, как Ожье, Сарду, Фелье, и многое другое, худое и хорошее, посредственное и глубокое. Русская, переводная и оригинальная, драматургия представлена здесь как нельзя полнее, начиная с «действ» XVII века, продолжаясь «Российским феатром», и кончая последними новинками нашей сцены. Всего в библиотеке Александра Николаевича можно насчитать до трех тысяч названий. Отдельный шкаф ее занят критическими трудами, учеными исследованиями по истории и экзегетике сцены и литературных ее корифеев; собрание русских летописей, песен, сказок, пословиц и т. п. пополняют эту коллекцию «источников» *.

Две другие стены кабинета увешаны частой сетью фотографических портретов выдающихся артистов и артисток, живых и умерших — все знаки признательности и воистину доброй памяти об Александре Николаевиче. В часы отдыха от умственной работы Александр Николаевич очень любил заниматься выпиливанием из дерева рамок, причем сам часто составлял рисунки для них с большим вкусом и оригинальностью. Целая стена его кабинета покрыта мелкими рамками, затейливо перевитыми разбегающимися по стене гирляндами плюща и лавровых листьев; все это задумано и собственноручно выпилено Александром Николаевичем из тонкого

* Александр Николаевич высоко ценил памятники нашей старинной литературы и в былые годы деятельно занимался их отысканием у букинистов. Им (вместе с Пр. М. Садовским) открыто, например, в конце пятидесятых годов «Сказание о Фроле Скобееве» [4], послужившее материалом для народной драмы Д. А. Аверкиева. *(Прим. Л. Новского.)*

ясеня. У многих знакомых и друзей Александра Николаевича хранятся рамки, «ажурные» ящики и т. п. изящной его работы и замысла. Вернемся к портретам. На самом видном месте, над письменным столом помещается литографический портрет Мочалова с его оригинальным, идеалистическим выражением; кругом него размещены: энергичная голова Сальвини, далее тут же: Корнелий Полтавцев (прототип Несчастливцева), Каратыгин в «Гамлете», Олдридж в «Отелло», Рыбаков-старший с младшим Садовским (1-я сцена II действия «Леса»), Садовский (Пров Мих.), Барнай в роли Нарцисса; на другой стене портреты актрис: Репиной, Васильевой-старшей, Стрепетовой, Савиной и некоторые другие, между которыми выдается типичная фигура комика и рассказчика И. Ф. Горбунова, в костюме трактирного полового и с соответствующей миной. Портреты литераторов, товарищей Александра Николаевича, занимают не последнее место в этом домашнем пантеоне: здесь выступают главнейшие деятели сороковых — шестидесятых годов, за исключением Достоевского, с которым Александр Николаевич никогда не сходился близко. Некоторые из групп и отдельных портретов, украшавших кабинет Александра Николаевича, сделались уже историко-литературным достоянием и появились в «Русской старине»; из них могу назвать группу некоторых из основателей общества «Пособия нуждающимся литераторам и ученым» [5], где сидят И. Тургенев Дружинин, Григорович, А. Потехин, Островский, Л. Толстой (в офицерском мундире) и др.

В один из шкафов собирались Александром Николаевичем книги «от авторов»: полные собрания сочинений Гончарова, Григоровича, Данилевского, Л. Толстого *, издания Н. В. Гербеля и мн. др. Мягкие диваны шли по стенам, занятым портретами. Кресла тяжелые, капитальные. Среди комнаты небольшой круглый стол; на нем симметрично разложены роскошные иллюстрированные издания, также дареные Александру Николаевичу:

---

* Последний, незадолго до смерти Александра Николаевича, прислал ему новое издание своих сочинений и рукопись «Первый винокур» при письме, где просит у Александра Николаевича позволения переделать для народа некоторые его пьесы. Выполнить этой просьбы Александр Николаевич не успел, хотя вполне одобрил ее в принципе [6]. *(Прим. Л. Новского.)*

«История Петра Великого» Брикнера, «Альбом гравюр Серякова», виды московской выставки и пр. Станок для выпиливанья, еще небольшой стол у стены. По окнам и в жардиньерках растения. Во всем порядок, чистота, устойчивый, хотя не роскошный, не бьющий в глаза, комфорт. В ширину кабинета, у окна, массивный, на объемистых тумбах, письменный стол. На нем в порядке расставлены принадлежности для письма и аккуратно разложены бумаги, прикрытые от посторонних взглядов газетными листами. То были большею частью театральные пьесы, во множестве присылавшиеся на просмотр и суждение Александру Николаевичу как председателю Общества драматических писателей и как знатоку сцены и радушному, ободрявшему дарование критику.

За этим-то столом, поместив в густой, медвежий ковер свои зябкие ноги, сидел обыкновенно за каким-нибудь делом Александр Николаевич. Я не знал уже его здоровым и бодрым. Последние пять лет он постоянно недомогал. Обычным домашним костюмом его — а выезжал он очень редко — была теплая, на меху или на вате, тужурка и мягкие спальные сапоги. Александр Николаевич обладал тучным, сырым телосложением; тучность эта развивалась у него от сидячей, всегда занятой жизни и наделяла его нездоровым, желтовато-серым цветом лица, подчас же сильными приливами крови к голове, опасным сердцебиением и некоторого рода удушьем. Порок сердца, соединенный с перехватом дыхания (asthma cardiale *) — наследственная болезнь Островских: отец Александра Николаевича умер также от этого и также был склонен задыхаться при малейшем волнении. Только в высшей степени аккуратная и умеренная жизнь Александра Николаевича за последние годы сохранила его для нас. Ему также вредны были всякие потрясения испуга, гнева и проч., как и различные излишества или чрезмерная усталь: в деревне, например, подъем не особенно высокий и крутой, от реки к дому, совершенно измучивал Александра Николаевича, и он, обессиленный, садился на полдороге отдыхать на скамью. Равным образом малейшее волнение сейчас же заставляло его болезненно прижимать руки к серд-

* сердечная астма *(лат.)*.



А. Н. Островский среди артистов.

Стоят: Ф. А. Бурдин, К. Н. Полтавцев, И. Ф. Горбунов, А. А. Нильский.
Сидят: А. Н. Островский, Л. П. Никулина-Косицкая.
Фотография. 1863.

цу, где он чувствовал какое-то давление, соединенное с приступами грудного удушья. Последние годы эти явления повторялись иногда и без внешней видимой причины, и повторялись преимущественно по утрам, после боли в груди ночью. Ночной сон Александра Николаевича был слаб, чуток и непродолжителен: он редко ложился раньше двух часов, а в семь обыкновенно бывал уже на ногах. Выдавались и целые ночи бессонницы или спешной работы над новой пьесой. После таких ночей Александр Николаевич чувствовал обыкновенно себя крайне разбитым, жаловался, что «все болит», особенно же грудь и поясница; дневной послеобеденный сон плохо освежал его и редко восстановлял к лучшему угрюмое расположение духа. По-моему, можно сказать утвердительно, что постоянная работа и связанная с нею сидячая жизнь, усиливая природную тучность тела Александра Николаевича, тем самым подготовили дурной исход неблагоприятно сложившихся наследственных данных.

Впрочем, тучность Александра Николаевича не бросалась резко в глаза: она значительно скрадывалась высоким ростом, пропорциональной шириной и плотностью всей фигуры. Александр Николаевич был выше среднего роста, с крупным, осанистым туловищем и очень широк в плечах, помещавших на полной, довольно высокой шее крупную ширококостную голову с большим выпуклым лбом и пропорционально развитым черепом. Волос, рыжевато-белых, на голове было уже мало, когда я начал его знать; зато не особенно густая, но правильная плоская борода, изжелта-сероватой сединой обрамлявшая лицо драматурга, удивительно симпатично оттеняла черты этого лица выражением мягкого благодушия; небольшие, глубоко впалые глаза глядели в хорошую минуту добродушно-светло и ласково, слегка лукаво; когда же он бывал не в духе или нездоров, эти глаза тускнели и, полузакрытые веками, глубоко уходили в подглазицы; тогда все лицо старчески болезненно сморщивалось, и на тонких губах выступала не то немощная, не то скорбно-сатирическая складка, с какою он изображен на одном из лучших своих портретов последнего времени [7].

Александр Николаевич принадлежал к числу стойких натур, нелегко поддававшихся душевному недомо-

ганию; он не скоро опускался и никогда не «раскисал», как говорится: никогда он не терял окончательно бодрости духа, способности к работе или к обдумыванию ее. До последнего момента он трудился, напрягая все силы, на пользу своей семьи и горячо любимых им драматической литературы и сцены. Это был, помимо таланта, образцовый труженик и неутомимый работник. На старости лет выучился он испанскому языку, с которого и перевел интермедии Сервантеса; его мечтой было перевести еще некоторые главы «Дон-Кихота», с народными сценами и поговорками. За день до смерти он продолжал свой «ученический» перевод «Антония и Клеопатры». Он говорил, что учится на этом переводе английскому языку и Шекспиру; сначала переводил он буквально, слово в слово; затем г. Ватсон, англичанин и знаток всех тонкостей шекспировского языка, пояснял Александру Николаевичу смысл каждого фигурального выражения; затем уже, после подробнейшего изучения и комментирования текста, причем призывались на помощь и лучшие критики Шекспира,— Александр Николаевич приступал к версировке перевода белыми стихами; он говорил, что выходит «слово в слово, и гладко». Такую работу он, впрочем, называл отдыхом: «Все равно что чулки вязать». Покойное, ясное настроение духа, которым пользовался Александр Николаевич в часы подобных занятий, подтверждало эти слова. Во всех взглядах, суждениях, действиях, во всем нравственном обличии Александра Николаевича никогда не сказывалось ни одной черты чего-либо мистического, отвлеченного, трансцендентного; никаких «умствований», ни малейшей склонности к теорезированию или, тем паче, к фразе; у него был ясный, трезвый взгляд, широкий и простой; склад ума чисто русский, можно сказать, народный, метко и глубоко понимавший истую, характерную сущность вещи... Александр Николаевич не любил много говорить и редко высказывался. Он, скорее, любил промолчать, любил больше послушать, чем говорить; с чисто великорусской «хитринкой» умел он, чуть-чуть прищурясь, внимательно следить за нитью разгорающегося спора, оставаясь сам в стороне; и затем, разом войдя в разговор, метким и острым словом разрешить спорный вопрос, осветив его быстрой логикой ума, дав ему неожиданную и непредвиденно правдивую постановку,

Но крутой оборот дела скрашивался такой благодушной улыбкой, таким симпатичным юмором, что всякий, даже потерпевший поражение, искренно присоединялся к мнению Александра Николаевича. Эта мягкость обращения, этот деликатный юмор спора, это благодушие нашего драматурга были причиной того знаменательного и редкого факта, что во все время своей с лишком сорокалетней литературной деятельности Александр Николаевич не имел ни одного крупного личного врага, ни одной мало-мальски серьезной личной неприятности от своих собратьев [8]. Существовали литературные разногласия, принципиальная рознь между партиями; Александр Николаевич, держась одного воззрения (его можно назвать умеренным прогрессистом [9]), не мог, разумеется, сойтись с вожаками противоположного; но никогда не доходило у него дело до личной неприязни. Ввиду царящей у нас литературной непорядочности, доходящей подчас до грубых выходок, задетых личностей и оскорбленных самолюбий,— нельзя не признать известной заслугой эту миролюбивую тактичность покойного.

Однако при всем внешнем радушии Александра Николаевича нельзя было назвать человеком экспансивным. Будучи коренным великороссом, он постоянно сохранял привычку «знать про себя», держать язык за зубами. Он был скорее скрытен, чем откровенен. Лишь перед немногими искренними друзьями он высказывался весь и вполне. В последнее время, за которое я знал Александра Николаевича, из этих друзей, кажется, никого не осталось. Ими были, главным образом, сотрудники «молодой редакции» «Москвитянина»: Писемский, Алмазов, Ап. Григорьев *, Тертий Филиппов, Сергей Колошин и др., а также выдающиеся сценические таланты, как Корн, Полтавцев, Мартынов, Пров Садовский, Ф. А. Бурдин, позже И. Ф. Горбунов и др. Мартынов умер даже на руках Александра Николаевича на обратном пути из Крыма; [10] туда возил его Александр Николаевич по приговору врачей,

---

* Ап. Ал. Григорьев был энтузиаст вообще и горячий поклонник талантов Островского и Садовского-старшего. «Нет бога, кроме Островского, и пророка его выше Садовского!» — восклицал он иногда в Александринском институте (ныне Военно-Александровское училище), где преподавал законоведение. Он же печатно называл Островского «глашатаем правды новой», творцом нового слова и т. п. *(Прим. Л. Новского.)*

думавших действием южного воздуха и винограда приостановить развитие скоротечной чахотки, следствия запоя, сгубившего этот колоссальный талант. С Пр. Садовским и Горбуновым Александр Николаевич совершал в конце пятидесятых годов путешествие за границу;[11] Александр Николаевич любил вспоминать в своей семье это время, как, плывя по Рейну, они сообща импровизировали: «Вверх по батюшке, по Рейну, от Кобленца до Мангейму...» и т. д. Садовский не знал никакого языка, кроме русского; Александр Николаевич с большим юмором рассказывал о затруднениях, в какие попадал артист вследствие этого обстоятельства, и о находчивости Садовского, всегда успевавшего при помощи мимики выйти из трудного положения.

Писемского Александр Николаевич ставил очень высоко как писателя-реалиста, несравненно выше, например, Достоевского,— но не сходился с ним во многом. Писемский был слишком узкая, грубая натура; чересчур смотрел русаком («диким» — выражение Александра Николаевича) и был слишком преисполнен самомнения и себялюбия, чтобы Александр Николаевич мог быть доволен его миросозерцанием. Они, видимо, не сходились во взглядах, но товарищески любили друг друга, будучи друзьями юности и общих литературных успехов; в этой дружбе все же сказывалось умственное превосходство и более широкое интеллектуальное развитие Александра Николаевича. По словам последнего, Писемский отличался «невыносимым эгоизмом и самомнением: он ничьих произведений никогда не читал, ничьих пьес не смотрел на театре, кроме своих, считал себя первым драматическим автором; после «Горькой судьбины» никому руки не подавал... Мне он нередко говорил: люблю в тебе ум, а не талант. Писал ужасным языком: я нередко исправлял его вещи»,— вспоминал о своем друге Александр Николаевич.

Основным требованием А. Н. Островского от литературного произведения было истинное, художественное, *вполне правдивое* воспроизведение жизни. Средство для такого воспроизведения «правды»— наблюдать, хорошо «знать» жизнь или изображаемое ее явление. Это правдиво, это верно, это живо, это «как есть» — вот похвала

Александра Николаевича; это неверно, фальшиво, «нарочно» написано,— такими словами выражал он свое неодобрение. Он скорее прощал отсутствие таланта, чем сочиненность, придуманность, тенденцию. В повести О. Забытого «Обремененный многочисленным семейством» («Русская мысль», 1885, май) он восхищался именно знанием жизни, беспретенциозной простотой ее изображения *. Интермедиями Сервантеса он восхищался: «Как это реально, верно!» По той же причине из русских писателей он наиболее симпатизировал талантам Толстого, Салтыкова и Писемского. «Толстым я наслаждаюсь, не рассуждая»,— говорил он. Толстой-художник (не моралист) ставился Александром Николаевичем очень высоко, несравненно выше всей французской, новой натуральной школы, за исключением, может быть, Бальзака. Особенно нравились Александру Николаевичу, насколько припомню, «Два гусара», «Метель», «Поликушка» и «Анна Каренина». «Войну и мир» наш драматург жаловал менее, к философско-моралистической ее тенденции относился почти враждебно, а к типу Платона Каратаева как-то поверхностно-холодно: кажется, он не считал его вполне правдивым.

Чуть ли не выше Толстого ценил Александр Николаевич талант Салтыкова: «Это замечательная сила, это крупный талант. Да это уж даже и не талант: это просто пророк, vates ** латинский. Главное в нем ум; а что такое талант, как не ум? А что такое вдохновение, как не талант? Вот почитайте книги пророков, особенно вторую книгу Эздры: какая сильная поэзия. Вот и Салтыков такой же пророк, такой же vates» ***.

На основании своих требований от художественного произведения Александр Николаевич из драматических произведений выше всего ставил *комедию*, или, вернее, он говорил, что комедию «всего труднее написать», особенно комедию из быта интеллигенции. По поводу пьесы Лукина «Чужая душа — дремучий лес» [13] Александр Ни-

---

* Александр Николаевич собирался тогда же писать письмо автору рассказа. Не знаю, выполнил ли он свое намерение [12]. *(Прим. Л. Новского.)*

** прорицатель, пророк *(лат.)*.

*** Привожу слова Александра Николаевича буквально, как они были сказаны им и записаны мною в октябре 1885 года. *(Прим. Л. Новского.)*

колаевич говорил, приблизительно, следующее: «Драму написать может и юноша; Шиллер писал трагедии чуть не мальчиком; в драме столкновение личных, индивидуальных страстей; их легче наблюсти и (хоть с известным преувеличением, может быть) изобразить драматично. В комедии иное: там выводится взаимодействие индивидуальных и общественных течений, коллизия личности и среды, которую поэтому нужно хорошо знать наперед, чтобы изобразить правдиво. Драматические произведения «из народного быта» надоели: в них нет личности, нет проявления воли; в них люди действуют под влиянием страстей, аффектов; потому «чем чуднее, тем вернее». А вот создайте интеллигентную, тонкую комедию, внутреннюю борьбу, лицо»...— «Вроде Чацкого?» — «Да, но не совсем так: Грибоедов слишком много вложил в Чацкого самого себя!» — поправил собеседника Александр Николаевич. (Вообще Чацкого Александр Николаевич никогда не считал живым лицом, а только собирательным типом, в противоположность мнению Гончарова в «Мильоне терзаний». Но, по мнению Александра Николаевича, это обстоятельство, уменьшая цену «Горя от ума» как драмы, нисколько не уменьшало цены его как литературного произведения.)

Точно также и в *повествовательной* литературе Александр Николаевич требовал твердого знания жизни и колоритного воссоздания ее, не терпел сочинительства, не любил «нытья» или тенденциозного народничанья. Высоко ставил он Пушкина. Гоголь, по его словам, стоит одиноко в русской литературе; последователей его гораздо меньше, чем обыкновенно полагают. «Напрасно считают меня, Писемского и Гончарова последователями или продолжателями гоголевской школы. Достоевский — другое дело: этот весь вышел из «Шинели» Гоголя. Гоголь не может быть назван и первым комическим писателем: до него было уже «Горе от ума», бытовая комедия, отличающаяся высоким литературным достоинством. Некоторые типы «Мертвых душ» — нежизненны; где встретите вы Манилова, Чичикова? Это не типы живых русских людей, а, так сказать, образцы, собирательные создания общепсихологического анализа. В этом направлении Гоголь не мог иметь последователей. Великорусского народа, простонародия он не знал: дядя Миняй и дядя Митяй у него вышли карикатурны-

ми *. Стиль Гоголя вовсе не так хорош, как принято утверждать по традиции: иногда даже натянут. За всем тем Александр Николаевич высоко ценил силу творчества, широту «создания» у Гоголя. «Это огромный талант,— говорил он,— гений, который является, может быть, раз в тысячелетие, талант именно общечеловеческий: его Плюшкин, его Собакевич, Хлестаков — все это не столько русские типы данного времени, сколько вечные образцы общечеловеческих страстей и характеров. Этот талант — бриллиант, но редкий, это ненормальный талант совершенно вне общелитературного течения»... Однажды в беглом разговоре Александр Николаевич дал несколько черт несимпатичной личности Гоголя: «Это был человек страшного самолюбия». Гоголь, по словам Александра Николаевича, буквально уморил себя голодной смертью: ел полпросвиры в день с водой, говел и постился. «В субботу на масленице (1852 года),— вспоминает Александр Николаевич,— я читал у Шевырева «Бедную невесту»; там были Погодин, Аксаковы, Эдельсон и другие. Поспешно вбежал Гоголь. Чтение прервалось, все пошли к нему навстречу. Он увидел несколько мало знакомых ему людей, немедленно повернулся, оделся и вышел, не сказав никому ни слова».

В ночь с воскресенья на понедельник великого поста он умер. Во время его похорон была оттепель. Александр Николаевич нес гроб (с Хомяковым) и здесь получил первую простуду ног, которые с того времени не переставали у него болеть. Надпись на памятнике «Горьким словом моим посмеюся» [15] (из Иеремии) приискал Хомяков.

Переходя к суждениям Александра Николаевича о Тургеневе и Достоевском, поставлю как бы эпиграфом его же слова: «Нам много мешает судить правильно писателя то, что мы слишком близко знаем его», то есть знаем в писателе — человека. Тургенев, по мнению Александра Николаевича, не мастер рисовать женские типы: «Он мало знал и потому сильно идеализировал русскую женщину. «Дворянское гнездо», например, очень хоро-

---

* Подобные же взгляды о ненародности гоголевской сатиры высказывал и Достоевский в письмах из-за границы Н. Н. Страхову [14]. *(Прим. Л. Новского.)*

шая вещь; но Лиза для меня невыносима: эта девушка точно страдает вогнанной внутрь золотухой». В «Отцах и детях» Александр Николаевич хвалил, впрочем, женский тип Одинцовой. Из слышанных мною отзывов едва ли не больше всего между последними произведениями Тургенева нравилась Александру Николаевичу «Новь», а в ней типы Соломина и Сипягиных: «Этих везде встретите». Типы Фомушки и Фимушки наш драматург, понятно, находил неестественными, объясняя возможность их появления тем, что Тургенев постоянно жил за границей и «отстал от русской жизни: мало красок, да и те не верны». Но «первые произведения Тургенева я знал почти слово в слово»,— говорил Александр Николаевич, разумея под первыми тургеневские вещи до «Отцов и детей» включительно. «Я любил Тургенева, как ни одного из наших писателей». В Тургеневе Александр Николаевич наслаждался не верностью типов, не интересной рисовкой характеров, не замыслом, а прелестью выполнения, изящной художественностью письма, тем тонким, специально тургеневским ароматом, которым проникнуты лучшие его произведения, выделяясь этим благородным качеством решительно среди всех европейских писателей. Александр Николаевич, особенно близко знавший Тургенева в петербургский период его жизни в пятидесятых годах, когда они оба сотрудничали в «Современнике» Некрасова, говорил, что несимпатичными чертами его были: некоторая фатоватость, эгоизм, подчас напускная меланхолия, à la Лермонтов.

В суждениях о Достоевском высказался тот же трезвый склад ума Александра Николаевича. Он буквально не признавал таланта Достоевского как художника-писателя: «Этот человек никогда не может сказать правду: ему все *кажется*, а не на самом деле он видит вещи. Это — страшно изломанный, самолюбивый до болезни человек. Я не читаю и не могу читать Достоевского: голова разболится, нервы расстроятся; и все неправда. Одна у него хорошая вещь: это «Хозяйка»,— впрочем через три года Александр Николаевич прибавлял сюда еще «Мертвый дом», говоря: «Это совсем особая вещь...» В Григоровиче Александр Николаевич хвалил только «Антона-Горемыку» и очень неодобрительно отозвался, например, о «Рыбаках». О романе «Кто виноват?» и других произведениях Искандера Александр Николаевич

отзывался с удовольствием и похвалой: «Умно написано». С А. Герценом он был лично знаком за бытность последнего в Москве, потом целую неделю видался с ним в Лондоне. Александр Николаевич горячо порицал отрицательное направление нашей публицистики шестидесятых годов, с Писарева до Зайцева и др. [16].

В бумагах Александра Николаевича, вероятно, найдется любопытная переписка его с композитором А. Н. Серовым по поводу «Вражьей силы» последнего [17]. Опера эта писалась при ближайшем участии Островского: Александр Николаевич написал для нее либретто (кроме пятого акта) из своей пьесы «Не так живи, как хочется»; кроме того — и здесь важнейшая часть работы — Александр Николаевич подслушивал и записывал *нотами* для Серова мотивы народных песен в Костромской губернии и пересылал их композитору. На пятом акте произошло разногласие между композитором и драматургом, перешедшее в полный разрыв, так что либретто пятого акта было составлено уже помимо участия Александра Николаевича. Он рассказывал однажды *свой* план этого акта, вероятно, сохранившийся в его бумагах: Петр у него не убивает жены. Сцена открывается на льду Москвы-реки. Последний день масленицы. Петр, обезумевший и от масленичного разгула, и от неотвязной мысли, толкающей его на преступление, идет один к проруби, чтобы утопиться. Поднимается метель, и в снежных вихрях проносятся перед Петром видения: «широкая масленица», за ней ведьмы, домовые, лешие, черти, козлы и т. п.; все это орет песни, приплясывает, присвистывает в лад завываньям ветра и свисту метели, кричит, лает, воет, мяукает, колотит в сковороды и кастрюли и дразнит Петра. Тот хочет откреститься от чертовщины, но рука не подымается. Буря усиливается: в ней слышатся Петру то соблазнительно-веселая песня Груни, то печальное голошенье Даши, его брошенной жены. Укоры совести, сетования на «пропащую жизнь» наполняют грудь Петра и выливаются в последней арии-монологе. Буря воет по-прежнему ожесточенно. Петр бросается к проруби. Но в этот момент до него доносится отдаленный благовест московских церквей. Масленица кончилась: это великопостный звон к заутрене, медленный и заунывный. Петр останавливается, набожно крестится. Безобразные видения исчезают, метель стихает.

Задняя декорация исчезает: вдали виден горящий золотыми главами Кремль, соборы, церкви и восток, алеющий первыми лучами солнца. Петр с ужасом видит себя на самом краю проруби. Он поспешно отступает. Отец, жена и слобожане прибегают с криками, радуясь, что наконец нашли его. Нравственное перерождение в Петре уже совершилось. Он становится на колени, винится перед женой и отцом, говоря, что нечистый попутал его. Отец заключает пьесу, как и в настоящей редакции, словами: «Не так живи, как хочется, а так, как бог велит».

К имеющимся уже в печати * сведениям о «молодой редакции» «Москвитянина» мне, по личным рассказам Александра Николаевича, придется добавить не особенно много. Прежде всего назову лиц, постоянно сотрудничавших в этом кружке за период 1847—1853 годов. В одно время начали там работать: Островский, Сергей Колошин, Тертий Филиппов, Б. Алмазов и Эдельсон. Островский и Колошин были однокашники по юридическому факультету, вместе — как говорил Александр Николаевич — с Афанасьевым и покойным кн. Черкасским; но первые двое, не кончив университета, вышли со второго курса [18]. Колошин долгое время и жил у Александра Николаевича. Оба жили в материальном смысле очень скудно, в мезонине маленького дома Островских у Николы в Воробине. Впоследствии к ним присоединился, в тот же мезонин из двух комнат, Алмазов [19], тоже без всяких средств к существованию, с грехом пополам зарабатывавший нищенский гонорар (пятнадцать рублей ассигнациями) в «Москвитянине», а еще позже, в начале пятидесятых годов, Писемский, приехавший в Москву также без копейки после ссоры с отцом и неприятностей с цензурою, запретившею его первую (и «лучшую», говорил Александр Николаевич) повесть «Боярщина» за «неприличие сюжета» (Александр Николаевич утверждал, что первоначально эта повесть называлась: «Ви-

---

* См. статью Венгерова («Вестник Европы», 1885, X) и «Воспоминания» Бурдина (ibidem **, 1886, XII). *(Прим. Л. Новского.)*

** там же *(лат.)*.

новата ли она?»[20]). Вскоре после появления Писемского на мезонине Александра Николаевича поселился, на короткое, правда, время, и Аполлон Григорьев, приехавший без всяких средств (из Уфы или Оренбурга,— хорошо не припомню[21]). Временами в эту чересчур уж «тесную» компанию втеснялись еще гости, вроде И. Ф. Горбунова, имевшего здесь свой временный приют, С. В. Максимова и др.

Несмотря на материальную необеспеченность, молодая компания жила очевидно весело и смело глядя вперед. К их кружку скоро примкнули и научные силы, вроде профессора Рулье, и артисты, как Пров Садовский; кружок завербовал к себе и несколько купцов, пообразованнее, клиентов Островского-отца[22] и поклонников Пр. Садовского. При помощи купцов осуществлялись грандиозные кутежи и загородные поездки с солидными выпивками (это называлось ехать «тпруа») к Троице, к Савве;[23] ездили и дальше — в Нижний, в Арзамас, в Павлово: туда Александр Николаевич ездил с Эдельсоном и Пр. Садовским.

Но кружок «молодой редакции» не ограничивался этой сферой несколько растрепанного демократического эпикурейства: через Погодина и Шевырева, старших членов «редакции», кружок Островского был принят в «салон» графини Е. П. Ростопчиной, средоточие тогдашней литературной Москвы. Тут появлялись лучшие артисты, художники, и литераторы большого света, и скромные журнальные труженики, и профессора, и кабинетные ученые, отечественные и приезжие. Лист давал здесь свой концерт; московские цыгане пели лучшие романсы. Давние посетители «салона» помнили здесь Лермонтова. Островский видел здесь Павловых, мужа и жену, урожденную Яниш; видел представителей славянофильства: Хомякова, Киреевских, Аксаковых, Гильфердинга. Погодин и Шевырев были здесь свои люди. Веселость и остроумная непринужденность были основными уставами кружка; у Александра Николаевича сохранился альбом Ростопчиной, исписанный эпиграммами ее посетителей, сохранились ее шуточные записки, тоже стихами[24].

Но, помимо салонного остроумия, ростопчинский кружок служил живому обмену мыслей и литературному развитию его младших членов: он давал свой особый,

«московский отпечаток», и этими обеими сторонами был он полезен молодому таланту Островского.

Будущий драматург между тем продолжал тяжелую поденную работу на «Москвитянина»: каждое утро к десяти часам он от Яузского моста путешествовал на Девичье поле и там до восьми часов вечера сидел над корректурами, писал «критику» [25] с Эдельсоном и Б. Алмазовым, отлучаясь лишь в какой-нибудь ресторанчик пообедать и получая за все пятьдесят рублей ассигнациями в месяц. Погодин нередко задерживал своих сотрудников и за полночь, но, при своей «адской» скупости, никогда не оставлял их ужинать. Рестораны и трактиры в этот поздний час бывали заперты; «так мы,— вспоминал Александр Николаевич,— с голоду и с холоду заходили по дороге к знакомому аптекарю на Кузнецком мосту, и тот угощал нас «аптечной» водкой, спиртом, разбавленным дистиллированной водой, а на закуску предлагал *девичью кожу* [26]...»

Пропустив некоторые из отзывов Александра Николаевича о других, менее известных, литературных деятелях, перейду прямо к его путешествию по Волге,— если не ошибаюсь, в 1857—1858 годах [27], во всяком случае, во второй половине пятидесятых годов. В это время правительство (морской министр Г—н [28]) решило поднять свой орган «Морской сборник» и привлечь туда лучшие литературные силы. Тогда же явилась мысль послать на казенный счет литераторов путешествовать, чтобы затем воспользоваться описаниями их путешествий для «Морского сборника». Тогда Гончаров ездил на «Палладе» в Японию с адмиралом Путятиным; Григорович объезжал на «Ретвизане» европейские моря. Через два года, когда вернулись эти литераторы, было предложено Островскому, Потехину (Алексею) и Писемскому произвести подробнейшее описание Волги. Предложение было принято; исследователи разделили работу: от истоков реки до Нижнего взял на себя Александр Николаевич; от Нижнего до Саратова — Ал. Потехин; низовья Волги и побережье Каспийского моря достались Писемскому. Плодом поездки последнего были этнографические статьи в «Морском сборнике» и статья «Калмыки» в «Библиотеке для чтения» [29], которую он тогда редактировал. Алексей Феофилактович во время путешествия подружился с калмыцким князем Тюменем. Тюмень этот носил гу-

сарский мундир и напивался шампанским, в чем ему усердно помогал и литератор-этнограф. Сын степей, быстро усвоив все блага нашей цивилизации, не мог, однако, привыкнуть спать в комнате; у него шла носом кровь, если он ночевал не в кибитке; последнее обстоятельство затрудняло Алексея Феофилактовича, и друзья скоро расстались. Недостаток описаний Писемского главным образом заключался в том, что он описывал берега Волги исключительно со стороны этнографической, упуская из виду промышленность. Более полно выполнил свою часть работы А. А. Потехин. Но самое полное описание Волги и Поволжья в намеченных пределах составил Александр Николаевич. Труд его до сих пор еще не напечатан; не были напечатаны и отдельные выдержки из этого труда, посланные Александром Николаевичем в «Морской сборник». Очевидно, в Петербурге несколько разочаровались в ожиданиях: от литераторов ждали художественных описаний, типов, характеров, приключений; а Александр Николаевич посылал сухие сведения, голые цифры [30]. Поездки Александра Николаевича продолжались два года, в течение которых он получал по 1200 рублей в год и имел открытый лист на даровые прогоны. Из Москвы Александр Николаевич проехал в Тверь, оттуда по Вышневолоцкому каналу в Вышний Волочок с караваном судов. Затем он поднялся к самому истоку Волги и оттуда начал свои исследования: то верхом, то в телеге, редко в тарантасе, переезжал он от деревни к деревне; Александр Николаевич знал оба берега Волги, от часовни у ее истока вплоть до Нижнего,— *по тоням* [31]. «В том месте, где начинается Волга, стоит маленькая часовня (собственноручный рисунок ее сохранился в бумагах Александра Николаевича [32]). Волга начинается из громадного болотистого наслоения Валдая, в тридцати верстах от озера Селигера, в виде маленького ручейка или ключа. Затем, пробегая последовательно три маленьких безыменных озерка, она на двадцать девятой версте принимает в себя речку Селижаровку, соединяющуюся с озером Селигером, которое лежит от Волги на северо-восток» [33]. Александр Николаевич *первый* описал неизвестное до тех пор происхождение Волги. Два лета истратил он на подробнейшее обследование волжских промыслов. Он изучил рыболовство, кустарные промыслы, быт рыбаков и крестьян обоих

берегов Волги «как свои пять пальцев»; изучил типы волжских судов и историю каждого типа,— «эпически», как выразился Александр Николаевич, то есть как тот или другой тип создавался местной потребностью; изучил Александр Николаевич язык и приволжских жителей, и подвижного населения Волги: рыбаков, судовщиков, бурлаков, лоцманов и проч. Им составлен был особый небольшой «словарь волжского языка», пока еще находящийся в рукописи, и сверх того собрано до семи тысяч прибавочных коренных слов в дополнение к Далеву словарю [34]. В поездке Александр Николаевич сломал ногу, один раз тонул, несколько раз сильно простужался. Зато он вернулся с большим запасом наблюдений, оказавших благодетельное влияние на развитие его таланта, близко узнав разнообразную жизнь поволжской России; труды его, не оцененные по достоинству редакцией «Морского сборника», были ценны для самого Александра Николаевича. Действительно, в той же январской книжке «Библиотеки для чтения» 1860 года, где были напечатаны «Калмыки» Писемского, появилась «Гроза»,

С. Н. Худеков

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ А. Н. ОСТРОВСКОМ

1

(Л. Н. Толстой и А. Н. Островский)

Мне неоднократно случалось проводить вечера с покойным Островским. Играя вчетвером в кости-домино или в винт по маленькой, Островский мало говорил, будучи погружен в игру, за которой он следил очень внимательно: указывал на ошибки партнеров, горячился, и в это время он совершенно отрешался от интересов дня, и даже любимая его тема для беседы — «сцена» не могла воодушевить сидящего за зеленым столом.

После винта наступал ужин; тут Островский делался словоохотлив; он воодушевлялся после стакана любимого им белого, шипучего донского, которое он предпочитал всем иностранным винам.

Это было в декабре 1881 года. После партии в винт мы в небольшом кружке уселись за ужин. Зашла речь о Льве Николаевиче Толстом.

— Большой, громадный талант! — заявил Островский.— Как беллетрист недосягаем, но как драматург он выеденного яйца не стоит.

— Но ведь Лев Николаевич для сцены ничего не писал! — заметил я.

— Нет, писал!.. И это первое сценическое его произведение послужило яблоком раздора между нами. Кошка черная пробежала!

— Это очень интересно! расскажите, Александр Николаевич!

— Уж очень он, Лев (иначе Островский и не звал автора «Войны и мира»), самолюбив, должно быть. Не любит, если ему правду в глаза говорят. А я вилять не умел в жизни. Всегда и всем говорил, что думаю, так и Льву отрезал сплеча; теперь за это и лишился знакомства с ним.

После небольшой паузы Островский, пощипывая и поглаживая по привычке свою бороду, рассказал следующее, почти буквально записанное мною:

— Я был в очень дружеских отношениях со Львом, а теперь мы с ним раззнакомились. Виновато чрезмерное авторское его самолюбие, которого я в нем прежде и не подозревал. Приезжает он однажды ко мне в Москве [1]. «Я с просьбой!» — говорит. «Готов служить!» — отвечал я. «Хочу попробовать себя на драматическом поприще!» — говорит. «Доброе дело!»

«Но прежде чем пустить в свет свое детище, я хочу знать ваше мнение о нем, только мнение искреннее, откровенное!»

Я дал слово. Через день Лев привез мне довольно объемистую рукопись. Я обещал дать ему откровенный совет по ее прочтении. Прочитал и ужаснулся. Это было какое-то «безумие», а не сценическое произведение. Вообразите, выведен на сцену какой-то обтрепанный, мерзкий не то нигилист, не то ярыга; его на сцене чуть ли не секут! Да! порют!.. Отослал я рукопись, без всякой записки, желая лично переговорить с Толстым об этом «чудище» [2].

— Ну, что?— спросил он меня при свидании.— Как нашли мою пьесу?

— Вы просили моего откровенного мнения, а потому и буду говорить искренно: если вы уважаете себя, то сожгите пьесу или спрячьте ее подальше и так, чтобы никто бы и не знал о ее существовании: это недостойно вас!

Толстой нахмурился; я начал было делать анализ действующих лиц, говорил о несценичности, но он упорно молчал, не делая никаких возражений. Видимо, он тяготился этим разговором. Холодно мы простились. С тех пор у нас прекратились все отношения. Мы с ним незнакомы. При встрече он едва кланяется со мною.

Я спросил у Островского, не помнит ли он названия этой пьесы. Островский отвечал, что «запамятовал».

Что сделал с этой пьесой Л. Н. Толстой — неизвестно. Известно только, что она в свет не появлялась; жаль будет, если он послушался совета Островского и сжег рукопись.

2

(Вопрос о гонораре)

А. Н. Островский приезжал в Петербург для постановки своей пьесы «Таланты и поклонники». Он прожил здесь несколько недель и вечера проводил у своих знакомых. В записках моих передаваемый разговор помечен десятым января [3].

Александр Николаевич затеял беседу об авторском вознаграждении. Он припомнил старину и начало своей литературной деятельности.

— Плохо жилось авторам в то время, когда я начинал. Хотя и теперь не особенно сладко, но все-таки и сравнивать наше время с прежним невозможно. Мы просто голодали. Первые мои пьесы я печатал у Михаила Петровича Погодина в «Москвитянине».

— Сколько же он вам платил?

— По двадцать пять рублей в месяц.

— Стало быть, вы получали постоянное жалованье в этом размере?

— Нет!.. Погодин платил с печатного листа двадцать пять рублей. Положим, в моей пьесе было пять печатных листов; мне причиталось сто двадцать пять рублей, а уплата производилась по двадцать пять рублей в месяц. Как, бывало, ни упрашиваешь Погодина, он как Царь-пушка непоколебим! Стоит на своем: «В месяц по двадцать пять рублей и ни копейки!» — «Но мне необходимы деньги!» — умоляешь его.— «Э, батюшка! вы человек молодой, начинающий!.. для вас достаточно и двадцать пять рублей в месяц на житье. А то сразу получите этакую уйму денег — шутка ли, сто двадцать пять рублей, ведь это четыреста тридцать семь с полтиной ассигнациями!.. И прокутите!.. А у меня деньги вернее».

Никакие заявления о нужде не помогали. Наконец эти «отеческие попечения» мне надоели; я и придумал

фортель. Погодин, по расчету, оставался мне должным сто двадцать пять рублей, я написал вексель на имя приятеля задним числом, так что срок ему уже истек. С приятелем послал я этот документ[4] к Михаилу Петровичу; при этом, конечно, приложил и свое слезное прошение[5] об уплате долга. У них произошла чисто водевильная сцена.

— А что вы сделаете с Островским, если я не уплачу за него денег?— спросил Погодин.

Мой приятель, приготовленный к подобному вопросу, сыграл роль непреклонного Шейлока: [6]

— Завтра же я его потащу в «яму»!

«Ямой» называлась московская тюрьма у Иверских ворот, куда сажали за долги.

— А не согласны ли вы будете получать по двадцать пять рублей в месяц, в уплату?— пробовал Погодин.

Но мой приятель был непоколебим.

— Или все, или «яма».

Погодин смилостивился и заплатил.

— Ловкую вы, однако, штуку сыграли! — заметил я.

— Сам теперь дивлюсь моей находчивости!.. Теперь я бы этакой штуки не придумал! — улыбаясь, ответил Островский.

— Да, я полагаю, что и придумывать не нужно, потому что вы теперь получаете уже не по двадцать пять рублей с листа?— заметил я.

— Да!.. теперь времена несколько изменились и издатели сделались *«жалостливее»!* — сказал Островский, подчеркнувши слово «жалостливее».

— Вы больше всего имели дело с Некрасовым, у которого каждый год в «Отечественных записках» печатались ваши произведения? Некрасов был широк в назначении гонорара?

— Да!.. с ним можно было иметь дело!.. Он мне платил по тысяче рублей за каждую пьесу, будь она в четырех или пяти действиях. Число листов не принималось в расчет... А вот Стасюлевич, тот за одну пьесу, напечатанную у него в «Вестнике» [7], заплатил еще шире!..

— Вы с покойным Некрасовым были, кажется, в дружеских отношениях?

— Да, в самых приятельских. Он не то что Погодин затягивал платеж, а напротив, платил и вперед. Чуть понадобится — к нему! Отказу не было.

— Да, он пользовался такой репутацией; но зато, как рассказывают, ему иногда приходилось платиться за добродушие?

— Верно! Никого так не эксплуатировали, как Некрасова, господа берущие, но не отдающие. Это было однажды при мне,— продолжал Островский.— Сижу я у Некрасова; вваливается в кабинет Л — тов [8]. Не обращая внимания на мое присутствие, он прямо к Некрасову: так, мол, и так, нуждаюсь!.. дайте вперед!..

— Но вы, кажется, уже брали у меня, и не раз! — вспомнил Николай Алексеевич, который, к слову молвить, не имел привычки записывать долгов. Вынет из письменного стола требуемую сумму и отдаст просящему «вперед», а затем даже и забудет, сколько дал.

В этот приход Л — това Некрасов был что-то не в духе; ему, видимо, надоели уже эти постоянные просьбы; он ему и отрезал:

— Но ведь вы у меня уже много, *кажется*, забрали денег и ничего не пишете!

— Будьте уверены, Николай Алексеевич, я вам отработаю.

— Слышал я, батюшка, эту старую песню,— хриплым голосом процедил Некрасов.— Нате, возьмите двадцать пять рублей, но только не отрабатывайте, а то вы меня самого слишком уже часто *отрабатывали.*

Л — тов взял деньги и ушел. <...>

В. Ф. Лазурский

ИЗ «ДНЕВНИКА»

<Л. Н. Толстой об А. Н. Островском>

21 июля <1894 года>. <...>

Вечером Лев Львович заговорил об Островском. Николай Николаевич[1] спросил, был ли с ним лично знаком Лев Николаевич.

— Как же, я с ним почему-то был на «ты». Помню, в последнее время[2] пришел к нему, он после болезни, с коротко остриженной головой, в клеенчатой куртке, пишет проект русского театра. Это была его слабая сторона — придавать себе большое значение: «я, я». Он и разговор постоянно наводил на эту тему. Островский был окружен всегда своим кружком поклонников, которые превозносили его, и потому говорить с ним было довольно трудно.

Из пьес Островского Лев Николаевич особенно любит «Бедность не порок», называет ее веселой, сделанной безукоризненно, «без сучка и задоринки». Хваленой «Грозы» не понимает; и зачем было изменять жене, и почему нужно ей сочувствовать — тоже не понимает[3]. Жадова[4] находит сделанным слишком по рецепту, «с ярлычком». Высоко ставит у Островского совершенное знание языка действующих лиц. <...>

11 апреля 1899 года. <...>

Заговорили о драматических опытах Буренина. Некоторые роли писаны им для известных актеров. Лев Николаевич возмущается этим обычаем; находит, что

этот грех был и у Островского [5]. Островского он делит вообще на две половины. Первую ставит высоко, особенно «Свои люди — сочтемся!». Его трогает конец этой пьесы, когда Большов падает с высоты своего величия, зритель жалеет его и негодует на жестокого Подхалюзина. Высоко ставит также «Бедность не порок», «Не так живи, как хочется». Падение начинается, когда, из желания угодить либеральной критике, Островский стал писать «Доходное место» и громить «темное царство» [6]. Жадова, этого студента-резонера, Лев Николаевич находит из рук вон плохим. Я передал рассказ (из «Русских ведомостей») очевидца, который наблюдал впечатление этой пьесы на фабричную публику. Она осмеяла Жадова за знаменитую сцену в трактире. «Все, мол, были плохи, а теперь сам хуже всех» [7]. Лев Николаевич нашел это вполне естественным. Неодобрительный отзыв его о «Грозе» известен. Недавно с Софьей Андреевной видел он в театре «Горячее сердце» и ахал от невозможности сцен. Сцену объяснения городничего с просителями («А принеси законы!») находит хоть и смешной, но выдуманной. <...>

В. М. Минорский

ВОСПОМИНАНИЯ

<...> По рассказам В. М. Минорского, Островский был человек очень застенчивый и робкий. Если ему случалось быть в дамском обществе, то он умолкал, как-то съеживался и только сбоку посматривал на присутствующих. Раз как-то при нем у кого-то в гостях была очень шикарно одетая дама. При ее появлении Островский смутился, и в ее присутствии разговор шел только на тему об осетрине и вообще о рыбе, чем шикарная дама была неприятно поражена, рассчитывая, очевидно, беседовать с знаменитым драматургом о «материях важных».

Но совсем другим был Александр Николаевич в тесном приятельском кругу. Прежде всего должно заметить, что по душе это был удивительно милый, добрый и симпатичный человек. Среди друзей он уже так не стеснялся, и нередко приходилось слышать от него увлекательные рассказы, в которых, по словам В. М. Минорского, сказывалось своего рода творчество, выражавшееся в том, что слушатели как бы переносились в самую обстановку действия: природа ли, лица ли так ярко описывались в рассказе Александра Николаевича, что все как живое вставало перед слушателями. К сожалению, в памяти сохранился только один такой случай. Как известно, Островский сам очень мало бывал в театре. Раз как-то он, однако, попал на первое представление чьей-то пьесы. Среди публики присутствовал, между

прочим, и маститый теперь беллетрист Б<оборыкин>, который, по словам Островского, старался казаться умным. В ложах, говорит Александр Николаевич, замечается нерешительное настроение: что сказать о пьесе, как бы не попасть впросак. Но вот наступает антракт. Б<оборыкин> идет, раскланивается с знакомыми и на их вопрос о новинке отвечает: «Пьеса некультурная». И эти слова передаются из уст в уста, от одного к другому и гуляют по всему театру. Невозможно, говорит Владимир Михайлович, передать всей живости рассказа Александра Николаевича; мы как бы присутствовали при выше описанной сцене: так живо и ярко была она передана.

В связи с этим В. М. Минорский отмечает необыкновенную наблюдательность нашего драматурга, которая не покидала его никогда, даже в такие минуты, когда, казалось, он менее всего занят своими наблюдениями. Играет ли Александр Николаевич в карты, это не значит, что он только ими и занят; нет, напротив, тихо перебирая в руках карты, он внимательно следит за всем окружающим, и все его наблюдения с необычайной яркостью и точностью запечатлевались в его памяти, которая у драматурга была очень хорошая.

Такая наблюдательность в соединении с удивительной памятью и помогали писателю собирать материалы для своих произведений. Даже простые прогулки по Таганке, от которой они недалеко жили, не пропадали даром, наоборот, давали материал: Александр Николаевич что-нибудь да подметит во время этих прогулок.

Другим источником, откуда почерпал свои материалы наш драматург, служили рассказы других лиц. По словам Владимира Михайловича, Островский обладал необыкновенною способностью привлекать к себе и располагать в свою пользу всех, с кем бы ему ни приходилось сталкиваться; особенно же благоволили к нему купцы, которых влекла к Александру Николаевичу та черта его творчества, что, рисуя жизнь купечества с такой обстоятельностью, как никто, он тем не менее никого не обидел: он никогда не изображал личностей, а типы. Расположение купцов к Островскому доходило, по словам Владимира Михайловича, до глубочайшего ува-

жения и своего рода обожания: для многих он был ближе духовника, и они рассказывали ему обстоятельнейшим образом всю жизнь как свою, так и своих семейных. Из таких лиц особенно остался в памяти рассказчика некто Горячев, отец которого был подрядчиком по перевозке кладей, а также и денег, на Нижегородскую ярмарку. Жизнь в доме его отца, конечно, ничем не отличалась от жизни замоскворецкого купечества: так же рано ложились спать, так же рано запирались ворота. На беду Горячев-сын прямо-таки пристрастился к театру, но выходить из дому и особенно так поздно возвращаться домой у них возбранялось, но он не останавливался ни перед чем. Ему приходилось проходить через отцовскую спальню, прежде чем попасть в свою комнату, и он, чтобы не разбудить отца, снимал сапоги и в шерстяных чулках тихо пробирался к себе. Если при этом просыпалась мать, то, конечно, прикрывала и ничего не говорила отцу. Вся эта сцена напоминает несколько рассказ Андрея Титыча Брускова в комедии «В чужом пиру похмелье», но, однако, не для этого лица послужил Горячев прототипом. Он поражал Островского своей энергией, силою и нравственной мощью, и с него, как говорил сам драматург В. М. Минорскому, он списал своего Краснова («Грех да беда на кого не живет»), конечно, пропустив наблюдения над личностью Горячева сквозь горнило своего творчества. Следует дополнить, что этот Горячев в полном смысле слова боготворил Островского, которому как на исповеди и рассказал всю свою жизнь.

Один вопрос, одно обстоятельство в известном смысле мучило и беспокоило нашего драматурга,— это вопрос о том, кому передать свой опыт драматического писателя. «Я знаю,— говаривал он,— что никаких записок не напишу, а как мне хочется найти человека, которому я мог бы передать все свое знание, весь свой опыт драматического писателя». И он искал такого человека. Этим исканием, очевидно, объясняется и его сотрудничество с Соловьевым, Невежиным: тут было не одно только желание прийти на помощь начинающим писателям, но, по-видимому, и затаенное желание найти человека, который мог бы быть его учеником.

Касалась наша беседа между прочим и бумаг, оставшихся после А. Н. Островского. После него осталось два

ящика с бумагами, в числе которых были, конечно, и письма, и из них около шестисот писем к жене. Эти бумаги взял, после переговоров со вдовою драматурга, Марией Васильевной, его брат, министр Михаил Николаевич и, как кажется, прежде всего исключил оттуда свои письма. Остальное было поручено разобрать И. Ф. Горбунову с С. В. Максимовым, в работе которых принимал также участие П. О. Морозов. В настоящее время эти бумаги, надо полагать, находятся у сына драматурга С. А. Островского [1]. <...>

А. Ф. Некрасов

ИЗ «МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ О Н. А. НЕКРАСОВЕ И ЕГО БЛИЗКИХ»

<...> Со мной вместе учились также сыновья А. Н. Островского — Александр и Михаил. Помню, как-то перед праздником, когда было особенно скучно сидеть в пансионе и некуда было пойти, так как близких знакомых у меня не было, меня вызвали, сказав, что в нашей приемной меня ждет Островский. Я вбежал в большом смущении. Как сейчас помню, посередине комнаты стоял среднего роста, немного полный человек, с большой лысиной, с наклоненной головой, с русой бородкой и добрыми глазами, одетый в бархатный пиджак. Ласково улыбнувшись, он сказал мне, что по просьбе своих сыновей, моих товарищей, он просил отпустить меня к ним в отпуск. Смущение мое быстро прошло, и, когда вошедший в приемную воспитатель сказал, что разрешение получено и он может взять меня теперь же, я был в восторге. С тех пор я часто у них бывал.

По субботам спектаклей в императорских театрах не было, актеры были свободны и собирались у Островского. На этих вечерах Александр Николаевич читал свои новые произведения, и тут же намечались роли. Из артистов, бывавших у него, я помню чету Музиль, Никулину, мужа и жену Садовских, Грекова, Макшеева, Акимову, Живокини; реже других бывала Федотова. Помню еще талантливого, но вскоре скончавшегося артиста Решимова.

Нам, молодежи, разрешалось сидеть в кабинете, где происходило чтение, но с условием не разговаривать, не смеяться и не мешать. Мы честно выдерживали условие, хотя в смешных местах давились от смеха, и тишина была полная. Но вот приоткрывалась дверь в столовую, где шли приготовления к ужину, и к нам врывалась громкая цыганская песня «Запрягу я тройку борзых...». Виновницей оказывалась жена Александра Николаевича, живая и веселая Марья Васильевна, страстная любительница пения. Александр Николаевич тихо подходил к двери и укоризненным, но добрым голосом говорил:

— Машенька, нельзя ли потише.

Пение умолкало, но через некоторое время возобновлялось, хотя и не так громко.

В конце вечера подавался скромный ужин, за которым иногда экспромтом разыгрывались сценки из произведений Островского. Вдруг раздавался голос дворника — это Макшеев начинал сцену, ему отвечала ключница — Акимова [1]. Все покатывались со смеху, а мы сидели как очарованные, так необычно казалось нам это перевоплощение людей, которые только что разговаривали самым обыкновенным образом. <...>

Т. Ф. Склифосовская

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О А. Н. ОСТРОВСКОМ В БЫТУ

А. Н. Островского я знала в течение последних пятнадцати лет его жизни. На его глазах прошло мое раннее детство и юность. Помнить я себя начала очень рано — с трех- четырехлетнего возраста. К этому времени и относятся мои первые о нем воспоминания, то есть конец восьмидесятых и девяностых <годов>[1]. Семья моего отца состояла тогда из его жены, бабушки, тетки, старой девушки, жившей у нас, и двух детей — меня и моего брата Алеши, бывшего старше меня на <шесть> лет. К тому времени, когда в памяти моей встает личность нашего великого драматурга, брату моему было десять лет.

Мы жили в Санкт-Петербурге, а Александр Николаевич в Москве, откуда он приезжал ежегодно зимой в Петербург и жил по нескольку недель. Останавливался он у брата своего М. Н. Островского или у нас. Помню, что я и Алеша страшно радовались, когда узнавали о его приезде, и не потому только, что он привозил нам всегда что-нибудь из Москвы, а потому, что он был всегда очень ласков с нами, заступался за нас, и мы часто говорили нашим родителям: «Вот я скажу Александру Николаевичу, так тебе достанется».

Это был человек очень простой, милый, доступный для каждого, бесхитростный, деликатный в обращении. Во время его приездов к нам квартира наша осаждалась все время разными посетителями, жаждущими видеть его,— в большинстве случаев это были начинающие писатели, актеры и т. п.

Время Александра Николаевича было все распределено по часам, но хотя ему было совершенно некогда, тем не менее он принимал каждого и для каждого у него находилась пара ободряющих слов. Льстить он не любил. Иногда случалось, что ему посылали авторы свои какие-либо сочинения — рассказики или пьески в Москву из Петербурга, а затем являлись узнать его мнение по поводу той или другой вещи. Некоторым он советовал продолжать, указывал недостатки, а другим говорил прямо: «Нет у вас того, что называется искрой божией, вымученно. Перепевы с чужого голоса».

Мы, дети, бросались к нему со всех ног, висли на нем буквально, он не мог отбиться от нас. И теперь, когда я вспоминаю его, я не перестаю удивляться тому терпению и хладнокровию, с которым он переносил все наши шалости с ним. Иногда только говорил: «Уж на что у меня Сережа шалун, а и он не выкидывает таких коленцев».

Самое раннее воспоминание мое: Александр Николаевич, который гостит у нас, отдыхает у отца в кабинете, я примостилась у него на коленях. Тут я в скобках скажу, что Александр Николаевич страшно любил детей и дети это чувствовали, тянулись к нему со всех сторон. Так и я, более чем кто-либо, всегда лезла к нему во время его приездов к нам, а они были довольно частыми, меня нельзя было отогнать от него. Как ни старались мои родные освободить Александра Николаевича от насевшей на него девчонки, им это не удавалось. Вцепившись ему в ногу, я орала благим матом, захлебываясь слезами:

— Асан, Асан, я не буду мешать, я с Асан.

— Оставь, ее, Федор,— говорил, слегка раздражаясь, Александр Николаевич.— Ну, неужели я, у которого таких, как твоя Таня, четверо, не сумею сам с ней справиться. Сиди, матушка, сиди, только тихонько, как мышка под метлой, поняла?

Ласковые голубые глаза смотрели так мягко, он брал меня на руки и нес в кабинет отца, куда ход мне обыкновенно воспрещался. Смотря торжествующе на мать, бабушку и отца, я ликовала. В кабинете Александр Николаевич садился обыкновенно на качалку, а я взбиралась к нему на колени.

— Ты, матушка, Танюшка, тихо-хонечко посиди, а я посплю малость, ладно?

— Ладно,— соглашалась я и близко, близко смотрела ему в глаза, там, в его зрачках мне нравилось видеть маленькую, растрепанную, белобрысую девчонку, свое собственное отражение. Но вот опускались веки, и девчонка исчезала. Это было не дело. Надо было восстановить картину. Детский палец начинал осторожно приподнимать веки, попросту говоря, ковырять глаза Александра Николаевича.

— Не надо, Танюшка, глазки трогать, они спать хотят, а ты сиди, сиди тихо-хошечко.

— Пусть спят глазки, а ты только их не закрывай.

— Нельзя этому быть, дурочка, и у тебя глазки закрыты, когда ты спишь.

Я, вздохнув, подчинялась. Оставляя в покое глаза, я находила себе другое занятие — перебирать волоски его рыжеватой бороды. Я их закручивала, сплетала в косички, иногда выщипывала невольно волосок и этим будила Александра Николаевича. Глаза приоткрывались, большая мягкая рука овладевала детскими ручонками, сердце мое замирало: «А вдруг прогонит!» — Но, нет, все обходилось благополучно, и я продолжала восседать у него на коленях. Этими минутами я необыкновенно дорожила. Ни у кого на коленях не было так уютно, ни у кого не было таких мягких рук, никто так ласково не смотрел, как Асан. К тому же он был «важный». К его приезду из Москвы готовились. Отец озабоченно шептался с матерью:

— Ты уж, Анна Дмитриевна, насчет любимых сижков Александра Николаевича сама похлопочи, для пирогов с вязигой.

Александр Николаевич очень любил пироги с вязигой и, кушая их, говорил мне, шутя:

— Везика, везика, вот нас пирог и увезет.

Я знала, что он всегда шутит.

Затем шли длинные совещания с нашей верной Еленушкой, жившей у нас в доме с незапамятных времен, о любимых кушаньях Александра Николаевича. Следовал ряд непонятных слов: кокиль, крутоны и пр. Еленушка давала советы, не соглашалась с матерью, напоминала вкусы Александра Николаевича. Вообще перед

приездом в Петербург Александра Николаевича из Москвы в доме чувствовалось радостное настроение, так как его все любили за его необыкновенную простоту в обращении с людьми, он был всем какой-то «свой». Его приезда ждали, с ним советовались о разных пустяках, он должен был разрешить все недоумения в доме. Александр Николаевич умел обходиться с людьми, для каждого у него находилось ласковое слово. Кроме этого, это был человек, обладавший колоссальной памятью, он помнил все мелкие происшествия, которые совпадали в нашей семье с его приездом. Болезнь Еленушки, наши детские заболевания, всякие мелкие огорчения, с кем бы то ни было они ни случились, находили отклик и сочувствие.

Что говорить о его отношениях к людям, когда даже животные льнули к нему. Отец был страстный охотник и держал двух охотничьих собак — пойнтеров, старый носил название Кадошки, а другой был Гольд. Так вот в один из приездов Александра Николаевича в Петербург у Кадошки появилось бельмо на глазу, которое мать лечила вдуванием сахарной пудры в глаз с гусиного перышка. Александр Николаевич присаживался на пол рядом с ней, брал перышко у нее из рук, сам вдувал сахар в глаза собаки и интересовался ходом излечения. В следующий свой приезд он говорил, лаская Кадошку:

— Ну, что, старый друг, чуть было ты не окривел у нас, рад, что видишь?

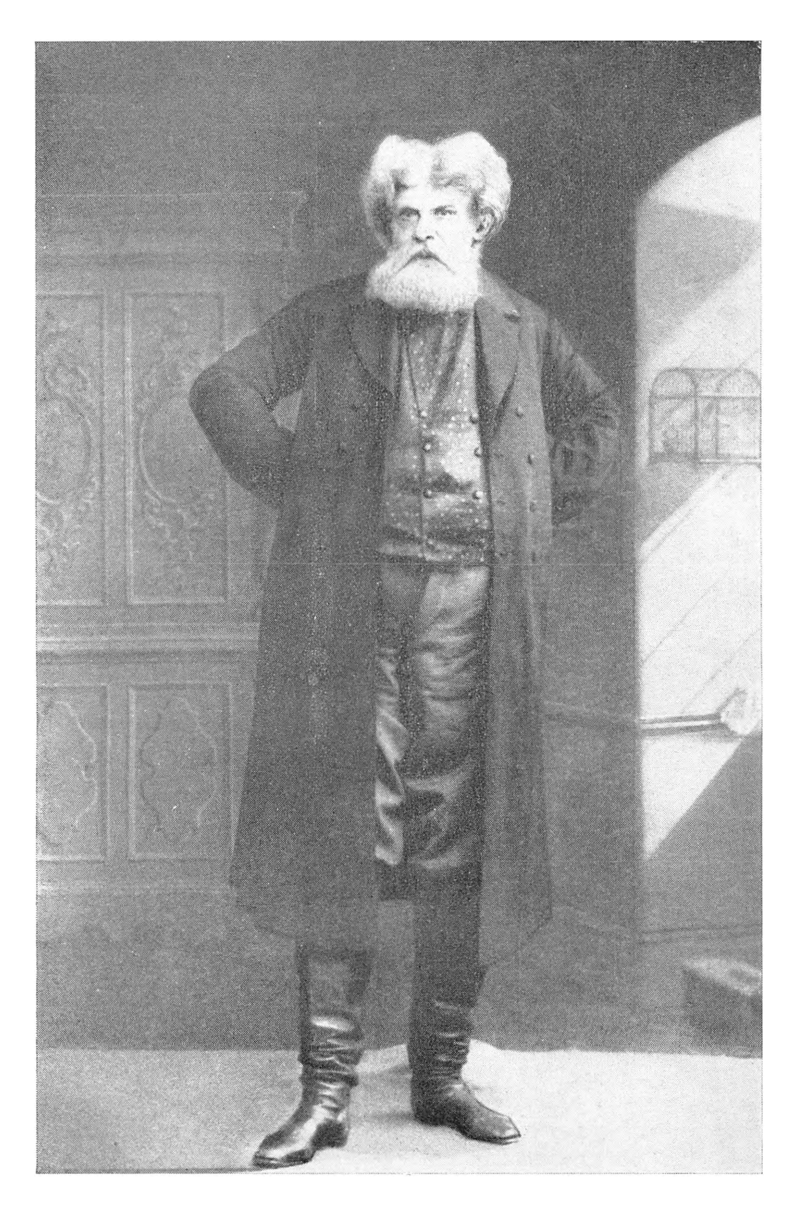
И старый Кадошка, будто понимал, ласкался к нему, ложился у его ног.

Я упомянула, что в нашем доме жила моя бабушка. Я хочу немного остановиться на личности бабушки, потому что она была большим другом Александра Николаевича. Бабушка, мать моей матери, Анна Николаевна Никитина, была в то время, которое я описываю, старушка уже лет за семьдесят. Ее никто не звал по имени-отчеству, а просто «бабушка». Она была из крестьянской семьи, родом с Поволжья, которое так любил Александр Николаевич. Это была очень добрая, рукодельная старушка, вечно вязавшая чулки и носки всему дому и очень любившая читать. Нечего говорить, что бабушка перечитывала все пьесы Александра Николаевича, над многими плакала, любимыми ее пьесами была

«Гроза» и «Бедность не порок». Она рассказывала случаи аналогичные, которые ей лично были известны, когда деспотизм таких старух, как Кабаниха в «Грозе», доводил людей до самоубийства.

Читала она вообще много, но у нее были свои любимые книги, которые она десятки раз перечитывала: «Тысяча душ» Писемского и «Девятый вал» Данилевского. Александр Николаевич любил иногда пошутить с бабушкой и часто спрашивал ее: «Ну, как, бабушка, негодяй Калиновский-то вылез все-таки в люди!» (герой из романа «Тысяча душ»). У бабушки с Александром Николаевичем велась многолетняя дружба. Он находил ее говор изумительным, советовал нам всем учиться говорить у бабушки, относился к ней с уважением и любовью. У бабушки была отдельная комнатка, где пахло ароматными целебными травами, они, высушенные, лежали у нее в комоде, а некоторые стояли на подоконнике, вставленные в бутылки. Она не любила пальм, она не понимала в них толку, у нее на окне цвели фуксии, бальзамины, воздушный жасмин. В большом кресле у окна с цветами бабушка просиживала целые дни за работой или за чтением. Она выходила из своей комнаты только к обеду. Дверь в ее комнату открывалась, и кто-либо кричал: «Баб, обедать». Она вставала с кресла, надевала чистый чепчик на голову, брала в руки салфеточку, заколотую булавкой, и шла в столовую. И, о ужас, частенько оказывалось, что стол еще не был накрыт. Это кто-нибудь подшутил над бабушкой, позвал ее обедать слишком рано. Бабушка не сердилась и не смущалась. Она уходила обратно, сама над собой смеясь, и шептала: «Озорники, ах, озорники, никогда никому не поверю, кроме Аннушки» (матери моей).

Бабушка обожала Александра Николаевича. У них велись всегда особенные беседы. Оба они страстно любили деревню, лес, поле, хождение за грибами и ягодами, рыбную ловлю. С бабушкой Александр Николаевич советовался о своих хозяйственных делах, о способах сеяния и проч. Он всегда привозил ей из Москвы фунт особенного какого-то чая, который якобы купить можно было только в Москве. Иногда он привозил ей в подарок материю на «капотик», как он говорил, и тоже особенную московскую холстинку.



М. И. Писарев в роли Тита Титыча Брускова («Тяжелые дни»). *Фотография. 1895.*

— Ах, родной, не забыл меня,— говорила, прослезившись, бабушка, целуясь с ним.— Ну, как живешь, как Марьюшка-то Васильевна, как детки?

Следовали обстоятельные ответы. А затем начинались длиннейшие разговоры о любимой деревне Александра Николаевича, Щелыкове, которое Александр Николаевич называл костромской Швейцарией, говорил, что лучшего уголка не сыщешь нигде, и удивлялся на людей, едущих за границу искать красот природы, когда их так много у нас дома. У Александра Николаевича хватало терпения часами разговаривать с бабушкой о том, грибное ли было лето, каких грибов больше уродилось, каких больше насолили, был ли урожай его любимых грибков — маслят, как у него рыбка ловилась. Он был большой рыболов. Я любила, притаясь, слушать его рассказы о том, как он ловил рыбу нынче летом. Помню, что меня очень удивляло, что, по его словам, судак очень робкая рыба, я всегда думала, что только дети могут быть робкими, но вот оказывалось, что и судаки тоже могут робеть и любят прятаться под пни и под коряги. Говорил он также и о том, что этим летом почему-то язики и шилишперы не шли на червяка, а предпочитали живца, а что «на донную» он наловил много щук и окуней. «Рыба хитра, но человек премудр,— говорил он,— и всегда сумеет перехитрить рыбу».

В моей памяти ясно встает фигура Александра Николаевича, крупная, мужественная, с лысеющей головой, с бледным лицом, обрамленным рыжей бородой, с вдумчивым взглядом голубых глаз, которые он при разговоре иногда подымает вверх и закрывает их. Вот он сидит в бабушкиной комнате, бабушка, маленькая, утонула в своем кресле, а он, большой, величественный, сидит напротив нее на неудобном старом стуле, низеньком, с высокой спинкой, и внимательно слушает. Разговор вьется около сенокоса и проч. Помню отчаяние бабушки, когда Александр Николаевич написал отцу в письме, что у него в деревне случился пожар, нанесший ему большие убытки, а главное, так напугавший его и всю семью, что он сам и жена его заболели серьезно. Бабушка плакала навзрыд и требовала, чтобы отец послал Александру Николаевичу сочувственную телеграмму и просил его не оставлять нас без известий о здоровье.

Вижу себя уже девочкой постарше, хожу учиться в гимназию, и опять воспоминание о «Асане», которого я уже теперь научилась звать по-настоящему. Вот он обнимает меня, болезненную, бледную девочку, и говорит отцу:

— Чего ты ее, Федор, ученьем моришь, дай ты ей подрасти свободно, пока без ученья. Подрастет, выправится, тогда и будешь учить ее.

Отец возражает:

— Надо ее еще при моей жизни на ноги поставить, твоя Маша уже во второй перешла, а моя только в первый, а они однолетки.

— Ну и что ж,— говорит Александр Николаевич,— хотя бы в приготовительный, видишь, какая она худышка, Машу мою не ущипнешь, а у твоей совсем другое сложение, заморыш она петербургский, Москва совсем другой климат имеет.

Александр Николаевич очень любил музыку и даже моя неумелая игра доставляла ему удовольствие. Он часто говорил: «А музыка будет, «Лючию» и «Гугеноты» изобразишь после обеда?» Я гордилась, и неумелые детские пальцы наигрывали несложные мотивы «Лючии» и «Гугенот» в легком переложении детских нот.

Александр Николаевич был женат на Марии Васильевне Бахметевой, которая окончила московское театральное училище вместе с известными московскими артистками Федотовой и Никулиной. Особенным талантом как артистка она не обладала, но была очень красива своеобразной красотой южного типа. Александр Николаевич увидел Марию Васильевну в первый раз на сцене, когда она в живой картине изображала цыганку и была поразительно красива. Когда она бывала у нас, то я искренно верила, что это фея из сказки, и смотрела на нее с обожанием. Как сейчас вижу ее в розовом шелковом платье с блестящей ниткой жемчуга, запутавшейся в черных, как вороново крыло, волосах. «Фея, конечно, фея»,— шепчу я, и мне хочется спросить ее, с ней ли волшебная палочка, с которой феи, в моем понятии, неразлучны. От брака с Марией Васильевной у Александра Николаевича было шесть человек детей, четыре сына и две дочери.

Шли годы, но моя любовь к Александру Николаевичу не ослабевала. Я страшно любила слушать его рассказы о его детях.

Помню, что о своем старшем сыне, Александре, он рассказывал, что это очень добрый мальчик. Зачастую он приходил домой из училища то без шапки, то без варежек, то еще без какой-нибудь принадлежности своей одежды. Ему ничего не стоило снять с себя в мороз на улице что-либо и отдать какому-нибудь нищему мальчику. Это был очень чуткий ребенок к чужому горю и горел желанием помочь каждому бедняку. Александр Николаевич рассказывал мне про всех своих ребятишек, про все их капризы, шалости и игры. Я знала, что Сережа не боялся никаких зверюшек, лягушат, мышей, жуков и пр. и всегда натаскивал их в дом летом к великому ужасу старой няни. Миша очень послушен, Маша умнее всех, но зато «звено», по выражению няни, и всегда умничает, и проч. Мы, дети, живя в разных городах, обменивались письмами друг с другом и, когда встретились уже подростками, то знали все подробности друг про друга, все особенности наших характеров, любимые игры каждого и пр. Помню, Александр Николаевич говорил отцу, что надо приучать ребенка к терпению с самого раннего возраста, заставляя его сидеть смирно регулярно ежедневно по пять — десять минут спокойно на стуле. Он говорил, что это приучает ребенка к мышлению. Иногда он сам уводил ребенка в свой кабинет, сажал его там на кресло и говорил: «Посиди спокойно, дай отдохнуть твоим рукам и ногам, дай и другим отдохнуть от твоего шума». И дети полюбили этот отдых у отца в кабинете, они сидели спокойно в большом кресле и смотрели на голову отца, склоненную над письменным столом.

Но самое торжественное событие в нашей семье было всегда чтение новой пьесы Александра Николаевича, которая обычно шла в бенефис отца. Собирались артисты, которым были предназначены роли в данной пьесе. Приезжал Н. Ф. Сазонов, почти всегда со своей женой — писательницей, к сожалению, в данный момент не могу точно припомнить ее фамилию (кажется, Смирнова [2]). Сазонов был очень красивый, представительный мужчина, с правильными чертами лица чисто русского типа, это был идеальный тип Белугина из пьесы «Же-

нитьба Белугина». Манеры у него были мягкие, движенья замедленные и плавные. Приезжала Абаринова, стройная, эффектная, элегантная — настоящий тип великосветской дамы. Жулева, очень пожилая, незаменимая в ролях матерей, светских дам прежнего времени и т. п. Приезжала Александра Матвеевна Читау — прекрасная артистка, незаменимая исполнительница в своей молодости роли Дуни в пьесе «Не в свои сани не садись», Левкеева, Александрова и др. Из мужского персонала не обходилось без Петипа, элегантного красавца с изящными манерами, комика Арди, знаменитого рассказчика И. Ф. Горбунова, Полтавцева и других персонажей Александринского театра. Позднее всех приезжала Мария Гавриловна Савина. Это была в то время совсем еще молоденькая женщина среднего роста, брюнетка с чудными черными глазами и капризным выражением лица. Ее появление производило среди собравшихся артистов всегда что-то вроде сенсации. Как бы робея и конфузясь, что было заметно даже моему детскому глазу, так как я присутствовала с самых ранних лет на этих чтениях пьес, забившись в угол, и опять-таки меня оставляли в покое благодаря заступничеству тоже Александра Николаевича, который говорил отцу: «Оставь ее, она уже большая, теперь с ней не сладишь, надо было раньше не допускать ее к большим, теперь поздно, да к тому же она сидит смирно, никому не мешает, пусть»,— Александр Николаевич ласково с Марией Гавриловной здоровался; положим, что он вообще с артистами был всегда очень ласков и всегда при встрече с ними целовался. Как сейчас вижу Александра Николаевича, сидящего у нас в гостиной на старинном круглом диване, перед ним стоит графин и стакан с водой. Александр Николаевич читает свою новую пьесу. От времени до времени он делает передышку, откидывается назад, прислоняется головой к спинке дивана и сидит, закрыв глаза. Читает он негромко, медленно произносит слова, как бы нараспев. Иногда его голос падает до шепота, и тогда он извиняется за свое слабое здоровье: «Отвратительная петербургская погода усиливает мои физические страдания»,— говорит он. Александр Николаевич говорил каждому актеру, как надо одеться для предстоящей роли, как держаться на сцене, входил во все мелкие подробности и детали. Иногда

ему приходилось терять терпение с видимым нежеланием того или другого актера играть ту или другую роль или с желанием одеться сообразно своему вкусу. Помню, отец рассказывал, как возмущался Александр Николаевич на М. Г. Савину, которая отказалась исполнять роль Евлалии в пьесе «Невольницы» на том основании, что по пьесе Евлалии двадцать восемь лет, а ей только двадцать шесть лет.

— Такие капризы меня без ножа режут, в гроб вгоняют,— говорил Александр Николаевич,— ведь и без актерских капризов наши «главные» что могут неприятного автору сделать, то делают. Правда, мне ничего не стоит переменить годы и написать, что Евлалия вышла замуж двадцати трех лет вместо двадцати пяти и в данный момент ей только двадцать шесть лет, а не двадцать восемь. Или же пьеса пусть лежит у меня в портфеле до тех пор, пока Марии Гавриловне исполнится двадцать восемь лет. Но вот какая может получиться история: другие актрисы тоже не захотят играть роли старше своих лет на год или на полгода, и мне придется завести у себя консисторию, обложиться метриками и сверяться с их датами.

Подобная история повторилась с пьесой «Светит, да не греет», где автор желал, чтобы Савина играла Реневу, а она хотела играть молодую девушку Олю Василькову. Савина тогда говорила отцу:

— Если я в двадцать восемь лет буду играть тридцатилетних, то в тридцать мне придется перейти на роли комических старух...

Тогда роль Реневой была отдана Абариновой, а роль Оли Васильковой — М. Г. Савиной, которая и провела ее так бесподобно, что автор забыл и искренно простил артистке ее каприз [3].

Так как я говорю о М. Г. Савиной, то вспомню еще один эпизод с ней, когда она отказывалась играть роль вдовы Тугиной в пьесе Александра Николаевича «Последняя жертва», ссылаясь на то, что она не умеет играть ролей в платочках. Александр Николаевич разъяснил ей, что можно обойтись без платочка, так как Тугина — богатая женщина, одевается шикарно,— и, конечно, Савина играла Тугину. Но вообще, говоря про Савину, нельзя не отметить того восхищения, в которое всегда приходил Александр Николаевич после исполне-

ния ею роли. Никогда ни одной роли она не испортила. Ей не нужно было, по выражению Александра Николаевича, тех ролей, которые сами за себя играли, то есть выигрышных, у нее каждая роль играла. В общем Александр Николаевич очень любил Марию Гавриловну, относился к ней отечески и быстро забывал свои случайные на нее недовольства. <...>

Говоря о Александре Николаевиче, нельзя не упомянуть о его любимой деревне, сельце, как он говорил, Щелыкове. Оно находилось в Костромской губернии, в Кинешемском уезде, в двадцати верстах от уездного городка, который ничем не отличался от других приволжских уездных городов. Переехав на пароме на другой берег Волги, вы вскоре же въезжаете в лес и почти всю дорогу вплоть до самого Щелыкова едете лесом. Дорога проселочная, ухабистая, после дождя колеистая, избитая, как вообще наши русские дороги прежнего времени. Иногда едете полями, перелесками, проезжаете небольшие деревушки, иногда эти деревеньки состоят из пары дворов. Подымаетесь на пригорки, откуда ваш глаз охватывает большое пространство синеющих лесов. Вы въезжаете в Щелыково как-то как будто неожиданно. Спустились с горки вниз, переехали мост через неширокую, но довольно глубокую речку Куекшу, впадающую в один из притоков Волги, поднялись в гору, повернули влево, и вот перед вами скромный серенький дом с садом, спускающимся к реке,— это и есть Щелыково. Въехав в ворота и объехав купу хвойных деревьев, вы подъезжаете к крыльцу парадному. У дома два крыльца — парадное и черное — совершенно одинаковые, черным оно называется потому, что около него близко флигелек, в котором помещается кухня. Дом двухэтажный, внизу семь комнат — спальня, кабинет Александра Николаевича, столовая, гостиная, комнаты для приезжих гостей. Наверх ведет узенькая деревянная лестница. Там шесть комнат со старинными лежанками — это детские комнаты. Меблировка дома простая, бесхитростная, мебель тяжеловатая, старинная, солидная. В комнатах всегда полумрак от разросшихся кустов сирени, жасминов, жимолости и пр. Под окнами кабинета, где наш великий драматург обдумывал свои произведения, клумбы запущенных цветов: огненно-желтых лилий, ирисов и других. От дома спускается

к реке старый, заглохший сад с столетними деревьями, среди которых преобладают березы. Узенькие тенистые аллеи с кое-где почерневшими скамейками. А вот и любимая скамейка Александра Николаевича на пригорке, между двух берез, где он любил отдыхать и смотреть на противоположную сторону Куекши, где приютилась небольшая деревенька — Василево. И дом, и сад со старыми березами, и покривившаяся банька на берегу Куекши — все такое простенькое, бесхитростное, дышит покоем, тишиной — все какое-то свое, наше родное, близкое.

Ф. А. Бурдин

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ А. Н. ОСТРОВСКОМ

Материалы для его биографии

...Наши первые отношения с Александром Николаевичем Островским начались с московской гимназии, в 1840 году, где я учился вместе с ним и его братом Михаилом Николаевичем. Александр Николаевич был старше нас на три класса, и тогда уже он любил театр, часто посещал его; мы с великим удовольствием и интересом слушали его мастерские рассказы об игре Мочалова, Щепкина, Львовой-Синецкой и др.

Первое, что он напечатал в издававшемся В. Н. Драшусовым «Московском листке» (1847 год), было: «Картина семейного счастия», обратившая на себя всеобщее внимание по необыкновенно типичному языку и живости характеров; несмотря на то что это была только небольшая картинка, о ней говорили тогда много в литературных кружках, и ее перечитала вся Москва.

Вскоре потом в этом же «Листке» было напечатано несколько сцен из его комедии «Свои люди — сочтемся!» [1].

Отдавшись вполне литературным занятиям, А. Н. Островский начал свои труды у Погодина в «Москвитянине», работая в редакции журнала, куда и ходил ежедневно пешком от Николы Воробина у Яузского моста на Девичье поле — пространство, составляющее около шести верст. Занимался он там корректурой, составлением мелких статей и перепиской и зарабатывал около

пятнадцати рублей в месяц, имея у отца только квартиру. «Это было тяжелое время,— говаривал Александр Николаевич,— но в молодости нужда легко переносится!»

В «Москвитянине» была напечатана комедия «Свои люди — сочтемся!», за которую он получил от Погодина гроши, и, с грустью вспоминая об этом, не хотел даже никогда говорить, как мал был этот гонорар. Когда он прочел у Погодина на вечере в первый раз эту пьесу, то Шевырев, обратясь к слушателям, сказал: «Поздравляю вас, господа, с новым драматическим светилом в русской литературе!» — «Я не помню, как я пришел домой,— говорил Александр Николаевич,— я был в каком-то тумане и, не ложась спать, проходил всю ночь по комнате — такими сказочными словами мне показался отзыв Шевырева» [2].

Пьеса произвела на всех сильное впечатление. П. М. Садовский почти ежедневно читал ее в обществе; все желали слышать молодое художественное сочинение и прекрасное чтение знаменитого артиста. По словам Садовского, известный генерал А. П. Ермолов, выслушав пьесу, сказал: «Она не написана, она сама родилась!»

На купцов только она произвела дурное впечатление: они ею обиделись, жаловались Закревскому, который признал ее вредной и оскорбительной для целого сословия, донес куда следует, и автора взяли под надзор полиции, а о самой комедии запретили говорить в журналах [3].

Первой пьесой Островского, игранной на сцене, была комедия «Не в свои сани не садись», имевшая громадный успех и в Москве и в Петербурге; но и тут автор не угодил администрации, выставив невыгодно дворянина и симпатично — купца. О постановке этой пьесы в Петербурге я говорил в особой статье — «Воспоминания артиста об императоре Николае Павловиче» («Исторический вестник», 1886 год, январь) [4].

На эту комедию нельзя было достать билетов ни в Москве, ни в Петербурге, пьеса прошла сотни раз, а автор не получил за нее ни копейки. Она была дана в бенефис Косицкой, а по авторскому положению того времени пьесы, шедшие в бенефис, делались достоянием дирекции бесплатно. Ту же участь претерпела и

«Свадьба Кречинского», давшая дирекции сотню тысяч, а автору не доставившая ни гроша [5].

Чтобы видеть свою пьесу на петербургской сцене, Островский приезжал в Петербург. Директор А. М. Гедеонов, приняв его очень любезно, пригласил в свою ложу, и они вместе смотрели ее. В этой комедии я играл Бородкина, и мы тут окончательно сблизились с Александром Николаевичем, и наши сердечные отношения не прерывались до его кончины.

Второй его пьесой на сцене была «Бедная невеста», также имевшая большой успех в Москве и Петербурге; автор получил за нее единовременную плату 700 рублей [6].

Комедия «Бедность не порок» окончательно утвердила за ним громкое имя, и это была первая пьеса, за которую он получил поспектакльную плату, впрочем мизерную: из двух третей сбора двадцатую часть!

С каждым новым произведением Островского упрочивалось его имя, значение на сцене; но расположение театрального начальства и в Москве и в Петербурге отсутствовало. Начальником репертуарной части в Москве был А. Н. Верстовский, бесспорно человек очень умный, но воспитанный в преданиях классицизма; он говаривал, что русская сцена «провоняла от полушубков Островского». В Петербурге процветал Кукольник, мелодрама и водевильный репертуар. Артисты, за исключением Мартынова и нескольких человек молодежи, относились к Островскому холодно, и начальство неохотно ставило его пьесы, несмотря на то что они интересовали публику и делали большие сборы. В Москве же, при всем нерасположении к его пьесам Верстовского, они не сходили с репертуара и приводили в восторг публику при блестящем в то же время исполнении артистами; эта славная эпоха московского театра уже не возвратится! Такого совершенства в общем нельзя себе и представить: это был настоящий концерт, исполненный первоклассными артистами; но автор, пользуясь и всеобщим уважением публики, и любовью артистов, и при этих условиях не был обеспечен ни в материальном отношении, ни почтен театральным начальством. Его пьесам начальство предпочитало мелодрамы «Детский доктор» [7], «Дон Сезар де Базан» [8] и прочую дребедень, потому что переводчики умели ловко обделывать свои

дела, а в характере Островского не было способности унижаться.

Театральная цензура того времени, бесцельно придирчивая, относилась к пьесам Островского очень строго. В моих неизданных воспоминаниях о театре [9] вот что рассказано по этому поводу:

...Для одного из моих бенефисов я представил в цензуру четыре пьесы, из которых ни одна не была одобрена. Я отправился к Гедеонову и рассказал ему об этом.

— А зачем ты выбираешь такие пьесы?— говорит он.

Я отвечал ему, что у цензоров такие особенные взгляды, к которым невозможно приладиться, и ни за одну пьесу нельзя поручиться, будет ли она одобрена или запрещена.

— Что же я могу сделать?

— Вы, ваше превосходительство, очень хороши с Леонтием Васильевичем (Дубельт, начальник Третьего отделения того времени, заведовавший драматической цензурой): вам достаточно черкнуть ему два слова, и он разрешит хоть одну пьесу.

— Ты какую же хочешь?

— «Картину семейного счастия» Островского.

— Ну, хорошо, я напишу ему.

Он дал мне записку, и я отправился к Дубельту. Дубельт был большой приятель Гедеонова; они вместе проводили каждый вечер...

Дубельт был по приемам человек очень любезный и вежливый.

— Чем могу быть вам полезным, мой любезный друг? — спросил он меня.

— У меня горе, ваше превосходительство: бенефис на носу, а все представленные мною пьесы не одобрены!

— Ай, ай, ай! как это вы, господа, выбираете такие пьесы, которые мы не можем одобрить... все непременно с тенденциями!

— Никаких тенденций, ваше превосходительство; но цензура так требовательна, что положительно не знаешь, что и выбрать!

— Какую же пьесу вы желаете, чтобы я вам дозволил?

— «Семейную картину» Островского.

— В ней нет ничего политического?

— Решительно ничего; это небольшая сценка из купеческого быта.

— А против религии?

— Как это можно, ваше превосходительство!..

— А против общества?

— Помилуйте — это просто характерная бытовая картинка.

Дубельт позвонил. «Позвать ко мне Гедерштерна, и чтобы он принес с собою пьесу «Картина семейного счастия» Островского».

Является высокая, сухая, бесстрастная фигура камергера Гедерштерна с пьесой и толстой книгой.

— Вот господин Бурдин просит разрешить ему для бенефиса неодобренную вами пьесу Островского, так я ее дозволяю!

— Но, ваше превосходительство,— начал было Гедерштерн.

— Дозволяю — слышите!

— Но, ваше превосходительство, в книге экстрактов извольте прочесть...

— А, боже мой! я сказал, что дозволяю! Подайте пьесу.

Гедерштерн подал пьесу, на которой он сверху написал: «Дозволяется. Генерал-лейтенант Дубельт» — и не зачеркнул даже написанного прежде: «Запрещается. Генерал-лейтенант Дубельт». В этом виде и теперь хранится эта пьеса в театральной библиотеке [10].

Комедия Островского «Воспитанница» была также не одобрена цензурой к представлению. Я стал хлопотать о ее дозволении. В. П. Бутков, государственный секретарь, будучи очень хорош с Потаповым *, дал мне по этому случаю к нему письмо, с которым я приехал в Третье отделение и отдал для передачи дежурному офицеру.

Потапов, выслушавши мою просьбу, сказал мне:

— К сожалению, господин Бурдин, я должен отказать вам. Я не могу дозволить того, что было запрещено моим предшественником, генералом Тимашевым... В своих действиях мы должны быть последовательны. Во всем должна быть система. Пьеса господина Остров-

---

* Начальник Третьего отделения [11]. *(Прим. Ф. А. Бурдина.)*

ского с таким вредным направлением, что не может быть допущена на сцену.

— В чем же тут вредное направление, ваше превосходительство? Это не более как картина нравов!

— В насмешке и издевательстве над дворянством. Дворяне действуют патриотически, приносят огромные жертвы, освобождают крестьян, и за это же потешаются над ними!

— Но, ваше превосходительство, тут не задет ни крестьянский вопрос, ни благородные чувства дворянства!

— Конечно, ничего прямо не говорится, но мы не так просты, чтобы не уметь читать между строк. Еще раз извините меня, но я эту пьесу не дозволю для представления.

Впоследствии эта пьеса была дозволена и также очень курьезным образом.

Временно назначен был исправляющим должность начальника Третьего отделения генерал Анненков, брат известного писателя П. В. Анненкова.

Пьеса И. С. Тургенева «Нахлебник» была под запрещением; П. В. Анненков как друг И. С. Тургенева просил брата разрешить эту комедию.

— С удовольствием,— отвечал он,— и не только эту, а все те, которые ты признаешь нужными; только присылай поскорее, потому что на этом месте я останусь очень недолго.

П. В. Анненков послал ему несколько пьес, в числе которых находилась и «Воспитанница» [12]. И вот таким образом она попала на сцену. Пьеса имела огромный успех и до сих пор смотрится с большим удовольствием как прекрасное, художественное произведение, не имеющее никакого тенденциозного характера.

Как оригинально смотрела театральная цензура на дело — я расскажу еще один случай.

Когда А. В. Головнин был назначен министром народного просвещения, он пожелал сблизиться с лучшими представителями русской литературы и выразить им свое полное внимание и уважение. Между прочим, он представил тогда государю пьесу Островского «Минин» как драматическое произведение, исполненное патриотических чувств. Государь пожаловал автору бриллиантовый перстень.

Итак, автор за свою пьесу получил высочайший подарок, а цензура *запретила* эту пьесу к представлению, находя, что хотя содержание пьесы и патриотическое, и достойно одобрения, но представление ее на сцене *несвоевременно*; и пьеса пролежала несколько лет в архиве Третьего отделения [13].

Комедия «Доходное место», одобренная цензурой, по каким-то, и до сих пор не объясненным, причинам, была запрещена накануне первого представления и — также неизвестно почему — была вновь дозволена [14].

Около этого времени А. Н. Островский обзавелся семьей; пошли дети, и нужды стали возрастать в грозной пропорции [15].

Он работал неустанно, по целым дням не разгибая спины. Расходы были так велики, а вознаграждение так ничтожно, что, едва кончив одну пьесу, он уже принимался за другую. Писать пьесу — это не то, что писать роман или повесть, где автор не стеснен никакими условиями, напишет ли он двадцать или сорок страниц. В комедии или драме все должно быть заключено в известные рамки, из которых драматург не может выйти: ни лишнего лица, ни лишней сцены, а иначе и эффект и цельность произведения будут утрачены. Каждая фраза, каждый характер, весь сюжет и развязка должны быть строго обдуманы.

Один бесспорно даровитый писатель, возмнивший о себе слишком много, хватавшийся за все [16], написал пятиактное драматическое произведение, данное в Москве, на втором представлении которого играли четвертый акт после пятого, а пятый — после третьего. Однажды при мне * этот автор позволил себе сказать Островскому, что он недостаточно знаком с техникой постройки драматических пьес.

— Может быть,— скромно ответил ему Островский,— но в моих пьесах еще не случалось, чтобы играли конец вместо средины, а средину вместо конца.

Между тем отношение дирекции к Островскому становилось все холоднее; явилась какая-то недоброжелательность, которую я приписываю отчужденности

---

* У Некрасова за обедом. *(Прим. Ф. А. Бурдина.)*

Островского от театрального начальства и нежеланию угождать. Пьесы его, дававшие полные сборы, снимались с репертуара, заменялись переводными мелодрамами, на постановку которых тратили большие деньги, а на постановку пьесы Островского не давали ничего.

Приведу пример.

Для постановки пьесы «Правда — хорошо, а счастье лучше» в Москве отказали в ничтожном расходе на садовую беседку, которую бенефициант Музиль сделал на свой счет. В Петербурге же во время представления той же пьесы в последнем акте, в столовой богатого купца, за неимением стола обеденного поставили карточный, да и тот еле живой, покрытый плохонькой салфеткой,— и как раз в то время, когда государь был в театре, стол на сцене развалился, но, к сожалению, это случилось перед поднятием занавеса, а не во время действия.

Очень естественно, что, находясь в подобных условиях, работая через силу, оскорбляемый нравственно, тревожась за семью, если бы Островский имел здоровье Геркулеса, он бы и тогда не вынес,— а Александр Николаевич был человек с слабым организмом; все огорчения глубоко западали ему в сердце, и нервная система у него была потрясена до основания; началось сердцебиение, безотчетная пугливость, постоянное тревожное состояние, отсутствие сна и аппетита, а вследствие этого — бессилие работать... Между тем деньги нужны для содержания семьи, для воспитания детей. Письма этого времени ко мне дышат отчаянием и безнадежностью; болезнь физическая и нравственная дошла до того, что Островский решился отказаться от театра [17].

В Москве, по интригам, не хотели тогда ставить его «Князя Шуйского и Димитрия Самозванца» [18], и вот как он описывает свое положение:

«Любезный друг, я едва держу перо в руках; постоянное сиденье за работой, бессонные ночи совершенно расстроили мои нервы. Известие, которое я получил от тебя, добило меня совершенно, хотя оно было для меня не новостью. Поутру я был в конторе (императорских театров), видел там Чаева, слышал от него о постановке его «Дмитрия Самозванца» в Москве, но вечером, когда получил твое письмо, мне как-то особенно представилось все оскорбление, которое мне наносят; со мной сделалось дурно; сегодня я весь разбит и, вероят-

но, слягу. Письмо (к министру) теперь у тебя в руках,— посылай его или разорви; делай так, как укажет тебе твоя любовь ко мне»[19].

По моему совету, он написал письмо к министру двора и прислал это письмо мне. Я передал письмо управляющему канцелярией министерства двора; тот передал письмо министру, объяснив все интриги, и министр приказал поставить пьесу Островского[20].

От 27-го сентября 1866 года Островский мне писал следующее:

«Объявляю тебе по секрету, что я совсем оставляю театральное поприще. Причины вот какие: выгод от театра я почти не имею, хотя все театры в России живут моим репертуаром. Начальство театральное ко мне не благоволит, а мне уж пора видеть не только благоволение, но и некоторое уважение; без хлопот и поклонов с моей стороны ничего для меня не делается, а ты сам знаешь, способен ли я к низкопоклонству; при моем положении в литературе играть роль вечно кланяющегося просителя тяжело и унизительно. Я заметно старею и постоянно нездоров, а потому ездить в Петербург, ходить по высоким лестницам, мне уж нельзя. Поверь, что я буду иметь гораздо больше уважения, которое я заслужил и которого стою, если развяжусь с театром.

Давши театру двадцать пять оригинальных пьес, я не добился, чтобы меня хоть мало отличали от какого-нибудь плохого переводчика. По крайней мере я приобрету себе спокойствие и независимость вместо хлопот и унижения. Современных пьес больше писать не стану; я уж давно занимаюсь русской историей и хочу посвятить себя исключительно ей; буду писать хроники, но не для театра. На вопрос: отчего я не ставлю своих пьес, я буду отвечать, что они неудобны. Я беру форму «Бориса Годунова»,— таким образом постепенно и незаметно я отстану от театра...»[21]

Несмотря на незлобивость своего характера, Островский имел много если не врагов, то недоброжелателей. При появлении каждой его новой пьесы критика кричала: «Островский исписался», бранила, например, «Лес», «Бесприданницу», а при появлении его новой пьесы говорили, что он уже не напишет таких пьес, как «Лес», «Бесприданница» и др., и так продолжалось до самой его кончины.

Театрально-литературный комитет, в свою очередь, тоже влил дозу желчи в его фиал. Он забаллотировал его веселую шутку «Женитьба Бальзаминова», которая дается и теперь на сцене с большим успехом.

Дело было вот как: пьесу эту читали в комитете летом, когда члены-артисты, в том числе и я, были в отпуску,— и не пропустили пьесы. Возвратившись из отпуска, мы потребовали пересмотра пьесы, основываясь на том, что комитет читал ее, будучи не в полном составе, и, в случае отказа, объявили, что выйдем из состава комитета и о причинах ухода заявим публично. Желание наше было удовлетворено; пьеса читалась вновь и была одобрена [22].

В эти тяжелые для автора, к сожалению, не минуты, а годы, появился Добролюбов и разъяснил в своих статьях цену и значение Островского, что было для него большим нравственным утешением.

На сцене для него также блеснул отрадный луч — это назначение директором театров С. А. Гедеонова. Весьма умный, высокообразованный, энергичный, он на первых порах горячо принялся за дело, тотчас же сошелся с Островским, дал ему сюжет для «Василисы Мелентьевой», в которой Гедеонову принадлежит пролог [23]. Островский с обновленным духом принялся за работу и в один месяц в Петербурге кончил эту пьесу. Читая этот образный язык, тщательную обрисовку характеров, драматичность положений, нельзя и думать, чтобы она вылилась так быстро из-под пера автора. Пьесу немедленно поставили и сыграли с большим успехом, но тем и закончились благотворные лучи нового солнца.

С. А. Гедеонов с самого начала своей деятельности стал во враждебные отношения с всемогущим тогда бароном Кистером, который парализовал все действия Гедеонова,— и Гедеонов, окончательно побежденный, просился в отставку; отставки ему не дали, а власть отняли, и Гедеонов окончательно отступился от театра, посещая его по своей обязанности только в те дни, когда в нем присутствовал государь. Петербургский театр опускался все ниже и ниже; появился новый печальный продукт драматического искусства — оперетка. Публика сбегалась смотреть доморощенных клоунов, ржала от удовольствия, глядя на высоко взбрасываемые ноги, слушая тривиальную музыку и тривиальные речи. Где же

было бороться Островскому, с его простой, правдивой действительностью,— с бессмысленной удалью французского трепака!

К счастию еще, в Москве этот тлетворный яд не заразил сцены, и московские артисты дали энергический отпор французской оперетке.

Тем не менее с появлением оперетки пьесы Островского стали даваться реже; материальное его положение еще более ухудшилось. Из его писем я видел, что настроение его духа стало еще мрачнее; тревога за семью и непосильный труд все более и более расстроивали его здоровье. Это было самое тяжелое время его жизни,— время нужды и неоплатных долгов.

В это время на помощь явился В. И. Родиславский с проектом Общества русских драматических писателей. Его неустанной энергии обязаны драматические авторы тем, что стали получать вознаграждение с частных театров. Сначала дело шло очень туго — никто не хотел платить; проект был утвержден не скоро; возникло множество процессов; но присуждение судом к тюрьме одного из антрепренеров за «Русскую свадьбу», сочинение Сухонина, данную без дозволения автора, сразу подвинуло дело. Мало-помалу содержатели частных театров стали входить в сделку с авторами, кое-что платить, и наконец, когда Общество было утверждено правительством, дело стало на твердую ногу. А. Н. Островский был выбран единогласно председателем Общества и оставался в этом звании до самой кончины.

С того времени его материальные средства стали улучшаться. Не было театра в России, где бы не давались его пьесы, и, получая за это хотя и небольшую плату, он все-таки с частных театров имел больше, чем с казенных [24].

С грустью задумываешься над участью А. Н. Островского. Во Франции две-три пьесы, написанные Дюма и Сарду, обеспечили навсегда авторов; а наш единственный драматург, давший русской сцене целый театр, всю жизнь нуждался и, давая хлеб всем русским театрам в провинции и сотни тысяч — дирекции, сам не только ничего не нажил, но никогда не выходил из долгов!

В самое последнее время была образована комиссия для пересмотра старых театральных постановлений и для новых реформ. В трудах этой комиссии приглашен

был принять участие и А. Н. Островский. С юношеским жаром он принялся за работу для пользы страстно любимого им дела; целые дни проводил за составлением записок, исторических докладов, проектов, но самою заветною мечтою его было устройство школы для драматического искусства. «Если я доживу до тех пор,— говаривал он,— то исполнится мечта всей моей жизни, и я спокойно скажу: ныне отпущаеши раба твоего с миром!..» Целых два года он посвящал все свои труды этому делу, и собранные им материалы, хранящиеся теперь у высшего театрального начальства, составят любопытные страницы в истории русского театра [25].

В самый последний год своей жизни А. Н. Островский получил большое нравственное удовлетворение. Ему доверен был московский театр и устройство театральной школы на предполагаемых им основаниях [26]. Он сделался наконец хозяином русского театра; он мог осуществить все свои заветные мечты: любимое дело было в его собственных руках; ничто не мешало ему поставить это дело на надлежащую высоту: он устроит рассадник юных талантов, очистит русскую сцену от плевел и поднимет вкус публики!.. Сколько светлых надежд, какое ликование между артистами! Поставленные им пьесы «Воевода» и «Мария Стюарт» возбудили восторг публики, и на эти спектакли с трудом доставали билеты. Все с нетерпением ожидали обновления русской сцены; но дни Александра Николаевича были уже сочтены. Физические силы не отвечали силам духовным. Переход от тихой кабинетной деятельности к деятельности кипучей, где он ни минуты не имел отдыха и покоя, был бы под силу молодому, здоровому организму; ему же, обремененному тяжкими недугами, нужнее было спокойствие. По словам пользовавшего его доктора Остроумова, он не успевал остывать и приходить в нормальное положение, и это — при болезни сердца, удушье и ревматизме.

Посещая его почти каждый день, я видел, в каком состоянии он возвращался со службы. Усталый, измученный, с потухшим взглядом, он опускался в кресло и в продолжение некоторого времени не мог вымолвить слова... «Дай мне опомниться, прийти в себя,— начинал он,— я сегодня чуть не умер; мне не хватало воздуха, нечем было дышать... ревматизм не позволял от боли пошевелить руками... народу, с которым надо было объяс-

няться, пропасть... потом доклады — я сегодня подписал шестьдесят бумаг,— и вот видишь, в каком состоянии воротился домой...»

Едва отдохнув, вечером он отправлялся в театры, большею частью посещая тот и другой; волновался там, видя какие-либо неисправности, и дома засыпал беспокойным, тревожным сном. Такова была его жизнь в последнее время.

С грустью каждый день я убеждался, что он не только не работник, но и не жилец на белом свете.

К довершению несчастия, перед своим отъездом в деревню он простудился; ревматические боли усилились в крайней степени; по целым часам он не мог пошевельнуться, перенося ужасные страдания. Доктор объявил, что нет более никакой надежды, и через три дня по приезде в деревню, 2-го июня 1886 года, его не стало...

М. И. Писарев

К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ БИОГРАФИИ А. Н. ОСТРОВСКОГО

(Историко-литературная справка)

<...> С каждой новой пьесой успех Островского рос необычайно. Им было написано в 1858 году уже двенадцать пиес. Назрела потребность в собрании воедино разбросанных по разным журналам произведений талантливого писателя стоявшего теперь в первых рядах корифеев родной литературы. Издатель журнала «Русское слово» граф Кушелев-Безбородко приобрел у Островского право издания его сочинений. Между тем над пьесой «Свои люди — сочтемся!» все еще тяготело запрещение. Автору было неофициально сообщено, что комедия его может быть вторично напечатана только при условии тех изменений, какие были в 1850 году указаны журналом «Комитета 1848 года» [1]. Приходилось, volens-nolens *, подчиниться этому требованию. Иначе издание лишилось бы одного из самых лучших своих украшений.

Покойный Островский всегда с глубокой, невыразимой горечью вспоминал об этом печальном факте.

— Чувство, которое я испытывал, перекраивая «Своих людей» по указанной мерке,— говорил он,— можно сравнить разве только с тем, если бы мне велели самому себе отрубить руку или ногу. <...>

В 1859 году вышло (первое) собрание сочинений Островского в роскошном двухтомном издании графа Кушелева-Безбородко. В первом томе вслед за «Семей-

* волей-неволей *(лат.)*.

ной картиной» была напечатана «изувеченная», как называл ее сам Островский, комедия «Свои люди — сочтемся!». Но и в такой форме ее допустили только в печать, а о сцене посоветовали забыть и больше не думать.

Островский не умел ни просить, ни хлопотать о себе. Он спешил всегда все сделать для других и никогда — для себя. Пьесе, вероятно, еще много лет пришлось бы пролежать под спудом, если бы не выручил случай. В конце того же (1859) года поставлена была в Александринском театре «Гроза». Император Александр II был в этом спектакле. Ему понравилась пьеса, и он с большой похвалой отозвался о ней. Этим обстоятельством воспользовался друг Островского — известный писатель П. В. Анненков (родственник которого занимал в то время какое-то довольно видное место), и единственно благодаря его стараниям, путем разных влиятельных протекций удалось всеми, как говорится, правдами и неправдами добыть наконец разрешение постановки «Своих людей» на сцену [2], хотя, разумеется, во второй редакции, то есть в том же «искалеченном» виде, в каком комедия была напечатана в издании Кушелева-Безбородко.

Поставлена она была в первый раз в Петербурге в бенефис Ю. Н. Линской, 16-го января 1861 года, а через две недели (31 января) — в Москве, в бенефис знаменитого сподвижника Островского по сцене, незабвенного величайшего русского артиста — покойного Прова Михайловича Садовского.

Мечта же Островского увидеть на сцене «Своих людей» в их «настоящем образе», то есть такими, какими они были написаны им не под диктовку цензора, а по внушению его собственного гения, исполнилась не скоро. Ему пришлось ждать ее осуществления целых двадцать лет.

В 1881 году М. Н. Островский (брат Александра Николаевича), бывший в то время министром государственных имуществ, исходатайствовал разрешение к представлению на сцене комедии «Свои люди — сочтемся!» по тексту первой редакции. И вот 30 апреля (1881 года) в частном московском театре «Близ памятника Пушкина», или попросту «Пушкинском» (как обыкновенно все называли его), пьеса была впервые поставлена в *публичном* спектакле. Говорю: в «публичном» и отмечаю

это слово потому, что много лет назад, в начале второй половины пятидесятых годов, ее играли любители (и, конечно, без цензорского карандаша) на домашней сцене, в тесном кружке близких друзей и родственников Островского, причем сам автор исполнял роль Подхалюзина [3]. Но такое семейное художественное чтение в костюмах нельзя же назвать публичным представлением, а превосходных чтецов-любителей — актерами. Тогда как спектакль 30-го апреля являл собою нечто выходящее из ряда вон, нечто грандиозное. Смотреть его съехался весь, так сказать, fine fleur * образованного московского общества, собралась вся интеллигентная Москва в лице своих лучших представителей: литераторов, ученых, художников и пр. Места брались чуть не с бою, несмотря на то что цены были значительно повышены.

Пьесу ставил сам Островский, предварительно прочитав ее актерам. А кому не известно, что его мастерское чтение всегда служило наилучшим комментарием для его пьес, следовательно, и наилучшим руководством для исполнителей.

Начались репетиции. Островский не пропускал ни одной. Его сердечное внимание, его любезность, тот задушевный, приветливый, дружественный тон, каким он давал советы актерам, не насилуя их самостоятельности,— чрезвычайно подняли общий дух, и артисты работали с удвоенной энергией, желая оправдать доверие автора и заслужить его одобрение.

В день спектакля Островский был заметно ажитирован. Вызовы автора начались с первого действия, однако он упорно отказывался выходить на них до конца пьесы. Когда же после четвертого акта, по окончании комедии, вызовы возобновились с еще большею настойчивостью, чем раньше, и Островский показался на сцене, окруженный всеми участвующими,— мгновенно вся публика, как один человек, поднялась с своих мест. Гром оглушительных аплодисментов и неистовых «браво» огласил зал. В один момент вся сцена была засыпана цветами. Большой золотой венок появился над рампой. Стоном застонал театр...

И перед этой ревущей от восторга толпой мужчин и женщин, стариков и юношей, посреди аплодирующих

---

* весь цвет, сливки *(франц.)*.

актеров как-то особенно выделялась плотная фигура человека — виновника торжества — с несколько наклоненной, как бы поникшей головой, с нервной улыбкой на бледном, взволнованном лице — этого необыкновенного человека, по таланту — гиганта, по сердцу — ребенка...

Вызовам и овациям, думалось, не будет конца. Публика ликовала. Она справляла поистине большой и знаменательный литературный праздник...

Никогда — ни прежде, ни после — мне не случилось видеть Островского в таком оживленном настроении, в каком он был в этот вечер, помолодев, казалось, на целый десяток лет. Да и могло ли быть иначе: его заветная мечта наконец осуществилась.

СТРАНИЧКИ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ А. Н. ОСТРОВСКОМ

<...> Александр Николаевич, рассказывал М. И. Писарев, был превосходный чтец. Необычайно тонко, почти не меняя голоса, он умел передавать оттенки характеров героев своих драм и комедий. Он был глубокий знаток живого русского языка, и его интонации не поддавались передаче, так непосредственно и оригинально они звучали.

Прекрасно, с тонким, едва уловимым комизмом, Александр Николаевич передавал речь купцов, приказчиков и чиновников, но его коньком были женские роли. Свах и купчих он читал неподражаемо. И многие выдающиеся русские актрисы играли роли в пьесах А. Н. Островского «с его голоса». Он очень охотно «начитывал роли», помогая актерам и в особенности актрисам. Но на репетициях он редко вмешивался в работу режиссера и артистов. Больше помалкивал, покрехтывал и ежился, жалуясь на нездоровье. Генеральную репетицию он обыкновенно внимательно смотрел, делал кое-какие замечания в дружеской форме. Так, например, когда в московском Малом театре возобновили «Свои люди — сочтемся!» с Мих. Пров. Садовским в роли Подхалюзина, Александр Николаевич, очень довольный игрой Садовского, подошел к нему и сказал: «Хорошо... Бесподобно играешь, Миша... А я, брат, в сце-

не с Большовым, когда играл Подхалюзина, указательным перстом спинку стула ковырял... Типично, брат...»

Во время первого представления своих пьес Александр Николаевич страшно волновался и никогда не сидел в зрительном зале. Бледный и растерянный, он бродил за кулисами, переходя с одной стороны сцены на другую, шепча что-то, принужденно улыбаясь и невпопад отвечая на вопросы.

Если пьеса имела успех, то на шестом-седьмом представлении Александр Николаевич шел в кресла смотреть комедию. Он весь был поглощен игрой артистов и ходом пьесы. Островский заразительно хохотал в комических сценах, аплодировал актерам и до того непосредственно увлекался, что иногда, забывая, что идет его пьеса, хлопал незнакомого ему соседа по колену, восклицая: «Прекрасная пьеса... жизненная, смешная!..»

У Александра Николаевича были среди провинциальных актеров друзья, с которыми он не прочь был иногда посидеть побеседовать в каком-нибудь уютном трактирчике второго разряда.

Одним из близких к нему приятелей был провинциальный актер-комик Загорский, послуживший, как говорят, Островскому прототипом для Аркашки Счастливцева. Загорский был неважный актер, но очень остроумный, талантливый рассказчик, знавший бесконечное количество забавных анекдотов, курьезов из закулисной жизни провинции и превосходно их передававший. Александр Николаевич, сам хороший рассказчик-юморист, очень любил Загорского, несмотря на то что тот был неисправимый алкоголик.

Великим постом, как только Загорский, окончив сезон, приезжал из Костромы или Астрахани в Москву, являлся к Александру Николаевичу и выкладывал перед ним запас новых рассказов. В конце поста, а иногда и летом, когда у него не было ангажемента, Загорский переселялся к Александру Николаевичу и жил на полном его иждивении, занимаясь вместе с Александром Николаевичем любимым занятием Островского в деревне — рыболовством.

Но вот Александра Николаевича назначили директором императорских московских театров [4].

Увидав как-то Островского в театре в вицмундире, Загорский страшно опечалился, заробел и не решился уже идти к Александру Николаевичу с обычным визитом. В средине великого поста у Загорского, по обыкновению, ни денег, ни костюмов, не на что «ни boir, ни manger» *. Встречает Загорский как-то Над. Мих. Медведеву и, конечно, жалуется на безвыходное положение.

— А что же вы не обратитесь к Александру Николаевичу?.. Он теперь в силе... Директор театра...

— Поэтому и не могу обратиться... Он в генеральском вицмундире ходит, а у меня штанов крепких нет...

Надежда Михайловна сейчас же отправилась к Островскому просить за Загорского.

— Что же он сам ко мне не пришел?..— удивляется Островский.

— Да ведь он, извините за выражение, без штанов, Александр Николаевич.

— Ну и дурак... Ведь я его всю жизнь без штанов видел, чего же ему меня стесняться... Пускай приходит... Я ему свои дам...

И на другой же день Загорский поселился у директора императорских театров Островского.

Кстати сказать, артист Загорский неподражаемо передавал бесчисленное количество эпизодов из семейной жизни Александра Николаевича, прекрасно имитируя его речь, характерное придыхание и манеру говорить. И сам Александр Николаевич часто, сидя в кругу друзей, просил Загорского рассказать что-нибудь из его жизни и всегда смеялся до слез над его рассказами.

Загорский умер глубоким стариком в общей уборной театра Литературно-художественного общества [5], «где статистам бороды наклеивают», во время представления трагедии «Феодор Иоаннович» [6].

Прилег, загримированный, в костюме боярина на диван, в ожидании своего выхода, и во сне отдал богу свою «многогрешную душу».

И с ним вместе умерли яркие, нигде не записанные, живые сцены из интимной и театральной жизни А. Н. Островского. <...>

---

* ни пить, ни есть *(франц.)*.

Н. А. Дубровский

ИЗ «ТЕАТРАЛЬНОГО ДНЕВНИКА»

Третий спектакль[1] был 8 апреля <1860 года>. Опять шел «Кречинский»[2], и я опять играл роль Расплюева.

На этом спектакле было очень много публики. Из моих знакомых были: Голицынский, Завидовский, Левицкий и Иванов. На этот спектакль приехал и мой старинный приятель и родственник Давыдова — Александр Островский. Признаюсь, мне хотелось услышать отзыв Островского о моей игре, и преимущественно в роли Расплюева.

Отзыв Островского может служить авторитетом не только мне, но и опытному актеру, ибо Островский — талантливый драматический писатель и хорошо понимающий артистическое искусство и его требования. <...>

Островский назвал меня молодцом и сказал мне, что моя игра очень естественна и роль Расплюева понята мною очень хорошо. Этого с меня довольно. Островскому ни льстить, ни обманывать меня не из чего. <...>

15 сентября возобновились спектакли у Давыдова. Я играл роль Васютина из новой пиесы Островского «Старый друг лучше новых двух». Сам автор играл роль купца. Присутствующие остались игрой нашей очень довольны. Жаль, что мы играли только одно второе действие. <...>

2 генваря 1861 года. Представления нынешнего года начались на Красноворотском театре замечательной комедией А. Островского «Свои люди — сочтемся!», или «Банкрут». <...>

В заключение спектакля дана была шутка — «Хочу быть актером», составленная Горбуновым, которую очень мило исполнил студент Московского университета Федотов. На замечание мое об игре Федотова Островский мне сказал, что его игра — чистейшее подражание Горбунову, и притом еще слабое; «а все-таки недурно»,— прибавил он. <...>

Игра Островского

Роль Подхалюзина играл сам Островский и выполнил ее чрезвычайно отчетливо. Он мастерски обрисовал характер этого подлеца, придал значение каждому его слову, каждому движению и разоблачил всю внутреннюю жизнь этого негодяя; но за всем тем в игре Островского не было видно актера, а скорей был виден в роли Подхалюзина сам автор, превосходно читавший свое произведение. По моему мнению, Островский великолепно прочел роль Подхалюзина, а не сыграл ее.

Слушая это превосходное чтение, можно многому научиться тому актеру, который бы пожелал сыграть роль Подхалюзина. <...>

Александр Островский всех нас благодарил и остался очень доволен исполнением его пиесы и игрою участвующих в ней артистов.

Здесь я простился с Островским, который чрез несколько дней едет в Петербург, где к 15 января должна быть поставлена игранная нами пиеса — «Банкру́т».

<ПОЕЗДКИ В ЩЕЛЫКОВО>

Воскресенье 12-го июля <1870 года>. Приехал в Щелыково в три часа пополудни. Ни мужа, ни жены, ни детей, кроме малютки Сережи, не застал дома — все уехали ловить рыбу. <...>

У Островского усадьба прекрасная. Дом стоит на горе, по склону которой разбит сад; за садом идет боль-

шой луг, примыкающий к небольшой, но довольно красивой извилистой речке Куекше. Вид с балкона на реку и даль чрезвычайно живописен; особенную красоту этому виду придает зеркальная речка Куекша, извивающаяся под самой усадьбой.

Сашенька с семьей приехал домой с рыбной ловли почти в шесть часов. Он и жена обрадовались мне, как близкому, любимому, родному.

В то время, когда они приехали, я сидел на балконе и любовался открывающимся с него видом, не подозревая, что хозяева были уже на пороге.

Когда же услыхал поспешные шаги и голос Островского: «Где он тут, разбойник, где он тут, проклятый *недоляшек*?» — я стал за колонны балкона и, дав ему пройти мимо меня, вышел в гостиную. Островский, заглянув к себе в кабинет и не видя меня, вернулся в гостиную, где мы с ним дружески обнялись и расцеловались. Затем выпили горелки и сели обедать. После обеда мы пошли с ним смотреть рыбу, которой они наловили большие два бочонка. Когда мы пришли, рыбу уже выкидывали из бочонков, около которых хлопотала гостившая у них одна очень милая, но не совсем счастливая особа, Прасковья Николаевна [3].

Между крупной рыбой красивее и лучше всех были огромные голавли, каких мне никогда не удавалось видеть.

13 июля. Понедельник. Осматривали усадьбу и ездили на омут ловить рыбу вместе с Прасковьею Николаевною, но лов был неудачен, и мы возвратились домой к обеду с пустыми руками.

Усадьба у Островского в хозяйственном отношении устроена очень хорошо. <...>

17. Пятница. Ездили на омут, под мельницу, ловить на живцов рыбу, но ничего не поймали, хотя ловили на пять удочек. Вечером ездили на покос в Харино. Около леска Островских я и маленький Саша слезли с долгуш, и Островский повел меня в Харинскую заводь густым лесом по берегам гремучей речки Сендеги. Берега этой речки, покрытой по обеим сторонам лесом, очень дики и пустынны, дно каменисто, вода — кристалл; при-

легающие к ней поляны и возвышенные берега ее чрезвычайно красивы. В заводи пили чай и наслаждались запахом только что скошенного сена *. <...>

19. Воскресенье. <...> После обеда Островский, жена его с двумя детьми, Сашею и Мишей, и я поехали в Ивановский лес **. <...> Едва мы углубились в лес, как услышали дальние раскаты грома и поспешили возвратиться в деревню и скрылись от дождя в избе мельника. Войдя в избу, меня порадовала ее опрятность, а также простота и радушие ее хозяев и всей семьи их.

Гроза не умолкала, и три тучи одна за другой пронеслись над деревушкой. Островский был сильно обеспокоен о своей жене, которая страшно боится грозы, и беспрерывно выходил на двор, чтобы посмотреть, в какую именно сторону идут тучи. К часам девяти гроза стихла и дождь перестал; у крыльца избы давно уже стоял промокший до костей кучер с лошадьми, за которыми посылал из деревни посланца Островский. Между тем принесли из Щелыкова одежу для Островских и детей их и мы вскоре выехали из деревни, провожаемые кучкою добрых людей, которые вывели нас за деревню и пожелали доброго пути. Домой приехали в одиннадцатом часу ночи. Няньки встретили нас с охами и объявили нам, что они нас оплакивали, думая, что мы в такую погоду заблудились в лесу.

Надо заметить, что хозяйка, ее дети и работник во все время нашего у них пребывания сидели вместе с нами и вели с нами разговор; в этих людях не было видно никаких признаков отжившего рабства — они были незастенчивы и совершенно свободны в обращении с нами. Благо бы было для земли русской, если бы все крестьянские семьи походили на семью мельника, в которой совершенно неожиданно привелось мне провесть несколько часов. <...>

15 июня <1871 года>. Сегодня приходил к Островскому один крестьянин, бывший его крепостной, спро-

---

* Маленький Саша Островский изобрел слово: *«Червеница».* Так он называет жестянку, в которой хранятся черви для рыбной ловли. *(Прим. Н. А. Дубровского.)*

** Лес этот получил свое название от Ивановской пустоши. *(Прим. Н. А. Дубровского.)*

сить его: действительно ли будет побор с девок для амурской страны. Я и Островский растолковали этому крестьянину, что это страшная нелепость, и в подтверждение наших слов прочитали ему из «Санкт-Петербургских ведомостей» заметку [4], помещенную редакциею по этому предмету. Крестьянин остался очень доволен нашим объяснением и благодарил нас, что мы его успокоили,— «а то было совсем лишился хлеба».

— Так вот теперь кушай на здоровье,— заметил я с улыбкой крестьянину.

— Да ведь оно точно смешно, батюшка,— сказал мне на это крестьянин,— а нам ведь, право, приходится не до смеху: мало ли что бывало, может быть все это и теперь. Вон у нас тут одна девка тосковала, тосковала об этом, да и удавилась. Вот ведь как оно бывает-то. <...>

Вечером катались по Куекше на лодке.

Меня сегодня насмешил подрядчик, который строит у Островского новый дом [5], как своей фигурой, так и своими выражениями. Этому человеку лет за пятьдесят, среднего роста, черноволосый, с проседью, с окладистой бородой и с клюковным носом и щечками, доказывающими пристрастие его к горячительным напиткам. Подрядчик этот при начале разговора с Островским или женой его постоянно принимал одно и то же телоположение: выпрямлялся во весь рост, подбоченивался правою рукою и произносил очень хладнокровно следующее выражение: «Прибегаю к стопам вашим»,— и затем уже объяснял причину своего прихода. Так, например, сегодня, когда Островский спросил его, что ему нужно, он ответил: «Прибегаю к стопам вашим с планом»,— и вместе с сим, указывая на план дома, просил Островского разъяснить ему его недоумения.

16-го ездили на омут, но ничего не поймали. <...>

Вечером часов до двенадцати беседовал с Островским, говорили о Гоголе и Костомарове.

А. А. Нильский

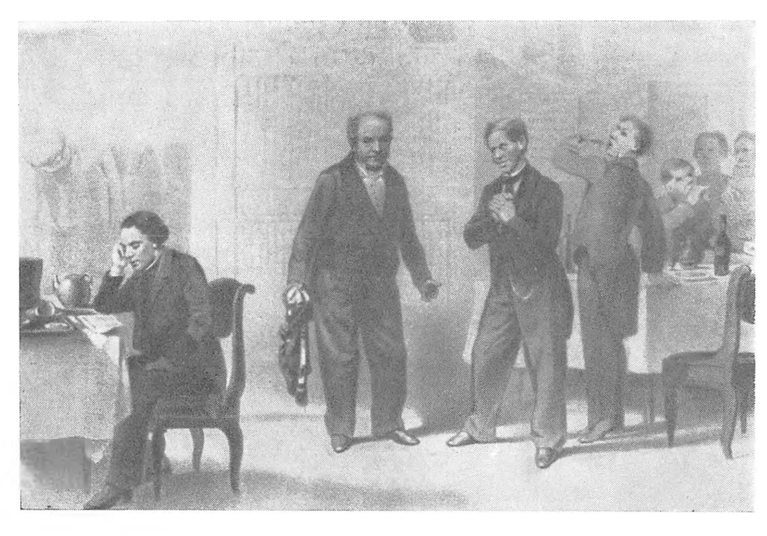
ОТРЫВКИ ИЗ «ЗАКУЛИСНОЙ ХРОНИКИ»

Знаменитого драматурга Александра Николаевича Островского я знал с моего юношеского возраста. Моя первая встреча с ним произошла в первой московской гимназии, где я воспитывался. <...>

Однажды на рождественских праздниках наш преподаватель законоведения Аполлон Александрович Григорьев (впоследствии известный критик) затеял устроить в гимназии домашний спектакль при исключительном участии воспитанников [1]. Не долго думая, он выбрал для представления только что явившуюся и имевшую огромный успех новую комедию Островского «Не в свои сани не садись» и, кроме того, один акт из драмы Н. В. Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла», в которой главную роль Минина взялся исполнить сам. Не допуская к участию посторонних, Григорьев и женские роли роздал воспитанникам. На меня, как на страстного любителя сцены, указали устроителю спектакля старшие ученики. Благодаря их лестной рекомендации, я получил две роли: Маломальского в комедии Островского и выходную, в несколько слов, роль какого-то нижегородского парня Петрова в драме Кукольника. <...>

На одну из последних репетиций и спектакль приезжал автор, Островский, и привозил с собой в то время мало еще известного молодого человека И. Ф. Горбунова, тогда еще не служившего на сцене, а только что начинавшего появляться в свет с своими неподражае-

«Свои люди — сочтемся!». Спектакль группы любителей. В роли Подхалюзина — А. Н. Островский. *Фотография. 1861.*



«Доходное место» в Малом театре. Сцена из 3 действия. Жадов — С. В. Шумский, Юсов — П. М. Садовский, Белогубов — А. А. Рассказов. *Литография Белоусова. 1864.*

мыми рассказами. Об этом памятном спектакле я, Островский и Горбунов впоследствии часто вспоминали.

Итак, первые мои дебюты были весьма разнообразного амплуа, что, однако, не помешало мне получить приятные одобрения от самого автора, Григорьева и Т. И. Филиппова, в то время нашего учителя словесности, а ныне государственного контролера. <...>

Я искренно любил и уважал Островского не только как писателя, поражавшего своим огромным талантом, но и как человека. Он совершенно заслуженно слыл милейшею личностью и имел массу обожавших его друзей, в особенности в театральном мире. Обладая мягким, отзывчивым сердцем и оригинальным умом, Александр Николаевич на всякого производил неотразимо симпатичное впечатление, переходившее обыкновенно вскоре же в привязанность к этому доброму, ласковому и всегда снисходительному человеку.

Островский был причудником. Его причуды впоследствии перешли в капризы, которые иногда делали его несносным... Самою резкою чертою его характера была мнительность, очень часто надоедливая и до приторности скучная. Вечно он жаловался на всевозможные болезни, кряхтел, стонал и морщился, и в большинстве случаев, конечно, совершенно напрасно. Страдание от мнимых болей у него в конце концов вошло в привычку, и он никогда не отказывал себе в удовольствии «хвастнуть нездоровьем», как шутя про него говорили. Своим постоянным недомоганием он точно рисовался, напрашиваясь на сочувствие, в котором, разумеется, не было недостатка.

В своих обыденных сношениях с людьми и в разговорах Александр Николаевич проявлял неподдельный юмор, отличался остроумием и как собеседник был незаменим. Его рассказами, выхваченными прямо из жизни и переполненными сатирическими замечаниями, можно было заслушаться. По этим рассказам лучше всего можно было судить, какою громадною наблюдательностью владел покойный драматург.

Отрицательною стороною его характера было пристрастие. Люди, которых он любил, были безупречны и беспорочны. Актеры, к которым он питал приязнь, были гении, и никто в противном его не мог разубедить. Правда, находили на него минуты, когда он отрешался

от своих убеждений, но это было мимолетно. Нечаянно вырвавшийся порыв негодования скоро рассеивался, и Александр Николаевич вновь становился искренним поклонником своего приятеля или друга.

Это пристрастие, обусловленное мягкостью его сердца, часто мешало успеху лучших его пьес. Например, покойный актер Бурдин пользовался таким расположением Островского, что на петербургской сцене почти все новые произведения Александра Николаевича впервые шли по желанию автора непременно в его бенефис, причем лучшие в них роли беспощадно гибли от игры самого бенефицианта. Иногда драматург сознавал артистическую несостоятельность своего друга, но не имел силы воли и характера отказать ему в «своем расположении»...

За это Бурдин окружал драматурга услужливостью и угодливостью, подкупающе действовавшей на Островского. Бурдин старался предупредить всякое желание его и брал на себя все хлопоты и заботы «по проводке пьесы» как через цензуру, так и через все другие мытарства. С Александром Николаевичем он был на «ты» и сильно этим кичился перед товарищами [2].

Единственный, кажется, раз в своей авторской практике Островский изменил Бурдину и ни за что не решился отдать ему главной роли старика-купца в своей комедии «Сердце — не камень», которая, замечу кстати, шла по обыкновению в его же бенефис. Как против этого Бурдин ни протестовал, но Александр Николаевич настоял-таки на своем. Назначив эту спорную роль мне, он наметил своему другу другую, менее ответственную. Бурдин покорился, но в день своего бенефиса он внезапно захворал, так что за него играл другой. Таким образом, бенефис был без бенефицианта, о чем своевременно и был извещен Островский [3].

Мне не раз приводилось быть очевидцем, как Александр Николаевич при первых представлениях своих пьес, волнуясь, расхаживал за кулисами и вслух высказывал неудовольствие на Бурдина. Помню я, как при первом представлении «Воеводы» в Мариинском театре Островский возмущался Бурдиным, изображавшим молодого, лихого парня Дубровина. Сердито морщась и нетерпеливо пожимая плечами, Островский почти метался

за кулисами и, не сдержав волнения, быстро вошел в одну из уборных, где находилось несколько актеров, и проговорил, ни к кому не обращаясь:

— Ах, Федор, Федор!..* Что он делает?.. Так играть невозможно... невозможно... положительно невозможно... Что он делает?! Боже ты мой милостивый!.. <...>

Что Островский был весьма пристрастный человек, доказательством этого может послужить множество красноречивых фактов.

Так, например, однажды кто-то заметил ему, что он не совсем удачно назначил роли в комедии «Красавец мужчина» во время постановки ее на московской сцене.

— Чем же это, по-вашему, неудачно? — спросил он, по привычке подергивая плечами.

— Помилуйте, Александр Николаевич, заглавную роль красавца вы поручили Садовскому?! **

— Ну, так что же?

— Как что? Садовский превосходный актер, но не на подобное амплуа... Да наконец какой же он красавец?

— А чем же он, по-вашему, не красавец?

— Конечно, наружным видом... Он очень мил, симпатичен, но не красавец...

— Что вы со мной спорите?! Неужели я не знал, кому поручить роль?! Ведь Миша мой крестник [4]...

Против этой аргументации идти было нельзя, и оппонент поневоле согласился с доводом крестного папаши.

Почти так же он убедил в Петербурге режиссера, который при возобновлении на сцене Александринского театра «Бедность не порок» роль Любима Торцова не отдал прежнему ее исполнителю, Бурдину, а поручил другому актеру.

— Почему же не Федя играет Любима? — спросил Александр Николаевич.— Это его роль, он должен ее играть, нельзя обижать старого заслуженного актера...

— Бурдин стал слабым на ноги... за последнее время он шибко хворать начал... Такую большую роль теперь ему страшно поручить, того и гляди — споткнется...

* Бурдина звали Федором Алексеевичем. *(Прим. А. А. Нильского.)*

** Мих. Пров. Садовский, сын знаменитого Прова Михайловича. *(Прим. А. А. Нильского.)*

— Это ничего не значит! Конь о четырех ногах, и то спотыкается!

Против этого также трудно было протестовать, и расслабленный Бурдин вновь выступил в своей любимой роли.

Из анекдотических рассказов Островского мне помнится один весьма характерный.

— Повадился ко мне ходить какой-то молодой человек,— рассказывал Александр Николаевич,— и просить моих советов и указаний относительно того, как сделаться драматургом... Ко мне вообще таких молодых людей очень много является в Москве. Я им всегда обыкновенно советую выжидать удобного случая. «Это,— говорю я им,— само свыше налетит, ждите очереди»... Но только этот, про которого я речь веду, был надоедливее всех. Написал он какую-то сумбурную комедию и представил ее мне для оценки. На досуге я просмотрел ее, и оказалась она никуда не годной: ни складу, ни ладу, просто одна глупость. Является он ко мне за советом с робкой, печальной физиономией. Жаль мне вдруг его стало, я и говорю:

— Ну, батюшка, сочинение ваше прочел, и ничего не могу сказать вам утешительного... Комедия очень слаба, так что и исправлять ее невозможно...

— Как же быть-то? — спрашивает он, уныло опустив голову на грудь.

— Да как быть? — отвечаю.— Если не побрезгаете моим добрым советом, то вот он: оставьте все это и займитесь чем-нибудь другим...

— Да чем же-с? Я, ей-богу, не знаю...

— Женитесь, что ли,— говорю ему шутя,— это все-таки лучше.

Ушел. Месяца через два является опять.

— Что вы? — спрашиваю.

— Я, говорит, исполнил ваше приказание.

— Что такое? Объяснитесь толком, я вас не понимаю...

— Вы мне велели жениться,— я женился...

Я просто рот разинул от изумления. Глупость моего собеседника превзошла всякие смелые ожидания.

— Ну, что ж, поздравляю, говорю. Давай вам бог счастья...

— И вот еще новая пьеска, только что написал...

— Вот тебе раз! Да ведь я вам советовал жениться нарочно, чтоб отвлечь вас от писательства, а вы все-таки продолжаете стремиться к литературе.

— А я-с думал, что вы нарочно заставляли меня жениться, чтоб у меня пьесы лучше выходили...

— Ну, уж коли вы так рассудили, то делайте, что знаете, а мне теперь ваших произведений читать некогда. Извините.

— Только таким образом я и отделался от этого непризнанного собрата по оружию,— закончил свой рассказ Александр Николаевич.

Пришел к Островскому знакомый и, не застав его дома, вошел в квартиру и стал дожидаться его возвращения. Слуга Александра Николаевича сказал ему, что барин обещался скоро приехать. Минут через пятнадцать действительно вернулся домой драматург и, войдя в переднюю, спрашивает лакея:

— Никто не был?

— Какой-то господин вас дожидается...

— Кто такой?

— Не могу знать... Неизвестный!

— Чего ты врешь! «Неизвестный» только один и есть в опере Верстовского «Аскольдова могила», но он до меня никаких дел не имеет.

Во времена существования московского Артистического кружка [5] Островский был его частым посетителем. Однажды подходит к нему там провинциальный актер из категории «посредственностей» и здоровается с драматургом, который, будучи всегда приветливым, на почтительный поклон его ответил вопросом:

— В Москву за песнями? Погулять да отдохнуть к нам пожаловали?

— Да. Хочу взглянуть на ваших знаменитостей,— насмешливо проговорил актер,— надо нам, провинциалам, от ваших хваленых гениев позаимствоваться...

— Доброе дело! — спокойно заметил Александр Николаевич.— Но только вряд ли усвоите что-либо. Мудрено от талантов позаимствоваться...

— Ну, уж и мудрено!

— Да вот, кстати, я расскажу вам, какой со мной сегодня случай произошел. Нанял я к кружку извозчика. Попался дрянной. Лошаденка дохлая, еле ноги волочит. Стегал он ее, стегал, ругал, ругал, а она не обра-

щает ни малейшего внимания на его энергичное понуканье и даже, точно нарочно, тише пошла. Я и говорю ему, пора бы твою клячу на живодерню, для извоза она не годится, на хлеб себе с ней не достанешь.

— Это верно,— ответил извозчик,— подлости в ейном карахтере много. Уж чего я на ней не перепробовал: и ласку, и кормежку хорошую, и кнутовище здоровое, а ей хоть бы что, ничем не пронять. Сколько разов я ее на бега водил, чтобы, значит, поглядела на рысаков да переняла бы с них проворство, но и это она без всякого внимания оставляет.

Актер, конечно, понял намек и поспешил скрыться.

В конце своей жизни, как известно, Александр Николаевич получил важную административную должность. Его поставили во главе управления московскими императорскими театрами. Однако ему не суждено было долго занимать этот пост: он неожиданно скончался в своем костромском имении.

Несмотря на свой ум, доброту и приязнь к артистам, им многие были недовольны во время его кратковременного начальствования. Островский всю жизнь свою прожил «вольным» человеком, никогда нигде не служил, и поэтому не мудрено, что к своим служебным обязанностям приступил крайне неумело, неловко, что ставилось ему в вину. Действительно, многие распоряжения его были странны, но к ним нельзя было относиться строго, принимая во внимание его неопытность, которая в механизме театрального дела несомненно играет первенствующую роль.

Первое, с чего начал Островский свою деятельность, было то, что он облачился в форменный вицмундир и фуражку с кокардой. Затем устроил себе в доме дирекции особую приемную комнату, посреди которой поставил громадный стол и покрыл его красным сукном.

Когда его кто-то спросил:

— К чему это вы, Александр Николаевич, надели на себя не идущий к вам вицмундир и с красным околышем фуражку? Вас никто не привык видеть в таком странном одеянии.

Он серьезно ответил на это:

— К чему?! Я удивляюсь вашему вопросу... Я ведь теперь человек официальный.

Бывая в Москве, я часто посещал Островского. Во время его «управления театрами» мне случилось гостить в Белокаменной продолжительное время. Однажды он спрашивает меня между прочим:

— Поди, вы частенько встречаетесь с артистами?! Не слыхали ли чего? Что говорят? Довольны ли мной?

— Кажется, довольны, все вас очень любят, но за некоторые распоряжения по вашему адресу шлются упреки и осуждения.

— За какие же это? Любопытно... Я, кажется, ничего такого еще не сделал...

— Да вот, например, говорят, что вы с оперными не совсем справедливы.

— В чем же это я несправедлив? Это для меня новость!

— Говорят, что вы незаслуженно и жестоко поступили с певцом N., уволив его в отставку. Вы почему-то нашли его лишним, между тем, по общему отзыву, это был полезный и добросовестный труженик, да и получал-то он, в сущности, гроши.

— Так ведь его оклад понадобился для прибавки другому...

— Вот за это-то больше и негодуют. Обижая одного, вы делаете другому ни за что ни про что прибавку.

— Вот это мне нравится! — вдруг заволновался Александр Николаевич.— Я несправедлив! Да кто же может быть справедливее-то?.. Прежде чем упрекать меня, недовольные мною спросили бы лучше: много ли я прибавил X.? Он получал девять тысяч рублей, а я ему для округления накинул только одну тысячу... Разве ж это для него много?.. При девяти тысячах одна — пустяки... Да, кроме того, за него очень уж просил меня Рубинштейн. А как ему откажешь?! Вот вы и поймите, какова логика у нерассудительных людей! Им-то легко меня обвинять, а побыли бы в моей шкуре, не то б запели [6]...

По инициативе Островского в московском Малом театре были учреждены ежегодные пробные спектакли во время съезда провинциальных актеров великим постом. Александр Николаевич очень охотно допускал всех и каждого до этих так называемых «закрытых» дебютов.

Я гостил в Москве как раз в самый разгар пробных спектаклей, когда «испытывали свои малые силы на большой сцене» чуть ли не все захолустные премьеры и премьерши, собирающиеся в Белокаменной постом на обычный актерский рынок.

Как-то Островский говорит мне:

— Вы бы заглянули в театр, полюбовались бы на дебютантов...

— А разве это интересно?

— Еще бы! В будущем многообещающие...

— А в настоящем?

— Стараются быть многообещающими...

— Бываете ли сами-то на этих представлениях?

— Нет...

— Почему?

— Надоело.

— Чем же?

— Безобразие.

— А будет ли кто из них принят?

— Нет.

— Так зачем же давать им дебюты?

— Очень уж просят... Из сострадания...

— Из сострадания? Какого сострадания?

— Пусть поразвлекутся постом... Это даже, может быть, от кутежа отвлечет тех, которые пить люты [7]...

Островскому нравилось напускать на себя болезненный вид. Он делал страдальческие гримасы, охал, стонал и в этом доходил до того, что верил самому себе в страшном недомогании. Это была вечная слабость знаменитого драматурга, впрочем, очень невинная и ни для кого не беспокойная.

На репетиции своих новых пьес Островский часто приезжал совсем едва двигавшимся, с неизменною жалобою на свою застарелую хирагру *. Бывало, подойдет к нему кто-нибудь из артистов и, вглядываясь в его недовольное лицо и в нервное подергиванье плеч, сочувственно спросит:

— Как ваше здоровье, Александр Николаевич?

Островский начнет еще более пожимать плечами, бессильно опустит руки, склонит голову набок и тихим, жалобным голосом ответит:

---

* Болезнь рук. *(Прим. А. А. Нильского.)*

— Извините, сейчас ничего не могу вам на это сказать... спросите немного погодя... ночью же было худо...

Александр Николаевич любил играть в винт. За картами он был всегда разговорчив, и забавные выражения, одно другого лучше, типичнее, так и слетали с его языка. Для партнеров это было большим наслаждением. Сдадут ему, бывало, плохие карты, он начнет усиленно пожимать плечами и ворчать:

— Что же это такое? Что вы мне сделали?.. Это не карты, а слезы... да-с, слезы и ничего больше... Ни одной представительной физиономии,— все какие-то аллегории. Для гаданья, может быть, они и очень хороши, и приятны, и насчет интереса многое говорят, а для винта совсем негодящие.

Проигрывая игру и отдавая штраф противникам, Островский частенько восклицал не без сердца:

— Боже мой! Что же это такое?.. Как я хорошо играю и... как при этом несчастно. Удивительно, необъяснимо, ужасно!

Когда-то давно на сцене Большого театра в Москве произошел за кулисами крупный скандал: какая-то служившая при гардеробной француженка-портниха за что-то разобиделась на одного из администраторов и во время энергичного с ним объяснения забылась до того, что нанесла ему оскорбление действием. Конечно, она была уволена, делу не дали огласки, но на всех дверях в обоих казенных театрах немедленно вывесили объявление: «На сцену вход посторонним лицам строго воспрещается».

Вскоре после этого Островский приезжает в Малый театр с кем-то из артистов на считку своей новой пьесы. Входит с актерского подъезда * и наталкивается на объявление. Перечитав его два раза, он удивленно спрашивает своего спутника:

— Это что же такое? Никогда прежде ничего подобного не бывало! Почему это?

— Это вызвано скандалом, случившимся в Большом театре. Вы ведь знаете, что там наделала строптивая портниха?

— Как не знать,— знаю, очень хорошо знаю... Но только, по-моему, это не резонно, подобное объявление

---

* С Неглинного проезда. *(Прим. А. А. Нильского.)*

ни к селу, ни к городу. Ведь бьют-то свои *своих*, за что же *посторонних*-то не пускать?

Покойный актер Вас. Ник. Андреев-Бурлак рассказывал мне, как однажды Островский делал ему выговор за одну актрису, дочь известного литератора П<отехина>, служившую под режиссерством и распорядительством Бурлака в частном Пушкинском театре *. Следует заметить, что эта барышня не обладала ни красотой, ни дарованием и к довершению всего была лишена ясного произношения.

— Как же вам не стыдно, Василий Николаевич, обижать талантливую и милую девицу, да еще к тому же дочь известного и уважаемого литератора? — сказал недовольным тоном Островский.— Мне родитель ее на вас жаловался, и это меня сильно тронуло. Вы буквально ничего не даете ей играть.

— Право, я в этом так мало виноват,— начал защищаться Андреев-Бурлак.— В новых пьесах она не появляется по желанию авторов, которые ни за что не хотят назначить ей роли благодаря ее недостаткам, а старые пьесы, в которых она могла бы играть, не дают сборов, да и времени нет для репетирования их.

— Что за вздор! У нее нет никаких недостатков...

— А некрасивая наружность? А картавость?

— Все-таки, если бы вы захотели, так могли бы из уважения к ее отцу дать ей возможность хоть изредка фигурировать на сцене. Кроме того, по-моему, она не без дарования, даже с огоньком, да и собой премиленькая...

Затем разговор перешел на другие вопросы. Перед самым уходом Бурлака Островский спросил:

— Ну, что новенького в театре?

— Да вот намереваемся поставить вашу драму «Бесприданница». Не угодно ли будет пожаловать к нам на репетицию и на представление?

— С удовольствием. Мне, признаться, давно желалось, чтобы вы поставили ее у себя. А кто будет играть Ларису? На нее нужна хорошая исполнительница,— это сложная роль.

— Да вот кстати: можно будет поручить ее дочери П<отехина>.

---

* В Москве, на Тверской. Дело происходило во время антрепризы г-жи Бренко. (*Прим. А. А. Нильского.*)

Островский, позабыв недавние свои упреки Бурлаку, вдруг нервно стал пожимать плечами и сердито воскликнул:

— Да что это вдруг с вами сделалось? С ума сошли, что ли? Как же можно такую ответственную роль поручать П<отехиной>! Она хоть и дочь уважаемого литератора, но физиономия-то ее какова? Да еще и картавая... Если вы действительно намерены отдать ей Ларису, так я не только не приеду, но убедительно прошу вас и вовсе не ставить моей драмы...

Так Александр Николаевич был не тверд в своих убеждениях [8].

К. В. Загорский

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЛЕКСАНДРЕ НИКОЛАЕВИЧЕ ОСТРОВСКОМ

Я познакомился с Александром Николаевичем Островским в конце 1855 года[1]. Познакомился я с ним у казначея московской дворцовой конторы Н. И. Давыдова, жившего у Красных ворот в Запасном дворце. Давыдов приходился родственником Островскому, он был женат на родной сестре Александра Николаевича, Наталье Николаевне. В его казенной квартире давались спектакли, для которых устроены были подмостки на аршин от пола; в этих спектаклях принимал участие Островский и А. Ф. Федотов. В спектаклях принимали участие также сестры и племянницы Островского. Спектакли эти носили чисто семейный характер. На них-то я и познакомился с Александром Николаевичем, так как сам принимал участие в представлениях, состоявших из пьес разных авторов, в том числе и Александра Николаевича, из комедий которого здесь играли «Старый друг лучше новых двух» и «Свои люди — сочтемся!». В первой пьесе Александр Николаевич играл роль купца, Вавилы Осиповича, а во второй — Подхалюзина. Относительно исполнения роли самим автором я могу сказать следующее: чтение было великолепное, но игра и мимика были неудовлетворительны, потому что во время исполнения им ролей он не смотрел в глаза действующим лицам, а опускал их вниз или поднимал кверху. После одного из таких спектаклей, я помню, он со-

общал своим близким знакомым план пьесы «Минин, Сухорук», которую он в то время кончал.

Первый мой визит к нему был с Н. И. Давыдовым. Островский жил тогда в приходе Николы Воробина у Яузских бань в собственном доме. Тогда он еще не был женат [2]. В день своего первого визита я встретил у него известного П. И. Якушкина и еще человек двух, фамилии которых не помню. После ухода гостей по просьбе Н. И. Давыдова Александр Николаевич стал читать мне роль Подхалюзина. В последнем акте, где Подхалюзин отказывал Большову в уплате его долга, меня поразил тон чтения: бессердечность Подхалюзина обнаружилась во всей силе, я по наивности спросил Александра Николаевича:

— Неужели есть такие люди, как Подхалюзин?..

На это он отвечал мне, улыбаясь:

— Поживите на свете, так узнаете.

Вскоре после этого Александр Николаевич уехал за границу [3] вместе с И. Ф. Горбуновым.

В 1862 году я поступил на провинциальную сцену в Нижний Новгород и служил безвыездно шесть лет. В 1866 году [4] Александр Николаевич проездом в свою усадьбу, село Щелыково, Костромской губернии, Кинешемского уезда, был в Нижнем Новгороде с семейством, женою Марьею Васильевною и сыном Александром, которому было не более года [5]. По театральной афише Александр Николаевич узнал, что я нахожусь в труппе, и послал за мною, тут я познакомился с женой его, причем он пригласил меня после репетиции к себе обедать. Остановился он в почтовой гостинице Булычева. После репетиции я пришел в гостиницу, и мы отправились обедать в ресторан. Во время обеда пришел мой антрепренер Ф. К. Смольков, который сильно заикался. Так как прихода его никто не ожидал и Александр Николаевич не мог предупредить Марию Васильевну относительно его заикания, то произошла комическая сцена: по представлении Марии Васильевне Смольков хотел сказать супруге Александра Николаевича какую-то любезность, но сильно заикнулся и начал делать уморительные гримасы. Мария Васильевна смутилась. После обеда Смольков потребовал бутылку шампанского. Александр Николаевич просил Смолькова освободить меня на неделю, чтобы я мог уехать в Щелыково, Смольков

обещал исполнить просьбу. После обеда мы отправились в номер гостиницы, где я пробыл до одиннадцати часов вечера. На другой день Александр Николаевич уехал в Щелыково, а дня через два туда же отправился и я.

Щелыково находится в Кинешемском уезде, Костромской губернии, в двадцати верстах от Кинешмы, на левом берегу Волги. Господский дом, в котором жил Александр Николаевич, находится на горе. Он деревянный, окрашен серой краской, с четырьмя колоннами, двумя крыльцами и с лицевой стороны задний фасад обращен в сад, с террасой, перед которой разбит цветник.

Я приехал к нему поутру часов в десять. Александр Николаевич принял меня очень радушно. Умывшись и напившись чаю, мы отправились с Александром Николаевичем ловить рыбу. Подойдя к речке я, не помню, что-то рассказывал, Александр Николаевич остановил меня, поднял палец кверху и сделал знак, чтобы я замолчал. Я спросил о причине, он отвечал:

— Иван Егорович тут рыбу ловит. Он не любит, когда кто-нибудь шумит.— Иван Егорович Турчанинов, бывший артист московских императорских театров, пенсионер, пользовался добрым расположением Александра Николаевича и постоянно гостил у него летом. Подойдя к реке, я увидел человека в халате, подпоясанном шарфом, в старой фуражке, сидевшего с удочкой на берегу. Александр Николаевич представил меня ему. Турчанинов остался удить рыбу на прежнем месте, а мы с Александром Николаевичем отправились к мельнице ловить пескарей (живцов), чтобы потом на них ловить щук. Поймав несколько штук пескарей, мы сели в лодку и поплыли к самой мельнице, привязавши лодку к кольцу, нарочно для этого вбитому в стену мельницы, и начали ловить щук. Ловля была неудачная. <...>

В три часа пошли домой обедать. За обедом Александр Николаевич рассказывал сцену, которую он видел на пароходе, когда ехал из Нижнего к себе в усадьбу. Трое купцов сидели во втором классе и пили какое-то вино, один из них, охмелевши, прилег на диван, а через несколько времени тревожно зашевелился и коснеющим языком что-то промычал. Один из оставшихся за столом собеседников спросил: что ему нужно? Тот опять

пробормотал что-то, хотел подняться, но не мог. Собеседник подошел к нему ближе и повторил вопрос. Лежащий, при большом усилии, едва мог произнесть заплетающим языком:

— Попросите меня красненьким.

Эта сцена была рассказана очень комично, сидевшие за столом много смеялись. После обеда играли в пикет

В семь часов приехала к нему соседка по имению, почтенная старушка, и спрашивала совета — может ли она высечь мельника, арендовавшего мельницу у Александра Николаевича, мужика лет сорока, на том будто бы основании, что она была его восприемницей и как крестная мать она ответственна за него перед богом[6]. Александр Николаевич выслушал ее, но совета никакого не дал.

Прогостивши целую неделю, я должен был отправиться в Нижний, так как у меня должны были начаться репетиции.

В том же году Александр Николаевич опять приезжал в Нижний на ярмарку один, без семейства. По случаю его приезда в спектакле шла его пиеса «Не в свои сани не садись». Актер Душкин, игравший роль Бородкина, переврал фразу: «Люба, я за тебя душу положу», сказав вместо «Люба» — «душа». Когда актеры сетовали Александру Николаевичу на такое искажение фразы, Александр Николаевич сказал:

— Что же от Душкина требовать, я его хорошо знаю.

На другой день часов в двенадцать мы пошли на ярмарку, в Суровской ряд, где Александр Николаевич хотел видеть своего хорошего знакомого купца[7], с которым знаком был в годы студенчества и который говорил, что он Московский университет вдоль и поперек прошел, а на самом деле не был даже и в гимназии.

— Я ему говорю,— рассказывал Александр Николаевич, разумеется шутя: — «Ты смотри, не шибко обманывай народ, а то я тебя в комедию вставлю». Он очень испугался и просил его в комедию не ставить, считая это для себя позором.

В этом же году Александр Николаевич прислал мне на бенефис свою новую пьесу «Самозванец Луба»[8].

После каждого сезона я приезжал в Москву и почти каждый праздник бывал у Александра Николаевича.

В беседах наших он рассказывал разные анекдоты и эпизоды из своей жизни.

Так, говорил о том, что антрепренеры злоупотребляют своим положением и недоплачивают жалованья актерам.

— У меня мало времени,— говорил он,— а следовало бы написать и послать на утверждение проект относительно обеспечения актеров в получаемом ими жалованье. Можно было бы учредить при Обществе русских драматических писателей особое бюро, где бы записывались артисты, желающие получить ангажемент, и чтобы без согласия Общества не заключали контрактов с антрепренерами. В случае неплатежа денег, Общество могло бы не разрешить постановки спектаклей [9].

Островский был страшный охотник до рыбной ловли на удочку.

Однажды с Д. В. Живокини отправились они на озеро в Косино, ловить рыбу, находящееся в восьми верстах от Москвы. Озеро очень большое. Надо было ловить на лодке, а лодки не нашлось, а они достали где-то небольшой плот и, отпихиваясь шестами, поплыли по озеру. Предварительно разулись, выбрали место и начали ловить рыбу. Д. В. Живокини, увлекшись ловлею, забыл, что он не на земле, сделал несколько шагов по плоту, чем нарушил равновесие, плот наклонился, и сапоги попали в воду, желая спасти сапоги, он еще больше наклонил плот, оба рыболова чуть-чуть не потонули.

Несколько раз рассказывал мне Островский о своей служебной карьере в Коммерческом суде.

— Мы приходили в суд часов в одиннадцать, и у нас начиналось литературное утро. Разговаривали и спорили о литературе и так незаметно досиживали до трех часов. После трех часов отправлялись в кофейную Печкина, это было не что иное, как хороший трактир, продававший кофе, против Александровского сада, где теперь дом Комиссаровых. Д. Т. Ленский, говоря о яме, в которую сажали несостоятельных должников, написал на этот счет куплеты:

Близко Печкина трактира,
У присутственных ворот,
Есть дешевая квартира,
И туда свободный ход...

И хозяин там радушный,
И жильцов там берегут:
За одиннадцать с полтиной
Им квартиру, стол дают [10].

Этот трактир посещали студенты, артисты всех профессий: актеры, певцы, танцоры, музыканты и начинающие литераторы, в том числе А. Ф. Писемский.

В этом трактире встретился нам однажды Якушкин и рассказывал о своих странствованиях по губерниям, когда он собирал мотивы русских песен. <...>

Потом Александр Николаевич много рассказывал о своей службе в качестве корректора у историка Погодина, издававшего собственный журнал, за 30 рублей в месяц. Ходил он каждый день пешком от Яузских бань на Девичье поле к Погодину.

Когда в доме Погодина читал пьесу «Свои люди — сочтемся!» — Н. В. Гоголь присутствовал при чтении и, прислонясь к двери, слушал издали. Когда же пьесу эту не пропустили в цензуре, то Погодин предложил ему продать ее за 300 рублей.

При этом он поставил в обязанность переделать четвертый акт. Александр Николаевич согласился, потому что нуждался в деньгах. Потом выяснилось, что Погодин поместил ее в какой-то журнал и взял чуть ли не втрое против того, что заплатил Александру Николаевичу [11].

Однажды я пришел к Александру Николаевичу. Он спросил меня: видел ли я его сына Михаила? Я отвечал отрицательно; он попросил Марью Васильевну прислать с антресолей своего сына. Через несколько минут нянька привела мальчика лет двух, довольно плотно сложенного, с черной кудрявой головой, большими серыми глазами и притом с кривыми ногами.

— Посмотрите какой! — сказал Александр Николаевич.— Ноги кривые — настоящий комик.

Мария Васильевна взяла гармонию и стала играть, мальчик стал плясать вприсядку. Александр Николаевич был очень доволен.

— Как Гельцер * пляшет.

В начале апреля я зашел к Александру Николаевичу

* Гельцер — артист императорских театров, исполнявший роль Иванушки-дурачка в балете «Конек-горбунок». *(Прим. К. В. Загорского.)*

и застал его в кабинете за письменным столом. Он был в коротеньком тулупчике и маленькими картами раскладывал пасьянс. Он, по обыкновению, принял меня приветливо и продолжал раскладывать карты, потом смешал их и таинственно с улыбкой сказал:

— Я сегодня всю ночь не спал, работал... Я написал пьесу «Снегурочка». На той неделе репетиция, а у меня пятого акта еще нет. Вот я теперь и спешу кончить пятый акт.

Я выкурил папироску, поднялся и хотел уходить, чтобы не мешать ему работать; он остановил меня.

— Вам нужно кончать пьесу,— сказал я ему,— время дорого.

— Успею,— ответил драматург и снова стал раскладывать пасьянс.

Я изумился, что он вместо работы очень внимательно раскладывает карты, и спросил его, для чего он теряет время на раскладывание карт, а спешную работу не кончает.

— Ведь эдак, пожалуй, петухом запоешь, если все работать, надо дать отдых голове.

При прощании Александр Николаевич пригласил меня на генеральную репетицию в Большой театр. Пьеса ставилась с декорациями и костюмами. В этой пьесе дебютировала Кадмина, ученица консерватории [12].

После этого я почти каждый день бывал у Александра Николаевича, справляясь о дне отъезда в Щелыково. Однажды прихожу к нему; Марии Васильевны не было дома, она уезжала за покупками для деревни. Александр Николаевич стоял в зале у стола и резал ножницами какую-то материю. До этого мне никогда не приходилось видеть его за подобным занятием. Я полюбопытствовал узнать, что он делает.

— Крою панталоны для Александра. Здесь в шагу надо вынуть...— продолжал он, как будто сам с собою.

— Где же вы выучились кроить? — спросил я его.

Он улыбнулся.

— Чего мы только не знаем,— сказал он шутя. Между прочим объяснил, что он рос среди девочек, вероятно, сестер, у которых научился кроить и шить, так как товарищей у него в детстве не было.

В другой раз и Александр Николаевич и Мария Васильевна были дома. Был еще один старичок [13], со-

всем седой, с круглой небольшой бородкой, небольшого роста, в поддевке, в мужицких больших сапогах, довольно поношенных, вообще костюм не отличался свежестью. Что меня удивило, так это то, что Александр Николаевич не представил меня гостю, так как до этого не случалось, чтоб Александр Николаевич не представил меня кому-нибудь из своих знакомых, бывавших у него на дому. Потом меня крайне удивило фамильярное обращение этого старика с Александром Николаевичем и Марьей Васильевной: он им говорил «ты». Мы сели обедать, старик начал так:

— Слышь, Марья Васильевна, ты секи их поперек лавки, а уж если будешь сечь вдоль, это уж будет поздно... Поздно будет.

Вероятно, этот старичок до моего прихода вел какой-нибудь педагогический разговор.

Старичок продолжал:

— Был я у Михаила Николаевича, фатера у него хорошая, а жены-то нет. Что, говорю, не женишься? Невесты, говорит, нет. В Питере-то нет? Да за тебя любая девка пойдет. Не ладно, говорю, право, не ладно. Вот, говорю, был я у Александра Николаевича, детки-то у него больно хороши.

Александр Николаевич и Мария Васильевна молча слушали старичка. Встали из-за стола, старичок стал прощаться.

— Что ж, дашь ты мне денег-то? — спрашивал старичок.

— Что же я тебе дам, когда у меня самого нет,— ответил Александр Николаевич.

— Ну как не быть, дай хоть сколько-нибудь,— продолжал старик.

— Видишь, в деревню еду, сам нуждаюсь в деньгах,— ответил Александр Николаевич.

— Ну делать нечего, прощай,— старик протянул руку супругам и, уходя, сказал:

— Кланяться Михаилу-то Николаевичу?

— Кланяйся,— ответил Александр Николаевич.

— И Николаю Алексеевичу?

— И ему кланяйся.

Старичок ушел.

Мне любопытно было узнать, кто этот старичок, и я осведомился.

— Наш бывший кредитор, сапожник, который нам шил и чинил сапоги, когда мы были студентами, в долг.

— А кто это Михаил Николаевич, про которого он говорил? — спросил я.

— Мой брат,— отвечал Александр Николаевич.

— А Николай Алексеевич?

— Некрасов,— ответил Александр Николаевич.

— Какие деньги он у вас просил?

— На храм собирает... Он кимряк, сапожник. Вот он, по старости лет, перестал работать, а ходит и собирает деньги на храм. Теперь отправляется в Петербург.

В Щелыково мы приехали в конце апреля. Я поместился на антресолях в комнате, находящейся рядом с комнатой учителя-немца, а дети Александра Николаевича — в другой, находящейся по другую сторону комнаты учителя. В свободное время немец курил сигары в девять копеек десяток, чем вызывал неудовольствие Марьи Васильевны, которая вышла из терпения и просила Александра Николаевича запретить немцу курить сигары в комнатах, а курил бы он их на дворе. Немец уступил требованию Марьи Васильевны и уходил курить на двор.

В своей усадьбе Александр Николаевич ходил в русском костюме: в рубашке навыпуск, шароварах, длинных сапогах, серой коротенькой поддевке и шляпе с широкими полями. Утро обыкновенно начиналось так: в восемь часов вставали дети, сходили вниз пить чай, потом отправлялись на антресоли учиться. Александр Николаевич после чая уходил в кабинет и записывал расходы по хозяйству, а я садился в гостиной читать какую-нибудь книгу. У Александра Николаевича была очень хорошая библиотека. В двенадцать часов завтракали. После завтрака, если была хорошая погода, ходили ловить рыбу, а если была дурная погода, тогда Александр Николаевич занимался выпиливанием из дерева. В три часа обедали. После обеда Александр Николаевич уходил в кабинет, закуривал папироску, и, закрывши глаза, как будто дремал минут десять, а потом, до чая, часов до восьми, мы проводили время в разговорах. После вечернего чая ходили гулять или играли в карты. Во время послеобеденных бесед Алек-

сандр Николаевич много рассказывал о своей жизни, о различных эпизодах и о своих знакомых писателях и актерах.

В одной из бесед он рассказывал, как путешествовал по югу с А. Е. Мартыновым, который во время этой поездки умер у него на руках[14]. Когда они приехали в Харьков, антрепренер стал просить Мартынова принять участие в спектакле. Мартынов согласился играть в «Грозе» Тихона, а пьеса была только получена и лежала на почте. Всеми неправдами выручили пьесу с почты, вечером назначена была репетиция без ролей, после репетиции пьесу разорвали на несколько частей и раздали писцам. В ночь роли были написаны и вручены актерам; вечером была сыграна пьеса. Потом Островский с Мартыновым отправились в Полтаву на почтовых лошадях.

Александр Николаевич очень любил свое Щелыково: все, что было в Щелыкове, все было прекрасно; он говорил, что Костромская губерния одна из лучших губерний в России; несмотря на то что она северная, хлеб и все остальное поспевает в свое время. Грозы бывают красивее, чем в Альпах. Из Костромской губернии много вышло писателей, как, например, А. Ф. Писемский, Н. А. Некрасов и Колюпанов, про себя промолчал. Однажды пошли мы с ним гулять к какому-то ручейку, протекавшему в его имении.

— Посмотрите, какова река, настоящий Ниагарский водопад.

Я подумал, что он шутит, и ответил, что я видел рисунок Ниагарского водопада, который нисколько не похож на эту речку.

— Вы возьмите во внимание ширину Ниагарского водопада и соразмерьте с быстротой. Если бы река эта была широка, как водопад, то и быстрота бы увеличилась на столько же.

Относительно чистоты воздуха, климата и почвы он не находил ничего подобного ни в какой другой губернии.

— Обратите внимание, что в Щелыкове растет табак, хотя, разумеется, не поспевает.

Садовник его Феофан в виде опыта посеял несколько зерен табаку, который действительно взошел. Александр Николаевич смеясь говорил, что у Феофана есть табач-

ная плантация. Александр Николаевич любил овощи, как-то: спаржу и разные салаты. Налево от дома, рядом со скотным двором, был огород, парники и маленькая тепличка. В огороде росли разные овощи: спаржа, до десяти сортов салата очень красивого на взгляд. Александр Николаевич был очень доволен, когда Феофан приносил ему несколько огурцов, только что сорванных с гряды, очень хвалил соленые грибы, как-то: грузди и рыжики. Он любил все, что давало ему его Щелыково.

Однажды, гуляя один около реки, я увидал нескольких баб, искавших чего-то в реке. Я подошел и спросил, что они сбирают. Одна из баб показала мне что-то похожее на камень, но тяжелее камня. Я взял один из них и показал Александру Николаевичу. Он сказал, что это колчедан, и с гордостью заметил, что в его имении есть железная руда.

Когда дети и Марья Васильевна бывали на прогулках и, возвращаясь, сообщали ему какое-нибудь слово или фразу, слышанную в народе, он тотчас записывал ее для академического словаря [15].

<...> Однажды, сидя в кабинете, взял я альбом и стал рассматривать фотографические карточки артистов императорских театров, остановился на И. В. Самарине, которого я очень любил.

— Какой прекрасный актер,— сказал я, показывая на Самарина.

— Дай бог, чтоб таких было поменьше. В первый раз я ставил свою пиесу «Бедность не порок», в которой он играл роль Мити, я ужасно боялся, когда он стал читать монолог, стоя у окна и как-то по-французски поджав ногу. Вот-вот, думаю, упадет, потому что так стоять человек обыкновенный не может. Думал, упадет он, опустится занавес и пиеса не пойдет. Но, слава богу, кончилось благополучно.

Далее он высказал, что самаринская дикция и позировка дурно повлияли на талант Г. Н. Федотовой, бывшей его ученицы.

Об актере Бурдине он рассказывал следующее: когда была поставлена пьеса «Не в свои сани не садись» на сцене Малого театра и произвела сенсацию в московской публике, тогда пожелали ее играть в Петербурге.

Ф. Бурдин отправился в Петербург обставлять пьесу, которую он видел в Москве. Сам играл роль Бородкина за С. В. Васильева, а А. М. Читау перешла из балетной труппы в драматическую и играла за Л. П. Никулину-Косицкую. Пьеса была принята публикой и очень понравилась. После этой пиесы Бурдин занял видное место на сцене Александринского театра, тогда как в Москве он занимал должность суфлера [16].

О Н. К. Милославском Островский отзывался как о талантливом актере и очень умном человеке.

О Н. Х. Рыбакове вспоминал с любовью, как будто о родном.

О П. В. Васильеве отзывался с похвалою, и на вопрос мой: «Кто лучше исполнил роль Торцова: В. П. Васильев или П. М. Садовский?» — отвечал: «Оба играют очень хорошо».

Об актере Н. И. Новикове, игравшем в Москве в Народном театре, а впоследствии на петербургской сцене, он был плохого мнения за то, что тот, играя в Народном театре городничего в «Ревизоре», изволил себе нововведение, которое заключалось в том, что при начале первого акта, где все чиновники сидят, он вышел из боковой двери, вероятно рассчитывая на прием публики за выход; по этому поводу Александр Николаевич сказал:

— Гоголь, вероятно, знал лучше Новикова, что писал, и переделывать Гоголя не следует, он и так хорош [17].

А. И. Шуберт

ИЗ КНИГИ «МОЯ ЖИЗНЬ»

<Отрывки>

Но вот появился Островский, и роли купцов получили права гражданства: до него купцы изображались только в карикатурном виде.

Пришел как-то ко мне Островский и по какому-то поводу сказал:

— У нас как произведут в генералы, так у человека делается размягчение мозгов.

А я в это время сама уже была генеральша [1] и говорю ему, шутя:

— Поосторожнее выражайтесь: я сама генеральша.

А он:

— Это, сударыня, до вас не касается, вы не своим умом до этого чина дошли.

В 1854 году Яблочкин оставил режиссерство [2] и на его место единодушно был выбран Е. И. Воронов. Актер плохой, но режиссер замечательный, честнейший и справедливый. Воспитанный в театральной школе, он был один из образованнейших людей того времени; много читал, переводил. К своему делу относился он старательно. Например, в народных сценах добровольно костюмировался и ходил в толпе, чтобы подстрекать народ и придавать жизнь. Многое, однако, было не в его

власти: на обстановку дирекция была скупа, пьес тоже не было.

Только Мартынов блеснул в это время в роли Мишаньки [3] «Чужое добро впрок не идет» Потехина да изредка позволялся Островский, и то при сильном содействии Бурдина. Бурдин был горе-актер, но человек умный, развитой, сочувствующий новому веянию.

Где и как он сошелся с Островским, не знаю, но он упорно проводил его пьесы. А то мужицкими пьесами здешние артисты пренебрегали, что уже упомянуто мной при постановке пьесы «Не в свои сани не садись».

— Помилуйте, говорили, герой пьесы — Любим Торцов, пьяница. Что же это за направление?

Купеческие типы, столь близкие Москве, были недоступны пониманию петербуржцев. «Бедная невеста» из чиновничьего быта Москвы показалась скучна и провалилась, а ее и разыграть не умели. Кроме Линской, которая после долгого перерыва снова появилась на сцене и играла Хорькову, все ходили как тени.

А. Н. Островский был очень мягкого, деликатного характера и поневоле отдавал лучшие роли Бурдину [4], а у того страсть играть была смертная, а участь горькая. Жару, огня — бездны, но все это несуразно, нехудожественно, грубо.

Приняли в это время красавицу Рулье, которая считалась образованной, потому что говорила на трех языках. Шутка ли?! Она была, однако, совсем дура: красива, но бестолкова. Ей протежировал Адлерберг. Все приняли участие, учили ее, но ничего не вышло. Островский рассказывал, как она приставала к нему, чтобы он позволил ей в «Василисе Мелентьевой» распустить волосы в последней сцене с Грозным.

— Посмотрите, какая у меня коса.

Правда, коса покрывала ее чуть не до пят.

— Не могу, сударыня. Мелентьева — замужняя женщина, а у русских женщин считалось позором опростоволоситься.

Кажется, она его не послушалась.

Я вышла замуж за Степана Дмитриевича Яновского. Свадьба была утром, а вечером я играла внезапно, по болезни Читау, Любовь Гордеевну в «Бедность не по-

рок»[5]. Тут в первый раз увидел меня Островский, бывший в Петербурге проездом, и выразил свое неудовольствие. «С какой стати в эту пьесу выпустили барышню из пансиона». Мне тотчас же это передали. Замечание верное, купчихой я была невозможна ни в молодости, ни в старости.

Московская труппа тогда разделилась на две партии: Щепкина и Садовского. Это произошло с появлением репертуара Островского. Последний сам рассказывал, что партия Щепкина глумилась над ним, и он много неприятностей перенес от них[6]. Но я тогда еще ничего не знала и не замечала. Вместе с пьесами Островского игрались и переводные французские мелодрамы Тарновского, Родиславского и других. Говорили, что Тарновского пьесы интереснее, у него все необыкновенное, чего и не ожидаешь, а Островский пишет о том, что мы видим на каждом шагу, всю сцену провонял полушубками. Такие суждения я сама слышала от некоторых лиц из публики.

Сторонниками бытовых пьес были: Садовский, Сергей Васильев, Никулина-Косицкая, Васильева, Колосова, две сестры Бороздины. Противоположный лагерь составляли: Щепкин, не подходивший к купеческому типу, Самарин, красивый, jeune premier *, создавший, однако, впоследствии роль Мерича в «Бедной невесте», Шумский и Медведева, привыкшая к мелодрамам, где чувства выражались под музыку, она была ненатуральна в бытовых ролях. Впоследствии, по мере возвышения Островского, все слилось, всем нашлось дело, и разногласия исчезли.

Октября 3-го 1861 года мне назначили бенефис. Все друзья мои советовали взяться за серьезные роли, и я решилась возобновить «Бедную невесту» Островского. В последнем акте сцена Дуни с Беневоленским была запрещена цензурой. Я поехала в Петербург хлопотать о снятии запрещения[7]. <...>

---

* первый любовник *(франц.)*.

Со страхом и трепетом принялась я за роль Марии Ивановны; чувствую, что не справлюсь, что не на своем месте. Я еще из Одессы писала М. С. Щепкину о своем затруднении в драматических ролях: чувствую, что плачу настоящими слезами, не могу сладить с голосом. Скверно выходит. Пригласила Островского почитать со мной. Он ничего не мог мне помочь: одно говорил, что надо прочувствовать. Я была растерянна. В это же время, читая с ним, я, еще молодая женщина, восхищалась ролью матери, Анны Петровны, и говорила, что буду счастлива, если придется ее играть. Впоследствии это вышла одна из удачных и любимых мною ролей.

Отличный комик и резонер был Колюбакин, игравший хорошо Островского, но ленивый на выучивание ролей. Он мне хвастался, что играл Юсова, не видавши роли в глаза, благодаря тому что часто приходилось читать «Доходное место». Когда здесь ставили эту пьесу, он надеялся накануне почитать роль, но всю ночь проиграл в трактире на бильярде, а играл с успехом.

Другой такой же экземпляр был, блаженной памяти, Андреев-Бурлак — большой талант, но ролей положительно не мог учить. Раз в жизни мне пришлось играть с ним в театре Бренко в бенефис Стрепетовой. Он — Беневоленский, я — Анна Андреевна [8]. О боже, что он говорил! что он говорил! — «Матушка! матушка!» — трепля меня по плечу; и даже по суфлеру не мог. Бедный Киреев-Добротворский чуть не плакал от него. А я невольно любовалась им. Тип, грим, манера говорить, держать себя — художественна! Бери кисть и рисуй!

Помещу здесь, кстати, его рассказ о том, как поддел его раз А. Н. Островский. «Приехал к нему раз поздравить с праздником честь честью. Подали обильную закуску, вино. Закусили, выпили. Еще народ был тут.

Островский подходит ко мне с листом бумаги и просит подписать на бедность кому-то. Ну, подумал я, что-то некрасиво; напоил, накормил... и подписка! Неуместная филантропия! Сколько же подписать, спрашиваю.

— Ах, это все равно. Нам нужна только ваша фамилия.

— А, только фамилия? Извольте! И подписался крупно «Андреев-Бурлак».

— Вот покорнейше благодарю, я теперь спокоен,— сказал Островский.

— Что это значит?

— А вот читайте!

Перевернул страницу и там прочел: «Даю честное и благородное слово А. Н. Островскому выучить твердо роль Подхалюзина». Каково?! Нет, уж этого-то я никак не могу! Легче деньги отдать!»

Н. В. Рыкалова

<А. Н. ОСТРОВСКИЙ И МАЛЫЙ ТЕАТР>

<...> Вся деятельность Островского прошла на глазах Н. В. Рыкаловой. Она превосходно помнит, как впервые была поставлена в Москве пьеса «Не в свои сани не садись» [1].

Островский, рассказывает Надежда Васильевна, был тогда уже хорошо известен, особенно в литературных кружках. Представления ожидали с большим интересом, и громадный успех пьесы всех очень обрадовал. Первое время Островский редко посещал Малый театр. Но, затем, ближе познакомившись с труппой, стал у нас своим человеком. Труппа его очень любила. Александр Николаевич был необыкновенно ласков и обходителен со всеми. При царившем тогда крепостном режиме, когда артистам начальство говорило «ты» , когда среди труппы большая ее часть была из крепостных, обхождение Островского казалось всем каким-то откровением.

Обычно Александр Николаевич сам ставил свои пьесы. Постановки эти были, конечно, не то, что теперь. Островский собирал труппу и читал ей пьесу. Читать он умел удивительно мастерски. Все действующие лица выходили у него точно живые. После такого чтения объяснять ничего не оставалось. Все знали, что им делать. О декорациях заботились мало. Лишь бы сыграть хорошо. Во время репетиций Островский обыкновенно ходил по заднему плану сцены, и, если артистам удава-

лось играть так, как хотелось Островскому, то он с довольным видом поправлял свои рукавчики — признак его хорошего настроения.

Я была занята в целом ряде пьес Островского, но особенно мне удавалась Кабаниха в «Грозе». Я участвовала в первом ее представлении, и одна только я осталась в живых из всего состава. Катерину играла тогда Косицкая, лучшая из всех Катерин. Ни Федотова, ни даже Ермолова не оставляли в этой роли такого впечатления. Островскому постановка «Грозы» очень понравилась. Я за себя очень боялась, так как все время болела и играть пришлось с одной репетиции. Помню, как за день перед спектаклем Островский прислал мне письмо, спрашивая, буду ли я играть, и, хотя я чувствовала себя плохо, ответила согласием. Он сам в тот же вечер прошел со мною все мизансцены и на другой день я выступила в спектакле [2].

Успех «Грозы» был большой, и Островского, с особой любовью относившегося к этой пьесе, он очень радовал. Надоедало только ему приставанье тогдашней публики, интересовавшейся знать, почему пьеса названа «Грозою» — потому ли, что в ней изображена гроза, или это намек на что-нибудь.

В личной жизни я знала Островского мало. Ездила, как и все артистки, на поклон к Агафье Ивановне, с которой он жил тогда у Яузского моста. Здесь собиралась в те времена вся литературная Москва. Сам Островский, несмотря на свою простоту, очень любил, когда ему кадили, и тесный кружок, собравшийся около него, пользовался этой его слабостью для достижения своих целей — для кого пьесу напишет, кому рольку интересную уделит [3].

Когда Островский был управляющим театрами [4], как раз исполнилось сорок лет служения моего на сцене. В то время главным режиссером был Черневский, ужасный интриган, которого ненавидела вся труппа. Он меня выживал положительно из театра, и я решила воспользоваться тем, что контракт со мною кончался, и попросилась на покой. Ни слова не говоря, Островский разорвал мое прошение.

— Вам надо дать юбилейный бенефис,— сказал он,— а потом уже подумаем о покое. Раньше пятидесятилетнего юбилея и не думайте уходить.

Разговор этот происходил в первых числах мая, а двадцать пятого того же месяца [5] Александра Николаевича не стало. И то, чего не мог допустить Островский, уволив меня за десять лет до юбилея, сделала контора вкупе с режиссерским управлением, заставив меня выйти в отставку за пять лет до столь долгожданного мною дня. И юбилей отпраздновать мне пришлось лишь благодаря гостеприимству Ф. А. Корша, на частной сцене, а не в Малом театре, которому я отдала всю свою жизнь.

К. Н. Де-Лазари

НЕВОЗВРАТНОЕ ПРОШЛОЕ

Пров Михайлович Садовский, Александр Николаевич Островский, Василий Игнатьевич Живокини и др.

В первых числах сентября 1865 года что-то вдруг заволновались и засуетились в театре. К В. П. Бегичеву, инспектору императорских московских театров, стал часто приезжать А. Н. Островский, и сейчас же вслед за ним появлялся режиссер Малого театра А. Ф. Богданов, уважаемый всеми старик, честный исполнитель своего долга и отличавшийся замечательным умением ладить со всеми артистами.

Ставят на сцене Малого театра вновь написанную драму А. Н. Островского «Воевода, или Сон на Волге». Главную роль в этой драме автор поручил П. М. Садовскому.

Александр Николаевич Островский и Пров Михайлович Садовский! Какие славные имена!

Редко можно было встретить людей, относящихся с такою любовью и уважением друг к другу, как они. Но только не тогда, когда они сидят вместе (например, в Артистическом клубе) за одним столом. Тогда они пикируются и вообще — на холодках. Но если только они хотя и в одной комнате, но на разных столах, и могут каждый видеть и слышать друг друга, тогда они с любовью один на другого поглядывают.

В одной комнате стоят два стола.

Знакомые у Садовского и Островского почти одни и те же.

ВЪ ПЯТНИЦУ, 10-го НОЯБРЯ,

ВЪ ПОЛЬЗУ АРТИСТА

Г. МУЗИЛЯ.

въ первый разъ:

БЕЗПРИДАННИЦА.

Драма въ 4-хъ дѣйствіяхъ, соч. А. Н. ОСТРОВСКАГО.

Новая декорація 1-го дѣйствія г. Шангина.

Дѣйствіе 1-е.

Лица:

Харита Игнатьевна Огудалова, вдова	г-жа Медвѣдева.
Лариса Дмитріевна, ея дочь, дѣвица	г-жа Ѳедотова.
Мокій Парменычъ Кнуровъ, изъ крупныхъ дѣльцовъ послѣдняго времени, съ громаднымъ состояніемъ	г. Самаринъ.
Василій Данилычъ Вожеватовъ, молодой человѣкъ, одинъ изъ представителей богатой торговой фирмы	г. Рѣшимовъ.
Юлій Капитонычъ Карандышевъ, молодой человѣкъ, небогатый чиновникъ	г. Садовскій.
Сергѣй Сергѣичъ Паратовъ, блестящій баринъ, изъ судохозяевъ	г. Ленскій.
Робинзонъ	г. Музиль.
Гаврило, клубный буфетчикъ и содержатель кофейной на бульварѣ	г. Колосовъ.
Иванъ, слуга въ кофейной	г. Живокини.

Дѣйствіе 2-е.

Лица:

Огудалова	г-жа Медвѣдева.
Лариса	г-жа Ѳедотова.
Карандышевъ	г. Садовскій.
Паратовъ	г. Ленскій.
Кнуровъ	г. Самаринъ.
Вожеватовъ	г. Рѣшимовъ.
Робинзонъ	г. Музиль.
Илья, цыганъ	г. Лентовскій.
Лакей Огудаловой	г. Вой.

Дѣйствіе 3-е.

Лица:

Евфросинья Потаповна, тетка Карандышева	г-жа Акимова.
Карандышевъ	г. Садовскій.
Огудалова	г-жа Медвѣдева.
Лариса	г-жа Ѳедотова.
Паратовъ	г. Ленскій.
Кнуровъ	г. Самаринъ.
Вожеватовъ	г. Рѣшимовъ.
Робинзонъ	г. Музиль.
Иванъ	г. Живокини.
Илья, цыганъ	г. Лентовскій.

Дѣйствіе 4-е.

Лица:

Паратовъ	г. Ленскій.
Кнуровъ	г. Самаринъ.
Вожеватовъ	г. Рѣшимовъ.
Робинзонъ	г. Музиль.
Лариса	г-жа Ѳедотова.
Карандышевъ	г. Садовскій.
Илья	г. Лентовскій.
Гаврило	г. Колосовъ.
Иванъ	г. Живокини.
Одна изъ цыганокъ	г-жа Сюдери.
Цыгане и цыганки.	

Афиша первой постановки «Бесприданницы» в Малом театре. *1878.*

За одним столом сидит Садовский с приятелями, а за другим Островский с таким же кружком друзей, и слышит он, как П. М. Садовский громко говорит своим собеседникам:

— Помилуйте! Ведь вот поди ж! Сделали же люди Шекспира гениальным писателем! А что в нем гениального?.. Да в нем и таланта-то нет,— нюхая табак.— Просто английский актер — самый обыкновенный... верно-с.

И оратор обводит взглядом слушающих, избегая смотреть на Островского, который в то же время смотрит на свой кружок взглядом, выражающим: господа, не обращайте внимания; все-таки, какой он громадный талант,— и, поглаживая свою бороду, кидает добрый взгляд на Садовского, как бы говоря этим взглядом: милый ты мой! Говори, что хочешь, а я все-таки люблю тебя!

Заговорил за своим столом А. Н. Островский. Горячится, говорит с увлечением и начинает как будто заикаться.

— Помилуйте! Ну, ну, можно ли это делать! Можно ли поверить управление делами такому человеку! (Садовский за своим столом молчит и слушает.) Пишет мне, чтобы я приезжал в Петербург, что через месяц начнут репетировать мою пьесу. Я приезжаю туда, сижу неделю... Ничего... Ну хорошо, что я остановился у брата.

— У Михаила Николаевича! Большой человек!.. Очень хороший человек!.. Отлично его знаю и уважаю,— громко говорит П. М. Садовский, как будто нечаянно вмешиваясь в разговор.

— А то за что же проживаться? Зачем обманывать, а еще русский человек!..

— Федоров? Да какой же он русский человек? — возражает Садовский.— Он не русский!.. Фамилия русская,— а сам не русский. Немец он, а не русский... Мать его Августиной звали!..

— Этого я не слыхал,— говорит удивленный Александр Николаевич.

Садовский, нюхая табак, тихо произносит:

— Я сам, может, не слыхал, но что он немец, это верно. А русский от немца добра не жди! (Общий хо-

хот.) Не следует вам, Александр Николаевич, ездить в Петербург!.. То ли дело Москва!..

— Пров Михайлович! — обращаясь к нему, говорит один из собеседников Островского.— За ваше здоровье! Пожалуйте к нам. (Островский, видимо, страшно доволен.)

Садовский говорит своим:

— Пожалуйте-с!

И два стола с их компанией — соединяются. Шум стульев, все сели. Один из кружка Садовского обращается к Александру Николаевичу:

— Александр Николаевич! (Хочет налить ему водки.) Прикажете рюмочку?

— Нет, уж извините, больше не могу,— отвечает Островский.

— Так прикажете шампанского, Александр Николаевич?

— Позвольте! — вступается П. М. Садовский.— Почему же водка хуже шампанского? Только потому, что шампанское — вино немецкое.

— Пров Михайлович! Пров Михайлович! — с укоризной обращается к нему Островский.— Шампанское ведь это вино не немецкое, а французское, я и вам советую его выпить. Это вино дает жизнь, радует и веселит.

— Помилуйте-с, я с удовольствием выпью,— говорит Садовский.

Подается шампанское, за одной бутылкою другая и т. д. Пьют за здоровье Островского, пьют все, с удовольствием чокаясь с ним, в особенности Пров Михайлович.

— За ваше здоровье, Пров Михайлович,— говорю я.

— Нет, уж за меня будем пить русским, а этим вином за того, кто любит все иностранное. За ваше здоровье, Александр Николаевич!

Островский начинает сердиться.

— Что ж, Пров Михайлович, я иностранного ничего особенно не люблю; но нельзя же все ругать... Вот возьмите хотя бы немцев, какая у них культура, какие писатели! Гейне! Шиллер!..

Садовский, живо перебивая его:

— Ну, что же-с! Это все русские, их Фридрих забрал в плен и по-своему переделал. Из Шиллерова — сделал Шиллер, а из Гинова — сделал Гейне, вот и все-с.

Все разразились хохотом.

— Пров Михайлович! — сердясь, но улыбаясь, возразил Островский.— Что это вы? Помилуйте!..

— И миловать нечего-с, а это верно-с!..

— Да, Пров Михайлович, нельзя уж так хулить все иностранное. Ну, да что уж, вас не переделаешь; вы и знать ничего не хотите. Но у вас есть сын Миша...

— Михаил Провыч! Знаю-с, восемнадцать лет, знаю-с, так что же-с?

— Для всех он Михаил Провыч, а для меня он Миша! Ну, так вот: он молодой человек любознательный, ему надо больше видеть и учиться, а ничто так не развивает молодого человека, как путешествия. Пустите его со мной; мы поедем в Париж, в Италию, будем в Риме, увидим чудеса!

— Нет, зачем же-с? Этого не надо!

— Как не надо? Как не надо? Ведь он поедет не один, а со мною!

— Что ж такое, что с вами-с, мне все равно. Вы любите ездить, вот вы и поезжайте с Кашперовым на озеро Лаго-Маджиоре [1] — ловить рыбу и мечтать.

— Что такое?.. С Кашперовым?.. Лаго-Маджиоре?..

— Ну, да (нюхая табак, ядовито проговорил Садовский). Вы ведь известный путешественник!!!

— Что-о-о-о?..— совершенно растерявшись, протянул Островский.— Путешественник!.. (заикаясь). Это... это — не... не...возможно... с вами говорить нельзя... Помилуйте!.. Путешественник!..— И Островский, окончательно рассерженный, уходит из комнаты.

— Да и нам по домам пора, уже три часа! — сказал, вставая вслед за ним, Садовский.

Все мы распрощались и разошлись.

А. Н. Островский и П. М. Садовский были искренно ко мне расположены, и оба нежно любили сердечного моего друга, тогда еще молодого человека, с большим талантом и впоследствии — гордость всей России, Петра Ильича Чайковского.

В продолжение трех лет, то есть с 1865 по 1868 год, мы все четверо бывали в Артистическом клубе ежедневно, играли в ералаш. Островский и Садовский знали, что, как я, так и Чайковский, денег друг другу не платили, и потому знали также, что, играя, нам важно было выиграть тогда, когда выиграем вместе. Как

А. Н. Островский, так и П. М. Садовский, в сравнении с нами, конечно, были богачи. Кончается игра, Чайковский и я проиграли; вытаскиваем мы все наше богатство, положим на стол все наши денежки и сидим себе, с нас как с гуся вода — довольные, веселые... А они нет! Им неловко, Островский выиграл три рубля, а Садовский два.

Начинается сцена: Островский добродушно, как бы заикаясь:

— Петр Ильич! Пе-е-тр Ильич! Ну, зачем вы платите, ведь завтра бу-будем играть?

— Нет! (смеясь, нежно говорит Чайковский). Что вы? Что вы, Александр Николаевич! Я вчера выиграл. С какой стати?

Садовский, приготовляясь нюхать табак, вздыхая, ядовито подносит Островскому:

— Ох, ох, господи! Какие нежности! (обращается ко мне, показывая глазами на Островского). Теперь жалостливы. (Островский строго смотрит на Садовского.) А самим целый вечер как перло.

Островский, живо перебивая его:

— Пров Михайлович! Пров Михайлович! Что это за выражение — перло?

Садовский, нюхая табак:

— Ничего-с, выражение русское! Получите три рубля.

— Я получу, но вы-то что волнуетесь? Ведь вы тоже выиграли?

— Я что же выиграл — два рубля-с, очень они мне нужны! Я буду Костеньку ужином угощать.

— Да, вы ужином, а я буду их обоих ужином, и даже с шампанским, потчевать,— говорит Островский.

— Вот и отлично-с, очень хорошо-с; так уж пора, пойдем! Пожалуйте, Александр Николаевич.

На другой день мы опять в клубе, но П. И. Чайковского нет. Тогда мы садимся втроем играть в преферанс.

Они оба в десять раз лучше меня играли и поочередно помогали мне разыгрывать, один против другого. Объявляю я, например, игру «черви». Садовский говорит «пас», а Островский — «вист» и обращается к Садовскому — откройте! Он открывает свои карты и с участием смотрит на мою игру.

Островский говорит мне:

— Ну, что же, Константин Николаевич, вы проиграли.

Я, не желая разыгрывать и уже сдаваясь, отвечаю:

— Проиграл так проиграл,— и хочу бросить карты.

— Нет, позвольте! Извините! — вступается Садовский.— Он не проиграл.

— Нет, проиграл,— говорит, сердясь, Островский.

— Нет, не проиграл! — тоненьким голоском протянул Пров Михайлович.— Позвольте, я за него сыграю.

Островский, кланяясь:

— Сделайте одолжение, пожалуйста.

— Очень рад,— говорит Садовский.

Начинается игра. Садовский разыгрывает хорошо, и я выигрываю. Большая пауза.

Садовский, подмигивая мне, тихонько, но ядовито:

— Вот и не проиграли-с!

Островский, разглаживая свою бороду, немного сконфуженный, смотрит на Садовского.

— Ну, и не проиграл, что ж такое? Что же тут такого удивительного, значит, и без вашей помощи он бы не проиграл.

— А, это верно-с! Это верно, Александр Николаевич!

Игра продолжается, Садовский объявляет игру. Островский говорит «пас». Я — «вист» и прошу Александра Николаевича открыть карты.

Садовский мне заявляет:

— Вот вам, Костенька, четыре взятки, и я выиграл.

— Нет, извините, Пров Михайлович, вы без одной.

— Ну, уж это мы посмотрим, извольте за него разыграть.

— Пожалуйста, сделайте одолжение!

Садовский, вместо без одной, остается без двух.

— Вот, Пров Михайлович, я и прав,— говорит Островский.

— Нет, вы не правы.

— Как я не прав? Как я не прав?

— Да-с, не правы, вы сказали, что я без одной — да-с? А я без двух-с...— добавляет он тихо, почти фистулой.

— Кто же, по-вашему, прав?

— А вот он-с (показывает на меня Садовский), потому что больше выиграл. Вообще мы оба проиграли,

я плачу четыре рубля, а вы два (с улыбкой). Пожалуйте ужинать, уже час.— И мы идем в столовую.

— Ох! хо! хо! Голубчики, кушают! Все головастики! Ха! ха! ха! — с этими словами входит веселый В. И. Живокини.

— Откуда так поздно, уже час? — спрашивает Садовский. (Он начинает как-то комично, с высокой ноты, так при этом жестикулируя, что без смеха невозможно смотреть на него.)

— Как поздно!.. Как это поздно!.. Я выпью с вами шампанского и поедемте все тпруа делать (это значило, ехать за город на тройках, к цыганам). Тпруа!.. Тпруа!.. все тпруа! На мой счет. Неожиданное богатство, и еще какое! Слушайте! (Подают шампанское.) За ваше здоровье, Александр Николаевич! За ваше здоровье! — восклицает Василий Игнатьевич, чокаясь с Островским.

Александр Николаевич, прежде чем пить, тревожно ощупывает свою грудь.

— Господа, боюсь... боюсь... у меня сердце... знаете, сердце!

Садовский, чокаясь с Островским:

— Это хорошо, что у вас сердце есть, а вы все-таки кушайте! Ваше здоровье!..

Островский, улыбаясь, пьет, за ним и все.

— Ну, ну! Какое там у вас богатство, рассказывайте! — спрашивает Садовский.

— Слушайте!.. Два года тому назад в Купеческом клубе, как раз за два дня до моего бенефиса подходит ко мне какой-то господин и говорит мне:

— Василий Игнатьевич, позвольте мне ложу на ваш бенефис. Нет ли у вас с собой?

Ложа у меня была, и я ее ему дал... Фамилия его какая-то восточная... Не припомню...

Бенефис мой прошел, а денег он и не присылает, да и в клубе-то сам не бывает. Вот и думаю я, пропали мои двадцать пять рублей!.. Встречаю его на улице, кланяется и, только что я хочу ему закричать: «Ложа!» — а его уж и след простыл. С тех пор, когда я, бывало, с кем-нибудь еду и встречу его, то так и говорю: «Вон моя ложа едет». Так мои приятели все уж и спрашивали: «Ну, что, ложу видел?» Иной раз отвечаю: «Видел»,— а другой раз просто «тьфу!». Только

плюну с досады. Наконец забыл я совсем о своей ложе. Как вдруг сегодня в Купеческом клубе подходит ко мне этот господин, то есть эта ложа, и говорит: «Василий Игнатьевич! Простите, бога ради, вышло большое недоразумение! Я ведь ваш должник, извольте получить, и умоляю вас, простите».— И подает мне конверт. Я поблагодарил, да с этим конвертом в укромный уголок, разорвал конверт, а там — сто рублей. Вот вам и ложа! Ха, ха, ха!

Все весело вторили ему.

— Еще бутылочку разопьем, да и скорее тпруа, тпруа, тпруа! — закончил В. И. Живокини. <...>

— Нет уж, господа, теперь тпруа нельзя,— говорит Островский,— репетиция «Воеводы» назначена в двенадцать часов, а теперь уже половина пятого.

— Да-с, уж поздно-с,— сказал и Пров Михайлович,— пора и по домам, а тпруа уж в другой раз поедем.

— Ну, домой, так домой,— согласился Василий Игнатьевич, и мы разошлись. <...>

В таком роде шла жизнь Прова Михайловича Садовского до самого дня представления «Воеводы». Ежедневно приезжал он на репетицию к десяти часам утра и до четырех часов оставался в театре. Оттуда спешил домой, наскоро обедал и, не отдохнув и часа, торопился опять в театр, где был занят вечером. От такой усиленной деятельности он, видимо, ослаб и осунулся, но после театра все-таки поехал в клуб. Пробыл в клубе до четырех часов утра. Из клуба поехал с Измайловым «брать воздух», как он выражался, и только в четверть девятого утра, в день представления «Воеводы», приехал домой. <...> Кое-как провел три акта. В четвертом акте, еле двигаясь, с трудом дотащился он до кулис и, когда, по выходе на сцену, улегся на кровать, на которой задремавший воевода видит свои зловещие сны, Пров Михайлович заснул настоящим, неподдельным сном, как лучше и представить нельзя.

Меняются одна картина за другой, и воевода должен говорить. Публика с напряженным вниманием ожидает, что скажет воевода; но воевода ничего не говорит и сладко, крепко спит.

Слышит публика голоса, но только не воеводы, а голоса помощника режиссера и суфлера:

— Пров Михайлович! Пров Михайлович! Что вы молчите?.. Говорите!.. Что вы делаете?..

Воевода молчит и храпит...

Занавес падает, и пьеса с триумфом проваливается [2].

Публика, расходясь, удивляется, сожалеет, но не выказывает ничем своего недовольства.

После спектакля пошел я в уборную Садовского. Сидит он мрачный, убитый и еле-еле дышит.

— Костенька... Голубчик!.. Поедем поскорей... Уф-ф! мне душно, тяжело!..

Сели мы молча в карету и молча подъехали к Артистическому клубу.

В первой комнате сидит бледный, измученный, как бы приговоренный к смерти А. Н. Островский; глаза его горят, он с состраданием, но и с горьким упреком смотрит на виноватого, сконфуженного, быстро мимо него проходящего П. М. Садовского.

Подошел Садовский к своему столу, на котором стояли уже графин водки и приготовленная для него закуска, и тяжело опустился на стул. К его столу подходит грустный П. И. Чайковский, а также и расстроенные приятели его: Вильде, Измайлов и Усачев. Никто из них не произносит ни слова, тихо усаживаясь вокруг стола.

Только что Пров Михайлович с тяжким вздохом налил рюмку водки и выпил ее, как с видом преступника, идущего на казнь, подошел к столу А. Н. Островский. Ясно было видно, в каком угнетенном, лихорадочном состоянии был он, держа руку на измученном своем сердце.

Страдальчески посмотрел на П. М. Садовского и тихо, каким-то замирающим голосом, сказал:

— Ах, Пров Михайлович, бога вы не боитесь!.. И что вы делаете?.. Грешно — не хорошо!.. Пьесу мне жаль!.. Себя самого — жаль, но больше всего: жаль мне вас... Губите вы самого себя и дело, которому мы с вами так честно, добросовестно служили. Сбились вы, Пров Михайлович, и сбились совсем!.. Не можете вы теперь отличить дня от ночи, белого от черного... Да... грустно, тяжело мне; но что же делать? Надо подумать, чем заслужить вашу милость. Подумаю, да и напишу вам другого «Воеводу». Воеводу, похожего на вас, который давно уже забыл: когда ночь?.. когда день?.. Живет ли он, умер ли? А теперь пока большое спасибо!..

И тихо, не торопясь, без ужина уехал Островский домой.

Никто не проронил ни слова...

Пров Михайлович ничего уже больше не пил и не ел за ужином, но тяжко вздохнул и, грустно сказав: «Да-с! Все бывает-с!» — охая, поднялся с места и, ни с кем не простившись, отправился домой. За ним разошлись и мы все, и всем нам было не по себе.

Так закончилось представление «Воеводы» 25-го сентября 1865 года [3]. <...>

Долго приготовлял свою месть А. Н. Островский за «Воеводу» — Пр. Мих. Садовскому.

Наконец час мести приблизился. Во главе с Садовским, все получили роли из новой комедии А. Н. Островского «Горячее сердце» [4].

Все участвующие, актеры и актрисы, были приглашены самим автором послушать чтение этой комедии к инспектору репертуара В. П. Бегичеву, в барский дом его супруги на Тверской улице. В $8^{1}/_{4}$ часа приехал А. Н. Островский. Следом за ним шаг за шагом шел здоровенный детина Д. В. Живокини, гордо и строго на всех глядевший, с большим портфелем в руках.

Чтение состоялось в весьма торжественной обстановке. Около Островского сели В. П. Бегичев и А. Ф. Богданов, а дальше С. В. Шумский, И. В. Самарин, Е. Н. Васильева, Н. М. Медведева, Г. Н. Федотова с мужем, В. И. Живокини, Н. А. Никулина, Вильде, Музиль, Решимов, Александров, Константинов и последним, рядом с хозяйкой, П. М. Садовский.

Островский был среднего роста, коренаст. Большая голова, широкий лоб, небольшие, но умные, проницательные, с хитрецою и очень выразительные глаза и широкая, окладистая, рыжая борода. Вообще, с виду он более походил на настоящего русского хозяина-купца или промышленника, чем на знаменитого писателя.

Превосходно владел он настоящей московской, русской речью. Но говорил не торопясь, не громко и плавно. Если же в разговоре он увлекался и начинал кому что-либо доказывать или спорить, то как будто немного заикался.

Он был человек мягкий, обходительный и крайне вежливый.

Он очень любил компанию, любил послушать рассказы и от души искренно посмеяться. Когда Александр Николаевич бывал чем-нибудь доволен, то это всякий издали видел — широкая, открытая улыбка озаряла лицо его, и глаза становились светлые, такие веселые и добрые.

Страшно увлекался он всем и всеми, а в особенности женщинами. А о своей наружности был самого высокого мнения и до чрезвычайности любил зеркало. Ведя с кем-нибудь разговор, он старался смотреть в зеркало. Он целый час был в состоянии спорить, чувствовать, плакать, злиться, ругать, но лица вы его не увидите. Лицо свое, со всеми оттенками радости, жалости, насмешки, злости,— видит только он один.

Своими симпатиями к людям А. Н. Островский увлекался до невозможности. Про него говорили, что в ущерб своим произведениям, в ущерб искусству и своему интересу лучшие роли в своих комедиях и драмах он отдавал не лучшему артисту, а по мнению его — хорошему человеку.

Это, однако, несправедливо. Такое мнение о нем сложилось вследствие одного весьма характерного обстоятельства. В самом начале пятидесятых годов Александр Николаевич находился в крайне тяжелом материальном положении. Его выручил тогда известный артист Бурдин, которому наш славный драматург и считал себя за это вечно обязанным.

А. Ф. Бурдин — человек от природы не дурной, но при этом чрезвычайно самолюбивый, тщеславный и беспокойный, мнящий себя, при весьма ограниченных способностях, великим артистом,— утилизировал самым бесцеремонным образом вышесказанное отношение к себе Островского. Выпрашивал у него лучшие роли, губил пьесы и вообще вел себя относительно Александра Николаевича довольно деспотически. Но это был единственный человек, которому Островский ради признательности жертвовал интересами сцены [5]. Во всех других случаях Александр Николаевич никогда не смешивал артиста и человека, воздавая «коемуждо по делам его».

Но тем не менее он имел доброе сердце и всей душой привязывался к людям. Он всегда был рад поделиться с кем-нибудь своими впечатлениями, поспорить и выслушать мнение своего собеседника.

А с Дмитрием Живокини, который до разговоров был не охотник, Островский иной раз целый час сидит и молчит.

Если же они вместе в клубе, то сосед только и может услышать:

— Митя! хочешь? (подразумевалось: водки).

На что следовал, хриплым голосом, короткий, грубый ответ:

— Хочу.

Пользуясь расположением Александра Николаевича Островского и находясь в самых приятельских отношениях с Митей Живокини, я, желая сошкольничать и посмешить Прова Михайловича Садовского, подхожу к ним и говорю:

— Александр Николаевич, я за вами наблюдаю. Вы, наша гордость... целый час сидите с этой дуб...

— Ну!..— нахмурившись, говорит грубо Митя, показывая мне кулак.

— Виноват, виноват, Митя! Я не так выразился,— отвечаю я робко.— Я хотел сказать, с этим хорошим человеком. Но, все-таки, Александр Николаевич, скажите, за что вы его любите?

— Как вам не стыдно,— добродушно смеясь, говорит Островский,— татарин вы этакой! Ну-ка, Митя, покажи-ка ему!

Митя показывает мне кулак величиной с большой камень и потрясает им в воздухе.

— Митя,— обращаясь к нему, спрашивает его Островский,— если мы пойдем с вами и на меня нападут, что вы сделаете?

— Я? — отвечает Митя,— а вот что...— Моментально вытаскивает из кармана бумагу и, разрывая ее пополам, молодцевато, строго на всех посмотрев, отрывисто говорит: — ра-зор-ву!!!

— Ну, чего же вам еще, азиатец вы этакий? Мало вам этого?..

Все присутствующие при этой сцене громко расхохотались.

Мнителен был Александр Николаевич до смешного.

Сидим мы раз в уборной Малого театра, входит Александр Николаевич Островский, не снимая шапки и шубы, ни с кем не здороваясь, прямо к зеркалу.

— Здравствуйте, Александр Николаевич, как ваше здоровье? — приветствуют его все.

Несколько секунд он молчит, а потом отвечает не нам, а — зеркалу:

— Подождите, пока еще ничего не могу сказать...

Проходит еще минута.

Наконец кладет он на диван шапку, человек моментально снимает с него шубу, и он, еще не оборачиваясь, отвечает:

— Ну, вот теперь скажу. Ничего, слава богу, и т. д.

Начинают, например, говорить о недоступности какой-нибудь красотки.

— Помилуйте,— говорит один,— да нет ни одного богача, который мог бы купить ее любовь.

— Нет такого красавца, который расшевелил бы эту бездушную куклу,— добавил другой.

— Не верю,— говорит, подходя к зеркалу, Островский.— Не верю,— продолжает он, расчесывая руками свою бороду и, пожав плечами, решительно говорит:

— Попробую — уж я!

Все еле удерживаются от смеха, а Митя Живокини, как-то дико фыркнув, отрывисто произносит:

— И отлично.

— Что это вы, Митя? — спросит его серьезно Островский.

Тогда уж раздается гомерический хохот.

Возвращаюсь к прерванному рассказу о чтении пьесы «Горячее сердце».

Около кресла А. Н. Островского стоит строгий, важный Д. В. Живокини, с треском открывает портфель, с шумом подает Александру Николаевичу исписанный лист бумаги, почти бросает под мышку портфель и, сложивши по-наполеоновски руки, строго смотрит на всех, как бы говоря: «Пикни — кто... убью!»

Чтение начинается.

Выражение лица Д. В. Живокини такое: то он улыбнется, то сделает головой жест недовольства, но все время следит за А. Н. Островским, как охотник за зверем.

Кончается лист, и Д. Живокини стремительно выхватывает его у Островского и с шумом заменяет его другим. Опять та же строгость и то же свирепое выражение лица. Но вдруг его взгляд упал на актера Александрова, который показывает ему язык. Тут уж он

совсем остервенился... зазевался... и вовремя не подал листа бумаги.

— Что же ты, Митя, давай,— слышит он голос А. Н. Островского.

— Что ж!.. Я сейчас! — гаркнул он хриплым голосом.

На лицах всех сосредоточенное внимание, и смех так и душит их, но, к счастью, чтение кончилось, и смех слился с единодушными криками: «Браво! браво!»

Все спешили поздравить автора и выразить ему свой восторг, восхищение. Вся же молодежь, с Н. А. Никулиной во главе, стала поздравлять Д. В. Живокини. Принимал Митя поздравления с восторгом, гордо и надменно, но когда он нам сказал:

— Хорошо-то, все это хорошо, но все-таки я должен поправить тут одну сцену.

Эти слова вызвали такой взрыв хохота, такой заразительный смех, что, услыхав его, к нам прибежали Е. Н. Васильева, Н. М. Медведева и, узнав, в чем дело, неудержимо расхохотались сами. Этим закончилось чтение.

Начались репетиции. Уже на третьей репетиции все актеры и актрисы репетировали без тетрадок, делая все, что нужно, и давая настоящий тон своим ролям. Роль городничего очень забавно, и как всегда — талантливо, ведет Василий Игнатьевич Живокини. А по городу везде уже расклеены афиши, что через два дня идет «Горячее сердце» любимого автора всей Москвы, Островского, с ее любимцем, Провом Михайловичем Садовским в главной роли.

Каждый день шли репетиции комедии «Горячее сердце». Единственно, кто не репетировал как следует свою роль Курослепова, так это Пров Михайлович Садовский. А потому никто и не знал, что сделает он из этой роли.

До представления никто не знал, а после представления никто не предполагал, что можно сделать из этой роли чудо, которое сделал П. М. Садовский. Пров Михайлович не только поразил и восхитил публику, но и артисты все были ослеплены ярким светом этого могучего таланта. Исполнением этой роли П. М. Садовский всем доказал, что годы, лень, апатия не отняли у него «силы творчества». И что в 1868 году, когда

стали уже забывать о тех моментах высокого эстетического наслаждения, какое он доставлял всем созданием таких ролей, как Любим Торцов, Расплюев и т. п., он как бы торжественно заявил: «За меня не бойтесь, я не ослаб, я ничего не потерял! Я по-прежнему, если не больше, могуч и силен».

Представление кончилось. Вызовам и крикам «браво!» не было конца.

Все, привыкшие в известный час ежедневно видеть Садовского в Артистическом кружке, поехали туда. Там собрались во главе с Петром Ильичом Чайковским и Николаем Григорьевичем Рубинштейном все горячие поклонники его таланта. Встретили его с такой помпой, такими оглушительными аплодисментами, что даже стекла дрожали.

Но громкие приветствия и поцелуи, восторженные похвалы и крики — все стушевалось перед скромным, счастливым взглядом на него самого автора комедии, Александра Николаевича Островского.

Какой же и взгляд!.. Сколько в этом взгляде было любви, счастья, гордости и обожания.

Много в этот вечер говорили Садовскому восторженных речей, но сказать ему столько, сколько сказал взгляд Островского, конечно, не мог никто.

Этот взгляд говорил: Пров Михайлович, смотрите, как все вас любят, почитают, уважают. Но что значит все это в сравнении с моей жестокой местью вам за «Воеводу». А вы еще при всех изволили назвать меня — путешественником и отправлять меня с Кашперовым на Lago-Madgiore.

Встретил этот взгляд Садовский и понял его. Ни с того ни с сего сказал: «Виноват-с», и хотя конфузливо, но громко, поднявши бокал, сказал:

— За ваше здоровье, Александр Николаевич!

Раздалось громкое «ура!» — и этим закончился вечер торжества как Островского, так и Садовского. <...>

Е. Б. Пиунова-Шмидтгоф

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ А. Н. ОСТРОВСКОМ

Это было в 1867 году [1]. На улицах Саратова пестрели афиши, возвещавшие, что в бенефис артистки Е. Б. Пиуновой-Шмидтгоф, при участии И. Ф. Горбунова, будет представлена «Гроза», драма А. Н. Островского в постановке самого автора [2]. За два дня до спектакля в театре шли репетиции. Я играла Катерину, И. Ф. Горбунов — Кудряша, Соловьева — Кабаниху. На репетициях (их было две) автор все время сидел на сцене, спрятавшись в темной кулисе. Скромный, с кротким характером, великий русский драматург молча смотрел на нас и слушал... Когда мы кончили, Александр Николаевич поехал ко мне на дом, где за стаканом чая и стал рисовать мне образ Катерины так, как сам его понимал. Я до мельчайших подробностей помню все, что говорил мне Александр Николаевич, точно это было вчера, точно вчера я слышала его тихий, задушевный голос. «Катерина,— говорил мне Александр Николаевич,— женщина с страстной натурой и сильным характером. Она доказала это своей любовью к Борису и самоубийством. Катерина, хотя и забитая средой, при первой же возможности отдается своей страсти, говоря перед этим: «Будь что будет, а я Бориса увижу!» Перед картиной ада Катерина не беснуется и кликушествует, а только лицом и всей фигурой должна изобразить смертельный страх. В сцене прощания с Борисом Катерина говорит тихо, как больная, и только последние слова: «Друг мой! Радость моя! Прощай!» — произно-

сит как можно громче. Положение Катерины стало безвыходным. Жить в доме мужа нельзя. «Кабы не свекровь!.. Сокрушила она меня... от нее мне и дом-то опостылел; стены-то даже противны». Уйти некуда. К родителям? Да ее по тому времени связали бы и привели к мужу. Катерина пришла к убеждению, что жить, как жила она раньше, нельзя, и, имея сильную волю, утопилась... Так вот, душа моя,— прощаясь ласково сказал мне Александр Николаевич,— я уйду, а ты подумай, да завтра и утешь автора».

Не дешево досталась мне эта дума! Когда на следующий день меня увидел И. Ф. Горбунов,— он был прямо поражен моим усталым видом и сказал Александру Николаевичу: «Дед, ведь ты просто замучил Катерину-то!» — «Пусть ее, пусть!» — едва слышно ответил Александр Николаевич и потрепал меня по плечу. Перед поднятием занавеса Александр Николаевич сел в ложу, да так и просидел в ней весь спектакль. По окончании пьесы он два раза выходил со мной на вызовы публики. Взволнованная, вернулась я к себе в уборную, а Александр Николаевич тем временем все бродил за кулисами и чего-то искал. Кто-то спросил его: «Чего вы ищете?» — «Да вот, говорит, Катерину ищу, что утопилась-то!» Когда ему указали мою уборную, он вошел в нее и, не говоря ни слова, раскрыл мне свои объятия. Я бросилась к нему на грудь и разрыдалась...

Уборная не могла вместить всех желающих видеть знаменитого драматурга и пожать его руку. Принесли шампанское, Александра Николаевича окружили и стали качать.

Уезжая из Саратова и прощаясь со мной, Александр Николаевич дал мне свою фотографическую карточку, надписав на ней: «Несравненной Катерине на добрую память». С тех пор я его уже больше никогда не видала...

А. З. Бураковский

<А. Н. ОСТРОВСКИЙ НА ПРЕДСТАВЛЕНИИ «РЕВИЗОРА» ГОГОЛЯ В ОБЩЕДОСТУПНОМ ТЕАТРЕ>

<...> Открытие Общедоступного театра и мой первый выход в Москве состоялся 1-го мая 1875 года [1]. Парадный для открытия спектакль был составлен из пьесы, специально написанной В. И. Родиславским, под названием «Добро, что муж лапоть сплел». Сюжет пьесы был не чисто народный, и написана она была не народным языком, даже не была оригинальной, а переделана из французской комедии, которая называлась раньше в русском переводе «Упрямство и настойчивость». Затем, после этой пустяшной, собственно говоря, пьесы, играли мы «Ревизора». В роли городничего выступал в первый раз в Москве в качестве гастролера Никифор Иванович Новиков, который имел за собою славу лучшего комика и в Харькове у антрепренера Дюкова пользовался громадным успехом. Я выступал в роли Хлестакова. Не могу сказать, что чувствовал Новиков, но я до появления на сцену был в таком состоянии, что мне казалось, будто меня ведут на эшафот. Зрительный зал был переполнен публикой.

Кроме того, меня пугала мысль: что скажут газеты. Я всегда относился с глубоким уважением к рецензентам, конечно, если их рецензии являлись критическим разбором моей игры, а не коротенькой хвалебной или ругательной заметкой.

В довершение всего инцидент, который произошел с Н. И. Новиковым, на меня повлиял самым удручающим образом.

Начало комедии «Ревизор» всем известно и везде исполняется традиционно. Новиков, игравший в Москве в первый раз, решился отрешиться от «рутины» и заявил режиссеру:

— Видите ли, господин режиссер, надо начать пьесу несколько иначе. Я всех действующих лиц поставлю в разные позы, а сам при поднятии занавеса буду за кулисами. Благодаря этому меня, вероятно, встретят аплодисментами, а если я буду на сцене, то, конечно, об этом нечего и думать.

Режиссер думал было ему возразить, но, боясь на первых же порах встать в неприязненные отношения, промолчал.

Спектакль. Поднялся занавес. А. Н. Островский сидел в первом ряду вместе с Влад. Ив. Родиславским. Не видя городничего на сцене, оба они недоумевают. Наконец после паузы появляется Новиков и начинает своими словами:

— Здравствуйте, Земляника. Здравствуйте, Тяпкин-Ляпкин.

Услыша эту «отсебятину», А. Н. Островский, поднявшись с своего кресла, начал неистово шикать и свистать, Родиславский — тоже. Публика их поддержала, и пошел по всему залу такой свист, что я, одеваясь в уборной и ничего не зная, вообразил, что на сцене происходит что-нибудь ужасное. <...>

Долго, долго публика не могла успокоиться. Наконец все улеглось, и действие продолжалось. А. Н. Островский с Родиславским вышли из залы и направились в директорскую комнату; здесь Александр Николаевич дал волю своему негодованию.

— Помилуйте,— говорил Александр Николаевич,— да разве можно позволять актеру такие вещи? Разве можно с таким неуважением относиться к Николаю Васильевичу Гоголю? Ведь это позор! Какой-то Новиков вздумал переделывать гения, о котором он, вероятно, и понятия не имеет!..

Александра Николаевича стали успокаивать, но никак не могли успокоить; он уже хотел покинуть театр, но его уговорили остаться — посмотреть нового

Хлестакова, то есть меня. И вот я, услышав фразу Александра Николаевича по моему адресу, окончательно потерялся.

— Может быть, и Бураковский будет играть с такими же выдумками и новшествами? Откуда вы берете только таких актеров? — спросил Александр Николаевич.

Предоставляю судить читателям, в каком я был состоянии до выхода на сцену. Кроме того, надо еще иметь в виду, что роль Хлестакова в Малом театре в то время изумительно талантливо играл С. В. Шумский. Вот теперь и судите, что я переживал. Могу сказать без хвастовства,— я не ударил в грязь лицом. Во втором и третьем актах я, признаюсь, сильно трусил, но потом овладел собой, и, быть может, эта-то робость и оказала мне большую услугу. Что я имел успех, в этом не может быть сомнения, потому что все дальнейшие спектакли с моим участием давали полные сборы, а когда играл Н. И. Новиков, зрительная зала была пуста, несмотря на то что у Новикова репертуар был классический, а я играл только комедии и мелодрамы. <...>

Александр Николаевич Островский страшно жаждал постановки своей комедии «Лес». Он хотел видеть в роли Несчастливцева Н. Х. Рыбакова и услышать из уст самого Рыбакова фразу: «Сам Николай Хрисанфович Рыбаков положил мне руку на плечо...»

Этот спектакль, к величайшему удовольствию Александра Николаевича, был вскоре объявлен. На последней репетиции присутствовал сам маститый автор. Сидел он в креслах. Все шло прекрасно, не было никаких инцидентов до последнего акта. Суфлер в последнем акте подает Николаю Хрисанфовичу фразу:

— Ну, теперь давай лучше выпьем на брудершафт.

Николай Хрисанфович, не понимая этого слова, останавливается и переспрашивает суфлера:

— Что такое — выпьем? Какое вино?

— Не вино, Николай Хрисанфович, а «выпьем на брудершафт».

— Что это, Александр Николаевич? — обращается он со сцены к Островскому.— Что это за штука?

— Брудершафт, Николай Хрисанфович,— отвечает

ему из кресел А. Н. Островский,— слово немецкое. Это значит — выпьем на «ты».

— Вот оно что — немецкое слово! Так на что же тебе понадобилось немецкое слово, коли ты русскую пьесу писал. Брось это! Оставь лучше так: выпьем на «ты»!

— Все равно, Николай Хрисанфович, можно и так сказать.

Александр Николаевич так был увлечен исполнением роли Рыбаковым, что на все соглашался, чего бы ни захотел Николай Хрисанфович. <...>

М. Г. Савина

<ВСТРЕЧИ С А. Н. ОСТРОВСКИМ>

С А. Н. Островским я познакомилась в 1876-м году [1], сыграв до этого «Волки и овцы» и «Богатые невесты». Последняя не имела успеха. Бурдин объявил нам, что Александр Николаевич дал ему свою новую пьесу «Правда — хорошо, а счастье лучше» для бенефиса и сам приедет читать. Чтение состоялось ко всеобщему удовольствию, так как Островский читал превосходно, но для меня с Варламовым окончилось большой неприятностью. Мы оба решили, что не сумеем сыграть назначенные нам роли (так поразил нас чтением автор) и пошли к грозному и всемогущему Павлу Степановичу Федорову, тогдашнему начальнику репертуара, но на самом деле вершителю судеб театра, с просьбой освободить нас от участия в этой пьесе. Я служила тогда два года, а Варламов — один, и при нашей молодости такая скромность только похвальна. Но боже мой, как поощрил эту скромность наш начальник!.. Не дав нам договорить (ему донесли заранее, зачем мы пришли), он закричал, затопал ногами, очки совсем сползли (он глядел всегда сверх них), и мы могли только разобрать: «Островский делает вам честь, а вы смеете капризничать!», «Девчонки, мальчишки, разговаривают!.. Бенефис товарища», «Императорский театр» и все в этом роде. Мы часто вспоминаем и теперь с Варламовым, как мы опрометью выбежали из приемной и буквально слетели с четвертого этажа дома дирекции (теперь квартира инспектора театрального училища И. И. Рюмина)

и пришли в себя только у входа в Александринский театр. Наверное, школьники так не дрожат перед «начальством», как мы тогда. Варламов плюнул, а я перекрестилась, что избавилась от этого ужаса. Мне почему-то вообразилось, что Поликсену должна играть Лиза Левкеева, специалистка на роли купеческих дочек, и это толкнуло меня на отказ. Варламов плакал оттого, что бесподобный тон Островского не выйдет у него из памяти, а ничего подобного он не сумеет передать. Как мы играли и играем до сих пор эти роли, говорить нечего, а у Варламова это одно из его созданий. Теперь молодые отказываются потому, что «роль не нравится», а не потому, что они не считают себя способными выполнить ее. Во всех последующих пьесах Александра Николаевича я участвовала, конечно, но иногда были недоразумения, о которых он упоминает в письмах к Бурдину (переписка в журнале «Артист») [2], а из-за пьесы «Невольницы» он рассердился на меня. Я не поняла роли и придралась к тому, что там обозначены лета «под тридцать» и на этом основании отказалась, благодаря чему (система бенефисов) пьеса долго лежала под спудом, но потом взяла ее в свой бенефис и играю до сих пор с большим удовольствием. Из-за «Светит, да не греет» была большая переписка, и опять я вызвала негодование Островского своим капризом, как ему казалось тогда, но я доказала, что была права. Он назначил мне Реневу, а я, опять-таки по годам, но на самом деле потому, что роль более шла ко мне, решила играть Олю. Я писала автору: «Ренева светит, а Оля греет, первое легче, чем второе, и потому я беру более трудное» [3]. Пьесу ошикали в Москве, а у нас она имела громадный успех [4] и шла при полных сборах два сезона.

Островский не смотрел своих пьес, а ходил во время первого представления за кулисами, чуть прислушиваясь к речам на сцене, и иногда садился в режиссерскую ложу. Как-то в разговоре он сказал: «Я не хожу в театр на чужие пьесы: боюсь, что-нибудь скверное перейму». Со мною, за исключением этих недоразумений, был чрезвычайно ласков и в письмах к Горбунову и Бурдину всегда отзывался с большой похвалой.

Как хороши женщины во всех его пьесах! Как даже дурные поступки ее он объясняет средой, воспитанием, обстоятельствами. Как-то на замечание Варламова, что

он идеализирует женщину, Александр Николаевич ответил: «Как же не любить женщину, она нам бога родила». Хотя Бурдин взял монополию на право постановки в свои бенефисы пьес Островского (по дружбе с ним), но я просила Александра Николаевича уделить когда-нибудь мне одну. В декабре 1881 года он уведомил, что написал «Таланты и поклонники», и я заявила ее на бенефис, который состоялся 14 января 1882-го. Он читал нам ее в квартире своего брата Михаила Николаевича, бывшего тогда уже министром. Больше я никогда не слыхала его чтения, и лучшим чтецом после него был А. А. Потехин.

ВСТРЕЧА С ОСТРОВСКИМ

Из воспоминаний Старого актера

В начале 1917 года минет ровно пятьдесят лет с тех пор, как на сцене Александринского театра в Петербурге была поставлена драма «Василиса Мелентьева» А. Н. Островского.

По этому поводу теперь мне является случай рассказать здесь о том, как Александр Николаевич лично декламировал эту пьесу труппе актеров московского Артистического кружка.

Происходило это в ноябре 1879 года [1]. Тогда режиссер труппы М. Аграмов надумал поставить на сцене кружка драму «Василиса Мелентьева» в свой бенефис. И с той целью, чтобы пьеса прошла здесь возможно лучше, он решил просить самого Островского прочитать драму на репетиции актерам труппы.

Но Александр Николаевич в то время уже был очень стар и притом еще постоянно прихварывал; поэтому и рассчитывать на него как на декламатора драмы никто из актеров кружка серьезно не мог. Тем более что Островский, как хороший знаток русских актеров с той их стороны, что они никогда, как должно, не усваивают себе декламацию авторов пьес, стал избегать их там, где они нуждались в его указаниях по сцене. Но Аграмов, будучи человеком настойчивым в решении всех своих вопросов, сумел упросить Александра Николаевича прочитать драму на сцене Артистического кружка. И местом

для декламации было избрано театральное фойе. Этого пожелал сам автор «Василисы». Он не хотел, чтобы на чтении присутствовал кто-нибудь из посторонних людей.

— Я читаю пьесы для актеров, а не для публики,— говорил Островский,— поэтому и не желаю видеть в числе моих слушателей кого-нибудь из публики.

В то время Островский как драматург-классик считался среди всех русских актеров вполне «persona grata» * и потому пользовался у них всегда особым почетом.

Так и на этот раз режиссер кружка Аграмов, желая оказать автору «Василисы» во всем подобающий ему почет, устроил для него торжественный прием в театре.

На подъезде фойе, например, был поставлен с булавою в руках швейцар, а рядом с ним — особый вестовой, который должен был дать своевременно знать Аграмову о том, что Островский прибыл в театр. При входе же в фойе, где было назначено чтение драмы, в два ряда были расположены все артисты кружка, и так они ожидали к себе дорогого гостя.

И когда вестовой вбежал в фойе с докладом о прибытии Островского в театр, то Аграмов в сопровождении двух премьеров труппы кружка — Чернявского и Волкова-Семенова — сейчас же поспешил на подъезд дома и там, конечно, уже приветствовал, как должно, автора «Василисы Мелентьевой». А когда Александр Николаевич вошел в фойе, то режиссер представил ему всех по очереди актеров труппы кружка. При этом Островский, как гость, пожимая руки актерам, всем им, каждому в отдельности, конечно, сказал по два, по три любезных слова.

И мне, как лицу, находящемуся в труппе актеров, тоже пришлось выслушать от Островского такие общелюбезные слова, как: «Я очень рад вас здесь встретить» и т. п.

Говорил же Александр Николаевич очень тихо, почти шепотом, и его речь можно было слышать только при абсолютной тишине, находясь возле него.

«Вот декламатор-то! — подумал я.— Как же это он будет читать нам драму? Ведь его едва слышно, когда он говорит. Какая же это будет декламация? Одна па-

---

* лицо, пользующееся расположением *(лат.)*.

родия на нее, если еще не того хуже. А ведь нам нужно образцовое чтение, чтобы им воспользоваться для сцены»... Но это мое предположение о неспособности Островского продекламировать нам свою драму так, как нужно было для сцены, оказалось не совсем-то верным. А ведь трудно же было что-нибудь предположить о человеке, едва переводящем дыхание, бледном как полотно и опустившем голову на грудь так низко, точно он собирается упасть. Вот какой внешний вид был у Островского.

Одет он был тогда в серый костюм, наглухо застегнутый, и этот цвет английского трико еще довольно молодил внешность русского классика.

Но вот Александр Николаевич поместился в глубоком кресле, поставленном возле маленького столика среди самого театрального фойе, и предложил всем актерам, тут присутствующим, расположиться вокруг него полукругом, именно так, чтобы его можно было слышать всем одинаково хорошо.

Мне пришлось поместиться на отдельном стуле рядом с Островским, с правой стороны его, так близко к нему, что мой левый локоть касался его правой руки.

Таким образом, я легко мог слышать малейший шепот чтеца.

Перед началом декламации прошла минута глубокого молчания. В это время никто из присутствующих даже вздохнуть сильно не мог. О шелесте же женского туалета уже и говорить здесь не приходится: его не было слышно, хотя актрисы на этот раз все оказались разодетыми в шелка. Нельзя же им было не воспользоваться данной торжественной минутой, чтобы не показать свой роскошный туалет! Ведь Островский появлялся у них в гостях только раз в жизни! [2] Ведь Александр Николаевич дал им Катерину в «Грозе», в роли которой актрисы производят фурор на сцене. Это ли не благодетель был для них! Как же им было не благоговеть перед ним? Другого отношения к Островскому в то время среди актеров русских сцен не было. Да и не могло оно быть иначе уже потому, что автор «Василисы Мелентьевой» давал им исключительный случай блеснуть на сцене своим талантом в таких бытовых типах, какими были Тит Титыч, Пуд Пудыч и Любим Торцов,— эти герои первой половины XIX века купеческой Москвы...

Итак, все замерло в фойе кружка, обратилось в слух и направило свой пытливый взор на лицо автора «Василисы Мелентьевой», глубоко опустившегося на своем кресле вниз и внимательно созерцавшего ту драму, которую он готовился декламировать и которая лежала перед ним на столе.

Александр Николаевич в этот момент казался нам глубоко задумчивым. Он молча созерцал свою пьесу и что-то долго припоминал. Сейчас было видно, что он ушел мысленно в глубь истории России и прислушивался там к звуку древней боярской речи на думских собраниях в Москве. В этом тоне ему нужно было начать свою декламацию «Василисы».

И вот Островский произнес первые слова своей исторической драмы, так много наделавшей шуму в нашем обществе пятьдесят лет тому назад, когда роль Грозного в Александринском театре в Петербурге играл знаменитый наш артист В. В. Самойлов. Читал Александр Николаевич вообще так тихо, почти шепотом, что его едва можно было слышать даже мне, сидевшему с ним рядом. Но шепот этот, однако, был вполне внятен и ясен и его можно было усваивать как тон, даваемый декламатором актерам для того, чтобы они вели свои роли на сцене именно в этом духе. Так предупредил нас Островский в то время, когда он приступал к чтению драмы.

Декламацию свою Александр Николаевич вел на голоса, то есть он давал каждому действующему лицу в своей пьесе тот стиль речи, каким всякий мог располагать по праву его общественно-государственного положения на Москве времен Иоанна Грозного. Из уст чтеца в это время можно было слышать целый хор голосов, изумительно стройных по своему русско-бытовому стилю, точно нарочно подобранных каким-то искусным маэстро речи.

О подробностях драмы история нам ничего не поведала, и до сих пор даже Москва не знает, где была похоронена седьмая жена Ивана IV и ее любимый друг — боярин Колычев [3].

Но в декламации Островского воскресал перед нами весь этот кровавый период эпохи Грозного, владыки московского, когда многие лучшие люди гибли под наветом грубых льстецов, овладевших тогда волею великого царя и управлявших ею согласно своим интересам.

Вести этот боярский говор «думных людей» XVI века так искусно, как вел его Островский в своей декламации «Василисы Мелентьевой», мог только Александр Николаевич, как человек, всем своим творческим существом ушедший в историю древней России и созерцавший там общую психологию русского народа и придворной знати того времени. И чем дальше Островский вчитывался в свою драму, тем сильнее он воскрешал перед слушателями все то, что относилось до эпохи приснопамятного московского периода.

Вслушиваясь в тон речи чтеца, мы одновременно уходили вместе с ним в глубь веков русской истории и умилялись перед мудростию простых слов московского боярства, во имя блага своей дорогой родины жертвовавшего головою [4]...

Прекрасно было оттенено у Островского глубокое чувство страдающего моральным недугом человека, которое живо звучало в голосе драматурга в то время, когда он читал монолог Иоанна Грозного, сидящего у изголовья спящей Василисы, вспоминая при этом о своем близком и далеком прошлом, говоря со слезами на глазах, что он теперь одинок на свете и никто не поймет его сердечных страданий.

Слушая эту мучительную исповедь грозного царя самого перед собою в тяжелую минуту его скорби, казалось, даже камень мог почувствовать сострадание.

Личность царя Иоанна Грозного в декламации Островского была не столь грозна и криклива, сколь величественна и сдержанна в тоне своих строго повелительных слов, потому что царь, какой бы он ни был, по мнению автора «Василисы Мелентьевой», не мог «кричать» на своих подданных, как это постоянно делают те актеры, которые играют Грозного на сцене.

— При том же Иван Четвертый был слабогрудым,— говорит Островский,— и очень нервным, отчего он часто задыхался так сильно, что при этом даже слова не мог вымолвить. Если же он и был грозен, то не в словах, не в крике на людей, а лишь в тихом могучем гневе и еще в долгом молчании, когда в его уме создавался какой-нибудь страшный приговор для подвластных ему людей, не угодивших чем-либо своему суровому царю. Вот чем он был для всех грозен, но не криком своим, которого у него почти совсем никогда не было.

Также молча, по словам автора, царь вонзил железный посох в ногу своего стольника Колычева в то время, когда допрашивал его под этой пыткой жестоко и долго о тех отношениях, которые были у стольника с Василисой. А уж тут ли царь не был гневен и грозен. Но он не кричал! И это потому, что он не мог этого делать по слабости своей нервной природы.

Так, собственно, Островский охарактеризовал нам личность Ивана IV.

Между тем актеры, играющие царя Грозного на театральной сцене, постоянно кричат. И это потому, что роль Ивана IV всегда и везде играет трагик. А они, по большей части, только криком и берут на сцене. Другого артистического эффекта у них нет для того, чтобы сорвать с публики аплодисмент.

Но когда Грозный узнает из бреда Василисы, что та изменила ему с Колычевым, то тут он громко вскрикивает и в пылу своей ненависти к изменникам строго приказывает Малюте Скуратову «убрать» их обоих в одну могилу.

Эту часть роли Грозного Островский передавал в своей декламации так потрясающе, что у актеров даже явилось впечатление о потере душевного равновесия у чтеца.

Но ничуть не бывало! Александр Николаевич сидел в кресле совершенно спокойно, не выражая на лице никакого волнения и ничем не выказывая его с внешней стороны. Только голос его по временам переливался из тона в тон, точно какая-то стройная музыкальная гамма, переходящая от одной ноты к другой.

Островский был во время декламации, можно сказать, «олимпийски» спокоен. Лицо его в этот момент казалось нам совсем неподвижным, точно у загадочного египетского сфинкса: оно было холодно, бледно, как мрамор в изваянии художника.

Словом, он не был актером в том смысле, что к каждому слову, им произносимому, ему требовался относительный жест или гримаса на лице.

У Островского ничего этого не было. Точно перед нами сидела в кресле, повторяю, мраморная статуя, как-то механически заведенная и потому извергающая из уст живые слова, да притом такие чудные, что мы их не могли наслушаться.

Да, декламировать так, как это делал Островский, читая свою «Василису» на голоса, мог только человек исключительный, знающий хорошо русскую историю и владеющий таким живым органом речи, который давал бы ему возможность в каждую данную минуту говорить голосом другого лица, подобно какому-нибудь чревовещателю. Это искусство очень нелегкое, и оно дается далеко не каждому. После Гоголя Островский был первый чтец на голоса всех своих драм, да, вероятно, уже и последний, так как до сих пор еще нет ему заместителя.

В декламации Островского Василиса Мелентьева выходила женщиной довольно тонкой, хитрой и умной, искусно умевшей скрывать от царя все свои тайные чувства. А уж Грозный ли не был провидец всех людей своего времени?.. Однако он не мог своевременно разгадать свою седьмую жену.

И если бы актеры и актрисы умели передавать со сцены свои роли так же искусно, как их читал Островский, то, конечно, получилась бы чудная гармония в сочетании этих живых звуков в одном общем жизненном хоре голосов.

Но этого, к сожалению, не бывает никогда ни на одной сцене, даже на образцовой.

У нас был один такой вполне безупречный артист императорских театров — это В. В. Самойлов, создавший на сцене Александринского театра такие художественные типы, как Опольев в комедии «Старый барин» Пальма, Жорж Дорси в комедии «Гувернер» профессора Казанского университета Дьяченко, Басанина-Басанского в комедии «Пробный камень» того же Дьяченко, кардинала Ришелье в драме того же названия [5], Кречинского в комедии «Свадьба Кречинского» Сухово-Кобылина, полесовщика в комедии «Окно второго этажа» [6], князя Тугоуховского в комедии «Горе от ума».

Но актеры ведь не все таковы! Огромное большинство их играет свои роли на сцене так, как им бог это на душу положит. Даже такой знаменитый по провинции драматический актер, как Рыбаков, и тот говорил, что «все мое искусство состоит в том, чтобы выучить свою роль и передать ее на сцене так, как мне господь бог в этом поможет». Но такого изучения своей роли, какого

требовало от него истинное искусство,— Рыбаков не понимал.

Островский не любил таких актеров, которые не отвечали драматическому искусству всем тем, чего оно от них требовало.

Он этих лицедеев называл «торговцами-халатниками». Он говорил, что драматическое искусство требует для себя прилежания и упорства в труде от актера. Но не все обыкновенно любят так сцену, чтобы отдавать ей всю свою жизнь, как это делала, например, М. Г. Савина, не знавшая для себя другой жизни, кроме сцены.

Зная все это, Островский и не любил вообще бывать на тех спектаклях, когда шли его пьесы, даже на московской казенной сцене.

Не был он также и в кружке в тот раз, когда там шла его «Василиса Мелентьева», хотя Аграмов и вручил ему билет на лучшую литерную ложу.

Но Островский, как мне помнится, не воспользовался этой «литерой» и отозвался больным,— что, конечно, сильно огорчило артистов кружка, так как они ждали от него того или другого авторитетного отзыва об их игре на сцене. И такая участь всегда постигала всех актеров частных театров, в которых обыкновенно часто ставились пьесы А. Н. Островского.

— Меня треплет нервная лихорадка в то время, когда я вижу, что актеры, исполняющие мои пьесы на сцене, не читают своих ролей так, как бы им следовало по моим указаниям, сделанным мною во время декламации,— говорил Александр Николаевич.— Поэтому я и не бываю в театрах в тот вечер, когда там идут мои драмы или комедии. И зачем это мне еще терзать себя нервным расстройством здесь, в театре, когда я и так уже довольно настрадался при выпуске их на свет божий?..

Такое отношение Островского к актерам всех вообще частных театров установилось именно после того, как он уже не раз испытал на себе их невнимание к его декламации.

— Что-нибудь из двух,— говорил Александр Николаевич,— или актер должен быть чутко-впечатлительным, чтобы воспринимать в себя дух и жизнь другого лица, изображаемого им на сцене во время спектакля, или же он должен покинуть театральные подмостки,

дабы очистить здесь место для настоящего жреца храма Мельпомены, способного олицетворять собою тип, нарисованный ему вдохновением автора. Другого понятия о сцене я не имел и не имею.

Но эти требования Островского для сцены так и остались неосуществимыми, хотя он и применял их к императорским театрам, где ему пришлось быть в семидесятых годах XIX столетия управляющим труппою [7] и где он пускал в ход все свои благие идеи по части усовершенствования и подбора актеров для Малого драматического театра в Москве.

Теории Островского не сходились с практикой, хотя они и были построены вполне логично. Зло нашей драматической сцены так и не уступило его стараниям.

Любя декламацию на голоса так же сердечно, горячо, как ее любил Николай Васильевич Гоголь, Островский проповедовал ее неуклонно всю жизнь.

Тут нужно заметить, что Александр Николаевич приступил к чтению своих пьес актерам на голоса только тогда, когда он усвоил себе декламаторское искусство в совершенстве.

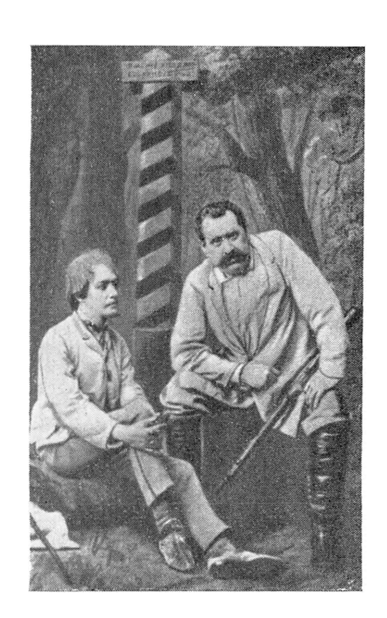
Иначе ему было неудобно выступать среди артистов московских сцен, потому что в то время в Малом театре находились такие знаменитые имена из жрецов храма Мельпомены, как Мочалов [8], Щепкин, Садовский, Шумский, Самарин и др. А им нельзя было показывать несовершенную декламацию пьес.

Поэтому Островский предпочел сначала усовершенствоваться в своей авторской декламации и потом уже явиться к ним с этим искусством. И только при этом условии он завоевал себе среди артистов императорских сцен имя образцового чтеца своих пьес «на голоса».

Так строго и поступательно Островский шел к намеченной им для себя цели.

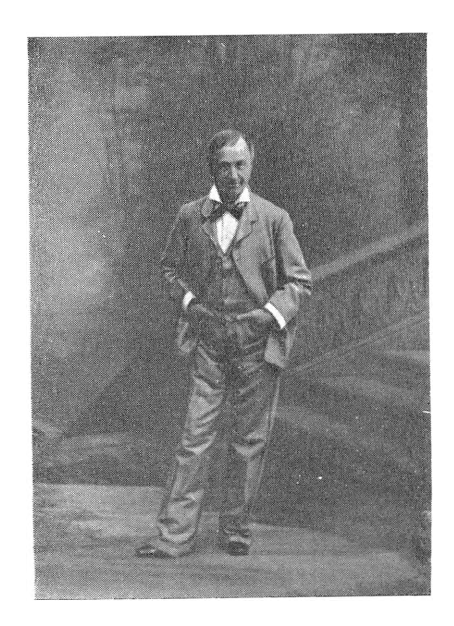
— Декламация требует для себя очень серьезной тренировки,— говорил мне Островский в то время, когда у меня с ним зашел об этом разговор.— Без этого же вы никогда не достигнете в настоящем искусстве своей цели.

Лицедеи Артистического кружка, для которых Островский читал свою «Василису Мелентьеву», не справились с декламацией автора и, конечно, читали драму на спектакле каждый по-своему, кто как мог. И только



Сцена из спектакля «Лес» в московском Артистическом кружке.

Несчастливцев — Н. Х. Рыбаков.
Счастливцев — М. П. Садовский.
Фотография. 1878.



Н. И. Музиль в роли Шмаги («Без вины виноватые»).
Фотография 1890-х годов.

лишь Волков-Семенов, игравший стольника Колычева, и М. Аграмова, олицетворявшая Василису, еще кое-как усвоили себе декламаторский тон автора и держали его на подмостках театра все время в продолжение спектакля. Но Аграмов, игравший роль Грозного, как актер на драматическое амплуа, по обыкновению, позволял себе выкрикивать те места, где царь Иван IV впадал в нервный тон. А это не было в задачах Островского. Он держался, так сказать, «шипящего» тона.

Предчувствуя эти отступления на сцене, автор «Василисы» и не приехал на спектакль.

Но его декламация, в общем, все-таки помогла актерам Артистического кружка, и они провели пьесу с большим успехом. Правда, этому много способствовало имя автора «Василисы», выставленное тогда на афише как руководителя актеров на репетиции этой пьесы в день спектакля. А этого вполне было достаточно для московской публики, чтобы она пошла в театр смотреть «работу» любимого ею драматурга-писателя.

В. М. Михеев

БЕГЛЫЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

<...> Наиболее яркое воспоминание из всех спектаклей Пушкинского театра [1] чисто бытового характера во мне оставили «Гроза» и «Грех да беда на кого не живет» Островского, «Горькая судьбина» Писемского, «Ложь до правды стоит» Шпажинского и несколько других пьес этих же большею частью авторов.

П. А. Стрепетова в ролях Катерины, Елизаветы, бедной невесты [2] и Евгении («На бойком месте») была неподражаема. Правдивость внешнего типа, глубина внутреннего драматизма, при великолепном металлическом голосе, гибкости и ясности которого не было предела, при глубоко выразительных глазах, поражавших своей красотой в иные трагические моменты <...> она заставляла совсем забывать довольно резкую нескладность ее фигуры (легкую горбатость) и в сильной драме, и даже в бытовой комедии. <...>

Муж Стрепетовой — М. И. Писарев, один из образованнейших людей, встреченных мною на сцене, не обладал задушевностью жены в игре, ему вредил в исполнении, если так можно выразиться, легкий риторизм. Но путем глубокого понимания ролей и знания русской бытовой жизни, при своем недюжинном даровании, он создавал таких Краснова, Анания, Русакова [3], что в них сливались вся правда их бытового образа с некоторой повышенностью психического типа, делавшей эти фигуры душевно более крупными, чем, быть может, задумывали их сами авторы.

Здесь мне ярко вспоминается параллель между А. Н. Островским и А. Ф. Писемским — именно по этому вопросу. Первый, в уборной артиста во время представления «Грех да беда на кого не живет», в первые антракты только молча посматривал на Краснова — Писарева, отрывисто кидая своим сиповатым баском, с его характерной хрипотой:

— Ладно, ладно...

В позднейшие же антракты его светлые, проницательные, немного скошенные по-восточному к вискам глаза сияли все более и более огоньком удовлетворения, и он уже похлопывал артиста по плечу, говоря:

— Так, так! благородный ведь он у меня, благородный мужик... не гляди, что убийца... Убийцы-то и бывают инова́ (по-костромски: иногда) благородные...

Наоборот, в той же уборной во время представления «Горькой судьбины», когда в нее грузно втеснился в своем засаленном пиджаке, с редкими растрепанными седыми волосами и испуганно выпученными глазами (точь-в-точь на портрете И. Е. Репина в галерее Третьяковых) А. Ф. Писемский, первое, что забормотал он глухо, но громко, окая по-костромски, М. И. Писареву — были слова:

— Ты — позвероподобнее, позвероподобнее его изобрази...

Анания — Писарева эти слова немало смущали. Совсем не зверя задумал артист в образе этой жертвы крепостничества. Но уже с третьего акта Писемский, все оживленнее втесняясь в уборную артиста, с радостным и наивным смехом ребенка на старческом опухлом лице, почти выкрикивал:

— Играй, играй, как знаешь... ишь ты, и не зверь он вовсе... хорошо, хорошо... умница...— твердил Писемский, относя неизвестно к кому, к своему ли Ананию, к исполнителю ли его, последнее слово.

И прекрасное правильное лицо Писарева, столь возвышенно характерное в его гриме Анания, сияло теперь почти такой же детской радостью.

Стрепетовой, помнится мне, в эти спектакли ни тот, ни другой драматург не делали никаких замечаний, может быть зная гневливый нрав Пелагеи, или, как она себя звала, Полины Антиповны, истерически накидывавшейся, невзирая на лица, на тех, кто дерзал проти-

воречить ей; а вероятнее всего и не находя повода к каким-либо замечаниям и только восхищаясь этой удивительной исполнительницей их лучших созданий. Помню я только, как радостно светились, смотря на нее, прищуренные глаза Островского, а Писемский разнеженно вздыхал, пожимая ее руки, и бормотал:

— Ох, Полина Антиповна, ох, ох, ох...

Что выражало это «ох»? Вероятно, упоение от ее игры. <...>

Я не знавал других артистов, столь мало уважавших текст авторов, как покойные И. П. Киселевский и В. Н. Андреев-Бурлак. Дождаться от них хорошего знания роли, кажется, не мог ни один самый суровый режиссер. <...> Вообразите же себе Писемского или Островского свидетелями того, как превосходный исполнитель их драматического замысла изменял их текст преувеличенными словечками. Публика этого почти не замечала: вариации Бурлака, резкие и грубоватые, почти никогда не шли вразрез с мастерски бытовым языком Островского, тем более языком Писемского, в своем роде также довольно грубоватым. Но оба автора глубоко талантливые художники, по языку дети строгого прозаика-беллетриста Пушкина, не могли не чувствовать, как режет их чуткое ухо эта волжская, подчеркнутая, почти бурлачья, отсебятина Бурлака.

Островский только покряхтывал, сутуло пожимал плечами, и, однажды выведенный из себя какой-то чересчур смелой бурлаковской перефразировкой его текста, на вопрос Василия Николаевича по поводу его игры сказал:

— Хорошо, паря, хорошо. Да и как тебе хорошо не играть: свое ведь играл.

— Как свое? — удивился артист, нервно подергивая характерно отвисшей нижней губой.— Вы хотите сказать, что по мне роль?

— Да по тебе всякая,— сыграешь всякую... особенно, когда на свои слова переложишь... И бог тебя знает: в чем у тебя больше таланту: в игре аль в языке? Хорошо, хорошо...

Бурлак, несмотря на всю свою обычную несмущаемость, на этот раз сильно смутился, и нижняя губа его

совсем уныло отвисла. Его было искренне жаль. Очевидно, не наглая небрежность Киселевского, не одна лень — точно выучить роль поставили его в такую тяжелую коллизию с его обожаемым писателем. И оба на эту тему уже ничего более тогда не сказали. <...>

Я и не имею целью передачу слов наших великих писателей и артистов, да и очень немногословны они были под старость, повторяю. Я хочу только нарисовать отношения друг к другу тех и других, проникнутых несомненной родственностью, несомненным единством психики. И это глубокое родственное чувство, служившее для них тесною связью, часто проявлялось за кулисами хорошего бытового театра. Точно эти кулисы были маленьким теплым уголком обширной русской творческой семьи, с таким единством тогда владевшей нашими сердцами и умами. За головами Островского и Писемского из этих кулис как будто виднелись Салтыковы, Тургеневы, Толстые, Успенские, Слепцовы, Решетниковы, Перовы, Маковские, Прянишниковы, Мусоргские,— словом, вся обширная в то время плеяда русского народно-бытового искусства во всех его разветвлениях литературы, живописи, музыки.

И вскоре затем на пушкинском празднике в начале восьмидесятых годов мы увидели, за малыми исключениями (в том числе, к сожалению, таких представителей и антиподов мысли и творчества, как Щедрин и Толстой), почти всю эту плеяду. Достоевский потрясал своим мистико-моралистическим пафосом, проникновенно, как древнееврейский пророк. Глеб Успенский возмущался против его проповеди всей глубиной своей правдиво реалистической, народнически надорванной души. Тургенев трогательно, публично мирился с Достоевским и отталкивал бокал Каткова, говоря, что никогда не пьет, ни для какого опьянения, из сосудов, предназначенных совсем не для того [4].

И среди этих ярких, захватывающих сцен «праздника на нашей улице» [5], как тогда говорила интеллигенция, публика горячо приветствовала грузно-неловкого в своем поношенном платье Писемского и сутулого, в просторном фраке, беспокойно оглядывавшегося по сторонам Островского. Они тогда с эстрады не сказали

никакого вещего слова. Они не были «властителями умов», какими в разной степени в разное время перебывали и Щедрин, и Глеб Успенский, и Лев Толстой. Они были, быть может, самые чистые в этом роде бытовики-художники. Творчество их тогда шло уже к упадку. Но Россия еще их любила и горячо приветствовала — все таких же угловато-скромных и малословных, какими я в ту пору встречал их за кулисами театра.

А вскоре мне пришлось быть свидетелем того, как один из них, больной, весь содрогающийся и от старости, и от горя, хоронил другого. Волосы на почти совсем облысевшей голове Островского трогательно, как серая поздняя осенняя паутина, трепались от холодного ветра над его морщинистым, в красных пятнах, лбом. И светлые глаза его блеснули слезами, когда он, поддерживаемый друзьями под локти, поднялся над свежевырытой могилой Алексея Феофилактовича. <...>

К. Ф. Вальц

<А. Н. ОСТРОВСКИЙ В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ>

<...> В 1873 году, когда задумали ставить в Большом театре сказку Островского «Снегурочка» [1] для бенефиса Живокини, все заседания в присутствии автора собирались у Бегичева.

А. Н. Островский особенно подробно не заявлял своих желаний и детальных указаний по постановке декораций не делал, ограничиваясь приемом макета в том виде, в каком он представлялся художником. Только по поводу сцены таяния Снегурочки, роль которой была поручена Федотовой, было много дебатов, пока не пришли к такому заключению: было решено окружить Снегурочку несколькими рядами очень небольших отверстий в полу сцены, из которых должны были подниматься струйки воды, которые, сгущаясь, должны скрыть фигуру исполнительницы, опускающуюся незаметно в люк под лучом прожектора.

Островский особенно рьяно обсуждал эту сцену, а также делал свои указания относительно костюмов птиц в прологе. Он требовал, чтобы последние были как можно более реальны, и настаивал на их выполнении бутафорским способом, сделавшим костюмы крайне сложными и неудобными.

У Бегичева же обычно проигрывалась музыка новых опер и балетов. Относительно музыки Чайковского, написанной специально для «Снегурочки», А. Н. Островский неоднократно выражал мнение, что музыка эта, несмотря на свою прелесть, к ней не подходит, ибо не выражает сущности его сказки [2]. <...>

В середине восьмидесятых годов[3] в управление московских театров вошли еще два выдающихся лица — А. Н. Островский в качестве заведующего художественно-репертуарной частью и А. А. Майков в качестве заведующего хозяйственной частью. А. А. Майков был приглашен исключительно по желанию А. Н. Островского, который заявил при вступлении на службу, что согласен работать исключительно при сотрудничестве Майкова.

А. Н. Островский обращал почти все свое внимание исключительно на Малый театр и уделял очень мало времени Большому, хотя кое-какие нововведения в Большом театре обязаны своим возникновением знаменитому драматургу. Так, например, Островский первый подал мысль о замене выходных солдат артистами балета. Подобная реформа безусловно сильно подняла художественную сторону спектаклей, так как присылаемые для массовых сцен солдаты обыкновенно подходили к театральной игре с точки зрения фронтового учения и проделывали все заданные им режиссером движения, как по команде. <...>

Принципы экономии проводились Майковым самым безжалостным образом. Никакой речи даже о самых минимальных расходах на какую-нибудь новую постановку и быть не могло при нем. Композитор Кашперов, опера которого «Гроза» на сюжет Островского шла в Большом театре, стал хлопотать о постановке нового своего произведения, оперы «Тараса Бульбы». В предварительных разговорах выяснилось, что эта постановка потребует написания новой декорации только для одного акта, и Кашперов попросил меня приготовить соответствующий макет. Во время одного из спектаклей в директорской аванложе было назначено специальное заседание по этому вопросу. В условленный час Майков, Островский, Кашперов и я с макетом собрались вместе и стали обсуждать необходимые для новой оперы расходы. Когда Майков увидел макет и услыхал, что постановка потребует написания заново декорации для одного акта, то он решительно и наотрез отказался разговаривать по подобному делу. Необходимо при этом указать, что, с одной стороны, расходы выражались в какой-то смешной цифре нескольких десятков рублей, а с другой,— что Кашперов был в очень тесных друже-

ских отношениях с Майковым. Все просьбы и доводы пришедшего в полное отчаяние композитора оставляли безучастным заведующего хозяйственной частью. Только вмешательство в это дело А. Н. Островского, который твердо заявил о необходимости по художественным соображениям новой постановки, смогло поколебать Майкова и он, нехотя, с недовольным лицом и ворчанием, подписал смету. Кашперов был прямо вне себя от восторга.

Островский и Майков недолго руководили московскими казенными театрами — первый вскоре умер, а второй вышел в отставку. <...>

М. М. Ипполитов-Иванов

ВСТРЕЧИ С ОСТРОВСКИМ, ЕГО СОВЕТЫ, УКАЗАНИЯ...

К событиям этого времени следует отнести и посещение Тифлиса А. Н. Островским [1], нашим знаменитым драматургом, женатым на сестре моего друга А. П. Бахметева, проживавшего в то время в Тифлисе. У него Островский остановился, и у него-то я с ним познакомился. Первая встреча с величайшим драматургом не могла не взволновать меня, и я, идя к нему со страхом и трепетом, думал о том, как я буду говорить с ним, чтобы уже очень не проявить своего невежества перед этим великим сердцеведом. Но страхи и опасения мои были напрасны, я сразу попал в атмосферу привета и ласки; через несколько минут я уже говорил с ним, как со старым другом, с которым давно не видался и который участливо входит во все мои планы и намерения. Своей довольно грузной фигурой и серьезным, сосредоточенным выражением лица со взглядом серых глаз, проникающим до самых сокровенных уголков души, он первое впечатление производил несколько суровое, но как только начинал говорить, то весь преображался, становился олицетворением доброты и участия, и вы без всякого с его стороны давления открывали ему все тайники души, заранее зная, как он к вам отнесется. Невольно чувствовался в нем дар сердцеведения и способность читать в человеческой душе как в книге. В то время я только что приступил к сочинению оперы «Руфь» по черновикам либретто А. К. Толстого, набросанного им еще до поступления моего в консерваторию,

то есть летом 1875 года, и найденного в бумагах покойного летом 1881 года, о чем я говорил выше. В разработке этого либретто принимал участие и поэт Д. Н. Цертелев, гостивший летом в 1881 году у Толстых и также приложивший к либретто свою талантливую руку. Таким образом, «с миру по нитке» создался тот план оперы, по которому я и приступил к работе. Мне очень хотелось знать мнение Александра Николаевича относительно общего плана либретто, и я рассказал ему, что было сделано в этом направлении. Александр Николаевич очень заинтересовался: во-первых, в какую поэтическую форму вылилась чудная библейская идиллия в руках двух поэтов, а во-вторых, насколько эта работа удовлетворяет общим сценическим требованиям.

С большим волнением я принес ему либретто и все, что было мною написано, а сделано было почти два акта. Александр Николаевич очень милостиво отнесся к поэтической стороне работы и жестоко раскритиковал сценическую. Пока дело шло о завязке событий в прологе и первом акте в чисто идиллическом настроении, все ему нравилось, и план и стихи, но дальнейшее развитие подверглось беспощадной критике.

Он начал с указания, что все идиллические картины прекрасны в маленьком масштабе, но как только они выходят из небольших рамок, то отсутствие резких контрастов и однообразие настроений утомляет слушателя, и произведение становится скучным, а зритель или слушатель, как известно, прощает все, кроме скуки; поэтому он посоветовал оживить сценарий, внеся в либретто бытовые штрихи, введя сцену народного суда, в которой один из старейшин творит суд и расправу. В данном случае введение новой картины совсем преобразило оперу, и из однообразной идиллии создалась интересная бытовая библейская картина, полная жизни и движения.

Я, конечно, был в восторге от этой идеи, но в то же время и смущен до крайности: кто же мне напишет текст и вообще отделает в литературном отношении эту сцену, причем хотелось получить ее как можно скорей. Я высказал свои соображения Александру Николаевичу, не допуская даже мысли о возможности его участия. Но Александр Николаевич никогда и ничего не делал наполовину, поэтому, не откладывая, сейчас же приступил

к совместному со мной обсуждению деталей новой картины. Через два часа я ушел от него ликующий с совершенно законченной сценой в кармане [2]. Расспрашивая о моих дальнейших предположениях, он с большим интересом отнесся также к плану задуманной мною второй оперы на сюжет одного предания, существующего в Тульской губернии в селе Ивановском, о так называемых пережнихах. «Пережнихи» — это, по народному поверию, сестры лесовиков, которые во время страдной поры уборки хлеба пережинают у крестьян хлеб и, скручивая колосья, затрудняют уборку, чем вредят урожаю. Фабула поверья такова. В селе Ивановском у вдовы крестьянки дочь Параша просватана за парня из того же села Алексея. Дело происходит летом, до уборки хлеба. Параша с подругами во главе с солдаткой-бобылихой Пахомовной отправляются в лес по грибы. Заблудившись и отставши от молодежи, Пахомовна только к утру на рассвете выбралась на опушку леса, присела у околицы, села на пенек отдохнуть и видит, что из лесу выходит женщина в белой рубахе с распущенными волосами и тихо пробирается к полю. Пахомовна в страхе бежит на село и оповещает народ о грозящей беде в лице появившейся «пережнихи». Сход решает, что хотя «пережниха» и наваждение, но пристрелить ее необходимо. Бросают жребий, кому идти на этот подвиг, и жребий падает на Алексея. На следующее утро, на заре, Алексей становится на указанное место и действительно видит, что из леса выходит женщина с распущенными волосами, в белой рубахе, как рассказывала Пахомовна; Алексей, прочитавши со страху: «Да воскреснет бог...»,— стреляет — и слышит крик, чего он не ожидал, так как «пережниха», по народному поверию, не что иное, как дым и пар. Он бросается на крик и в раненой узнает Парашу, которая, как оказалось, страдала лунатизмом, в припадке выходила по ночам из хаты, а никто этого не знал. На выстрел сбегается народ. Параша умирает. Алексей в отчаянии бросается в реку и погибает.

Сюжет очень понравился Александру Николаевичу своим народным колоритом и глубоко трагической развязкой. Он просил прислать ему в Щелыково книжку журнала, кажется, «Знание», где был помещен рассказ на сюжет этого предания, и мой сценарий, обещая на-

писать для меня либретто. Журнал и сценарий были вскоре ему высланы [3], но осуществить свое намерение ему не удалось. В заключение нашей беседы он рассказывал мне о своем сотрудничестве с Серовым, Чайковским и отчасти с Римским-Корсаковым. Свою последнюю, третью, оперу «Вражья сила», как известно, Серов написал на сюжет народной драмы Александра Николаевича «Не так живи, как хочется, а как бог велит». Сюжет захватил Серова яркой, бытовой окраской, резко очерченными типами и обилием контрастов. Необузданный Петр, плутоватый Еремка, богомольный Илья, трусоватый Вася, плаксивая Даша, бойкая Груня — словом, уголок темного царства и разгул постоялого двора — все это было как нельзя больше по душе Серову, и он неотступно торопил Александра Николаевича с написанием либретто. Но в скором времени между ними возникли принципиальные разногласия по многим вопросам, Александр Николаевич отказался от дальнейшей совместной работы, и Серов уже один закончил либретто, как ему хотелось. Дело в том, что Серов, избалованный успехом своих первых двух опер, «Юдифи» и «Рогнеды», совсем не считался с той планировкой сюжета, которая хотелась Александру Николаевичу, и настаивал на некоторых коренных изменениях в нем, на которые тот не соглашался. Александр Николаевич не хотел трагического конца оперы. Его мысль была — привести разгульного Петра после всех его кошмарных переживаний к проруби, у которой он приходит в себя; но Серов требовал крови и закончил оперу убийством Даши, что было противно Александру Николаевичу. Он протестовал, Серов настаивал. К этому основному разногласию присоединилось еще произвольное толкование Серовым типа Еремки и требование полной переделки сцены масленичного гуляния — словом, ряд требований, что в конце концов Александру Николаевичу надоело. Он не нашел возможным идти на уступки, предоставил Серову закончить оперу по его усмотрению [4], решив никогда больше с композиторами не связываться.

Но «сердце — не камень», как говорит заглавие одной из его комедий. В скором времени к нему обратился П. И. Чайковский с просьбой сделать либретто из его «Воеводы». Уступая просьбе Чайковского, к кото-

рому он давно питал самую нежную симпатию, Александр Николаевич быстро написал ему первый акт и первую картину второго акта, но Петр Ильич разочаровался в сюжете, и мысль об опере была оставлена. Позднее Петр Ильич для бенефиса певицы А. Г. Меньшиковой по ее просьбе наскоро сам закончил либретто и дописал оперу уже без помощи Александра Николаевича, что, конечно, было не к выгоде оперы. Но охлаждение к сюжету со стороны Петра Ильича нисколько не охладило их отношений; это подтверждается тем обстоятельством, что когда Петр Ильич потерял написанный Александром Николаевичем первый акт либретто, то тот вторично и собственноручно все вновь переписал ему на память [5]. В особенности их сблизило одновременное сочинение «Снегурочки». Пьеса эта была заказана Александру Николаевичу дирекцией для спектакля в Большом московском театре, а музыку к ней было поручено написать Петру Ильичу. Оба работали с большим увлечением, и это изумительное произведение, начатое в январе, было закончено и исполнено в первой половине мая 1873 года. Если не ошибаюсь, спектакль состоялся 11 мая [6], с участием трех соединенных трупп: драматической, оперной и балетной.

С какой-то особенной душевной теплотой Александр Николаевич говорил о музыке Чайковского к «Снегурочке», которая, очевидно, сильно мешала ему восхищаться «Снегурочкой» Римского-Корсакова.

С последним у Островского сотрудничества в буквальном смысле не было, все ограничилось переговорами и просьбой Н. А. Римского-Корсакова разрешить ему переделать «Снегурочку» для оперы, на что Островский охотно согласился. Этим разрешением Николай Андреевич воспользовался в полной мере, переделав местами даже стихи, что, вероятно, и вызвало охлаждение Островского к «Снегурочке» Римского-Корсакова, которая стала для него как бы чужой [7].

Несомненно, несложная, искренняя музыка Чайковского, без яркого контрапунктического наряда Римского-Корсакова, была ближе душе Островского, и он не скрывал, что она была ему роднее, как народнику. Он горячо любил народную песню и основательно изучил ее во время своей командировки в 1857 году на Волгу для наглядного ознакомления с этой частью России

в этнографическом и бытовом отношении. Поездка была организована редакцией «Морского сборника», причем для записывания народных мелодий к нему был прикомандирован композитор К. Вильбоа [8], автор популярного в свое время дуэта «Моряки». Будучи человеком веселого нрава и любителем хорошей компании, Вильбоа предпочитал проводить время в попойках с волжскими купцами на баржах, предоставляя скучную работу Островскому. «И я,— со смехом рассказывал Александр Николаевич,— чтоб запомнить мелодии, целый день пел их до хрипоты, а потом уже вместе с Вильбоа мы их записывали». Народную песню Александр Николаевич любил особенной любовью. Для него и его друга И. Ф. Горбунова это был культ, в котором они были верховными жрецами. Часть песен от И. Ф. Горбунова сохранилась в различных сборниках; песни же, записанные Александром Николаевичем, вероятно, можно было бы найти в архиве редакции «Морского сборника», если только таковой сохранился [9]. Особое значение Александр Николаевич придавал обрядовым песням, в которых находил драгоценные остатки старины, и с большим огорчением указывал на распространение фабричных «частушек», на которые смотрел как на отраву народного разума. Песня, по его словам, выражает душу народа, убьют песню — загубят душу. Любовь Александра Николаевича к музыке и глубокое понимание ее психологического воздействия на душу человека яркой чертой проходит во многих его произведениях. Достаточно вспомнить «Бедность не порок» или «Доходное место», где третий акт заканчивается «Лучинушкой»; и эта простая, бесхитростная мелодия лучше всяких слов говорит о переживаемых Жадовым душевных муках и невольно вызывает слезы, так вовремя и умело она использована.

Александр Николаевич пробыл в Тифлисе почти весь октябрь, и я встречался и беседовал с ним очень часто. Беседы наши касались больше всего вопросов искусства. Его очень интересовало положение грузинского театра, заря которого в то время только что загоралась. Присутствуя на спектакле грузинской труппы, данном в его честь, где его восторженно приветствовало местное общество, он обратил внимание на талантливую артистку Габунию, которая ярко выделялась тогда из ряда

молодых артисток грузинской сцены. Не понимая языка, ему, конечно, трудно было разобраться в особенностях грузинской речи, но талантливость и искренность исполнения произвели на него прекрасное впечатление. В антракте он долго беседовал с артистами, побуждая их к созданию постоянной организованной труппы на прочных основаниях, чтобы поскорей выйти из того полулюбительского состояния, в котором находился в то время грузинский театр. Драматическую грузинскую литературу он нашел в младенческом состоянии, но ее реалистическое направление очень одобрил и видел в этом залог ее будущего развития. При своем свидании с главноначальствующим на Кавказе А. М. Дондуковым-Корсаковым он определенно высказался за необходимость правительственной материальной поддержки грузинского театра, но это пожелание, конечно, так и осталось без последствий.

Часто при наших вечерних встречах он просил меня познакомить его с моими записями грузинских народных песен и частью церковного обихода, к переложению которого на ноты я только что приступил. Вслушиваясь в эти напевы, он, в связи с общим впечатлением от поездки по Кавказу и Грузии, высказывал свое удивление и восхищение культурой и изяществом грузинского художественного творчества как в литературе, так и в искусстве. Вообще вся поездка произвела на него, по его словам, прекрасное, освежающее своей новизной впечатление. Радушие, с которым встретило его грузинское общество, поездка в Кахетию в чудное время сбора винограда, видимо, доставили ему огромное удовольствие, и он все время был в необыкновенно бодром и веселом настроении. Впоследствии, много раз вспоминая те или другие подробности пребывания на Кавказе, он все мечтал в будущем еще раз посетить Кавказ, но судьба сулила другое. Призванный к управлению московскими театрами в 1885 году [10], он весь отдался делу приведения в порядок общего управления и улучшения всего театрального строя. Но выполнить эту гигантскую работу в тех размерах, как он ее задумал, у него не хватило здоровья, и 2 июня 1886 года он скончался у себя в Щелыкове.

Последний раз я виделся с ним весною 1886 года. Приехав в Москву по делам тифлисского театра, я пре-

жде всего решил посетить Александра Николаевича, так как знал, что он на днях собирается выехать из Москвы в свое костромское имение Щелыково. Я застал его в хлопотах и большом волнении. Переезд на новую казенную квартиру, предоставленную ему по должности управляющего московскими театрами, отправка семьи на лето в Щелыково, служебные неприятности (там все шло не так, как бы ему хотелось) и собственное нездоровье — все это вместе взятое, по-видимому, нарушило его душевное равновесие; и я увидал его уже не благодушным туристом, каким он был в Тифлисе, а человеком, озабоченным делами, стоящим перед громадной задачей, выполнить которую он должен во что бы то ни стало, несмотря на препятствия, которые стояли на пути ее осуществления и на которые ему пришлось натолкнуться на первых же порах. Крайне напряженная работа по реформе театров, составление проектов, докладных записок, смет, что делалось всегда им лично, и бесконечный ряд заседаний — все это, несомненно, подорвало его могучее здоровье. Чувствуя себя до крайности утомленным, он стремился поскорей уехать в деревню перед предстоящим сезоном. В то время он жил на Волхонке в доме Голицына. Квартира была очень хорошая, хотя несколько мрачная, но кабинет Александра Николаевича был великолепный, большой, светлый и уютный. Александр Николаевич очень горевал, что ему придется с ним расстаться.

Встретила меня их милая старушка няня, которая, по словам Александра Николаевича, была очень недовольна, что он занял такое место, на котором покою нет, и целый день «позвонок за позвонком».

Несмотря на такие неподходящие для встречи гостя обстоятельства, Александр Николаевич и его семья приняли меня со свойственным им радушием и сейчас же повлекли к самовару, за которым полились воспоминания о Кавказе, рассказы о Щелыкове; это несколько подбодрило Александра Николаевича; он повеселел и вскоре увел меня к себе в кабинет, где и продержал меня часа два, расспрашивая о положении оперного дела в провинции.

В это время опера существовала, кроме столиц, в Киеве, Харькове, Казани, Одессе и Тифлисе. Подавляющее большинство провинциальных театров сдава-

лось городскими управлениями в арендное пользование; таким образом, опера для антрепренеров становилась коммерческим предприятием, из которого каждый из них старался извлечь елико возможную для себя выгоду, составляя труппу числом поболее, ценою подешевле и обставляя спектакли самым жалким образом. Из целой плеяды антрепренеров можно отметить только И. Я. Сетова (Киев), П. М. Медведева (Казань и Нижний) и Ив. Е. Питоева (Тифлис), которые серьезно вели свои предприятия и на них потеряли здоровье и состояние.

Чувствуя и любя музыку, Александр Николаевич очень верно понимал задачи оперного театра. Он высказывал мне свое сожаление, что далеко не все провинциальные оперные театры могут быть школой для молодых певцов, ибо большинство антрепренеров эксплуатирует молодежь, выпускает их неподготовленными и часто в неподходящих партиях, а между тем настоящая школа для них только и начинается с работой в театре.

Занятый переустройством общего управления театрами, он мечтал о создании не только народного драматического театра, но и такой же народной оперы. Искусство, как говорил он, во всех своих направлениях должно быть прежде всего народным. Слушая его, я жалел, что ему так поздно пришлось занять это место, когда организм его уже надломлен.

Прощаясь со мной, Александр Николаевич заговорил о своем обещании написать мне либретто на понравившийся ему сюжет из рассказа о пережнихе, сценарий которого я ему выслал; при этом он ссылался на дела и нездоровье, до сих пор мешавшие ему это сделать. На мой вопрос, не написал ли он новой комедии к новому сезону, он махнул рукой и, прощаясь, ответил мне фразой из своей комедии «Волки и овцы»: «Ну уж, где уж, куда уж [11]... а вот либретто вам в Щелыкове все-таки напишу». На лице его опять засияла добрая, ласковая улыбка и скрылась за закрывавшейся за мной дверью.

Хотя вид Александра Николаевича не произвел на меня успокаивающего впечатления, но я ушел под впечатлением его милой улыбки с радостной надеждой, что все это пройдет, в деревне он отдохнет и с новыми силами примется за любимое дело; словом, ничего угро-

жающего я не видел в его общем недомогании и тем сильнее почувствовал весь ужас его утраты, получив в деревне через месяц после нашего свидания телеграмму об его кончине.

Пройдут года, пройдут века, но типы, зафиксированные им, не исчезнут из памяти народной. Тит Титыч, Кабаниха и Катерина будут жить так же вечно, как живут герои «Илиады» в творениях Гомера. Все, что делалось им, делалось ради общего подъема духовных сил общества; в своих творениях он указывал пути к самоусовершенствованию и достижению известных идеалов,— в этом заключалась его колоссальная нравственная сила.

П. А. Кропачев

А. Н. ОСТРОВСКИЙ НА СЛУЖБЕ ПРИ ИМПЕРАТОРСКИХ ТЕАТРАХ

(Воспоминания его секретаря)

I

<...> 4 августа 1885 года Александр Николаевич писал А. А. Майкову, что, по полученному им извещению из Петербурга, с начала сезона они, то есть А. А. Майков и А. Н. Островский, вступят в управление театрами и что поэтому он сделал уже распоряжения по репертуарной части, начертал инструкции и послал в Москву на имя одного лица письмо с требованием составить списки текущего репертуара и всех артистов с тем, чтобы сделать представление в Петербург об увольнении бесполезных актеров, непроизводительно отягощающих бюджет [1].

Во второй половине августа того же года у попавшегося мне на улице продавца газет я купил заинтересовавший меня номер еще до тех пор мною не слыханной новой газеты «Жизнь», из которого, между прочим, узнал, что управляющим императорскими московскими театрами назначается А. А. Майков, а А. Н. Островский — заведующим художественною частию и школою тех же театров [2]. <...>

Около первых чисел октября, с великим трудом и страданиями, Александр Николаевич перебрался из Щелыкова в Москву, где думал отдохнуть; а тут, на его горе, приехавший из деревни раньше, к началу учеб-

ного года, нежно любимый и талантливый сын его [3], студент, захворал брюшным тифом. Такая печальная неожиданность окончательно разбила его слабые силы, но духом он не падал и неутомимо работал над предстоящим театральным делом. По мере того как здоровье сына улучшалось, и сам Александр Николаевич оживился, и около 4-го или 5-го числа ноября выехал в Петербург. Там потребовалось личное присутствие А. А. Майкова, как будущего представителя московской театральной власти. И Александр Николаевич пишет А. А. Майкову письмо за письмом. <...> Наконец, собравшись с силами, А. А. Майков, полубольной, выехал в Петербург в начале декабря. Поездка эта увенчалась желанным успехом.

Обоих будущих руководителей императорских московских театров по возвращении их из Петербурга в субботу 14 декабря на дебаркадере Николаевской железной дороги встретили семейство Александра Николаевича и вся, почти в полном составе, драматическая труппа, из которой отмечаю дам: Г. Н. Федотову, М. Н. Ермолову, Н. А. Никулину и О. О. Садовскую. Я был тут же. С тем же курьерским поездом, я помню, прибыл в Москву и наш покойный знаменитый композитор П. И. Чайковский. А. А. Майков, который после тяжкой болезни был неузнаваем, раскланявшись с знакомыми артистами, тотчас же уехал домой, а Александр Николаевич, окруженный артистами, оставался некоторое время в вокзале отдохнуть от утомления в дороге. Здесь артисты упросили его распить с ними шампанское, поздравив его с благополучным приездом и на «общую их радость» с окончательным решением дела. Свой своему поневоле друг, и после некоторого колебания Александр Николаевич сдался, поблагодарив артистов за радушный прием. Пожелание ему «доброго здоровья и сил» покрыто было дружным *ура!..*

— Ну-с, если это доставит вам удовольствие, будьте пока моим *личным секретарем.* Это до новых штатов. Там будет вам другое назначение, а какое — пока не скажу. В накладе не останетесь. Главное — жалованья побольше.

Такими словами встретил меня Александр Николаевич у себя дома, умильно и весело глядя на меня. Я сердечно поблагодарил его за лестную для меня

честь, выразив желание вечно остаться его личным секретарем. Мы расцеловались. И с тех пор, до вступления еще в театры, закипела работа у него на дому, можно сказать, с утра до поздней ночи. <...>

Как-то на святках во время наших вечерних занятий Островский получил от А. А. Майкова письмо с приложением другого письма, от бывшего управляющего театральною конторой, г. П<чельник>ова, которое А. А. Майков шутливо просил Александра Николаевича прочесть вместо «святочных забав». В письме своем г. П<чельник>ов, становившийся в недалеком будущем в подчинение А. А. Майкову, предлагал ему покровительственным тоном, если он желает, справиться, когда он может вступить в управление театрами. Конечно, предложение г. П<чельник>ова, вызвавшее усмешку, оставлено было без внимания.

— Хоть бы в святцы догадался заглянуть, как пишутся имена собственные,— сказал Александр Николаевич, подавая мне письмо, в котором «Аполлон» было написано через две буквы *п* и одну *л*. <...>

II

Наступил 1886 год.

А. Н. Островский 1 января вместе со вступившим уже в управление казенными театрами А. А. Майковым присутствовал на вечерних представлениях в Большом и Малом театрах.

На другой день, 2 января, Александр Николаевич посетил театральную школу. 4 января официально представлялись новому управлению все служащие при московских казенных театрах, а 6 числа того же месяца Александр Николаевич окончательно принял в свои руки художественную часть театров.

Я находился пока не у дел и впервые был вызван в Большой театр 9 января, к представлению оперы «Мазепа». Войдя в кабинет при директорской ложе, я застал Александра Николаевича беседующим во время антракта с полицмейстером театров К. И. Солини, которому Островский отрекомендовал меня своим *личным секретарем*, желая познакомить нас, но мы объявили ему, что мы уже знакомы. Нам приходилось встречать-

ся на сцене Малого театра, когда давалась моя небольшая пиеса. Видимо расположенный к г. Солини, Александр Николаевич по его уходе отозвался о нем с большою похвалой.

Когда мы остались вдвоем, Александр Николаевич, глубоко вздохнув, сказал мне:

— Ну, amicus *, окунулся я в омут; не знаю, как из него вылезу.

Под «омутом» подразумевалась среда, в которую вошел Александр Николаевич,— отнюдь не театры. А среду того времени (не знаю, как теперь) стоило назвать «омутом».

С тех пор мы почти неразлучно бывали на всех представлениях того или другого театра.

Наравне с управляющим театрами, Александр Николаевич имел право занимать директорские ложи. Не имея определенного помещения для занятий, пока отделывался кабинет при школе, мы занимались то в режиссерской комнате Малого театра, то, исключительно по вечерам, когда не было спектаклей, на дому у Александра Николаевича. Наш репертуарно-школьный персонал состоял только из нас двоих. Содержание всех бумаг обдумывалось и намечалось Александром Николаевичем: важные — составлял он сам, прочие — поручал мне. Переписка набело и ведение входящего и исходящего журналов лежали на моей обязанности.

Положим, что для наших занятий были открыты две директорские ложи, но нам более нравилось заниматься в Малом театре — этой излюбленной хоромине моего славного принципала-драматурга. И в самом деле, на подмостках этой хоромины, если не включительно, то за ничтожным исключением, переиграли в его пиесах все артисты драматической труппы.

Днем мы занимались в режиссерской комнате и изредка в директорской ложе, где, несмотря на устланный коврами пол, невыносимо дуло в ноги, так что мы вынуждены были сидеть в галошах. В ложах большею частию происходили интимные беседы с управляющим театрами и другими официальными лицами, потому что во время наших служебных занятий в режиссерской комнате вход в последнюю был доступен каждому арти-

---

* друг *(исп.)*.

сту, и Александр Николаевич никого не желал стеснять, пользуясь сам чужим приютом. Дежурным капельдинерам не запрещалось впускать в ложи без доклада и по вечерам во время антрактов разных театральных деятелей, как сценических, так и чиновных, которые приходили по делу.

В январе Александр Николаевич возобновил постановкой на драматической сцене свою давно не игранную, более двадцати лет снятую со сцены Большого театра, несколько измененную в действующих лицах, отчасти и в тексте, комедию «Воевода (Сон на Волге)», в новой редакции названную «Сцены из народной жизни XVII века». Ставилась она в бенефис артиста Рыбакова.

Александр Николаевич не мог забыть, как на одной из репетиций какой-то артист, прислонясь к кулисе, чуть не рыдал, слушая симпатичное исполнение О. О. Садовской в роли старухи, хватавшей за душу и по содержанию, и по меланхолическому мотиву колыбельной песни:

Баю, баю, мил внучоночек!
Ты спи, усни, крестьянский сын!..

Мотив песни подслушан Александром Николаевичем в Костромской губернии. Он с голоса сообщил его композитору В. Н. Кашперову, и тот переложил его на ноты.

Перед постановкой «Воеводы» мне было поручено вместе с капельмейстером Малого театра справиться, не найдется ли где относящихся к XVII веку нотных мотивов нищенских стихов и песни разбойников «Вниз по матушке по Волге». Розыски оказались напрасными. Итак, пришлось довольствоваться существующими мотивами.

В день первого представления автора дружно вызывали, и Александр Николаевич благодарил публику поклонами из директорской ложи. Он ожидал, что пиеса эта так же долго продержится на сцене, как некогда «Аскольдова могила» [4]. Но ведь все, что остается на земле, остается в живых руках.

Правды таить нечего: не говоря про чиновных и других им подобных лиц, находились и артисты, особливо выхоленные конторским режимом, которые недоброже-

лательно отнеслись к покойному драматургу. Всякого жита по лопате есть в театрах, и в них особенно цепко держится интрига, в сравнении с другими коллегиальными учреждениями. Благодаря конторскому режиму, навербовавшему между сценическими деятелями услужливых для себя угодников, на что русские из первых, за редким исключением, не столь отважны,— результатом всего в театре получались общее неудовольствие, вражда, придирки, кляузы, жалобы друг на друга и полное разобщение между властями и от них зависевшими и у последних между собою.

В таком «омуте» действительно не легко было разобраться впечатлительному Александру Николаевичу. Сам он был чужд всякого кумовства и беспристрастен равно ко всем артистам, лишь бы грешки не водились за ними и, что говорится, не было бы рыльце в пушку. Он одинаково ценил, защищал их интересы и должную дань признательности платил по заслугам. Он внимательно выслушивал объяснения каждого, но наушников не терпел; к советам, иногда даже полезным, относился осторожно. Вообще, во всех своих действиях Островский проявлял крайнюю осмотрительность.

III

Если не ошибаюсь, около двадцатых чисел января того же 1886 года мы водворились на новоселье. Обширный зал в здании театральной школы, выходивший четырьмя или пятью окнами в липовый сад, был обращен в кабинет для Александра Николаевича. Обстановка его была следующая: на окнах — портьеры из шелковой материи в pendant * изящным светло-серым обоям, без рисунков; легкая мебель — из двух дюжин стульев, нескольких кресел, дивана и преддиванного стола орехового, как воск, дерева; среди кабинета ближе к задней глухой стене из того же дерева рабочий стол на шкапиках, удобный по размеру, с различными на нем принадлежностями для письма. Пол же, во всю площадь затянутый по войлоку красным сукном, вызвал усмешку на лице Александра Николаевича.

* в соответствии *(франц.)*.

— Нечто инквизиторское напоминает отведенный нам кабинет,— пошутил он,— кажись, казнить не наше дело, слава богу. Не так ли, amicus?

Я выразил только свое удивление и порицание вкусу изобретателя, очевидно, шутника, из конторских чиновников.

— А вот образок повесить — во лбу не хватило,— всматриваясь в передний угол, заметил Александр Николаевич,— ну, я пришлю свой.

В общем кабинет произвел отталкивающее впечатление.

— Сядем за работу. Ваше место здесь,— показал Александр Николаевич от себя направо.

И, облаченный в вицмундир, который, кстати сказать, пристал к его осанистой фигуре, он опустился в кресло.

Прежде чем открыть свои портфели, мы составили объявление о том, что заведующий репертуарною частию и школой императорских московских театров принимает желающих его видеть по делам, касающимся школы и сцены, по вторникам и пятницам от двенадцати до трех часов пополудни, если дни эти не табельные и не праздничные. Объявление было вывешено около единственной входной двери в кабинет, с внешней стороны, где находились дежурный капельдинер для докладов и сторож для посылок.

Тут же он поручил мне написать бумагу управляющему театрами с просьбой предписать конторе не отрывать артистов от занятий по делам конторским и вообще служебным во время репетиций.

Первым посетителем заявился в кабинет покойный артист К. П. Колосов, он же и инспектор школы, с рапортом о состоянии последней. Бедный ветеран драматической труппы страдал брайтовою болезнию и тупостью зрения, так что входил в кабинет ощупью, боясь наткнуться на что-нибудь или кого-нибудь задеть.

Хотя больной артист и был словоохотлив, но Александр Николаевич его не задерживал и тотчас отпускал, а к начальнице школы он выходил сам в приемный зал; посещал классы во время уроков воспитанниц и воспитанников (экстернов); заходил в кухню, где осматривал провизию и пробовал кушанья; бывал в столовой во время обеда воспитанниц; наведывался и в лазарет,

когда находились там больные. Прописанный врачом для одной болезненной и малокровной воспитанницы Б — ной дорогой портвейн он покупал на свой счет. Начальницей Островский не был доволен, а Колосова, просившегося на покой, не отпускал, хотя тот и признавал себя «первым кандидатом на тот свет» и шутливо считал по пальцам, кого захватит с собою на Ваганьковское кладбище.

По нравственному долгу свое излюбленное детище — театральную школу — Александр Николаевич охранял и извне. От его бдительного ока не ускользнуло, что наподобие perpetuum mobile мимо стен школы по Софийке и Неглинной встречным течением разгуливали прикрытые цветными платочками женщины сомнительного поведения благодаря близкому соседству в Китайском проезде торговых бань. А ведь десятки лет до Александра Николаевича никто из прежних начальников над московскими казенными театрами не обращал ровно никакого внимания на такое шокировавшее школу обстоятельство, которому уже по смерти Островского положил конец бывший управляющий театрами А. А. Майков.

Назначенные для приема дни Александр Николаевич отсиживал с классическою аккуратностью. Исключая служащих и первых артистов, по его распоряжению входивших в кабинет без доклада, все другие лица записывались мною в нарочно заведенные для того приемные листы.

В этих листах отмечались месяц и число приемного дня, фамилии лиц, принятых Александром Николаевичем, и его резолюции. Иногда, не давая определенного ответа слишком требовательным посетителям и клиентам, Александр Николаевич по уходе их, взглянув на меня, молча выводил в воздухе указательным пальцем букву «о», что значило: пиши — «отказать».

Всякого многоглаголивого посетителя у Александра Николаевича хватало терпения выслушивать до конца. Я удивлялся его нравственной мощи и такту безо всяких колебаний в тоне и движениях одинаково спокойно и ровно говорить со всеми, даже с бесчисленными кляузниками, которых в театрах не оберешься.

От него все уходили довольные; даже и те, кому он ничего не обещал, потому что убедить умел мягко

и ясно, так что нельзя было придраться. Раз таких посетителей я насчитал до пятидесяти двух! Иные являлись просто из любопытства видеть крупную литературную знаменитость и выходили сияющие и счастливые, особливо в том случае, если Александр Николаевич подаст им руку.

Являлись и молодые танцовщицы, уволенные из балета или сбитые с высших окладов на низшие произволом конторского режима 1882—1883 годов[5]. Этих обездоленных Александр Николаевич принимал безотлагательно, и все, что от него зависело и что в состоянии он был сделать, Островский делал для них с особенным удовольствием. И как радостно сияло его лицо, если ему удавалось возвратить несчастным произвольно отнятый у них кусок насущного хлеба. <...>

Отмечу следующий факт, свидетелем которого я был сам.

Входит в кабинет одна из уволенных, цветущая здоровьем молодая танцовщица Г<орохо>ва. Сетуя на прежний режим, который в лице конторских властей, непризнанных судей хореографического искусства, изгонял танцовщиц, она изливала горькие жалобы на те притеснения, каким подвергался низший персонал балетной труппы. Жертвой таких притеснений она объявила и себя, танцевавшую в «Снегурочке» при первой постановке этой оперы и заслужившую похвалу от самого Александра Николаевича. Г<орохо>ва просила принять ее на открывшуюся в кордебалете вакансию.

— Да есть ли свободное место? — обратился ко мне Александр Николаевич.

Я отвечал утвердительно.

— Хорошо. *Мы* напишем управляющему театрами. Вы будете приняты,— отечески ласково сказал Александр Николаевич.

Г<орохо>ва мгновенно переродилась. Надо было видеть ее восторг, как, захлебываясь от радости, она лепетала:

— Нет!.. в самом деле?.. Правда, Александр Николаевич?.. буду принята?

— Верно говорю вам.

У Г<орохо>вой зарделись щеки, подернулись губы и брызнули из глаз благодарные слезы. Бросившись к Александру Николаевичу, она поцеловала его.

— Спасибо! Благодарю вас, добренький Александр Николаевич!..

Трогательная сцена эта до сих пор жива в моей памяти. Был случай, что в припадке горячей благодарности поцеловала у Александра Николаевича руку одна артистка из драматической труппы.

Вскоре на счастье Г<орохо>вой, принятой на оклад 300 рублей, открылась вакансия на 500 рублей, освободившаяся после г-жи Н — ной, получившей для сравнения с сверстницами свой прежний оклад в 800 рублей, с которого была сбита произволом конторского режима. А на место Г<орохо>вой была определена одна из изгнанных тем же режимом.

IV

В деле преобразования художественной части одним из важных проектов нужно признать задуманное Александром Николаевичем учреждение при императорских театрах *репертуарного совета* и *оперного комитета* при нем. Цель их — избрание и составление списка пиес и опер для текущего репертуара, рассмотрение и оценка драматических и оперных произведений, представляемых авторами, композиторами и переводчиками для исполнения их на императорских сценах [6]. <...>

К сожалению, осуществиться этому проекту не было суждено. Репертуар по-прежнему остался в путах режиссерско-чиновничьего режима. Об оперном комитете и помину нет.

Александру Николаевичу очень не нравилось, когда во время служебных занятий входили посторонние, непричастные к театрам, хотя бы и близкие нам лица. Он убедительно просил меня ни его, ни моим семейным, словом, никому не сообщать о том, что делается и говорится у нас в кабинете и в театрах.

— Мне очень не нравятся эти в служебное время посещения,— подкрепил он вторично свое неудовольствие.

Когда случалось нам засиживаться в школе, Островский приглашал меня «без отговорок» к себе обедать, и мы, садясь в наемную карету, отправлялись к храму

Спасителя на Волхонку, где он жил в доме князя Голицына.

За хорошим обедом, подкрепившись двумя рюмками водки и столовым кавказским вином, которое у него не переводилось, хотя выписывалось с места, он удалялся в свой кабинет и, обычным порядком опустившись в дубовое кресло за рабочим столом, выкуривал две-три толстейшие крученки собственноручного приготовления; а если клонило его ко сну, то уходил «на полчасика» отдохнуть.

После отдыха напившись чаю, к началу спектакля Островский уже присутствовал в одном из театров. Когда же после обеда он не ложился отдыхать, то мы разбирались в наших бумагах или прочитывали неизвестных нам лиц письма и ябеды, преимущественно направленные против режиссерского и ему подобного начальства, которые тут же рвались и предавались сожжению.

Между ябедами попадались и безыменные рекламы вроде, например, такой:

«Приеезая Публика всепокорнейше просит поставить в б. Театра, на этой недели, Фауста, до взоскресенья, с участием Г-жи Климентовой и Г-на Усатова чем много обяжут публику так как приходится бывать в Москве очень редко для слышания знаменитости — Публика».

Из этой хитро сплетенной интриги и подделки под еврейский акцент заметно, что писал русский, или же русская (почерк походит на женский), во всяком случае, завистливый враг г-жи Климентовой и г. Усатова, писавший с намерением подорвать доверие расположившегося к ним за полезную службу сцене нового театрального начальства, за якобы рекламирование самих себя. На этом письме Александр Николаевич положил резолюцию: «Оставить без внимания: *А. Островский*».

В ущерб своему здоровью при энергическом содействии А. А. Майкова Александр Николаевич неуклонно преследовал желанную цель поставить вверенные им обоим императорские московские театры на принадлежащую им по праву степень порядка и славы. Предавшись благородной мысли оправдать возложенное свыше на них доверие, он не пропускал ни малейшего слу-

чая или явления в жизни театров, чтобы не принять в них самого горячего участия даже и тогда, когда явления не входили в круг его прямых обязанностей. Так, например, однажды в присутствии Александра Николаевича возник разговор о каких-то деньгах, не выданных прежним управлением будто бы портным за их неурочные работы по ночам. Александр Николаевич призвал портных и портних для личных объяснений и, когда те изложили ему подробно суть дела, приказал им составить бумагу и препроводил ее к А. А. Майкову.

Случилось и еще одно любопытное явление. Для бенефиса М. Н. Ермоловой ставилась «Мария Стюарт», трагедия Шиллера. «Благонадежный» подрядчик, представленный Александру Николаевичу начальником бутафорского склада г. Т — м, за постройку кресла для трона королевы Елисаветы объявил цену 150 рублей! Александр Николаевич отклонил «благонадежного» подрядчика и по уходе его сказал:

— Мой подрядчик сделает это за пятнадцать рублей.

Все, кто присутствовал при этом, согласились с ним.

Мне пришлось присутствовать и при довольно патетической сцене отрешения временно заведовавшего репертуаром чиновника особых поручений П<огож>ева управляющим театрами от должности,— сцене, происходившей в директорской ложе Малого театра.

Откровенно сказать, П<огож>ев не мог пользоваться расположением Александра Николаевича, и сам был виноват. Будучи хозяином сцены, он чуть ли не снял с репертуара все его пиесы. Безусловно, вся печать протестовала и осуждала за это заправил драматической сцены, в частности, и конторского управления — в общем, потому что «где рука, там и голова». <...>

Я был лично знаком с П<огож>евым и жалел его. Вся беда его была в том, что «особые поручения» его состояли в заведовании репертуаром, которым вертели и портили его, конечно, больше другие, нежели он сам; а ведь «два медведя в одной берлоге не живут», как справедливо заметил мне Александр Николаевич, удовлетворяя мое любопытство знать о причине увольнения П. В. П<огож>ева. Я уверен, что он за чужие грехи был «козлищем отпущения». <...>

V

Слушая как-то оперу «Вражья сила», я спросил Александра Николаевича:

— Кажется, сюжет взят из вашей пиесы «Не так живи, как хочется»?

— Да,— ответил он,— три акта я сам написал, а остальные два Калашников, когда мы разошлись с Александром Николаевичем,— и добавил: — Серова тоже звали Александром Николаевичем.

Жалею, что я не догадался узнать подробностей об их размолвке[7].

К справедливым протестам зрителей Александр Николаевич относился чутко. Так, на что до него не обращалось внимания, он поручил мне анонсировать на афишах следующее:

«Для удобства публики дирекция императорских московских театров покорнейше просит всех дам, занимающих места в креслах и амфитеатрах, снимать шляпы при входе в зрительный зал».

Сердце Александра Николаевича наиболее тяготело к драматической труппе, и понятно почему. Расширение этой труппы и обеспечение служебного и материального положения ее артистов и артисток было заветною его мечтой, чего, к его прискорбию, в пору его заведования репертуаром не допускал слишком скромный бюджет, об увеличении которого он намеревался настоятельно хлопотать до наступления нового сезона. Конечно, талант, усердие и личные заслуги должны были занимать при этом немаловажное значение.

Как для лиц, состоящих на государственной службе, так и для артистов Островский желал установить maximum и minimum вознаграждения равномерным распределением окладов по роду исполняемых ими ролей. Чтобы не ломать намеченного репертуара и не портить сборы при каких-либо непредвиденных обстоятельствах, как, например, внезапная болезнь первых и вторых персонажей, вообще для ответственных ролей он предполагал подготовить заместителей, то есть дублеров, которые с равным успехом могли бы заменять их и сделаться со временем такими же любимцами публики. <...>

Болезнь всякого, тем более полезного, артиста со-



М. Г. Савина в роли Василисы («Василиса Мелентьева»).
Фотография. 1891.

крушала Александра Николаевича; талантливых же — в особенности. К последним, несомненно, принадлежал общий любимец и сослуживцев труппы и публики драматический артист М. А. Решимов, материально очутившийся в беспомощном состоянии вследствие долговременной и неизлечимой болезни — чахотки. Он лечился на юге России и с окончанием отпуска собирался ехать в Москву. В начале января Александр Николаевич получил известие, что Решимов, доехав до Севастополя, почувствовал себя очень нехорошо, и доктора принудили его возвратиться обратно в Ялту. Всем сердцем соболезнуя талантливому артисту, Александр Николаевич через режиссера уведомил Решимова, что отпуск его будет продлен до 20 апреля с производством полного содержания, и радел для него в пределах возможного.

Закрыв прежние драматические классы, Александр Николаевич проектировал открыть новые, по своей программе, <...> осенью 1886 года с наступлением сезона[8]. Поэтому он поручил мне отобрать подписки от всех преподавателей бывших классов об отказе их получать жалованье с 1 января 1886 года. Двое из них долго упорствовали: один школьный учитель, другой — актер. Прочие же отказались добровольно.

Однако молва об учреждении драматических классов под руководством самого Александра Николаевича живо облетела всю Москву. И вот о принятии в «классы» потекли к нему со всех сторон Москвы ходатаи разных возрастов: отцы за сыновей, матери за дочерей, мужья за молодых жен, наконец и сами молодые претенденты обоего пола. В числе ходатаев, между прочим, в приемном листе записан был и покойный директор 1-го Московского кадетского корпуса генерал-майор А. Н. Хамин, ходатайствовавший о принятии в классы своей дочери. Также являлись претендентки на занятие мест классных дам и преподавательниц. <...>

Однажды, сидя в кабинете, я недоумевал, почему всегда такой аккуратный Александр Николаевич долго не кажет глаз. Меня не на шутку это беспокоило, и я несколько раз, отрываясь от работы, выходил на лестницу, находившуюся внутри здания и потому теплую, посмотреть, не идет ли Александр Николаевич.

Я знал, что подниматься на высокую, особливо крутую лестницу для него, страдавшего с давних пор уду-

шьем, было мукой и могло бы кончиться смертью на месте. Но в кабинет, находившийся хотя и во втором этаже, по отлогой с низенькими ступеньками лестнице он подымался почти без отдыха, чем утешался сам и даже других убеждал, что здоровье его будто улучшилось, как поступил он на службу.

Наконец Островский вошел в кабинет, бледный и видимо расстроенный. Поздоровавшись со мной и не выпуская мою руку из своей, протяжно и точно сквозь зубы, задыхаясь, проговорил:

— Насилу влез на лестницу!

Это было 27 января, в день внезапной кончины И. С. Аксакова от паралича сердца.

Аксаков с осени поселился жить во флигеле, принадлежавшем тому же домовладельцу, князю Голицыну, в главном здании которого занимал квартиру Александр Николаевич. Управляющий домами, немец, прибежав впопыхах к Александру Николаевичу, когда уже тот совсем собрался ехать в школу, почему-то счел нужным сообщить ему о кончине Аксакова, умершего в кресле за своим рабочим столом. С Аксаковым он, как сам сказал мне, был знаком «шапочно» и собирался быть на его панихиде, тем не менее такая неожиданность на впечатлительного и нервного Александра Николаевича подействовала удручающим образом. Может быть, от домашних он и скрыл свое возбуждение, но меня встревоженный вид его крайне озадачил.

— Такой столп свалился! — задумчиво произнес Островский и, вздохнув, пророчески заключил: — И мой конец недалек.

VI

По выражению самого Островского, оба, то есть он и А. А. Майков, были призваны в московские театры «не бездельничать, а работать, и будут работать, насколько хватит их сил, и оберегать от расточительности театральную казну». Кроме того, по словам Островского, «А. А. Майков тем особенно дорог для театров, что он — бережливый и расчетливый хозяин, а как безусловно честный и весьма состоятельный человек — неподку-

пим. Поэтому заранее можно предвидеть не в отдаленном будущем большие сбережения для императорской казны».

Непроизводительная затрата денег, в самом деле, ощутительно сказывалась во многих случаях. Так, обратив внимание на оркестр, Александр Николаевич нашел возможным сократить в нем расход на первый случай до 6800 рублей; но с уменьшением расхода оркестровый персонал остался неприкосновенным в своем составе.

Падение славного некогда балета, отражавшееся на его ничтожных сборах, очень смущало Александра Николаевича. А между тем по бюджету на 1886 год на балет было ассигновано 100 000 руб. и на бенефисы балетным артистам 6702 руб.,— в сложности цифра почтенная, о покрытии которой и гадать было нечего при вечно более чем наполовину пустом зрительном зале Большого театра во время балетных представлений. И при таких-то жалких сборах главный режиссер его и балетмейстер (не говоря о другом режиссере, получавшем 2000 руб. в год), г. Богданов, хотя при этом он был и преподавателем танцев в школе, награждался 9000-ным годовым окладом, со мздою за якобы благоприятное содействие успехам балета из полубенефиса при негласно обязательных при этом, но официально запрещенных, подношениях от бедствующей труппы за кулисами...

Я думаю, что не ошибся, суммируя оклад г. Богданова, потому что черпаю его цифру из хранящейся у меня памятной записочки Александра Николаевича, в которой сказано: «Бенефис Богданову, получающему 9000 руб. жалованья.— Следует ли давать режиссерам?»

И, вообще, Александр Николаевич имел в виду заняться рассмотрением «дела о наградных бенефисах». Кажется, он предполагал давать их исключительно юбилярам из артистов по истечении известного срока службы и один общий — артистам драматической труппы, получавшим наименьшее содержание, на том же основании, как это искони ведется для кордебалета. Что же касается главных режиссеров, то, судя по его памятке, надо было ожидать, что результат вышел бы неудовлетворительный в смысле поощрения их наградными бенефисами.

Итак, как я сказал выше, падение балета сокрушало Александра Николаевича; он изыскивал средства и способы восстановить его в прежнем блеске и шумной славе, чему, для почина, должны были служить *феерии*, или волшебные пиесы, при участии — кроме, главным образом, балетных — и драматических и оперных артистов и артисток.

В английских феериях Александр Николаевич нашел одну, которая ему понравилась, под названием «Аленький цветочек», перевел ее сам в сотрудничестве покойного В. Ф. Ватсона, по сцене Дубровина, принятого им в драматическую труппу артистом, природного англичанина, прекрасно владевшего русским языком. Переложение в стихотворную форму этой феерии и много другой наготовленной им работы Островский поручил известной ему переводчице А. Д. Мысовской, проживавшей в Нижнем Новгороде. По его же предложению г-жа Мысовская перевела с французского в стихах одноактную комедию «Сократ и его жена» («Socrate et sa femme»), поставленную уже после его кончины [9], в следующем сезоне в бенефис Н. А. Никулиной.

Можно судить из следующего эпизода, как обставлено было балетное дело до Александра Николаевича. Однажды он пожелал поставить балет «Конек-горбунок», балет, никогда не сходивший прежде с репертуара и всегда привлекавший многочисленных зрителей, и — увы! — потерпел поражение. Никто не поверит, если мы скажем, что не нашлось для него балерины. Из исполнявших до того времени наличных танцовщиц роль Царь-девицы Манохина и Станиславская отказались играть по болезни или, может быть, по другой причине, внушенной им, вероятно, от непосредственного их (режиссерского) начальства, а г-жи Михайлова, Горохова и Калмыкова с реформы 1882—1883 годов не выступали в главных ролях и считали рискованным явиться в такой ответственной роли.

На генеральной репетиции балета «Светлана, княжна славянская», сочинения балетмейстера Богданова, Александр Николаевич осведомился у меня, как мне нравится балет. Я ответил, что — может, я и профан по части хореографии,— балет непривлекателен, потому что, по моему мнению, неуловим его сюжет и танцы вялы, а от декораций я в восхищении.

— А знаете, кто писал декорации? Карлуша!

Я думаю, что К. Ф. Вальц не обидится на меня за то, что я так откровенно передаю интимную со мною беседу Александра Николаевича, слова которого звучали сердечной теплотой.

Согласившись со мной насчет балета, Александр Николаевич, усмехнувшись, сказал, что в сороковых годах в балаганах под Новинским [10] он видел такие же представления с тою только разницей, что тогда, как увлекающемуся молодому человеку, ему все нравилось: и танцы, и танцовщицы, и, пожалуй, декорации, на которые не обращал внимания.

К режиссерскому управлению балетной труппы Александр Николаевич, очевидно, не благоволил, что дало повод его недоброжелателям распространять сенсационные слухи, что будто Островский хочет уничтожить балет. Он же, напротив, пригласил к себе для личных объяснений бывших, давно ему известных «изгоев» реформы 1882—1883 годов: режиссера А. Ф. Смирнова, прослужившего два с лишком полные срока на императорской сцене, и балетмейстера С. П. Соколова, тоже пенсионера,— и решил обоих призвать на сцену к началу нового сезона.

Артисту балетной труппы В. Ф. Гельцеру он также намеревался дать высшее назначение в труппе и пристроить преподавателем танцев при балетном отделении в школе.

За лицами режиссерского управления Александром Николаевичем в числе многих был подмечен еще один непростительный грешок, именно — заискивать у нового начальства в ущерб репутации прежнего, хотя последнее им благоприятствовало. Грешок этот водился и за большинством артистов всех трупп, с лисьим кокетством ухаживавших за новым начальством, должно быть, по пословице: «Куда ветер веет, туда и ветку клонит». В этом случае необходимо сделать исключение для некоторых артистов и артисток, преимущественно драматической труппы, чуждых интриги и вполне корректно и с достоинством державшихся на своем посту. Они, как и теперь, были светочами на сцене и того времени. Эти лица пользовались взаимным уважением и признательным расположением Александра Николаевича до его гробовой доски.

В начале февраля Александр Николаевич особой бумагой на имя управляющего театрами изложил свои соображения о преобразовании режиссерского управления Малого театра [11], которые просил представить на утверждение министра императорского двора. <...>

Кстати сказать, он замышлял и о переустройстве Малого театра в смысле его расширения и даже об устройстве нового драматического театра vis-à-vis с Большим, причем ему хотелось удешевить цены местам до возможного minimum'а, чтобы сделать его доступным для беднейшего класса населения Москвы.

VII

С наступлением великого поста (24 февраля 1886 года) Александр Николаевич вздохнул вольнее. Театры были закрыты и, следовательно, посещения спектаклей, особенно утомительные во время масленичной сутолоки, прекратились. Он ездил только два раза в неделю по приемным дням в школу и присутствовал однажды, 5 марта, в Большом театре, на сцене которого подвергались испытаниям желавшие поступить в оперу певцы и певицы, и раз шесть в том же месяце — на пробных спектаклях для лиц, желавших поступить на драматическую сцену.

Судьями для последних были приглашены изъявившие согласие вступить в члены репертуарного совета Н. С. Тихонравов, Н. И. Стороженко, С. В. Флеров, Н. А. Чаев и С. А. Юрьев.

Александр Николаевич, сидя в директорской ложе, напряженно наблюдал за игрою экзаменовавшихся и против имен исполнителей и исполнительниц на рукописных афишах (гектографических) делал собственноручно пометки, как например:

«Мил», «плох до крайности», «неважная», «недурен», «хороша», «хорош — полезность», «недурен, переигрывает», «недурна, читка нехороша», «недурен, Самарину понадобился оклад» (против имени отставного выходного артиста Кузнецова), «плох, кричит, жесты ужасные», «невозможна» и т. п.

Одна артистка из любительниц, увлекшись своею драматическою ролью, влепила игравшей с нею другой

(которую по пиесе надо ударить) такую зазвонистую пощечину, что удар раскатился по зрительному залу. Александр Николаевич даже всколыхнулся и, обратясь ко мне, проворчал:

— Как сумасшедшая!.. Должно быть, ее горничная играет с нею, которой *заплатила!*

Вообще в спектакль 26-го марта он остался недоволен почти всеми исполнителями.

Затем самим Александром Николаевичем был составлен протокол, подписанный Н. С. Тихонравовым, С. В. Флеровым и Н. И. Стороженко. <...>

Об артистах «уже служащих» в театре и участвовавших в испытаниях, в сохранившейся у меня памятке Александра Николаевича сказано, между прочим:

«Некоторым из них стыдно положить то ничтожное жалованье, которое они получают. К первым принадлежат: 1) Вронченко — артист, который с честью может занять место между лучшими исполнителями нашей драматической труппы. Чтение его толковое, осмысленное и выразительное; гриммировка прекрасная, жесты для данного положения и лица не оставляют желать ничего лучшего. 2) Геннерт, игравший по назначению разнообразные роли, заявил способность быть хорошим дублером, особенно на купеческие роли и на водевильные комические роли, и 3) Панов показал, что может удовлетворительно исполнять небольшие характерные роли...»

Были и нелестные отзывы о некоторых лицедеях, подвизавшихся на пробных спектаклях, но, из скромности, я умалчиваю о незавидной их оценке.

Отмечу куриозный факт. На пробных спектаклях, при удачном исполнении игравших, среди поощрявших их знаков одобрения, в зрительном зале слышалось и едкое глумление, очевидно, относившееся к сцене: «Затрут!», «Не дадут ходу!»

Вероятно, так и случилось... По крайней мере, я слышал, что лица, более или менее заслужившие похвалу или одобрение от Александра Николаевича, только при нем могли иметь место и развивать свой талант на драматической сцене, а после него те, которые были приняты им или же по смерти его А. А. Майковым, были «затерты» или же вовсе удалены со сцены.

Ничего нет мудреного. При переходе репертуара в руки опять, на сей раз только главного, чиновника конторы, то есть управляющего ею, пиесы Островского лишь изредка стали появляться на сцене, а может, и совсем забыли бы их, если бы не взволновалась печать [12]. <...>

VIII

Из лиц, выступивших в пробных спектаклях на драматической сцене и не включенных в протокол, надо отметить г. Коралли, который, по словам Александра Николаевича, играл «очень недурно», но «копировал» г. Музиля, бесспорно талантливого артиста. Вращаясь с детства в его обществе, способный и переимчивый мальчик, будучи еще гимназистом, постепенно превращался в лицедея и в конце концов начал играть сперва на московских любительских сценах, а потом уже, поощряемый похвалами зрителей и печати, перешел на провинциальную сцену.

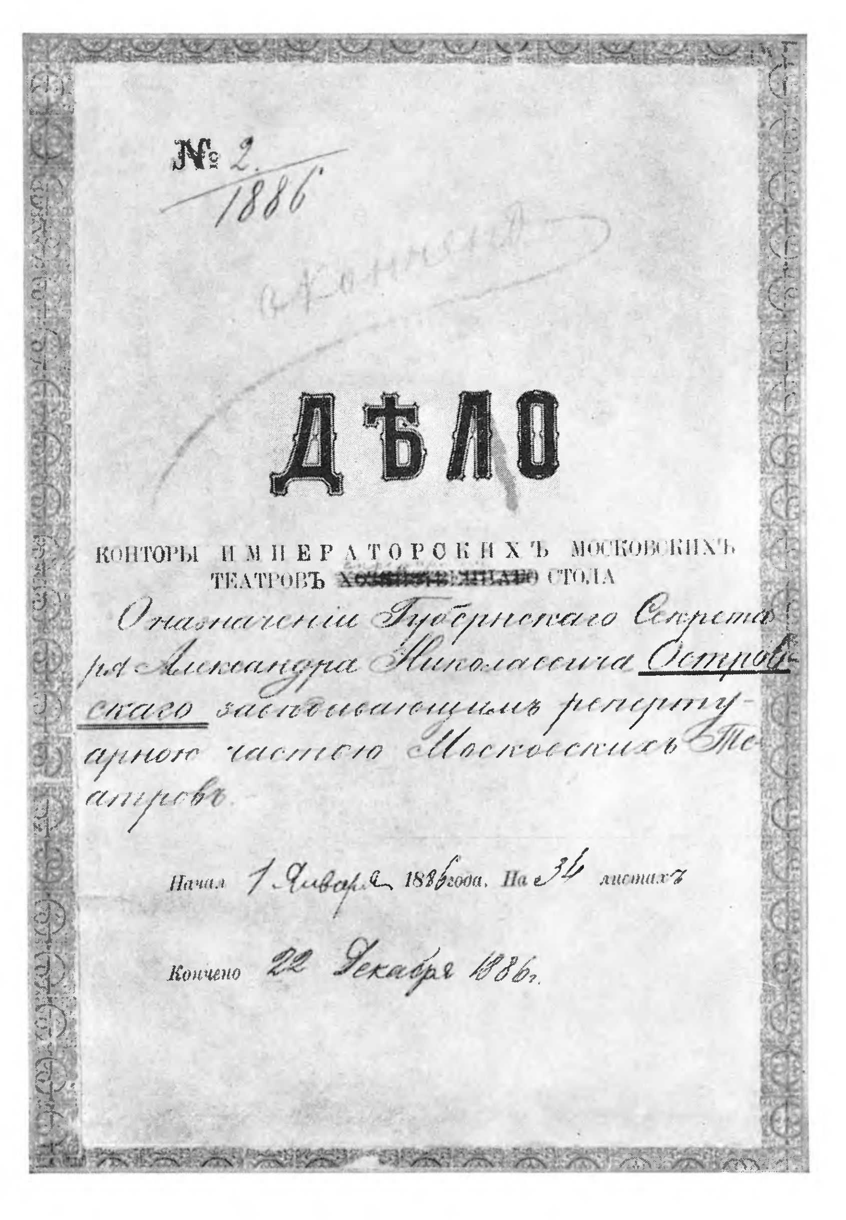
Вместе с полезными советами сделав некоторые замечания по поводу его игры, Александр Николаевич обещал принять его в драматическую труппу, если дозволит бюджет.

Являлись без приглашения и другие лица, о которых в протоколе умалчивалось, со всевозможными притязаниями, претензиями и желаниями выслушать от Александра Николаевича хоть какой-нибудь комплимент по поводу их пробной игры. Одна из артисток похвалилась даже отзывом об ее игре какого-то «знаменитого» и «опытного» провинциального актера.

— Провинциальная опытность артиста есть развязность дурного тона,— сухо возразил ей Александр Николаевич.

Наконец, я вижу, подобного рода посетители совершенно затормошили Александра Николаевича. Он едва дух переводил по уходе их. Я запретил дежурным капельдинерам без предварительного доклада *мне* впускать в кабинет лиц, не принадлежащих к служебному персоналу,— и наткнулся на следующий случай.

Входит капельдинер и докладывает мне (конечно, на ухо), что артист К<удрявцев> желает *непременно* видеть Александра Николаевича. А тот пометил о нем



№ 2.
1886

ДѢЛО

КОНТОРЫ ИМПЕРАТОРСКИХЪ МОСКОВСКИХЪ ТЕАТРОВЪ [illegible] СТОЛА

О назначении Губернскаго Секретаря Александра Николаевича Островскаго заведывающимъ репертуарною частью Московскихъ Театровъ.

Начат 1 Января 1886 года. На 34 листахъ

Кончено 22 Декабря 1886 г.

Дело о назначении А. Н. Островского заведующим репертуарной частью московских театров. *1886.*

в афише так: «плох, кричит, жесты ужасные». Чего же было ожидать от встречи с таким артистом?

Я вышел к нему и объявил решительно, что видеться ему с Александром Николаевичем нельзя ни «сегодня», и ни в какое другое время, и предложил ему справиться в протоколе о своей игре. А в протокол он не был внесен, потому что не заслуживал никакого внимания. Он, наверно, был с ним знаком и сначала стал меня упрашивать, потом пофыркивать и наконец грозить, что пожалуется на меня Александру Николаевичу. Я остался непоколебим.

Спустя месяц я зашел к Александру Николаевичу в праздник и застал его пишущим письмо.

— На вас жалоба. Я за вас отписываюсь,— такими словами встретил меня Александр Николаевич и посмотрел на меня не то сериозно, не то вопросительно.

Я опешил от такого приема и чувствовал, как кровь хлынула мне в голову. Я ничего не мог сказать.

— Не смущайтесь,— успокоил он меня, подав руку и крепко пожав мою.— Я оправдываю ваш поступок и от всего сердца благодарю вас. На вас жалуется К<удрявцев>. Конечно, лично он наговорил бы мне пустяков втрое, чем нагородил в своем письме.

Этим инцидент с К<удрявцевым> и закончился. <...>

Со вновь ангажированными в оперную труппу Александр Николаевич не рисковал заключать контракты более как на год.

Любопытный и вместе до крайности возмутительный инцидент произошел у него с одною контральтовою претенденткой. Голос ее, неодобренный и публикой, не понравился Александру Николаевичу, почему он не решился ангажировать ее. Тогда претендентка постращала его тем, что будто по его *обещанию* принять ее на сцену она продала все свое имущество, вследствие чего разорилась, и за то угрожала ему «отдать его под суд» (буквальное выражение претендентки).

Азартную выходку ее Александр Николаевич обратил в шутку с ее стороны и, посмеиваясь, осязательно доказал ей всю нелепость ее претензии. Сконфуженная претендентка смирилась и очень извинялась перед Александром Николаевичем.

IX

31 марта 1886 года, в понедельник на вербной неделе, *последний раз* в жизни Александра Николаевича на завтраке у него мы с В. А. Макшеевым чествовали день его рождения.

На той же неделе на самый короткий срок Александр Николаевич ездил в Петербург благодарить министра императорского двора, графа И. И. Воронцова-Дашкова, за свое определение в должность [13]. <...>

Назначение Александра Николаевича на ответственный пост заведующего художественною частию и школой московских казенных театров было дружно и радостно приветствовано и печатью, и московским обществом, и вообще всеми ценителями сценического искусства, кто хотя бы мало-мальски был знаком с именем Островского. <...>

Ненадолго, однако же, избранник «освежил спертый казарменный воздух своим литературным присутствием в театрах, новым веянием пахнувшим на них». Остроумное выражение это принадлежит чуть ли не С. В. Флерову, когда впервые он встретился с Александром Николаевичем в драматическом театре.

Два раза в неделю, по приемным дням, забрасываемый множеством прошений и разных заявлений, Александр Николаевич делать резолюции на них по смыслу их содержания поручал мне. Все бумаги, как выходившие из-под моего пера, так прошения и заявления со сделанными мною резолюциями, отсылались к нему на дом, где, детально им рассмотренные, подписывались, причем иногда не обходилось без письменных замечаний по моему адресу, вроде такого, например:

«Прошения К<олпако>вой и С<инельнико>вой я сегодня покажу А. А. Майкову. Б—ой контракта переписывать не надо. П<авло>вой вы написали резолюцию: «представить для выдачи отпуска», а она просится на все лето; уж я сам приписал: «на два месяца».

Составив заблаговременно к предстоявшему празднику пасхи по театрам и школе списки лиц, заслуживавших высочайших и прочих наград — причем не были забыты низшие чины и прислуга — и прекратив свои

занятия в школе, Александр Николаевич на страстной неделе говел в домовой церкви при доме князя Голицына, то есть в месте своего жительства. Досуг же свой дома он посвящал, главным образом, театральным и школьным делам, а также просматривал журналы и другие произведения печати, которых не успевал проследить в служебное время.

Но, несмотря на сутолочные в домашнем хозяйстве предпраздничные дни, Островский принимал и посетителей. Так, я встретился у него с Ф. А. Бурдиным, познакомился с И. Ф. Горбуновым, М. И. Писаревым и со старым товарищем его по Московскому университету, магистром химии М. Ф. Шишко. Бурдина и Шишко он намеревался пристроить на должности: первого — при театральной школе по ее преобразовании, а второго — заведующим освещением при императорских сценах.

Когда мы остались вдвоем, он подал мне ежемесячный журнал «Дневник русского актера», № 1, 1886, март,— и при этом сказал:

— Вы что ж от меня скрывали, что написали большую и хорошую пиесу?

— Какую? — изумился я.

— Как какую? Вот чудак-то! Не знает, какую он пиесу написал?.. Откройте-ка страницу двадцать пятую, тогда узнаете...

Я нашел в «Дневнике», действительно, лестный отзыв об одной моей пиесе, игранной в Пензе и имевшей успех.

— Да эта пиеса,— возразил я,— побывала в ваших руках. Вы же сами ее одобрили и хотели ею заняться. Вам не понравился *действующим лицом* в ней *француз*, и я взял ее обратно. Француза обработал для пиесы Д. П. Ефремов, родной брат покойного профессора А. П. Ефремова, и я в благодарность за его труд приписал его имя к своему. Вы же тогда мне справедливо заметили, что «для роли француза между нашими артистами едва ли найдутся хорошие исполнители. Пиеса не пойдет» [14].

— Ну, так отдайте ее Черневскому: пусть прочтет и даст мне свой отзыв о ней.

И мы распрощались до пасхи.

X

Настала пасха, которая пришлась в 1886 году на 13-е апреля.

На этой светлой неделе чуть-чуть было не свершился один прискорбный факт: 18 апреля, в пятницу на пасхе, в собрании Общества драматических писателей, некие *злые враги* Островского хотели его *забаллотировать* при выборе в председатели. Но по произведенной закрытой баллотировке только один из оных со своим *темным* голосом остался «за флагом»; остальные же, пробужденные совестью, себе и ему изменили [15].

В том же собрании резко шумел один крикливый драматический автор из проказников-адвокатов [16], гнев на которого за его крупный проступок против Общества, заслуживавший строгой кары, великодушный Александр Николаевич переложил когда-то на милость, снисходя к его горько-слезным просьбам. Здесь же этот адвокат-драматург, забыв прошлое, дерзко издевался над чиновничьим составом комитета Общества и его председателем, иронически называя их «губернскими секретарями, статскими и действительными статскими советниками», а сам всюду сновал, да рисуется и теперь со своим адвокатским значком, соответствующим, по высокой для него мере, чину «коллежского секретаря»...

Затем 21 апреля, в понедельник на фоминой, чествовалось пятидесятилетие «Ревизора», комедии Н. В. Гоголя. <...>

Сама комедия была исполнена превосходно. Иначе и быть не могло. В ней участвовали все более или менее лучшие силы драматической труппы, даже в самых незначительных ролях. Не участвовала только одна М. Н. Ермолова; зато занимала место в апофеозе. На этом спектакле присутствовали многие писатели. Театр был переполнен.

Мы вдвоем с Александром Николаевичем сидели в директорской ложе. Во время исполнения «Славы» перед бюстом Гоголя драматическими артистами и хором русской оперы к Островскому подошел откуда-то взявшийся чиновник особых поручений О<всяннико>в и, желая польстить ему, прошептал:

— И вас, Александр Николаевич, будут так же чествовать. Как это будет вам приятно!

— Покойнику-то? Какое удовольствие! — возразил Островский и отвернулся.

О<всяннико>в видимо сконфузился. Я поспешил его оправить, сказав ему:

— Юбилей Александра Николаевича не за горами. Вы, очевидно, этого не знали. Авось доживем до пятидесятилетия первой пиесы *.

— Это другой разговор. Дожить бы только,— заключил Александр Николаевич.

О<всяннико>в тут же ретировался.

Но — увы! — из трех собеседников только что приведенного эпизода лишь один я остался живым свидетелем того, что наша драматическая сцена безучастно отнеслась к достойной памяти великого драматурга, подарившего ей столько ценных вкладов своего могучего таланта! Не артистов, преданных друзей незабвенного писателя, надо винить в этом, а, конечно, чиновника, стоявшего во главе репертуара, с угодливым режиссерским управлением. Все зависело от их общей спевки и от предупредительного желания последнего услужить первому, хотя бы вразрез с художественным убеждением...

Чтобы чествовать память Островского, необходимо как сцену, так и зрительный зал обставить возможною торжественностию, а в фойе Малого театра даже и бюста его не имелось, тогда как в фойе Александринского театра, в Петербурге, бюст был поставлен по миновании полугода со дня кончины Александра Николаевича.

Ярко же осветил «театрально-чиновничий режим» свое мутное неблаговоление к художественному светилу и великому таланту, столь непосредственно и близко связанному с московскою драматическою сценой!

XI

Когда целыми днями Островский со мною занимался на сцене при газовом освещении, то при выходе из театра на белый свет мы ощущали, будто глаза наши под веками наполнены песком. Странно, что ощущение

---

* Первая появившаяся в свет пиеса А. Н. Островского «Свои люди — сочтемся!» была напечатана в 1850 году, в шестой книжке «Москвитянина», дозволенной цензурою 14 марта, а вышедшей — 16 марта того же года. (Сообщил Д. Д. Языков, автор «Обзора жизни и трудов покойных русских писателей».) [17] *(Прим. Н. А. Кропачева.)*

это совпало у нас обоих, несмотря на разницу наших возрастов: Александр Николаевич был старше меня почти на девятнадцать лет. Впрочем, при переходе в кабинет у меня оно вскоре прошло. У Островского же оно продолжалось, так что ему посоветовали обратиться к лейб-окулисту Юнге, бывшему тогда директором Петровской земледельческой академии.

И вот в сопровождении своего хорошего знакомого, доктора С. В. Доброва, бывшего тогда помощником инспектора студентов Московского университета, он отправился в Петровское-Разумовское к г. Юнге. Это было вскоре после пасхи. Г-н Юнге не нашел ничего сериозного и прописал впускать в глаза какие-то «капельки».

На обратном пути из академии проездом через Петровский парк они заехали к Натрускину. Покойный ресторатор встретил Александра Николаевича чуть не с распростертыми объятиями и, зная его слабость к рыбному, предложил на завтрак «парной икорки».

Однако, как сообщал мне С. В. Добров, Александр Николаевич был задумчив, бледен и мало говорил. Отведав с четверть чайной ложки икры, он сказал: «не свежа», и не стал есть. Тогда Натрускин приказал подать свежей лососины жареной. Александр Николаевич и ту не одобрил и со своим спутником уехал домой.

Мрачное настроение его духа я приписываю тому, что с конца апреля он до самозабвения работал над преобразованием Театрального училища; потом пришлось ему, по его собственным словам, «страдать на экзаменах всякой мелочи обоего пола». В театры он являлся изредка, но мне вменил в обязанность присутствовать на спектаклях ежедневно, и я, переходя с одной сцены на другую, в котором-нибудь из театров высиживал до конца представления. Так было до 1 мая 1886 года. После же 1 мая я отбывал свой долг в одном Малом театре, до его закрытия.

В кабинете, исключая приемные дни (вторник и пятницу), я занимался или один, или же при содействии приглашенного мною с согласия Александра Николаевича, артиста Д. И. Мухина, занимавшегося писанием возобновляемых или вновь заключаемых контрактов с артистами.

Накануне последнего экзамена дежурный капельди-

нер доложил мне, что меня желают видеть воспитанницы. Я вышел к ним.

Оказалось, что в школу заходил чиновник особых поручений О<всяннико>в и объявил воспитанницам, разумеется, через классную даму, что, по распоряжению Александра Николаевича, экзамен из французского языка и музыки с 14 числа мая откладывается на 16-е.

«Последний экзамен!» О, какую тревогу подняли воспитанницы! Они шумно протестовали против такого распоряжения. Еще бы! Оно лишало их двух дней свободы.

От них я узнал, что О<всяннико>в объяснил им причину такого распоряжения тем, будто по случаю высочайшего смотра войскам на Театральной площади экзаменаторы не будут иметь возможности попасть в школу.

Присоединясь к справедливому протесту воспитанниц, я обратился к Александру Николаевичу с запиской, прося его от имени воспитанниц, если экзаменаторы прибудут в школу, не откладывать экзамена, тем более что на 16 мая назначены уже экзамены из закона божия и арифметики у экстернов. На моей записке Александр Николаевич написал:

«Экзамена не откладывать. *А. Островский*».

Резолюция эта привела воспитанниц в неописуемый восторг. За простое, ласковое, отеческое обращение с воспитанницами Александр Николаевич слыл у них не иначе, как «добрым».

Хотя с порядочным опозданием, на последний, 14 мая, экзамен из музыки Александр Николаевич прибыл сам. Я встретил его на лестнице, по которой он едва поднимался с полуоткрытым ртом и остановками, тяжело переводя дух. Будучи бледен, он имел вид страдальческий.

Встреченный в приемном зале школы инспектором, главною надзирательницей и классными дамами, Александр Николаевич направился в экзаменационный класс, куда по его желанию и я сопровождал его.

Заняв единственное, в первом ряду стульев, собственно, для него приготовленное, кресло, казалось, он не слушал музыку, а дремал, свесив голову на грудь. Главная надзирательница, вопросительно взглядывая на меня, кивком головы показывала на него. Замечательно, как только игра на рояли кончалась, Островский поднимал

голову и поощрительно благодарил исполнительниц и преподавательницу музыки. Чуть ли не целую ночь он просидел за работой накануне этого экзамена.

После экзамена во главе с Александром Николаевичем все присутствовавшие на экзамене, в том числе и воспитанницы, перешли в церковь, где был отслужен благодарственный молебен по случаю успешного окончания экзаменов и с ними учебного года. Воспитанницы же получили отпуск только 15 мая, в день коронации императора Александра III, после прекрасного обеда с угощением из разных лакомств, сделанным Александром Николаевичем.

XII

Вечером 14 мая 1886 года в доме бывшего генерал-губернатора Москвы князя В. А. Долгорукова, в присутствии государя Александра III и государыни Марии Федоровны, наследника цесаревича Николая Александровича и других высочайших особ, состоялся спектакль с участием любителей из среды высшего московского общества. Давалась пиеса «В чистом поле», сон из сказочного мира, в трех картинах: 1) Степь; 2) Живая картина: Смерть Кощея и освобожденная Царь-девица, и 3) Свадебный пир Добрыни Никитича и Царь-девицы. Слова и музыка были сочинены К. С. Шиловским.

Своею эффектною обстановкой, особенно богатыми древними русскими костюмами, пиеса эта произвела на Александра Николаевича, присутствовавшего, несмотря на переутомление от деловых работ, в числе зрителей на этом спектакле, «весьма хорошее впечатление»; тем не менее автору ее, как *аматеру**-*артисту*, по сцене Лошивскому, он отказал в приеме на императорскую драматическую сцену. <...>

С окончанием театрального сезона, казалось, и Александру Николаевичу нужно было отдохнуть. Но нет; для него, напротив, наступали самые тягостные дни.

В ожидании получить с нового сезона казенную квартиру надо было очистить обитаемую, дабы не платить непроизводительно за летние месяцы, и вещи свои пристроить так, чтоб они были целы и непопорчены.

* любителю (*от франц.*— amateur).

Для них в том же доме предупредительный управляющий-немец предоставил ему удобный во всех отношениях склад и поручился за сохранность вещей. За постепенною уборкой и отправкой вещей, так как их было много, Александр Николаевич наблюдал сам вместе со своею супругой.

Когда квартира была окончательно очищена, нужно было отправить супругу со старшим сыном Александром Александровичем, двумя дочерьми и младшим сыном в костромское имение Щелыково для приведения в порядок тамошнего хозяйства. Расставаться с ними, да при его болезненном состоянии, было большим огорчением для Островского. Он уже загодя вздыхал и печалился об этой разлуке. Но — что делать! — по натуре своей он твердо держался пословицы: «Взявшись за гуж, не говори, что не дюж».

Самою важною его заботой было покончить на месте проект преобразования театральной школы и составление для нее нового штата; кроме того, были и другие дела, непосредственно относящиеся к его репертуарным обязанностям. Для выполнения такой нелегкой, но необходимой, задачи ему nolens-volens * приходилось оставаться в Москве, где под руками находились разные документы и справки. С ним оставались в Москве еще два сына — один студент, а другой воспитанник Поливановской гимназии, которым предстояли экзамены.

Воображаю, какое убийственное впечатление произвело на крепко замкнутую натуру Александра Николаевича, хотя и по собственному его желанию совершившееся, разорение квартиры. И тут же рядом предстояло распадение семейства на две части. Часть же, остававшаяся в Москве, *опять* дробилась на две половины: для общего удобства сыновья, отделившись от отца, должны были поселиться у родственников; для самого же Александра Николаевича был уже приготовлен нумер в гостинице «Дрезден», на Тверской, о чем я узнал 17 мая, в день отъезда его семейства, с которым пришел проститься.

Войдя в квартиру, я с подавляющим беспокойством посмотрел на ее пустынные покои: площади полов буд-

---

* волей-неволей *(лат.)*.

то расширились, а стены отодвинулись. В обширных комнатах отдавало невнятным эхом от где-то разговаривавших и сливавшихся мужских и женских голосов. Пути тоже как бы расширились, и я знакомою мне дорожкой в последний раз пробрался почти в пустой, когда-то уютный кабинет. Жутко мне стало при входе в него. Куда исчезла украшавшая его роскошная библиотека русских и иностранных, преимущественно драматических, писателей? Куда скрылись портреты и карточки разных литературных знаменитостей и артистов, да и вообще вся роскошная обстановка его? Остались одни голые стены, отталкивающая глубь и безотрадный простор... Чем-то зловещим пахнуло на меня... И я на мгновение обомлел...

— Ах, amicus!

А вот и он, мой дорогой принципал! Это он окликнул меня. Я тотчас же очнулся.

Он сидел на прежнем месте за своим обнаженным дочиста рабочим столом, молчаливым свидетелем его дум, еще неубранным, вероятно потому, что жаль было расстаться с ним до самой последней минуты своего выхода из брошенного кабинета. Островский сидел не один, а со своим старинным, с юных студенческих лет его другом И. И. Шаниным.

— Садитесь! — почти повелительно сказал мне Александр Николаевич, протягивая свою холодную руку.

Вид он имел старчески-бледный, страдальческий, глаза впалые. Накануне, в школьном кабинете, он был несравненно бодрее и свежее.

Стулья, на которых мы сидели, были позаимствованы у управляющего.

Глядя пристально мне в глаза, Александр Николаевич отрывисто проговорил, махнув рукою:

— Что со мною было вчера вечером!.. Чуть не умер! Упал вот тут, на диван... Еле-еле отходили. Как отдышался — не знаю...

Переглянувшись со мною, Шанин подумал, вероятно, то же, что и я: «не хорошо»,— и, распростившись с нами, уехал.

Излагая мне программу предстоящих занятий, Александр Николаевич то и дело потирал грудь. На мой вопрос: «что это значит?» — он лаконически ответил:

— Сердце болит.

Я поморщился и после минутного молчания сказал ему о желании проститься с его семьей, имея в виду другую цель. Он отпустил меня и просил «поскорее приходить».

Я не заставил его долго ждать себя и быстро вернулся, успев тем временем шепнуть сыну его, студенту Михаилу Александровичу, чтобы он зорко наблюдал за отцом, так как, по моему мнению, припадок может повториться. При этом взял с него «честное слово» не говорить никому из родных о моем предположении.

К крайнему прискорбию, многообещавший молодой человек этот по окончании курса юристом в Петербургском университете с золотою медалью умер в Москве от дифтерита 8 июля 1888 года.

Александр Николаевич сообщил мне тут же, что чиновник особых поручений О<всяннико>в, которого просил он и сам лично, и через меня по моей записке к нему, так и не являлся,— не являлся даже и впоследствии ко времени отъезда Островского в Щелыково. Зачем он был нужен Александру Николаевичу — для меня terra incognita *. Но, впрочем, я понял его, памятуя недовольство артистов...

Когда я собрался уходить, Александр Николаевич сказал мне:

— Завтра в двенадцать часов милости просим ко мне на новоселье: «Дрезден», номер тридцать четыре. Запишите на память. Впрочем, Сергей Михайлович вам укажет. Знакомы с Минорским?

Покойный Минорский управлял этою гостиницей.

Я буквально исполнил его приглашение и попал как раз к завтраку, состоявшему из двух холодных закусок: копченого языка и икры. «К сожалению, не *наша*, не с *божьего промысла»* [18],— заметил, усмехнувшись, Александр Николаевич, выписывавший для дома икру всегда с Кавказа.

Мы с Шаниным, который прибыл раньше меня, выпили по рюмке водки и приступили к закуске. Александр же Николаевич неохотно разделял с нами компанию за отсутствием аппетита. В нумере его, выходившем окнами на солнечную сторону, было до дурноты душно. Мы советовали переменить нумер.

---

* неизведанная земля, незнакомая область *(лат.)*.

XIII

На другой день, в понедельник, 19 мая, я нашел Александра Николаевича в новом помещении, № 27, выходившем на север. Он жаловался мне на дурно проведенную ночь, потому что, как и всегда, работал до утомления. Между прочим, он сообщил мне три «новости».

Первая новость: от него скрывали, что брат его, Михаил Николаевич, тогда министр государственных имуществ, болел воспалением легких; оттого-то более двух недель, к его удивлению и беспокойству, он не получал из Петербурга никаких известий.

— Слава богу,— добавил Александр Николаевич,— поправился; думает после закрытия заседаний в Государственном совете ехать за границу, на воды, с племянницами Машей и Любочкой. Любочке надо полечиться.

Племянницы — Мария и Любовь Сергеевны — дочери умершего единоутробного брата[19] А. Н. и М. Н. Островских.

Вторая новость: за прослужение более трех трехлетий почетным мировым судьей в своем уезде Александр Николаевич скоро будет произведен в статские советники. Но это его не интересовало.

Третья новость: управляющий конторою г. П<чельник>ов, всегда интриговавший против знаменитого драматурга, по его желанию будет перемещен в дворцовое ведомство на юг России; причем Александр Николаевич заочно от души желал ему идти по административным ступеням вверх, лишь бы не служить вместе с ним, тем более что П<чельник>ов, по мнению Островского, был не на своем месте, состоя на службе при театрах.

20 мая, во вторник, только что мы с Александром Николаевичем уселись в десятом часу утра писать письмо к театральному контрагенту Э. И. Мишле, оскорбившему Александра Николаевича дерзкою телеграммой по поводу возникших недоразумений при приобретении дирекцией оперы «Мефистофель» Бойто[20],— пришел сын его, студент. Пригласив его в спальню, Островский о чем-то беседовал с ним минут десять и, возвратившись, поручил ему написать в Петербург письмо с сообщением, что он нездоров, и отослать забытый у него проездом племянницею дипломат[21].

Несколько спустя он встал. Пройдясь по комнате, опять сел против меня и, меняясь в лице, вдруг устремил на меня свои потускневшие глаза, едва переводя дух. Меня охватил страх за его жизнь. Так он молча просидел минуты три. Лицо все более и более накрывалось смертною бледностью; губы посинели.

— Я сейчас умру... я умираю,— вдруг произнес задыхающимся голосом Александр Николаевич и вытянулся: глаза закрылись, голова скатилась за спинку кресла, руки свесились. Нас охватил ужас. Мы оба растерялись.

— Папа! Милый папа! — закричал сын.

Овладев собою тотчас же, я отыскал в шкапу чистое полотенце, намочил и положил его на голову, а сына просил послать за доктором. Когда тот вышел, я, осторожно подняв голову Александра Николаевича, начал целовать его. Он был неподвижен. Пробовал я пульс — не бьется... Вскоре он очнулся и велел сбросить с головы компресс; потом, поддерживаемый мною, встал. От сильного испуга меня било как в лихорадке. Он заметил это и сказал:

— Не трогайте меня... Вы дрожите... Стойте возле... Если буду падать, поддержите.

Не шевеля ни одним мускулом и несколько откинув назад голову, он стоял пред письменным столом с полузакрытыми глазами и чуть открытым ртом; дыхание было медленное и неровное. Вдруг полил с него обильный пот и крупными каплями падал с лица и рук. Сохраняя раз принятое положение и не меняя белья, он обтирался полотенцами. Кто-то спросил: «Можно ли принять доктора?» (Кажется, прибыл врач Тверской части.) Александр Николаевич отказал. Он пользовался постоянно у профессора А. А. Остроумова, к которому и посылал после, когда припадок прошел.

Во время припадка несколько раз наведывался к нему С. М. Минорский. Будучи с детства знаком Александру Николаевичу, он с редкой сыновней заботливостью ухаживал за ним, ночевал вместе и без меня делил досужее время безотлучно в его обществе.

— Ну,— вздохнул вольнее Александр Николаевич,— боль проходит... остается только в оконечностях пальцев.

Обыкновенно он жаловался на ломоту в груди и ру-

ках, чем и вызывались эти мучительные припадки. Когда боль окончательно унялась, он сел и пробовал закурить, но тотчас же бросил. Курил он очень много и сам крутил себе папиросы из табака крупной крошки, который получал по собственному заказу с фабрики Бостанжогло. Белья он не менял, потому что боялся тронуться с места, и у него показался легкий озноб. Я накинул на него плед, в который и укутал его. <...>

По его же поручению я отправился в школу объявить, что как в этот злополучный день, 20 мая, так и впредь до его выздоровления приема не будет, что огорчило многих драматических артистов, с которыми в то время возобновлялись контракты.

Однако на свой риск как от артистов, так и от других лиц, имевших надобность видеть Александра Николаевича по своим претензиям, я записал таковые с их именами в приемном листе, чтобы при удобном случае доложить о них Александру Николаевичу, и около пяти часов вечера направился в гостиницу «Дрезден» проведать больного.

Я застал его в нумере Минорского, где он рассматривал фотографические снимки некоторых сцен и декораций из его «Воеводы» вместе с исполнителем их М. М. Пановым.

В шесть часов вечера навестил его А. А. Майков. Они беседовали около часа, оставшись вдвоем.

По претензиям Островский положил следующие резолюции: 1) г-же Г — ной (экстерной воспитаннице), желавшей «по крайней бедности» участвовать в спектаклях Зоологического сада — «разрешить»; 2) преподавателю К. Л. Добрынину, желавшему заняться учебною частью в школе, если К. П. Колосов откажется от должности,— «иметь в виду»; 3) А. И. Барцалу, просившему отпуск,— «разрешить». Вообще же все прочие резолюции для претендентов были благоприятны, за исключением одной для г-жи И<ви>ной, конкурировавшей на пробных спектаклях и аттестованной в протоколе весьма лестно, ходатайствовавшей о зачислении ее в драматическую труппу. Ей был поставлен *знак вопроса*, потому что кредит на содержание драматической труппы весь был исчерпан.

На адресованную лично к Александру Николаевичу журналистом конторы И. С. Розовым просьбу — «если

Александр Николаевич не был на высочайшем выходе в Кремле, возвратить билет для входа во дворец, также и кучерской»,— Островский ответил: «Был».

XIV

21 мая, в среду, своего болящего пациента Островского навестил профессор А. А. Остроумов, прописавший Александру Николаевичу, кажется, кофеиновые пилюли. Лекарство это ожидаемой пользы, однако, не принесло: хотя и в меньшей мере, припадки повторялись ежедневно. При плохом сне и полном отсутствии аппетита желудок не работал, что усугубляло болезнь при поднимавшихся ломотах в груди и руках.

Бывало, после припадков Островский находился в забытье или засыпал, сидя в кресле. Сон был непродолжителен и чуток. Костюм его состоял из синего шевиота пиджачной пары сверх русской, из плотной чесунчи, рубахи; жилета не надевал; брюки в талии не застегивались.

Иной раз после припадка он спросит:

— Бледен я?

Конечно, я успокаивал его. Сам же он избегал смотреться в простеночное зеркало, стоявшее между окнами.

Я замечал, что на расшатанный организм Островского, при общем расстройстве всей нервной системы, губительно влиял беспощадно истреблявшийся им табак. К тому же у него все курили беспрепятственно; поэтому нумер его был насквозь пропитан никотином, так что и воздух, при часто открываемых поочередно окнах, не мог выгнать табачного запаха. Однажды, войдя к нему, я не выдержал и громко заявил свой протест:

— Простите, Александр Николаевич, здесь дышать невозможно! Кажется, и стены насквозь пропитаны табаком.

— Откройте вон то окно и дверь настежь, пускай просквозит; я покуда постою там,— сказал Александр Николаевич, и сам скрылся в спальню.

Дверь и окно были открыты. Потянуло сквозняком.

— Довольно,— проговорил он нетерпеливо,— закройте окно: воздух проникает сюда.

Так как моих увещаний бросить курить табак Ост-

ровский во внимание не принимал, я нажаловался на него в его же присутствии посетившему его доктору С. В. Доброву, шепнув ему об этом на ухо. Совет Сергея Васильевича на вопрос «разве вредно курить?» оказался убедительным. С тех пор я не видал Александра Николаевича курящим; но это, к сожалению, случилось незадолго до его кончины.

Несмотря на то что день ото дня Островский угасал, как догорающий светильник, ум его бодрствовал; духом он не падал и, если физические силы позволяли, работал не покладая рук.

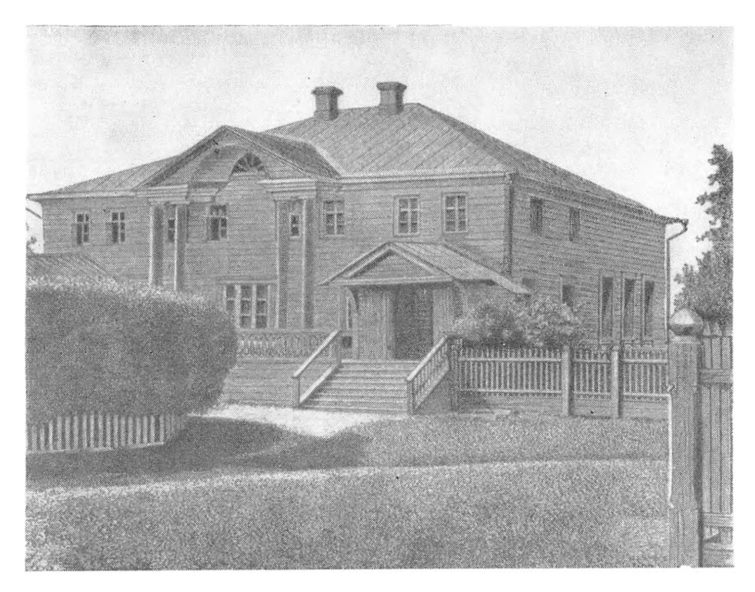
За письмом к Мишле́ на очереди стояли училищные штаты и объяснительная к ним записка. <...> Первые под его диктант писал сын его, студент, вторую — я; но я только ее переписывал, написана же она им собственноручно.

Начатый Александром Николаевичем пересмотр штатов Театрального училища наделал тревогу и между конторскими чиновниками, которые, как члены администрации, не были ему подчинены, но тем не менее осаждали его разными вопросами.

— Меня осаждают разными вопросами, на которые не хотелось бы отвечать. Так, например, по поводу новых штатов,— жаловался он мне,— кто *им* сказал, что я занимаюсь составлением штатов по администрации, тогда как это дело вовсе не мое, а Аполлона Александровича (Майкова)?.. Сейчас приходил ко мне С<илин>, очень взволнованный... Я успокоил его.

И каждого он старался успокоить. Все-таки это вредно отзывалось на его болезненно-впечатлительной натуре.

По всей вероятности, чиновники ожидали такого же погрома, какой случился при режиме 1882—1883 годов, когда чуть не поголовно были оставлены за штатом заматерелые в своем деле работники-чиновники. Тогда же, между прочим, после нескольких оскорбительных для всякого самолюбия вступлений, проникших потом в печать, главным деятелем конторской реформы, тогда еще отставным поручиком П<чельник>овым, водворявшимся в Москве, было внушено этим безответным труженикам, что он прислан «казнить и миловать» их. За что? За то ли, что при одинаковых условиях труда они получали крохи, 200—300 рублей годового содержания,



Дом А. Н. Островского в Щелыкове.
С фотографии 1890-х годов.

Могила А. Н. Островского в селе Никола-Бережки Костромской области. *Фотография 1920-х годов.*

в сравнении с заменившими их ставленниками П<чельник>ова, получившими 2000 и 1000 рублей minimum? Я могу со спокойною совестью утверждать, что «казнить и миловать» или «раздавить, как червяка» не только на устах, и в мыслях не было бы у благоразумного нового управления, если бы проектированным им штатам суждено было осуществиться. Могло, пожалуй, случиться, что три-четыре чиновника, ожиревшие от праздного безделия на хороших хлебах, были бы уволены за штат; но их судьба хранила.

Время, на которое оставался Александр Николаевич в Москве, было горячее для его деятельности. Для полного, безмятежного отдыха во время летних вакаций ему хотелось сразу со всем покончить. А тут подоспело возобновление контрактов с артистами драматической труппы. Опять борьба.

С Миленским, например, Островский желал заключить контракт не на просимых им *три года на прежних условиях*, а на *один год*, с тем чтобы с нового сезона увеличить ему жалованье, а тот упрашивал через меня возобновить контракт согласно его ходатайству.

«Чудаком» за это назвал его Александр Николаевич в присутствии артиста Дубровина (Ватсона).

На это Дубровин возразил, что «артисты запуганы *этими театральными поручиками*» [22].

— Был пример,— пояснил Дубровин,— что одному артисту обещали возобновить контракт и по истечении срока обманули. Понятно, что Миленский боится, чтобы и с ним не повторилось того же, если опять воздействуют *эти поручики*.

— Причем тут поручики? — резко спросил я, вопросительно посмотрев на Дубровина.

Дубровин почувствовал неловкость своей непредусмотрительности, да только таких слов, сказанных почти на глазах умирающему человеку, назад взять нельзя. И Александр Николаевич, смекнув, в чем дело, решил уступить ходатайству Миленского.

Желая показать, что он не так безнадежно болен, Александр Николаевич не принял предложенного Дубровиным на выгодных условиях перемещения от Москвы до Кинешмы в особом вагоне с приспособлением спокойной, наподобие гамака, висячей постели. Ватсон, или по сцене Дубровин, был по профессии инженер путей

сообщения и по своим железнодорожным связям мог бы обстановить Александра Николаевича возможным комфортом в пути. Александр Николаевич простился с ним, всегда благосклонно принимаемым в его доме, деликатно, но сухо.

— Слыхали, amicus? Уже заживо хоронят меня!..— сказал он мне.

XV

По предполагаемой смете расходов на содержание театрального училища и штату приготовительного отдела его Александр Николаевич исчислил 30870 рублей 50 копеек, на содержание драматического класса особо 3020 рублей и на единовременный расход по устройству этих классов с необходимыми переделками и покупкой мебели — 4000 рублей. Хотя, в общем, за исключением последней суммы, против прежней сметы (в 22064 рубля 15 копеек) расход увеличивался на 11826 рублей 35 копеек, зато увеличены и учебно-воспитательный персонал и особенно значительно — вдвое, а некоторым служащим чуть не втрое — оклады содержания.

О прибавках по драматической труппе содержания артистам в то время нечего было и думать, и я по совести должен сказать, что драматические артисты были не так притязательны и лакомы на прибавки, как оперные, часто безголосые или неумеющие ходить по сцене, а не только играть. Многие из желающих поступить в драматическую труппу предлагали безвозмездное служение сцене, но Александр Николаевич отклонял их бескорыстные услуги, а принимаемым на сцену предлагал minimum вознаграждения — 300 рублей.

Вот образец непритязательности знаменитости этой труппы. *По докладу*, когда имела бы право войти и *без доклада*, она вошла в кабинет, где мы сидели вдвоем с Александром Николаевичем. Это свидание даровитой артистки [23] с великим драматургом происходило 13 или 14 мая 1886 года, во время школьных экзаменов, и было в их жизни, должно быть, последним. После взаимного ласкового приветствия друг друга Александр Николаевич спросил, зачем она пожаловала. *Не требовательно*, но, можно сказать, *робко, нерешительно*, артистка полноправно просила прибавки.

На это Александр Николаевич ответил ей полушутливо, полусериозно:

— Если бы деньги на прибавку шли из моего кармана, я бы с удовольствием их дал.

Артистка спокойно и мягко извинилась перед ним за то, что потревожила, и, пожав его руку, медленною, необиженною походкой вышла из кабинета. Александр Николаевич, ласковыми глазами проследив за нею, обратился ко мне:

— Вот с такими не скучно говорить. Сразу поняла, в чем дело. И какая выдержанность: ни малейшего протеста!..

Теперь несколько слов о высокопочтенной артистке Н. В. Рыкаловой. Контракт ее кончался 1 июля 1886 года. Артистка просилась на покой после сорокалетней службы.

— Что вы! Что вы! — воскликнул Александр Николаевич.— Вам надо дать юбилейный бенефис, а вы в отставку проситесь! Нет, Надежда Васильевна, доживите сперва до полувекового юбилея, тогда и подумайте о покое. <...>

Все непроизводительно отягощавшие бюджет артисты, разумеется, были удалены или же предназначены к увольнению. Это все были креатуры или драматических писателей, ставивших часто свои пиесы на императорской сцене, или же лиц, близко стоявших к сцене и влиявших на нее. Но артисты эти, хотя получавшие крохи, все-таки были бездарностями.

Многие любопытствовали повидать Александра Николаевича «больного», но *мало* кто из оставшихся в Москве по сочувствию, *больше* ради желания проверить наглядно — действительно ли он болен. Со средоточием в его руках репертуарного единовластия сужены были рамки всяких любителей самовластия, что, конечно, щекотало их личное самолюбие. Мог ли быть он терпим этими самовластиями при чиновниках П<огож>еве и П<чельник>ове, заведовавшими своими частями *непосредственно*? Конечно, нет!

Всех, имевших с ним по важным делам служебные сношения, Островский принимал сам, пока позволяли силы. Во всех прочих случаях адресовал ко мне.

Самый продолжительный припадок был 24-го мая, в субботу; длился он с десяти часов утра до четырех

часов пополудни. Все это время Александр Николаевич стоял на ногах неподвижно: только подобным положением более или менее облегчались его страдания. Я и Минорский находились возле. Слегка зашумела дверь.

— Кто там? — спросил шепотом Александр Николаевич.

— Авранек,— шепнул я.

— Уведите его; узнайте, что ему нужно.

Я вышел с г. Авранеком.

В тот день, то есть 24-го мая, я заходил к нему три раза. У него безвыходно, если не ошибаюсь, с трех часов дня и почти до ночи сидел доктор С. В. Добров, до приезда которого после ухода моего с Авранеком с ним делил время г. Минорский. Во второй раз я пришел довольно поздно, около $5^1/_2$ часов, а после обеда отправился к Александру Николаевичу сменить кого-то из дежуривших около него и поговорить о делах. Тогда, между прочим, он сказал мне:

— Нет, лучше смерть, чем такая жизнь!

И, сидя в кресле, он долго дремал, то свесив голову на грудь, то закинув ее назад; потом, очнувшись, встал и проговорил:

— Дремится; пойду на постель.

Мы перешли в спальню; он лег; я накрыл его пледом, в который при моей помощи он плотно укутался.

В восемь часов вечера я опять навестил Александра Николаевича. Застав его еще спящим, я отправился в нумер С. М. Минорского, где кроме хозяина нумера находились его брат, С. В. Добров и оба сына Александра Николаевича. Наконец явился он сам. В. М. Минорский всячески старался развлекать его; но Александр Николаевич мало слушал, слегка позевывал и, по-видимому, ни на кого не обращал внимания. Прохаживаясь по комнате и ощупывая в мускулах руки, он говорил:

— Кажется, мои руки и ноги возвращаются к самочувствию.

Потом, присев, присоединился к общему разговору о постройках и коснулся своей усадьбы; но рассказывал уже не с тем оживлением, как бывало, о своем любимом Щелыкове, которое сравнивал с некоторыми местностями Швейцарии, но только не в этот раз.

Созерцая его после припадков, можно было подумать, что он сосредоточен в самом себе — и до осталь-

ного на свете ему никакого дела нет. На самом же деле он не забывал и других, судя по тому участию, с каким отнессся ко мне.

За неделю, которую я проводил с ним ежедневно с девяти часов утра и до десяти — одиннадцати вечера, я, правда, был слишком утомлен от собственного усердия угодить больному, а не вследствие эгоистических проявлений со стороны скромного и нетребовательного Александра Николаевича. Ему была известна также моя семейная обстановка: он знал, что на ограниченные трудовые средства я мог обеспечить только жизненное существование моего большого семейства и что воспитывать детей без посторонней помощи не мог. Отпуская меня от себя, он предупредительно сказал мне:

— Завтра у нас воскресенье, не приходите ко мне. Вам надо отдохнуть. Вероятно, ваш кадет (мой сын) придет к вам погостить. Хороший мальчик, я его помню. Он ведь питомец Елизаветы Васильевны Сапожниковой?[24] Не ошибаюсь?

На мой утвердительный ответ Александр Николаевич нежно воскликнул:

— Милая дама! Высшая заслуга имущих — воспитывать чужих детей несостоятельных родителей. Помоги бог вашим детям оправдать ее добрые намерения. Мало любить и уважать такую просвещенную особу,— ею надо дорожить, благоговеть перед нею. *Образование дать — дать все!* — заключил он и отпустил меня.

В воскресенье, 25 мая, он чувствовал себя тоже нехорошо, как сам сообщил мне. Приходили к нему разные посетители, которых он не велел принимать, но некоторые сами врывались к нему, несмотря на предупреждение дежурного капельдинера. Из посетителей отмечу наиболее известных: А. А. Потехина и В. Н. Кашперова.

Про Потехина Александр Николаевич передавал мне так:

— Вчера был у меня Потехин, Алексей. Приехал-то в такое время, когда мне было очень нехорошо. Я не велел его принимать, так сам вошел, говорит: «Узнал, что ты нездоров; я только поцеловаться с тобой, поцеловаться только».

К Кашперову прежние дружественные отношения Островского, как мне казалось, несколько охладели в последнее время. Причина мне известна[25].

Конечно, я многое слыхал и видал, но о многом умалчиваю. Я знаю, что Александр Николаевич был у многих как бельмо на глазу. В большинстве случаев такова участь великих людей и корректно занимающих высокие посты лиц.

XVI

26 мая Александр Николаевич чувствовал себя сносно, и мы занялись одним и, кстати сказать, последним из наболевших дел по театру — оперой.

Про новое управление враги его распустили по городу слух, что будто бы оно в короткий срок заведования театрами успело передержать по опере до 30 000 рублей.

Встревоженный этим слухом, Александр Николаевич вытребовал из конторы дела, касающиеся оперной труппы; но в них царил такой хаос, что и сами вызванные из конторы чиновники Силин и Заринг не могли в нем разобраться. Наконец Заринг, ближе стоявший к цифрам, признал, что передержка по опере была сделана еще до вступления нового управления, чем резко оправдал пословицу: «С больной головы да на здоровую».

Открытие это успокоило Александра Николаевича. Но его немало удивляло, что содержание главного капельмейстера — 5000 рублей и плата за аккомпанемент на рояли — 1000 рублей отнесены были на оперный бюджет, а не на оркестровый — по прямому своему назначению.

В ведомости бюджетного назначения на 1886 год, в § 3 под № 37, против расхода на *содержание оперной труппы* 231 600 рублей Александром Николаевичем собственноручно помечено: «Фальшивая цифра».

Смущал Александра Николаевича и хор во время своего исполнения на сцене. Находились в нем лица обоего пола, которые, так сказать, автоматически разевали рот, то есть делали вид, будто они поют, но на самом деле не пели. Не знаю, объяснился ли, с кем следует, Александр Николаевич по поводу такой исключительной привилегии тех лиц.

Мне припоминается при этом любопытный эпизод.

Не будучи в состоянии сладить один со своею многосложною работой, я, как выше было уже сказано, приглашал в помощь себе артиста г. Мухина. В рассуждениях о делах общих, или, лучше сказать, открытых, мы не стеснялись присутствием г. Мухина. Раз, объяснившись с бывшим балетным режиссером А. Ф. Смирновым по балетному делу, Александр Николаевич обратился к Мухину как к артисту, хорошо знакомому с балетом:

— Вот тут и разбирай, как знаешь.

— Вы, Александр Николаевич, уж очень глубоко опускаетесь в эту пропасть: в ней так душно и мрачно, что позволит ли ваше здоровье так усердно изучать ее? — возразил Мухин.

— Что ж делать? надо! — заключил Александр Николаевич.

И вот от изучения «омута», в который он окунулся, здоровье его заметно пошло на убыль...

Возвращаюсь к опере.

В один из конечных дней земных страданий Островского, то есть 26 мая, мы занимались составлением объяснительной записки <...> к оперному бюджету на 1886 год.

Из этой записки по опере[26] читатель увидит, что Александр Николаевич крайне осторожно и бережливо относился к казенной копейке и, при всем своем благодушии, направо и налево казною не швырял, причем неуклонно поддерживал его такой же осторожный и бережливый управляющий театрами А. А. Майков. У них все делалось сообща и по возможности без сложной переписки, решались зачастую сериозные дела устно, скоро и споро.

Исключая концертов Симфонических собраний, участие музыкантов в прочих частных концертах, а также и артистов других трупп в литературных утрах и вечерах Александр Николаевич ни под каким видом не допускал. Он был строгим блюстителем установленных для артистов «правил», в составлении которых сам принимал живое участие. Твердо держась этих «правил», при всем уважении к Ф. А. Коршу, заслуженно пользовавшемуся особенными симпатиями гениального драматурга, он не разрешил, однако, артистам императорской сцены принять участие в одном литературном утре

или вечере (не помню хорошо) на подмостках его театра.

С каким добросовестным вниманием ко всем частям принятого на себя художественного театрального дела Островский проявлял свою симпатичную деятельность, можно судить хотя по этой, сохранившейся у меня, собственноручно им писанной памятке:

«Духовые инструменты выписать (разный строй) разных фабрик (от 3—4000).

Хорошо бы и для балета.

Возобновить контракт с Клюгенау.

Тепфер.— Вакансия на барабан. К сведению. Перевести.

Запрос о пенсиях по оркестру.

Большой камертон нормального строя и 10 малых».

Только по всестороннем рассмотрении и обсуждении всех подробностей, как, например, относительно музыкальных инструментов, Александр Николаевич записывал таковые себе на память для исполнения. Другой бы на его месте начальник репертуара свысока ограничился лишь известными лаконически-бюрократическими фразами: «Напишите рапорт и подайте мне», «согласен», «подлежит исполнению» и т. п., а есть ли действительная потребность в инструментах — спрашивать бы не стал.

XVII

Когда дела, для которых Александр Николаевич оставался в Москве, были закончены, он просил меня собрать все бумаги, касавшиеся репертуара, и проекты штатов театрального училища с объяснительною к ним запиской, часть их по принадлежности передать А. А. Майкову, все же остальное до его возвращения хранить у себя, а если вызовет меня в Щелыково, то захватить с собою. По мере того как я исполнял его распоряжения, он, следя за мною, говорил, что «вот этого не трогать», так как берет с собою: например, пиесы, в числе которых была одна моя, возвращенная режиссером Черневским, и корректура переводившейся им шекспировской пиесы «Антоний и Клеопатра», присланная петербургским издателем-книгопродавцем Мартыновым[27]. Просил также «посмотреть», нет ли чего от-

носящегося к театру в его портфеле, и не оставлять *ничего* театрального, забирать *все*».

Чем объяснить такое распоряжение: проявившеюся ли в нем ненавистью к театру, окончательно надломившему его последние силы, или же предчувствием, что он уж больше не вернется к нему? Скорее — отвращением к театру, ибо однажды в семье своей он сказал, что если кто-либо из детей его поступит на службу в театр, он в гробу перевернется.

Это было явлением на удивление резким и диаметрально противоположным тому, с каким рвением и любовью сначала Островский относился ко всему, что касалось театра, при своем вступлении в него.

Если занятие должности заведующего художественною частью при театре в письме ко мне 29 августа 1885 года [28] он называл *счастьем,* уже по этому можно судить, как он беззаветно предан был принятому на себя делу. Понятно, что после этого никакие мудрые и доброжелательные советы в интересах его собственного здоровья не могли бы поколебать устойчивого в убеждениях, энергичного и сильного волей Александра Николаевича и отговорить его отказаться от *счастья. Счастье* это было бы обоюдоравно — благотворное как для него самого, содеявшего полезное для театров, так и для театра. При данных соображениях и докторская опека над его здоровьем едва ли могла бы разочаровать его. Если в предсмертные дни свои, вняв совету врача, Островский оставил курить, то потому только, что он сам чувствовал отвращение к табаку, часто отбрасывая только что закуренную собственноручно свернутую папиросу, хотя и вновь брался за нее по привычке.

Я торопил Александра Николаевича отъездом в Щелыково, но его удерживало обещание пользовавшего доктора-профессора А. А. Остроумова навестить драматурга 28 мая. В ожидании его посещения Александр Николаевич должен был остаться еще на два мучительных дня. Положим, что у него нашлась бы работа — корректирование пиесы «Антоний и Клеопатра», но буквально ничем не мог он заняться: до того силы его ослабли, хотя он и бодрствовал духом и не терял способности к умственной работе.

Накануне отъезда Александра Николаевича, 27 мая, заходил к нему секретарь Общества русских драмати-

ческих писателей и оперных композиторов И. М. Кондратьев с просьбой подписать пятнадцать квитанций в получении членских взносов для лиц, имевших вновь поступить в Общество. Ввиду того что непослушная рука отказывалась держать перо, Островский отложил этот нехитрый труд, пока не соберется с силами.

Подавляющий был момент...

И припомнились мне знаменательные, накануне им по предчувствию сказанные слова, когда под рукой у него лежали театральные дела:

— Да, amicus, да, Николай Антонович, приходит последний акт моей жизненной драмы.

Кое-как завязалась беседа, но вялая, так сказать, ab hoc et ab hac*, когда же речь коснулась Южного берега Крыма, виноградников и Гурзуфского виноделия Губонина, особенно же ужения рыбы в Черном море, Александр Николаевич стал мало-помалу оживляться.

Летом, в часы досуга, ужение рыбы и рыболовство вообще были любимым развлечением Александра Николаевича. Таким развлечением он с удобством мог пользоваться в своем собственном имении, сельце Щелыкове, чрез которое протекают три речки; из них две, изобилующие рыбой: впадающая в Волгу Мера, и Куекша, в свою очередь впадающая в Сендегу, и менее рыбную, чем последняя. На второй из них, с которою по ужению я знаком, при омуте стояла водяная мельница.

Тут же, не без некоторого юмора и довольно увлекательно, Александр Николаевич рассказал о своем времяпровождении в Щелыкове. Когда задумывалось ловить в Мере рыбу сетью, в Щелыкове заведено было так: первым на телеге едет «морской министр». «Министр» этот не кто иной, как псаломщик из соседнего села Бережков, Иван Иванович, в подряснике и широкополой шляпе, из-под которой, как крысий хвостик, торчит тонкая косичка. «Морским министром» он назван потому, что был руководителем и распорядителем всей охоты вообще. За «министром» едут гости и семейство Александра Николаевича. На облюбованном для ловли месте раскидываются шатры. Начинается лов. Первым лезет в воду «морской министр», направляя сеть; за ним

* о том о сем *(лат.)*.

крестьяне в рубахах и портах; иначе нельзя, потому что есть дамское общество. Вода в Мере до того холодна, что, несмотря на самый знойный день, ловцов прошибает «цыганский пот», то есть по выходе из воды зуб на зуб не попадет от дрожи. На берегу для ловцов уже все готово: пироги, закуска и в изобилии водка.

Вскоре после этого рассказа я видел «морского министра», облаченного в стихарь и уныло читавшего псалтирь, на почтенном расстоянии, влево от изголовья сомкнувшего навеки свои вещие уста «типов создателя многого множества»[29].

XVIII

Наступил день отъезда Островского в деревню, 28 мая.

Навестив, по обыкновению, Александра Николаевича утром, я отправился по служебным делам в школу, где, приводя в кабинете оставленные мне бумаги в порядок, не нашел одного документа, относившегося к училищным штатам. Затерять его я не мог. Поэтому я поспешил к Александру Николаевичу и застал его одиноко сидевшим в нумере. В наружности его за короткий промежуток времени я заметил некоторую перемену, почему и глянул на него вопросительно. Это от него не ускользнуло.

— Что вы так смотрите на меня? — спросил он и, смекнув в чем дело, сказал:

— Я посылал за цирюльником и постригся... И зубной врач приходил, почистил корни.

Александр Николаевич имел полный набор вставных зубов, но избегал ими пользоваться.

Когда я сообщил ему о недостающем документе, это его озадачило, тем не менее, указав мне на ключи, он предложил поискать в чемодане, где и оказался разыскиваемый мною документ. Александр Николаевич проворчал:

— Просмотрел как-нибудь. Уложите же вещи.

Он следил и указывал, не трогаясь с места, куда и какую вещь надо было уложить, потому что сам собственноручно с неподражаемым уменьем и классическою аккуратностью укладывал вещи в чемодан.

В нумер по докладу дежурного капельдинера вошел только что окончивший курс студент-медик [30], бывший репетитор его сыновей.

Медика этого еще накануне я встретил у Александра Николаевича, который слегка его упрекнул, что тот забыл его. Медик нашел какие-то оправдания, а главное, будто не знал, что Александр Николаевич находится в Москве, а не в деревне. Одна весть, сообщенная медиком, сильно встревожила Александра Николаевича, и он долго не мог успокоиться после его ухода [31].

Между прочим, медик сообщил одну довольно оригинальную новость, которую он вычитал в какой-то газете: будто С. А. Юрьев перевел с испанского какую-то большую пиесу в течение *шести* недель. Кажется, медик не сообщил ее заглавия, или же, будучи занят своими бумагами, я, может быть, пропустил мимо ушей [32].

— С испанского-то в шесть недель? — подернув плечами, изумленно усмехнулся Александр Николаевич. <...>

Как лицо, могущее оказать полезные услуги больному в дороге, я просил медика проводить Александра Николаевича до Щелыкова. Однако Островский на это не согласился.

Думая о профессоре А. А. Остроумове и с беспокойством поглядывая на часы, Александр Николаевич неоднократно говорил:

— Должно быть, не будет?

Не явился и сотрудник профессора, доктор С. В. Добров, который до сего времени почти ежедневно заходил к Александру Николаевичу... «Зловещий признак!..»

Он, как жертва, и мы, его молчаливые и грустные собеседники, сознали это. «Последний акт жизненной драмы» Александра Николаевича был подписан и скреплен.

Александр Николаевич поник головой и призадумался.

— Господи! — воскликнул он, подняв глаза кверху,— три дня ничего не ел, три ночи... нет, не три... одну спал с перерывами... две ночи не спал... Что за силы, что за энергия в шестьдесят-то с лишком лет! — прибавил он чрез несколько минут.

Да, в немощном теле Александра Николаевича присутствовал слишком бодрый дух или избыток духовных

сил, не покидавших его до самой последней минуты его кончины.

Потирая рукой под печенью, Александр Николаевич так жаловался студенту-медику на свои страдания:

— Не могу понять, что у меня? Вырезать да посмотреть бы... Воспаление слепой кишки, что ли... Вот тут особенно мучительная боль...

Медик ощупал его живот, выслушал грудь.

— А как сердце? — выразительно спросил Островский.

— Ничего особенного. Есть ненормальные скачки; но в общем сердце в порядке,— слукавил медик.

Александр Николаевич ничего не возразил и опять задумчиво поник головой. Уныли и мы. У меня навернулись слезы. Я старался их скрыть.

«Да, зловещий признак! — снова подумал я, стараясь отогнать от себя убийственную мысль.— Прощай, мой возлюбленный принципал!»

К часу отъезда прибыли в нумер сыновья Островского и два брата Минорские.

Погода была серая, дождливая, отвратительная, просто сказать, позорная для кончавшегося весеннего месяца мая. Она усугубляла мрачное настроение больного...

XIX

На вокзал Нижегородской дороги, где уже находился И. И. Шанин с сыном [33], студентом, мы с медиком прибыли раньше Александра Николаевича. Относительно его на пути к вокзалу медик выразил сомнение:

— Дай бог ему добраться до Щелыкова,— сказал он мне.

В словах его слышался отголосок профессора А. А. Остроумова и доктора С. В. Доброва.

Наконец и он подъехал к вокзалу в карете в сопровождении сыновей. Встретив его, я пошел рядом с ним.

— Кажется, я не дойду, упаду,— шептал он, держась за мою руку.

На вокзале Островский предпочел сидеть в темной половине его. В светлый зал, где находился table d'hôte*, он отказался идти.

---

* общий обеденный стол *(франц.)*.

— На что? Свет и так мне надоел,— кротко возразил он и потирал грудь против сердца.

Как ни старались его развлекать, невозможно было вызвать на сухих посиневших губах его ту привлекательную улыбку, которою, бывало, он подкупал и побеждал своих собеседников. Мы приехали чуть ли не за час до отхода поезда, и время длилось убийственно, тем более при такой печальной обстановке.

Платье, облегавшее прежде красиво и плотно его осанистую фигуру, буквально висело на нем. Рот у него был полуоткрыт; еле работавшими легкими он как бы насильно вбирал в себя воздух для дыхания. Безжизненные, поблекшие глаза его глубоко впали в орбиты; осунувшееся бледно-желтое лицо, в котором, что говорится, не было кровинки, отражало в себе все признаки полного измождения всего организма.

Пока другие провожавшие сидели около него, он ни с кем почти не говорил. Когда же мы остались вдвоем, Островский настоятельно наказывал мне, чтобы я «непременно завтра же» побывал у А. А. Майкова и с передачей ему надлежащих бумаг подробно объяснил обо всем, о результатах же отписал бы ему немедленно.

Первый звонок.

Поддерживаемый мною, Александр Николаевич добрался до вагона благополучно и, осмотрев приготовленное для него купе, вышел на тормоз, прислонясь к стенке вагона. На нем был форменный картуз придворного ведомства, то есть с красным околышем и кокардой на тулье.

Странно, что некоторые артисты, увидав его впервые в этом картузе, предосудительно отнеслись к соблюдению им формы. Не затрогивая других побочных обстоятельств, раз он явился должностным лицом при императорском театре, почему бы ему не исполнять законом установленной формы?

Что может быть тут предосудительного? Должностное лицо в казенном театре не вольный хозяин в своей деревне, где он может хоть в лаптях ходить. Да у себя в деревне Александр Николаевич зачастую носил русскую рубашку с шароварами и мягкие казанские сапоги. И тут придирчивый человек — непрошеный судья — мог бы сказать, что он «оригинальничает», и поднять его за это на смех...

Может быть, артисты вообразили, что, облекшись в форму, Островский сделался *формалистом* в том смысле, в каком принято понимать его значение на службе. Ошибались. Он, например, относился индифферентно к так называемым *журнальным распоряжениям по управлению театрами*, заведенным еще до него конторою, и от себя никаких сообщений к этим *распоряжениям* не присоединял, хотя ему пришлось однажды сделать на бумаге внушение одному лицу, сравнительно в мягкой форме, за его резкое с подчиненными ему лицами обхождение, которое, по мнению Островского, роняло достоинство императорских театров. Но об этом знали только трое: он, я, составивший по его приказанию выговор, и получившее его лицо.

За исключением одного случая, я не припомню другого, к кому бы из артистов Александр Николаевич отнесся критически по гриму или костюмировке. Никого из артистов, особливо драматических, в такой погрешности упрекнуть нельзя. А случай, о котором я упомянул, относится к покойному певцу и артисту, которому симпатизировал Александр Николаевич,— И. Ф. Бутенко. При роли Сусанина из-под рукавов его серого кафтана ярко сверкали безукоризненной белизны накрахмаленные манжеты с блестящими золотыми запонками. И Бутенко отделался за это только личным мягким внушением со стороны Александра Николаевича tête-à-tête...

Второй звонок.

Все провожавшие Островского спешили с ним проститься. Со мною он дважды и дружески облобызался. С ним уезжали два студента: его сын и сын Шанина.

Когда мы с тормоза сошли на платформу, Александр Николаевич, памятуя о театральных делах, спросил у меня, утвержден ли управляющим театрами назначенный им в помощники режиссера г. М<ухин>. Ответив утвердительно, я благодарил его за это назначение, которым мы оба остались довольны, так как находили г. М<ухина> обойденным дельным человеком.

После маленькой шутки, сказанной Александром Николаевичем по поводу этого назначения и вызвавшей веселую улыбку на всех лицах, медик мне шепнул:

— Смотрите, Александр Николаевич повеселел.

Да и сам Островский заметил, что он ожил и чувствует себя лучше, приписывая это перемене погоды.

А погода была все такая же серая, только дождь из крупного перешел на мелкий, но частый.

Причина объясняется просто. За все время пребывания в гостинице «Дрезден» с 17 по 28 мая Островский только один раз подышал вдоволь свежим воздухом, когда Минорскому удалось выманить его из нумера в воскресенье, 25 мая, чтобы прокатиться на Воробьевы горы. Он и так был тяжел на подъем, а тут с одной стороны — болезнь, с другой — разные неожиданные неприятности, работа до самозабвения. Вот и сидел он между двух зол, прикованный к месту. Значит, не погода, а воздух повлиял на него благотворно после замкнутой жизни в пропитанном табаком нумере...

Третий звонок... Свистки кондукторские и ответные с локомотива.

— Прощайте! — приподняв свой картуз, сказал провожавшим Александр Николаевич.— Я очень доволен, господа, что вы меня проводили.

— *До свидания!* — поправил его я.

— *До свидания*! — произнес и он выразительно.

Только и видел я моего незабвенного принципала. В последний раз он еще поклонился мне в обмен на мой поклон из окна вагона отходившего поезда.

Поезд унес его далеко, безвозвратно, навсегда... <...>

Д. В. Аверкиев

А. Н. ОСТРОВСКИЙ

<...> Говоря об Островском, нельзя не вспомнить о его достолюбезной личности. Очерк его головы, на мой взгляд, имел сходство с головой Софокла, как тот изображен на одном из бюстов Капитолийского музея. В его лице самое привлекательное были глаза: они умели и думать, и слушать, и улыбаться, и смеяться самым задушевным образом. Как у всех смертных, у Александра Николаевича были, конечно, свои странности и недостатки; но они как-то шли к нему: так иной раз родимые пятнышки увеличивают миловидность. Оттого у всех близких к покойному людей даже к ним установилось какое-то любовное отношение.

Трудно вообразить себе человека добродушнее покойного. Однажды при мне он спросил у одного актера:

— Отчего N. у меня не бывает?

Актер замялся.

— Знаю,— продолжал Александр Николаевич,— он мне гадость сделал. Ну, да бог простит; я не сержусь. Скажите, чтоб он по-прежнему ходил ко мне.

Из личных воспоминаний приведу еще взгляд Островского на драматургическое дело.

— Драматург не изобретает сюжетов,— говорил Островский,— все наши сюжеты заимствованы[1]*. Их

* Конечно, не в том смысле, как это пишется на афишах тех авторов, у которых своего разве имена действующих; все же остальное — чужое. *(Прим. Д. В. Аверкиева.)*

дает жизнь, история, рассказ знакомого, порою газетная заметка. У меня, по крайней мере, все сюжеты заимствованные. *Что* случилось, драматург не должен придумывать; его дело написать, *как* оно случилось или могло случиться. Тут вся его работа. При обращении внимания в эту сторону у него явятся живые люди и сами заговорят.

Кроме этого общего воззрения, он упоминал о случае, когда перед драматургом является живое лицо, создается характер, ради выяснения которого он ставит действующего в различные положения. Оба эти объяснения соответствуют еще аристотелевскому делению драм на такие, где преобладает действие, и на такие, где главное внимание обращено на изображение характера.

В заключение несколько слов об Островском как о начальнике репертуара московских театров. Он занимал эту должность так недолго, что трудно сказать о нем в этом отношении что-либо положительное. Заслуга его перед московским театром велика, и именно в том, что, благодаря его настояниям и ходатайствам, московские театры получили самостоятельное бытие. Не следует думать, что устроить это было легко для Островского; тут потребовалось целых пять лет неустанных усилий [1]. Дело это в высшей степени полезное и настоятельно необходимое; этим оно отличается от обычных театральных реформ, в последнее время столь обильных. Малый театр всегда был литературнее Александринского, и начальствование из Петербурга не могло идти ему впрок.

Выражались опасения, что Островский за последнее время отстал от театра и знает актеров только по репетициям своих пиес, а потому будет пристрастен к известному актерскому кружку. В последний приезд Александра Николаевича из Москвы мне пришлось долго с ним беседовать именно о театре. Не было и тени пристрастия в его суждениях об актерах, он отдавал всем должное; он восстановил считки, о важности чего мне уже доводилось говорить; [2] по случаю «внезапной болезни» артистов, он сумел отдать роли вторым актерам, исполнившим их удачно. В великом посту он допустил к пробе всех желающих [3], и между массой негодных под-

метил талантливую ingénue * и весьма приличного jeune premier ** [4]. Он не верил, что актерские таланты выродились на Руси.

— Беда в том,— говорил он,— что у нас уж давно не дают хода молодым. Некому было их выдвигать.

Конечно, и против Островского, как против всякого начальника, уже начинали поговаривать. Когда Лаубе приглашали на подобную должность в Hof-Burg-Theater [5], то он просил заключить с ним контракт на пять лет.

— Почему именно на пять? — спросили его.

— Потому что первые три года у меня в театре будут только враги, а в остальные два найдутся уж и друзья.

Такова доля умного репертуарного начальства. И вот мне довелось слышать порицания Островскому за то, что он начал говорить о необходимости дисциплины в театре; есть ведь господа, полагающие, что писателям подобает проповедовать распущенность...

Вообще в последний приезд речи Островского звучали как-то особенно мудро и бодро, точно он желал с полной свободой высказать давно и много обдуманное. Только необычайная бледность лица не гармонизовала с душевной бодростью. Увы! блеск его ума был уже блеском заката...

---

* роль простушки *(франц.)*.
** первого любовника *(франц.)*.

С. В. Васильев

А. Н. ОСТРОВСКИЙ И НАШ ТЕАТР

<1>

<...> По моему убеждению, Островский был натурою глубоко художественною. <...>

Он был поэтом, но поэтом бессознательным, и конфузился, когда ему указывали проявления этого свойства.

На генеральной репетиции «Воеводы» в новой его редакции [1] я сидел в креслах подле Островского. В пятом акте, в сцене свидания Дубровина с женой, меня поразила удивительная прелесть замечания, которое молодая женщина делает горячо любимому мужу, свидясь с ним в первый раз после долгой разлуки. Оба в опасности; дорога каждая минута; и — что же? — молодая женщина внезапно обращает внимание на то, что у ее мужа ворот рубашки не вышит. «Кто шил тебе рубашки? — спрашивает она.— Когда мы жили вместе, я всегда вышивала тебе ворота!» Таков общий смысл; не помню подробностей и подлинных стихов. Но зато помню как теперь, что я не утерпел и тут же шепнул на ухо Островскому:

— Какая прелестная, *поэтическая* подробность!

— Мы, батюшка, *не поэты*,— шепнул в ответ Островский.— Простые русские люди; про рубашки говорим. Какая тут поэзия! <...>

<2>

<...> Как быстро летит время! Я помню с такою подробностью и ясностью, как будто это было вчера, рабочий кабинет Александра Николаевича в нижнем этаже дома князя Голицына против храма Христа Спасителя. Я точно вижу пред собой большой письменный стол у окна и сидящего за этим столом Александра Николаевича. Серый зимний день. Мы совершенно одни. Он только что сказал мне, на вопрос о здоровье его домашних, что их никого нет дома. Тишина в кабинете — удивительная, та идеальная тишина, при которой только и можно работать. Под влиянием этой тишины разговор наш идет если и не вполголоса, то в том тихом тоне, какой невольно принимает беседа двух людей, разделенных лишь доской письменного стола. И тем не менее Александр Николаевич наклоняется через стол и *шепчет* мне имена лиц, намечаемых им при готовящемся преобразовании в управлении московскими казенными театрами. Так и хочется сказать ему: «Уверены ли в этом человеке?» Не подлежит сомнению, что вопрос этот и был бы предложен, а весь разговор принял бы характер горячего спора, если бы при нем было еще несколько человек, присутствие которых разрушило бы обаяние этой тишины. Но теперь, с глазу на глаз с Александром Николаевичем, я *чувствую,* как я *двоюсь.* Мне хотелось бы возражать, спорить, предостерегать. Но обаяние личности оказывает свое чарующее влияние. Я весь отдаюсь впечатлению минуты, восприятию картины и центрального ее образа. Как удивительно верно рисует Пушкин это состояние:

В безмолвье на нее гляжу,
Свести глаза с нее нет силы,
И говорю ей: «как вы милы»,
И мыслю: «как тебя люблю» [2].

Очарование нарушается появлением в кабинете бойкого и умного мальчика, младшего сына [3] Александра Николаевича. Он приходит спросить, можно ли ему идти гулять. Александр Николаевич необыкновенно затрудняется ответом. Он не знает, какая на дворе погода. Матери нет дома. Не лучше ли подождать ее возвращения? Сколько любви теплится во взгляде, каким Александр

Николаевич смотрит на своего сына! Этот взгляд, полный бесконечной нежности, есть целое откровение. И этого человека называли и считали грубым реалистом, между тем как он обладал бесконечною тонкостью чувства, женственною нежностью и деликатностью сердца! Одна такая минута объяснения отца с его ребенком открывает более, нежели могут дать целые годы официального знакомства.

Соединенными усилиями ребенка и посетителя удалось уговорить Александра Николаевича отпустить сына погулять. Мы опять одни. Разговор возобновляется и начинает идти про театральную школу. Вопрос о театральной школе был одинаково больным местом у Александра Николаевича и у меня. Очень может быть, что со временем мы разошлись бы во взглядах на подробности. Но в основаниях мы были глубочайшим образом солидарны: Александр Николаевич, Сергей Андреевич Юрьев и я. Основания эти были: выработка дикции и декламации как основного умения будущего актера; выработка мимики и пластики. Александр Николаевич требовал, чтобы в театральной школе ни одно слово не произносилось учениками иначе, как со сцены. Он требовал, чтоб ученики, выучив роли известной пиесы, сыграли бы всю эту пиесу *мимически*, не произнеся ни одного слова вслух. Он рассказывал, каким удивительным, необыкновенным бременем показались ему его собственные руки и ноги, когда он вздумал где-то исполнить роль из собственной своей комедии. Я не имею понятия о том, где находится в настоящее время проект устройства драматических курсов, составленный Александром Николаевичем. Я не знаю даже, был ли он выработан вполне, во всех его подробностях, или же лишь в общих очертаниях. Не подлежит сомнению, что если этот проект существует, то он со временем выплывет наружу и будет напечатан в дополнительных томах полного собрания сочинений Александра Николаевича Островского [4]. Недаром же существует *история*, а эта история — совсем не шутка. <...>

Н. И. Тимковский

ПАТРИАРХ РУССКОЙ ДРАМЫ

(*Памяти А. Н. Островского*)

Я виделся с Александром Николаевичем в первый и последний раз в Москве, в гостинице «Дрезден» [1]. Меня направил к нему покойный М. П. Садовский.

Александр Николаевич сидел в теплой шубейке, но весь дрожал какой-то странной, мелкой дрожью, как человек, прозябший до костей. И внутри его что-то дрожало... После я понял, что его уже грыз тяжкий, предсмертный недуг, что он и тогда уж с трудом перемогался...

Несмотря на это, он необыкновенно участливо и вместе деловито, избегая лишних слов и всяких околичностей, заговорил со мной о моей пьесе, переданной ему М. П. Садовским. Пьеса представляла собой неуклюжую и наивную, чисто детскую попытку охватить в одном произведении чуть ли не всю русскую жизнь; но это не помешало Островскому беседовать со мной вполне серьезно.

— В вашей пьесе целых четыре пьесы, а может быть, и больше,— сказал он своим особенным, каким-то мило озабоченным тоном.

Глаза его были страшно усталыми, но полны жизни и мысли. Он не улыбался, не шутил, но сквозь его суровость просвечивало подкупающее простодушие, какое я замечал у иных ласковых и серьезных деревенских стариков.

Он незаметно увлекся, говорил с глубокой, проникновенной любовью о русской драме и театре, о задачах

его, с горечью отзывался о современном репертуаре, который стал каким-то «французско-нижегородским». В качестве заведующего репертуаром московского Малого театра мечтал о возрождении правды и жизни на сцене. Потом перешел к вопросу о форме драматических произведений, остановился на трудностях ее, требующих долгой, упорной работы.

По его словам, он так бился когда-то над сценарием «Бедной невесты», что, написав, слег и серьезно болел. Вообще, он всю жизнь напряженно работал над формой и овладел ею лишь к старости, «когда чувство и воображение остыли».

— Осенью приходите ко мне. Мы вместе разберем вашу пьесу подробно, сцену за сценой: вы увидите тогда наглядно, как не следует писать для сцены. А пока возьмитесь за какую-нибудь небольшую драматическую вещицу и поработайте над формой, а потом покажите мне.

До сих пор в ушах моих звучит неторопливый, вдумчивый голос, тихий и как бы задыхающийся. Я ушел от Александра Николаевича с вихрем новых мыслей, с горячим желанием поработать для театра. Мое впечатление от Островского можно было выразить словами: «Вот удивительно серьезный и сердечный человек!..» Я не подозревал тогда, что он — на краю смерти. Через месяц его не стало [2].

КРЕСТЬЯНЕ ОБ А. Н. ОСТРОВСКОМ

В селе Никола-Бережки всего несколько домов. В одном из них живет Иван Иванович Соболев, в другом Александра Михайловна Зернова. Ивану Ивановичу семьдесят шесть лет, а Александре Михайловне девяносто лет. Они хорошо помнят жизнь в усадьбе Островских, они могут многое рассказать о том далеком времени. <...>

— Мой отец, Иван Викторович Соболев, был специалист — резчик по иконостасной части,— говорит Иван Иванович.— Его работы можно и теперь увидеть в нашей церкви. Кроме этого, он делал весь ремонт мебели в усадьбе Островских и был принят там как свой человек.

Часто бывал с семьей Александр Николаевич в нашем доме. Моя мамаша угощала их всех медом, деревенскими колобками.

В те времена школ не было, учился я у дьякона две зимы и никак не мог одолеть трудную науку. Однажды Александр Николаевич пришел к нам (было это года за четыре до его кончины) и стал меня экзаменовать. Мало я что мог ответить или прочитать. Тогда он сказал мне: «Приходи, Ваня, в усадьбу, буду я с тобой заниматься».

Александр Николаевич занимался со мной несколько раз. Иногда он был занят и тогда направлял меня к гувернантке или к дочери Марии Александровне. Они со мной занимались долго. Так что грамоте я научился по-настоящему у Островских.

Я каждый день посещал Щелыково. Иногда Александр Николаевич рекомендовал меня своим гостям и

говорил: «Это мой любимый ученик Ваня». Помню, не приготовил я урока и думаю: поставит меня в угол Александр Николаевич. В угол он меня не поставил, а спросил: «Почему ты, Ваня, не приготовил урока?» Я ответил, что виноват, прогулял. Долго Александр Николаевич смотрел мне в глаза. Стыдно мне стало. С тех пор я всегда хорошо готовился к занятиям.

Иван Иванович Соболев подробно рассказывает нам о том, как он дружил с детьми великого драматурга.

— Бегал я часто в усадьбу к его сыновьям, нередко и они приходили к нам в Бережки. Катались мы на лодке, по деревьям лазили. Детей было шестеро: Александр, Михаил, Сергей, Николай, Мария и Любовь. У нас до реки рукой подать, только в овраг спуститься. У Островских своя лодка, у меня своя. Я уже тогда помогал отцу и начал столярничать, приделал к лодке колесо. Начнешь передвигать рычаг, колесо вертится — лодку несет. Приходили смотреть на нас взрослые из усадьбы, стали звать меня «Изобретатель-самоучка».

Подарил мне Александр Николаевич рожок, он и теперь у меня хранится. Такой же рожок был и у его детей. Соберутся они гулять, загудят в рожок на берегу реки. Я откликаюсь — значит, ждут.

Часто брал с собой на рыбалку Александр Николаевич маленького Ваню Соболева. С волнением вспоминает Иван Иванович это время.

— Сидели мы однажды с Александром Николаевичем на Куекше возле плотины и рыбачили. Большая щука оборвала леску. Александр Николаевич сильно опечалился. Я бросился в воду, чтобы схватить обрывок лески со щукой, но — увы! — опоздал. Щука ушла в глубину. Тогда Александр Николаевич сказал: «Что ж, Ваня, делать, не наше счастье». <...>

Вспоминает Иван Иванович и о любительских спектаклях в усадьбе Островского.

— Интересно нам, ребятишкам, было. Облетит слух — спектакль в усадьбе, мигом все прибежим. Выступали гости, жена, а на ролях попроще — парни и девушки из деревни и прислуга. Для устройства спектаклей был построен специальный сарай. Александр Николаевич, бывало, сидит впереди в кресле, смотрит, как играют, и что-то записывает в книжечку.

Хорошо помнит Иван Иванович те времена, когда в троицын день устраивались народные гулянья на ключе в Ярилиной долине. Здесь девушки и парни водили хороводы, пели народные песни. Сюда приезжали торговцы с разными товарами. Островский приходил на гулянье со всем семейством, покупал гостинцев и оделял молодежь за их задушевные песни и веселые пляски, ласково разговаривал с народом, шутил, смеялся. Многие песни он просил повторять несколько раз и записывал их в тетрадку.

— Когда Александр Николаевич бывал у моего отца, он рассказывал ему много интересных историй,— говорит Иван Иванович.— Припоминается, как однажды вечером Александр Николаевич рассказывал моему отцу, как он с братом на перекладных первый раз ехал из Москвы в Щелыково. Весь рассказ я, конечно, не запомнил, но отдельные места сохранились в памяти. Александр Николаевич очень хвалил город Ярославль, говорил, что этот город красиво расположен, понравилась ему в Ярославле набережная.

Рассказывал Александр Николаевич, как ночевали они на одном постоялом дворе. Расхваливал он одну девушку, которая прислуживала им. «Такой умницы да красавицы,— говорил он,— я еще не встречал. Нужно о ней написать».

Хорошо помнит Иван Иванович, когда в Бережках хоронили великого русского драматурга.

— Народу было видимо-невидимо. Вся округа запечалилась. Тогда мне было четырнадцать лет. Этот день врезался в памяти на всю жизнь. Из Москвы, Петрограда и других городов приехали друзья и знакомые писателя. Церковь, где проходила панихида, не могла вместить всех, кто пришел отдать последний долг великому человеку. Крестьянские ребятишки разместились на деревьях, на крышах, на церковной ограде. Около могилы Александра Николаевича друзья произносили речи и делились воспоминаниями. <...>

Девяностолетняя современница Островского Александра Михайловна Зернова отлично помнит, как она говорит, своего доброго барина.

— Глуховата стала, но вижу еще хорошо. Вы мне погромче говорите, погромче.

Мы встретили старушку неподалеку от церкви, где она, сидя на широком сосновом пне, наблюдала за пасущимися козами.

— Многое забылось. Память плоха стала, но скажу одно,— что Александр Николаевич хороший был писец. Писал он и в кабинете, и в лесу, сидя на лужайке, на берегу речки. Муж мой был дьякон. Голос у него был огромный. Все Островские ходили слушать его в церковь. А сам барин Александр Николаевич никогда в церковь не ходил. Он все театром занимался, представления разные репетировал.

Доброй души был человек. Крестьяне на него не обижались. Он им лес давал бесплатно и косить разрешал в своих лугах и усадьбе. Лично у меня была большая семья: пять сыновей и три дочери. Островские нам помогали, покупали одежду детям, платили за обучение.

Мне было двадцать восемь лет, когда умер Александр Николаевич. Жена его в это время с детьми была у нас в Бережках в церкви. Прибежал их работник и говорит: «Александр Николаевич скончался». Мария Васильевна, его жена, сначала не поверила, потом с ней сделалось дурно, страшно расстроилась.

Похороны были важные. Знаменитые люди прибыли из разных городов. Речей произносили много, все заслуги нашего барина отмечали. А Мария Васильевна еще двадцать лет прожила, часто заходила ко мне погоревать о муже и все плакала, плакала... <...>

Посещая с 1936 года Щелыково, бродя по окрестным деревням, я встречался с крестьянами, помнившими Островского.

Андрей Кузьмич Куликов из Новой деревни исправлял у Островских должность посыльного.

С сыном Андрея Кузьмича — Василием Андреевичем, или дедом Василием, как все его звали, мне посчастливилось встретиться в Новой деревне. Он хорошо помнил, как вместе с отцом бегал в усадьбу. И если Александр Николаевич бывал дома, рассказывал дед Василий, выйдет, бывало, на крыльцо, отцу указания даст, а меня к себе подзовет, по голове потреплет и спросит, как живу и учусь ли грамоте. И так, бывало, наставительно

скажет: «Учись, Вася, учись». А в праздники всегда давал нам сладости.

— По осени отец мой на реке жерлицы на ночь ставил. Стемнеет, бывало, он и уходит, и я за ним бегу лягушек на крючки цеплять. В ямах под корягами налимы водились, мы их и ловили. Вот так раз ставим мы снасти, смотрим, лодка по течению плывет, на носу смольняк горит. Подъезжает ближе, видим, стоит в лодке Александр Николаевич и в руке острогу держит — рыбу бьет. Охота эта большой сноровки требует. А на другой день пришел к нам в деревню и просит отца, не продаст ли он ему налимов. Отец только посмеялся, выбрал самого крупного и отдал Александру Николаевичу, а чтоб денег за это брать, отец и слышать не хотел. Не могу, говорит, такой грех на душу взять. Помогал нам много Александр Николаевич.

В деревне Субботино тихо доживала свой век Анна Никитична Смирнова, служившая по летам у Островских в качестве горничной. Она хорошо знала уклад жизни семьи драматурга, и рассказ ее не лишен интереса.

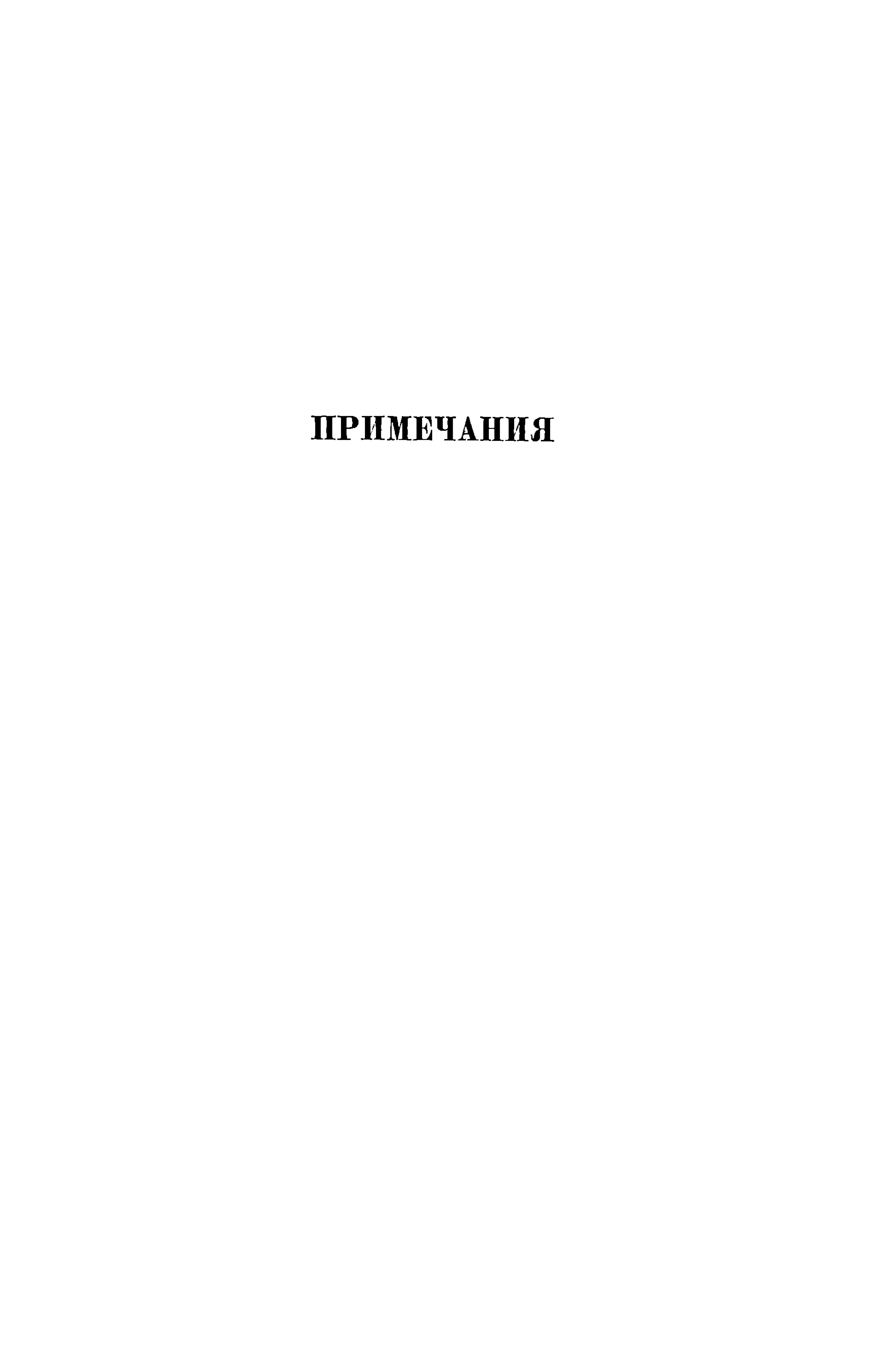
— По нашему крестьянскому обычаю, мы рано вставали,— начинала свой рассказ Анна Никитична.— Солнышко еще не высоко стояло, бежишь, бывало, на колодец за водой и видишь — спускается по тропке под гору Александр Николаевич с ведерком и удочками в руках. Любил он очень ловить рыбу и ловил каждое утро, даже в плохую погоду. Это когда не было работы. А когда начинал писать, то работал спозаранку допоздна; из кабинета выходил только к чаю, к обеду да к ужину. Работал он много, и мы, бывало, только удивлялись, как у него сил хватало. Семья была большая, а работник-то он был один. Бывало, не вытерпишь, улучишь минуту и скажешь ему: «Отдохнули бы, Александр Николаевич»,— а он только вздохнет и ответит: «Некогда, Аннушка, некогда, пьесу-то друзья ждут и в Москве и в Петербурге». Бывало, свет горел у него в кабинете за полночь. Любил он, чтобы вокруг него были люди. Ведь сколько народу гостило в усадьбе каждое лето. Весь флигель бывал занят. Приезжали знакомые актеры и друзья. А бывали и такие, которые пешком из

Кинешмы приходили — на лошадей денег не имели. И всех-то Александр Николаевич встречал с радостью, а которым и помогал.

Затейник был большой. Соберет, бывало, семью всю и гостей и поедут пить чай на реку Сендегу к деревне Сергеево. Место-то там больно красивое — луг большой, а кругом лес высокий. Ягод да грибов там было всегда много. Погуляют, ягод наберут и соберутся все у самовара, а из деревни ребятишки прибегут на приезжих поглядеть, и каждого Александр Николаевич конфетами оделял. И все это от души, да с добрым словом.

В деревне Ладыгино, примыкавшей к усадьбе, познакомился я с Василием Николаевичем Кожакиным, местным лесничим. Во время наших бесед и он поделился своими воспоминаниями.

— Был я тогда совсем еще маленьким, Александра Николаевича почти не помню и зря рассказывать не стану,— говорил Кожакин.— А вот хорошо запомнились мне похороны Александра Николаевича. От дома до церкви несли его на руках крестьяне. Дед мой нес крышку гроба, а я, ухватившись за край его рубахи, шел рядом. Приезжих из Москвы было не так уж много, а мужиков да баб из ближних и дальних деревень собралось большое множество. В церковь вошли только немногие, она у нас небольшая, остальные слушали службу, стоя под окнами. Время было летнее, жаркое, и окна были настежь отворены. Вернулся я с дедом домой, он и говорит мне: «Вот, Васька, помни, как мужик своего заступника в последний путь проводил». Я-то, конечно, не помню, только отец и дед всегда говорили об Александре Николаевиче как о заступнике за мужика у тогдашних властей.



ПРИМЕЧАНИЯ

Первые, хотя и очень скудные сведения об А. Н. Островском стали появляться в печати еще при его жизни. Так, Н. В. Берг в «Воспоминаниях о Гоголе» («Русская старина», 1872, № 1) рассказал о чтении в доме М. П. Погодина комедии «Свои люди — сочтемся!», а в «Московских воспоминаниях» (1884) [1] — о молодом Островском и его друзьях. О чтении той же нашумевшей в свое время комедии в доме В. А. Соллогуба упоминает в «Литературных воспоминаниях» (СПб. 1876, стр. 173) И. И. Панаев. В 1881—1884 годах И. Ф. Горбунов печатал в «Новом времени» фрагменты своих мемуаров.

Воспоминания, специально посвященные Островскому, начали печататься лишь после его смерти. Уже в 1886 году были опубликованы мемуары С. В. Васильева (Флерова), Д. В. Аверкиева, С. Н. Худекова, Ф. А. Бурдина. В последующем их появление приурочивалось, как правило, к годовщинам рождения или смерти драматурга.

В 1923 году, к столетию со дня рождения А. Н. Островского, была напечатана первая библиография воспоминаний о нем, включавшая 35 названий [2]; из них 13, преимущественно в отрывках и извлечениях, опубликованы в сборнике, составленном Н. М. Мендельсоном: «Александр Николаевич Островский в воспоминаниях современников и его письмах», М. 1923. В то же время юбилейное чествование памяти Островского вызвало публикацию новых мемуаров.

---

[1] Если упомянутое в преамбуле воспоминание включено в настоящий сборник, библиографические сведения к нему не указаны. Их можно найти на соответствующей странице примечаний.

[2] Н. К. Пиксанов, Островский. Литературно-театральный семинарий, Иваново-Вознесенск, 1923, стр. 85—86.

К 1931 году общее количество воспоминаний об Островском, вместе с отдельными эпизодами, приведенными в работах, посвященных другим писателям, достигло 212 [1].

В процессе подготовки предлагаемого читателю сборника были обнаружены в старых газетах и журналах еще не зарегистрированные в библиографии воспоминания С. Н. Худекова, Л. Новского, В. А. Герценштейна, Н. И. Тимковского, К. В. Загорского, К. Н. Де-Лазари. В литературных архивах найдены непубликовавшиеся ранее воспоминания М. Г. Савиной, Н. А. Дубровского, М. И. Семевского, Т. Ф. Склифосовской, А. Ф. Некрасова. Впервые публикуются нами также воспоминания крестьян щелыковских окрестностей в записи В. А. Маслиха.

Настоящий сборник воспоминаний о А. Н. Островском — это первая попытка собрать воедино мемуары о драматурге. Но вошли сюда, естественно, лишь наиболее значительные воспоминания. Опущены, например, воспоминания, которые повторяют отдельные эпизоды, вошедшие уже в публикуемые нами более важные и интересные мемуары. Таковы, например, сведения Старого театрала («И мои воспоминания об А. Н. Островском».— «Аккорд», 1886, № 31) о музыкальных влечениях драматурга; И. Н. Захарьина (Якунина) («Встречи и воспоминания», СПб. 1903, стр. 300—301) о его скромности; И. А. Салова («Из воспоминаний».— «Исторический вестник», 1906, № 10, стр. 184—185) о его благожелательности; В. Лихачева («Из театральных воспоминаний».— «Театр и искусство», 1908, № 42) о присутствии Островского в 1886 году на петербургском собрании Общества драматических писателей. Артисты О. О. Садовская и Г. Н. Федотова («Русское слово», 1911, № 125), К. А. Варламов («Петербургская газета», 1911, № 148) рассказывают об огромном авторитете Островского в театральной среде. Н. С. Васильева («Отрывок из воспоминаний».— «Ежегодник императорских театров», 1909, вып. 1), В. Н. Рыжова (В. Шевцов, Рассказ современницы Островского.— «Вечерняя Москва», 1948, № 85) делятся своими впечатлениями о мастерском чтении драматурга. А. Я. Глама-Мещерская пишет о постановке комедии «Свои люди — сочтемся!» в Пушкинском театре 30 апреля 1881 года («Воспоминания», «Искусство», 1937, стр. 168—169). Отдельные любопытные детали о службе А. Н. Островского в императорских театрах находятся в воспоминаниях Д. И. Мухина («Из воспоминаний об Островском».— «Московские ведомости», 1900, №№ 148, 150).

---

[1] А. Ревякин, Островский и его современники. Островский в воспоминаниях современников. Библиография. Внутреннее описание, «Academia», М.—Л. 1931.

Среди отвергнутых нами воспоминаний имеются явно выдуманные, вроде сообщения о серебряном венке, якобы подаренном Островским артисту Г. А. Выходцеву (Н. Н. Синельников, Шестьдесят лет на сцене, Харьков, 1935, стр. 178—179).

Не вошли в сборник и сугубо пристрастные, искажающие облик А. Н. Островского мемуары Е. М. Феоктистова («Глава из воспоминаний».— «Атеней. Историко-литературный временник», 1926), Д. В. Григоровича («Литературные воспоминания».— Полн. собр. соч., т. 12, 1896, стр. 312—313), Александра Соколова («Из воспоминаний старого театрала».— «Театральный мирок», 1892, №№ 31, 34).

Вошедшие в сборник воспоминания расположены по возможности в хронологической последовательности.

Печатаются воспоминания, как правило, по последней прижизненной публикации. Отступления от этого правила оговариваются в примечаниях.

Тексты многих воспоминаний даются с сокращениями: опущен, например, материал, не имеющий прямого отношения к биографии и творчеству Островского или известный мемуаристам не по личным наблюдениям, а по документам, ныне уже опубликованным, исключены также прямые заимствования из воспоминаний других лиц (так, С. В. Максимов широко пользовался предоставленной в его распоряжение рукописью мемуаров И. Ф. Горбунова, впоследствии напечатанных). Пропуски в примечаниях не оговариваются, но в тексте обозначаются отточиями в угловых скобках — <. . .>. Отрывки из текста также оформляются отточиями в угловых скобках в начале и в конце отрывка. Если же отрывок представляет собой нечто законченное (например, целиком главу из воспоминаний) или в подзаголовке текста есть указание, что это отрывок, отточия не ставятся.

Недописанные в оригиналах фамилии и отдельные слова даны полностью. Угловые скобки использованы лишь в тех случаях, когда расшифровка вызывает хотя бы некоторые сомнения.

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Барсуков — Ник. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. II, СПб. 1897.

ГБЛ — Рукописный отдел Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина.

ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР (Пушкинский дом).

Музей — Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина.

Новые матерьялы — сб. «Островский. Новые матерьялы. Письма. Труды и дни. Статьи». Л. 1924.

Островский — Полное собрание сочинений, тт. I—XVI, Гослитиздат, М. 1949—1953.

Письма — Неизданные письма к А. Н. Островскому, «Academia», М.—Л. 1932.

Сб. «Островский» — сб. «Островский», изд. Русского театрального общества, М. 1923.

Сб. статей — сб. «Александр Николаевич Островский. Сборник статей к столетию со дня рождения». Иваново-Вознесенск, 1923.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства СССР.

ЦГИАЛ — Центральный государственный исторический архив в Ленинграде.

В. З. Головина (Воронина)

МОЕ ЗНАКОМСТВО С А. Н. ОСТРОВСКИМ

Вера Захаровна Головина (Воронина) — писательница, печатавшаяся в 1863—1911 годах в журналах «Отечественные записки», «Русское обозрение», «Исторический вестник».

Как указано самой мемуаристкой при первой публикации воспоминаний, они написаны в июне 1896 года. В том же году в августовской книжке «Русского обозрения» воспоминания напечатаны под заглавием «Островский в Самаре». При перепечатке мемуаров в «Историческом вестнике» (1911, № 7) Головина изменила заголовок и внесла много исправлений в текст.

[1] *Стр. 29.* В Самаре А. Н. Островский прожил около четырех недель в январе — феврале 1849 года.

[2] *Стр. 29.* В московском Коммерческом суде.

[3] *Стр. 31.* Воспитанницы закрытых привилегированных учебных заведений — Смольного и Патриотического института в Петербурге.

[4] *Стр. 34.* И. Ф. Горбунов был не только блестящим чтецом и рассказчиком, но и хорошим актером. Некоторые роли ему очень удались, например, роль Кудряша в «Грозе» А. Н. Островского.

[5] *Стр. 34.* См. стр. 70.

[6] *Стр. 35.* «Прекрасная Елена» — оперетта Жака Оффенбаха, написана в 1864 году.

Н. В. Берг

<МОЛОДОЙ ОСТРОВСКИЙ>

Николай Васильевич Берг (1823—1884) — товарищ А. Н. Островского по гимназии. По окончании гимназии они потеряли друг друга из виду и встретились вновь лишь в самом конце 1849 года,

когда Н. В. Берг, поэт и переводчик, уже приобрел известность. Первая половина пятидесятых годов, вплоть до отъезда Н. В. Берга во время Крымской войны в Южную армию,— период самого близкого знакомства его с драматургом. Они часто виделись на собраниях членов «молодой редакции» журнала «Москвитянин», у Островского, у общих знакомых (А. Григорьева, Е. Эдельсона), в литературных салонах (у Е. П. Ростопчиной) и т. д. В эти годы Н. В. Берга соединяла с А. Н. Островским общность идейно-эстетических позиций, любовь к устной поэзии и народному языку. Именно этим временем и ограничиваются воспоминания Н. В. Берга об Островском.

<1>

Первый отрывок в воспоминаниях Н. В. Берга взят нами из его статьи «Графиня Ростопчина в Москве», написанной в 1883 году для журнала «Исторический вестник», в котором и была напечатана в 1893 году, № 3.

[1] *Стр. 36.* Алексей Дьяков славился кутежами и скандалами, а также сочинительством порнографических стихов и поэм. За П. С. Мочаловым Дьяков следовал повсюду неотступно и великолепно его имитировал. После смерти Мочалова Дьяков привязался к Н. А. Дубровскому (о нем см. на стр. 578), который в качестве бытового монстра ввел его в круг «молодой редакции».

[2] *Стр. 37.* Е. П. Ростопчина.

[3] *Стр. 39.* Будучи по своим общественно-политическим взглядам ярым монархистом, ревностным защитником реакционной «теории официальной народности», М. П. Погодин до конца не примыкал ни к одной из существовавших тогда общественно-политических группировок, ухитряясь в то же время сотрудничать с людьми, довольно далекими от него по своим воззрениям. Стоял Погодин, конечно, ближе всего к славянофилам, но это не помешало ему после Крымской войны делать значительные уступки либеральному западничеству, говоря о необходимости сближения с Европой, проведения ряда реформ и т. д. В своем журнале «Москвитянин» Погодин допускал существование часто противоречащих друг другу «молодой» и «старой» редакций, что вызывало удивление и насмешки в тогдашней прессе («Современник», 1851, № 5, стр. 51; «Отечественные записки», 1851, № 4, стр. 91).

[4] *Стр. 39.* Пригласить А. Н. Островского на чтение к М. П. Погодину было поручено самому Бергу.

[5] *Стр. 39.* Как известно из «Дневника» М. П. Погодина (ГБЛ), чтение состоялось 3 декабря 1849 года.

[6] *Стр. 39.* С. П. Шевырев из-за болезни на чтении не присутствовал.

[7] *Стр. 39.* Автор баллады «Насильный брак» («Северная пчела», 1846, № 284) — Е. П. Ростопчина. В аллегорической форме средневековой легенды стихотворение осуждало политику царского правительства в Польше. Булгарину за публикацию баллады сделали внушение, а Ростопчину выслали в Москву (А. В. Никитенко, Дневник, т. I, Гослитиздат, М. 1955, стр. 299—301).

[8] *Стр. 40.* По свидетельству современников, на Н. В. Гоголя произвела «большое впечатление» (Барсуков, стр. 65) уже первая пьеса Островского — «Картина семейного счастья» (позднее стала называться «Семейная картина»). Но особенный интерес он проявил к комедии «Свои люди — сочтемся!». Прослушав ее в исполнении Садовского, о чем сообщает М. И. Семевский (см. на стр. 136), Гоголь пришел и на чтение пьесы у Погодина. С Островским в этот раз он не говорил, но комедия ему явно нравилась (Барсуков, стр. 71); известно, что, написав на листке бумаги одобрительный отзыв, он передал его через Погодина молодому драматургу (И. И. Смирнов, Александр Николаевич Островский.— Сб. статей, стр. 22). Гоголь пошел слушать комедию и в третий раз, на чтение у Е. П. Ростопчиной, где и познакомился с Островским (см. воспоминания М. И. Семевского, стр. 137). Сохранился еще один отзыв Гоголя о «Своих людях», в записи Д. К. Малиновского: однажды в присутствии Гоголя кто-то, заметив, что комедия «от первой строки до последней написана узорчатым языком», спросил: «Что было бы с нею, если бы все ее разговоры перевести на обыкновенный простой язык?» — «Да,— сказал Гоголь,— может быть, она тогда кое-что потеряла бы. По моему мнению, автор сделал в своей пьесе то упущение, что старик отец в последнем акте вдруг, без всякого ведома и ожидания читателя и зрителя, является узником. Я на месте автора предпоследнее действие непременно окончил бы тем, что приходят и берут старика в тюрьму. Тогда и зритель и читатель были бы ощутительно приготовлены к силе последнего акта» (И. Малиновский, Знакомство Гоголя с моим отцом.— Записки Общества истории, филологии и права при императорском Варшавском университете, вып. 1, Варшава, 1902, стр. 90—91). Но, не соглашаясь в отдельных случаях с автором «Своих людей», Гоголь высоко ценил его талант. В записке к Е. П. Ростопчиной, сетуя на цензурные злоключения комедии молодого драматурга, он пишет: «Дай ему бог успеха во всех будущих трудах. Самое главное, что есть талант, а он везде слышен»

(И. И. Смирнов, Александр Николаевич Островский.— Сб. статей, стр. 23).

[9] *Стр. 41.* Славянский (Агренев) Дмитрий Александрович (1834—1908) — певец, руководитель псевдонародного хора, пользовавшегося, однако, в семидесятых — восьмидесятых годах XIX века огромной популярностью у «полуграмотной публики» (П. Чайковский, Полн. собр. соч., т. II, Госмузиздат, М. 1953, стр. 301). Славянский обрабатывал народные песни, обычно грубо искажая их, что вызывало возмущение передовой общественности того времени. О поделках Славянского П. И. Чайковский говорил, что они так же далеки от музыки, как лубочные издания от литературы, созданной Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем и Кольцовым (там же, стр. 288).

[10] *Стр. 41.* Субботы Ростопчиной начались еще до ее знакомства с А. Н. Островским (3 декабря 1849 г.). 31 января 1850 г. Берг сообщал Островскому: «Графиня Ростопчина давно ожидает Вас к себе и жалеет, что Вы до сих не были; <...> у ней начинают собираться часу в десятом вечера и сидят не далее часу пополуночи» (Письма, стр. 21). Графиня весьма желала, чтобы Островский и его друзья составили основу ее литературных вечеров, готова была потеснить *«стариков* им антипатичных и против шерстки» (там же, стр. 489). А. Н. Островский впервые попал на субботы Ростопчиной в начале 1851 года. Посещал он их, однако, нерегулярно, а потом все реже и реже. Субботы Ростопчиной не могли всерьез заинтересовать драматурга, поскольку литературными вечерами они не стали, превратившись вскоре в обычный салон дамы-аристократки, где чтение скучных и бессодержательных ее произведений перемежалось со светской болтовней. Несомненно, на отчуждение Островского повлияла и все возраставшая в пятидесятые годы реакционность Е. П. Ростопчиной.

[11] *Стр. 43.* Н. Ф. Щербина писал лишь текст к карикатуре, а рисовал ее художник Н. А. Степанов. Впервые опубликована она в альбоме «Знакомые», СПб. 1857. Под карикатурой написано: «Чтение драмы в пяти актах, с интермедией, прологом и эпилогом, под названием: «Неистовый якута и влюбленная маркиза, или Катакомбы на Чукотском носу». (Чтоб драма была до конца всеми прослушана, приняты надлежащие меры.)» Среди гостей графини Ростопчиной на рисунке изображены А. А. Григорьев, А. Н. Островский, М. П. Погодин, М. С. Щепкин и др.

[12] *Стр. 44.* Занимаясь на службе в Коммерческом и Совестном судах преимущественно делами купцов, А. Н. Островский встречал в их кругу иногда довольно интересных людей. Таким, например, был И. И. Шанин, талантливый рассказчик, человек, отлично знав-

ший не только быт купцов, но и все хитрости и тонкости их торговых махинаций. С Шаниным драматург оставался в дружеских отношениях в течение всей своей жизни. Мочалов, как и схожий с ним Горячев (см. воспоминания В. М. Минорского, стр. 312), привлекал Островского редким в этой среде стремлением к культуре. Наблюдения над этими лицами, в особенности над Горячевым, были использованы драматургом при создании образа Андрея Титыча Брускова в пьесах «В чужом пиру похмелье» и «Тяжелые дни».

[13] *Стр. 45.* Н. В. Берг допускает неточность: посещать дом Ростопчиной Островский стал почти через год после опубликования в «Москвитянине» комедии «Свои люди — сочтемся!».

[14] *Стр. 45.* Осенью 1849 года Островский послал в драматическую цензуру только что законченную комедию «Банкрот, или Свои люди сочтемся!», а 23 ноября, по докладу цензора М. А. Гедеонова, она была запрещена. Несмотря на запрещение, пьеса, однако, приобрела широкую известность в рукописи, в чтениях автора и артиста П. М. Садовского. М. П. Погодин, издатель единственного тогда в Москве литературно-художественного журнала «Москвитянин», решил привлечь Островского к сотрудничеству в своем журнале (подробнее об этом см. вступительную статью, стр. 6—7), и при его связях в Московском цензурном комитете ему удалось добиться того, что, по словам самого Островского, цензура «не прикоснулась к его комедии» (М. И. Семевский, «Банкрот. Свои люди — сочтемся».— «Русская старина», 1891, № 4). Были исключены лишь слова свахи: «Комиссару без штанов» (д. 4, явл. 2) и слова Подхалюзина: «...а то мы и за квартальным пошлем» (д. 4, явл. 3) (см. С. Переселенков, Два отрывка из рукописей А. Н. Островского.— Новые матерьялы, стр. 44).

Н. Барсуков утверждает, что переименование «Банкрота» произошло «по распоряжению цензуры, боявшейся оскорбить купцов» (Барсуков, стр. 76), но думается, что более правильно сообщает об этом факте И. А. Купчинский, который пишет, что о переименовании пьесы просил Островского Погодин (см. воспоминания Купчинского, стр. 229). И скорее Купчинского, а не Барсукова, подтверждают и воспоминания М. И. Семевского, у которого читаем: «На первой странице рукописи написано вверху: «Банкрот». «Так я хотел первоначально наименовать свою комедию,— говорил нам Островский,— но, вспомнив, что это будет по разным причинам неудобно, заменил его русскою пословицею» (М. И. Семевский, «Банкрот. Свои люди — сочтемся».— «Русская старина», 1891, № 4).

Появление комедии в печати («Москвитянин», 1850, № 6) вызвало переполох в официальных кругах, заинтересованных в сохранении престижа купеческого сословия, одного из столпов российской империи. Заволновались и сами купцы, написали жалобу на Островского. О случившемся доложили царю Николаю I, и тот потребовал передать комедию на рассмотрение в Комитет, созданный 2 апреля 1848 года для контроля над произведениями, уже появившимися в печати. Комитет выразил неудовольствие отсутствием в пьесе положительных героев. По его мнению, драматург обязан был показать, что «злодеяние находит достойную кару еще на земле». В результате Комитет к постановке на сцене комедию не рекомендовал, а царь на его отрицательном заключении написал: «Совершенно справедливо, напрасно печатано, играть же запретить...» (Н. В. Д р и з е н, Драматическая цензура двух эпох, 1825—1881, изд. «Прометей», стр. 89).

В 1858 году, готовя первое собрание своих сочинений, драматург обратился в цензуру за разрешением о включении в него и «Своих людей». Цензура потребовала новых и существенных изменений в тексте пьесы. В частности, была внесена заключительная сцена с квартальным, сообщающим Подхалюзину, что он, по «предписанию начальства», должен представить его к следственному приставу — по делу о сокрытии имущества несостоятельного купца Большова. Только после того, как Островский согласился на это, пьеса была пропущена цензурой и вошла в том I «Сочинений» Островского, изданных Г. А. Кушелевым-Безбородко в 1859 году.

Одновременно Островский хлопотал в специальной драматической цензуре о разрешении пьесы к постановке на сцене. После новых искажений пьесы цензурою в декабре 1860 года постановка ее была разрешена, и уже в январе 1861 года ее играли два ведущих театра страны (см. прим. 3 к воспоминаниям П. Д. Боборыкина, стр. 549). Лишь в 1881 году благодаря ходатайству брата драматурга М. Н. Островского, бывшего в то время министром государственных имуществ, «Свои люди» были разрешены к представлению в первоначальной редакции.

[15] *Стр. 45.* Переговоры А. А. Краевского с А. Н. Островским о комедии «Свои люди — сочтемся!» подтверждаются и другими свидетельствами, например, записью М. П. Погодина в дневнике 25 марта 1850 года (ГБЛ). По свидетельству И. А. Купчинского, эти переговоры не имели успешного завершения, так как петербургская цензура не решилась одобрить пьесу к публикации (см. стр. 229).

[16] *Стр. 46.* Слова короля Ричарда из хроники В. Шекспира «Ричард III», акт V.

[17] *Стр. 46.* «Свои люди — сочтемся!» игрались в доме С. А. Пановой в 1861 году.

<2>

Отрывок взят из статьи «Московские воспоминания. 1845—1855», написанной в 1884 году и тогда же напечатанной в журнале «Русская старина», № 6.

[18] *Стр. 46.* А. Н. Островский был среди тех, кто нес гроб Н. В. Гоголя.

[19] *Стр. 46.* Речь идет об актрисе Малого театра Л. П. Никулиной-Косицкой.

И. Ф. Горбунов

ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Иван Федорович Горбунов (1831—1895) — писатель, артист, мастер устных комических рассказов из народного быта.

С А. Н. Островским Горбунов познакомился, очевидно, в конце 1849 — начале 1850 года и был наиболее близок с ним в 1853—1855 годах.

Под влиянием Островского Горбунов начал писать драматические сцены, при его содействии и покровительстве стал актером и в 1856 году был принят в труппу Александринского театра в Петербурге. Среди сыгранных им ролей из пьес Островского наиболее удачна роль Кудряша из «Грозы».

Живя с 1855 года постоянно в Петербурге, Горбунов выполнял многие поручения драматурга, проводил его пьесы через Литературно-театральный комитет, цензуру, вступал в переговоры с дирекцией театра, читал корректуры пьес и т. д. Островский высоко ценил устные рассказы Горбунова из жизни простого народа, мастеровых, купечества; восхищался его живостью, веселостью, остроумием. С ним драматург поехал в 1862 году в заграничное путешествие, а в 1865 году совершил поездку по Волге. И. Ф. Горбунов часто гостил у Островского в Москве и в усадьбе Щелыково.

В воспоминаниях И. Ф. Горбунова отразились ранние, московские годы его знакомства с Островским, когда он виделся с ним ежедневно. Отдельные главы воспоминаний публиковались в газете «Новое время» (1881, № 1778; 1884, №№ 2852, 2872, 2879) под заглавиями: «Из моего дневника 1855 года», «Из моего дневника 1853—

1854 годов», «Из моего дневника 1850—1855 годов»,— и это дает основание предполагать, что в начале восьмидесятых годов Горбунов обработал для печати свои старые дневниковые записи. В законченном виде воспоминания впервые появились в изданных посмертно Сочинениях И. Ф. Горбунова, т. 2, СПб. <1901>, откуда перепечатаны и нами.

[1] *Стр. 47.* Н. В. Берг (о нем см. на стр. 509) в конце сороковых годов был преподавателем русского языка в Училище живописи, ваяния и зодчества, где в это время учился И. Ф. Горбунов.

[2] *Стр. 48.* Под надзор полиции А. Н. Островский был взят по личному распоряжению Николая I после того, как тот ознакомился с комедией «Свои люди — сочтемся!» (см. прим. 39 к воспоминаниям С. В. Максимова, стр. 528).

[3] *Стр. 49.* Причина этой «нахлобучки» неизвестна.

[4] *Стр. 49.* То есть самой большой люстры, которая убиралась вверх, на чердак, и спускалась в зал перед началом представления.

[5] *Стр. 49.* Комедия А. Н. Островского «Не в свои сани не садись» впервые была поставлена на сцене московского Малого театра 14 января 1853 года.

[6] *Стр. 49.* Куплет из водевиля П. Г. Григорьева «Ямщики, или Как гуляет староста Семен Иванович» (СПб. 1867, стр. 16). Этот псевдопатриотический водевиль впервые поставлен на сцене Александринского театра в Петербурге 14 ноября 1844 года. В. Г. Белинский мимоходом саркастически заметил, что «водевиль без просыпа пьян от первой строки до последней; от него несет сивухою, и потому он — *русский народный водевиль*, как сказано в заглавии» (В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. VIII, изд. АН СССР, М. 1955, стр. 645). Водевиль долгое время охотно ставился императорскими театрами. Так же примитивны и другие комедии и водевили П. Г. Григорьева, которых он написал свыше тридцати («Филатка и Мирошка — соперники», «Еще купцы 3-й гильдии» и т. д.).

[7] *Стр. 50.* Во время Крымской войны (1853—1856).

[8] *Стр. 50.* Пьеса П. Г. Григорьева «Подвиг Марина при пожаре московского Большого театра» явилась откликом на пожар в Большом театре, происшедший 11 марта 1853 года, во время которого кровельщик Марин, взобравшись по водосточной трубе под самую крышу, спас театрального плотника. Эта скучная, донельзя растянутая пьеса написана главным образом ради прославления якобы доброго, простого царя Николая I, принявшего Марина и наградившего его медалью.

[9] *Стр. 51.* Сцены из купеческого быта «Просто случай» И. Ф. Горбунова помещены в сентябрьском номере журнала.

[10] *Стр. 51.* Спектакль «Не в свои сани не садись», в котором А. Н. Островский играл роль Маломальского, был поставлен в доме С. А. Пановой 16 ноября 1853 года. По воспоминаниям С. В. Энгельгардт, Островский выступал здесь также в роли Подхалюзина из собственной комедии «Свои люди — сочтемся!» и Моцарта из трагедии «Моцарт и Сальери» А. С. Пушкина (Ольга N. Из воспоминаний.— «Русское обозрение», 1890, № 11, стр. 111).

[11] *Стр. 52.* Б. Н. Алмазов выступил («Москвитянин», 1851, №№ 7—10, 12) с действительно остроумной, но чрезвычайно легковесной и безосновательной критикой в адрес «Современника», обвиняя журнал в практицизме, великосветскости, в бестактной критике, в неуважительном отношении к корифеям литературы и т. д. В «Сне по случаю одной комедии» Алмазов, восхваляя комедию Островского «Свои люди — сочтемся!», пытается «защитить» ее от якобы «нападок» со стороны «Современника». И. И. Панаев (под псевдонимом «Новый поэт») дал отпор «Москвитянину», заявив, что комедия «принадлежит к замечательным произведениям русской литературы и вовсе не нуждается в такого рода сонных панегириках». Но вообще в «Современнике» не придавали серьезного значения фельетонам Алмазова и относились к ним как к безвредным, забавным «финтифлюшкам» («Заметки Нового поэта о русской журналистике».— «Современник», 1851, №№ 5—8).

[12] *Стр. 52.* Речь здесь идет об отрывке из поэмы Б. Н. Алмазова «Крестоносцы», завершенной в 1853 году.

[13] *Стр. 53.* Утешительный — действующее лицо из пьесы Н. В. Гоголя «Игроки».

[14] *Стр. 53.* Эта роль была впервые исполнена П. М. Садовским в 1853 году.

[15] *Стр. 54.* О взаимоотношениях М. С. Щепкина и А. Н. Островского см. вступительную статью, стр. 13—14.

[16] *Стр. 54.* Стихотворение немецкого революционного поэта Фердинанда Фрейлиграта «Requiescat!» (1846), в русском переводе известное под названием «Труженик». В России оно было запрещено цензурой, и М. С. Щепкин читал его под видом монолога переплетчика Жакара из пьесы Фурнье «Станок Жакара». «Труженик» впервые опубликован у нас в переводе Ф. Б. Миллера в книге «Стихотворения Ф. Б. Миллера», кн. I, М. 1860, стр. 246.

[17] *Стр. 56.* Поэт Н. Ф. Щербина всегда предвзято относился к А. Н. Островскому, неоднократно писал на него эпиграммы, хотя и сам порою сознавался, что они часто являлись «клеветою на нормальное чувство» и были написаны «в минуту ипохондрии» (Нико-

лай Щербина, Альбом ипохондрика, изд. «Прибой», Л. 1929, стр. 14). Эпиграмма, явившаяся вскоре после появления пьесы «Бедность не порок», такова:

Со взглядом пьяным, взглядом узким,
Приобретенным в погребу,
Себя зовет Шекспиром русским
Гостинодворский Коцебу.

В эпиграмме выразилось отношение к пьесе Островского либеральных западников. Поначалу это было еще очевиднее, ибо вторая строчка читалась так: «Вступая с западом в борьбу». Кличка «гостинодворский Коцебу» была подхвачена во враждебных Островскому кругах и бытовала очень долго.

Распространилась эпиграмма в устной передаче. Напечатана впервые в Полн. собр. соч. Н. Ф. Щербины, СПб. 1873, стр. 302.

Август Коцебу (1761—1819) — немецкий писатель и драматург, один из создателей мещанской комедии и мелодрамы.

[18] *Стр. 56.* Речь идет о «Скупом рыцаре» А. С. Пушкина.

[19] *Стр. 56.* Славянофилы, вопреки утверждению И. Ф. Горбунова, отнюдь не воздавали «коемуждо по делам его». Так, А. А. Григорьев вскоре после появления комедии А. Н. Островского «Бедность не порок» выступил в «Москвитянине» (1854, № 3—4) со стихотворением «Искусство и правда. Элегия — ода — сатира», где, неистово восхваляя Островского и его комедию, противопоставлял русское национально-самобытное искусство западному. В частности, превознося игру Садовского в роли Любима Торцова, Григорьев совсем неосновательно отрицал талант французской актрисы Элизы Рашель, у которой будто бы «нет живого чувства... правды нет...».

Представлявший в данном случае точку зрения западников, Н. Ф. Щербина ответил Григорьеву эпиграммой «После чтения одной «Элегии — оды — сатиры», в которой, обращаясь к Островскому, писал:

Друзьями назвал ты всех пьяниц, всех шутов,
Всех парий нравственных и крикунов позорных...
Ужель ты дорожишь восторгами глупцов
И пискотней похвал безграмотных и вздорных?
Тебе сплели венок из листьев белены
И пенник и дурман несут на твой треножник
Лишь «Москвитянина» безумные сыны
Да с кругу спившийся бессмысленный художник.

(Н. Щербина, Стихотворения, «Советский писатель», 1937, стр. 197).

[20] *Стр. 56.* В «Литературном объяснении», напечатанном в «Московских ведомостях» (1856, № 80), А. Н. Островский подробно описал историю создания комедии «Свои люди — сочтемся!». К осени 1846 года комедия «в общих чертах была уже задумана», некоторые ее сцены набросаны и читались многим лицам. Тогда же драматург рассказал сюжет пьесы пришедшему к нему Гореву и тот «предложил начать обделку сюжета вместе». Островский, всегда в высшей степени благожелательно относившийся к сотрудничеству и неоднократно предлагавший его своим ближайшим друзьям, охотно на это согласился. Он и Горев совместно «занимались три или четыре вечера»: Горев писал, а Островский большею частью диктовал. «Таким образом было написано четыре небольших явления первого действия (около шести писанных листов)». В последний вечер Горев объявил Островскому о своем отъезде из Москвы. «Тем и ограничилось его сотрудничество». Временно прекратил работу над комедией и Островский. Весной 1847 года Островский снова вернулся к своей комедии, коренным образом изменил ее план и начал обработку пьесы уже в новом виде. Отличаясь крайней щепетильностью в вопросах авторства, не желая присвоить себе даже нескольких строчек и фраз Горева, драматург поспешил напечатать приготовленный совместно с Горевым отрывок из первого действия комедии (в начальной редакции) в «Московском городском листке» (1847, № 7) за двумя подписями: А. О. и Д. Г.

В 1849 году Островский завершил комедию, в 1850 году она была опубликована в журнале «Москвитянин», № 6, а уже с 1851 года начали распространяться слухи, будто комедия «Свои люди — сочтемся!» принадлежит не Островскому, а провинциальному актеру Д. А. Гореву-Тарасенкову. Источником слухов был, очевидно, Горев. Островский, узнав о клевете, попытался обратиться к благоразумию и благородству Горева, прося его выступить с опровержением. Но Горев, к этому времени уже опустившийся, постоянно пьяный, психически неполноценный, отверг эту просьбу. Подогреваемый литературными противниками Островского, в частности — издателем журнала «Отечественные записки» А. А. Краевским, он возмечтал о литературной славе и все более нагло обвинял драматурга в присвоении якобы отданной ему на просмотр комедии «Свои люди — сочтемся!». Клеветнические слухи о плагиате были подхвачены реакционерами, которым претил демократизм Островского, и некоторыми либеральными западниками, видевшими в драматурге поборника враждебного им славянофильства. С переходом Островского в 1856 году в журнал «Современник» клеветнические нападки на драматурга усилились и проникли в печать. Шельмуя

Островского, реакционеры и либералы пытались бросить тень на враждебный им журнал революционных демократов. В «Ведомостях московской городской полиции» и в «Санкт-Петербургских ведомостях» появились вызывающе-крикливые фельетоны, рассчитанные на сенсацию и скандал. Островского обвиняли в том, что он, систематически сотрудничая с Горевым, скрыл его участие в создании комедий «Семейная картина», «Свои люди — сочтемся!» и последующих пьес. Особенно активно действовал князь Н. С. Назаров (псевдонимы — «Правдов», «Н. Н.», «Николай Александрович»). Им написаны фельетоны в «Ведомостях московской городской полиции» (1856, № 97), в «Санкт-Петербургских ведомостях» (1856, № 164). Возможно также, что ему принадлежит корреспонденция из Москвы, использованная фельетонистом «Санкт-Петербургских ведомостей» (1856, № 12). Эта же газета прямо перепечатала статью Назарова (1856, № 105). С клеветническими обвинениями весьма злобно выступал Вл. Зотов («Санкт-Петербургские ведомости», 1856, №№ 96, 165).

Ближайшие друзья драматурга требовали немедленного отпора обнаглевшим клеветникам (см., например, письмо Е. Э. Дриянского к А. Н. Островскому от 3 мая 1856 г.— Письма, стр. 114—115). Островский счел дальнейшее молчание невозможным и написал энергичные протесты — объяснения, опубликованные в «Московских ведомостях» (1856, № 80) и в «Современнике» (1856, № 8, стр. 221). Так клевета о плагиате, отравлявшая жизнь Островского в течение нескольких лет, была разоблачена. Подробнее о «горевской» истории см. также статью А. Ревякина «А. Н. Островский и Д. А. Горев (К творческой истории комедии «Свои люди — сочтемся!»)».— «Русская литература», 1963, № 4.

[21] *Стр. 56.* Публикуя в «Отечественных записках» (1856, № 7) комедию Д. Горева «Сплошь да рядом», Краевский надеялся поддержать тем самым клевету о плагиате. Однако грубо натуралистическая пьеса Горева провалилась, что немало способствовало разоблачению клеветы о плагиате Островского.

[22] *Стр. 56.* С. Я. Марковецкий.

[23] *Стр. 56.* Литературно-театральный комитет не разрешил пьесу «Сплошь да рядом» к постановке «по недостатку действия, бесцветности характеров, растянутости и пошлому языку» (Письма, стр. 664).

[24] *Стр. 57.* И. Ф. Горбунов перепутал здесь две комедии Островского из трилогии о Бальзаминове: осенью 1861 года была забракована Литературно-театральным комитетом комедия «За чем пойдешь, то и найдешь (Женитьба Бальзаминова)» (о ней см. прим. 4 на стр. 549), а комедию «Свои собаки грызутся, чужая не при-

ставай» комитет пропустил. По поводу «Своих собак» А. Г. Ротчев выступил не в «Инвалиде», а в «Северной пчеле» (1861, № 259), где, не скрывая озлобления, он писал о первой постановке комедии в Александринском театре (3 ноября 1861 года): «Нам случалось видеть падение комедий, трагедий, водевилей, трилогий, пословиц и сцен, но такого падения мы никогда еще не видали. Ни одна рука не хлопнула, ни один рот не шикнул во все представление: публика разошлась при гробовом молчании. Факт, конечно, грустный, но есть и утешительная сторона в этом явлении: наша отечественная публика уразумевает наконец, что не известность, не громкое имя, не поговорки и не прибаутки свах и гостинодворцев составляют достоинство драматического произведения. В добрый час!» Через две недели та же газета в фельетоне «Петербургское обозрение» опубликовала письмо И. Ф. Горбунова, который полностью опровергает домыслы Ротчева о падении пьесы и заключает: «Публика лучше вас понимает достоинство и значение Островского; она давно уразумела, что не рыцари тумана, не фокусники, одуряющие голову и оскорбляющие эстетическое чувство, составляют наш драматический фонд!» («Северная пчела», 1861, № 275).

[25] *Стр. 57.* Начало латинской поговорки: «De mortuis aut bene aut nihil» (О мертвых — или хорошо, или ничего). К тому времени, когда Горбунов писал воспоминания, Ротчев уже умер.

[26] *Стр. 58.* В редакции журнала «Отечественные записки» А. А. Краевского.

[27] *Стр. 58.* Пьеса Н. З. Захарова — «Не знал, что богат, не ждал — а женат»; поставлена в московском Малом театре в 1853 году.

[28] *Стр. 59.* Имеется в виду пьеса «Ученье — свет, неученье — тьма», напечатанная в № 7 журнала за 1859 год. Вероятно, об этой пьесе В. Осипова А. Н. Островский писал 15 октября 1853 года М. П. Погодину: «...Его комедия — произведение очень замечательное и по задаче, и по уму, с каким она сделана» (Островский, т. XIV, стр. 40).

[29] *Стр. 59.* Роль матроса Симона в пьесе «Матрос» французских драматургов Соважа и Делюрье. Перевод Д. А. Шепелева (1838).

[30] *Стр. 59.* В 1857 году И. В. Самарин осуществил на сцене Малого театра постановку трагедии В. Шекспира «Гамлет», в которой сыграл главную роль. Самарин пытался решить спектакль в принципах реализма и избавить образ Гамлета от ходульного трагического величия, то есть распространенной трактовки образа среди актеров той поры. Но в то же время Самарин видел своего

героя слабовольным, неспособным к действию. В стремлении к исторической, реально-бытовой правде актер увлекся деталями и не раскрыл внутреннего содержания образа. Спектакль вызвал ожесточенные споры, и хотя часть публики приветствовала реалистические новации Самарина, называя их «новым шагом в искусстве, и шагом весьма важным, вполне соответствующим взглядам современной эстетики», актер после второго представления от роли отказался (М. Рогачевский, Иван Васильевич Самарин, «Искусство», М.—Л. 1948, стр. 36—39).

[31] *Стр. 59.* Герой одноименного французского водевиля в переводе С. Соловьева.

[32] *Стр. 60.* Над драмой «Не так живи, как хочется» Островский работал с августа по ноябрь 1854 года. 3 декабря драма уже была поставлена московским Малым театром. В печати появилась в сентябрьском номере «Москвитянина» за 1855 год. Подготавливая первое собрание своих сочинений (изданных Г. А. Кушелевым-Безбородко в 1859 году), Островский значительно доработал драму.

[33] *Стр. 61.* См. прим. 27 к воспоминаниям П. М. Невежина, стр. 565.

[34] *Стр. 61.* В сентябре 1854 года на речке Альма произошло сражение между русскими войсками и соединенными силами англичан, французов и турок. Русские войска под командованием кн. Меншикова потерпели поражение и отошли к Бахчисараю, что дало возможность неприятелю осадить Севастополь.

С. В. Максимов

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ
(По моим воспоминаниям)

Сергей Васильевич Максимов (1831—1901) — писатель-этнограф, автор книг «Год на севере», «Крылатые слова», «Сибирь и каторга» и многих других.

С Островским Максимов познакомился в 1850 году и был особенно связан с ним в начале пятидесятых годов, когда Островский увлекался идеями славянофильства и был активным членом «молодой редакции» журнала «Москвитянин». Островского и Максимова соединял также огромный интерес к живому, меткому слову, к народной поэзии. Впоследствии, когда Островский порвал с «Москвитянином», а Максимов переехал из Москвы в Петербург, их дружеские отношения не прекратились, хотя встречались они уже значительно реже.

С. В. Максимов находился под заметным влиянием славянофильства, что наложило отпечаток и на его воспоминания.

Писались воспоминания, очевидно, с конца 1896 года, так как известно, что в них использованы еще в рукописи материалы XI тома сочинения Н. Барсукова «Жизнь и труды М. П. Погодина» (опубликованы в 1897 году), и в 1897 году, поскольку в тексте есть упоминание о кончине П. М. Боклевского «в начале текущего года» («Русская мысль», 1897, № 3, стр. 62). Впервые опубликованы воспоминания в журнале «Русская мысль», 1897, №№ 1, 3, 5; 1898, №№ 1, 4. При подготовке для переиздания в собрании сочинений А. Н. Островского, написанных в сотрудничестве с Н. Я. Соловьевым и П. М. Невежиным («Драматические сочинения А. Н. Островского, Н. Я. Соловьева, П. М. Невежина», т. I, СПб. <1909>, изд. «Просвещение»), они были переработаны и дополнены. В нашем сборнике текст перепечатан с этого последнего издания.

[1] *Стр. 65.* В приходе церкви Николы в Воробине, что у Яузы, А. Н. Островский жил с осени 1841 года, сначала в большом доме, вместе с отцом, а потом, со второй половины 1849 года по октябрь 1877 года, во флигеле, о котором и пишет мемуарист.

[2] *Стр. 65.* Неточная цитата из Евангелия (от Матфея, гл. 24).

[3] *Стр. 66.* В начале XIX века огромная территория от церкви Николы в Воробине к реке Яузе и по самой реке вверх принадлежала барону Тессину, тестю Н. Ф. Островского, отца драматурга. По фамилии этого владельца и назван переулок — Тессинский, сохранившийся до нашего времени. Во второй половине XIX века в этом переулке разместилась фабрика.

[4] *Стр. 66.* Гравюры, созданные в конце XVIII века неизвестным иностранным художником и посвященные императору Павлу I. На гравюрах, в частности, изображались Серебряные бани.

[5] *Стр. 66.* Выражение, вышедшее, как указывает Максимов, из стен духовных семинарий (С. М а к с и м о в, Крылатые слова, Гослитиздат, М. 1955, стр. 109).

[6] *Стр. 68.* См. вступительную статью, стр. 11—12.

[7] *Стр. 69.* «Молодая редакция» журнала «Москвитянин» распалась в 1855 году, то есть еще до закрытия самого журнала (1856), а Островский начал расходиться с «молодой редакцией» уже в пору работы над драмой «Не так живи, как хочется» (1854), поэтому-то наиболее правоверные члены «молодой редакции» не случайно оказались недовольными этой пьесой. Так, Т. Филиппов, указывая на недостатки пьесы, усматривал их причины во «влиянии натурального направления» («Сборник Т. Филиппова», СПб. 1896, стр. 39). Новые настроения Островского были замечены и в лагере революционной демократии (см. вступительную статью,

стр. 9). По поводу «Не так живи, как хочется» И. С. Тургенев писал драматургу 10 февраля 1855 года: «...По поручению редакторов «Современника», обращаюсь к Вам с вопросом: не хотите ли Вы поместить Вашу последнюю комедию у них в журнале — они примут ее с радостью и предлагают Вам за нее 250 руб. серебр.» (И. С. Тургенев, Полн. собр. соч. и писем, Письма, т. 2, изд. АН СССР, М.— Л. 1961, стр. 257). «Не так живи, как хочется» Островский поместил все же в «Москвитянине» (1855, № 17—18), но это была последняя его пьеса в погодинском журнале, вскоре он бесповоротно порывает и с журналом, и с его «молодой редакцией». С годами, естественно, расширялись личные связи Островского с писателями, артистами, музыкантами и т. д. Вот их-то и выдает Максимов за новых членов давно распавшейся «молодой редакции». Эту ошибку — отождествление Островского с «молодой редакцией» — мемуарист допускает в своих воспоминаниях очень часто.

[8] *Стр. 69.* Письмо не опубликовано, его местонахождение неизвестно.

[9] *Стр. 70.* См. воспоминания В. З. Головиной (Ворониной), стр. 34.

[10] *Стр. 70.* Опера А. Н. Верстовского, написана в 1835 году.

[11] *Стр. 70.* Торопка — один из героев «Аскольдовой могилы».

[12] *Стр. 71.* О цыганке Матрене сведений никаких не сохранилось. Очевидно, Максимов спутал ее с известной певицей и красавицей цыганкой Татьяной Демьяновной, голосом которой Пушкин действительно восхищался, о чем осталось немало свидетельств (А. С. Пушкин, Письма, т. III, «Academia», 1935, стр. 136—141).

[13] *Стр. 71.* О ком идет речь, выяснить не удалось.

[14] *Стр. 72.* С. В. Максимов имеет в виду комментарии славянофильского историка литературы П. А. Бессонова в книгах: «Песни, собранные П. В. Киреевским», ч. 1—4, вып. 1—10, М. 1860—1874; и «Калеки перехожие. Сборник стихов и исследование П. Бессонова», вып. 1—6, М. 1861—1864. В последний сборник вошли также песни, изданные самим П. В. Киреевским («Русские народные песни», М. 1848).

[15] *Стр. 74.* В комедии «Не в свои сани не садись».

[16] *Стр. 75.* Генерал Дитятин — яркий сатирический образ, от имени которого И. Ф. Горбунов с неизменным успехом выступал на протяжении почти всей своей жизни. Прикрываясь маской грубого, невежественного солдафона, реакционера и доносчика, он зло и остроумно издевался над всеми видами российского мракобесия, ретроградства, шовинизма и тупоумия.

[17] *Стр. 76.* Монашенки — небольшие, конусообразной формы свечки, зажигавшиеся ради их приятного запаха.

[18] *Стр. 76.* Комедия помещена в № 6 журнала за 1850 год.

[19] *Стр. 77.* С. В. Максимов еще по рукописи был знаком с воспоминаниями И. Ф. Горбунова (в наст. сборнике помещены на стр. 47).

[20] *Стр. 78.* Кого здесь имеет в виду С. В. Максимов, точно неизвестно. Всего вероятнее — Д. А. Горева-Тарасенкова, до того как он спился и потерял все свои симпатичные черты, превратившись в наглого самохвала (о нем см. прим. 20 к воспоминаниям И. Ф. Горбунова, стр. 519). Островский познакомился с ним в начале сороковых годов и замечал в нем тогда «довольно благородства» (Островский, т. XIV, стр. 41).

[21] *Стр. 79.* Корнилия Полтавцева, о котором мемуарист пишет ниже, он сравнивает здесь с Колюбакиным.

[22] *Стр. 80.* Упоминаемая в тексте «повестушка», очевидно, «Квартет», которую Е. Э. Дриянский читал А. Н. Островскому в 1852 году (из-за цензуры появилась в печати лишь в 1858 году — №№ 9 и 10 «Библиотеки для чтения»). Роман — «Туз (Жизнеописание Антона Антоновича)» — был отдан Дриянским М. Н. Каткову в «Русский вестник», где его и начали печатать (1865, №№ 4—6). Однако менее чем на половине романа публикация была прекращена, что вызвало возмущение автора, высказанное им в письмах к С. В. Максимову от 26 сентября и 19 ноября 1865 года (хранятся в ГБЛ). Выступления Дриянского по этому вопросу в газетах, о которых пишет мемуарист, неизвестны. Писатель долго искал издателя для публикации романа целиком, и, не найдя его, выпустил в 1867 году роман на собственные средства, несмотря на свое крайне тяжелое материальное положение. Всю жизнь его преследовала жестокая нужда. 4 декабря 1872 года А. Н. Островский писал своему брату, М. Н. Островскому: «Егор Эдуардович Дриянский при последнем издыхании; нужда, сырые квартиры сломили его железное здоровье и довели до лютой чахотки. В темном углу, за Пресней, без куска хлеба, без копейки денег умирает автор «Одарки Квочки», «Квартета», «Туза», «Паныча», «Конфетки» и пр.,— таких произведений, которые во всякой, даже богатой, литературе были бы на виду, а у нас прошли незамеченными и не доставили творцу-художнику ничего, кроме горя» (Островский, т. XIV, стр. 241).

[23] *Стр. 80.* По закону 1865 года, действовавшему до 1905 года, предварительная цензура для оригинальных произведений объемом свыше десяти печатных листов отменялась, но строгости и карательные меры усиливались. А. В. Никитенко в связи с этим

писал: «Цензора нет. Но взамен его над головами писателей и редакторов повешен дамоклов меч в виде двух предостережений и третьего, за которым следует приостановка издания. <...> Итак, это чистейший произвол <...>. Понятно, что пишущая братия сильно переполошилась» (А. В. Никитенко, Дневник, т. 2, Гослитиздат, 1955, стр. 515).

[24] *Стр. 81.* 10 февраля 1855 года И. С. Тургенев просил Островского прислать ему в Петербург «несколько рисунков г-на Боклевского (если не к «Бедность не порок», то хоть другие) — я бы их здесь показывал людям со влиянием — и это могло бы послужить в пользу г-ну Б<оклевскому>, произведения которого очень бы нужно было вывести на свет» (И. С. Тургенев, Полн. собр. соч. и писем, Письма, т. 2, изд. АН СССР, М.—Л. 1961, стр. 257). Иллюстрации изданы гр. Г. А. Кушелевым-Безбородко в виде альбомов литографий под названием «Рисунки Боклевского к сочинениям А. Н. Островского», 1859—1860. Помимо комедии «Бедность не порок», проиллюстрированы «Свои люди — сочтемся!», «Не в свои сани не садись», «Не так живи, как хочется» и др.

[25] *Стр. 81.* Под профессорским С. В. Максимов разумеет московский кружок либеральных западников, возглавляемый Т. Н. Грановским.

[26] *Стр. 82.* Почти о всех упомянутых Максимовым людях он подробно пишет ниже. Исключение составляют двое: «знаменитый виртуоз» — пианист и композитор Александр Иванович Дюбюк и «учитель чистописания и рисования» — А. Дьяков (о нем см. прим. 1 к воспоминаниям Н. В. Берга, стр. 510).

[27] *Стр. 82.* Аханный промысел — ловля красной рыбы особыми сетями.

[28] *Стр. 82.* И. И. Железнов, по делам службы попавший в Москву, через Н. И. Шаповалова и Е. Э. Дриянского познакомился с Островским и его друзьями и, воодушевленный ими, с их же помощью вскоре начал писать этнографические очерки о быте, нравах и труде уральских казаков. Печатались очерки в «Москвитянине», а после его закрытия в «Отечественных записках», «Библиотеке для чтения». «Картины аханного рыболовства» напечатаны в «Москвитянине», 1854, №№ 9, 10.

[29] *Стр. 83.* В. П. Бородин, по происхождению тоже уральский казак, являлся главным инициатором издания полного собрания сочинений И. И. Железнова, вышедшего в 1888 году. Его переписка с Островским по поводу нового издания произведений Железнова не сохранилась.

[30] *Стр. 86.* Русаков — герой комедии «Не в свои сани не садись».

[31] *Стр. 87.* Агафья Ивановна — невенчанная жена А. Н. Островского. Познакомились они в 1846 году и прожили совместно до смерти Агафьи Ивановны в 1867 году.

[32] *Стр. 88.* Вероятно, И. И. Шанина и Т. И. Филиппова.

[33] *Стр. 89.* С. П. Шевырев, по болезни, не присутствовал на чтении Островским комедии «Свои люди — сочтемся!» у М. П. Погодина. Эта фраза была им сказана 14 февраля 1847 года, когда на его квартире при многочисленных слушателях, среди которых находились Т. Н. Грановский, А. С. Хомяков, А. А. Григорьев, была прочитана Островским пьеса «Картина семейного счастья» (М. П. Садовский, Речь в память пятидесятилетия первого представления комедии «Не в свои сани не садись».— «Ежегодник императорских театров», 1902—1903, вып. XIII, стр. 197—198). Путаницу в отнесении фразы С. П. Шевырева к комедии «Свои люди — сочтемся!» внес Ф. А. Бурдин в своих воспоминаниях об Островском (см. в наст. сб. на стр. 329).

О восторженном приеме «Картины семейного счастья» на чтении у С. П. Шевырева Островский вспоминал всю жизнь. Всего за полгода до смерти, 12 декабря 1885 года, в альбоме М. И. Семевского он записал: «Самый памятный для меня день в моей жизни: 14-е февраля 1847 года. <...> С этого дня я стал считать себя русским писателем и уж без сомнений и колебаний поверил в свое призвание» (Островский, т. XIII, стр. 302). Но, будучи благодарным Шевыреву за поддержку, Островский никогда не сходился с ним близко и оставался чуждым его взглядам.

[34] *Стр. 89.* См. прим. 8 к воспоминаниям Н. В. Берга, стр. 511.

[35] *Стр. 89.* Эти слова М. П. Погодина, а также приведенные Максимовым ниже высказывания о пьесе Е. П. Ростопчиной, А. С. Хомякова, И. И. Давыдова и В. Ф. Одоевского, взяты из книги Барсукова, стр. 69—74, тогда находившейся еще в рукописи и предоставленной С. В. Максимову ее автором.

[36] *Стр. 89.* В «Современнике» (1843, № 11), а не в «Отечественных записках» был помещен фельетон А. И. Герцена «Записки Вёдрина», пародирующий путевой дневник М. П. Погодина «Год в чужих краях», печатавшийся в 1841—1843 годах в «Москвитянине». Пародия блестяще воспроизводила стилистическую манеру Погодина, высмеивая его консерватизм, скупость, поверхностность наблюдений и т. д.

[37] *Стр. 91.* На Тверской улице в Москве в губернаторском доме (ныне дом Моссовета на ул. Горького) жил московский генерал-губернатор граф А. А. Закревский.

[38] *Стр. 91.* «Покоиться до радостного утра» — неточная цитата из «Эпитафий» Н. М. Карамзина.

[39] *Стр. 91.* В то время как высшая цензурная инстанция — Комитет 2 апреля 1848 года — рассматривала комедию «Свои люди — сочтемся!» (см. прим. 14 к воспоминаниям Н. В. Берга, стр. 513), в Москву по личному распоряжению Николая I был послан запрос шефа жандармов гр. А. Ф. Орлова об «образе жизни и мыслей» А. Н. Островского. А. А. Закревский, получив 9 апреля 1850 года бумагу, в свою очередь, запросил московский Коммерческий суд, где служил молодой драматург. Из суда уведомили, что Островский «не подавал повода к заключению о каком-либо неблагонамеренном образе мыслей». Московский обер-полицмейстер Лужин дополнительно сообщил, что Островский «ведет себя хорошо, имеет острые способности ума, склонные более к критическим сочинениям, <...> поведения и образа жизни <...> хорошего, но каких мыслей, положительно заключить невозможно» (Государственный архив революции и внешней политики). Закревский объединил донесения, опустил характеристику ума, могущую дать повод к дурному ее истолкованию, заменил неопределенный отзыв об образе мыслей положительным и послал 2 мая гр. Орлову секретное представление, в котором писал, что Островский «пользовался всегда хорошим мнением начальства и не подавал повода к заключению о неблагонамеренном образе мыслей. Поведения и образа мыслей <...> хорошего» (там же).

Несмотря на это, Николай I, прочитав комедию, на благожелательном отзыве Орлова написал: «Иметь под присмотром». Гр. Орлов по получении резолюции Николая I сообщил о ней 2 июня Закревскому, а также в корпус жандармов — С. В. Перфильеву, «дабы за Островским имелось секретное наблюдение и со стороны корпуса жандармов». Таким образом, с июня 1850 года Островский оказался под двойным негласным надзором — полиции и корпуса жандармов.

В связи с этим Островскому в 1851 году пришлось оставить службу в Коммерческом суде и добывать средства к жизни литературным трудом.

[40] *Стр. 91.* А. П. Ермолов был человеком прогрессивных взглядов, близким к декабристам, которые даже рассчитывали на его поддержку в военном перевороте. В 1827 году Николай I уволил Ермолова в отставку.

[41] *Стр. 92.* За что была «нахлобучка», неизвестно.

[42] *Стр. 92.* Началась Крымская война (1853—1856).

[43] *Стр. 94.* Письмо М. С. Щепкина к сыну приведено с искажениями, извращающими его смысл. Вот подлинный текст письма:

«Любезный сын и друг, спасибо тебе за письмо, сожалею, что тебе нельзя было в это время иметь отпуск, и вместе с тем и рад,

что правитель Канцелярией в отлучке: это дает тебе более деятельности и средств более вникать в устройство всей машины судопроизводства в матушке-России, которая так сложна, и верь мне, что это шаг вперед, а особливо в глазах такого начальника, как Г. Грот. Теперь о себе — я в Нижнем играл 19 спектаклей и из них 14 сряду каждый день и ничего, старость не совсем одолела, и все это за самую ничтожную плату, и в глазах многих, и в том числе и матери, это унизительно, а я думал иначе. Живя на даче нынешнее лето, я от скуки выучил роль Любима Торцова из комедии «Бедность не порок», в которой Садовский так хорош, но сама по себе роль при его игре грязна, чем более я вникал в оную, тем более убеждался, что в ней можно отыскать чисто человеческую сторону, и тогда самая грязь не будет так отвратительна, но как я не слишком доверял моей старой голове, то мне нужно было для полного убеждения ее сыграть где-нибудь — в Москве играть ее было неловко; первое,— что я получаю большую поспектакльную плату, и просить роль — все равно что просить 40 рублей серебром, и в отношении товарищества было неловко, я как будто из зависти к Садовскому решился показать его слабую сторону в этой роли, все это не в моей натуре — мое поприще уже оканчивается, а он еще не получает и полного оклада жалованья, а сыграть мне было нужно эту роль, это было потребность души — вот причина моей поездки, а тут не знали! я бы еще меньше взял, лишь бы только мог сыграть эту роль; это жертва для искусства, которому я отдал всю жизнь мою, и теперь не раскаиваюсь, несмотря на общий говор; я уже пережил те годы, в которые этот говор мог бы иметь влияние на меня, а особливо когда на деле вышло, что я не ошибался и что моя старая голова верно поняла дело и разогретое воображение затронуло нетроганные доселе струны и оне зазвучали сильно и подействовали на душу зрителей. Анненков, издатель Пушкина, хотел написать об этом статью, которая расшевелила бы Садовского и подвинула его вперед, а то он, бедный, успокаивался уже на лаврах, думая, что искусство дальше идти не может, а это грустно, больно грустно; дай бог чтобы он (под)винулся, с этой мыслью и при его таланте он подвинулся в искусстве. <...>

Целую тебя много раз.

Твой друг и отец М. Щепкин» (в сб. «А. Н. Островский — драматург», изд. «Советский писатель», М. 1946, стр. 226).

[44] *Стр. 94.* Усадьба Щелыково была куплена А. Н. и М. Н. Островскими в 1867 году.

[45] *Стр. 96.* Цитаты из неизвестного, очевидно утраченного, письма Островского к Максимову.

[46] *Стр. 98.* См. прим. 8 к воспоминаниям Н. В. Берга, стр. 511.

[47] *Стр. 98.* А. Н. Островский нередко создавал подробные планы своих пьес, например, для «Бедной невесты» и «Грозы» (Н. П. Кашин, Этюды об Островском, т. II, М. 1912, стр. 49—57, 325—329). Первоначальный план, набросанный драматургом для «Не так живи, как хочется», см. в воспоминаниях И. Ф. Горбунова, стр. 60. Работа Островского над своими пьесами заключалась в том, что, продумав идею, он эскизно набрасывал план пьесы, ее характеры, внося на поля отдельные выражения, реплики и диалоги действующих лиц, заметки и т. п., а потом постепенно отделывал ее, создавая иногда несколько редакций произведения (см. воспоминания М. И. Семевского, стр. 156, а также: Островский, т. XVI, стр. 249; П. В. Безобразов, Рукописи А. Н. Островского.— «Исторический вестник», 1890, № 2).

[48] *Стр. 98.* Неточная цитата из книги Барсукова, стр. 61.

[49] *Стр. 99.* Неточная цитата из книги Барсукова, стр. 86.

[50] *Стр. 99.* Эти слова принадлежат не Т. И. Филиппову, а Н. Барсукову (Барсуков, стр. 67).

[51] *Стр. 99.* А. А. Григорьев, являясь идеологом «класса среднего, промышленного», весьма последовательно защищал «старую извечную Русь», ориентируясь при этом на патриархальное купечество и городское мещанство. На этой основе вырос и его «культ Островского», которому он приписывал идеализацию патриархального русского купечества. Идейный, социальный смысл творчества драматурга остался ему чужд и непонятен. Отрицая социальную борьбу как средство переустройства общества, Григорьев и в произведениях Островского отказывался замечать их обличительную направленность и провозглашал его писателем спокойным, бесстрастным, «юмористическим без болезненности, прямым без увлечений в ту или другую крайность...» (Сочинения Аполлона Григорьева, т. I, СПб. 1876, стр. 63). Положительным в критике Григорьева было то, что он всегда утверждал высокую эстетическую ценность творчества Островского.

Отношения Островского и Григорьева складывались весьма сложно. Начало пятидесятых годов — время их самой большой близости. Островский высоко ценил в Григорьеве замечательный дар критика, редкий эстетический вкус, искренность и прямоту, никогда до конца не разделяя при этом, даже в пору увлечения славянофильством, его идейных позиций. С уходом драматурга в «Современник» их пути разошлись совсем, виделись они все реже и реже, хотя встречи и оставались дружескими. Григорьев никак не мог примириться с переходом Островского в лагерь «Современника», или, как он говорил,— к «тушинцам». Однако, сетуя на

идейные разногласия с драматургом, он по-прежнему продолжал восхищаться его большим и сильным талантом.

[52] *Стр. 100.* С. В. Максимов имеет в виду первую, более сжатую редакцию своих воспоминаний, опубликованных в журнале «Русская мысль» (о ней см. на стр. 523).

[53] *Стр. 101.* Вольная передача письма А. Н. Островского в ответ на «вразумление», сделанное попечителем Московского учебного округа В. И. Назимовым по предложению министра народного просвещения кн. П. А. Ширинского-Шихматова (Островский, т. XIV, стр. 16).

[54] *Стр. 101.* См. прим. 20 к воспоминаниям И. Ф. Горбунова, стр. 519.

[55] *Стр. 103.* П. М. Садовский.

[56] *Стр. 103.* А. А. Григорьев.

[57] *Стр. 106.* См. прим. 16 к воспоминаниям И. Ф. Горбунова, стр. 517.

[58] *Стр. 106.* Далее приведена неточная цитата из стихотворения «Московский поэт и петербургский обыватель» (Б. Н. Алмазов, Сочинения, т. II, М. 1892, стр. 320).

[59] *Стр. 107.* Речь идет о Зинаиде Федоровне Корш, дочери профессора Московской медико-хирургической академии. Проф. Корш, рано умерший, оставил вдову с двумя сыновьями и пятью дочерьми, из которых Зинаида самая младшая. Островский был знаком с братьями Корш еще по гимназии, а во второй половине сороковых годов посещал их дом. Кроме стихотворения «Снилась мне большая зала», прямо адресованного З. Ф. Корш, Островский посвятил ей также акростих «Зачем мне не дан дар поэта» (см. воспоминания С. В. Максимова, стр. 108). Вполне возможно, что З. Ф. Корш послужила прототипом для образа Марьи Андреевны в «Бедной невесте»: семья Корш, как и Незабудкины, жила на пенсию отца, вдова проф. Корша искала для своих дочерей состоятельных женихов.

[60] *Стр. 107.* То есть с Н. И. Крыловым.

[61] *Стр. 108.* В. З. Головина (Воронина) — см. ее воспоминания, стр. 34.

[62] *Стр. 109.* Заготовки А. Н. Островского к словарю опубликованы под заглавием [«Материалы для словаря русского народного языка»] — Островский, т. XIII, стр. 305.

[63] *Стр. 110.* При переходе на третий курс Островский получил неудовлетворительную оценку по римскому праву. Не желая оставаться на юридическом факультете, он не стал пересдавать экзамена и покинул университет.

[64] *Стр. 115.* Н. И. Давыдова, казначея московского дворцового

ведомства. О спектаклях в Запасном дворце у Красных ворот см. воспоминания Н. А. Дубровского, стр. 347—348.

[65] *Стр. 116.* Здесь и ниже, говоря о М. С. Щепкине, Максимов допускает много неточностей и передержек. Об истинных отношениях великого актера с Островским см. вступительную статью, стр. 13—14.

[66] *Стр. 116.* Здесь Максимовым допущены две фактические неточности: когда славянофилы основали журнал «Русская беседа» (1856), 1) Островский не только идейно, но и фактически разошелся с ними. Он даже перепечатал в журнале «Современник» свою самую первую пьесу «Семейная картина», заявив тем самым о своем переходе на новые позиции. «Русской беседе» драматург отдал пьесу «Доходное место» только потому, что обещал это раньше (напечатана в № 1 журнала за 1857 год); 2) Т. Н. Грановский к этому времени уже умер (в 1855 году).

[67] *Стр. 116.* А. А. Григорьев.

[68] *Стр. 117.* Об исполнении М. С. Щепкиным ролей в пьесах Островского см. вступительную статью, стр. 13—14. С. В. Шумский начинает играть в пьесах Островского с самого начала их появления в театре: Вихорева («Не в свои сани не садись», 1853), Добротворского («Бедная невеста», 1853), Иванова («В чужом пиру похмелье», 1856) и др. Труднее входил в репертуар Островского И. В. Самарин. В 1854 году им была сыграна роль Мити («Бедность не порок»), затем был перерыв, но с шестидесятых годов он становится неизменным участником спектаклей Островского: Бабаев («Грех да беда на кого не живет», 1863), Оброшенов («Шутники», 1864), Бастрюков («Воевода», 1865), Кисельников («Пучина», 1866), Шуйский («Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский», 1867) и т. д.

[69] *Стр. 120.* См. воспоминания И. Ф. Горбунова, стр. 54—55.

[70] *Стр. 120.* Причиной испортившихся отношений между драматургом и актером, возможно, послужило недовольство Островского поведением и творческим режимом Садовского, который, надеясь на опыт и интуицию, работал над ролями все меньше и меньше, проводя чрезмерно много времени с приятелями и все более пристращаясь к вину. Вследствие этого он 9 сентября 1865 года, играя роль воеводы в одноименной комедии Островского, по-настоящему уснул на сцене (см. воспоминания К. Н. Де-Лазари, стр. 391). Вполне вероятно, что возникшие между артистом и драматургом недоразумения усугублялись и какими-то разногласиями по ликвидации хозяйственных неурядиц Артистического кружка. На это как будто и намекает С. В. Максимов. Примирение между Островским и Садовским произошло, по всей

видимости, в марте 1872 года, в дни юбилея драматурга (25 лет литературной деятельности).

[71] *Стр. 121.* И. Ф. Горбунов уезжал из Москвы в 1855 году в Петербург, на службу в Александринский театр, а позже — на Нижегородскую ярмарку. С. В. Максимов отправился в 1856 году на север в качестве члена литературной экспедиции, предпринятой Морским министерством (см. воспоминания С. В. Максимова «Литературная экспедиция», стр. 159—166).

[72] *Стр. 121.* В 1860 году Морское министерство командировало Максимова для исследования только что осваиваемой Амурской области. На обратном пути он должен был сделать обозрение сибирских тюрем и быта ссыльных. Результатом поездки явились две его книги: «На Востоке. Поездка на Амур в 1860—1861 гг. Дорожные заметки и воспоминания», СПб. 1864; «Сибирь и каторга», СПб. 1871.

[73] *Стр. 121.* А. Ф. Писемский также участвовал в литературной экспедиции.

[74] *Стр. 122.* Трудно сказать, какой конкретный случай имеет в виду Максимов. Однако несомненно, что мемуарист в отношении «Современника» тенденциозно сгущает краски и стремится представить Островского чужим человеком в редакции, что явно не соответствует действительности. Кроме того, если Островский и защищал своих старых друзей по «молодой редакции», то лишь тогда, когда это не противоречило его убеждениям. Так, несмотря на настойчивые просьбы своего друга А. Ф. Писемского подписать протест против демократического журнала «Искра», резко осудившего реакционную статью Писемского (см. прим. 11 к воспоминаниям А. Ф. Кони, стр. 553), Островский в феврале 1862 года решительно отказался это сделать.

[75] *Стр. 122.* «Последние годы Речи Посполитой» Костомарова печатались с февраля по декабрь 1869 года, однако сведения о приезде А. Н. Островского в этом году в Петербург отсутствуют.

[76] *Стр. 123.* Кому принадлежат эти слова, неизвестно.

[77] *Стр. 125.* Строки из недошедшего до нас письма, по всей видимости, шестидесятых годов. Именно в это время Островский переживал состояние «возраставшей нужды»: приходилось жить на две семьи (еще при жизни Агафьи Ивановны, не порвав с ней, Островский вступил в гражданский брак с Марией Васильевной Бахметьевой, от которого в шестидесятых годах появились дети — Александр, Михаил, Мария, Сергей). Расходы семьи увеличивались, а заработок Островского был небольшим. Ему хорошо платил Н. А. Некрасов (см., например, воспоминания С. Н. Худекова, стр. 306), но от театров — основной статьи дохода драматурга —

он получал чрезвычайно мало: только императорские театры оплачивали драматургу пьесу, остальные пользовались ею безвозмездно. Материальное положение Островского начинает улучшаться лишь в семидесятые годы, когда было создано Общество драматических писателей, добившееся выплаты драматургам гонорара за пьесы, шедшие на провинциальной сцене.

[78] *Стр. 125.* См. письмо драматурга С. В. Максимову от 6 ноября 1871 года (Островский, т. XIV, стр. 218). Посредничество Максимова с С. В. Звонаревым привело к заключению договора на издание шеститомного собрания сочинений Островского, но вскоре издатель, из-за расстройства дел, отказался от своих обязательств.

[79] *Стр. 125.* Переговоры успеха не имели, см. письма С. В. Максимова А. Н. Островскому (Письма, стр. 213—220).

[80] *Стр. 125.* Островским написано сорок семь оригинальных пьес.

[81] *Стр. 125.* Островским переведено двадцать две пьесы.

[82] *Стр. 125.* См. прим. 8 к воспоминаниям Н. А. Кропачева, стр. 556.

[83] *Стр. 126.* Подразумевается служба А. Н. Островского начальником репертуара московских театров с 1 января 1886 года (подробно об этом см. воспоминания Н. А. Кропачева, стр. 436—488).

[84] *Стр. 126.* Строки из стихотворения Ф. Б. Миллера, прочтенного им 9 апреля 1872 года на вечере, посвященном двадцатипятилетию литературно-драматической деятельности Островского. Напечатано в книге Н. А. Кропачева «А. Н. Островский на службе при императорских театрах», М. 1901, стр. 3.

М. И. Семевский

<ВСТРЕЧИ С А. Н. ОСТРОВСКИМ В МОСКВЕ>

Михаил Иванович Семевский (1837—1892) — историк и публицист. С произведениями А. Н. Островского познакомился еще в молодости, в пятидесятых годах, будучи в кадетском корпусе. Под руководством своего преподавателя Г. Е. Благосветлова он написал в 1854 году восторженное сочинение о комедии «Свои люди — сочтемся!». Прибыв в 1855 году в Москву по делам службы, юный прапорщик лейб-гвардии Павловского полка поспешил с визитом к любимому писателю. Вскоре между Семевским и Островским установились самые дружественные отношения.

В ноябре 1856 года М. И. Семевский вернулся в Петербург, вскоре вышел из полка и занялся педагогической и научной деятельностью; в 1864 году поступил на государственную службу

(в департамент государственной экономии), а с 1870 года начал издавать журнал «Русская старина».

В Петербурге М. И. Семевский встречался с А. Н. Островским в 1859, в 1879 и в последующие годы. Между драматургом и уже известным историком снова установились самые теплые взаимоотношения. 9 сентября 1885 года, в тревожном ожидании своего назначения на службу в театр, А. Н. Островский писал брату, М. Н. Островскому: «...В случае неудачи (то есть отказа в месте художественного руководителя московских театров.— *А. Р.*) я уж больше надоедать не буду; я все свои бумаги и свою исповедь, которая уж готова, запечатаю и пошлю к Семевскому, с тем, чтобы он, по прошествии известного времени после моей смерти, распечатал их и обнародовал...» (Островский, т. XVI, стр. 198). Свое намерение Островский не осуществил, поскольку назначение его в театр состоялось, но и то, что он думал о вероятной передаче столь важных документов в руки Семевского, говорит о полном доверии драматурга к нему как к издателю.

Юный М. И. Семевский по приезде в Москву пишет о своих встречах и впечатлениях подробные письма-отчеты дневникового характера Г. Е. Благосветлову, который справедливо называет эти послания своего корреспондента «мемуарами» (В. В. Тимощук, Михаил Иванович Семевский, СПб. 1895, приложения, стр. 19). Из писем Семевского за 1855—1856 годы к Благосветлову нами извлечен материал, непосредственно относящийся к А. Н. Островскому, что и составило настоящие воспоминания. Текст печатается по автографам, хранящимся в ИРЛИ. Частично и в искаженном виде письма ранее публиковались в книге: В. В. Тимощук, Михаил Иванович Семевский, СПб. 1895.

[1] *Стр. 127.* В Совестном, а затем в Коммерческом судах Островский служил с 1843 по 10 января 1851 года и вынужден был уйти в связи с установленным над ним полицейским надзором (см. прим. 39 к воспоминаниям С. В. Максимова, стр. 528).

[2] *Стр. 127.* Алексей, старший сын А. Н. Островского и Агафьи Ивановны (о ней см. воспоминания С. В. Максимова, стр. 87—88).

[3] *Стр. 128.* Агафья Ивановна (ее же далее Островский, по словам Семевского, называет Ганночкой).

[4] *Стр. 129.* Пьеса Е. Э. Дриянского «Комедия в комедии» напечатана в № 6 журнала за 1855 год.

[5] *Стр. 129.* Статья И. С. Тургенева «Несколько слов о новой комедии г. Островского «Бедная невеста» («Современник», 1852, № 3) явилась по существу откликом на статью А. А. Григорьева («Литературные явления прошедшего года».— «Москвитянин»,

1852, № 4), неумеренно восхвалявшую «Бедную невесту», как «новое, сильное слово», которого якобы невозможно услышать от «других современных деятелей литературных». Признав «замечательный» талант Островского и выразив надежду на «будущее его значение», Тургенев писал в основном о недостатках пьесы: о излишне мелочной отделке характеров, о растянутости пьесы, наконец о сочиненности образа Марьи Андреевны. Позднее, перерабатывая пьесу для собрания сочинений (1858), Островский очень внимательно отнесся к замечаниям Тургенева и многое учел.

[6] *Стр. 129.* Такая статья неизвестна. Возможно, что, перепутав, Семевский подразумевает здесь статью самого С. Т. Аксакова «Письмо к друзьям Гоголя», напечатанную за подписью «С. А.» в газете «Московские ведомости», 1852, № 32.

[7] *Стр. 130.* Коротенькая статья-некролог Тургенева «Письмо из Петербурга» («Московские ведомости», 1852, № 32) выражает безграничную скорбь по умершему Гоголю. Тургенева «за ослушание и нарушение цензурных правил» (опубликование в Москве статьи, запрещенной в Петербурге) «по высочайшему повелению» подвергли аресту и заключению на съезжей 2-й Адмиралтейской части, где он пробыл с 16 апреля по 16 мая. Съезжая — помещение для арестованных при полиции.

[8] *Стр. 130.* П. В. Анненков издал «Сочинения Пушкина», СПб. 1855—1857, предпослав им «Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина». Этот труд, явившийся для своего времени событием, не потерял, как богатый фактический источник, своего значения и в наши дни, но оценки и выводы П. В. Анненкова, воспринимавшего Пушкина «чистым художником», безусловно устарели. Кроме того, некоторые вопросы жизни и творчества Пушкина, например, отношения поэта с Николаем I, не могли получить должного освещения и по цензурным условиям.

[9] *Стр. 131.* По месту рождения отца и деда, по расположению усадьбы Щелыково, купленной отцом драматурга в 1847 году, А. Н. Островский считал костромичей своими земляками, но родился он в Москве, в Замоскворечье, на Малой Ордынке.

[10] *Стр. 131.* Во время Крымской войны (1853—1856) офицеры и начальники губернских ополчений избирались дворянами из своей среды.

[11] *Стр. 132.* В фельетоне «Журнальная всякая всячина» Ф. Булгарина («Северная пчела», 1853, № 277) есть такие строки: «С нетерпением ожидаем исполнения предписания о введении таксы или определенной цены за поездки извозчикам. Я разговаривал с некоторыми из них. У них против таксы есть магическое слово: «занят». А каждому вольно платить выше таксы, как воль-

но дарить свои деньги». Возможно, что по письму А. А. Краевского, на фельетон обратил внимание высший цензурный Комитет 2 апреля 1848 года (о нем см. прим. 1 к воспоминаниям М. И. Писарева, стр. 577). Комитет нашел, «что эти строки содержат в себе, хотя и косвенное, но вовсе неуместное суждение о новой правительственной мере касательно таксы для здешних извозчиков; что эти суждения могут быть истолкованы в смысле подстрекающем к уклонению от обязанности повиноваться распоряжениям начальства». По докладу Комитета, утвержденному Николаем I, Булгарину был сделан строгий выговор (Мих. Лемке, Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия, СПб. 1904, стр. 295).

[12] *Стр. 134.* Семевский опубликовал доставшиеся ему листы в №№ 4, 6, 7 журнала «Русская старина» за 1891 год.

[13] *Стр. 134.* Вероятно, речь идет о чтении у Е. П. Ростопчиной в феврале 1850 года. О других встречах Островского с Гоголем см. прим. 8 к воспоминаниям Н. В. Берга, стр. 511.

[14] *Стр. 134.* О цензурной истории комедии «Свои люди — сочтемся!» см. прим. 14 к воспоминаниям Н. В. Берга, стр. 513.

[15] *Стр. 134.* Речь идет о Н. Н. Ягужинском.

[16] *Стр. 135.* Имеется в виду «Повествование о России» (тт. 1—3, 1838—1843), свод летописных и иных источников по отечественной истории, доведенный до 1698 года. Н. С. Арцыбашев пытался в своих трудах освободить историю России от сомнительных легенд и тенденциозных искажений, свойственных Н. М. Карамзину. Основная задача Арцыбашева — точная передача источников. Характеризуя особенности своего труда, он писал: «Я сличал слово в слово, а иногда буква в букву все летописи, какие мог иметь, соединял их, дополняя одну другою, и таким образом составлял изложение» (С. А. Венгеров, Критико-биографический словарь русских писателей и ученых, т. I, СПб. 1889, стр. 811). У Арцыбашева были и противники и сторонники. В 1846 году известный художник А. А. Иванов писал своему приятелю С. П. Шевыреву: «Вы против Арцыбашева? Я не знаю, что тут сказать, а мне он нравится более Карамзина. Пока я думаю, что *художнику* нужны материалы, как они существуют» (там же, стр. 815). Островский был сторонником труда Арцыбашева.

[17] *Стр. 135.* Цитата из статьи Н. М. Карамзина «О случаях и характерах в российской истории, которые могут быть предметом художеств. Письмо к господину NN» (Н. М. Карамзин, Избранные сочинения в двух томах, том 2, «Художественная литература», М.—Л. 1964, стр. 189).

[18] *Стр. 135.* В 1848 году, готовя статью о романе Ч. Диккенса

«Домби и Сын», Островский писал: «Самая лучшая школа для художественного таланта есть изучение своей народности <...>. Изучение изящных памятников древности <...> пусть будет приготовлением художнику к священному делу изучения своей родины» (Островский, т. XIII, стр. 137). Сам драматург с неизменным интересом обращался к древним рукописным памятникам. Так, например, только для работы над исторической хроникой «Козьма Захарьич Минин, Сухорук» он, кроме «Актов, собранных в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею императорской Академии наук» (4 тт. с указателем, СПб. 1836—1838), использовал «Житие Юлиании Муромской», «Никоновскую летопись», «Летопись о многих мятежах», «Иное сказание о самозванцах» и т. д.

[19] *Стр. 135.* «Историю русской комедии», в которую Семевский предполагал включить исследования о Сумарокове, Фонвизине, Грибоедове, Гоголе, Островском и др., он начал писать еще будучи в кадетском корпусе. Часть этого труда — разбор комедии Островского «Свои люди — сочтемся!» — была выполнена под руководством Г. Е. Благосветлова и прочитана на публичном выпускном экзамене весной 1855 года (В. В. Тимощук, Михаил Иванович Семевский, СПб. 1895, стр. 15—19). Этот труд остался незавершенным, и судьба рукописи неизвестна.

[20] *Стр. 136.* Речь идет о прозаическом переводе комедии «Укрощение злой жены» («The Taming of the Shrew»), законченном Островским в 1850 году (рукопись хранится в Центральной театральной библиотеке имени А. В. Луначарского в Ленинграде). В 1865 году драматург перевел ту же комедию стихами («Усмирение своенравной»).

[21] *Стр. 137.* См. прим. 8 к воспоминаниям Н. В. Берга, стр. 511.

[22] *Стр. 137.* Цензор М. А. Гедеонов так заключил свой отзыв о пьесе: «Все действующие лица: купец, его дочь, стряпчий, приказчик и сваха отъявленные мерзавцы. Разговоры грязны; вся пьеса — обида для русского купечества» (ЦГИАЛ). О цензурной истории комедии «Свои люди — сочтемся!» см. прим. 14 к воспоминаниям Н. В. Берга, стр. 513.

[23] *Стр. 137.* Имеется в виду А. М. Гедеонов.

[24] *Стр. 137.* «Крайности славянофильства», о которых пишет Семевский, в конце 1855 года у Островского просто невозможны: к этому времени он был не только идейно чужд славянофилам, но всей душой сочувствовал некрасовскому «Современнику», с которым и начал переговоры о сотрудничестве уже в январе 1856 года. Очевидно, основной пафос высказываний Островского был направлен против крайностей либерального западничества, про-

являвшего низкопоклонство перед всем иностранным и недооценивавшим достижений русского народа.

Что касается «Переписки с друзьями» Н. В. Гоголя, то, по всей видимости, Семевский здесь просто путает. Возможно, Островский высоко оценивал отдельные места книги, относящиеся к литературе, Пушкину, а мемуарист перенес это отношение на всю «Переписку».

Маржерет — француз, капитан иноземных телохранителей Бориса Годунова и Дмитрия Самозванца с 1600 по 1606 год, а потом наемник «Тушинского вора» и поляков. В 1607 году во Франции издал клеветническую книгу о России: «Состояние Российской державы и великого княжества Московского, с присовокуплением известий о достопамятных событиях четырех царствований, 1590 года по сентябрь 1606», которая в 1830 году вышла в русском переводе.

Котошихин Г. К. (род. около 1630—1667) — подьячий Посольского приказа, в 1663 году передал шведам копии секретных документов, а затем бежал в Швецию, где был принят на государственную службу. В качестве пособия для шведских послов и чиновников им написано сочинение «О России в царствование Алексея Михайловича», содержащее обширный материал о русских государственных учреждениях, вооруженных силах, торговле, придворном церемониале и т. д. Нравы и обычаи русских людей изображаются здесь в весьма отрицательных тонах. Сочинение Котошихина обнаружено в шведских архивах русскими историками первой половины XIX века.

Князь А. М. Курбский (1528—1583), идеолог консервативного боярства, не понимал прогрессивного значения проводимой Иваном IV политики объединения Руси, пошел на государственную измену и в 1564 году бежал в Польшу. Князь А. М. Курбский — автор четырех посланий к Ивану Грозному и «Истории о великом князе московском», в которых отстаивал свои взгляды.

[25] *Стр. 138.* Речь идет о С. Т. Аксакове.

[26] *Стр. 138.* См. прим. 9 на стр. 536.

[27] *Стр. 138.* Николай Алексеевич Федоров, товарищ М. И. Семевского по кадетскому корпусу и полку.

[28] *Стр. 138.* В комедии «В чужом пиру похмелье» («Русский вестник», 1856, № 2) несомненно сказалось еще славянофильское влияние, например, в слишком быстром перерождении самодура Брускова. Но все же главный смысл пьесы именно в критике самодурства, в ней очевиден уже возврат драматурга к гоголевским традициям критического реализма. Характеризуя пьесу, Н. А. Добролюбов писал о ней: «Здесь есть все — и грубость, и отсутствие

честности, и трусость, и порывы великодушия,— и все это покрыто такой тупоумной глупостью...» (Собр. соч. в трех томах, т. 2, Гослитиздат, М. 1952, стр. 239). Однако либеральные западники, преувеличивая славянофильские тенденции пьесы, недооценивали ее критической направленности, что нашло отражение и в печати. Так, Н. С. Назаров пытался доказать, что комедия лишена серьезного содержания, противоречива, а ее автор «от своих отстал, а к чужим не пристал» («Санкт-Петербургские ведомости», 1856, № 24). Рецензент «Отечественных записок» в статье, в целом весьма благожелательной к Островскому, снижал все же образ Брускова, представляя его «без толку меняющим свои мнения стариком» (1856, № 2).

[29] *Стр. 140.* Судя по всему, Григорович был одним из распространителей слухов о плагиате комедии «Свои люди — сочтемся!» (см. прим. 20 к воспоминаниям И. Ф. Горбунова, стр. 519). Очевидно, об этом и говорится в неизвестном нам письме Е. Э. Дриянского А. Н. Островскому.

[30] *Стр. 141.* В Петербург Островский ездил в конце февраля 1856 года и пробыл там три недели.

[31] *Стр. 141.* Видимо, распоряжения Николая I о запрещении комедии «Свои люди — сочтемся!» и об установлении за Островским полицейского надзора (см. прим. 39 к воспоминаниям С. В. Максимова, стр. 528) произвели должное впечатление в официальных кругах, и Островского «забыли» пригласить для участия в литературной экспедиции, организованной Морским министерством. Узнав случайно от А. Ф. Писемского и А. А. Потехина об экспедиции, Островский начал энергично хлопотать о включении в ее состав, в чем ему охотно помог Потехин, уступивший часть своего маршрута и убедивший министерство, что он один не в силах обследовать район Волги от истоков до Саратова.

[32] *Стр. 141.* Это собрание сочинений не вышло. Первое собрание сочинений Островского в двух томах издал в 1859 году граф Г. А. Кушелев-Безбородко.

[33] *Стр. 141.* На обложке октябрьского номера «Современника» за 1856 год появилось объявление, сообщавшее, что с 1857 года «будут принимать в «Современнике» исключительное и постоянное участие: Д. В. Григорович, А. Н. Островский, граф Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев».

[34] *Стр. 141.* Островский действительно обещал «Русской беседе» своего «Минина», но, поскольку работа над пьесой очень задержалась (завершена 9 декабря 1861 года), драматург, не желая нарушить обещание, отдал в журнал «Доходное место» (напечатано в № 1 за 1857 год). Драматическая хроника «Козьма Захарь-

ич Минин, Сухорук» опубликована в журнале «Современник», 1862, № 1.

[35] *Стр. 143.* 21 марта 1856 года Морское министерство за подписью министра барона Ф. П. Врангеля уведомляло Островского: «Вследствие изъявленного Вами желания отправиться по поручению Морского министерства и разделить с известным Вам литератором г. Потехиным возложенный на него труд обозрения быта приволжских жителей, занимающихся рыболовством и судоходством, для доставления статей о том в «Морской сборник», представляются Вашему изучению и описанию губернии, лежащие на верхней части Волги, от истоков ее до соединения с р. Окою, а именно Тверская, Ярославская, Костромская и часть Нижегородской; по сю сторону Нижнего Новгорода». В этом уведомлении высказывалась также просьба к Островскому при изучении быта прибрежных обитателей Волги обратить особое внимание: «а) на их жилища, б) их промыслы с показанием обстоятельств, благоприятствующих или мешающих их развитию, в) суда и разные судоходные орудия и средства, ими употребляемые, означая их названия и представляя, если возможно, их изображение на рисунке, г) физический их вид и состояние и д) преимущественно их нравы, обычаи, привычки и все особенности, резко отделяющие их от прочих обитателей той же стороны как в нравственном, так и в промышленном отношении, а равно и в речи, поговорках, поверьях и т. п.» (Музей).

[36] *Стр. 144.* Речь идет о повести А. И. Герцена «Доктор Крупов».

[37] *Стр. 146.* Имеется в виду картина А. А. Иванова «Явление мессии народу» (1837—1857).

[38] *Стр. 146.* В 1809 году М. М. Сперанским, товарищем министра юстиции, по поручению Александра I был составлен «План государственного преобразования (Введение к Уложению государственных законов 1809 г.)». По этому «Плану» предполагалось придать российской империи внешне конституционные формы при полном сохранении крепостничества и самодержавия. Часть мероприятий, связанных с «Планом», Сперанскому даже удалось провести в жизнь, однако противники подобных преобразований добились отстранения его от государственной службы и ссылки в Нижний Новгород (в марте 1812 года), а потом в Пермь. В январе 1813 года Сперанский написал Александру I письмо, в котором оправдывал свою политику, доказывая, что цель его заключалась в том, чтобы «утвердить власть правительства на началах постоянных и тем самым сообщить действию сея власти более правильности, достоинства и истинной силы». В заключение Сперанский

писал о завистниках и клеветниках, погубивших его, и просил Александра I дать ему возможность жить в собственной деревне («Пермское письмо Сперанского к Александру Павловичу».— «Русский архив», 1892, № 1).

[39] *Стр. 147.* См. прим. 34 на стр. 540.

[40] *Стр. 147.* См. прим. 11 к воспоминаниям И. Ф. Горбунова, стр. 517.

[41] *Стр. 150.* Неточная цитата из стихотворения А. А. Григорьева «Искусство и правда. Элегия — ода — сатира», впервые опубликованного в журнале «Москвитянин», 1854, № 3—4.

[42] *Стр. 150.* О какой комедии идет здесь речь, неизвестно.

[43] *Стр. 151.* Секретарем Островского в его поездке по Волге был Гурий Николаевич Бурлаков.

[44] *Стр. 151.* Материалы, привезенные Островским в 1856—1857 годах из литературной экспедиции: личные наблюдения о быте и труде населения, статистические данные, записи народных обрядов, анекдотов и выражений, чертежи судов, дневники, оттиски журнальных статей. Они хранятся главным образом в ЦГАЛИ и в Музее. Дневники и словарь опубликованы (Островский, т. XIII).

[45] *Стр. 151.* Имеются в виду очерки «Фрегат «Паллада». Островский начал писать свои очерки под названием «Путешествие по Волге от истоков до Нижнего Новгорода» для журнала «Морской сборник», но вследствие разногласий с редакцией, требовавшей сухого отчета, прекратил работу. В «Морском сборнике» (1859, № 2) им опубликована лишь первая часть очерков.

[46] *Стр. 152.* Имеется в виду А. Н. Островский.

[47] *Стр. 152.* Этот очерк до нас не дошел. По-видимому, он был основан на наблюдениях Островского во время первой поездки в Щелыково, в 1848 году.

[48] *Стр. 152.* См. прим. 20 к воспоминаниям И. Ф. Горбунова, стр. 519.

[49] *Стр. 153.* Статья М. И. Семевского, направленная против князя Н. С. Назарова, выступавшего с клеветническими фельетонами в адрес А. Н. Островского, не сохранилась. Комизм положения Семевского заключался в том, что Назаров почему-то вообразил, будто Семевский в этой статье станет поддерживать его фельетоны, и говорил ему еще в марте 1856 года: «Ради бога, пишите только сколь возможно резче... сколь возможно смелее, бойче — этим вы доставите... большое мне удовольствие» (письмо М. И. Семевского к Г. Е. Благосветлову от 11 июня 1856 года.— ИРЛИ).

Печатается по авторизованному списку «Записок», хранящемуся в ИРЛИ. Впервые с сокращениями опубликовано в книге: В. В. Тимощук, Михаил Иванович Семевский, СПб. 1895, стр. 42—46.

[50] *Стр. 153*. Под первыми М. И. Семевский разумеет свои встречи с А. Н. Островским в 1855—1856 годах (см. предыдущее воспоминание). «Второе свидание» произошло не в 1860 году, а в начале марта 1859 года.

[51] *Стр. 156*. А. Н. Островский говорит о посещении им Петербурга с 6 по 18 ноября 1879 года для постановки пьес «Дикарка» и «Сердце не камень» на сцене Александринского театра.

[52] *Стр. 157*. Н. Н. Страхов опубликовал письма к нему А. А. Григорьева, сопроводив их своими комментариями («Воспоминания об Аполлоне Александровиче Григорьеве».— «Эпоха», 1864, № 9). Страхов фиксирует внимание на личных свойствах Григорьева, но ничего не говорит о его эстетической позиции, о сущности и значении его критики.

[53] *Стр. 157*. Очевидно, речь шла о предполагавшейся публикации писем в журнале «Русская старина». Семевский писал Островскому 19 ноября 1879 года: «Приступайте к Вашему литературному и артистическому архиву. Превосходная мысль высказана Вами 11-го ноября по этому поводу. Нетерпеливо буду ждать ее осуществления» (Письма, стр. 542). Но намерение Островского подобрать и откомментировать переписку осталось неосуществленным.

[54] *Стр. 157*. Леон Филиппович Мирский, студент Медико-хирургической академии, принадлежал к группе народников-террористов. 13 марта 1879 года он совершил неудачное покушение на шефа жандармов генерал-адъютанта Дрентельна. В ноябре 1879 года петербургский военно-окружной суд приговорил Мирского к смертной казни. По кассации этот приговор заменен лишением всех прав состояния и бессрочной ссылкой на каторжные работы в рудники.

А. А. Ольхин, отставной коллежский асессор, обвинявшийся в укрывательстве Мирского, за недоказанностью улик освобожден («Правительственный вестник», 1879, №№ 260, 262—267).

А. Н. Островский, весьма сочувствуя революционно настроенной молодежи (см., например, воспоминания И. А. Купчинского, стр. 239), не разделял, однако, методов ее борьбы. Он стоял за мирный прогресс, за преобразование жизни путем постепенных реформ, и любая активная форма борьбы им отвергалась.

С. В. Максимов

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

По архивным документам и личным воспоминаниям

О С. В. Максимове см. на стр. 522.

Воспоминания впервые напечатаны в журнале «Русская мысль», 1890, № 2.

[1] *Стр. 159.* Речь идет о великом князе Константине Николаевиче.

[2] *Стр. 160.* К участию в экспедиции были первоначально привлечены А. С. Афанасьев-Чужбинский, Г. П. Данилевский, М. Л. Михайлов, А. Ф. Писемский, А. А. Потехин, Н. Н. Филиппов, С. В. Максимов, А. Михайлов. Позднее к ним присоединился А. Н. Островский.

[3] *Стр. 160.* Очевидно, исключение составляет А. Ф. Писемский, костромич, взявший для обследования низовья Волги и побережье Каспийского моря.

[4] *Стр. 160.* См. прим. 31 к воспоминаниям М. И. Семевского, стр. 540.

[5] *Стр. 160.* Речь идет о Д. А. Толстом, директоре канцелярии Морского министерства.

[6] *Стр. 162.* Имеется в виду А. Н. Островский.

[7] *Стр. 164.* Условия программы министерства см. в прим. 35 к воспоминаниям М. И. Семевского, стр. 541.

[8] *Стр. 165.* См. прим. 44 к воспоминаниям М. И. Семевского, стр. 542.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ А. Н. ОСТРОВСКОМ

Автор воспоминаний не установлен. Вернее всего это ярославский чиновник, близко соприкасавшийся с А. Н. Островским, когда тот, обследуя по заданию Морского министерства приволжские губернии, был с начала мая до августа 1857 года в Ярославле, Рыбинске, Угличе и Романово-Борисоглебске.

Воспоминания, написанные в скором времени после смерти драматурга, печатаются по тексту газеты «Ярославские губернские ведомости», 1886, № 69.

[1] *Стр. 167.* А. Н. Островского в литературной экспедиции сопровождал Г. Н. Бурлаков (о нем см. воспоминания М. И. Семевского, стр. 151).

[2] *Стр. 169.* Комедия «Доходное место», законченная 20 декабря 1856 года, во время экспедиции Островского на Волгу еще не ставилась в театре. 16 декабря 1857 года, в день московской премьеры, она была запрещена драматической цензурой и дозволена к представлению лишь в 1863 году.

[3] *Стр. 169.* Возможно, мемуарист путает пьесы «Доходное место» и «Не в свои сани не садись». О последней, премьера которой прошла в Петербурге 19 февраля 1853 года, по свидетельству Ф. А. Бурдина, Николай I действительно высказался весьма одобрительно (Ф. А. Бурдин, Воспоминания артиста об императоре Николае Павловиче.— «Исторический вестник», 1886, № 1).

[4] *Стр. 172.* См. прим. 44 и 45 к воспоминаниям М. И. Семевского, стр. 542.

А. Я. Панаева (Головачева)

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

<Отрывок>

Авдотья Яковлевна Панаева (1819—1893) — писательница, сотрудница журнала «Современник» (псевдоним — «Н. Станицкий»), гражданская жена Н. А. Некрасова.

А. Н. Островского она встретила впервые в редакции «Современника» 14 февраля 1856 года на обеде в его честь.

Писала свои воспоминания А. Я. Панаева, как утверждает К. И. Чуковский, в конце восьмидесятых годов (см. вступительную статью к «Воспоминаниям» А. Я. Панаевой (Головачевой), Гослитиздат, М. 1956, стр. 6). Текст в нашем сборнике также перепечатан с указанного выше издания «Воспоминаний» 1956 года (отрывок из главы одиннадцатой).

[1] *Стр. 173.* Знакомство Островского с редакцией журнала «Современник» произошло, вероятнее всего, через посредство И. С. Тургенева, которому Некрасов, как известно, поручал вести некоторые предварительные переговоры с Островским (см. прим. 7 к воспоминаниям С. В. Максимова, стр. 523).

[2] *Стр. 174.* Судя по всему, Д. В. Григорович.

[3] *Стр. 174.* Историю о плагиате см. в прим. 20 к воспоминаниям И. Ф. Горбунова, стр. 519.

[4] *Стр. 174.* О цензурной истории комедии «Свои люди — сочтемся!» см. прим 14 к воспоминаниям Н. В. Берга, стр. 513.

[5] *Стр. 175.* Этот приезд Островского в Петербург состоялся не перед Крымской войной, а в начале февраля 1856 года, и был вызван отнюдь не хлопотами о постановке пьесы (премьера его ко-

медии «В чужом пиру похмелье» только что прошла в Александринском театре, а новой пьесы не готовилось). Островский приехал в Петербург специально, чтобы установить контакт с «Современником» (см. воспоминания М. И. Семевского, стр. 141), а также и с тем, чтоб ускорить решение вопроса о включении его в экспедицию на Волгу (см. прим. 31 к воспоминаниям М. И. Семевского, стр. 540).

[6] *Стр. 176.* Весь этот эпизод сомнителен. Взаимоотношения Тургенева и Островского всегда были вполне благожелательны. Разговор о Крымской войне в той форме, как он описан у Панаевой, не мог происходить еще и потому, что Островский появился в редакции «Современника», когда война уже закончилась. Кстати, побывав в 1860 году в Севастополе, драматург 19 июля писал П. М. Садовскому и С. С. Кошеверову: «Без слез этого города видеть нельзя» (О с т р о в с к и й, т. XIV, стр. 80).

Н. Д. Новицкий

ИЗ ДАЛЕКОГО МИНУВШЕГО

<*Отрывок*>

Николай Дементьевич Новицкий (1833—1906) — в конце пятидесятых годов прогрессивно настроенный офицер, близко стоявший к Н. А. Добролюбову и Н. Г. Чернышевскому, позднее — генерал-от-кавалерии, член Военного совета. Отойдя от участия в освободительном движении, он сохранил, однако, уважение к друзьям своей молодости.

В 1890 году Н. Д. Новицкий написал проникнутые большой теплотой воспоминания о Н. Г. Чернышевском и Н. А. Добролюбове, отрывок из которых, непосредственно относящийся к Островскому, приводится в нашем сборнике.

Отрывок печатается по тексту сборника «Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников», Гослитиздат, М.—Л. 1961.

[1] *Стр. 177.* А. Н. Островский посетил Н. А. Добролюбова, вероятно, во время своего пребывания в Петербурге в начале ноября 1859 года. На это указывает и ссылка Новицкого на статью Добролюбова «Темное царство», окончание которой появилось в сентябрьской книжке «Современника» за 1859 год. Добролюбов и Островский встречались и раньше, в частности на традиционных обедах в редакции «Современника» (см., например, воспоминания П. М. Ковалевского в сб. «Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников», Гослитиздат, М.—Л. 1961, стр. 261—262).

[2] *Стр. 177.* Прочитав статью Н. А. Добролюбова «Темное царство», Островский решил откликнуться на нее благодарственным письмом. В сохранившемся черновике начальных строк этого письма Островский пишет: «М<илостивый> Г<осударь> Н<иколай> А<лександрович>, я от души благодарю В<ас> за дельную статью о моих ком<едиях>» (В. Лакшин, Об отношении Островского к Добролюбову.— «Вопросы литературы», 1959, № 2). Письмо не сохранилось, и неизвестно, было ли оно послано. Искренняя благодарность драматурга, несомненно, сказалась и в том, что при создании «Грозы» он, как известно, принял во внимание статью великого критика (Е. Холодов, Островский читает «Темное царство».— «Вопросы литературы», 1962, № 12).

[3] *Стр. 177.* Бетрищев — персонаж второй части «Мертвых душ» Н. В. Гоголя.

В. А. Герценштейн

ИЗ «ПИСЕМ О БЫЛОМ И ПЕРЕЖИТОМ»

В. А. Герценштейн (умер после 1903 года) — тифлисский литератор конца XIX — начала XX веков, составитель и издатель многих справочных альманахов, настольных календарей, путеводителей.

Воспоминания об Островском являются первым очерком из цикла «Письма о былом и пережитом». Написаны воспоминания, как следует из предисловия, в 1894 году и напечатаны в газете «Кавказ», 1894, № 107.

[1] *Стр. 178.* Строка из стихотворения А. С. Пушкина «Клеветникам России».

[2] *Стр. 178.* А. Н. Островский возвращался из путешествия по Украине и Крыму, куда он ездил совместно с актером А. Е. Мартыновым (с середины мая по август 1860 года). Тяжело больной чахоткой Мартынов ехал на юг лечиться, Островский сопровождал его. Однако Мартынову, по просьбе провинциальных антрепренеров, пришлось много выступать, что окончательно подорвало его здоровье, и 16 августа в Харькове он умер на руках у Островского.

[3] *Стр. 179.* А. Н. Островский и его спутник выехали из Харькова 23 августа.

[4] *Стр. 181.* См. прим. 3 к воспоминаниям П. Д. Боборыкина, стр. 549.

П. Д. Боборыкин

<ОСТРОВСКИЙ НА ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ СЦЕНЕ>

Петр Дмитриевич Боборыкин (1836—1921) — писатель, драматург, критик, театровед, публицист.

Боборыкин встречался с Островским по преимуществу по делам Общества русских драматических писателей. Эти встречи были редкими, деловыми, официальными. Боборыкину, отстаивавшему принципы чисто коммерческого объединения драматургов, были враждебны стремления Островского превратить Общество драматических писателей в творческую организацию, способствующую профессиональному и культурному росту ее членов, содействующую развитию отечественной драматургии.

Отрывок из шестой главы воспоминаний Боборыкина «За полвека» печатается по изданию: П. Д. Боборыкин, Воспоминания в двух томах, т. I, «Художественная литература», М. 1965.

[1] *Стр. 183.* Причина тому — в цензурных затруднениях, через которые прошла комедия (см. прим. 14 к воспоминаниям Н. В. Берга, стр. 513).

[2] *Стр. 183.* Петербургская театральная администрация, враждебная Островскому, сознательно ограничивала его успех на сцене. Как правило, пьесы Островского ставились до крайности небрежно. Такой, например, была петербургская постановка «Горячего сердца» (1869), «изуродованная артистами» (Островский, т. XII, стр. 72), или «рутинная и неумелая» — пьесы «Без вины виноватые» (там же, стр. 232), «возмутительно небрежная» — «Грозы» (там же, стр. 238) и многих других пьес. Однако, несмотря на плохую постановку (неправильный подбор артистов, бедность декораций, недостаточность репетиций и т. д.), многие пьесы Островского и на петербургской сцене пользовались большим успехом («Бедность не порок», «Поздняя любовь», «Правда — хорошо, а счастье лучше», «Бесприданница», «Таланты и поклонники», «Без вины виноватые»). Но и пьесы, шедшие с успехом, администрация, верная враждебной драматургу политике, торопилась быстрее снять с репертуара. Вот что писала П. А. Стрепетова драматургу 4 ноября 1884 года: «За то, что я играла хорошо «Бедную невесту» (она назначена была на следующей неделе к повторению), ее сняли с репертуара» (П. А. Стрепетова, Жизнь и творчество трагической актрисы.— «Искусство», Л.—М. 1959, стр. 284). Драматург глубоко переживал это издевательское отношение театральной администрации. 11 января 1884 года он писал А. С. Суворину: «В Петербурге на святках не шло ни одной моей пьесы, да и теперь тоже. Я отнят у петербургской публики,

и петербургская публика отнята у меня. Это уж не только материальный ущерб, но и оскорбление» (Островский, т. XVI, стр. 96).

[3] *Стр. 183.* Комедия «Свои люди — сочтемся!», впервые поставленная 16 января 1861 года в Петербурге в Александринском театре, прошла с большим успехом. Еще более шумным был прием пьесы в Москве. 31 января 1861 года состоялась ее премьера в Малом театре в бенефис П. М. Садовского. С полными сборами пьеса прошла в феврале девять раз в Малом театре, а 28 февраля, 1 и 4 марта, ввиду наплыва зрителей, ее даже дали на сцене Большого театра, причем денежный сбор при каждом таком спектакле в два с половиной раза превышал сборы, получаемые при игре на сцене Малого театра (С. А. Черневский, А. Н. Островский. Перечень спектаклей Малого театра в Москве, в которых исполнялись пьесы Островского, с указанием сборов по каждому спектаклю. 1853—1897.— Музей).

[4] *Стр. 183.* 23 сентября 1861 года Литературно-театральный комитет действительно отклонил комедию Островского «За чем пойдешь, то и найдешь (Женитьба Бальзаминова)». В литературно-театральных кругах это решение комитета вызвало гневное осуждение. В. С. Курочкин утверждал, что мнение членов комитета, отвергнувших пьесу, «понравившуюся всей грамотной публике... ничтожно перед общим мнением людей, понимающих искусство» («Искра», 1861, № 44). Д. Д. Минаев назвал Литературно-театральный комитет «обществом умственного паралича», а ее членов — «нисколько не знакомыми ни с искусством, ни с русской сценой, ни с ее условиями и требованиями» («Заметки Дон-Кихота С.-Петербургского».— «Гудок», 1862, № 40). Журнал «Время», поддерживая фельетон «Гудка», требовал от комитета объяснения причин отсутствия на сцене этой «едва ли не одной из лучших» комедий Островского, которую «и читать-то нельзя, не умирая со смеху» (Ч. Комитетский, Голос за петербургского Дон-Кихота.— «Время», 1862, октябрь). Под давлением общественного мнения пьесу 17 ноября 1862 года в комитете пересмотрели и одобрили к представлению большинством шести голосов против четырех (П. С. Федорова, А. А. Краевского, А. Г. Ротчева, П. И. Юркевича).

[5] *Стр. 184.* Прежде всего, А. Н. Островский никогда до конца и не порывал с традициями «натуральной» школы (см. об этом вступительную статью, стр. 9—10). И его переход в журнал «Современник» был вполне органичным и постепенным. Он подготовлен разрывом драматурга с «молодой редакцией» «Москвитянина», наметившимся еще в 1854 году, освобождением от славянофильских тенденций в пьесах «В чужом пиру похмелье» (1855) и в особенности в «Доходном месте» (1856). Боборыкин допускает

здесь еще одну неточность: безусловно, статьи Добролюбова имели для Островского огромное значение, что он и сам признавал (см. прим. 2 к воспоминаниям Н. Д. Новицкого, стр. 547), но переходу его в «Современник» они отнюдь не способствовали по той простой причине, что Островский начал печататься в «Современнике» с 1856 года («Семейная картина» — 1856, № 4), а статья Добролюбова «Темное царство» появилась в «Современнике» в 1859 году (№№ 7 и 9).

[6] *Стр. 184.* А. Н. Островский не разделял революционных убеждений Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, Н. А. Некрасова (см. прим. 54 к воспоминаниям М. И. Семевского, стр. 543). Но в «Современнике» он не был случайным лицом (см. вступительную статью, стр. 19—20).

[7] *Стр. 184.* См. прим. 51 к воспоминаниям С. В. Максимова, стр. 530.

[8] *Стр. 184.* Madame Sans-Gêne — главная героиня одноименной комедии В. Сарду и Э. Моро.

[9] *Стр. 185.* Муж И. С. Сандуновой Ф. А. Кони в 1840—1856 годах редактировал и издавал театральные журналы, которые выходили под различными заглавиями. Журнал «Репертуар и пантеон театров», упомянутый в тексте, выходил в 1847 году.

[10] *Стр. 185.* Братья Александр и Михаил Александровичи Стаховичи — либеральные земские деятели конца XIX — начала XX века.

[11] *Стр. 185.* В зале петербургского Пассажа силами любителей в шестидесятые годы часто ставились спектакли с благотворительной целью. Спектакль, о котором пишет Боборыкин, состоялся 29 апреля 1863 года.

[12] *Стр. 186.* Драматическая хроника «Козьма Захарьич Минин, Сухорук» начата в 1855 году и закончена 9 декабря 1861 года. В процессе создания пьесы постепенно возрастала в ней роль народа как силы, определяющей ход истории, а характер Минина все более приобретал черты гражданина, заступника обездоленного народа. Эта демократическая направленность пьесы, очевидно, и претила Боборыкину.

[13] *Стр. 187.* Боборыкин здесь явно искажает факты. На самом деле Островский, отличаясь редкой деликатностью, в то же время проявлял по отношению к артистам и большую требовательность. Так, распределяя роли для петербургской постановки комедии «Шутники», он замечает: «Самойлов ничего не сделает для пьесы, лица он не представит, роли не выучит и будет стараться, чтоб его одного только заметно было» (Островский, т. XIV, стр. 117). В своих оценках исполнителей драматург, как правило, был объективен. Извещая Бурдина о московской премьере хро-

ники «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский», он пишет: «Шумский, сверх ожидания, был слаб, зато Вильде был превосходен» (там же, стр. 151). Во имя дела драматург не щадил и своих любимцев: 8 ноября 1880 года, извещая о премьере «Дикарки», он писал: «Садовский совсем погубил свою роль» (там же, т. XV, стр. 194). Подготавливая спектакль, Островский много работал с артистами и, хорошо зная слабое место каждого, делал соответствующие замечания. Отдавая, например, Бурдину роль Минина, драматург наставлял его: «Оставь ты свою сентиментальность, брось бабью расплываемость, будь на сцене мужчиной твердым, лучше меньше чувства и больше резонерства, но твердого» (там же, т. XIV, стр. 146).

[14] *Стр. 187.* Письма А. Н. Островского к Ф. А. Бурдину впервые напечатаны были в журналах «Артист» (1891, № 18; 1892, №№ 19—21) и «Дневник артиста» (1892, № 2). Все письма вошли в Полное собрание сочинений (Островский, тт. XIV—XVI).

[15] *Стр. 187.* В семидесятые и восьмидесятые годы появляются такие замечательные пьесы Островского, отличающиеся социальной остротой и глубокой психологичностью, как «Лес» (1871), «Волки и овцы» (1875), «Бесприданница» (1879), «Таланты и поклонники» (1882) и др. Но и в театре и в печати вокруг пьес Островского продолжалась ожесточенная борьба. И если прогрессивная критика по-прежнему давала высокую оценку произведениям драматурга: А. Н. Плещеев о «Лесе» («Молва», 1880, № 62), В. С. Курочкин о «Поздней любви» («Отечественные записки», 1874, № 3), А. Толченов о «Бесприданнице» («Нувеллист», 1879, № 1) и т. д., то консервативная и либеральная печать, не приемля демократизм Островского, действительно пыталась его развенчать. Так, рецензент реакционной газеты «Гражданин», называя «Позднюю любовь» роковой ошибкой, издевательски восклицал: «О г. Островский! отчего вы не умерли до написания «Поздней любви»?!» (1873, № 49). Газета «Новое время» (1875, № 318) осуждала комедию «Волки и овцы» за якобы нетипичность и бесцветность образов. Сам П. Д. Боборыкин утверждал, что в «Бесприданнице» нет ни одного типического образа, а главная героиня «поставлена фальшиво» («Русские ведомости», 1878, № 295). К. Головин пытался затушевать обличительную направленность пьесы «Без вины виноватые» («Русь», 1884, № 7).

[16] *Стр. 188.* Островскому не предлагали директорство, так как он не имел для этой должности необходимого классного чина. С 1 января 1886 года он занял место начальника репертуара московских театров, Малого и Большого (подробно об этом см. воспоминания Н. А. Кропачева, стр. 436—438).

А. Ф. Кони

А. Н. ОСТРОВСКИЙ
(Отрывочные воспоминания)

Анатолий Федорович Кони (1844—1927) — прогрессивный судебный и общественный деятель, литератор.

Встречи Кони с Островским начались в 1863 году и продолжались до конца жизни драматурга. Кони не был ни другом, ни очень близким его знакомым и встречался с ним только у третьих лиц, но со студенческих лет он являлся восторженным почитателем творчества Островского.

Воспоминания А. Ф. Кони, по его собственной датировке, их завершающей, написаны в январе 1923 года и напечатаны в юбилейном сборнике «Островский».

[1] *Стр. 190.* Комедия А. Н. Островского «Свои люди — сочтемся!» впервые была поставлена в январе 1861 года (см. прим. 3 к воспоминаниям П. Д. Боборыкина, стр. 549). Цензурную историю комедии см. в прим. 14 к воспоминаниям Н. В. Берга, стр. 513.

[2] *Стр. 190.* О критике А. А. Григорьевым творчества Островского см. прим. 51 к воспоминаниям С. В. Максимова, стр. 530.

[3] *Стр. 191.* Об отношении Н. Г. Чернышевского, которого прежде всего здесь имеет в виду Кони, и других революционных демократов к ранней драматургии Островского см. вступительную статью, стр. 9—10.

[4] *Стр. 191.* Неточная цитата из письма к М. П. Погодину от 30 сентября 1853 года (Островский, т. XIV, стр. 39).

[5] *Стр. 192.* А. Ф. Кони, упрощая сложность обстановки в литературно-критических кругах, объединяет в отрицательном отношении к Островскому либерально-западнические круги, к которым принадлежал Н. Ф. Щербина (о нем см. прим. 17 к воспоминаниям И. Ф. Горбунова, стр. 517), и революционных демократов. Между тем либеральные западники (А. А. Краевский и его группа), отождествляя Островского с славянофилами, вели против него длительную борьбу, а революционные демократы стремились оторвать его от славянофильства (см. вступительную статью, стр. 9—10).

[6] *Стр. 192.* Статья Н. А. Добролюбова «Луч света в темном царстве» напечатана в журнале «Современник», 1860, № 10.

[7] *Стр. 192.* На сцене Александринского театра «Гроза» Островского была поставлена 2 декабря 1859 года.

[8] *Стр. 193.* Строка из стихотворения А. С. Хомякова «Россия».

[9] *Стр. 194.* А. Д. Галахов относился к «Грозе» с восхищением и в своем отзыве, посланном в Академию наук, высказался за

присуждение Островскому Уваровской премии. «Гроза», по его мнению, «принадлежит по своему направлению и по своим художественным достоинствам к той школе драматической, которая... единственно законна в настоящее время...» («Отчет о четвертом присуждении наград графа Уварова», СПб. 1860, стр. 49).

[10] *Стр. 195.* О взаимоотношениях М. С. Щепкина и А. Н. Островского см. вступительную статью, стр. 13—14.

[11] *Стр. 195.* А. Ф. Писемский под псевдонимом «Никита Безрылов» выступил в журнале «Библиотека для чтения» (1861, № 12) с фельетоном, в котором допустил пошло-ретроградные выходки против Н. А. Некрасова и И. И. Панаева, против женской эмансипации, литературных чтений и т. д. Журнал «Искра» (1862, № 5) в статье «Хроника прогресса» дал ему резкую отповедь. В заключение «Искра» писала: «Ныне всякому, даже и неучившемуся в семинарии, известно, что талант, который не имеет искреннего стремления служить общественному делу, не заслуживает никакого уважения, а талант, употребляющий свои силы на разрушение этого дела, достоин полного презрения». А. Ф. Писемский не успокоился, он бросил новые оскорбления в адрес демократического лагеря («Библиотека для чтения», 1862, № 1). Вслед за этим, будучи редактором журнала «Библиотека для чтения», он вписал в фельетон П. Д. Боборыкина «Пестрые заметки» (журнал за 1862 г., № 2) резкую фразу против «Искры», обвинив ее в трусости. В ответ на это издатели «Искры» В. С. Курочкин и Н. А. Степанов вызвали Писемского на дуэль (П. Д. Боборыкин, Воспоминания в двух томах, т. I, «Художественная литература», М. 1965, стр. 278). Писемский отказался от дуэли и предложил решить дело «судебным порядком» (П. С. Усов, Из моих воспоминаний.— «Исторический вестник», 1882, № 5).

В защиту Писемского выступил журнал «Русский мир» (1862, № 6). В статье «О литературном протесте против «Искры» сообщалось о готовящемся протесте, подписанном тридцатью лицами, среди которых «имена почти всех лучших представителей русской литературы». Статья появилась без подписи, но с примечанием, что редакция принимает ее на свою ответственность. «Искра» остроумно и зло осмеяла это выступление в 7, 8 и 9 номерах журнала за тот же год. На выступления прогрессивной печати Писемский ответил романом «Взбаламученное море» («Русский вестник», 1863, №№ 3—8), в котором пытался оглупить и опошлить революционно-демократическое движение. С отповедью Писемскому выступил в «Колоколе» (15 декабря 1863 года) А. И. Герцен, написавший остроумную пародию на роман в статье «Ввоз нечистот в Лондон». На этом полемика, по существу, прекратилась.

[12] *Стр. 195.* Драмы «Горькая судьбина» (1859) А. Ф. Писемского, «Грех да беда на кого не живет» (1863) А. Н. Островского и «Власть тьмы» (1887) Л. Н. Толстого.

[13] *Стр. 196.* Речь Островского на обеде во время пушкинских торжеств см.: О с т р о в с к и й, т. XIII, стр. 164.

В. М. Сикевич

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР

<Из «Былых встреч»>

Владимир Мелентьевич Сикевич (умер после 1913 года) — поэт, фельетонист, театральный критик, печатавшийся в шестидесятые годы в «Гудке», «Русском мире», «Северной пчеле», в 1865 году — редактор «Петербургского листка». Сикевич — автор хлестких, но идейно мелких пьес.

«Литературный вечер» представляет собой пятую главу из воспоминаний Сикевича «Былые встречи», написанных, как можно заключить из первой главы, в начале девяностых годов. «Литературный вечер» опубликован в «Историческом вестнике», 1893, № 5.

[1] *Стр. 198.* Чтения Островским своих пьес у Бурдина преследовали сугубо рабочие, строго профессиональные цели: здесь присутствовали в основном артисты, назначавшиеся на роли в данной пьесе, и драматург «начитывал» эти роли, раскрывая самую суть образов (см. также воспоминания Старого актера, стр. 409). Но, как известно, Островский, приезжая в Петербург, читал свои пьесы у Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева и у других литераторов, а также на публичных литературных вечерах, где количество посетителей не ограничивалось.

[2] *Стр. 199.* Не в декабре 1864, а в январе 1865 года происходило это чтение.

[3] *Стр. 199.* «Москаль-чаривник» — водевиль И. П. Котляревского, поставленный впервые в 1819 году в Полтаве, издан в 1841 году.

Н. А. Кропачев

А. Н. ОСТРОВСКИЙ

(Воспоминания его бывшего личного секретаря)

Николай Антонович Кропачев (1841 — умер после 1916) — чиновник, долгое время служивший в Петровской сельскохозяйственной академии, малоизвестный драматург. 21 октября 1877 года

он познакомился с А. Н. Островским в Обществе русских драматических писателей и с тех пор стал часто встречаться с ним. Став в январе 1886 года начальником репертуара московских театров, драматург пригласил Кропачева на работу в качестве своего личного секретаря, имея в виду в дальнейшем ввести его в штат дирекции московских театров.

Н. А. Кропачев являлся представителем того весьма умеренного либерализма, который не противоречил верноподданническому монархизму. Его верноподданнические настроения отчетливо окрасили и воспоминания об Островском.

Воспоминания были написаны в связи с десятилетней годовщиной со дня смерти Островского, в 1896 — начале 1897 года, и опубликованы в журнале «Русское обозрение», 1897, №№ 2, 6.

[1] *Стр. 204.* Общество русских драматических писателей высоко чтило память И. А. Дмитревского (1734—1821) — выдающегося театрального деятеля, писателя, режиссера и актера, сподвижника Ф. Г. Волкова по созданию театра в Ярославле (1750) и первого русского постоянного публичного театра в Петербурге. С конца 1882 года Общество, по предложению Островского и Бурдина, ежегодно оказывало материальную помощь внучкам Дмитревского — Наталии и Елизавете Дмитревским.

[2] *Стр. 206.* Речь идет о пьесе Кропачева «Бери да помни меня», М. 1878.

[3] *Стр. 206.* См. прим. 39 к воспоминаниям С. В. Максимова, стр. 528.

[4] *Стр. 207.* Портрет А. Н. Островского, снятый 30 апреля 1879 года в фотографии И. Г. Дьяговченко, хранится в Музее.

[5] *Стр. 208.* Комедия «Светит, да не греет», поставленная в московском Малом театре 6 ноября 1880 года, действительно провалилась. Она не была достаточно срепетирована, к тому же М. П. Садовский, по словам Островского, «совсем погубил свою роль (Рабачева.— *А. Р.*) и тем повредил успеху пьесы» (Островский, т. XV, стр. 194). Однако последующие спектакли прошли удачно, и 13 ноября Островский сообщал Бурдину: «В повторение пьеса прошла гораздо лучше и имела успех» (там же, стр. 196).

[6] *Стр. 208.* Главного режиссера Малого театра С. А. Черневского.

[7] *Стр. 209.* В газетах неудача Малого театра была явно преувеличена: «бездарная» пьеса и «позорный» спектакль — писал «Русский курьер» (1880, № 305); «Русская газета» назвала спектакль «похоронами новой пьесы», слабого, «до крайности» наивного произведения, которое «вконец загубили» актеры (1880, №№ 173, 174); «скандал в полной парадной форме» («Голос», 1880, № 312).

П. Д. Боборыкин старательно подчеркивал, что пьеса «ошикана» («Русские ведомости», 1880, № 290). И только один С. В. Васильев (Флеров) выступил с защитой пьесы и попытался объяснить провал спектакля, причину которого видел «в несоответствии между исполнителями и их ролями» («Московские ведомости», 1880, №№ 315, 319).

[8] *Стр. 210.* В сотрудничестве с П. М. Невежиным Островский написал «Блажь» (опубликовано в «Отечественных записках», 1881, № 3. Премьера в Малом театре состоялась 26 декабря 1880 года, в Александринском — 16 января 1881 года) и «Старое по-новому» (впервые вышла в литографированном издании С. Ф. Рассохина, 1882. Поставлена Малым театром 21 ноября 1882 года, Александринским — 11 ноября 1883 года).

Совместно с Н. Я. Соловьевым Островским написаны четыре пьесы: «Счастливый день» (впервые опубликовано в «Отечественных записках», 1877, № 7. Премьера в Малом театре состоялась 28 октября 1877 года, в Александринском — 14 ноября того же года); «Женитьба Белугина» (впервые — в «Отечественных записках», 1878, № 5; в Малом театре поставлено 26 декабря 1877 года, в Александринском — 11 января 1878 года); «Дикарка» (впервые — «Вестник Европы», 1880, № 1; премьера в Малом театре — 2 ноября 1879 года, в Александринском — 11 ноября того же года), «Светит, да не греет» (впервые — в журнале «Огонек», 1881, №№ 6—10; поставлена в 1880 году, в Малом театре — 6 ноября, в Александринском — 14 ноября). В 1881 году в издании книжного магазина «Нового времени» все эти пьесы появились под заглавием: «Драматические сочинения А. Островского и Н. Соловьева».

[9] *Стр. 210.* Драма Соловьева «Медовый месяц» опубликована не в «Отечественных записках», а в журнале «Век», 1882, № 2.

[10] *Стр. 212.* П. И. Кичеев.

[11] *Стр. 212.* В 1885 году по отношению к комитету Общества драматических писателей образовалась оппозиция в лице Ф. Д. Гриднина, П. И. Кичеева, Э. Э. Матерна, К. А. Тарновского, Вл. И. Немировича-Данченко и др. Оппозиционеры требовали создать при Обществе клуб, нужда в котором возникла после закрытия в 1883 году Артистического кружка. Островский, по-видимому, отклонил это требование по соображениям организационно-финансовым и из-за бесперспективности подобного ходатайствования перед правительством.

[12] *Стр. 213.* Трудно сказать, каких «недюжинных драматургов» имеет в виду Кропачев. Возможно, это был кто-то из названных выше оппозиционеров (см. прим. 11) или кто-либо из конфликтовавших в то время с комитетом Общества (Н. А. Потехин,

А. И. Южин, А. Н. Плещеев и В. А. Крылов) и, вероятно, тоже входивших в оппозицию.

[13] *Стр. 213.* См., например, прим. 17 и 20 к воспоминаниям И. Ф. Горбунова, стр. 517—520.

[14] *Стр. 214.* Грибоедовская премия была присуждена Островскому действительно в 1883 и 1885 годах.

[15] *Стр. 214.* Общество русских драматических писателей и оперных композиторов создано 21 октября 1874 года. Его устав предусматривал охрану авторских прав, улучшение материальной обеспеченности творческих работников, содействие драматическому искусству путем устройства образцовых спектаклей и т. д. Общество просуществовало до 1930 года, когда было преобразовано во Всероссийское общество советских драматургов и композиторов. А. Н. Островский до самой своей смерти был бессменным председателем Общества.

[16] *Стр. 215.* Речь эту см.: Островский, т. XII, стр. 259.

[17] *Стр. 216.* Комедию «Красавец мужчина» («Отечественные записки», 1883, № 1).

[18] *Стр. 218.* Возможно, Островский предполагал сотрудничать с Кропачевым, как с Невежиным и Соловьевым (см. прим. 8 на стр. 556), с тем, чтобы передать ему свой опыт (см. воспоминания В. М. Минорского, стр. 312).

[19] *Стр. 218.* Мысль о создании в Москве частного народного театра занимала Островского долгие годы. В начале восьмидесятых годов он неоднократно обращался по этому поводу в Министерство внутренних дел и наконец в феврале 1882 года получил необходимое разрешение, о чем 9 марта в «Правительственном вестнике» (1882, № 51) появилось официальное оповещение. Драматург уже делал попытки организации товарищества на паях для строительства театра, разработал основные репертуарные принципы театра и т. д. Но ему пришлось отказаться от права создать народный театр, так как уже в марте того же года вышло общее разрешение правительства на открытие частных театров, и вокруг театра начался такой спекулятивный ажиотаж, в условиях которого было безрассудно начинать серьезное дело. Кроме того, меценаты, на которых Островский рассчитывал, отказались поддержать театр, требовавший огромных средств, без скорой надежды на их возвращение. Все материалы, связанные с театром, см.: Островский, т. XII.

[20] *Стр. 219.* С 1 января 1886 года (см. воспоминания Н. А. Кропачева на стр. 436).

[21] *Стр. 220.* См. прим. 8 и 9 на стр. 556—557. Очевидно, здесь Кропачев спутал пьесы «Счастливый день» и «Медовый месяц».

[22] *Стр. 220.* Тридцатипятилетний юбилей литературной деятельности А. Н. Островского праздновался в 1882 году, а пенсия была ему назначена лишь в 1884 году, причем после долгих хлопот драматурга и двух отказов (в 1872 и 1882 годах). Только благодаря ходатайствам М. Н. Островского, министра государственных имуществ, драматургу была назначена пенсия в 3000 рублей (хлопотали о 6000 рублей). А. Н. Островский не был удовлетворен этой пенсией (см. воспоминания П. М. Невежина, стр. 252).

[23] *Стр. 220.* 21 октября 1877 года Общество русских драматических писателей установило поощрительный золотой медальон для лиц, оказавших Обществу особые услуги. 9 февраля 1882 года комитет Общества постановил поднести такой медальон А. Н. Островскому в день тридцатипятилетия его литературной деятельности.

[24] *Стр. 220.* А. Н. Островский ездил благодарить царя за пенсию в начале марта 1884 года по настоятельному требованию своего брата, М. Н. Островского.

[25] *Стр. 221.* Бьёрнсон Бьёрнстьерне Мартиниус (1832—1910) — норвежский писатель, творчество которого характеризуется антимонархической и антиклерикальной направленностью («Король», 1877). Однако разрешение социальных противоречий Бьёрнсон видел в нравственном самоусовершенствовании («Новобрачные», 1865; «Леонардо», 1879; «Перчатка», 1883), что, возможно, и привлекло Александра III.

[26] *Стр. 222.* Назначение А. Н. Островского на должность начальника репертуара московских императорских театров произошло благодаря брату его, М. Н. Островскому, действовавшему через своего приятеля Н. С. Петрова, главного контролера Министерства императорского двора, пользовавшегося неограниченным доверием Воронцова-Дашкова и имевшего большое влияние на дела дирекции императорских театров.

[27] Стр. 222. В биографии Островского, составленной А. С. Носом (Сочинения А. Н. Островского, т. I, изд. девятое, М. 1890, стр. XLVI. Это же повторено и в десятом издании, т. I, М. 1896, стр. XLV).

[28] *Стр. 223.* Речь идет, очевидно, о пьесах Кропачева «Сцены» и «Без протекции».

[29] *Стр. 224.* См. прим. 27 к воспоминаниям Н. А. Кропачева, стр. 594.

[30] *Стр. 225.* Библиограф «Правительственного вестника» (1886, № 228) высоко оценил переводы Островского, назвав их «удачно исполненными» («Усмирение своенравной» Шекспира) и «замечательными» («Семья преступника» П. Джакометти, «Великий бан-

кир» Итало Франки), однако о пьесах, приспособленных к русским нравам («Рабство мужей», «Заблудшие овцы»), он по справедливости отозвался весьма сдержанно, ибо они резко уступают оригинальным произведениям драматурга.

И. А. Купчинский

ИЗ ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЛЕКСАНДРЕ НИКОЛАЕВИЧЕ ОСТРОВСКОМ

Иван Алексеевич Купчинский (1844—1917) — журналист и драматург, член Общества драматических писателей.

С А. Н. Островским он познакомился в 1879 году, когда начал пробовать силы в драматургии, подражая автору «Грозы», и явился к нему со своими рукописями. Комедия Купчинского «И в руках было, да сплыло» во многом напоминает пьесу «Бедность не порок». Прочтя ее, Александр Николаевич сказал: «Это мои типы, совсем мои; только они несколько обновлены временем» (А. И. Яцимирский, Друзья русских самородков.— «Русская мысль», 1902, № 7). Радушно принятый и обласканный драматургом, И. А. Купчинский стал часто бывать у него, когда приезжал в Москву из Курска, где жил постоянно. В 1881—1882 годах он виделся с Островским в Петербурге.

По свидетельству самого автора, воспоминания писались в 1896 году, в год первой их публикации в журнале «Русское обозрение», № 6. При подготовке к отдельному изданию (Курск, 1913) они были дополнены.

[1] *Стр. 226.* Цитата из Евангелия (от Матфея, гл. 5).

[2] *Стр. 226.* И. А. Купчинский, самоучка, несмотря на свой более чем тридцатилетний возраст, в целях самообразования посещал студенческий кружок и студенческие собрания. Возможно, это и явилось причиной причисления его к политическим.

[3] *Стр. 228.* То есть на мелких издателей преимущественно лубочной литературы, ютившихся на Никольской улице (ныне улица 25 Октября), у стены Китай-города.

[4] *Стр. 229.* В газете «Московский городской листок» Островский начал печататься в 1847 году и за этот год опубликовал в ней в первоначальной редакции отрывок из комедии «Свои люди — сочтемся!» под названием «Сцены из комедии. Несостоятельный должник (Ожидание жениха)» за подписями «А. О.» и «Д. Г.» — № 7; комедию «Картина семейного счастья» — №№ 60, 61; очерк «Записки замоскворецкого жителя» — №№ 119—121.

[5] *Стр. 229.* «Картина семейного счастья» вызвала оживленные

толки в московских литературных кружках, «ее перечитала вся Москва» (см. воспоминания Бурдина, стр. 328), но печатных откликов на пьесу не было, если не считать попутного упоминания в рецензии А. А. Григорьева на книгу «Руководство для молодых людей, назначающих себя к торговым делам» («Московский городской листок», 1847, № 99).

[6] *Стр. 229.* Напечатана одна сцена, а не действие.

[7] *Стр. 229.* См. прим. 15 к воспоминаниям Н. В. Берга, стр. 514.

[8] *Стр. 229.* Речь идет о чтении у М. П. Погодина пьесы «Свои люди — сочтемся!», очевидно, между 3 и 8 марта 1850 года. 3 марта Островский, после длительных колебаний, согласился сотрудничать в «Москвитянине» «на пробу», а 8 марта Погодин записал в своем дневнике: «Банкрут» пропущен» (ГБЛ). Так как в записях за 4, 5 и 6 марта чтение пьесы не значится, а 7 марта — пропущено, можно предположить, что в этот день и могло состояться чтение комедии. В. Ф. Одоевский на этом чтении не присутствовал.

[9] *Стр. 229.* См. прим. 14 к воспоминаниям Н. В. Берга, стр. 513, и прим. 39 к воспоминаниям С. В. Максимова, стр. 528.

[10] *Стр. 230.* Комедия фривольного содержания Ю. Беляева, которая в сезон 1912—1913 года шла в московском Малом театре.

[11] *Стр. 232.* О поездке А. Н. Островского на Украину см. прим. 2 к воспоминаниям В. А. Герценштейна, стр. 547.

[12] *Стр. 233.* По ассоциации с библейским Вениамином, отличавшимся нежностью и кротостью.

[13] *Стр. 234.* Композитор В. Н. Кашперов с 1866 по 1872 год был профессором пения в Московской консерватории. Потеряв эту должность, он уже в 1872 году открыл курсы пения, руководил хоровыми кружками и т. д. О помощи Островского в постановке на сцене Большого театра оперы Кашперова «Тарас Бульба» см. воспоминания К. Ф. Вальца, стр. 424.

[14] *Стр. 234.* Сырной называется неделя перед масленицей.

[15] *Стр. 235.* Димитрий Ростовский (до принятия монашества — Даниил Саввич Туптало; 1651—1709) — церковный писатель и проповедник, автор духовных пьес «Венец славно-победный», «Комедия на димитриев день», «Ростовское действо», «Собор и суда изречение от неверных судей на Иисуса Назарянина, спасителя мира».

[16] *Стр. 236.* Возможно, имеется в виду Н. Е. Вильде, с которым Крылов перевел драму И. Вейлена «Жизнь после смерти» (1873).

[17] *Стр. 238.* С 1 января 1886 года.

[18] *Стр. 239.* С. В. Добров был не ректором университета, а помощником инспектора, потом инспектором.

[19] *Стр. 239.* См. прим. 8 к воспоминаниям Н. А. Кропачева,

стр. 556. П. М. Невежину Островский помогал не только потому, что «сожалел о нем»,— он видел в нем талантливого драматурга (см., например, воспоминания Н. А. Кропачева, стр. 221).

[20] *Стр. 239.* О Н. Я. Соловьеве см. воспоминания П. М. Невежина, стр. 267—270.

[21] *Стр. 240.* О каком произведении идет речь, неизвестно, но возможно, что об «Исповеди» (1880—1882) или «В чем моя вера» (1883).

[22] *Стр. 240.* См. прим. 54 к воспоминаниям М. И. Семевского, стр. 543.

[23] *Стр. 245.* И. А. Купчинский передает эту историю с явным предубеждением против Кашперовых.

[24] *Стр. 246.* П. Н. Островский относился к старшему брату с любовью и уважением (см., например, Новые матерьялы, стр. 252—254). Утверждение Купчинского следует отнести за счет характера Марии Васильевны, которая в припадке раздражительности бывала несправедлива.

[25] *Стр. 246.* Тяжелые сердечные припадки начались у Островского много раньше. Так, еще 22 марта 1885 года он писал М. И. Писареву: «...Два сильных припадка удушья разбили меня» (Островский, т. XVI, стр. 150).

П. М. Невежин

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ А. Н. ОСТРОВСКОМ

Петр Михайлович Невежин (1841—1919) — писатель, драматург. Окончив Московский кадетский корпус, участвовал в русско-турецкой войне 1877—1878 годов и был ранен. С А. Н. Островским познакомился в начале 1879 года, когда обратился к нему с просьбой о творческой помощи в работе над комедией «Блажь» (об их сотрудничестве см. прим. 8 к воспоминаниям Н. А. Кропачева, стр. 556). П. М. Невежин, кроме драматургических произведений, писал романы, повести и рассказы, но наибольший успех имели его пьесы: «Друзья детства» (1886), «Компаньоны» (1891), «Сестра Нина» (1894), «Непогрешимый» (1894) и самая популярная — «Вторая молодость» (1888).

Первое издание своих пьес, в двух томах (1898—1901), П. М. Невежин посвятил «памяти незабвенного драматурга Александра Николаевича Островского».

Воспоминания П. М. Невежин начал писать в 1906 году (см. «Театр и искусство», 1906, № 24) и завершил в 1910 году, впервые опубликовав в «Ежегоднике императорских театров» за годы 1909 (выпуск IV) и 1910 (выпуск VI).

[1] *Стр. 247.* Воспоминания П. М. Невежина касаются конца семидесятых и начала восьмидесятых годов.

[2] *Стр. 247.* О первых двух пьесах Невежина ничего не известно.

[3] *Стр. 248.* Помимо двух не дошедших до нас пьес П. М. Невежин написал к этому времени очерк «В отделе» и уже опубликовал его в «Русском вестнике», 1881, № 1.

[4] *Стр. 249.* См. прим. 8 к воспоминаниям Н. А. Кропачева, стр. 556.

[5] *Стр. 250.* Крылов В. А.— весьма плодовитый драматург, главным образом перекраивавший и переводивший иностранные легковесно-развлекательные пьесы для буржуазного зрителя. Имя его стало нарицательным, и весь ремесленный низкопробный репертуар получил наименование «крыловщины». К. А. Тарновский — переводчик, драматург, автор сугубо развлекательных пьес. Оба драматурга были тесно связаны с начальником репертуара и в 1881—1882 годах управляющим московских театров В. П. Бегичевым. 17 сентября 1881 года Островский писал Бурдину: «При Бегичеве театр будет в распоряжении Тарновского и Крылова, а мне придется просить себе хоть маленький балаганчик на стороне» (Островский, т. XVI, стр. 23).

[6] *Стр. 251.* К В. А. Долгорукову Островский ездил, очевидно, в начале октября 1881 года, а 24 ноября Долгоруков отправил ходатайство Общества драматических писателей о народном театре в Министерство внутренних дел. Далее см. прим. 19 к воспоминаниям Н. А. Кропачева, стр. 557.

[7] *Стр. 251.* См.: Островский, т. XII, стр. 162—179, 301—306.

[8] *Стр. 252.* Имеется в виду актер и драматург А. И. Южин-Сумбатов, сын грузинского князя, и его пьеса «Сергей Сатилов» (1883). С 31 марта 1909 года А. И. Южин — управляющий труппой московского Малого театра.

[9] *Стр. 252.* См. прим. 22 к воспоминаниям Н. А. Кропачева, стр. 558.

[10] *Стр. 253.* До театральной реформы 1882 года (см. прим. 11) большую долю актерского оклада составляли так называемые «разовые», то есть плата за выступления в тех спектаклях, в которых актера занимали уже сверх положенной нормы. Разовые оплачивались от четырех до тридцати пяти рублей за выход, в зависимости от квалификации артиста. Реформа, сильно увеличив оклад артистов и уничтожив разовые, ликвидировала стимул для участия крупных актеров в маленьких, невыигрышных ролях.

[11] *Стр. 254.* В марте 1881 года министром императорского двора была утверждена под председательством директора император-

ских театров И. А. Всеволожского комиссия «для пересмотра законоположений по всем частям театрального ведомства и для составления проекта нового положения об управлении императорскими театрами». В эту комиссию, кроме А. Н. Островского, А. А. Потехина и Д. В. Аверкиева, входили чиновники И. Л. Дзюбин, А. Ф. Юргенс, А. П. Фролов. Островский работал в этой комиссии весьма напряженно в течение пяти месяцев, добиваясь улучшения управления театрами, материального положения драматургов и артистов, создания в Москве народного театра, восстановления закрытых в 1871 году драматических классов в императорских театральных школах и т. д. Но комиссия не оправдала его надежд. Ее достижения ограничились лишь повышением окладов артистам, некоторым увеличением гонорара драматургам и упразднением разовых и бенефисной системы. Большие вопросы организационного и творческого порядка, выдвигаемые Островским, комиссия обходила. «Комиссия,— писал он,— была в действительности обманом надежд и ожиданий, <...> слушать меня в комиссии вовсе не желали» (Островский, т. XII, стр. 250). Комиссия сохранила старую, бюрократическую систему управления театрами. Московские театры не получили самостоятельности, и в них по-прежнему продолжали властвовать люди, глубоко театру чуждые.

[12] *Стр. 255.* С 1 января 1886 года.

[13] *Стр. 259.* См. прим. 11 к воспоминаниям Н. А. Кропачева, стр. 556.

[14] *Стр. 259.* Очевидно, имеется в виду М. П. Садовский.

[15] *Стр. 260.* Двадцатого числа каждого месяца выдавалось жалованье служащим государственных учреждений, в том числе императорских театров.

[16] *Стр. 261.* См. прим. 63 к воспоминаниям С. В. Максимова, стр. 531.

[17] *Стр. 261.* А. Н. Островский служил не в Сиротском, а в Совестном суде.

[18] *Стр. 262.* См. прим. 33 к воспоминаниям С. В. Максимова, стр. 527.

[19] *Стр. 263.* См. прим. 14 к воспоминаниям Н. В. Берга, стр. 513, и прим. 39 к воспоминаниям С. В. Максимова, стр. 528.

[20] *Стр. 264.* Д. И. Писарев очень высоко ценил раннее творчество А. Н. Островского, включая «Воспитанницу», а во всех дальнейших пьесах видел упадок его таланта. В статьях «Мотивы русской драмы» («Русское слово», 1864, № 3) и «Прогулка по садам российской словесности» («Русское слово», 1865, № 3) Писарев резко критиковал пьесы «Гроза», «Козьма Захарьич Минин, Сухорук», «Воевода», «Тяжелые дни». Однако выступление против

Островского было для критика главным образом формой полемики с журналом «Современник», в частности, по основному пункту их расхождения — по вопросу о готовности народных масс к активному протесту. В условиях усилившейся в середине шестидесятых годов реакции Д. И. Писарев не верил в широкое демократическое движение и с этой именно позиции давал свою трактовку драме «Гроза», ее центральному образу — Катерине. Если Н. А. Добролюбов находил в Катерине характер решительный, способный заявить свой протест «темному царству», то Писарев понимал ее лишь как жертву, невинную угнетенность, которая «совершив множество глупостей, бросается в воду и делает, таким образом, последнюю и величайшую нелепость» (Д. И. Писарев, Сочинения в четырех томах, т. 2, Гослитиздат, М. 1955, стр. 394).

[21] *Стр. 265.* П. М. Невежин, очевидно, подразумевает здесь М. П. Садовского, который в первые годы актерства не всегда справлялся с ролями. Так, в «Дикарке» он, по мнению Островского, провалил роль Рабачева (Островский, т. XV, стр. 194). Возможно также, что речь здесь идет о Д. В. Живокини.

[22] *Стр. 266.* Ф. А. Бурдин получил от откупщика Голенищева, своего приятеля, неожиданное наследство в сто тысяч рублей. Он повел широкий образ жизни, и средства его быстро иссякли, но при этом он завязал знакомства с влиятельными лицами из литературно-театрального мира, цензурного ведомства и т. п., что в дальнейшем помогало ему добиваться разрешения на постановку пьес А. Н. Островского в императорских театрах.

[23] *Стр. 267.* Упоминаемая Невежиным публикация письма неизвестна. Впервые письма Ф. А. Бурдина к Островскому напечатаны в книге «А. Н. Островский и Ф. А. Бурдин. Неизданные письма», М.— Пг. 1923. В письмах, сюда вошедших, Бурдин высказывается о Невежине весьма благожелательно, без чувства ревности.

[24] *Стр. 268.* В связи с постановками комедии «Дикарка» (см. прим. 8 к воспоминаниям Н. А. Кропачева, стр. 556) некоторые критики писали о наличии в ней якобы «немного скабрезных» сцен (П. Д. Боборыкин — в «Русских ведомостях», 1879, № 293) и «довольно циничных» выражений («Голос», 1879, № 307).

[25] *Стр. 269.* См. прим. 8 к воспоминаниям Н. А. Кропачева, стр. 556.

[26] *Стр. 269.* Это решение Н. Я. Соловьев принял в значительной степени под влиянием реакционного публициста К. Н. Леонтьева, недовольного той демократической направленностью, которую придавал пьесам Соловьева А. Н. Островский. В частности, Леонтьев возмущался, что после переработки Островского первоначаль-

ный смысл «Дикарки» — «романтический, с религиозным даже оттенком» — заслонила «прогрессивная тенденция» (К. Н. Леонтьев, Новый драматический писатель.— «Русский вестник», 1879, № 12). Он начал склонять Соловьева к разрыву сотрудничества, соблазнять его возможностями самостоятельной работы, и наконец старания его увенчались успехом. Однако недостаточно подготовленный к самостоятельному труду Соловьев обрек себя на неудачи. Все последующие пьесы, написанные им без помощи Островского, были слабы и успеха не имели.

[27] *Стр. 270.* С. А. Гедеонов передал Островскому три первых действия и одну сцену четвертого незавершенной и весьма посредственной мелодрамы (опубликовано Н. П. Кашиным в книге «Этюды об А. Н. Островском», т. 1, М. 1912, стр. 281). Островский, коренным образом переработав текст Гедеонова и добавив еще два действия, создал, по существу, совсем новое произведение.

[28] *Стр. 272.* Пьеса «Красавец мужчина» впервые напечатана в журнале «Отечественные записки» (1883, № 1). Премьера ее состоялась в Малом театре 26 декабря 1882 года, а в петербургском Александринском — 6 января 1883 года.

[29] *Стр. 273.* Крестным отцом М. П. Садовского был не А. Н. Островский, а артист Малого театра Ф. Н. Усачев.

[30] *Стр. 274.* Цитата из поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон».

[31] *Стр. 276.* А. А. Потехин был начальником репертуара императорских театров с 1881 года (с 1886 — только петербургских) до конца XIX века и пользовался большим авторитетом среди артистов и писателей. В злоупотреблении своим положением Потехина тоже едва ли можно обвинить, так как с 1882 по 1892 годы на московской сцене не ставилось ни одной его пьесы, не были чрезмерными постановки и в Петербурге.

[32] *Стр. 276.* Весьма циничный фарс Керуля и Баррэ, перевод с французского Н. Доренговской, были и другие переводы. Из-за откровенного цинизма этот фарс в императорских театрах не ставился, но на частных сценах шел многократно (например, в 1907 году в петербургских театрах «Невский фарс», «Аркадия», «Неметти»).

[33] *Стр. 277.* Невежин говорит здесь о М. Г. Савиной. Однако в своей оценке отношения Савиной к Островскому мемуарист односторонен, возможно из-за недостаточной осведомленности. Актриса глубоко уважала А. Н. Островского как человека и очень высоко ценила его драматургический талант. Свои частные недоразумения в отношениях с ним Савина объяснила в воспоминаниях, печатающихся в данном сборнике (стр. 405—406).

[34] *Стр. 279.* П. М. Невежин, исходя из либерально-буржуаз-

ных воззрений, явно преувеличивает изменения, явившиеся результатом буржуазно-демократической революции 1905—1907 годов.

[35] *Стр. 279.* Грибоедовская премия, учрежденная Обществом русских драматических писателей в 1879 году, в связи с пятидесятилетием со дня смерти А. С. Грибоедова, предназначалась (в размере 500 рублей) за лучшее драматическое произведение театрального сезона.

Вучина Иван Юрьевич, греческий консул в Одессе, в 1871 году внес 10 000 рублей для учреждения на проценты с этих денег премии его имени. Ее выдавали за оригинальные переводные произведения, нигде не обнародованные, посвященные быту и нравам русского народа и предназначенные для народного театра. Первая премия 500, вторая 300 рублей. Премия Вучины учреждена была при Одесском университете.

[36] *Стр. 280.* В бумагах А. Н. Островского такие наброски отсутствуют.

И. Ф. Василевский

ИЗ МОСКОВСКИХ В ЧЕСТЬ ПУШКИНА ПРАЗДНЕСТВ В 1880 ГОДУ

(По личным воспоминаниям)

Ипполит Федорович Василевский (1850—1920) — журналист, редактор журнала «Стрекоза». Сведений о личном знакомстве И. Ф. Василевского с А. Н. Островским не имеется.

Воспоминания были написаны к столетию со дня рождения А. С. Пушкина и опубликованы в газете «Русские ведомости», 1899, № 136, под псевдонимом «Буква».

[1] *Стр. 283.* Второй обед состоялся 7 июня 1880 года.

[2] *Стр. 284.* И. Ф. Василевский передает речь А. Н. Островского по памяти, своими словами. Текст речи см.: О с т р о в с к и й, т. XIII, стр. 164.

Л. Новский

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ А. Н. ОСТРОВСКОМ

Л. Новский — псевдоним литератора Николая Николаевича Луженовского (1862—1889). Будучи товарищем М. А. Островского, сына драматурга, по университету, он в восьмидесятые годы часто бывал в доме Островских.

Воспоминания напечатаны в газете «Русские ведомости», 1887, №№ 111, 134, 138.

[1] *Стр. 285.* По улице Волхонка, дом № 14. Островские переехали сюда 4 октября 1877 года.

[2] *Стр. 285.* В верхнем этаже дома в 1865 году князем С. М. Голицыным был открыт для общественного пользования «Голицынский музей», в котором разместились картинная галерея, отдел древностей, библиотека. В 1886 году музей продан с аукциона, часть его попала в петербургский Эрмитаж.

[3] *Стр. 285.* См. прим. 1 к воспоминаниям С. В. Максимова, стр. 523.

[4] *Стр. 286.* А. Н. Островским был приобретен лишь один из списков «Повести о Фроле Скобееве», опубликованной в «Москвитянине», 1853, № 1—2, под заглавием «История о российском дворянине Фроле Скобееве и стольничей дочери Нардина-Нащокина Аннушке».

[5] *Стр. 287.* Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым было основано в 1859 году.

[6] *Стр. 287.* Письмо Л. Н. Толстого, сопровождавшее рукопись комедии «Первый винокур, или Как чертенок краюшку заслужил» (написана в феврале — марте 1886 года), не сохранилось. Мысль его о переделке некоторых пьес Островского для народной сцены осталась неосуществленной.

[7] *Стр. 289.* Фотографический портрет 1884 года, снятый Труновым. Хранится в Музее.

[8] *Стр. 291.* Это утверждение Л. Новского не совсем соответствует действительности (см., например, прим. 20 к воспоминаниям И. Ф. Горбунова, стр. 519).

[9] *Стр. 291.* О взглядах Островского см. вступительную статью, а также прим. 54 к воспоминаниям М. И. Семевского, стр. 543.

[10] *Стр. 291.* См. прим. 2 к воспоминаниям В. А. Герценштейна, стр. 547.

[11] *Стр. 292.* Путешествие за границу состоялось в 1862 году с И. Ф. Горбуновым и М. Ф. Шишко. П. М. Садовский в поездке не участвовал.

[12] *Стр. 293.* Такое письмо неизвестно.

[13] *Стр. 293.* В марте 1885 года Островский получил от самарского драматурга Г. Г. Лукина три пьесы: «Погубили», «Метеор» и «Чужая душа — дремучий лес», из которых последняя ему особенно понравилась. Сюжетно-тематически она перекликается с «Грозой» Островского, хотя и грешит изрядно грубым мелодраматизмом и нагромождением ужасов. Пьеса напечатана в журнале «Колосья», 1889, № 12.

[14] *Стр. 294.* Письма Достоевского к Страхову, содержащие подобные высказывания, неизвестны.

[15] *Стр. 295.* Цитата из Библии. Эта надпись была выбита на могильной плите Н. В. Гоголя на Даниловском кладбище в Москве.

[16] *Стр. 297.* Мемуарист здесь имеет в виду публицистику журнала «Русское слово», сотрудниками которого были Д. И. Писарев и В. А. Зайцев, выступавшие по вопросам литературы часто с упрощенными суждениями, давая, например, неправильные, отрицательные оценки творчеству А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, М. Е. Салтыкова-Щедрина.

[17] *Стр. 297.* Переписка А. Н. Островского с композитором А. Н. Серовым опубликована в сборнике «А. Н. Островский и русские композиторы. Письма», М.—Л. 1937, стр. 93—139.

[18] *Стр. 298.* См. прим. 63 к воспоминаниям С. В. Максимова, стр. 531.

[19] *Стр. 298.* С. П. Колошин и Б. Н. Алмазов никогда у Островского не жили.

[20] *Стр. 299.* В 1846 году А. Ф. Писемский написал роман «Виновата ли она?» и в 1848 году отправил его в «Отечественные записки». Однако цензура роман не пропустила. После доработки в 1857 году Писемский опубликовал его в «Библиотеке для чтения» (1858, № 1) под заглавием «Боярщина».

[21] *Стр. 299.* В мае 1862 года А. А. Григорьев возвратился из Оренбурга не в Москву, а в Петербург, откуда и приезжал в Москву в марте 1863 года. Останавливался ли Григорьев у Островского, неизвестно.

[22] *Стр. 299.* В конце сороковых годов Н. Ф. Островский, готовясь к переезду в Щелыково, ликвидировал свое дело, и никакой клиентуры у него уже не было.

[23] *Стр. 299.* Речь идет о Троице-Сергиевской лавре в Загорске и Саввино-Сторожевском монастыре в Звенигороде.

[24] *Стр. 299.* О салоне Е. П. Ростопчиной и отношении к нему Островского см. прим. 10 к воспоминаниям Н. В. Берга, стр. 512. М. Ю. Лермонтов в этом салоне не мог бывать, так как салон начал свое существование десять лет спустя после его смерти, но поэта могли помнить некоторые участники салона, в первую очередь сама Е. П. Ростопчина. В архивах А. Н. Островского альбом Е. П. Ростопчиной отсутствует.

[25] *Стр. 300.* Островский сотрудничал в критико-библиографическом отделе журнала «Москвитянин», где напечатаны две его критические статьи: о повестях Е. Тур «Ошибка» и А. Ф. Писемского «Тюфяк» (Островский, т. XIII, стр. 139, 150).

[26] *Стр. 300.* Таблетки от кашля.

[27] *Стр. 300.* Это путешествие относится к 1856—1857 годам (см. воспоминания С. В. Максимова, стр. 159—166).

[28] *Стр. 300.* С 1855 по 1857 год морским министром был Ф. П. Врангель.

[29] *Стр. 300.* В «Морском сборнике» были опубликованы принадлежащие Писемскому «Путевые очерки» (1857, № 2) и «Морские поездки» («Бирючья коса», «Поездка в Баку», «Тюк-Карачинский полуостров и Тюленьи острова», 1857, № 4). В «Библиотеке для чтения», кроме «Калмыков» (1860, № 1), были также напечатаны «Астраханские армяне» (1858, № 10) и «Татары» (1858, № 11).

[30] *Стр. 301.* На самом деле было все наоборот: редакция «Морского сборника» требовала от Островского сухих отчетов, и потому он, напечатав там только «Путешествие по Волге от истоков до Нижнего Новгорода» (1859, № 2), дальнейшую работу в журнале прекратил. О других материалах, собранных и написанных им в литературной экспедиции, см. прим. 44 к воспоминаниям М. И. Семевского, стр. 542.

[31] *Стр. 301.* Тони — места, где ловят рыбу неводом.

[32] *Стр. 301.* Рисунки, сделанные Островским в экспедиции, хранятся в Музее, но изображения часовни среди них нет.

[33] *Стр. 301.* Откуда эта цитата, неизвестно.

[34] *Стр. 302.* См. прим. 62 к воспоминаниям С. В. Максимова, стр. 531.

С. Н. Худеков

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ А. Н. ОСТРОВСКОМ

Сергей Николаевич Худеков (1837—1927) — журналист, редактор-издатель «Петербургской газеты», драматург, переводчик, историк балета. А. Н. Островский встречался с ним с конца семидесятых годов у общих знакомых во время приездов в Петербург и, вероятно, в Обществе драматических писателей, членом которого С. Н. Худеков состоял.

Воспоминания написаны вскоре после смерти А. Н. Островского и опубликованы в «Петербургской газете», 1886, № 242, 245.

1

(Л. Н. Толстой и А. Н. Островский)

[1] *Стр. 304.* В феврале 1864 года.

[2] *Стр. 304.* Это было первое драматическое произведение Л. Н. Толстого (закончено в феврале 1864 года) — комедия в пяти действиях «Зараженное семейство». Пьеса, написанная, по словам

Толстого, «в насмешку эманципации женщин и так называемых нигилистов» (Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 61, Гослитиздат, М. 1953, стр. 37), была направлена против идей революционных демократов. Л. Н. Толстой, вероятно, не ожидавший отрицательного отзыва Островского на свою пьесу, вскоре, однако, признал его правоту. 14 ноября 1865 года он писал А. А. Толстой: «Островский — писатель, которого я очень люблю,— мне сказал раз очень умную вещь. Я написал два года тому назад комедию (которую не напечатал) и спрашивал у Островского, как бы успеть поставить комедию на московском театре до поста. Он говорит: «Куда торопиться, поставь лучше на будущий год». Я говорю: «Нет, мне бы хотелось теперь, потому что комедия очень современна и к будущему году не будет иметь того успеха».— *«Ты боишься, что скоро очень поумнеют?»* (там же, стр. 115). Пьеса в печати появилась лишь в 1928 году (Лев Толстой, Неизданные художественные произведения, изд. «Федерация»). Отношения между Л. Н. Толстым и А. Н. Островским возобновились, вероятно, в 1884 году.

2

(Вопрос о гонораре)

[3] *Стр. 305.* С. Н. Худеков рассказывает о встрече с А. Н. Островским в 1882 году.

[4] *Стр. 306.* Вексель А. Н. Островского на имя С. Т. Соколова находится в архиве М. П. Погодина, хранящемся в ГБЛ.

[5] *Стр. 306.* Письмо Островского Погодину, написанное в начале сентября 1852 года, см.: Островский, т. XIV, стр. 34.

[6] *Стр. 306.* Шейлок — ростовщик из комедии Шекспира «Венецианский купец».

[7] *Стр. 306.* В журнале «Вестник Европы» были напечатаны две пьесы Островского: «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» (1867, № 1) и «Снегурочка» (1873, № 9).

[8] *Стр. 307.* Очевидно, имеется в виду А. И. Левитов.

В. Ф. Лазурский

ИЗ «ДНЕВНИКА»

<Л. Н. Толстой об А. Н. Островском>

Владимир Федорович Лазурский (1869—1943), историк литературы. В 1894 году жил в Ясной Поляне в качестве преподавателя греческого и латинского языков Андрея и Михаила Львовичей Тол-

стых. Ему почти ежедневно доводилось слушать Л. Н. Толстого, и все сказанное великим писателем он записывал в дневник.

А. Н. Островский и Л. Н. Толстой познакомились в самом начале 1856 года и вскоре (в феврале 1856 года) вместе с группой других литераторов договорились об исключительном сотрудничестве в журнале «Современник» (см. прим. 33 к воспоминаниям М. И. Семевского, стр. 540). Это было время их самой большой близости. Позднее, в 1859 году, Толстой порывает с «Современником», а в 1864 году даже пишет пьесу «Зараженное семейство», направленную против революционных демократов, что и послужило поводом к разрыву его дружеских отношений с Островским (см. прим. 2 к воспоминаниям С. Н. Худекова, стр. 569).

Вновь встретились они в конце жизни Островского, по-видимому, во второй половине 1884 года. В 1886 году Толстой просил у Островского разрешения на перепечатку некоторых пьес издательством «Посредник» и послал ему, «отцу русской драматургии», свою комедию «Первый винокур» с просьбой высказать о ней суждение («Московский листок», 1886, № 160). Как пишет в своих воспоминаниях Л. Новский, Островский не успел выполнить просьбу Толстого, «хотя вполне одобрил ее в принципе» (стр. 287).

Высказывания Толстого об Островском, записанные Лазурским, впервые использованы им в книге «Воспоминания о Л. Н. Толстом» (М. 1911), а затем в 1939 году опубликованы уже в виде дневника в «Литературном наследстве» (№№ 37/38, т. II, 1939).

[1] *Стр. 308.* Н. Н. Страхов.

[2] *Стр. 308.* Не раньше второй половины 1884 года.

[3] *Стр. 308.* Л. Н. Толстой весьма отрицательно относился к самой идее женской эмансипации. С этим связано и его «неприятие» «Грозы» Островского. 23 февраля 1860 года он писал А. А. Фету: «Гроза» «есть, по-моему, плачевное сочинение, а будет иметь успех. Не Островский и не Тургенев виноваты, а время» (А. Фет, Мои воспоминания, ч. I, М. 1890, стр. 318).

[4] *Стр. 308.* Один из главных героев «Доходного места» А. Н. Островского.

[5] *Стр. 309.* Собственный драматургический опыт заставил Л. Н. Толстого позднее изменить отношение к этому «обычаю». В. М. Лопатин вспоминает, что Толстой, увидя его в роли третьего мужика из пьесы «Плоды просвещения», представленной на домашней сцене, сказал: «Знаете ли, я всегда упрекал Островского за то, что он писал роли на актеров, а теперь вот я его понимаю;

если бы я знал, что третьего мужика будете играть вы, я бы многое иначе написал: ведь вы мне его объяснили, показали, какой он; надо будет изменить». И Лев Николаевич взял рукопись и пошел ее переделывать» (В. М. Лопатин, Из театральных воспоминаний.— Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников, т. I, Гослитиздат, М. 1955, стр. 400).

[6] *Стр. 309.* См. прим. 5 и 6 к воспоминаниям П. Д. Боборыкина, стр. 549—550.

[7] *Стр. 309.* Речь идет о постановке «Доходного места» любителями на фабрике Э. Циндель. Рабочим зрителям действительно не понравилось малодушие Жадова (сцена в трактире), но в дальнейшем ему «удается все больше и больше овладеть публикой», завоевать ее симпатии и даже «потрясти» (Т. Полнер, В фабричном театре.— «Русские ведомости», 1898, № 298).

В. М. Минорский

ВОСПОМИНАНИЯ

Владимир Михайлович Минорский (1851—?) — близкий знакомый драматурга, крестник его сестры, Натальи Николаевны. Отец В. М. Минорского, чиновник, познакомился с Н. Ф. Островским, отцом драматурга, не позднее 1840 года, а с 1848 года, когда Н. Ф. Островский переехал на постоянное жительство в Щелыково, вел, по доверенности, его имущественные дела. В. М. Минорского драматург знал со дня его рождения, но их дружеские отношения начались с 1874 года.

В 1886 году С. М. Минорский, родной брат В. М. Минорского, управлял гостиницей «Дрезден», где Островский поселился в мае 1886 года перед отъездом в Щелыково (см. воспоминания Н. А. Кропачева, стр. 467—488).

Воспоминания В. М. Минорского основаны не только на личных впечатлениях, но и на семейных преданиях. С его слов воспоминания записаны Н. П. Кашиным и опубликованы в «Ежегоднике императорских театров» за 1910 год, № VI.

[1] *Стр. 313.* Архив А. Н. Островского хранится в основном в Музее (здесь находятся и упомянутые в тексте письма М. Н. Островского к драматургу), в ИРЛИ (в частности, более двухсот писем к жене), подавляющее количество рукописей пьес с черновыми вариантами находится в ГБЛ, много документально-биографического материала сосредоточено в ЦГАЛИ.

А. Ф. Некрасов

ИЗ «МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ О Н. А. НЕКРАСОВЕ И ЕГО БЛИЗКИХ»

Некрасов Александр Федорович (1866—1941) — племянник великого поэта. Его отец, Федор Алексеевич Некрасов, помещик, хорошо знакомый с драматургом. А. Н. Островский неоднократно пользовался хозяйственными советами Ф. А. Некрасова (см. письма А. Н. Островского к Ф. А. Некрасову.— Островский, т. XV).

Воспоминания относятся ко второй половине семидесятых — началу восьмидесятых годов, когда А. Ф. Некрасов вместе с детьми Островского, Александром и Михаилом, учился в Москве в частной гимназии Л. И. Поливанова.

Написаны воспоминания, как это в них указано, в связи с шестидесятилетием со дня смерти Н. А. Некрасова, в начале 1938 года. Воспоминания (авторизованная машинопись) хранятся в ЦГАЛИ и печатаются впервые.

[1] *Стр. 315.* Разыгрывалась сценка из комедии «Правда — хорошо, а счастье лучше», в которой С. П. Акимова в 1876 году исполняла роль Фелицаты; Макшеев, вероятно, подыгрывал ей в роли садовника Глеба.

Т. Ф. Склифосовская

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О А. Н. ОСТРОВСКОМ В БЫТУ

Татьяна Федоровна Склифосовская (1867—1944?) — дочь Ф. А. Бурдина (о нем см. на стр. 573—574).

Воспоминания печатаются по автографу, хранящемуся в ИРЛИ, куда он поступил в 1934 году.

[1] *Стр. 316.* Склифосовская вспоминает о встречах А. Н. Островского с семьей Бурдиных в семидесятых годах.

[2] *Стр. 323.* Это действительно была С. И. Смирнова.

[3] *Стр. 325.* Объяснение всем этим поступкам М. Г. Савина дает в своих воспоминаниях (см. стр. 405—406).

Ф. А. Бурдин

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ А. Н. ОСТРОВСКОМ

Материалы для его биографии

Федор Алексеевич Бурдин (1827—1887) в 1841 году поступил в московский Малый театр суфлером, а через два года был принят в его труппу. С 1847 по 1883 год Бурдин — артист Александринско-

го театра в Петербурге, где выдвинулся исполнением в пьесах Островского ролей Бородкина («Не в свои сани не садись», 1853) и Мити («Бедность не порок», 1854).

Человек образованный, Бурдин ненавидел пошло-развлекательную драматургию, все более заполонявшую русскую сцену. Будучи членом Литературно-театрального комитета и имея большие связи в цензуре и театральной администрации (см. прим. 22 к воспоминаниям П. М. Невежина, стр. 564), Бурдин энергично защищал прогрессивную драматургию и, в частности, пьесы Островского. Драматург высоко ценил эту деятельность Бурдина. В конце октября 1866 года он писал ему: «Если б у нас было побольше людей таких, как ты, то есть так же близко принимающих к сердцу драматическое искусство, было бы гораздо лучше и для авторов, и для артистов» (Островский, т. XIV, стр. 142; см. также воспоминания П. М. Невежина, стр. 266—267).

Как актер Бурдин отличался добросовестностью исполнения, но часто переигрывал, причем столь явно, что А. А. Григорьев окрестил манеру его игры «бурдинизмом». Островский видел актерские недостатки Бурдина, указывал ему на них (см., например, прим. 13 к воспоминаниям П. Д. Боборыкина, стр. 550), но, высоко ценя поддержку, которую Бурдин оказал ему в самом начале его драматической деятельности и продолжал оказывать в последующее время, он предпочитал его многим другим артистам.

Воспоминания написаны вскоре после смерти А. Н. Островского и напечатаны в журнале «Вестник Европы», 1886, № 12.

[1] *Стр. 328.* См. прим. 4 к воспоминаниям И. А. Купчинского, стр. 559.

[2] *Стр. 329.* См. прим. 33 к воспоминаниям С. В. Максимова, стр. 527.

[3] *Стр. 329.* См. прим. 14 к воспоминаниям Н. В. Берга, стр. 513, и прим. 39 к воспоминаниям С. В. Максимова, стр. 528.

[4] *Стр. 329.* В этой статье Ф. А. Бурдин вспоминает об опасениях театральной дирекции перед постановкой комедии, в которой выводился безнравственный дворянин.

Премьера комедии состоялась в Москве 14 января, а в Петербурге 19 февраля 1853 года.

[5] *Стр. 330.* Комедия А. В. Сухово-Кобылина. Впервые поставлена в Малом театре 28 ноября 1855 года.

[6] *Стр. 330.* Сам драматург говорит о 500 рублях (Островский, т. XII, стр. 66). «Бедная невеста» была не второй, а третьей пьесой Островского, попавшей на сцену (второй пьесой было «Утро молодого человека»). В Малом театре премьера состоялась 20 августа 1853 года, в Александринском — 12 октября того же года.

[7] *Стр. 330.* «Детский доктор» — драма О. Анисе-Буржуа и А. Деннери, перевод П. В. Востокова (Караколпакова) (сезон 1856—1857 года).

[8] *Стр. 330.* «Дон Сезар де Базан» — «Испанский дворянин», комедия Ф. Дюмануара и А. Деннери в переделке К. А. Тарновского и М. Н. Лонгинова (сезон 1856—1857 года).

[9] *Стр. 331.* Воспоминания о цензурных злоключениях Бурдина с пьесой Островского «Картина семейного счастья» опубликованы под заглавием «Материалы для истории русского театра» в журнале «Вестник Европы», 1901, № 10.

[10] *Стр. 332.* Рукопись комедии «Картина семейного счастья» с резолюциями Дубельта хранится в Центральной театральной библиотеке имени А. В. Луначарского в Ленинграде.

[11] *Стр. 332.* В описываемое Бурдиным время начальниками III Отделения императорской канцелярии последовательно были: в 1839—1856 годах — Л. В. Дубельт, в 1856—1861 годах — А. Е. Тимашев, в 1861—1864 годах — А. Л. Потапов.

[12] *Стр. 333.* «Воспитанница», законченная Островским 7 декабря 1858 года, запрещена к сценическому представлению 23 октября 1859 года в связи с нараставшими волнениями крестьян. У А. Л. Потапова о ее дозволении Бурдин хлопотал по просьбе драматурга в декабре 1861 года, но безуспешно. Пьеса разрешена к представлению временно замещавшим Потапова Н. Н. Анненковым в начале сентября 1863 года. Тогда же была разрешена к представлению и ранее запрещенная пьеса И. С. Тургенева «Нахлебник».

[13] *Стр. 334.* В связи с ширившимся крестьянским движением в России и восстанием в Польше цензура не решилась выпустить на сцену пьесу, где изображено народное движение за независимость родины и резко критикуются правящие классы. 7 октября 1863 года пьеса «Козьма Захарьич Минин, Сухорук» была запрещена к постановке. Разрешена — 12 октября 1866 года лишь после того, как Островский несколько ослабил обличительное звучание пьесы.

[14] *Стр. 334.* Комедия «Доходное место», опубликованная в журнале «Русская беседа», 1857, № 1, была разрешена к постановке 19 сентября 1857 года, но в день премьеры в Малом театре, 16 декабря 1857 года, была запрещена. Цензуру испугала в пьесе резкая критика взяточничества и карьеризма. «Доходное место» было разрешено к представлению лишь 13 июля 1863 года благодаря хлопотам И. Ф. Горбунова и Е. М. Левкеевой.

[15] *Стр. 334.* См. прим. 77 к воспоминаниям С. В. Максимова, стр. 533.

[16] *Стр. 334.* Очевидно, имеется в виду П. Д. Боборыкин.

[17] *Стр. 335.* См. письма А. Н. Островского к Ф. А. Бурдину от 24—25 сентября 1866 года, от 23—24 октября 1868 и 12—13 февраля 1869 года (Островский, т. XIV, стр. 138, 170, 172).

[18] *Стр. 335.* Постановке пьесы «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» А. Н. Островского препятствовала администрация императорских театров, противопоставляя ей уже прошедшую в Петербурге пьесу «Дмитрий Самозванец» Н. А. Чаева.

[19] *Стр. 336.* Письмо от 27—28 октября 1866 года (Островский, т. XIV, стр. 144).

[20] *Стр. 336.* Письмо министру императорского двора графу В. Ф. Адлербергу А. Н. Островский отправил в конце октября 1866 года (Островский, т. XIV, стр. 143). В дело вмешался также М. Н. Островский, стоявший тогда во главе ревизионной комиссии Государственного контроля. В личной записке гр. Адлербергу М. Н. Островский обратил внимание на то, что постановка пьесы Островского в Малом театре обойдется много дешевле постановки «Дмитрия Самозванца» Чаева в Большом. Это убедило министра, и премьера пьесы Островского состоялась 30 января 1867 года. В Петербурге она была поставлена лишь 17 февраля 1872 года.

[21] *Стр. 336.* Письмо это не от 27, а от 24—25 сентября 1866 года. См.: Островский, т. XIV, стр. 138.

[22] *Стр. 337.* См. прим. 4 к воспоминаниям П. Д. Боборыкина, стр. 549.

[23] *Стр. 337.* См. прим. 27 к воспоминаниям П. М. Невежина, стр. 565.

[24] *Стр. 338.* См. прим. 77 к воспоминаниям С. В. Максимова, стр. 533, и прим. 15 к воспоминаниям Н. А. Кропачева, стр. 557.

[25] *Стр. 339.* См. прим. 7 и 11 к воспоминаниям П. М. Невежина, стр. 562.

[26] *Стр. 339.* С 1 января 1886 года А. Н. Островский был назначен заведующим репертуарной частью московских театров, Малого и Большого, и руководителем театральной школы.

М. И. Писарев

К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ БИОГРАФИИ А. Н. ОСТРОВСКОГО

(Историко-литературная справка)

Модест Иванович Писарев (1844—1905) — артист, театральный критик, редактор Полного собрания сочинений А. Н. Островского в десяти томах, вышедшего в 1904—1905 годах.

М. И. Писарев увлекся драматургией А. Н. Островского, еще будучи в гимназии, а став актером, он с огромным успехом играл во многих его пьесах и именно в них создал свои лучшие сценические образы: Краснова («Грех да беда на кого не живет»), Несчастливцева («Лес»), Большова («Свои люди — сочтемся!»), Грозного («Василиса Мелентьева») и другие.

Лично познакомился М. И. Писарев с драматургом в самом начале шестидесятых годов и всю жизнь относился к нему благоговейно. П. А. Стрепетова, его жена, вспоминает: «...прямым божеством для него был Островский, о котором он говорил всегда с необычайным энтузиазмом» (П. А. Стрепетова, Жизнь и творчество трагической актрисы, изд. «Искусство», Л.— М. 1959, стр. 182).

А. Н. Островский высоко ценил актерское дарование Писарева, по его инициативе актер был приглашен в труппу Артистического кружка, а с 1884 года и до конца жизни драматург хлопотал о зачислении его в труппу Малого театра. Именно с Писаревым Островский осуществил свою мечту о постановке комедии «Свои люди — сочтемся!» в варианте, не искаженном цензурой (Островский, т. XII, стр. 250). О премьере этого спектакля Писарев и рассказывает в своих воспоминаниях.

Воспоминания написаны в начале девятисотых годов в связи с подготовкой Полного собрания сочинений А. Н. Островского (изд. «Просвещение», <1904—1905>), в котором они помещены в томе X.

[1] *Стр. 341.* 2 апреля 1848 года, в связи с революционными событиями в Западной Европе, вызвавшими усиление правительственной реакции в России, был учрежден секретный Комитет по делам печати под председательством мракобеса Д. П. Бутурлина. Комитету было вменено в обязанность наблюдать за произведениями, уже появившимися в печати. В 1850 году этот комитет рассматривал комедию «Свои люди — сочтемся!» Островского (см. прим. 14 к воспоминаниям Н. В. Берга, стр. 513).

[2] *Стр. 342.* Комедия «Свои люди — сочтемся!» разрешена 9 декабря 1860 года к сценическому представлению благодаря хлопотам не П. В. Анненкова, а Ф. А. Бурдина и И. Ф. Горбунова, а на премьере «Грозы» (2 декабря 1859 года) присутствовал не император, а великие княгини.

[3] *Стр. 343.* См. воспоминания Н. А. Дубровского, стр. 348, прим. к ним на стр. 578 и воспоминания К. В. Загорского, стр. 364.

Печатается по тексту журнала «Театр и искусство», 1911, № 22, где как запись воспоминаний со слов М. И. Писарева было опубликовано в статье «Странички воспоминаний об А. Н. Островском», подписанной инициалами «Е. К.».

[4] *Стр. 345.* А. Н. Островский с 1 января 1886 года был назначен не директором, а начальником репертуара московских императорских театров.

[5] *Стр. 346.* Театр Литературно-художественного общества существовал в Петербурге с 17 сентября 1895 года по 1917 год.

[6] *Стр. 346.* Имеется в виду трагедия А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович» (1868).

Н. А. Дубровский

ИЗ «ТЕАТРАЛЬНОГО ДНЕВНИКА»

Николай Александрович Дубровский (1821—1874) — чиновник Московской дворцовой конторы, архивариус, один из ближайших друзей драматурга, знакомство с которым началось еще в конце сороковых годов.

В самом начале шестидесятых годов Дубровский участвовал в любительских спектаклях, которыми в это время увлекался и Островский.

Несмотря на большую близость с драматургом, в дневниковых записях Дубровского оказались отраженными лишь его встречи с Островским в любительских спектаклях, в Щелыкове и разрозненные эпизоды бытового характера.

Печатается по рукописи «Театрального дневника» Н. А. Дубровского, хранящейся в Рукописном отделе ГБЛ. «Театральный дневник» велся Дубровским с 7 февраля 1860 по 2 ноября 1865 года и содержит записи о спектаклях в Красноворотском театре, а также сведения и о других любительских театральных кружках Москвы. Извлечение из этой рукописи, касающееся исполнения Островским роли Подхалюзина, впервые было опубликовано П. А. Марковым в статье «Островский — актер и чтец» (сб. «Островский»).

[1] *Стр. 347.* В домашнем театре, организованном Н. И. Давыдовым (мужем сестры А. Н. Островского, умершей в 1852 году) и его сотрудниками по дворцовой конторе. Спектакли ставились в квартире Н. И. Давыдова, жившего в здании Запасного

дворца, у Красных ворот, отсюда и театр назывался Красноворотским.

[2] *Стр. 347.* То есть «Свадьба Кречинского», комедия А. В. Сухово-Кобылина.

<ПОЕЗДКИ В ЩЕЛЫКОВО>

Печатается впервые по автографам (записные книжки 1870 и 1871 годов), хранящимся в Рукописном отделе ГБЛ.

[3] *Стр. 349.* П. Н. Волкова — жительница Ярославля, близкая знакомая Н. А. Некрасова, в доме которого она встретилась с А. Н. Островским. Воспользовавшись приглашением Островских, Прасковья Николаевна приехала к ним в Щелыково в 1869 году и с той поры бывала у них ежегодно.

[4] *Стр. 351.* В газете «Санкт-Петербургские ведомости», 1871, № 157, сообщалось, что в Костромской губернии распространился слух, будто «по сельским приходам и волостным правлениям разослан указ о наборе на девок», которых потом отошлют на Амур, ибо «тамошние солдаты, говорили, соскучившись жить в одиночестве, подавали просьбу по этому предмету». Газета опровергала эти слухи.

[5] *Стр. 351.* Флигель для гостей.

А. А. Нильский

ОТРЫВКИ ИЗ «ЗАКУЛИСНОЙ ХРОНИКИ»

Нильский (Нилус) Александр Александрович (1841—1899) — с 1858 года артист Александринского театра в Петербурге.

В 1863 году, гастролируя в Нижнем Новгороде, он очень понравился А. Н. Островскому, и с той поры драматург стремился занять его в своих пьесах. Но из-за капризности, подозрительности и обидчивости Нильского их отношения оставались холодно-корректными. Возможно, их сближению мешал также и Ф. А. Бурдин, не любивший Нильского. В 1886 году, когда Островский стал начальником репертуара московских театров, Нильский настойчиво просил принять его в Малый театр, но драматург отказал ему, считая, вероятно, его не подходящим для московской драматической труппы. Все это и определило плохо скрываемое недоброжелательство Нильского к Островскому, проявившееся в его воспоминаниях.

Воспоминания писались на протяжении многих лет, в виде отдельных записей в памятную книжку. В 1893 году, как указано

при первой публикации, эти записи были приготовлены для печати М. В. Шевляковым, проверены самим Нильским и напечатаны в журнале «Исторический вестник», 1893, №№ 10—12, 1894, №№ 1—7. В 1897 году воспоминания вышли отдельным изданием с предисловием автора («Закулисная хроника», изд. «Общественная польза», СПб.). Мы печатаем из этой книги главы XXXIV и XXXV.

[1] *Стр. 352.* А. А. Григорьев (о нем см. прим. 51 к воспоминаниям С. В. Максимова, стр. 530) преподавал законоведение в I Московской гимназии. Спектакль, о котором вспоминает Нильский, был поставлен 26 или 27 декабря 1855 года (А. А. Григорьев, Материалы для биографии, изд. Пушкинского дома, Пг. 1917, стр. 347).

[2] *Стр. 354.* О взаимоотношениях А. Н. Островского и Ф. А. Бурдина см. на стр. 574.

[3] *Стр. 354.* Комедия «Сердце не камень» представлена в первый раз на сцене Александринского театра 21 ноября 1879 года; Бурдин играл роль Халымова, а Нильский — Каркунова. После премьеры, 22 ноября, Бурдин извещал драматурга: «...пьеса очень понравилась, бенефис прошел хорошо» (А. Н. Островский и Ф. А. Бурдин, Неизданные письма, М.—Пг. 1923, стр. 296).

[4] *Стр. 355.* См. прим. 29 к воспоминаниям П. М. Невежина, стр. 565.

[5] *Стр. 357.* Московский Артистический кружок существовал с 1865 по 1883 год.

[6] *Стр. 359.* Оперная труппа Большого театра в восьмидесятых годах была очень слабой. Когда в январе 1886 года А. Н. Островский стал заведовать репертуаром московских театров и пытался улучшить состав оперной труппы, отчисляемые артисты и их покровители заговорили о несправедливости и субъективности Островского. Отголоском этих оппозиционных по отношению к Островскому настроений и является эпизод, приводимый Нильским.

[7] *Стр. 360.* Пробные спектакли были введены А. Н. Островским весною 1886 года. Придавая этим спектаклям большое значение, драматург аккуратно их посещал. Высказывания Нильского о якобы пренебрежительном отношении Островского к пробным спектаклям весьма несправедливы и легко опровергаются самими их участниками. Так, П. Орленев, дебютировавший в одном из пробных спектаклей, пишет: «Александр Николаевич Островский присутствовал на всех дебютах» («Жизнь и творчество русского актера Павла Орленева, описанные им самим», изд. «Искусство», Л.—М. 1961, стр. 12). К. В. Кудрявцев, артист Киевского драматического

общества, 7 апреля 1886 года писал драматургу: «Я три раза играл в Вашем присутствии — 4-й (два раза) и 5-й акты (один раз) «Доходного места» роль Жадова» (Рукописный отдел Музея).

[8] *Стр. 363.* Этот эпизод не соответствует действительности. А. А. Потехин просил А. Н. Островского о помощи его дочери, Р. А. Потехиной, но драматург ему отказал. Более того, когда Р. А. Потехина задумала поступить в труппу Малого театра, он решительно протестовал против ее зачисления. По этому поводу он писал весной 1885 года М. Н. Островскому: «...Москва знает Раису хорошо, она целую зиму играла у Бренко, которая по доброте и по глупости приютила ее, да потом чуть и не взвыла с ней. Публика смотреть ее не желала, а актеры отказывались играть с ней. Раиса мало того что бездарна, а еще зла, капризна и лютая интриганка. Она принесет московской сцене вред...» (Островский, т. XVI, стр. 154).

К. В. Загорский

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЛЕКСАНДРЕ НИКОЛАЕВИЧЕ ОСТРОВСКОМ

Константин Васильевич Загорский (1836—1898) — артист на второстепенные роли, игравший преимущественно в провинции, а в Москве — в Артистическом кружке.

Воспоминания написаны в 1896 году, в связи с исполнившимся десятилетием со дня смерти драматурга, и опубликованы в газете «Театральные известия», 1896, №№ 453, 455, 459, 470.

[1] *Стр. 364.* Мемуарист ошибается: спектакли в квартире Н. И. Давыдова, о которых далее говорит Загорский, ставились с февраля 1860 года, и, стало быть, знакомство состоялось не в 1855, а 1860 году.

[2] *Стр. 365.* Островский состоял в гражданском браке с Агафьей Ивановной (о ней см. воспоминания С. В. Максимова, стр. 87—88, и прим. к ним).

[3] *Стр. 365.* 2 апреля 1862 года.

[4] *Стр. 365.* В Щелыково Островский поехал впервые вместе с Марией Васильевной не в 1866, а в 1868 году.

[5] *Стр. 365.* К тому времени у Островского с Марией Васильевной было уже трое детей (см. прим. 77 к воспоминаниям С. В. Максимова, стр. 533).

[6] *Стр. 367.* Вероятно, это была И. А. Белихова.

[7] *Стр. 367.* И. И. Шанина (о нем см. прим. 12 к воспоминаниям Н. В. Берга, стр. 512).

[8] *Стр. 367.* Историческая драма «Самозванец Луба» принадле-

жит не Островскому, а И. В. Самарину. Опубликована в журнале «Русское слово», 1867, № 12.

[9] *Стр. 368.* Проект остался неосуществленным.

[10] *Стр. 369.* За содержание должников в яме с кредиторов, их посадивших, брали одиннадцать с полтиной ассигнациями в месяц.

[11] *Стр. 369.* См. прим. 14 к воспоминаниям Н. В. Берга, стр. 513.

[12] *Стр. 370.* Лирическая драма Островского «Снегурочка», законченная 4 апреля 1873 года, впервые поставлена в том же году 11 мая на сцене Большого театра. Певица Е. П. Кадмина исполняла и драматические роли, например, в «Снегурочке» — Леля.

[13] *Стр. 370.* Имеется в виду С. А. Волков (о нем см. в воспоминаниях С. В. Максимова, стр. 83—85).

[14] *Стр. 373.* Об этой поездке см. прим. 2 к воспоминаниям В. А. Герценштейна, стр. 547.

[15] *Стр. 374.* См. прим. 62 к воспоминаниям С. В. Максимова, стр. 531.

[16] *Стр. 375.* В это время Ф. А. Бурдин уже служил в Александринском театре в Петербурге (см. о Бурдине на стр. 573). В Москву он приезжал специально посмотреть пьесу «Не в свои сани не садись» на сцене Малого театра, которая впервые шла в сезон 1853 года (премьера — 14 января).

[17] *Стр. 375.* Этот эпизод подробно описан в воспоминаниях А. З. Бураковского, стр. 401—402.

А. И. Шуберт

ИЗ КНИГИ «МОЯ ЖИЗНЬ»

<Отрывки>

Александра Ивановна Шуберт (1827—1909) — актриса, много игравшая в провинции, в московском Малом театре и в Александринском театре в Петербурге. А. Н. Островский был с Шуберт в дружеских отношениях; во время ее службы в Малом театре охотно помогал ей в подготовке ролей.

Свои воспоминания А. И. Шуберт писала в 1876—1883 годах, о чем свидетельствует ее дочь, З. С. Яновская, в предисловии к первому изданию книги «Моя жизнь» (СПб. 1911).

[1] *Стр. 376.* А. И. Шуберт в 1856 году вышла замуж вторично, за статского советника (соответствует генеральскому чину) С. Д. Яновского.

[2] *Стр. 376.* А. А. Яблочкин с 1851 по 1854 год совмещал актерскую и режиссерскую работу в Александринском театре, а с

1854 года, полностью передав обязанности режиссера Е. И. Воронову, оставался только актером. В 1868—1873 годах он опять вернулся и к режиссерской работе.

[3] *Стр. 377.* То есть в роли Михайлы. Драма А. А. Потехина «Чужое добро впрок не идет» была поставлена на сцене Александринского театра в сезон 1855—1856 года.

[4] *Стр. 377.* Об отношениях Ф. А. Бурдина и А. Н. Островского см. на стр. 574.

[5] *Стр. 378.* А. И. Шуберт говорит, очевидно, о своем исполнении этой роли на сцене Александринского театра в феврале 1856 года.

[6] *Стр. 378.* О взаимоотношениях А. Н. Островского и М. С. Щепкина см. вступительную статью, стр. 13—14.

[7] *Стр. 378.* По требованию драматической цензуры пьеса «Бедная невеста» Островского с 1852 года шла только при условии исключения из нее ролей Дуни и Паши. А. И. Шуберт, возобновляя для своего бенефиса (3 октября 1860 года, а не 1861, как она указывает) эту пьесу, добилась разрешения исключенных цензурой ролей.

[8] *Стр. 379.* То есть Анна Петровна Незабудкина.

[9] *Стр. 380.* Шутливое обязательство Андреева-Бурлака, написанное рукой Островского, хранится в Музее. Его подлинный текст таков: «Роль Подхалюзина буду знать твердо».

Н. В. Рыкалова

<А. Н. ОСТРОВСКИЙ И МАЛЫЙ ТЕАТР>

Надежда Васильевна Рыкалова (1824—1914) — артистка Малого театра с 1846 по 1891 год, замечательная исполнительница ролей в пьесах Островского: Уланбековой («Воспитанница»), Анфисы Карповны («Старый друг лучше новых двух»), Бальзаминовой («Свои собаки грызутся, чужая не приставай», «За чем пойдешь, то и найдешь»), Татьяны Юрьевны («Козьма Захарьич Минин, Сухорук») и старухи Редриковой («Тушино»). Коронной ее ролью была роль Кабанихи в «Грозе». В 1891 году Рыкалова была уволена с императорской сцены и поступила в театр Корша.

Воспоминания Н. В. Рыкаловой в записи неизвестного лица появились в газете «Утро России», 1911, № 125.

[1] *Стр. 381.* О премьере комедии «Не в свои сани не садись» см. воспоминания И. Ф. Горбунова, стр. 49—50, и прим. к ним.

[2] *Стр. 382.* Первое представление «Грозы» в Малом театре состоялось 16 ноября 1859 года. В связи с исполнением Н. В. Рыкаловой роли Кабанихи в преданиях Малого театра сохранился сле-

дующий рассказ: «Когда «Грозу» репетировали, а на репетицию была дана лишь одна неделя, Рыкалова заболела, и прохворала все семь дней. Островский в полном отчаянии написал ей записку, умоляя ее приехать, хотя бы на одну репетицию. Рыкалова приехала в субботу вечером, полубольная; ей показали места, и она стала играть, настолько просто было в те наивные времена назначение режиссуры. Однако после первой же фразы Кабанихи Островский зааплодировал, захлопали и все участники репетиции. Так верно, так мастерски был взят тон; автор от страха перешел сразу к восторгу, и суеверный Островский молил лишь об одном, чтобы не говорили об этом самой Рыкаловой, иначе «она испортится». Но Кабаниха не испортилась; менялись Катерины, Никулину-Косицкую сменила Федотова, Федотову — Ермолова, Рыкалова неизменно оставалась Кабанихой, и притом превосходной» (С. Г. Кара-Мурза, Малый театр, очерки и впечатления, М. 1924, стр. 25).

[3] *Стр. 382.* См. воспоминания П. М. Невежина, стр. 266—267.

[4] *Стр. 382.* С 1 января 1886 года А. Н. Островский был не управляющим театрами, а заведующим репертуаром московских театров.

[5] *Стр. 383.* А. Н. Островский умер не в конце мая, а 2 июня 1886 года.

К. Н. Де-Лазари

НЕВОЗВРАТНОЕ ПРОШЛОЕ

Пров Михайлович Садовский, Александр Николаевич Островский, Василий Игнатьевич Живокини и др.

Константин Николаевич Де-Лазари (по сцене — Константинов) (умер в 1903 году) — певец, виртуоз-гитарист, с 1863 года артист Александринского театра в Петербурге и с 1864 года московских — Большого, а затем Малого театров. В 1873 году Де-Лазари возвратился в Петербург, в Александринский театр.

Человек остроумный, веселый, обладавший редким мимическим даром, Де-Лазари был любим Островским, с которым встречался в Артистическом кружке, и на правах доброго знакомого часто бывал у него дома.

Воспоминания написаны Де-Лазари, по-видимому, в 1900 году, о чем свидетельствует А. Зарин в газете «Биржевые ведомости», 1903, №№ 327, 510, и напечатаны в газете «Россия», 1900, №№ 545, 552.

[1] *Стр. 387.* Озеро в Италии.

[2] *Стр. 392.* По поводу первого представления «Воеводы» в Ма-

лом театре в газете «Антракт» (1865, № 110) появилась рецензия, в которой, однако, ни о провале спектакля, ни о конфузном происшествии с П. М. Садовским нет ни слова. Рецензент лишь замечает, что «несколько однообразно вышел у него четвертый акт, где в большом монологе недовольно сказалось страшное отчаяние, которое овладевает Шалыгиным после первого сна».

[3] *Стр. 393.* Премьера «Воеводы» состоялась не 25, а 9 сентября 1865 года.

[4] *Стр. 393.* Комедия «Горячее сердце» закончена в ноябре 1868 года и 15 января 1869 года впервые поставлена в Малом театре.

[5] *Стр. 394.* О взаимоотношениях А. Н. Островского и Ф. А. Бурдина см. на стр. 574.

Е. Б. Пиунова-Шмидтгоф

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ А. Н. ОСТРОВСКОМ

Екатерина Борисовна Пиунова-Шмидтгоф (1843—1909) — известная провинциальная артистка. В пьесах Островского исполняла многие роли, но наиболее удачно — Катерины («Гроза»), Евгении («На бойком месте»), Василисы («Василиса Мелентьева»), Лебедкиной («Поздняя любовь»).

Воспоминания впервые напечатаны в «Журнале театра литературно-художественного общества», 1907, № 6.

[1] *Стр. 399.* Это было в 1865 году, во время путешествия А. Н. Островского и И. Ф. Горбунова по Волге.

[2] *Стр. 399.* Мемуаристка явно преувеличивает. 8 июня 1865 года А. Н. Островский на пути из Саратова в Нижний Новгород сообщал Е. Н. Васильевой: «Мы приехали накануне бенефиса Пиуновой (Шмидтгоф), у которой шла «Гроза». Горбунов сейчас же, как учтивый кавалер, предложил свои услуги и сыграл Кудряша и доставил Пиуновой полный сбор» (О с т р о в с к и й, т. XIV, стр. 129). Для постановки спектакля у драматурга не было даже времени.

А. З. Бураковский

<А. Н. ОСТРОВСКИЙ НА ПРЕДСТАВЛЕНИИ «РЕВИЗОРА» ГОГОЛЯ В ОБЩЕДОСТУПНОМ ТЕАТРЕ>

Александр Захарович Бураковский (1844—1910) — известный драматический и опереточный артист, игравший по преимуществу в провинции, а также в московских и петербургских частных театрах.

Воспоминания А. З. Бураковского впервые опубликованы в 1902 году («Почти полвека», СПб.). В 1905 году они были дополнены и вышли под заглавием «Закулисная жизнь артистов», М. 1906. Мы печатаем отрывки из глав XII—XIII.

[1] *Стр. 401.* Общедоступный театр был организован Ф. М. Урусовым и С. В. Танеевым в 1873 году на основе Народного театра, существовавшего на Политехнической выставке 1872 года. По идее его устроителей, он должен был обслуживать самые демократические слои населения, для которых существовавшие тогда императорские театры не были доступны и по цене, и по репертуару. Ставились в Общедоступном театре пьесы современных писателей, а также русская и западноевропейская классика. Театр конкурировал с Малым театром, в его труппе играли такие первоклассные актеры, как П. А. Стрепетова, Н. Х. Рыбаков, П. М. Медведев, М. И. Писарев и др. Но в последующем дирекция Общедоступного театра стала все более ориентироваться на вкус мещанско-буржуазного зрителя, и в его репертуаре ведущее место заняли чисто развлекательные мелодрамы, волшебные зрелища, оперетты, феерии.

1 мая 1875 года состоялось не открытие театра, как пишет Бураковский, а открытие нового сезона. Театр находился на Варварской площади (ныне имени Ногина). Закрылся он в 1877 году.

М. Г. Савина

<ВСТРЕЧИ С А. Н. ОСТРОВСКИМ>

Мария Гавриловна Савина (1854—1915) — выдающаяся артистка Александринского театра в Петербурге (с 1874 по 1914 год), исполнившая в пьесах Островского до тридцати ролей. Особенно большим успехом она пользовалась в ролях Елены («Женитьба Белугина»), Вари («Дикарка») и Глафиры («Волки и овцы»). Драматург очень высоко ставил ее талант. 31 декабря 1879 года он писал ей: «Все лучшие произведения мои писаны мною для какого-нибудь сильного таланта; в настоящее время вдохновляющая меня муза — это Вы» (Островский, т. XV, стр. 168).

М. Г. Савина также с большим уважением и любовью относилась к Островскому. И много лет спустя, уже после смерти драматурга, она вспоминала о нем с восхищением: «Островский был и останется величайшим писателем, и произведения его никогда не умрут. Островский — это краеугольный камень русского репертуа-

ра... Нет, Островский не умер и не умрет!.. Он жив! И будет жить, пока жива Россия и русская жизнь!» — писала она в 1909 году («Театр», № 544, стр. 9).

Когда написаны воспоминания М. Г. Савиной, неизвестно, но, во всяком случае, после 1892 года, так как она ссылается на письма Островского, опубликованные в 1891—1892 годах.

Печатаются воспоминания по рукописи: «М. Г. Савина, Записки (Литераторы)», хранящейся в ЦГИАЛ.

[1] *Стр. 405*. М. Г. Савина познакомилась с А. Н. Островским в ноябре 1876 года на репетициях пьесы «Правда — хорошо, а счастье лучше» (премьера — 22 ноября).

[2] *Стр. 406*. См. прим. 14 к воспоминаниям П. Д. Боборыкина, стр. 551.

[3] *Стр. 406*. Письмо к А. Н. Островскому, которое цитирует М. Г. Савина, в эпистолярном архиве драматурга отсутствует. В Музее хранится письмо Савиной к Ф. А. Бурдину от 3 ноября 1880 года, в котором она пишет, что роли Евлалии из комедии «Невольницы» и Реневой из драмы «Светит, да не греет» не подходят ей по возрасту. Бурдин переслал письмо Островскому и получил на него ответ от 6 ноября 1880 года. «Ведь это, друг, потеха! — писал драматург.— В первый раз в моей многолетней драматической практике подобная история! Я писал для Косицкой, Васильевой, Бороздиных, Колосовой, и разговору об разнице не только двух, но и 5—10 лет никогда не бывало» (Островский, т. XV, стр. 193).

[4] *Стр. 406*. См. воспоминания Н. А. Кропачева, стр. 208—209, и прим. 5 и 7 на стр. 555.

ВСТРЕЧА С ОСТРОВСКИМ

Из воспоминаний Старого актера

Установить автора этих воспоминаний не удалось. За подписью «Старый актер» они напечатаны в «Историческом журнале», 1917, № 1.

[1] *Стр. 408*. А. Н. Островский читал свою пьесу артистам кружка 19 октября 1879 года, о чем свидетельствует письмо Н. М. Городецкого к Островскому от 18 октября того же года (хранится в Музее).

[2] *Стр. 410*. А. Н. Островский, организатор Артистического кружка (1865—1883), со второй половины семидесятых годов занятый в Обществе драматических писателей, посещал кружок все реже, хотя делами его интересовался по-прежнему и избирался

старшиной (март 1878 года) и членом театрального комитета (январь 1880 года).

[3] *Стр. 411.* Василиса Мелентьева (точнее — Мелетьева) была не царицей, а наложницей Ивана IV, постриженной, по его распоряжению, в 1577 году в монахини за то, что она «яро» посмотрела на постороннего мужчину. Андрей Колычев — лицо вымышленное.

[4] *Стр. 412.* Жертвовали своими головами бояре отнюдь не «во имя блага... родины», а во имя собственных интересов, во имя тех преимуществ и привилегий, которые они теряли при создании Иваном Грозным централизованного государства. Так эта борьба изображена и Островским, хотя и не без некоторой идеализации боярства.

[5] *Стр. 414.* То есть в драме Э. Д. Булвер-Литтона «Ришелье», переведенной с английского М. С. Степановым (1866).

[6] *Стр. 414.* Точнее — в драме И. Корженевского «Окно во втором этаже», перевод с польского (1850).

[7] *Стр. 416.* Не в семидесятых годах, а с 1 января 1886 года А. Н. Островский стал начальником репертуара московских императорских театров.

[8] *Стр. 416.* П. С. Мочалов умер 16 марта 1848 года, то есть за пять лет до того, как первая пьеса Островского — «Не в свои сани не садись» — была поставлена на сцене Малого театра.

В. М. Михеев

БЕГЛЫЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Василий Михайлович Михеев (1859—1908) — писатель, драматург, журналист.

Воспоминания написаны, как следует из текста, в 1907 году и напечатаны в журнале «Русский артист», 1907, №№ 6, 8, 10, 13.

[1] *Стр. 418.* То есть театра А. А. Бренко, располагавшегося рядом с памятником А. С. Пушкину, в доме Малкиеля.

[2] *Стр. 418.* Речь идет о героинях «Грозы» Островского, «Горькой судьбины» Писемского и «Бедной невесты» (Стрепетова играла Марью Андреевну) Островского.

[3] *Стр. 418.* В пьесах «Грех да беда на кого не живет» Островского, «Горькая судьбина» Писемского, «Не в свои сани не садись» Островского.

[4] *Стр. 421.* Празднества, посвященные открытию в Москве памятника А. С. Пушкину, происходили 5—8 июня 1880 года. На торжественном заседании Общества любителей российской словесности 7 июня выступили И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский

и другие. Г. И. Успенский на торжествах не выступал, хотя отрицательное отношение к речи Достоевского выразил в статьях «Праздник Пушкина» и «Секрет» (Г. И. Успенский, Полн. собр. соч., т. 6, изд. АН СССР, 1953, стр. 407—445). На обеде, устроенном затем Обществом, М. Н. Катков действительно пытался примириться с И. С. Тургеневым. Ссора их произошла в 1862 году, когда, печатая в «Русском вестнике» роман Тургенева «Отцы и дети», Катков внес дополнения и поправки, искажающие его смысл. Это и явилось поводом к ссоре между ним и автором романа.

[5] *Стр. 421.* Слова «на нашей улице праздник», выражавшие настроение прогрессивной интеллигенции по поводу открытия памятника великому поэту, произнес А. Н. Островский в своем «Застольном слове о Пушкине» (подробно об этом см. воспоминания И. Ф. Василевского, стр. 282—284).

К. Ф. Вальц

<А. Н. ОСТРОВСКИЙ В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ>

Карл Федорович Вальц (1846—1929) — известный художник-декоратор, пользовавшийся большим уважением А. Н. Островского. С 1861 года и почти до конца жизни работал в Большом театре.

Знакомство с Островским произошло, по-видимому, в середине шестидесятых годов у В. П. Бегичева на чтении драматургом своих пьес.

Воспоминания Вальца об Островском представляют собой отрывки из его книги «Шестьдесят пять лет в театре», написанной в двадцатых годах и вышедшей в изд. «Academia», Л. 1928.

[1] *Стр. 423.* Речь идет о постановке лирической драмы Островского (см. прим. 12 к воспоминаниям К. В. Загорского, стр. 582).

[2] *Стр. 423.* 21 апреля 1873 года, готовя премьеру «Снегурочки», А. Н. Островский писал Ф. А. Бурдину: «Музыка Чайковского к «Снегурочке» очаровательна» (Островский, т. XV, стр. 13).

[3] *Стр. 424.* С 1 января 1886 года.

М. М. Ипполитов-Иванов

ВСТРЕЧИ С ОСТРОВСКИМ, ЕГО СОВЕТЫ, УКАЗАНИЯ...

Михаил Михайлович Ипполитов-Иванов (1859—1935) — композитор, педагог, дирижер, музыкальный деятель. Ипполитов-Иванов начал писать воспоминания в связи со столетним юбилеем А. Н. Островского в январе 1923 года и впервые частично опубли-

ковал их в сборнике «Островский», под названием «Моя последняя встреча с А. Н. Островским». Полностью воспоминания вошли в книгу Ипполитова-Иванова «50 лет русской музыки в моих воспоминаниях» (Музгиз, М. 1934), глава XV.

[1] *Стр. 426.* Островский был в Тифлисе в октябре 1883 года (см. дневник поездки на Кавказ. — Островский, т. XIII, стр. 272).

[2] *Стр. 428.* Опера «Руфь» впервые поставлена в Тифлисе 27 января 1887 года.

[3] *Стр. 429.* В Музее хранится план сценария оперы о пережнихе, составленный Ипполитовым-Ивановым и посланный Островскому 20 мая 1884 года. В журнале «Знание» (1870—1877) рассказ о пережнихе не печатался; авторство, место и время публикации рассказа не установлены. Опера на этот сюжет Ипполитовым-Ивановым написана не была.

[4] *Стр. 429.* Либретто оперы «Вражья сила» дописано П. И. Калашниковым, А. Ф. Жоховым и самим композитором. Из-за смерти А. Н. Серова оркестровку увертюры и всего пятого действия оперы завершил композитор Н. Ф. Соловьев. Премьера состоялась 19 апреля 1871 года на сцене Мариинского театра в Петербурге.

[5] *Стр. 430.* Премьера оперы «Воевода» состоялась 30 января 1869 года в московском Большом театре.

[6] *Стр. 430.* «Снегурочку» Островский писал весной 1873 года, закончив ее 4 апреля. Одновременно П. И. Чайковский создавал музыку к пьесе. «Это одно из любимых моих детищ...— писал впоследствии композитор.— Пьеса Островского мне нравилась, и я в три недели без всякого усилия написал музыку» (П. И. Чайковский, Переписка с Н. Ф. фон Мекк, т. II, «Academia», 1935, стр. 262—263). О постановке пьесы см. прим. 12 к воспоминаниям К. В. Загорского, стр. 582.

[7] *Стр. 430.* А. Н. Островский, прочтя либретто «Снегурочки», составленное Н. А. Римским-Корсаковым, 10 ноября 1880 года написал ему, что «либретто составлено очень хорошо», и сделал в нем несколько исправлений (Островский, т. XV, стр. 195). В декабре того же года композитор проигрывал Островскому отрывки оперы, и драматург, по словам С. Н. Кругликова, высоко оценил их достоинства (Н. Римский-Корсаков, Летопись моей музыкальной жизни, Музгиз, М. 1955, стр. 264). Об отрицательном отношении Островского к опере Н. А. Римского-Корсакова пишут и другие мемуаристы (например, Як. Львов, Четверть века назад, «Рампа и жизнь», 1910, № 43), но никакими непосредственными высказываниями драматурга эти свидетельства не подтверждаются.

[8] *Стр. 431.* К. П. Вильбоа сопровождал Островского в 1857 году на завершающем этапе его путешествия (см. воспоминания С. В. Максимова, стр. 159—166). Собранные им песни вышли под названием: К. П. Вильбоа, 100 русских песен, записанных с народного напева и аранжированных для одного голоса с аккомпанементом фортепьяно, СПб. 1860. О некоторых песнях («Поблекнут все цветки», «Исходила младенька», «Голова ль моя, головушка») в сборнике сообщается, что они поются в пьесах Островского. Возможно, эти песни записаны самим драматургом.

[9] *Стр. 431.* Кроме статьи, опубликованной в «Морском сборнике» (1859, № 2), Островский в редакцию этого журнала никаких материалов не сдавал. Некоторые записанные им песни опубликованы в сборниках: «Народные русские песни из собрания П. Якушкина», СПб. 1865, стр. 160; П. В. Шейна «Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах...», т. I, СПб. 1898, вып. I, стр. 17, 144, 185, 237, 243.

[10] *Стр. 432.* Официально Островский приступил к исполнению обязанностей начальника репертуара московских театров с 1 января 1886 года, но практическая его работа по подготовке репертуара началась много раньше. 4 августа 1885 года он, будучи в Щелыкове, писал А. А. Майкову: «Получил также извещение из Петербурга, что с начала сезона мы (то есть Вы и я) вступаем в управление театрами, поэтому я уже делаю распоряжения по репертуарной части. У меня пробыл неделю режиссер Кондратьев, я составил инструкцию и послал обратно в Москву с приказанием составить списки текущего репертуара и всех артистов, с тем, чтобы сделать представление в Петербург об увольнении бесполезных актеров, непроизводительно отягощающих бюджет» (Островский, т. XVI, стр. 187).

[11] *Стр. 434.* Слова Анфусы Тихоновны.

Н. А. Кропачев

А. Н. ОСТРОВСКИЙ НА СЛУЖБЕ ПРИ ИМПЕРАТОРСКИХ ТЕАТРАХ

(Воспоминания его секретаря)

О Н. А. Кропачеве см. на стр. 554.

Эти воспоминания Кропачев начал писать в феврале — марте 1888 года, и вскоре они были опубликованы в журнале «Русский архив», 1888, №№ 3, 4, а затем изданы брошюрой «Александр Николаевич Островский. Из воспоминаний его секретаря Н. А. Кропачева», М. 1889. Значительно расширенные, воспоминания печата-

лись в газете «Московские ведомости» в 1899 году (№№ 317, 321, 326, 336, 342, 345, 349, 355, 356, 358, 360) и в 1900 году (№№ 23, 30, 35, 44, 47, 51, 57, 62, 64, 67, 69, 71, 74), а потом вышли отдельным изданием: «А. Н. Островский на службе при императорских театрах. Воспоминания его секретаря Н. А. Кропачева», изд. М. Н. Доленго-Грабовского, М. 1901.

[1] *Стр. 436.* См. прим. 10 к воспоминаниям М. М. Ипполитова-Иванова, стр. 591.

[2] *Стр. 436.* Газета «Жизнь» в августе 1885 года дважды (№№ 139, 143) в весьма сочувственных тонах сообщала об этих предполагавшихся назначениях.

[3] *Стр. 437.* Михаил.

[4] *Стр. 440.* «Аскольдова могила» — опера А. Н. Верстовского, либретто М. Н. Загоскина по его же одноименному роману. Премьера оперы состоялась в Большом театре в Москве 16 сентября 1835 года, и с тех пор, по свидетельству К. Ф. Вальца, опера «почти не сходила с репертуара и делала большие сборы» (К. Ф. Вальц, Шестьдесят пять лет в театре, «Academia», Л. 1928, стр. 28).

Комедия Островского «Воевода (Сон на Волге)», законченная в январе 1865 года, впервые сыграна Александринским театром в Петербурге (в апреле 1865 года) и Малым в Москве (в сентябре того же года). Однако пьеса грешила длиннотами, были сцены, вызывавшие справедливую критику. Стремясь сделать пьесу более сценичной, драматург в 1885 году создал вторую ее редакцию. Премьера «Воеводы» в этой редакции состоялась в Малом театре под руководством самого автора 19 января 1886 года. Но пьеса и во второй редакции не стала репертуарной, к ней обращаются редко.

[5] *Стр. 444.* Театральная реформа 1882 года, явившаяся результатом работы комиссии (см. прим. 11 к воспоминаниям П. М. Невежина, стр. 562), полностью подчинила московские театры петербургской дирекции и укрепила власть чиновников, совершенно чуждых сценическому искусству (управляющим конторой московских театров был назначен поручик П. М. Пчельников, до этого служивший в военном ведомстве; заведующим драматической труппой — бухгалтер частной железной дороги П. В. Погожев, и т. д.) и подменивших художественное руководство административно-бюрократическим произволом.

[6] *Стр. 445.* Репертуарный совет в составе Н. И. Стороженко, С. В. Васильева (Флерова), Н. С. Тихонравова, Н. А. Чаева и С. А. Юрьева, хотя еще и не утвержденный министром, приступил к работе, в частности, обсуждал проект репертуара на сезон 1886—1887 года, предложенный Островским. После смерти Остров-

ского репертуарный совет был ликвидирован. Что же касается оперного комитета, то он, по существу, и не приступал к работе.

[7] *Стр. 448.* См. об этом воспоминания М. М. Ипполитова-Иванова, стр. 429.

[8] *Стр. 449.* Московская театральная школа влачила жалкое существование. Драматическое отделение школы велось до крайности примитивно (Островский, т. XII, стр. 262—270). Реорганизуя театральную школу в высшее учебное заведение, Островский решил закрыть старое драматическое отделение с тем, чтобы с осени открыть новое. Он уже сам отбирал для него будущих учеников (в частности, А. А. Яблочкину, П. Н. Орленева). Смерть оборвала все его начинания. Материалы о театральной школе см.: Островский, т. XII, стр. 162—179, 301—306.

[9] *Стр. 452.* Пьеса Теодора де Банвиля «Жена Сократа» поставлена в Малом театре 26 декабря 1886 года.

[10] *Стр. 453.* То есть под Новинским монастырем в Москве, где весною, на святой неделе, бывали гуляния с каруселями, качелями, балаганами и проч.

[11] *Стр. 454.* В докладной записке управляющему императорскими московскими театрами (Островский, т. XII, стр. 297) Островский писал о необходимости усилить режиссерский состав труппы Малого театра.

[12] *Стр. 456.* Вскоре после смерти А. Н. Островского власть в театре опять перешла в руки чиновников во главе с П. М. Пчельниковым. При новом руководстве театра пьесы Островского действительно оказались в роли пасынков: старые постановки еще иногда выпускались на сцену, но новых стремились не ставить, и на протяжении десяти лет (1887—1897) была возобновлена только «Василиса Мелентьева» (сезон 1893—1894 года). Лишь после выступлений прессы в защиту драматургии Островского (например, С. В. Васильев в «Русском слове», 1895, № 261; П. Р. С. в газете «Московские ведомости», 1896, № 148) чиновники вынуждены были уступить: в сезон 1897—1898 года возобновляются сразу пять пьес Островского: «Горячее сердце», «Бесприданница», «На бойком месте», «Бедность не порок», «Комик XVII столетия»; в сезон 1899—1900 года — «Таланты и поклонники» и т. д.

[13] *Стр. 458.* В Петербурге Островский был с 21 по 28 марта.

[14] *Стр. 459.* Речь идет о комедии Н. А. Кропачева и Д. П. Ефремова «Без протекции» (дозволено цензурой 1 октября 1884 года).

[15] *Стр. 460.* См. прим. 11 к воспоминаниям Н. А. Кропачева, стр. 556.

[16] *Стр. 460.* П. И. Кичеев, переводчик, театральный критик. Окончил юридический факультет Московского университета.

[17] *Стр. 461.* Первой комедией Островского была «Картина семейного счастья» (1847), а не «Свои люди — сочтемся!», оконченная в 1849 году.

[18] *Стр. 467.* «Божьим промыслом» назывался самый крупный рыбный промысел России на Каспийском море, в устье реки Куры.

[19] *Стр. 468.* С. Н. Островского, умершего в 1868 году. Его дочерей взял на воспитание М. Н. Островский.

[20] *Стр. 468.* Недоразумения с посредником Э. И. Мишле, купившим у композитора Г. А. Лишина перевод оперы «Мефистофель» итальянского композитора А. Бойто и перепродавшим его дирекции московских императорских театров, возникли из-за того, что Мишле грубо нарушил соглашение и потребовал значительно большей платы против первоначально установленной. В ответ на письмо А. Н. Островского, датированное 22 мая 1886 года, Мишле подтвердил свои требования, и договор с ним не состоялся.

[21] *Стр. 468.* Дипломат — пальто особого покроя.

[22] *Стр. 473.* Под словом «поручики» подразумевалось старое управление московскими театрами, так как П. М. Пчельников (управляющий конторой) и К. Р. Гершельман (зав. делами личного состава) действительно имели военное звание поручиков.

[23] *Стр. 474.* О ком идет речь, выяснить не удалось.

[24] *Стр. 477.* Е. В. Сапожникова, крупная московская домовладелица, филантропка, попечительница Александровско-Басманного училища.

[25] *Стр. 477.* См. воспоминания И. А. Купчинского, стр. 245—246.

[26] *Стр. 479.* См.: Островский, т. XII, стр. 309.

[27] *Стр. 480.* Перевод пьесы Шекспира «Антоний и Клеопатра» остался незавершенным и в издании Н. Г. Мартынова появиться не мог (опубликовано в «Сборнике Общества любителей российской словесности на 1891 год», М. 1891, стр. 77). Очевидно, Мартынов прислал корректуру восьми интермедий Сервантеса, переведенных Островским и включенных в первый том издания «Драматические переводы А. Н. Островского», СПб. 1886. 8 мая Н. Г. Мартынов просил позволения у Островского «прислать... последнюю корректуру интермедий, чтобы не напутать чего-нибудь» (Новые матерьялы, стр. 241).

[28] *Стр. 481.* Островский, т. XVI, стр. 193.

[29] *Стр. 483.* Строка из стихотворения артиста М. А. Дурново, написанного к тридцатипятилетию литературной деятельности Островского (1882). Напечатано в книге: «А. Н. Островский на

службе при императорских театрах. Воспоминания его секретаря Н. А. Кропачева», М. 1901, стр. 4.

[30] *Стр. 484.* В. Ф. Подпалый.

[31] *Стр. 484.* Какую тревожную весть сообщил Островскому Подпалый, неизвестно. Скорее всего она касалась детей Островского.

[32] *Стр. 484.* Речь идет о трагедии Лопе де Вега «Звезда Севильи», которую С. А. Юрьев перевел в конце 1885 года.

[33] *Стр. 485.* С С. И. Шаниным.

Д. В. Аверкиев

А. Н. ОСТРОВСКИЙ

Дмитрий Васильевич Аверкиев (1836—1905) — драматург, публицист, театральный критик.

Знакомство Аверкиева с Островским началось осенью 1864 года, когда Аверкиев обратился к драматургу с письмом в связи со смертью А. А. Григорьева (Письма, стр. 7). С 1871 года они часто встречались по делам Общества русских драматических писателей, а в 1881—1882 годах участвовали в заседаниях «Комиссии для пересмотра законоположений по всем частям театрального ведомства» (см. прим. 11 к воспоминаниям П. М. Невежина, стр. 562).

Воспоминания представляют собой отрывок из статьи, посвященной Островскому и написанной вскоре после его смерти. Опубликовано в «Дневнике писателя. Ежемесячное издание Д. В. Аверкиева», 1886, июнь — август.

[1] *Стр. 490.* В восьмидесятых годах А. Н. Островский активно выступал за самостоятельное существование московских императорских театров и за то, чтобы во главе их стояли истинные знатоки сцены (см.: Островский, т. XII, стр. 101, 132 и др.).

[2] *Стр. 490.* В заметке «Считки», напечатанной в «Дневнике писателя», 1886, апрель, стр. 141—142.

[3] *Стр. 490.* См. прим. 7 к воспоминаниям А. А. Нильского, стр. 580.

[4] *Стр. 491.* Талантливая ingénue — возможно, Е. П. Александрова (Островский, т. XII, стр. 307), вскоре принятая в труппу Малого театра. Из числа испытуемых на роли jeune premier Островский выделил Дмитриева-Сабурова (там же, стр. 308), но в театр он принят не был.

[5] *Стр. 491.* Лаубе Генрих (1806—1884) — немецкий драматург. С 1849 по 1867 год стоял во главе крупнейшего в Австрии Венского придворного театра (Бургтеатра).

С. В. Васильев

А. Н. ОСТРОВСКИЙ И НАШ ТЕАТР

С. В. Васильев (псевдоним Сергея Васильевича Флерова) (1841—1901) — театральный рецензент, критик и педагог. Островский очень ценил С. В. Васильева как критика и, став начальником репертуара московских театров, привлек его в репертуарный совет, делился с ним своими планами преобразования московских театров и создания драматической школы. В 1886 году Островский рекомендовал Васильева в качестве члена жюри по присуждению Грибоедовской премии Общества драматических писателей.

<1>

Воспоминания написаны в ближайшие дни после смерти Островского и напечатаны в газете «Московские ведомости», 1886, № 169.

[1] *Стр. 492.* Репетиция состоялась 18 января 1886 года (о второй редакции пьесы см. прим. 4 к воспоминаниям Н. А. Кропачева, стр. 592).

<2>

Статья, из которой взят отрывок, написана 7 июля 1890 года в связи с четырехлетием со дня кончины Островского и напечатана в «Русском обозрении», 1890, № 7.

[2] *Стр. 493.* Неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Ты и вы».

[3] *Стр. 493.* Николая, родился в 1877 году.

[4] *Стр. 494.* Проект театральной школы под названием «Записка о театральном училище» впервые опубликован в книге Н. А. Кропачева, А. Н. Островский на службе при императорских театрах, М. 1901, стр. XXXVI; см. также — Островский, т. XII, стр. 301.

Н. И. Тимковский

ПАТРИАРХ РУССКОЙ ДРАМЫ.
(Памяти А. Н. Островского)

Николай Иванович Тимковский (1863—1922) — писатель и драматург, участник сборников «Знание» и литературных «Сред» Н. Д. Телешова.

Статья Тимковского, начинающаяся воспоминаниями об Островском, как вытекает из последующих ее разделов, была написана

в 1911 году в связи с двадцатипятилетием со дня смерти Островского и в том же году опубликована в газете, названия которой установить не удалось. Статья, отрывок из которой мы печатаем, хранится в Музее в виде собрания газетных вырезок.

[1] *Стр. 495.* В гостиницу «Дрезден» Островский переехал 18 мая 1886 года (см. воспоминания Н. А. Кропачева, стр. 465—467).

[2] *Стр. 496.* А. Н. Островский умер 2 июня 1886 года, а Тимковский был у него после 18 мая.

КРЕСТЬЯНЕ ОБ А. Н. ОСТРОВСКОМ

Воспоминания крестьян об Островском даны в записи А. М. Часовникова (записано в 1946—1947 годах, опубликовано впервые в сб. «А. Н. Островский», Кострома, 1948, стр. 56—62) и В. А. Маслиха (записано в 1938 году, печатается впервые, рукопись представлена для настоящего сборника).

Часовниковым записаны воспоминания И. И. Соболева и А. М. Зерновой; Маслихом — воспоминания В. А. Куликова, А. Н. Смирновой и В. Н. Кожакина.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ[1]

Составила И. А. Ревякина

[1] В указатель не включены имена и названия, встречающиеся *только* в научном аппарате издания. Страницы, на которых находятся сведения о мемуаристе, выделены жирным шрифтом. Цифры, обозначающие страницы вступительной статьи и примечаний, набраны курсивом.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Н. И. Музиль в роли Шмаги («Без вины виноватые»). Фотография 1890-х годов.

М. Г. Савина в роли Василисы («Василиса Мелентьева»). Фотография. 1891.

Дело о назначении А. Н. Островского заведующим репертуарной частью московских театров. 1886.

Дом А. Н. Островского в Щелыкове. С фотографии 1890-х годов.

Могила А. Н. Островского в селе Никола-Бережки Костромской области. Фотография 1920-х годов.

СОДЕРЖАНИЕ

А. Н. ОСТРОВСКИЙ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ.

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
ОСТРОВСКИЙ

в воспоминаниях современников

Редактор *В. Пересыпкина*

Художественный редактор
С. Данилов

Технический редактор *Г. Каунина*
Корректор *Е. Патина*

Сдано в набор 5/VII 1965 г. Подписано к печати 14/V 1966 г. Бумага типографская № 2. 84×108 1/32—19,75 печ. л. 33,18 усл. печ. л. 33,52 уч.-изд. л.+ +21 вклейка=34,57. Тираж 30 000 экз. Заказ № 995. Цена 1 р. 22 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Полиграфкомбинат им. Я. Коласа
Комитета по печати
при Совете Министров БССР.
Минск, Красная, 23.